ISSN 0130–6545

'83

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 *июль* *1983*

Содержание

АНТУН ШОЛЯН — Рассказы *(Перевод с хорватскосербского Т. Поповой, Т. Вирты)* 3

ЖОРЖ БРАССАНС — Стихи *(Вступление Булата Окуджавы. Перевод с французского А. Кушнера, Б. Хлебникова и Н. Якимова. Составитель Ю. Здоровов)* 24

ОСВАЛДО ФРАНСА ЖУНИОР — Бразилец Жорже *(Повесть. Перевод с португальского Лилианы Бреверн)* 33

ИРВИН ШОУ — Нищий вор *(Роман. Окончание. Перевод с английского Н. Емельянниковой и И. Якушкиной)* 96

Критика

В. ОСКОЦКИЙ — На рубеже веков *(К вопросу о судьбах «малых литератур»)* 153

Наш календарь

Право жить после смерти *(К 90-летию Владимира Маяковского)* 161

Отклики, встречи, впечатления

МИХАИЛ ИЛЬИНСКИЙ — Нгуен Туан: «Писатель — вечный путник» 164

Письма из-за рубежа

Нам пишет КАРТАР СИНГ ДУГГАЛ *(Перевод с английского Е. Мирской и М. Салганик)* 171

Наши интервью

Семнадцать вопросов РОБЕРУ САБАТЬЕ *(Беседу вела Н. Попова)*

А. Трошин — После «Мефистофеля» *(Беседа с венгерским кинорежиссером Иштваном Сабо)* 174

Культура и современность

Беседа с ПАВЛОМ ВЕЖИНОВЫМ *(Перевод с болгарского М. Тарасовой)* ◆ А. Михайлов — Диалог двух культур 183

Публицистика

Г. ШАХНАЗАРОВ — Пусть никогда не наступит «ядерная полночь» 189

ГРЭМ ГРИН — «J'ACCUSE». Теневая сторона Ниццы *(Предисловие: Из итальянской газеты «Эспрессо». Послесловие Александра Сабова. Перевод с английского Д. Аграчева)* 206

Антирубрика

РЭЙ БРЭДБЕРИ — Чепушинка *(Перевод с английского Ростислава Рыбкина)* 219

К нашим иллюстрациям

Нгуен Туан — Улицы Фая 225

Из нашей почты 228

Среди книг

Издано в СССР

Валентин Курбатов — Измерение неизмеримого ◆ Е. Г.— Уильям Купер или Гарри Хофф? Уильям Купер — «Говорить правду, смеясь...» 234

Издано за рубежом

А. Машкова — Словацкая хроника Баллека ◆ Арс. Гулыга — В творческой лаборатории писателя 240

Из месяца в месяц 244

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — картины вьетнамского художника БУЙ СУАН ФАЯ «Пейзаж» и «Старый Ханой».

© «Иностранная литература», 1983

АНТУН ШОЛЯН

Рассказы

■

Перевод с хорватскосербского

Пятьсот ступенек

Однажды, когда ее уже не будет, вы ненароком, может быть даже с ностальгией, вспомните, что в этом городе, где-то в северной его части, прежде была лестница, которую все называли Хробатовы ступени. Возможно, вы подумаете об этих ступеньках с сентиментальным чувством, которого не испытывали к ним, пока они еще существовали. Так уж заведено: события современной жизни накладываются друг на друга словно страницы детской книжки-гармошки, чтобы будущему поколению было удобней разобраться в прошлом. Вы забываете, что некогда картинка в этой книжке-гармошке выглядела совсем иначе, чем теперь, с высоты птичьего полета, из перспективы будущего.

Я знаю, вы не станете упрекать себя за это. Просто скажете: вещи меняются. Ничего не поделаешь. Конечно, вы правы, они меняются. Даже сейчас, изредка оказавшись возле этих ступенек, я понимаю: они уже обречены — они должны исчезнуть, пропасть, бесследно сгинуть. Даже сейчас я ощущаю, что их, в сущности, уже нет. Что таких, какими я их знаю, никогда и не было.

Эту лестницу в одном из многочисленных оврагов, промытых водой на склонах Слеме, построил некий пенсионер Хробат, бывший учитель гимназии. Строил он ее, говорят, совершенно один, без чьей-либо помощи, а потом подарил городу. Когда закончил — был уже в преклонном возрасте — и, может быть, умер вовсе не из-за этих ступенек, а просто от старости. Но не станем забегать вперед. Я буду рассказывать эту историю не так, как она произошла (в этот быстро бегущий миг лестница еще существует), а так, как могла бы произойти и произойдет.

Должен признаться — я лично знаком с Хробатом не был и, по правде говоря, ничего о нем не знаю (как позже не узнаете и вы), но могу себе представить, что этот пожилой, уже несколько впавший в детство холостяк, пенсионер, проходя по оврагу во время одной из досужих воскресных прогулок на Слеме, был озарен счастливым проблеском вдохновения, он вдруг понял, что тут, именно на этом месте, гуляющему человечеству пенсионного возраста необходима лестница.

Воображаю себе далее, что Хробат был мужчиной сильным и высоким, и руки у него были большие и мускулистые, и что вообще он больше походил на дровосека, чем на преподавателя физики и математики. Я даже думаю, что он стал преподавателем вследствие какого-то случайного стечения обстоятельств, а в молодости мечтал быть строителем и поэтому всю свою жизнь испытывал чувство неудовлетворенности, а его физически крепкое тело страдало от вынужденного без-

делья, что особенно сильно стало мучить Хробата после ухода на пенсию.

И именно в этот счастливый момент вдохновения он понял, что одним махом может убить двух зайцев: найти применение своей бесполезной одинокой старости и осуществить юношеские мечты, и отныне все свои скромные оставшиеся силы решил отдать людям.

Он принялся за дело, видя перед собой ясный образ лестницы. В течение десяти лет каждое воскресенье он мог бы устанавливать по одной ступеньке, то есть пятьдесят ступенек в год, и, таким образом, получилось бы пятьсот ступенек, разумеется, при этом он уповал жить достаточно долго, чтобы довести всю работу до конца, и тогда уже умереть со спокойной совестью. Нетерпеливо и радостно ожидал он каждое новое воскресенье, а в будние дни вел размеренный шахматно-преферансный пенсионерский образ жизни, сидя в кафе за чашечкой кофе с молоком и основательно изучая утренние и вечерние газеты или в ожидании очереди на прием к ревматологу в районной поликлинике. Он был стар, он был ревматик, но воскресенья вливали в него молодые силы.

Я не без благоговения представляю себе, как каждое воскресенье на старенькой, купленной по случаю трехколесной велотележке он привозил сюда по огромному камню, отесанному с одной стороны. Эти камни давал ему знакомый каменотес, имевший мастерскую при кладбище, который промеж дела, закончив одно, но еще не приступив к другому надгробию, урывал минутку, чтобы из обломка надгробной плиты или какой-либо негодной глыбы сделать очередную ступеньку «для этого чудака Хробата». В воскресенье за Хробатов счет он выпивал рюмку-две ракии в кладбищенской корчме, пропахшей воском и свечами, но никакой иной платы со своего знакомца не брал. «Есть кому платить,— обычно говорил он,— люди мрут как мухи».

Может быть, Хробат понимал символическое значение этих кладбищенских глыб и, может быть, сам себе говорил: «Вот так,— с тем смиренным отношением к смерти, которое часто возникает в старости,— вот так, помаленьку я строю себе могилу», а может быть, все это даже не приходило ему в голову. Возможно, в душе он был человеком практическим: камень есть камень, откуда его ни возьми. А возможно, он просто целиком был поглощен своей лестницей.

Его строительная техника была крайне примитивна. Для нижней, не отесанной стороны камня он киркой выкапывал яму соответствующей глубины и формы, а потом водружал плиту в это тесное ложе точно так, как ювелир укладывает в ячейку необработанную часть бриллианта. И трудился он, вероятно, с тем же усердием и любовью. Ровная каменная плита, таким образом, оказывалась на одном уровне с окружающей почвой, вокруг нее быстро разрасталась трава, и корешки растений добровольно завершали труд Хробата, укрепляя камень на том месте, куда он был положен. Сообразуясь со склоном и изгибом оврага, лестница потихоньку ползла вверх, будто медлительная, извивающаяся змея.

О чем он думал, когда занимался этим делом, на что рассчитывал? Была ли у него мечта? Не знаю. Для истории важны не намерения, говорят сведущие люди, а результаты. Вкладывая в ступеньки всю свою не разделённую ни с кем любовь, искупая ими всю свою жизнь, этот одинокий человек, может быть, мечтал о неких веселых туристах, которые, отправляясь на прогулку, будут с песнями подниматься по ним, мечтал о легконогих женщинах — героинях его юных грез, которые, словно бабочки, будут порхать по его ступенькам навстречу весенним рощам, пестреющим на склонах горы (ибо в его воображении пейзаж, после того как ступеньки будут уложены, представлялся вечно весенним), он мечтал об обнявшихся влюбленных парах, которые, останавливаясь и целуясь на каждой ступеньке лестницы, как-нибудь

с благодарностью подумают о том, кто ее построил, может быть, представлял себе одиноких немолодых людей, подобных ему самому, которые неторопливо и спокойно будут подниматься вверх, отдыхая на каждой плите, жизнерадостных новобранцев, которые, постукивая подкованными каблуками, промчатся по его лестнице стремительно, в счастливом порыве, будто летняя гроза.

Осуществление всех его мечтаний зависело от одного — от продвижения ступенек вверх, к небу. Вот все, что мне известно о намерениях Хробата. В тот день, когда труд был завершен, он ощутил счастье, потому что мечта его осуществилась, но и пустоту в сердце, потому что жизнь его была исчерпана, а лестница готова, построена, существовала вне его. Он уже ничего не мог с ней сделать, она начала жить своей жизнью. Мечты — одно, ступеньки — совсем другое.

Оттого-то наш рассказ не о нем, а о ступеньках. О ступеньках, на которых, вскоре после того как они были уложены, поскользнулся (камни были гладкие и мокрые) какой-то пожилой человек и сломал бедро в двух местах. В связи с этим о ступеньках тотчас же сообщили в местной газете, а человечество впервые услышало, что приобрело лестницу. Потом кого-то на тех же ступеньках обокрали: подстерегли человека среди ночи и сняли с него все, кроме рубашки и кальсон. Потом какая-то девица, которая предъявила иск мужчине на содержание ребенка, заявила на суде, что все произошло именно на тех самых ступеньках. Естественно, очевидцев не было, но что поделаешь, всем хорошо известно, как кончаются подобные судебные разбирательства для несчастных незащищенных горемык мужчин.

Таким образом, ступеньки несколько раз попадали в газету, иными словами, приобрели дурную репутацию, и читатели стали писать письма с разными предложениями: одни требовали усилить на них освещение (это, мол, не Елисейские поля, но все же...), другие — милицейский патруль, а некоторые зашли даже так далеко, что требовали вообще запретить гражданам появляться в этом рассаднике зла.

Некоторое время Хробат был в блаженном неведении относительно всего, что происходило с его ступеньками. Он, конечно, построил лестницу, но не мог точно предугадать, кто будет по ней подниматься и спускаться. Пока строил — думал только о деле и лелеял свою мечту, но не размышлял о реальных, живых людях, которые воспользуются плодом его рук. Лесенка, взбегавшая ввысь в его мечтах, представлялась ему чистой, во всех отношениях безупречной, грациозной, идеальной лесенкой, а когда была построена, стала навсегда просто лестницей (для всеобщего пользования), ступеньки ее по временам оказывались скользкими, часто темными, для некоторых даже опасными. Больше они уже не были частью Хробата, они стали частью мира.

Хробат представлял себе молодых любовников, но не думал об их незаконнорожденных детях, он представлял себе веселых, добродушных людей, может быть, юных поэтов, прогуливающихся в романтических рощах, может быть, направлявшихся в горы рослых, широкоплечих спортсменов в голубых тренировочных костюмах, но он забывал о лунатиках, ворах, хулиганах, насильниках, эксгибиционистах, извращенцах, самоубийцах, привидениях и черт те знает о ком, о пене всяческой скверны и отбросов, подымающейся из городского котла. Он забыл о людях, полагая, что важно только дело.

Но после того, как он построил лестницу, все, о чем ранее думал и мечтал, потеряло какое-либо значение. Ступеньки продолжали существовать, подчиняясь какой-то своей неуловимой и неизбежной логике. Они и впрямь приобрели дурную славу. «В том месте, знаете, всякое случается», — поговаривали в городе, и при этом упускалось из виду, что «всякое случалось» и в других оврагах предгорья и что «всякое случалось» здесь и прежде, чем были построены ступени. Но ступеньки теперь находились именно здесь. Зло оказалось точно локали-

зованным и получило имя. Одно из многих, но все же имя; на него можно было указать пальцем: пятьсот Хробатовых ступенек.

Вскоре уже всем стало ясно: когда стемнеет, одному человеку там ходить не годится. Женщинам по вечерам просто немыслимо было без провожатых пользоваться лестницей, и не один кавалер, проявивший галантность, получил поощрение за свое рыцарство. Многие журналисты, не стараясь сдерживать возмущения по поводу «некоторых мрачных аспектов нашего города», испытывали истинное наслаждение оттого, что хоть что-нибудь могли безнаказанно выругать. Отправляясь на загородные прогулки, люди охотнее карабкались по соседним неудобным тропинкам, продирались сквозь кусты, проваливались в ямы, вместо того чтобы идти по лестнице. И чем меньше народу по ней проходило, тем больше всякой всячины про нее рассказывали. Ибо зло размножается само по себе.

В конце концов очередь дошла до вампира. Это был один из тех многочисленных вампиров, которых так легко и так часто порождает наше воображение и которые вместо нас совершают наяву ужасные поступки, составляющие содержание наших ночных кошмаров. А по сути дела, как позже выяснилось, это был некий совсем безобидный обожатель собственной красоты, который, скрыв лицо под черной маской и спустив до колен штаны, блуждал вверх и вниз по склонам (не только по этим ступенькам!) и показывал встречным предмет своего обожания и мужской гордости, считая его настолько ценным самого по себе, что даже (и это позднее было подтверждено) подумать боялся коснуться им некой заурядной особы, а не то чтобы в своем блаженном состоянии не дай боже на кого-нибудь напасть.

Но согласно слухам, он и нападал, и насиловал, и бросался с ножом, и убивал каждого, кто встретится ему вблизи лестницы. Ему приписывали все совершенные прежде, совершаемые и будущие преступления в этом городе — а их, слава богу, было более чем достаточно для внушительного числа способных и наторевших в подобных делах вампиров, а не для одного жалкого и неловкого псевдовампирчика, которому даже теми крохами радости, что даровала ему жизнь, не дано было насладиться в пристойном одиночестве.

Власти вскоре приняли решение учредить пост из двух энергичных милиционеров, которые бы ежедневно патрулировали на этом спуске и таким образом положили бы конец разбою и насилиям, чинимым над горожанами. Естественно, милиционеры в первый же вечер схватили вампира и доставили его куда следует, но и после, уже по инерции, продолжали свое патрулирование точно так же, как по инерции в городе продолжалось распространение слухов об убийствах.

И в конце концов ступеньки стали как бы бросать тень на каждого, кто по ним поднимался. А кто же все-таки поднимался по этим ступенькам? Поднимались те, кому терять было нечего — не было ни денег, ни чести, ни невинности — и кому было совершенно безразлично, куда идти — вверх или вниз. Именно эти люди своей репутацией добавили еще одну горькую каплю к репутации лестницы.

Правда, здесь взбирались на гору и отдельные храбрые личности, из принципа готовые на все, не размышляющие, куда идут, и которые, понятно, за это дорого расплачивались. Такие обычно потом бахвалились: «А я, знаете, прохожу там каждый вечер, и хоть бы хны», из чего слушатели сразу же заключали, что проходить там ни в коем случае не следует.

Иногда, привлеченный красотой ступенек или прохладой леса, забредал туда кто-нибудь из несведущих, какой-нибудь провинциал или одинокий человек, до которого не доходят городские слухи, и попадал, как говорится в народе, прямо «босиком в крапиву» или, как еще говорят, «с голой задницей в пьяную компанию», а уж поверьте, о чем, о чем, но о подобных вещах наш народ знает, как выразиться.

Если сюда же добавим отдельных, хоть и редких типов из породы любопытных, которые вечно суют нос куда не надо — авось, случится что новенькое в их серой жизни, перечень тех, кто не гнушался ступеньками Хробата, будет исчерпан. Но вопреки возможным ожиданиям, каменные плиты не дали ни одной трещины, хоть и должны были бы сгорать от стыда под ногами прохожих.

Поскольку власти начали все более интересоваться детищем Хробата и всем тем, что о нем болтали, была создана соответствующая комиссия, которая вскоре установила, что вышеупомянутый гражданин Хробат (в дальнейшем изложении просто Хробат), во-первых, построил эту лестницу на земле, принадлежащей городу, во-вторых, не имел на то разрешения от строительных и иных организаций, и, в-третьих, данные ступени нанесли урон эстетическому виду рощи и моральному облику города, и в конце концов, согласно приведенным доводам, Хробат был привлечен к ответственности, что, учитывая последствия, до которых довела его беззаконная деятельность, абсолютно справедливо.

Думаю, в ту минуту вся его жизнь представилась бывшему учителю в виде непрерывного спуска по бесконечной и с каждой ступенькой все более мрачной лестнице. Это были его собственные ступеньки — других он не имел,— но вели они Хробата лишь в одном направлении — вниз.

Это была его собственная лестница, и на суде он ее защищал. «У меня не было никаких иных целей,— сказал он.— Я хотел только построить лестницу. Я и не намеревался куда-нибудь по ней вознестись». Но на суде ему заявили, что последствия его безответственности вынудили власти предпринять меры.

Хробат, между прочим, сказал и следующее: «В то время когда я начал укладывать ступеньки, вообще не требовались никакие разрешения. Каждый строил что хотел. Я не мог знать законов, которые еще не существовали». Но, как известно, незнание закона не оправдывает виновного.

Общественное мнение безмолвно требовало, чтобы были приняты меры, и меры были приняты. Хробата обязали заплатить таксу, которую он в свое время не заплатил, и штраф за ее неуплату, и еще один штраф за то, за что должен был платить таксу, и предложили возместить судебные издержки. К тому же ему вроде бы следовало внести определенную сумму в качестве компенсации за полученное повреждение тому человеку, который сломал на лестнице бедро, и даже выплатить алименты незаконнорожденному младенцу — от этого его, правда, с трудом освободили.

А лестница? Лестницу постановили разрушить.

И вот я представляю себе этого Хробата, когда после принятого судебного решения он последний раз прошел по своим ступенькам, прошел очень медленно, потому что был уже стар и слаб, и каждой своей косточкой в тот день ощутил вес каждой ступеньки, которую сам сюда взгромоздил. Он отрывал ногу от ступеньки, словно отрывал себя от любимой, от собственной жизни, и на каждой из них оставлял кусочек своего усталого сердца, пока медленно, засунув в карманы большие, как у дровосека, руки, спускался по извивающейся лестнице все ниже и ниже, подолгу задерживаясь в холодной тени деревьев.

Я не слышал, что потом произошло с Хробатом. Он был уже очень стар и, вероятно, поэтому умер вскоре после того, как разрушили его ступени.

Лестницу разобрали, а камни сложили в кучу на дне оврага, и некоторое время они так и лежали. Город же постепенно рос и расползался вширь, словно чернильное пятно на промокашке-земле, а на этом месте возвели новую красивую бетонную лестницу, которая правильными зигзагами поднималась вверх от подножья склона. Лестни-

ца была прекрасно освещена и имела удобные площадки для отдыха и обзора местности, а также прочную бетонную ограду, балюстраду, доходившую человеку до груди; на каждом ее повороте были вытесаны из камня сторожевые львы и имелись стрелки-указатели. На лестницу прикрепили даже голубую дощечку с названием. Лестница называлась: Хробатовы ступени. Однако новый мэр города, торжественно перерезавший ленточку на открытии лестницы, его даже не упомянул. Должно быть, он и не знал, кто такой этот Хробат.

Птица господня

Чего тебе, дурак, понадобилось здесь, среди моря. Море — это пустыня. Ничего нет: ни корабля на горизонте, ни дельфина по борту, ни птицы в небе. Господи, пошли мне хоть одну твою птаху.

Сменяются день за днем, и никого нет. Пока плывешь, может быть, уже на всех континентах разразилась война, а может, и окончилась, и все на земле разграблено, уничтожено, все сровнялось с морем. Может, уже на свете нет ничего, кроме моря, и оно до конца жизни будет качать тебя и немилосердно швырять из стороны в сторону.

Пускай качает, только бы выдержало судно.

Он купил его за бесценок и второпях. Когда обострилась обстановка в Акабском заливе, иностранцы, владевшие яхтами в Александрии, поспешили их продать, и продавали по дешевке — опустели гостиницы, яхт-клубы. Девятиметровый бермудский шлюп он купил у представителя швейцарской авиакомпании в Каире, ожидающего, что его представительство в любую минуту закроют.

«Сейчас, уважаемый, не до справедливости: война»,— говорил швейцарец и в спешке снижал цену.

Он купил его по дешевке и, похоже, даже сейчас не верил своему счастью, не доверял и судну. Правда, выложил за него все, что удалось сэкономить в течение года, всю сумму, полученную в «Геологоразведке», когда он собрался домой в отпуск. *«Из далеких стран плыву на корабле»*, да еще на собственном.

Парусник, начав новую жизнь, надо признаться, успешно сдал первый экзамен. Но ведь жизнь судна не что иное, как целый ряд испытаний, и все их надо выдержать, кроме последнего, к которому оно непрестанно готовится и на котором неизбежно потерпит крах. Приросший к этому судну, словно ракушечник, он все еще ему не доверял. Не верил, что сумеет добраться до дома. И что у него вообще есть дом.

Двое суток он плыл от Александрии до Дерны, где отоспался и пополнил запасы ожидая попутного ветра. А затем на утренней заре, перекрестившись и суеверно постучав о деревяшку, отчалил от бревенчатого мола, оснащенный карманным компасом, дешевым японским транзистором, подержанным подвесным мотором английской марки и двумя комплектами синтетических парусов. Он пустился в плаванье со всем своим имуществом, упакованным в две пластиковые коробки, и угодил прямо в непогоду, о которой ничего не объявляли по радио. Которая, очевидно, была уготована непосредственно ему, потому что никого иного в радиусе пятидесяти миль не было, а буря и не думала затихать.

И вот третьи сутки он идет под парусами на штормовом флоке, жует шоколад, пьет холодный чай и болтается из стороны в сторону, так что болит уже каждая мышца. Обвязавшись короткой веревкой вокруг пояса, он передвигался по судну, будто собака на цепи. Не раз

пытался вздремнуть в кокпите, покрывшись мокрым брезентом, но парусник так швыряло, что немели локти и колени, которыми приходилось упираться. Он весь был избит, будто старый боксер, которого выпускают лишь на тренировочный ринг.

Пьяный от усталости, он понятия не имел, где находится. По временам даже забывал, что об этом надо бы знать — да и к чему по сути дела? Море есть море. Море повсюду, а море — это пустыня. В опьянении безучастие сменялось приступами гротескной буффонады.

Из далеких стран плыву на корабле,
Ничего на этот раз не привезу тебе.

Иногда его осеняло, что нельзя терять надежду, и он заставлял себя всматриваться в горизонт: не покажется ли случайно какая-нибудь вершина — может быть, Этна слева? Или Энос справа? Но, впрочем, и вулканы нынче не те, что прежде, а на Итаке нас никто не ждет.

Главное — мы в основном движемся на север: земля состоит из суши и моря, как сутки из тьмы и света; во что-нибудь упремся, если будем плыть достаточно долго. А, впрочем, разве так важно куда-то прибыть? Или на что-то надеяться?..

...из далеких стран плыву на корабле..

В пьяной качке, напевая вполголоса и стараясь не шевелить растрескавшимися, солеными губами, он наконец уснул, почти счастливый. Когда несколько часов спустя проснулся, почувствовал разочарование, почти обиду, что снова оказался в мире, горизонты которого вселяют надежду.

Ветер, правда, по-прежнему дул — не так уж сильно дул, каких-нибудь четыре-пять баллов по Бофорту,— но тучи почти совсем рассеялись. Только справа по всему горизонту сгустились темные наслоения перистых облаков, напоминающие геологический срез. Где-нибудь там могла быть суша: может быть, мы уже возле Отрантских ворот, в пятидесяти милях севернее или южнее их.

Озаренное солнцем море казалось не таким суровым, ветер — не таким резким. Собравшись с силами, он вздохнул и принялся подымать паруса. Когда с этим покончил, все его тело ныло от ударов. Но зато судно теперь швыряло меньше — оно летело по волнам, словно невесомое. И машинальная поспешность, с которой он все это сделал, выглядела вполне резонной: все-таки надо добраться.

Его первым порывом было тотчас же повернуть туда, где горизонт сулил берег. Но зачем? — поразмыслил получше: там могла оказаться Греция или Албания, пограничные воды, всяческие неприятности. Надо, воспользовавшись ветром, поглубже забиться в карман Адриатики. Стрелка барометра, правда, все еще клонилась вниз. Статическое электричество в приемнике все еще вызывало такой непрерывный и громкий треск, что он не мог разобрать прогнозов погоды — ни итальянского, ни нашего.

Но все это было бы неважно, если б хоть на чем-нибудь он мог задержать взгляд. Он воображал различные суда, какие мог бы встретить, но их не было — ни танкеров, ни трампов, ни авианосцев, ни огромных белых пассажирских кораблей, «Микеланджело», например. А какие были в дни его молодости парусники: «Cigno nero», темный, безмолвный, без единого члена команды наверху, будто Летучий голландец, он скользит совсем рядом, со свистом разрезая форштевнем волну, а его паруса так туго натянуты, что кажутся мраморными. Или еще лучше: старая шаланда, груженная до буртика песком, под серым залатанным парусом тяжело и медленно ползет по морю, глубоко осела в воде, и на ней покойный барба [1], с лицом, побагровевшим от

[1] В Далмации так фамильярно называют владельца или капитана небольшого судна. На местном диалекте слово «барба» обозначает пожилого человека, дядюшку. *(Прим. перев.)*

ветра и вина; он выходит из домишка на баке и машет оплетенной бутылью.

Барба, барба,
Где наша Барбара?

Да кому и плыть по такому морю, кроме мертвецов? Что здесь можно встретить, кроме миража? А если б и встретил? Разминулись бы — и уже в следующую минуту не поймешь: было это взаправду или снова обман зрения? А если вдруг нагрянет пограничный катер и на непонятном языке станут у тебя требовать документы, объяснения, выспрашивать цель поездки? Под каким флагом плыву и почему? Под швейцарским, египетским, под нашим? Намеренно или случайно оказался в их водах? Что им отвечать: путаница, мол, нынче с флагами, уважаемые товарищи или господа! Да и времена подошли скверные, мотаемся без ясной цели. Без руля и без ветрил и без документов. И патруль, удовлетворенный таким объяснением, исчезнет в тумане, затянувшем горизонт, добродушно заметив на прощанье: мы только фата-моргана немилосердного бога, ниспославшего на тебя искушения в пустыне. Он даровал тебе надежду, которую в последний миг грубо обрядил в солдатскую форму.

А может, и впрямь уже наступил судный день, мир бесследно исчез и эта штормовая рябь всего лишь эхо прокатившегося землетрясения? Только безжизненные волны, мертвые песчаные дюны и голые каменные горы вздымаются на земном шаре, а нудный ветер кружит по земле, посыпая ее мелким песком смерти. И все окрест — только горизонт: этот колышущийся круг, который я охватываю взором и который со мной в центре плывет по свету.

И он попробовал помолиться богу, чтобы тот послал ему хоть какой-нибудь знак жизни: заплутавший детский мячик, пустую бутылку из-под кока-колы, потерянную кошелку для рыбы, клочок морской травы, как Колумбу. Не Колумб я, господи, и не достоин милости, но и я твое создание. Снизойди и пошли мне чайку, или голубя, или дельфина, все равно. Дельфина пусть и без певца на спине, голубя пусть и без письма, голубку — без оливковой ветви. Мне не символ нужен. Хоть чудовище допотопное, хоть голову морского черта. Только чтобы живое, господи, укажи, что все мы часть сотворенного тобой света.

Бог, как обычно, ответил двусмысленно. На слоистый горизонт стремительно нахлынули грозовые облака, словно пласты черного густого мороженого, и барометр стал падать прямо на глазах, а сквозь изломы волн, которые становились все выше, показалась длинная и ровная береговая линия. Он знал: если хочешь добраться до какой-либо гавани раньше, чем разбушуется настоящий шторм и настанет ночь, следует быстро направиться к этой черте. Теперь он управлял парусами уже не механически, а напряженно следил за их взаимодействием с ветром, словно усилием воли надеялся увеличить скорость движения судна. Солнце то и дело пробивалось сквозь быстро бегущие наплывы туч, освещая на морской поверхности оазисы непрекращающегося волнения воды, которая сейчас снова ощетинилась.

«Если буря настигнет раньше, чем доберусь до берега,— сверкнуло у него в голове,— мне конец».

И тут совсем неожиданно, когда уже волны вставали сплошной стеной и поэтому видимость невероятно сузилась, а судно начало зарываться вглубь, именно в тот момент, когда ему показалось, будто он собственными руками должен выровнять его ход, осадить, как вожжами осаждают разбушевавшегося коня, вот тогда, неожиданно и совсем ниоткуда, в воздухе показался одинокий голубь, словно кто-то чарами заманил его в это место и вдохнул в него душу одним из наиболее жестоких порывов ветра, и голубь, судорожно трепеща крыльями, закружил вокруг креста на мачте, потом немного ниже,

сбоку, между тросами, и бился из последних сил, разыскивая место, куда бы опуститься.

Может быть, в тот первый момент просто от неожиданности мореплавателю лишь показалось, будто на ножках голубя что-то блестит. Может, судорожно скрюченные коготки? Или колечко? Знак некоего орнитологического института? А может, напутствие бога?

Наверно, оттого, что так давно ни с кем не говорил, или со страху, он сразу же, не долго думая, обратился к голубю, как это бывает нередко с нами, когда мы приходим на пристань встречать друга и начинаем кричать, едва заметив его среди пассажиров. Ты почтовый, голубь? *Что на этот раз ты для меня принес?* Тебя кто-то послал ко мне с известием или ты просто подопытная птица для изучения миграций? Голубь вился вокруг мачты, беспомощно падал, когда ослабевал порыв ветра, снова подымался среди надувшихся парусов и разыскивал место, куда бы опуститься и сесть, не решаясь сделать окончательный выбор, серо-фиолетовый, испуганный.

Всего естественней ему было бы опуститься в кокпит, но там стоял человек. Меня испугались бы и малые детишки, предстань я перед ними в таком виде, подумал человек, стараясь не шевелиться, чтобы не испугать голубя.

«Не бойся, садись,— говорил он птице, всем своим телом ощущая ее напряжение,— садись!»

Но руль яростно вырвался у него из рук, судно вставало на дыбы и падало вниз, голубь нерешительно пробовал опуститься то здесь, то там, каждый раз передумывая в последнее мгновение, и уже совсем потерял способность взлетать, потерял ту уверенность, которая при полете, так же как и в плаванье, поддерживается инерцией. Теперь голубь уже готов был ухватиться за что попало, даже за человека, и испуганно-широко раскрыл глазки, судорожно вытянул ножки с крохотными коготками, в которых сейчас не было ничего хищного — просто отчаянье и безнадежность, но в этот миг его обманули предательские потоки воздуха, которые возникли среди парусов, и стремительно отшвырнули от кокпита до самых кормовых тросов, по которым он еще раз беспомощно скребнул крылом и потерял последний шанс уцепиться за что-либо на судне. Шлюп проскользнул прямо под ним, словно кто-то вытащил его из-под птичьих ног, а он, голубь, неудержимо падал, был уже слишком низко или слишком обессилен, еще раз слабо взмахнул крыльями, которые при этом кончиками коснулись воды, а, может, он и не опускался вовсе, а просто в этот миг встала перед ним роковая волна и подхватила его.

И хоть был он всего в каком-нибудь полуметре над уровнем моря, упал тяжело, словно свалился с огромной высоты, распластав для равновесия крылья — необычные, бессмысленные поплавки,— и очень быстро, ах, как быстро, отстал от судна и отставал все больше, покачиваясь на волнах, которые его подымали и опускали; он лежал распростертый на воде, но с поднятой, почти гордо вскинутой головой, на которой сбоку сверкал один невыразительный птичий глаз.

Почти надменно хрусталиками своих холодных глаз он бросал короткие и резкие взгляды по сторонам, и при этом его вытянутая шея вздрагивала, может, презрительно, может, равнодушно, может быть, это просто были нервные тики, свойственные птицам; аристократически, словно орел, он оглядывал случайное место своего пребывания, он — создание заоблачных высот. Но сейчас тело птицы, все, что располагалось ниже благородной шеи, все ее покрытое перьями существо уже было во власти иной стихии, среди которой голубь оказался совсем беспомощным. Высоко поднятая голова и вся его гордая осанка выглядели жалко и нелепо, даже смешно, когда под ногами птицы разверзалась бездна.

Мореплаватель глядел на голубя и не мог прийти в себя от этой неожиданно раскрывшейся перед ним судьбы, он представлял себе

маленькие, бесполезные сейчас птичьи коготки, созданные для другой жизни и совсем для других целей, представлял, как беспомощно они сжимаются, разыскивая точку опоры в холодной, предательской воде, которая медленно, но верно просачивается меж смазанных жиром, но недостаточно смазанных жирком перьями. Море медленно затягивало и охлаждало голубя, подготавливая его к стуже своих глубин, а с морского дна уже неудержимо потянулись к нему злобные, мрачные чудовища, которые до этой минуты дремали, призрачные обитатели морской пучины, совсем непохожие на небесных, более жестокие и хищные, не имеющие ничего общего с нашим миром. Пасти огромных морских ежей, подстерегающие жертву, зубы в рыбьих челюстях, страшные ненасытные полипы, которые вскоре утянут его и поглотят навсегда. У тебя осталась последняя минута, голубь, только минута, чтобы гордо осмотреть свой мир, и потом — ничто.

Может быть, было задумано, что эта маленькая трагедия свершится без свидетелей, и потому в ней все так логично, стремительно и неодолимо? Или этот спектакль разыгран специально для одинокого мореплавателя? Может быть, голубь на окольцованной ноге нес ему наказ, а передал этот наказ своей судьбой, продемонстрированной будто кинофильм?

Мореплаватель смотрел на голубя, который все более удалялся от кормы. Его надо спасти, подумал он, надо что-то предпринять. Как страшно всеобщее равнодушие! Скользнул взглядом вокруг себя, разыскивая кого-то, кто бы должен был, кто бы был обязан помочь птице, но он по-прежнему оставался совсем один, и ответственность падала только на него.

Сейчас. Сейчас. Сейчас. Но море было бурным, ветер крепчал, усталость в костях ужасная. А нужно повернуть судно, переставив паруса, и, ни на минуту не теряя из виду махонькую, едва заметную точку на разбушевавшейся воде, очень короткими маневрами, не рискуя отойти слишком далеко, приближаться к птице до тех пор, пока она не окажется рядом, а тогда развернуть судно бортом по ветру и беспомощную, отяжелевшую от воды взять ее к себе...

По временам он терял голубя из виду, переводя взгляд на небо, чтобы взвесить тучи, оценить силу ветра, рассчитать время. Разве имеет смысл подвергать опасности и себя и судно ради птицы? Потеряю драгоценный час на пути к берегу, а скоро ночь. Но, может быть, буря начнется не так быстро, и, может быть, не так еще поздно. Когда же будет ночь, вопрошал он небо, нетерпеливо рассчитывая получить для себя оправдание, долго ли до ночи? А силы в руках осталось совсем мало. Что же, разве так мало осталось и сочувствия в этом сердце?

Да к чему я понапрасну себя терзаю? — сказал он и несколько совладал с нервами. Если бог немилосерден ко мне, пусть будет таким и к голубю, почему голубь — исключение и какое мне до него дело? Он взглянул на птицу еще раз, мстительно, почти с ненавистью, и готов был от нее отказаться, но, заметив, как беспомощно та качается на волнах, тут же проникся к ней жалостью. Голубь мой, сказал он про себя, искупая и гнев свой, и ненависть, оба мы во власти одного и того же неба и одной и той же пучины, один для нас бог и одно пекло.

А время еще было. Стоило только повернуть руль, зарифлить парус на фоке, лечь на ветер, и в два самое большое в три маневра можно было добраться до голубя, который все еще отчетливо, о, как отчетливо, был виден, правда, уже довольно далеко и удалялся все больше, и волны по временам его скрывали, но все еще, все еще — как страшно он держался! Время от времени мореплаватель бросал взгляд вперед, чтобы увидеть, куда движется, но тут же быстро оборачивался: там ли птица? Да, она все еще видна. Все еще можно сделать то, что нужно. А это нужно? Он должен это сделать? Снова сопоставлял то, что еще возможно и что уже нельзя, взвешивал свою

усталость и свое сострадание, старался определить свои права и свои обязанности, а неодолимое блаженное равнодушие моря, апатия, подобная той, какая, вероятно, овладевает арабами среди пустыни, растекалась по его членам, словно отрава, скапливаясь в суставах, и пеленой заволакивала мозг, а голубь отставал все больше, и все трудней было к нему возвратиться, и уже скоро на его пути наступит страшный миг, уже совсем маленький кусочек пути отделял его от той неразличимой точки, после которой птица исчезнет и уже ничего нельзя будет сделать.

Его все больше охватывала паника. Может, лучше не оглядываться! Да, впрочем, что такое голубь? Птица — и только. Ежедневно их гибнет множество на море, в штормовом ветре, в когтях ястребов да просто от старости! Сколько их погибает, когда нас нет рядом? Меня могло здесь и не быть, я мог быть в десяти милях отсюда, в десяти милях левее или правее, а заплутавший среди моря голубь, как этот, конечно, раньше или позже выбился бы из сил, и, не найдя меня, он закончил бы точно так же.

Хотя, надо признаться, он летел прямо ко мне, и летел издалека, заметив средь пустынного моря мою одинокую мачту. Хотя я, надо признаться, был как раз здесь, а не где-нибудь еще, не в десяти милях справа или слева. Как раз здесь, на этом проклятом месте!

Но он плыл дальше, и проходили минуты, которые на море ничего не значат, часы, которые не значат ничего, дни, годы — и все они ничего не значат на море. Но хотя время до того рокового мгновения можно делить бесконечно, как бесконечно можно делить расстояние, отделяющее Ахилла от черепахи, сам тот миг, после которого уже ничего больше нельзя сделать, наконец наступил и прошел почти незаметно, безобидно, ужасно похожий на все остальные мгновенья, но такой же роковой, как рождение или смерть,— на море все это ровно ничего не значит. Однако с этой минуты плаванье стало чем-то совсем иным.

Шторм постепенно крепчал и бушевал теперь вокруг него полной силой, но это уже казалось неважным и не пугало. Неизвестно почему он чувствовал, что выживет и что осужден жить долго. Впрочем, для подобных предчувствий не было никаких реальных оснований.

Перед его глазами неизменно покачивалась на волнах вытянутая голубиная шея, он все время видел перед собой распластанные, уже намокшие крылья птицы. Может быть, я скоро позабуду об этом голубе — надежда вспыхнула вместе с налетевшей волной,— может быть, море потребует от меня столько сил, что я забуду про него. Но уже в следующую минуту голубь на волнах представился ему как далекое, но неизлечимо горькое воспоминание.

Сейчас, да, да, сейчас, думал он, сейчас захлестнул его гребень волны, сейчас его приметил зубастый морской хищник, и, словно подводная молния, метнулся к нему из глубины, и вот уже, кровожадно дергаясь, потащил за ноги. А может быть, он все еще... все еще... держится на поверхности и окидывает пустынный горизонт холодными кристалликами глаз, на дне которых еще теплится последняя искорка надежды? Может быть, он еще жив, но теперь уже далеко, так далеко, что я его должен забыть?

Он плыл дальше, и с каждой милей в нем росло раскаяние. В конце концов буря оказалась вполне сносной, и времени до темноты хватило. И что хуже всего — времени и сейчас достаточно. Он даже ощутил, что и сил в руках достаточно. Если б сию минуту надо было спасать птицу, я бы ее спас. Почему же все-таки я не спас ее? Конечно, буря могла разбушеваться и провозился бы я с этим долго, а в результате, может быть, погубил бы и ее и себя. Ах, все это отговорки, одни отговорки! Почему же я ее и правда не спас?

И хотя все это случилось совсем недавно, он уже не мог разобраться в том, что произошло. Ему было очевидно только то, что

могло быть и чего так непоправимо не было: если бы я тогда спас голубя и вытащил бы его из воды, мокрого и перепуганного, подержал бы его немного в руках, прижал к себе, как детеныша, а потом посадил бы в кокпит, накормил бы сухарными крошками или бы просто положил здесь, возле своих ног, и пусть бы он лежал, пока не обсохнет и не отдохнет.

Он бы послушно сидел, может быть, понял бы, что я его спас, и поглядывал на меня живыми точечками глаз. Был бы рядом кусочек жизни, дело моих рук. Конечно, может быть, потом, когда бы мы подошли к берегу, он и улетел, неблагодарный и равнодушный к своему спасителю, может быть, он счел бы меня просто удачно подвернувшейся веткой, на которую на минутку присел отдохнуть. Но разве оказаться пусть даже деревом, но для кого-то нужным, такая уж злая судьба? А может быть, он и впрямь остался бы со мной, или потому что мы одни в море, или потому что и животным знакомо чувство благодарности, наверно, бывает и дружба и верность среди голубей, дельфинов, собак? Может быть, тогда я не был бы так одинок — у меня была бы компания. Мы — плывущие по морям: голубь и я.

Может, он уселся бы у меня на плече, гордый своим новым другом, и мы вместе наблюдали бы за волнующейся вокруг нас морской пустыней, среди которой ничего нет ни для меня, ни для него. А может быть, нам было бы абсолютно безразлично, есть в ней что-либо или нет.

Но сейчас я должен его забыть. В конце концов, что это я плачу о голубе, будто о себе самом! Все это просто сентиментальность!

А может быть, дело не только в сентиментальности. Может, я упустил нечто иное. Может быть, бог послал мне с голубем знамение, чтобы испытать меня, и я упустил свой шанс у бога. А может быть, голубь нес завещание какого-нибудь эксцентричного миллионера, письмо, которое бы меня обогатило. Люди так часто мечтают найти на улице счастливый билетик, а когда набредут на него, им лень наклониться и поднять. Может быть, голубь был залогом огромного выигрыша в какой-то бесконечной лотерее.

Разве все приходит к человеку только затем, чтобы сделать его несчастье еще более глубоким и невыносимым? Разве мы и впрямь не способны ничего сделать так, как надо? Голубь бередил его сердце своим клювом, как железной клюкой.

Может быть, именно ко мне был направлен его полет? Может быть, именно в тот момент должно было исполниться для меня все обещанное? Что я натворил, что я натворил, о боже!

И когда, наконец, по прошествии часов ли, дней ли, месяцев ли плаванья, которые на море абсолютно ничего не значат, после долгих, абсолютно бессмысленных лет он увидел берег, тот показался ему эфемерным и лишенным всякого значения по сравнению с живой, открытой раной, которая зияла позади, среди моря.

Перевод Т. ПОПОВОЙ

Как я стал астрологом

В этот пригород, товарищ следователь, я переселился два года назад; поначалу мне казалось, меня на выселки сослали; целый год я прожил одинокий, как пес. Ни с кем словом не обмолвился, кроме госпожи Коки, кассирши из магазина самообслуживания, да и с ней я не то чтобы *разговаривал*, а просто перекинулся с кухонного балкона парой ничего не значащих фраз. Она-то меня по своему добросердечию и пожалела, такого неприкаянного, и поневоле стала всему виной. А я поневоле астрологом заделался. Сподобился, так сказать, новую должность занять в придачу к новому местожительству.

Госпоже Коке я как-то невзначай погадал по руке за чашкой кофе. Госпожа Кока пригласила меня к себе в гости на кофе, и я, с непривычки растаяв от столь близкого общения после своего отшельничества, как бы ненароком взял ее за руку, чтобы посмотреть, какая ей там судьба на ладони написана. Мне этим со школьных лет не приходилось заниматься, когда я с умным видом внушал девицам мысль о том, что линия характера указывает им быть милосерднее к ближнему. Но по отношению к госпоже Коке я ничего подобного и в мыслях не держал: это я из чистой благодарности стал ей по руке гадать, не найдя другого способа сказать ей что-нибудь приятное.

Она же, со своей стороны, была исключительно тронута тем, что кто-то ее за руку взял; по всей видимости и с ней ничего подобного не случалось со школьной скамьи. Ей льстило мое внимание и восхищало заверение в том, что (по моим словам) для нее еще не все потеряно и есть еще кое-какие шансы в жизни. А поскольку госпоже Коке так страстно хотелось, чтобы сбылась хотя бы малая часть предсказанного ей на будущее, она легко проглотила и мои слова относительно ее прошлого. Короче, после нашего совместного кофе госпожа Кока глубоко уверилась в моей магической силе прорицателя. После этого спонтанно состоявшегося сеанса слух обо мне разнесся по всему нашему околотку, как пожар по прериям.

Сначала я и не догадывался о том, что происходит. Я уже и позабыл о своем визите к госпоже Коке. Однако день ото дня я ощущал, как растет моя популярность. Незнакомые женщины стали заговаривать со мной в магазине самообслуживания.

— Господин сосед, не заглянете ли вы как-нибудь и ко мне на чашечку кофе? Я варю отличный кофе,— ворковали мне ласковым голосом, забирая следом за мной проволочную корзинку для покупок.— Договоримся на какой-нибудь день, когда мужа дома не будет. Без него удобнее, сами понимаете.

Столь откровенный призыв, быть может, и озадачил бы меня, однако вы и сами видите, товарищ следователь, что моя наружность не так уж привлекательна—если вообще не отказать ей в этом свойстве,— чтобы давать мне повод возомнить о себе невесть что. Я приписывал взрыв внимания к моей персоне появлению какого-то особого азиатского вируса любезности в нашем микрорайоне. Ну, знаете, этакая повальная эпидемия улыбок.

— Большое спасибо, дорогая соседка... я тронут! Ну, конечно же, как-нибудь заскочу... вы очень любезны...

Но вот однажды под вечер звонит мне в дверь госпожа Ханжек с пятого этажа — она в нашем подъезде собирает квартирную плату. На сей раз госпожа Ханжек явилась, однако, вовсе не за квартирной платой. В атласном черном халате с огромными пунцовыми цветами, ярко-алые губки сложены бантиком, на сигарете отпечатались два розовых лепестка, а в руках кулек кофе в зернах, по меньшей мере на полкило потянет.

— Раз гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе,— говорит она и энергично бахает кулек с кофе на середину стола.— Чего это вы столбом стоите? Кофемолка у вас есть?

— Есть! — рапортую я.

— Так смелите же кофе! — таково было категорическое решение моей посетительницы.

Госпожа Ханжек, подобно полководцу, наметила план действий, так что никому из участников операции не приходилось сомневаться в том, что ему надлежит делать и где находиться. Я кручу жужжащую кофемолку, в стеклянной джезве закипает вода.

— И, пожалуйста, хорошенько обдумывайте ваши слова, прежде чем мне их говорить,— угрожающе предупреждает меня моя гостья, когда я появляюсь из кухни с кофе. И с маху брякает на стол рядом с джезвой ладонь, точно это вовсе не ее собственная рука, а какой-то

совершенно посторонний предмет, не имеющий к ней отношения. И при этом глядит на меня с таким видом, что не поймешь: то ли она тебя к барьеру вызывает, то ли приговора как от доктора ждет.

Я вам откровенно скажу, товарищ следователь, что я не имел ни малейшего намерения хватать за руку госпожу Ханжек. Да мне и подумать о таком было боязно.

— Не умею я гадать,— говорю я ей ласково.— Даю вам честное слово, я ничего не смыслю в хиромантии.

— Ладно, ладно,— бубнит она примирительно.— Не будем прикидываться.

— А то, что я тогда госпоже Коке по ладони погадал, так ведь это так, шутки ради...

— Ясное дело, трезвонить об этом по всей округе не следует,— рассудительно подхватывает госпожа Ханжек,— но уж кому-кому, а мне вы можете довериться полностью.

— Я вам и так доверяю.

— Всем известно, что вы себе из этого доходный промысел не сделали,— продолжает убеждать она меня.— Но просто так, по-дружески, по-соседски... Поболтали люди за чашкой кофе, и кому до этого какое дело.

Между тем госпожа Ханжек по-прежнему держит ладонь на столе и перебирает пальцами, как бы подманивает меня к себе наманикюренными коготками, точно огонечками яркими. Таким-то вот образом я ей и сдался. Госпожа Ханжек не из тех женщин, которым можно отказывать. Спасибо еще, она чего-то другого от меня не потребовала. Сначала я сдался для вида, но вскоре втянулся в игру.

— На первый взгляд вы сильная и энергичная личность,— говорю я, глядя на ладонь,— но в глубине души ваша ранимая натура жаждет взаимопонимания и тепла.

Видели бы вы, как растаяла госпожа Ханжек от этих моих слов, ну ровно сливочное масло размякла. Куда только ее деловая хватка подевалась, куда улетучилась ее твердость — словно бы я ей «вольно» скомандовал. Склонила она голову на свободную руку и смотрит на меня просительным собачьим взглядом. Невозможно обмануть ее надежды, как ты там ни крути. Бесчеловечно это было бы. С таким доверием она на тебя глядит, с такой умилительной мольбой. Мне стало жаль ее с этим ее умащенным кремами лицом в сетке мелких морщин, с этими ее руками, изъеденными стиральным порошком и с ярким маникюром, с этими ее броскими цветами мечты на домашнем халате. Я вдохновился, хотя и сам не знал, чего ради я так старался. Скорее всего я хотел быть искренним, найти такие слова, с которыми вообще можно обратиться к другому человеку.

— Вы отказались от многих своих амбиций, но вы не должны раскаиваться в этом. Ваши жертвы принесут плоды. У вас большие задатки, и вам еще откроются возможности их развить.— Пока я это говорил, то и впрямь представлял себе, как при других условиях могла бы пышно расцвести эта женщина с ее неисчерпаемым запасом энергии; она же просто сияла, преисполненная чувством благодарности, точно бы увидела в моих глазах картину, которую я воображал.

— Ваша сексуальная жизнь переживает в настоящий момент известный кризис, однако в этом пункте вы не должны форсировать события, терпение в соединении с чуткостью и нежностью помогут вам его преодолеть...

Госпожа Ханжек стыдливо запахивает халат на груди. После получасовой интенсивной работы воображения я ощущаю себя полностью опустошенным и считаю себя вправе принять заслуженное вознаграждение за мои труды в виде полукилограммового кулька кофе в зернах и красненькой бумажки достоинством в сто динаров, которую она деликатно подсунула под кулек. Госпожа Ханжек ушла от меня полностью удовлетворенной. Я же почувствовал себя всемогу-

щим и счастливым, товарищ следователь,— еще бы, ведь я мог принести радость людям.

Отныне я не был одинок. Да, это верно, что в основном ко мне приходили женщины. Но я этим не злоупотреблял. Если я поначалу и питал какие-то иллюзии в связи с этим, то они быстро развеялись. Женщины жаждали от меня прекрасных слов, а не конкретных действий. Вскоре я установил, что любовников в нашем микрорайоне хоть завались, а вот маг и волшебник всего один. И поражался, что этот маг — я сам и есть. Это был именно тот случай, когда человеку не остается ничего другого, кроме как исполнять навязанную ему роль, хотя он и не думал ее исполнять. Возможно, таково было мое предопределение свыше сыграть эту роль — откуда мне знать. Вот так судьба бросает тебя в кофемолку и крутит, и тебе уж из нее не выбраться. Хоть ты лопни.

Ах, конверты! Вы только и знаете что о пресловутых конвертах. Предположим, я их брал, эти самые конверты, да, брал, но я же ничего от моих клиентов не требовал, я принимал то, что они мне оставляли. Что же тут преступного. Священнослужители и те не чужды этой слабости. Просто я включился в общую систему: виски я получал как врач, индюшек — как адвокат, а гонорар за фантазию — как концерн «Станоинвест» комиссионные. Да, в газетах полно подобных сообщений, товарищ следователь.

Понемножку я стал втягиваться в свое занятие. Книги стал покупать. Одной хиромантией тут не обойдешься. В этом деле надо универсалом быть, чтобы на уровне работать, освоить астрологию, каббализм, парапсихологию. Словом, специальные познания иметь. Вроде высшего образования. Я и Юнга читал, если вы такого знаете, там у него насчет синхронности пишется. И Каббалу. Таблицы Рафаэля приобрел. Циркулем обзавелся и пластмассовым угломером для исчисления астрального времени и вычерчивания гороскопов. О, с гороскопами возни будь здоров! Я работал как настоящий специалист. А работы тут полно: вы думаете, гороскоп можно составить за час-другой?! Нет, над ним нужно два, а не то и три дня попотеть, если подходить к делу серьезно. Эх, если бы вы, товарищ следователь, не должны были с порога отвергать все это по долгу службы, я бы вам столько всего интересного рассказал, что закачаешься!

Вот, например, взять нашего электрика, он, знаете ли, монтажник, ему приходится работать на линиях высокого напряжения. Является как-то он ко мне и просит узнать, что там ему звезды предвещают, не сорвется ли он? Чем дольше он, мол, работает, тем страшнее ему становится. Иногда ему делается так страшно, что он готов сам отстегнуть страховочный пояс и прыгнуть. В поясах этих страховочных он окончательно разуверился: ни один из них не кажется ему достаточно надежным. Одним словом, он хочет знать, что ему суждено. Я составляю ему гороскоп, смотрю по линиям ладони, гадаю на кофейной гуще — и всюду одно и то же выходит: не сорвется. Говорю я ему: не сорвешься, не бойся. И не просто так говорю, наобум, а со знанием дела утверждаю: не сорвешься. Монтеры ведь просто так, за здорово живешь не срываются, точно спелые груши с ветки.

На всякий случай для очистки совести объясняю я ему, что, мол, я не профессионал и что, если он по-прежнему так уж дрейфит, пусть лучше обратится к врачу. Даже и денег, мол, не надо мне от него, хоть он и сует мне их насильно в карман. Стал этот монтер ко мне регулярно раз в неделю наведываться.

— Посмотри-ка, не сорвался я! — объявляет он торжествующим голосом с порога.— И не сорвусь.— Но для верности, говорит, на всякий случай надо заглянуть, какой там ему прогноз выпадает на следующую неделю.

У меня, знаете ли, возникло такое чувство, что это я поддерживаю его в воздухе.

Он, со своей стороны, чинит у меня в квартире электричество, исправил мне холодильник, поставил антенну. Мы у себя в микрорайоне, товарищ следователь, живем как в первобытной общине. У нас натуральный товарообмен. Ты мне — я тебе. И вот я тоже свое место в этом обществе нашел. Поскольку, как выяснилось, и я тоже обладаю тем, что можно предложить в обмен.

Морочил ли я людям голову? Не думайте, я и сам задавался этим вопросом. Не ввожу ли я в заблуждение своими предсказаниями и себя и других? Ну, какой я на самом деле прорицатель, говорил я себе. Чем глубже проникал я в эту астрологию, тем больше у меня возникало вопросов, а ответов на них не было. Едва найдешь ответ на какой-то вопрос, как встает новый, и так до бесконечности, пока не дойдешь до самых последних вопросов, на которые нет ответа. Вот тогда-то меня и начинала совесть точить: это что же, я знахарством каким-то занимаюсь, что ли, точно шаман какой-нибудь в полинезийском племени,— даю людям советы, осуждаю, утешаю, возможно, порой и развлекаю, хотя я нисколько не лучше и не умнее других. Если бы я их сам заманивал, я бы тогда думал, что по крайней мере я предприимчивей других. А то ведь нет, это они сами... не знаю, как бы это выразить вернее, определили меня на мое место и приставили к моей должности.

Не думайте, товарищ следователь, что я сам себя не спрашивал: а нет ли кого-нибудь, кто действительно что-то знает. Такого звездочета, способного в будущее заглянуть. И что-нибудь увидеть там. Ведь невозможно, сами согласитесь, дальше так впотьмах бродить. Без всякого направления, неорганизованно. Кто-то должен все же отвечать за то, что всех нас ждет впереди. Я имею в виду не только госпожу Ханжек или своего монтера, а всех нас вообще.

Отдельные люди возомнили о себе невесть что, рвутся на любые вопросы отвечать, но далеко на этой форе не уедешь — вышустят пар, а до серьезного дойдет — и молчок! Честно говоря, товарищ следователь, я и сам мечтал до самой сути дойти. Стал я, товарищ следователь, запоем читать. Читаю философию. И что же я вижу, товарищ следователь, философы эти хваленые пишут так, словно на картах гадают. Все, правда, сходятся в одном, говорят, дальше будет лучше. Ну, да ведь и я это своим клиентам обещаю.

И вот однажды открываю я дверь, а на пороге стоит, так сказать, мой коллега. Лощеный господин в классически строгом сером костюме, при галстуке и с кейсом в руках. По всей видимости, чрезвычайно занятой господин, некогда ему отвлекаться на всякие мелочи, ибо, еще будучи в дверях, коллега проверяет время по своим часам, которые он извлекает из жилетного кармана.

— Примите мой поклон, коллега,— говорит он мне и проходит мимо меня прямиком в мою квартиру. Оглядывает комнату с видом будущего квартиросъемщика и произносит с сочувствующим пониманием: «Н-да, впрочем, могло быть и хуже».

Ставит господин на стол свой кейс, пробегает пальцем по моим книгам на полке.

— Н-да, библиотека не бог весть какая богатая,— высокомерно усмехается он, как бы подтверждая этим смешком свои ожидания.— Самые популярные вещи.

Я стою на пороге своей комнаты и постепенно холодею. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что этого субъекта не интересуют никакие пророчества. Я решил, товарищ следователь, что он вашего поля ягодка.

А между тем господин садится за стол с видом налогового инспектора, вынимает из кейса бумаги, раскладывает их перед собой и постукивает по ним золотой авторучкой. При этом он оглядывает меня с головы до пят, как бы предвидя, что платить мне нечем.

— Н-да, импозантности для данного занятия вам явно не хватает,—

произносит он, удовлетворенный результатами осмотра.— Впрочем, перейдем ближе к делу.

— К какому делу, позвольте вас спросить? И при чем тут импозантность?

— Не будем играть в кошки-мышки. Итак, если не ошибаюсь, мы с вами коллеги?

— Вы, стало быть...

— Помимо того, я являюсь заместителем председателя ОАРХа.

— ОАРХа? — изумляюсь я.

— Общества астрологических и оккультных работников Хорватии,— уточняет он, очевидно уязвленный.— Коллеги мы в том смысле, что у меня тут практика по соседству, в Запрудье. Вот что я имею в виду.

Ну, это бог с ним, у меня просто камень свалился с души. Так бы и бросился своему соседу в объятия: салют, брат мой по Зодиаку! Однако мой гость далек от этих братских чувств. И от добрососедских, по-видимому, тоже.

— На последнем заседании Общества речь шла о вас. Был сделан вывод, что вы практикуете без разрешения, но с учетом того, что вы дилетант, вам дается возможность определить свой статус по отношению к Обществу.

— Какой еще статус? — недоумеваю я.— Ведь я же не являюсь...

— В том-то и дело, товарищ, насколько я понимаю, вы не присутствовали ни на одном заседании ОАРХа, и не только не состоите его членом, но даже о нем и не слышали.

Все это он произносит сухим, официальным тоном. Мол, как это ни печально, но факт остается фактом. Я ничего не могу отрицать: действительно я не член и даже не слышал о существовании Общества. Я сел за стол напротив своего посетителя и безмолвно на него уставился. Он на мгновенье снизошел до моего уровня и пригнулся ко мне:

— Все дело, любезнейший, заключается не только в том, что вы практикуете на свой страх и риск и тем подрываете престиж профессии. Вы нарушаете наши корпоративные соглашения.— Тут, как бы вспомнив о своей парламентарной миссии, он снова засек драгоценное астральное время по своему хронометру, извлеченному из жилетного кармана, и с угрожающим щелчком захлопнул его крышку.— Разумеется, никто не запретит вам поступать по собственному усмотрению. Регулировать отношения с органами правопорядка — это ваша забота. Что же касается нас, то прежде всего вы должны себя легализовать. Вступить в Общество, платить членские взносы, после чего вы получите соответствующее назначение и сможете рассчитывать на нашу поддержку. Ведь нельзя же так с места в карьер — и очертя голову в Загреб. Кстати говоря, я неустанно поражаюсь повальному стремлению новичков попасть в Загреб: провинция для начинающего намного доходнее. А вам, насколько я могу судить, и средства не позволяют открыть приемную в Загребе. Помещение тесное, нет ни приборов, ни справочников, ничего! Удивительно еще, что кто-то к вам вообще заходит!

С усмешкой махнув рукой на свой убогий угол, на свою тесноту, я добродушно с ним соглашаюсь.

— Сам удивляюсь! Да ведь это я не всерьез. Составил как-то два-три гороскопа соседским старухам да погадал на кофейной гуще. А об этом вашем цехе я и правда ничего не слыхал... Не знаю ни законов, ни правил.

— В том-то вся и штука! — с воодушевлением подхватывает он.— У вас не научный подход к делу. А мы от своих членов требуем высокой научной подготовки. Это наша цеховая и вообще общественная обязанность.

— Какая еще там научная подготовка,— протестую я.— Все это бабьи бредни, и больше ничего.

Тут он делается страшно серьезным и предупредительным жестом руки как бы ограждается от моего упрямства и легкомыслия.

— С такими взглядами, коллега, вы далеко не уедете,— возражает он мне с негодованием.— Да это же полнейшая бозответственность! Мы требуем от своих членов не только специальной научной подготовки, но и безукоризненных моральных качеств. Вы безответственно относитесь к делу, коллега.

— Да бросьте вы,— прерываю я его.— И кто же у вас является арбитром, кто определяет вашу квалификацию? Уж не вы ли?

— Видите ли, коллега, у меня нет ни времени, ни желания читать вам лекцию,— говорит он и немедленно начинает ее читать, постукивая своей золотой авторучкой с золотым пером по бумагам.— Астрология в настоящее время совершенно не та, что была раньше, в ней произошли существенные изменения, которых вы, коллега, очевидно, не осознали. Теперь астрология поставлена на научную базу. Она становится мощным оружием в руках науки и общества. Астрология перестала быть привилегией господствующих классов, она служит обычному, рядовому человеку. Астрология, выражаясь фигурально, для простого человека есть кратчайший путь к звездам. В старину астрологи, надо признаться, обманывали неграмотный народ, но сама астрология представляет собой совершенно правомерный раздел наших познаний о мире, так что для ее оздоровления потребовалось лишь заменить самих астрологов.

— Почему бы заодно не сменить и знаки Зодиака? — прерываю я его, но он не дает себя сбить.

— Почему бы и нет! — риторически восклицает он.— Если потребуется, современная астрология создаст и новые знаки Зодиака. Вот, например, в новейшей астрологии, возможно, и неуместен какой-то там мифологический кентавр, да еще с луком и стрелами!

— Уж не прикажете ли ему быть с винтовкой?

— Древние греки нащупали правильный путь, введя в астральную символику домашних животных... Это совершенно оправданно, ибо для них сельское хозяйство было главным источником материальных благ.

— Эх, не догадались они Деву заменить стельной кобылой!

— А для нашего времени уместны были бы индустриальные знаки Зодиака. Разные знаки символизируют разные понятия. Скажем, символом для стимулирования сельского хозяйства был бы трактор.

Он так увлекся своей ролью прогрессивного астролога, с таким пылом жестикулировал, что едва не превратил небо в склад промышленных экспонатов. И возомнил, что перекраивает мир, хотя, по сути дела, менял одни названия. Я встал, прервав на середине его тираду.

— Так как же быть с моим вступлением в члены Общества?

— Напишите заявление. Мы рассмотрим,— отвечает он ледяным тоном. Рука застыла в воздухе в порыве оккультного вдохновения.

— А если я не желаю?

— Последствия ваших действий не замедлят сказаться.

С этими словами он встает и щелкает сначала крышкой часов, потом застежками своего кейса и, наконец, вставной челюстью.

— Скажите, эти самые последствия,— спрашиваю я его,— предначертаны мне звездами или вытекают из составленного вами гороскопа?

В одном я должен отдать ему должное — он не терял хладнокровия. Не торопясь, берет он свой кейс, четким шагом идет к выходу и у самой двери еще раз оборачивается ко мне.

— Можешь себе кривляться сколько душе угодно,— совершенно невозмутимо говорит он.— Посмотрим, какую рожу ты скорчишь, когда кто-нибудь додумается донести на тебя властям.

— По крайней мере мне будет известно имя автора,— говорю я.

— По-хорошему с тобой невозможно,— заключает он.— Я хотел с тобой по-человечески договориться, а ты вот как. Ну что ж, твоя воля. Не жалуйся потом, что тебя не предупреждали: по корпоративным соглашениям весь район к югу от новой автострады, между Якушевцем и шоссе, ведущим к аэродрому, принадлежит мне. А ты самовольно врываешься на мою территорию.

— Ах, вот оно в чем дело,— прошипел я.— Вот к чему свелась вся твоя новейшая астрология. К мафиозной круговой поруке, к дележу пирога! Теперь мне понятна твоя забота о моих моральных качествах!

— А ты как думал,— подтверждает он бесстрастно. Нисколько он не оскорблен. Смотрит на меня с недоумением. Ну, что с этим безумцем разговаривать! Коллега пожимает плечами и начинает спускаться по лестнице.

— Вот он, каков твой новый знак Зодиака! — ору я ему вслед, в пропасть лестничной клетки, эхо гулко отдается в глубине.— Вот она какая, твоя научная база! Запрудье мое, Утринье твое! Ну еще бы, ведь вы же профессионалы, легальные работники оккультного фронта!

Однако последнее слово остается, разумеется, за ним. Он останавливается на площадке и, глядя на меня снизу, говорит без тени злобы в голосе с весомостью лица, ощущающего за своей спиной поддержку мощного предприятия:

— Я давно уже понял, что ты ненормальный, но хочу сказать тебе только одно: таких, как ты, наше время давно уже выбросило на свалку!

И уходит.

— Насчет времени мы еще посмотрим! — клокочу я ему вслед в бессильной злобе.— Но тебе я не дамся, дрянь и ничтожество!

Возможно, он прав, товарищ следователь. Я и сам знаю, что теперь везде примерно так же, и по другим специальностям то же самое, так почему же здесь должно быть иначе? Куда бы я ни попал, вечно я оказываюсь на крючке у такого типа вроде этого. Я так и понял, что он меня накроет, как несушку на насесте, и попробуй вырвись от него, будь ты хоть самим мифологическим кентавром! Этот паскуда, естественно, на меня донес, и я против него совершенно беззащитен — еще бы, он легальный актер, иллюзионист, выступает в баре «Ritz».

Меня другое за живое задело, товарищ следователь. Ведь поначалу я этому прохиндею чуть не поверил! Есть еще люди, подумал я. Вот она, золотая заря новой эры нашего ордена! Каково же было мое разочарование, когда я понял, что и в этом ордене одни бандиты. Я уже, можно сказать, находился в преддверии, заглянул в святая святых, но не обнаружил ничего, кроме гнусности. И вдруг с ужасом осознал, что на свете нет никого, кто разбирался бы в нашей науке больше меня самого. Кто знал бы ответ на самые последние вопросы. Неважно, какой вывеской прикрывается фирма. Какие бы имена ни приклеивали к знакам Зодиака. Все одна пустая болтовня и ложь, как у этого фальшивого проповедника. Но вот найти ответ на последние вопросы — это все равно что проникнуть взглядом в черную дыру, которую, говорят, открыли во вселенной. Перед ними все равны, будь то Цельсий, Парацельс, Эйнштейн или Апокалипсис.

Я, товарищ следователь, могу считать себя астрологом с таким же правом, как и всякий другой из нашей братии. А возможно, и с большим основанием, потому что я зла никому не желаю, как, например, этот вылощенный скорпион! Если кто-то считает возможным говорить что-то людям, то с таким же успехом и я это могу! Потому что даже

если в этих самых звездах ничего такого магического нет, а значит, нет и настоящих астрологов, то тогда и я не хуже других. Достаточно я на своем веку людей перевидал, книг перечитал, поднабрался ума. Гадальщик, он для того и существует, чтобы гадать! Покуда есть на свете такое ремесло, покуда в нем люди нуждаются, покуда они по доброй воле обращаются ко мне и верят мне, до той поры я вправе им гадать. Ну, а насчет угрызений совести и сомнения в своих силах — так это нормальное явление, в любой профессии это есть. Я вам больше скажу: ведь и шаманы, и библейские пророки, и философы — все они тоже из одного теста слеплены! Они точно так же, как и мы, впотьмах блуждали, товарищ следователь! Ох уж эти мне прорицатели! Да, никакое образование или даже членство в астрологическом Обществе не может этому научить! Не то чтобы я себя с ними сравнивал, боже упаси, но все же, возможно, и я на своем скромном, нижайшем уровне могу что-то полезное этим нашим людям сказать, раз они так жаждут меня слушать, раз они требуют, чтобы я с ними говорил. Я же не плету им небылицы, а просто говорю от себя то, что знаю и думаю. Возможно, я и ошибаюсь, но если все решительно астрологи врут, значит, настоящих астрологов вообще на свете нет.

Эх, товарищ следователь, быть бы мне астрологом супервысшего уровня! Я бы тогда угадывал по звездам будущее целых народов, я бы предсказывал армиям исход предстоящих сражений, а банкирам заранее сообщал бы биржевые курсы! Но что поделаешь, если я самый заурядный, рядовой астролог скромного таланта: я предсказываю кассирше из магазина самообслуживания, выйдет ли она замуж или нет, подручному мясника — суждено ли ему стать оптовым закупщиком, электромонтеру — сорвется он или нет. Мне нет нужды составлять для этого специальные гороскопы, я знаю наперед, чего они ждут от меня и что ждет их в жизни.

Иной раз меня бесит то, что им так мало нужно и что я так мало могу им обещать. Я совершенствуюсь в своем искусстве, неустанно повышаю свой уровень для их же блага, а им достаточно, чтобы кто-то взял их за руку и выпил с ними чашку кофе, чтобы скоротать послеобеденную скуку, им достаточно увидеть червонного туза в картах, и они поверят во что угодно! Это меня страшно угнетает. Тогда-то я и начинаю больше всего промашки бояться. Человек теряет уверенность в своих силах, когда осознает бесполезность своего жизненного предназначения. Невозможно одной только практикой продержаться. Я воображаю ученого астролога, которому дано заглянуть во мрак той черной дыры, не испытывая при этом ужаса. Меня же охватывает страх, стоит только подумать об этом. Но моим клиентам, в сущности, так мало нужно.

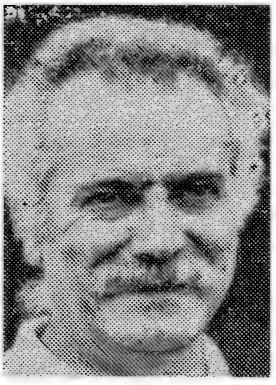
Я не хочу этим сказать, что то, что я им даю, вовсе бесполезно. Возможно, я и не способен дать им больше. Однако и этой-то малости, которую они могут извлечь из моих слов, они нигде не получат и не найдут ни в каком другом месте. Если бы вы только видели их глаза, товарищ следователь! Сколько в них мольбы, надежды, сколько собачьей благодарности! Я купаюсь в их благодарности, как они купаются в звездных лучах на моих сеансах. А сказать по правде, товарищ следователь, мне и самому частенько приходит на ум, что надо было бы изобрести новый Зодиак, приспособленный специально для моих клиентов. Проблема состоит в том, что звезды плохо видны из-за смога, спутников и электричества. Старые знаки не соответствуют сегодняшнему звездному небу. Земные наши представления устарели. На небосводе проступают незнакомые контуры. И в них никто не может разобраться. Мы все находимся в растерянности. Астрологам приходится прямо-таки на ощупь шарить по небу, поминутно рискуя провалиться в какую-нибудь черную дыру. Вот в чем состоит реальная проблема, а не во мне!

Признаюсь, товарищ следователь, да, я этим занимался. Но не вижу в том большого греха: я никого не обманывал и не превратил свое ремесло в источник дохода, это совершенно очевидно явствует из моего стесненного материального положения. В то время как мои доносчики создали целую корпорацию, объединились в мафию и объявили монополию на космическую премудрость. Я признаю также и то, что мое искусство астролога заслуживает самой скромной аттестации и, возможно, даже не является искусством. Знаем мы много, но еще больше мы не знаем. Но ведь так и во всем другом. Астрология ненадежна, предположим, это действительно так, но возьмем медицину или, например, астрономию! Признаюсь, я суеверен не менее, чем те, кому я гадаю, но это неспроста, в этих предрассудках есть какой-то смысл, связывающий людей с нашей паскудной вселенной. Я отдаю себе отчет, товарищ следователь,— вы по долгу службы обязаны считать, как святой Августин, что мы не можем переложить ответственность за наши поступки и нашу жизнь на звезды, а должны отвечать за них тут, на земле. Лучше, мол, под ноги взгляните, а то как бы вам не провалиться в сточную канаву, если будете слишком долго пялить глаза на небо. Но много ли нам надо от этих самых звезд! Да самую малость. Вам это и свидетели подтвердят: госпожа Кока, кассирша из магазина самообслуживания, госпожа Ханжек, мой мясник, электромонтер, который по сю пору, прошу заметить, товарищ следователь, не сорвался. И не сорвется, пока я нахожусь на своем посту и буду внушать ему, что он никогда не сорвется. А если меня не станет, кто же ему это втолкует?

Вы, товарищ следователь, указываете мне на существование закона. Законы вам, конечно, лучше знать, вы по этим законам и судите, но вы в него поглубже загляните, в этот закон, посмотрите, что в нем написано, разберитесь, как его трактовать, а тогда уж и решайте. Может быть, по закону я и виноват, раз вы так утверждаете. Но перед этими вот свидетелями, перед всем моим микрорайоном я себя виноватым не считаю.

Перевод Т. ВИРТЫ

■



ЖОРЖ БРАССАНС

С французского

Евтерпа, по всей вероятности, и не предполагала, что утвержденное ею однажды божественное сочетание слов и струн начнет распадаться, почти погибнет, но возродится вновь именно в нашем электрифицированном, жестоком и расчетливом веке, обретет новый смысл и мощную власть над людскими душами.

Слова и струны, разъединенные было, соединились. Слова и струны — если иметь в виду высокую поэзию и музыку, сопровождающую ее, извлеченную самим поэтом из слова.

Возродился жанр — предмет споров и вдохновенных размышлений. Вполне вероятно, что возник-то он из тревог наших дней, из нашей острой потребности оглянуться на самих себя, задуматься над своим земным предназначением. Возродился как противовес чистой и бездумной развлекательности.

В каждой стране, где он обрел крылья и силу, он соответствует духу своего народа, его поэтическим и музыкальным традициям. Так уж сложилось, что во Франции он проявил себя особенно ярко, но пик его связан прежде всего с именем Жоржа Брассанса — поэта замечательного, истинно французского, а потому и общечеловеческого.

Он трудно шел к нам. Его поэтика сложна и специфична. Покуда вспыхивали и сгорали многочисленные, не слишком убедительные его собратья, он шел к нам.

Эта небольшая публикация уже не первая на русском языке, но не будем считать свою задачу выполненной — стремление к идеалу приближает успех.

Булат ОКУДЖАВА

Великий Пан

1

В дни правленья великого Пана
Боги древности пьяниц любили,
И при звоне веселом стакана
Сонмы духов на землю сходили,
Краснорожие не были робки,
Высоко бурдюки поднимали,
Искрометную влагу лакали,
Шли на звук вылетающей пробки.
И любое вино было освящено
Добродушным Селеном, давало оно
Лоск и самым ничтожным гулякам,—
Каждый пьющий считал себя Вакхом.
Но дотошная шайка ученых мужей

С воплем «Эврика!» разогнала всех взашей,
И заоблачные чертоги,
Оскорбившись, покинули боги.
И сегодня еще веселящий дурман
Кружит слабые головы людям,
Но о помощи свыше забудем:
Спился Вакх и скончался таинственный Пан.

2

Если двое счастливых влюбленных
Приникали друг к другу во мраке,
Сонмы духов слетали бессонных
Со свечой к ним, заботясь о благе
Этой парочки глупой, считали
Поцелуи в тени занавески,
Сонмы духов с полей Елисейских,
Из таинственной, призрачной дали.
Ах, любовная страсть, ею тешились всласть
Афродита, Эрот и компания, власть
Их сильна, и девчонка считала,
Что всесильной Венерою стала.
Но дотошная шайка ученых мужей
С воплем «Эврика!» разогнала всех взашей,
И заоблачные чертоги,
Оскорбившись, покинули боги.
И сегодня нас тешит любовный обман,
И любовные правила те же,
Но приходят нам боги на помощь все реже,
Нет Венеры, и умер таинственный Пан.

3

А когда наступал расставанья
С жизнью миг, самый горький на свете,
Сонмы духов слетали с рыданьем
К умирающим — в саван одеть их,
Присылали за умершим лодку,
Чтоб доставить его куда надо,
Смерть и мука была, и услада,
Умирали достойно и кротко.
И покойник любой окружен был толпой,
И Харон, и Плутон проступали за тьмой
И ничтожнейшего провожали,
Словно гостя, в обитель печали.
Но дотошная шайка ученых мужей
С воплем «Эврика!» разогнала всех взашей,
И заоблачные чертоги,
Оскорбившись, покинули боги.
И сегодня страшит нас предсмертный туман,
Но посмертного переселенья
Не обещано нам, пробужденья.
Смерть бездушна, и умер таинственный Пан.

Есть еще один бог, погруженный во тьму,
Представляю себе, как тоскливо ему.
Нам увидеть еще предстоит, как Христос
Говорит, покидая Голгофу:
«Эти типы не стоят страданий и слез
И готовят себе катастрофу».

22 сентября

Так как двадцать второго ушли сентября
От меня вы, листок этот календаря
Каждый год орошаю соленой слезою.
Вот он снова пришел, этот день, но, увы,
Я спокоен, меня не взволнуете вы,
Наплевать мне на двадцать второе.

Не вернется та скорбь по осенним листам,
Та душа, в вашу память с дождем пополам
Тосковавшая, время сырое.
Пусть листву хоронить направляется в сквер
Со своими улитками милый Превер,
Наплевать мне на двадцать второе.

И за легкою ласточкой множество раз
Устремлялся по следу я — в память о вас,
Рисковал, как Икар, головою.
А теперь образумился — ласточка, прочь
Улетая, не делает осени. В ночь
Сплю спокойно на двадцать второе.

Ах, букетик бессмертников, к ним привязал
Ваших кружев клочок, был он розов и ал,
Их держал на окне пред собою.
А теперь подарить я любому готов
Эти жалкие тени бессмертных цветов.
Наплевать мне на двадцать второе.

Сердце спит, погружаясь в осеннюю тьму,
Равноденствие осени больше ему
Не грозит нестерпимой тоскою.
Угли теплятся, слабым согреты огнем,
Не поджарить и пары каштанов на нем.
Наплевать мне на двадцать второе.

Я грущу — и мне грустно, что вы ни при чем.

Перевод А. КУШНЕРА

Стансы домушнику

Мастер и гений по части домовых краж,
Класс показавший, ограбив квартиру мою,
Я, сочинитель куплетов, на этот раз
Новую песню, тебе посвятив, пою.

Дверь на прощанье ты плотно закрыл за собою,
Чтобы бродяги не вздумали сунуться вслед.
От плагиаторов нынче не стало отбоя,
А настоящий художник — всегда раритет.

Ты пренебрег не случайно дареным портретом,
Чем обнаружил природный взыскательный вкус.
Ты бы, дружище, стал признанным авторитетом
В качестве критика в сфере изящных искусств.

Чтя ремесло, ты не тронул в квартире гитару.
Тонкому такту в тебе я особенно рад.
Вор понимает артистов, поскольку недаром
Был им от века по вольным профессиям брат.

Словом, добро попадает в хорошие руки.
Зла не тая, откровенно тебе говорю:
В память о доме по случаю нашей разлуки
Все, что украдено, я тебе просто дарю.

Пусть мой подарок не кажется скрытым укором.
Если бы песни однажды меня подвели,
Я ведь, наверное, тоже бы сделался вором,
Мы бы с тобою на пару работать могли.

В торге со скупщиком будь начеку непременно,
Чтобы добычу ему не отдать за гроши,
Стой на своем, назначай настоящую цену,
Помни, что хуже последних воров торгаши.

Я отношусь к полицейским с известной прохладой,
Так что донос мой, приятель, тебе не грозит,
Но все равно повторяться со взломом не надо,
Был бы банален повторный незваный визит.

Не упрекай себя, друг мой, за то, что случилось.
Да охраняет Меркурий тебя от тюрьмы!
Я не внакладе — ведь новая песня сложилась,
Оба, выходит, с удачей и прибылью мы.

Кстати, постскриптум. Уж если ты вор по натуре,
Вор по призванью, короче, породистый вор,
Быть тебе домохозяином, в чьей клиентуре
Будет когда-нибудь сам господин прокурор.

Завещание

1

Как будто ивовые кущи,
Поникнет день последний мой,
Когда господь наш вездесущий
Мне скажет: «Следуйте за мной!»
И поведет в немые дали,
Туда, где нету ничего...
Как знать, не спилена сосна ли
Уже для гроба моего?

2

Я встречу смерть легко и просто,
Но постараюсь как-нибудь,
Чтобы дорогой до погоста
Стал все-таки окольный путь.
Я вовремя из дома выйду,
А все же не поспею в срок
И прогуляю панихиду
Свою, как школьники — урок.

3

Но прежде, чем бесплотной тенью
Меня возьмет к себе господь,
Последний раз до обалденья
Влюбиться бы в земную плоть,
Твердить «люблю» и ждать улыбки
В ответ, гадать, пока живой,
Не по могильной маргаритке,
А по ромашке луговой.

4

Господь судил, чтобы подруга
Моя, поплакав надо мной,
Нашла со временем супруга
И привела ко мне домой.
Пусть это будет муж, который
Как будто создан для семьи,
И пусть ему придутся впору
Халат и шлепанцы мои.

5

Пусть пьет мое вино, ночами
Пусть греет брачную кровать,
Но только кошек пусть ногами
Моих не вздумает пинать.
Хотя я, в сущности, беззлобен,
Но кошек мужу не прощу,
Я призраком из преисподней
Вернусь и страшно отомщу.

6

Засим пора поставить точку.
Во прах осенний лист летит,
И на моих дверях листочек
«Ушел на кладбище» висит.
Примкну к ушедшим поколеньям,
Зато уж, ставши частью их,
Потусторонним исцеленьем
От хворей исцелюсь своих.

Имею честь не предлагать себя в супруги

Не повергай Амура в дрожь,
Приставив к горлу, словно нож,
Его же стрелы,
Амур бывает отомщен
Тем, что любви лишает он
За это дело.

Прими любовь
Такой, как есть.
Зачем ей штамп
И закорюки?
Имею честь,
Имею честь
Не предлагать
себя в супруги!

Когда кончается роман,
Твердят девицы про обман
Не потому ли,
Что кто-то, залучив в кровать,
Не пожелал их приковать
Навек к кастрюле?

Состарившись от суеты,
Стоит Венера у плиты
В своем халате,
А из цветов былых полей
Лишь одуванчик дорог ей,
И то в салате.

Охладевает пыл мужчин,
Что прежде милых Мелюзин
Боготворили,
Так меркнет почерк нежных строк,
Когда закладкой стал листок
В «Кулинарии».

Плоды запретные таят
Особый вкус и аромат,
Но, к сожаленью,
Они теряют тайный мед,
Когда начнешь варить компот
Или варенье.

Ты мне нужна не для услуг.
Среди служанок и прислуг
Любви не место,
Любовь останется со мной
Вечноневенчанной женой,
Всегда невестой.

Прими любовь
Такой, как есть,
Не надо мне
Другой подруги,
Поэтому
Имею честь
Не предлагать
Себя в супруги!

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

Просьба быть похороненным на пляже в Сете

Поскольку до меня доходят слухи,
Что вздумалось злопамятной Старухе
Припомнить мне неявки на свиданье,
То, поразмыслив, я почел за благо
Предусмотрительно взять ручку и бумагу,
Чтоб данное составить завещанье.

Пусть, в синеву Лионского залива
Перо макнув, нотариус красиво
Поставит росчерк на бумаге белой,
Скрепивши завитушкой что-то вроде
Обыденного «Дела о разводе»,
На этот раз моей души и тела.

Душа, простившись горестно со мной,
Сама попасть сумеет в мир иной,
А телу, коль оно на этом свете,
Пусть уж друзья мои возьмут билет
На скорый поезд, что помчится в Сет:
Оно ведь родилось когда-то в Сете.

Наш сетский склеп дошел почти до точки,
Брассансов в нем — пардон! — как сельдей в бочке.
Да и теснить покойников негоже,
Пикетчиком слоняясь у могилы
с плакатом: «Дорогие старожилы,
Мол, уступите место молодежи!»

Я б предпочел, чтобы друзья мой прах
Зарыли бы от моря в двух шагах,
У самой кромки тихого прибоя,
Чтобы совсем как в детские года
Дельфины приплывали бы сюда
И звали бы играть меня с собою.

Нептун всерьез — и это справедливо —
Не принимает нашего залива,
Здесь не опасны шквал и гром,
Поэтому, когда порою спьяну
Крушенье тут приснится капитану,
Он лишь одно кричит: «Спасайте ром!»

А юность принимает все всерьез.
Я помню вкус соленых брызг и слез,
Когда впервые с маленькой наядой
Я здесь вкусил любви запретный плод,
Тогда еще не зная наперед,
Какого я отведал яда.

Надеюсь, что невольное сравненье
Не вызовет упреков в непочтение
К величию бессмертного поэта,—
Я с метром Валери отнюдь не спорю:
Моя могила, правда, ближе к морю,
Но он бы сам простил меня за это.

Я бы хотел, чтоб не сочли за труд
Мои друзья и посадили тут
Сосну, желательно с раскидистою кроной,
Тогда бы даже в самый жаркий зной
Подольше можно было бы со мной
Им посидеть под хвоею зеленой.

На ярком берегу мой мирный прах
Не станет навевать тоску и страх,
Но, оживляя сетские пейзажи,
Мой холмик будет скорбен, видит бог,
Не больше, чем песочный пирожок,
Что вылеплен ребятами на пляже.

И прилетят ко мне из дальней дали
То северные ветры, то мистрали
И отовсюду принесут с собой
Канцоны, тарантеллы и фанданго,
Шансоны, пасторали или танго,
Я буду рад мелодии любой.

А если дремой юную ундину,
На холмик мой прилегшую невинно,
Сморит внезапно полудневный зной, —
Прости тогда, всемилостивый боже,
Прелестницу за выбранное ложе,
Меня же — за посмертный трепет мой.

Величественный прах Наполеона,
Унылые мужи из Пантеона,
Бедняги из блистательных когорт,
Завидуйте счастливчику, который
Просил похоронить себя у моря
И превратил небытие в курорт.

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА и Н. ЯКИМОВА

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Шансонье, композитор и поэт, Брассанс еще при жизни стал на своей родине легендой, без него уже невозможно представить себе французскую культуру.

В нашей стране Брассанса знают пока главным образом как представителя плеяды известных французских шансонье. Брассанс действительно все свои стихи пел со сцены, но только этим его громадной популярности не объяснишь — он не обладал актерским даром и силой голоса Эдит Пиаф, неистовостью Жака Бреля драматическим лиризмом Жана Ферра. На сцене он держался скромно, пел несильным приятным баритоном, театральных приемов в своем исполнении избегал.

И все же Брассанс выделялся даже среди ярчайших фигур французской эстрады XX века. Исполнитель собственных песен — явление во Франции почти заурядное, но, пожалуй, поэты масштаба Брассанса на сцене с гитарой еще не появлялись. Пение стихов было для него не данью моде, а возвращением поэзии к первозданному лиризму, к античной традиции, когда поэтом был тот, кто сочинял стихи и пел их, аккомпанируя себе на музыкальном инструменте.

Брассанс был поэтом иронической мысли, острие которой направлял против французского буржуа. Своим издевательским смехом он протестовал против условностей, лжи и уродств общества, в котором жил. За нарочитой грубостью и саркастическими эскападами чувствуются тоска и смятение, боль и горечь.

Представленные в нашей подборке «Стансы домушнику» — весьма характерная для Брассанса социальная сатира. Филиппики в адрес порока (в данном случае его олицетворяют толстосумы и власть имущие) не во вкусе поэта, его оружие — тонкая ирония.

В этом стихотворении различима еще одна очень важная особенность поэтического дара Брассанса. В его стихах органично сочетаются грубоватый язык и чистый парнасский слог, речь парижского клошара и средневековые стансы.

Сближение возвышенного и обыденного является существенной чертой и лирики Брассанса.

Он часто эпатировал слушателя неожиданными ходами и сравнениями, подчас грубостью, но в этом насмешнике крылась трогательно-нежная душа.

Лирика Брассанса парадоксальна — он, например, пишет не столько о любви, сколько о том, что ее омрачает («22 сентября», «Имею честь не предлагать себя в супруги»). Создается впечатление, что один из самых дерзких поэтов Франции стыдится прямых лирических признаний. Но противоречия в этом нет: смысловой и речевой парадокс, поэтическая «бравада» Брассанса — лишь способ добраться до простых и подлинных чувств, смести с них шелуху лжи и лицемерия. Зная это, уже не удивляешься, что в стихотворении «Великий Пан» воинствующий атеист Брассанс свою тоску по добрым и естественным отношениям облекает в форму прославления языческих богов.

Как любой большой поэт, Брассанс неотделим от своей национальной культуры. При внимательном чтении почти в любом его стихотворении можно найти переклички (зачастую полемические и даже пародийные) с французской поэзией — от средневековых лэ до наимоднейшей современности. Брассанс доступен и без расшифровки аллюзий, но понимание его литературных намеков придает чтению дополнительную глубину и объемность. К примеру, стихотворение «Просьба быть похороненным на пляже в Сете» приобретает новое измерение, если читатель знаком с «Морским кладбищем» Поля Валери.

Брассанс умел иронико-философски отнестись к жизни и смерти, причем не только к смерти вообще, а и к своей собственной. Им написано несколько стихотворных завещаний (как здесь не вспомнить Франсуа Вийона), два из которых публикуются в нашей подборке. Самое позднее по времени — и уже, к сожалению, выполненное — это упоминавшаяся «Просьба быть похороненным на пляже в Сете»; Сет — город на средиземноморском побережье Франции, в котором родился, провел юность, а теперь и похоронен Жорж Брассанс. За насмешливо-лукавым тоном этих строк встает образ по-галльски едкого острослова, мудрый смех которого будет жить с нами всегда,

Ю. ЗДОРОВОВ

■

ОСВАЛДО ФРАНСА ЖУНИОР

Бразилец Жорже

ПОВЕСТЬ

Перевод с португальского ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

...Вы ж знаете, как это бывает. Она села напротив меня, закинула ногу на ногу и стала разговаривать, обо всем расспрашивать. А я такой усталый был, что ничего не хотел, только бы сидеть не двигаясь и дремать. А она говорила и говорила. Разрез белого платья открывал ее ноги чуть ли не до самого верха. Ноги загорелые, даже чересчур загорелые — так под солнцем не загоришь, да и все эти дни дождь шел. Но она женщина особая. То, что она женщина особая, видно с первого взгляда, хотя бы по тому, как она закидывала ногу на ногу.

Потом она взяла с магнитофона какую-то коробку. Что это за коробка, я понял не сразу, а тогда, когда она достала из нее сигарету и, держа ее в руке, спросила, нет ли у меня спичек. Но я как сидел молча, так и продолжал сидеть молча. Тогда она позвала служанку. Служанка явилась вся в белом, даже на голове что-то белое было накручено, и принесла спички.

А я все сидел и не шевелился, и видел перед собой ее, дону Элену, здесь, в этом зале, куда плотные занавески не позволяли заглянуть солнцу, теплому солнцу после стольких дней дождя. Там, на улице, оно сверкало и заставляло меня щуриться, пока я не вошел сюда. Я видел дону Элену с сигаретой в руке. А она говорила и рукой себе помогала говорить, точно ее слушало много народа. В доме было прохладно. И мне приятно было сидеть в мягком кресле и думать о тех днях, что я провел в дороге, о глине и дожде, когда и минуты не было, чтобы вот так спокойно посидеть. Вспоминая все это, я хотел только сидеть, и сидеть как можно дольше. Мне было очень приятно слышать голос доны Элены и видеть в полутьме ее руку с сигаретой и закинутую ногу, открытую чуть ли не до самого верха.

Я подумал: может ли она знать, где в этот час ее сеньор Марио? Но решил, что не может, и даже обрадовался: ведь сил у меня не было никаких, не было ни на что. Разве вот так сидеть, вспоминая те дни и тот дождь, что лил не прекращаясь еще до того, как я вынужден был отправиться в эту поездку. Все ждали: вот-вот он кончится, но он лил и лил много дней подряд, все вокруг размывая и затопляя. Даже то, что было отремонтировано, снова приходило в негодность,— например, асфальт там, напротив здания тайной политической полиции, то есть рядом с каналом. А ведь это был новый, всего неделю назад положенный асфальт. И даже сток, цементный сток, по которому должна была стекать вода, чтобы не затоплять улицу, тоже был размыт. Я проезжал мимо того места в грузовике и вынужден был свернуть, увидев провалившийся асфальт,— от асфальта только жалкая кромка осталась, и то у самого здания. Мне лично

было ясно, что асфальтировать нужно заново. Хотя опять же гарантии никакой. Какая гарантия при таких дождях?

Вот как обстояли дела, когда сеньор Марио — мой хозяин — послал за мной и я пришел в его кабинет, дверь которого была открыта. Другая, тоже открытая, вела к бухгалтеру. И, скажу вам, не понравилось мне там сидеть и смотреть на этого бухгалтера — маленького, толстого, все время облизывающего губы после того, как он давал задания машинисткам. Я даже отвернулся от него.

Наконец появился сеньор Марио — сеньор Марио, видно, очень торопился, потому что на ходу сказал мне, что Луис прислал телеграмму, и принялся искать ее на столе, перебирая все бумаги. Потом полез в ящик. Но тут же, сунув руку в карман, протянул телеграмму мне. Сам же подошел к телефону и стал разговаривать со своей толстой блондинкой и извиняться, что опоздал. Я прочел телеграмму, в которой Луис сообщал, что он застрял в Каратинге и из-за размытых дорог не может двигаться дальше. Сеньор Марио продолжал болтать с блондинкой, и когда он положил трубку, я обратился к нему, но он уже опять поднял трубку. Теперь он разговаривал со своим другом Друммондом. Я понял, что сеньор Марио опоздал и Друммонд не хочет больше ждать. А сеньор Марио настаивал, чтобы тот его подождал еще только минутку — он, мол, уже выходит,— и тут же повесил трубку. И со мной разговаривал на ходу — говорил, что я должен ехать и вызволять грузовики. Я сказал, что дороги размыло... Но он шел к машине, а я за ним, и он говорил, что дал слово: груз будет доставлен до открытия маслозавода. А до открытия оставалась неделя. А «идиот Луис» не понимал, что это — ответственное дело, как не понимает и того, что он, сеньор Марио, дал слово, что груз придет вовремя. До этого-то «вовремя» и оставалась неделя, и мне нужно было ехать вызволять грузовики, чтобы исполнить его обещание. Я ему опять про дороги. Но он очень опаздывал и торопился. И уже включив зажигание, повторил, что дал слово, что грузовики придут вовремя и что я должен ехать в Каратингу и привести их любым способом туда, куда следовало. Машина сорвалась с места, потому что он «очень опаздывал», но все-таки он успел меня попросить, чтобы я позвонил доне Элене и сказал, что он должен ехать улаживать одно дело в... Тут он подумал и сказал:

— В Дивинóполисе. Скажи, в Дивинополисе.

...И что он совсем не знает, когда будет обратно. И еще чтобы я не забыл, что то дело, которое он должен улаживать, «важное, понял?!» Вот так. Но заметьте, это самое должен был я сказать ему о грузовиках, застрявших в Каратинге.

Да ведь уже тогда, когда Луис отправился за маисом, дождь такой шел, что ясно было — размоет он дороги. Уже тогда Луис должен был ехать по той, что идет на Жуис-де-Фора: мост-то еще был цел. А он сообразил это поздно, вот и послал телеграмму. Но сеньор Марио дал слово, что маис будет доставлен вовремя.

Получив распоряжение хозяина, я пошел к бухгалтеру и сказал ему, чтобы тот открыл сейф и достал нужные мне деньги. Но я вынужден был повторить, зачем пришел, повторить несколько раз. Этот тип ничего сразу не делает. Он уставился на меня, продолжая сидеть за столом и перебирать бумаги, шевеля своими маленькими толстыми ручками с короткими пальцами. Я опять повторил, сказал, что он должен открыть сейф и достать мне деньги и что я очень тороплюсь. Потом, конечно, он открыл сейф, и я взял денег столько, сколько посчитал нужным, но прежде он спросил меня, зачем мне деньги. «Нужно»,— ответил я. Тогда он сказал, чтобы я подождал немного, дескать ему необходимо оформить выплату. Я стал ждать, а он подошел к девице-секретарше и продиктовал ей расписку на полстраницы от моего имени. В ней говорилось даже о том, что ему неиз-

вестно, «для какой цели нужны» взятые мною деньги. Потом он взял бумагу, прочел вслух и спросил, согласен ли я. Я посмотрел на него, а он, маленький, толстый, как обычно облизывал губы после каждого слова. Я подписал бумагу и вышел.

Из конторы я отправился в гараж, где стояли бетономешалки,— хотел, чтобы там все было в порядке к моему возвращению. А то ведь случись что без меня — сеньор Марио пригласит шофера или механика и распорядится в спешке, как очень занятой человек, чтобы исправили то, что вовсе исправлять и не нужно. Мне кажется, что у него на дело времени остается все меньше и меньше. Ведь он так спешил, что о грузовиках, которые нужно было вызволять из беды, говорил на ходу. А спешил он, хоть я и не знаю, по каким делам, но только не по рабочим. Уверен. Спешил так, что жене его я должен был давать объяснения о его отъезде. Надо же, до чего дошло. И это уже не в первый раз. Прошлый раз, когда он ехал в Рио, все с этой же блондинкой, доне Элене звонил опять-таки я.

Дело с грузовиками было серьезное. А тут минуты не нашлось подумать, как его разрешить. Он-то уехал, а я стал прикидывать, как же провести в Бело-Оризонте восемь грузовиков с таким большим грузом и под таким проливным дождем, который как пить дать все дороги размоет. А ведь на каждом грузовике было по тридцать тонн маиса. Я ж сам и подсчитывал, по сколько тонн закупленного маслозаводом маиса придется на каждый из восьми грузовиков. И до сих пор не понимаю, почему заводские не хотели, чтобы маис отправили поездом. Вот и результат: сеньор Марио дал слово, что груз придет вовремя, а грузовики застряли в Каратинге. Он ведь не поговорил со мной как следует — так торопился: ему же надо было захватить эту блондинку. А дождь-то лил и лил, и не было дороги, по которой можно было бы проехать. Все кругом залито, затоплено водой.

Из гаража я позвонил доне Элене. Поговорил с ней и задумался об этой самой спешке сеньора Марио. И о его блондинке, что с ним должна была ехать. Блондинка носила в ушах такие огромные кольца, что они скорее походили на браслеты, чем на серьги, выщипывала брови и на их месте рисовала черные толстые линии. И спала с открытым ртом. И еще скажу вам: говорила она так громко, ну просто кричала, точно весь мир был глухим. И любила распоряжаться. Однажды даже приказала сеньору Марио, чтобы он послал меня за сигаретами. Я пошел и купил сигареты, она на них взглянула и сказала, что такие не курит. И я пошел снова и обменял на другие. Она всегда громко говорила и носила такие огромные серьги — никогда я таких больших серег не видел. И смеялась она тоже громко, должно быть, для того, чтобы все знали, что ей смешно. Вот с ней-то сеньор Марио и торопился встретиться, с ней и своим другом Друммондом. Но все-таки успел меня предупредить, что обещал доставить маис вовремя.

Бетономешалки были в полном порядке. И я стал прикидывать, как бы поскорее добраться до Каратинги. Однако, прежде чем пуститься в путь, я должен был повидаться с Сандрой там, в больнице, где лежал ее брат. Последние дни вечерами мы встречались именно там. Она обычно ждала меня в зале для посетителей. Сидела, дожидаясь, когда я приеду. Когда же я приезжал, она сбегала, глядя на меня, по ступенькам лестницы. А я думал: и как это она не споткнется на них, таких узких и таких высоких? Нигде я таких ступенек не видел! Все эти дни, что мы с ней встречались, я был счастлив, потому что она из тех женщин, с которыми приятно встречаться, ну и потому, что я все-таки наладил бетономешалки. Они в свое время мне столько хлопот доставили, что, когда я увидел, что все пять работают, почувствовал себя счастливым. И, скажу вам, если есть машины, к которым не достанешь запасных частей, так вот как раз они —

эти самые. А сеньор Марио еще говорил, что машины не должны простаивать, а то большой убыток будет: «Смотри, когда они в порядке, а ты их перегоняешь с одной стройки на другую, не отключай барабан, чтобы не терять время на включение».

Когда сеньор Марио сменил свою мастерскую по ремонту «фольксвагенов» на этот гараж с бетономешалками, он позвал меня и показал их мне. Ни одна не работала. И только две могли двигаться. Но у первой из этих двух не вращался барабан, а у второй глох мотор. И думаю, если бы пятьдесят аккумуляторов к нему подсоединили, все равно бы толку не было. Машина заводилась, только когда ее толкали. Но все время толкать не будешь, да и на то, чтобы завести ее, требовалось часа два-три по меньшей мере. Представляете? Мотор работает, пока вы жмете на газ, а нет — глохнет, и все, глохнет в любую минуту. Так что у меня бывало желание поджечь ее, стерву, особенно когда она останавливалась в центре: машины сигналят, водители обзывают тебя по-всякому, будто ты устроил «пробку» нарочно. Однако, прежде чем поставить на машинах свое имя, сеньор Марио стал говорить мне, во что обошлась ему эта покупка и какую прибыль дадут они, как только начнут работать. Ну я и согласился их наладить и, скажу вам, никогда столько не вкалывал, как в те дни, когда ремонтировал эти бетономешалки. А когда уже был виден конец моему адскому труду, со стороны могло показаться, что я вот-вот разобью их со злости. У одной-то из них лопнуло сцепление, достать новое невозможно. И не потому, что нет его в продаже — раскупили, мол,— нет, а потому, что именно такое никто никогда в глаза не видывал. Да и так ли эта штуковина зовется — тоже неизвестно. У-у, не припомню, чтобы у меня от чего-нибудь так болела голова, как от этой дряни. Я даже подумывал заказать ее в Швеции — она была шведская. Но хуже то, что у нас в Бразилии не было ни одного представителя этой шведской фирмы, ни филиала фирмы, ну ничегошеньки. Очень похоже, что, прислав нам эти бетономешалки, шведы забыли прислать инструкции. Глядя на меня, можно было подумать, что эти пять машин — мои злейшие враги. Один из друзей сеньора Марио, видя, сколько времени я вожусь с этими деталями: таскаю их как образец с собой, уговариваю слесарей сделать то, что они никогда в глаза не видели да и понятия не имели, для чего это нужно,— сказал, что, будь он на моем месте, он поджег бы все машины разом, и дело с концом. А сеньору Марио он сказал вот что:

— Вы должны согласиться, что приобрели гору железа в убыток самому себе.

Но сеньор Марио в ответ на его слова засмеялся и заметил, что тот ошибается: он знал, что́ покупал, и знал, что эту, как тот выразился, «гору железа» я заставлю работать.

И, скажу вам, я заставил работать все купленные машины. И когда они, все пять, заработали, почувствовал удовлетворение. А уж когда они, все пять, прибыли на строительство, то, казалось, только с этого момента и стали расти стены дома. Теперь у рабочих, заливавших бетон в формы, не было ни минуты простоя. Все пять были выкрашены в красный цвет, и на дверцах — фамилия сеньора Марио. А ведь работать эти машины заставил я. Позже, когда какому-нибудь другому строительству нужны были эти бетономешалки и фирма заключала контракт с сеньором Марио на все пять машин, я тут же интересовался, сколько человек будет работать, и, получив ответ, советовал, если считал, что мало, нанять еще, чтобы не нарушать рабочего ритма. И пока я был связан с бетономешалками — распределял машины по участкам, контролировал их работу, кроме того, встречался с Сандрой,— я был счастлив. Если я опаздывал на свидание, Сандра не сердилась. Нам было хорошо друг с другом. Мне многое в ней нравилось. Но больше всего я любил наблю-

дать за Сандрой, когда она даже заподозрить не могла, что я на нее смотрю. Любил смотреть, как она двигается, как поворачивает голову то вправо, то влево, и видеть выражение ее лица, когда она вдруг меня обнаруживала. Она всегда говорила, что я такой мужчина, о котором не знаешь, рядом он или нет. И еще, что ей все время кажется, что, где бы она ни находилась, я на нее смотрю. Это мне нравилось.

Вот и в тот день, когда мне надо было отправляться за этими грузовиками в Каратингу, я — как обычно вечером — поехал в больницу. По правде говоря, я не знал, сделали ее брату операцию или нет. Не до того мне было, голова была забита мыслями о грузовиках с маисом и о том, что я еще должен сделать в гараже. Работу между шоферами я распределил, всех предупредив, чтобы никто не совал нос в чужое дело во избежание ссор и последующих разговоров с сеньором Марио. Ни к чему это. Ведь сеньор Марио всякий раз, кто бы из шоферов или механиков к нему ни обращался, делал вид, что внимательно слушает, а потом вызывал меня и велел разбираться во всем, что происходило. А то и просто говорил, чтобы я уволил приходившего к нему парня. Иногда прибавляя:

— Нет, я еще должен делать вид, что меня это интересует?! Должен быть внимательным. Понимаете?

И выходя от хозяина, я увольнял беднягу, поскольку сеньор Марио считал, что тот лжет или слишком много требует, а потому не нужен, ну или почему-либо еще — причина могла быть любой. Короче, каждый раз, когда хозяин кого-то увольнял, сообщать об этом и приказывать бедолаге убираться ко всем чертям должен был я. Вот потому-то, зная, что мне предстоит уехать на несколько дней, я и зашел в гараж распределить всю работу до своего возвращения и распределил так, чтобы никому не пришлось встревать в это дело. Я даже положил на стол список объектов, которые надо было обслуживать, с номерами телефонов. Работягам оставалось только предупредить, что бетономешалки выходят. И ответственного за получение накладных по оплате работ я тоже назначил. Одним словом, все продумал, все предусмотрел. Могли, конечно, возникнуть недоразумения с горючим, ведь расход его трудно контролировать, но я и это учел: велел заправляться только в Эстреле и расплачиваться у заправщика. Эта заправочная принадлежала сеньору Марио и его компаньону, а потому опасаться здесь было нечего. Кроме того, компаньоном сеньора Марио был тот еще жмот, у него не очень забалуешь. При его-то глазе можно было спать спокойно. Жмот он был классный.

Все было в полном порядке, когда я отправился на свидание с Сандрой. Вылезая из пикапа, я заметил, что рука у меня в мазуте. В этой машине всегда перепачкаешься: грязная она была и рыбой от нее несло за километр. Так вот, когда я вылез из пикапа у больницы, я увидел, что испачкал руку, и полез за платком, чтобы ее вытереть. Я стоял у лестницы внизу, вытирая руку, и ждал, что Сандра меня заметит. С того места, где я стоял, ее было хорошо видно. Она сидела в зале ожидания какая-то очень рассеянная и красивая. Когда Сандра меня заметила, она встала и поспешила ко мне — пошла вниз по лестнице. Сандра была в красной блузке с длинными рукавами и темной юбке, не помню, черной или синей. Ступени лестницы были узкими и высокими. Не понимаю, зачем делают такие крутые лестницы, как, например, эта? Да еще в больнице. Сандра спускалась, но поскольку ступеньки были узкие и высокие, она все время была надо мной. Я разглядел ее ноги даже выше колен. И скажу вам, коленки у Сандры красивые необыкновенно. Она спускалась осторожно, и когда ступала на ступеньку ниже, прижимала коленку к коленке, а потом, делая следующий шаг, разъединяла их. Да, Сандра в красной блузке, юбка темная, волосы забраны назад... А лицо какое симпатичное! Мне неприятно было думать о поездке и о том, что я

не смогу побыть с ней этим вечером подольше. И еще о том, что довольно долго не увижу ее и не смогу приласкать. А она только для того и создана, чтобы ее ласкали.

Я стоял и смотрел на нее, зная, что она идет ко мне. Потом мы сели в пикап. Она слова не сказала, что в машине воняет, и не ругалась на меня, что я опоздал. Она вообще никогда не ругалась, умела все устраивать так, что я всегда хотел быть рядом с ней, а не с другой или один. И все-таки, скажу вам, я все время помнил, что мне надо успеть на междугородный автобус и ехать за восемью грузовиками с прицепами. И как мне добраться до Каратинги, когда знаю, что по дорогам не проехать?! А здесь со мной Сандра, с этой ее манерой быть рядом с тобой, а смотреть по сторонам. Никогда не видел женщины, чтобы вот так могла. Никогда ничего от меня не требовала. И в постели была что надо. И после, с ней ты всегда доволен, глядишь на нее и думаешь: «Хорошо, что наступит завтра и она опять будет с тобой». А тут на́ тебе, ломай голову, где отыскать дорогу, по которой могли бы проехать восемь грузовиков с таким тяжелым грузом, что и хорошую-то разобьют. В ливень хороших дорог не сыщешь. Вот о чем приходилось думать, а в голове-то у меня были ноги Сандры, ее коленки, которые касались одна другой, когда она спускалась по лестнице.

В тот день я был очень озабочен. Но Сандра такая женщина, сдержанная: я сказал ей, что должен уехать, и она — ничего, ни слова. Моросил дождь. Сзади нас шел автобус с включенной верхней фа́рой, свет ее бил мне в зеркальце и слепил. К тому же чертова фара отражалась в каждой капельке на моем ветровом стекле — рехнуться можно! А Сандра тут возьми и спроси, что́ кроме поездки меня так беспокоит.

Я сказал, что ничего.

— Ну да?! Я ведь вижу, все вижу.

Я повторил, что ничего.

— Вижу, вижу твое «ничего».

— Да ничего же. Только поездка.

— Ну ладно, так что же все-таки? Говори...

— Ни-че-го! Ясно? Все!

— Ну, не хочешь сказать, не надо.

— Да не не хочу, а нечего мне сказать, нечего!

— Ну вот что: я тебя знаю, и врать мне не надо.

— Я не вру. Не вру, черт бы побрал!

— Не нужно так со мной говорить, Жорже.

— Отстань, надоела.

— Не смей со мной так разговаривать.

Нет, вы понимаете? Мне надо поспеть на автобус, чтобы добраться до Каратинги, а тут свет этой чертовой фары, который бьет в зеркальце и слепит, да еще Сандра. Я с ней поругался. Она сказала, чтобы я не смел с нею так разговаривать. А я сказал, что смею и буду. Она сказала, чтобы я перестал ругаться. А я сказал, что буду ругаться, и стукнул кулаком по сиденью. Потом еще и еще раз стукнул. Подвел машину к тротуару и велел ей вылезать.

— Не смей со мной так поступать, Жорже!

— Хочу и поступаю. Вылезай! — Сандра продолжала сидеть на месте и смотреть на меня. Тут я заорал: — Вылезай! Сейчас же вылезай!

Она спрыгнула и сказала, чтобы это было в первый и последний раз.

Когда она вышла, я рванул пикап с места, даже не закрыв дверцу. Помню как сейчас: дождь лил вовсю, и все-все машины ехали с включенным дальним светом.

Авенида Антонио Карлоса должна была вывести меня на автостраду. Я ехал молча: меня душила злоба. Позже, уже сидя в меж-

дугородном автобусе, я вспоминал весь наш разговор с Сандрой и ссору. Была ночь, автобус тащился за грузовиками, другими автобусами и легковыми машинами, не пытаясь обгонять. На авениде Антонио Карлоса асфальт был в порядке. Помню, как, глядя в окно, в темноту ночи, я собирал всю свою волю, твердя, что доставлю грузовики сеньора Марио в Бело-Оризонте во что бы то ни стало, даже если придется тащить их на своих собственных плечах. И все же я был собой недоволен, все время злился. И виновата была, конечно, Сандра. Я все время убеждал себя в том, что виновата она, воображал застрявшие в глине грузовики, мне не давало покоя обещание сеньора Марио владельцам маслозавода.

Всю эту ночь я не спал. Хотя мог бы и спать — ночь была как ночь. Но я не спал, не мог из-за мыслей о Сандре, о застрявших в пути грузовиках и злобы, которая меня распирала. И, скажу вам, передумал обо всем, что было между нами. И ничего плохого. Одно хорошее. И оттого мне было еще хуже. Ведь будь плохое — легче было бы сейчас.

Если вспомнить, сколько раз мне приходилось вот так куда-то ехать, не спать ночами, пока доберешься до места,— не сосчитать. Но, пожалуй, ни одна поездка не казалась мне такой долгой, как эта, в Каратингу. Все меня бесило, все, даже то, на что и внимания обращать не следовало.

Когда в сетке над моей головой раскрылся пакет сидевшей впереди сеньоры и на меня посыпалась нарезанная кусочками колбаса, я молча, ничего не говоря, встал и выбросил ее в окно. И тут же у меня появилось дурацкое желание вымыть руки и голову, чтобы не пахло колбасой. Мне казалось, я не вынесу колбасного духа! Потом вдруг, когда автобус после остановки в Сан-Домингос-до-Прата тронулся дальше и какой-то парень, который сидел где-то сзади и всю дорогу болтал, завопил, узнав, что мы едем не в Бело-Оризонте, а оттуда — он сел по ошибке, ему нужно было в Бело-Оризонте, чтобы сделать пересадку и ехать не знаю куда,— я подумал, что так этому растяпе и надо, впредь умнее будет. Но шофер остановил автобус. Пассажиры заволновались, ведь парень хотел выйти посреди дороги, хотя лил дождь и он не знал, далеко ли до Дионизио — ближайшей станции,— уговаривали его не выходить, беспокоились о том, как он доберется, я же, наоборот, настаивал, чтобы его высадили, и немедленно. Однако его уговорили остаться в автобусе до первой встречной машины, он пересядет в нее и доедет до той станции, от которой у него билет, чтобы не платить лишнего. Я же все время думал: «Каким же надо быть ослом, чтобы не видеть, куда идет автобус, сесть в него, а потом вылезать на холод и дождь посреди дороги!» Когда решение было принято, мы поехали дальше. В автобусе только и разговору было о том, как этот осел ошибся. Надо же, даже те, кто, казалось, спал, и те проснулись и заговорили. И такой галдеж поднялся, точно радостнее события и быть не могло. Но вскоре на дороге замаячил свет фар идущей навстречу машины. Наш шофер посигналил, встречная затормозила. Это был джип. Парень вышел и направился к джипу. В автобусе воцарилась тишина. Однако услышать то, о чем говорил парень с водителем джипа, все равно было невозможно. Но все мы ждали. Наконец парень вернулся и объявил:

— Еду с курами до Сан-Домингоса.

Все засмеялись, а кто-то из впереди сидящих вынул карманный фонарик и осветил джип. В джипе действительно лежали связанные куры. Все засмеялись и загалдели, а водитель автобуса достал чемодан парня, и тот уселся в джип и уехал. Водитель же какое-то время стоял, вытирая руки, и что-то говорил себе под нос. Потом мы поехали, но вскоре попали в аварию. Я все время смотрел в окно на эвкалипты, мелькавшие по сторонам дороги. Они были так близко, что мне хотелось протянуть руку и потрогать их.

Внезапно дорога вспыхнула от света фар встречной машины. Все видели, как свет приближается, растет. Водитель нашего автобуса шел на поворот. Я в это время думал о Сандре. Вспоминал, как мы последний раз лежали с ней в постели и как она, довольная, откидывала назад голову, прикрывала глаза и затихала. Не знаю почему, но стволы эвкалиптов напомнили мне ее ноги. Видите, в каком я был состоянии, до чего додумался, раз уж стволы эвкалиптов, мелькавшие по сторонам дороги, стали похожи на ноги Сандры. Не нравилось мне это. Вот так, а свет встречной машины все приближался и приближался. Водитель нашего автобуса продолжал поворачивать, вроде бы желая объехать большой овраг или спасаясь от бокового скольжения, но машину не заносило, в том я уверен. Я-то уж поездил в тяжелых машинах и всегда чувствовал, когда машину заносит. Нет, повторяю, машину не заносило. И на обочину она не выезжала, хоть и шла очень близко к обочине. Так близко, что я даже подумал: если протянуть руку, можно дотронуться до эвкалипта. Но наш шофер поворачивал — это точно, а встречная машина шла на нас. Ее мы увидели, когда она уже была совсем близко — на месте крутого поворота. Дорога была старая, а поворот так крут, что невозможно было видеть встречную и успеть свернуть в сторону или затормозить. Ну мы и столкнулись. Обе машины ехали медленно, но обе были тяжелые. А вы знаете, как сложно остановить тяжелую машину. Сразу не остановишь, даже если и тихо едешь. Вот они и столкнулись. Раздался лязг железа, фары — те, что со стороны водителя,— погасли и у той и другой. Горели только правые. Благодаря их свету мы и увидели, что столкнулись с автоцистерной. Потому и грохот был такой. Небьющееся ветровое стекло треснуло. Но в автобусе никто не вскрикнул — все молчали. Похоже, ждали худшего. Тогда я подумал, что, если бы оба шофера не затормозили, одна машина врезалась бы в другую, врезалась бы как пить дать, и от шоферов осталось бы мокрое место. Но тут обе затормозили, раздался лязг железа, скрип тормозов, и моторы заглохли одновременно. То, что моторы заглохли, я услышал сразу. А так как и та и другая машины были марки «мерседес-бенц», я понял, что дело дрянь. И тут вдруг ту женщину, что сидела передо мной, начало рвать. Окно-то она не успела открыть и заблевала все стекло. И хоть я сидел сзади и чуть в стороне, обдала меня этой дрянью. Кроме вони вы, я думаю, представляете, что это такое. Потом ей все же удалось открыть окно, и тут вместе с дождем на меня полетело все, что было на стекле. Я встал и пошел к двери. Но не успел я дойти до середины салона, как с мест повскакивали все, решив, что автобус горит, а кто-то даже закричал, что горим. Никогда я не видел, чтобы такое количество людей пыталось выйти одновременно. Мне прищемили ногу — в толчее я зацепился ею за сиденье. Но это никого не остановило, задние напирали на передних, и, выломав сиденье, они понесли меня к двери. Я почувствовал резкую боль в колене. Но остановиться и посмотреть, что с коленом, было невозможно. Все, казалось, с ума посходили, орали как одержимые. На улице дождь лил как из ведра, но я решил, что это к лучшему — смоет с меня всю гадость. И вот, после той суматохи, когда все рвались из автобуса, я с разбитым коленом оказался на краю кювета, куда меня и толкали. Стараясь удержаться наверху, я оперся на руку, но она соскользнула, и я поехал вниз. Тогда я оперся на ногу, но она заныла — колено-то разбито, я сдался и съехал в кювет, где, конечно, весь перепачкался.

Так вот, когда я оказался на краю кювета и меня еще раз стукнули по ноге, я взглянул на водителя автоцистерны, он сидел облокотившись на руль, вид у него был унылый, он безучастно смотрел куда-то в сторону. Мне даже стало жаль его. И еще я заметил, что из радиатора у него выплескивается вода, булькает, вроде бы закипает.

В кювете я присел на бревно, надеясь закурить, но рука была

вся в глине, я вытер руку. Потом вытащил пачку сигарет. Но ведь шел дождь, сигарета тут же намокла. У меня было такое чувство, что от меня несет блевотиной, к тому же мне все время казалось, что в волосах у меня застряли кусочки колбасы. Сигарету раскурить не удавалось: сделал две затяжки — погасла. Курить сырую сигарету — последнее дело для мужчины. Я вытащил еще одну, но и она не горела: только закурил, она намокла и погасла. Тут я решил посмотреть, что же у меня с коленом, но ничего не увидел: фары у автобуса не горели, а у автоцистерны одна горела еле-еле — ну я и не смог ничего разглядеть, кроме своих порванных брюк. И, скажу я вам, больше всего на свете меня выводит из себя порванная одежда. Я ведь человек аккуратный.

Фара у автоцистерны горела, но слабо, а с того места, где стоял я, было слышно, как водитель автобуса, окруженный пассажирами, громко говорил, что шофер цистерны вел себя по-дурацки: не затормозил и наехал на автобус. А ему надо было бы сделать как он, водитель автобуса,— затормозить и подождать, раз видит, что не разъехаться. Пассажиры слушали и вторили говорившему. Я заметил, что водитель автобуса был очень оживлен. И подумал: как же, должно быть, устал и расстроен водитель автоцистерны, раз он не возражал и даже не вылезал из кабины!

Потом стали говорить, что надо подать грузовик назад, чтобы освободить дорогу. Я стоял и присматривался, где бы попроще выбраться наверх, потому что не помнил уже места, где спускался. Тут я услышал, что шофер автоцистерны сказал, что не сдвинется с места: он не виноват и пальцем не пошевелит, пока не приедет дорожная полиция. Тогда те, что из автобуса — несколько пассажиров и водитель,— заявили: коли так, тем хуже для него, но он все равно будет вынужден подать грузовик назад, так как автобус висит над кюветом, а пассажирам надо достать вещи из багажника, который открыть нельзя. Все кричали, махали руками и, надо сказать, врали, так как автобус совсем не висел над кюветом. Им надо было, чтобы грузовик сдвинулся с места и водитель оказался виноватым. «Похоже,— подумал я,— среди пассажиров есть служащие автобусной компании». Но водитель автоцистерны молчал, и все. И знаете, что сделал шофер автобуса? Приказал ему погасить фару. Тот погасил. И как только стало совсем темно, кто-то начал громко говорить, что из цистерны что-то течет, должно быть, бензин, что цистерна может взорваться,— панику поднимал. Тогда водитель грузовика высунулся из окошечка и сказал, что цистерна пустая,— пусть успокоятся. А я с этой чертовой подмокшей сигаретой, которая потухла у меня в руке, все пытался понять: для чего весь этот шум и гам? Ну и понял, конечно, понял, чего они добивались. Они подтолкнули автобус и поставили его так, будто водитель ни в чем не виноват. Теперь уж я убедился, что среди пассажиров точно были служащие автобусной компании. Они подняли гвалт, поскольку столкновение произошло по вине водителя автобуса и компании придется платить страховку.

Я понял все это только в кювете. Весь я вымок, замерз, сигареты уже в моей руке не было, ботинки промокли, но мне не хотелось возвращаться в автобус — уж больно противно было все это. И тут запах мокрых кустов напомнил мне, как однажды я вез Сандру к портнихе. Она жила неподалеку от Ибирите. Надо же! Не знаю ни одной женщины, которая заводила бы себе портниху так далеко от дома, да еще чтобы добираться до нее было так трудно. К тому же я должен был заехать в гараж: я боялся, что механик уйдет домой, не закончив работу. Вы ж знаете этих типов: если за ними не следить, они смоются, а потом будут доказывать, что не хватало какой-нибудь детали. Попробуйте укорять их, они возьмут и сломают ту деталь, без которой действительно ничего нельзя сделать. И все в доказательство своей правоты. Так вот, в тот вечер я думал

заехать в гараж и еще успеть лечь в постель с Сандрой, хоть было уже поздно. И когда мы возвращались, я гнал машину, чтобы выиграть время. Ехали мы эвкалиптовой рощей, как раз около въезда в Ибирите. И знаете, о чем она попросила? Остановиться на секундочку. Я, конечно же, остановился. Она вышла, зачем, я так и не понял. Я тоже вышел, подошел к ней. А она стоит запрокинув голову и глаза закрыла. Когда я подошел, она глаза открыла, посмотрела на меня и спросила:

— Чувствуешь, какой запах?

Все это я вспомнил здесь, под дождем, теперь уже далеко от Сандры, и зная, что скоро буду еще дальше. Почему я с ней поругался и велел вылезать из пикапа?

Тут я заметил свет фар, шарящий по эвкалиптам. Вгляделся и понял, что это такое: к нам приближался микроавтобус. Я встал. Колено почти не болело. Автобусик подъехал и остановился около автоцистерны. Его тут же окружили ехавшие вместе со мной пассажиры. Я тоже решил подойти, все еще думая о Сандре, ее гостинцах, что были со мной, о нашей ссоре и всем том, по поводу чего я злился. И тут же громко сказал сам себе:

— Все, хватит.

Я решил взять себя в руки и больше не думать о всякой ерунде. И сумел это сделать. Вот только никак не мог найти место, где бы легче было подняться наверх. А потому взобрался с того самого места, где стоял. Колено не болело.

Когда я подошел к толпившимся, мои попутчики объясняли двоим сидевшим в микроавтобусе парням, что проехать им не удастся до приезда полиции. Парни вылезли из машин. Их окружили и, поскольку все убедились, что бензин из цистерны не течет и пожара опасаться не нужно, стояли возле парней, все им объясняя, будто именно они должны были разрешить возникший спор. А парни осматривали машины, ровным счетом ничего не понимая, все выслушивали и пришли в конце концов к заключению, что ничего другого не остается, как ехать в Коронел-Фабрисиано и просить полицейского комиссара прислать автоинспектора. Они уже трогались с места, когда объявились желающие ехать вместе с ними — эти, видите ли, не могли торчать на дороге всю ночь, у них дела, они спешат... Парни обомлели, глядя на осаждавшую их толпу. Но тут вмешался я и сказал:

— Нужно, чтобы ехали двое, как свидетели-очевидцы.

Я сказал это громко и твердо, чтобы слышали все пассажиры. И как только я сказал о свидетелях, все попятились, а кто-то даже повторил: «Свидетели-очевидцы». По правде сказать, почему я сказал, что нужны двое свидетелей, а не один, не знаю. Но тут же предложил себя первым. И еще добавил, что, похоже, кроме меня, пострадавших нет. Включили фару, чтобы осмотреть мою ногу. Я сказал, что ничего серьезного. Но порванные брюки были лучшим доказательством. Прихрамывая, я пошел к автобусу за своим чемоданчиком. Когда я шел обратно, какой-то тип, взяв мои вещи, спросил:

— Вы видели, как все это произошло? При таком-то дожде?

Я его успокоил:

— Я, сеньор, не знаю, чью сторону вы держите, но если шофера автобуса, то пусть не беспокоится.

Он донес мой чемоданчик до микроавтобуса и помог мне в него сесть. Я уже было раскрыл рот, чтобы назвать себя и дать адрес, но он сказал, что не надо.

Тут мы развернулись и поехали. С нами поехал еще один свидетель. У него-то я и стрельнул сигарету. Потом мы заговорили о случившемся, обвиняя во всех грехах водителя автоцистерны.

Мы разговаривали, а двое парней с жаром нам поддакивали.

Микроавтобус несся по дороге как сумасшедший. У меня даже ноги заболели: ведь я, пытаясь тормозить, с силой упирался ногами в пол.

Затягиваясь сигаретным дымом, я думал о сеньоре Марио. В это время он, должно быть, был со своей блондинкой, вечно намалеванной и спавшей с открытым ртом. То, что она спит с открытым ртом, я знал точно, потому что как-то ночью меня разбудил сторож и сказал, что звонит сеньор Марио. Я взял трубку:

— Алло?

— Жорже?

— Он самый.

— Жорже, это Марио.

— Слышу, сеньор. Что случилось?

— Жорже, дружище, у меня колесо спустило, а инструмента при себе никакого.

— Пустяки, сеньор Марио. Вы где находитесь?

— Около виадука на авениду Антонио Карлоса. Метрах в двухстах за виадуком.

— Ясно. Значит, у вас с собой инструмента нет?

— Нет, Жорже. Только подстилка. Ни комбинезона, ни гаечных ключей.

— Не беспокойтесь, сеньор Марио. Через пятнадцать минут буду.

Я сел в пикап, что воняет рыбой, взял комбинезон, баллонный ключ, потому что не знал, какой подойдет к машине сеньора Марио, и поехал к виадуку, теряясь в догадках, откуда, с какого телефона мог звонить сеньор Марио в такой поздний час. И решил, что с телефона бензозаправочной, не иначе. Еще подумал, сколько ему пришлось пройти пешком, чтобы до нее добраться. Однако когда я приехал, то увидел, что он как раз против бензозаправочной и стоит. По дороге я, конечно, прикидывал, куда он мог запрятать комбинезон и ключ. Остановив пикап, я окликнул сеньора Марио, но увидел, что тот спит, склонившись на руль. Блондинка тоже спала, но прислонившись головой к дверце машины, спала, запрокинув голову, с открытым ртом и этими огромными серьгами-кольцами в ушах. Кольца покачивались. Я постучал в стекло с той стороны, где сидел сеньор Марио, но он не проснулся. Я постучал еще раз, колечком от ключей. Сеньор Марио поморгал-поморгал и опустил стекло.

— А, это ты?

— Я, сеньор Марио. Где ключи от багажника?

— Вот.

Он протянул мне ключи. Я открыл багажник, вынул подстилку... И знаете, он даже не спрятал ни свой комбинезон, ни баллонный ключ. Все лежало тут же, в багажнике. Когда я снял колесо, то увидел, что покрышке пришел конец — ее изжевало, на ней ехали, когда камера уже спустила.

И вот я еду в микроавтобусе, упираясь ногами в коврик из-за резких поворотов, которые делал сидевший за рулем парень, и думаю о сеньоре Марио и почти слышу, как он мне говорит: «Я дал слово. Дал слово, что маис будет на месте до открытия».

А парень гнал, гнал машину так, что на поворотах нас заносило, и я радовался, что сижу не с краю, а посередине. Если что — есть на кого падать.

У первого встретившегося бара мы остановились — мне надо было купить сигареты. Потом опять поехали. Ехали в поисках полицейского комиссара. Все это время я безучастно смотрел в окно. Колено ныло, и потому я не смог выйти из машины, когда подъехали к участку. Парни и второй свидетель зашли в полицейский участок, но комиссара там не обнаружили. Я же сидел и думал, что парням не покрыть расходы на бензин, который уже истрачен и будет еще истрачен нами в поисках комиссара. Ведь где только они, вернее, мы

не побывали. Везде, даже на лугу, где пасли козлят. Этот выгон находится между Коронел-Фабрисиано и Ипатингой. Парни перемахнули через изгородь, когда услышали, что кто-то там ходит. Вдруг комиссар? А все потому, что сержант в полицейском участке сказал нам — после того как мы объехали все бары, постоялые дворы, аэропорт и черт его знает что еще,— очень возможно, что комиссар на выгоне: ловит воров, которые крадут козлят.

Мои попутчики вышли из машины у забора, за которым должен был быть выгон, потому что услышали, что там кто-то ходит. А когда перелезли, то притихли, потом один из них еле слышно спросил кого-то: «Нет ли здесь полицейского комиссара?» Сидя в машине, я сжался от страха и подумал, что лучше бы остаться на дороге, в автобусе.

Неожиданно показались огни автомобиля, едущего прямо на меня. Я тронул колено — пожалуй, зря отправился с этими парнями, которых совершенно не знаю, как не знаю и второго свидетеля. Ведь единственное, чего я хотел,— это добраться до Каратинги. И сейчас мне стало особенно не по себе. Машина остановилась на приличном расстоянии с зажженными фарами. Двое мужчин вышли из нее, направились ко мне. И представьте мое положение: один подходит с одной стороны, другой — с другой. Тот, что со стороны водителя, остановился около дверцы. Второй — около меня. Тот, что у дверцы, сказал:

— Добрый вечер.

Я ответил так же вежливо, как они.

— Позвольте узнать, что вам здесь нужно?— спросил все тот же мужчина.

Тут я понял, что это и есть полицейский комиссар. Даже сомнений у меня не было. И я ответил:

— Мы вот с теми парнями, которые перелезли через забор, ищем сеньора полицейского комиссара.— Я так и сказал: «сеньора полицейского комиссара».

— Вон что. Так о чем же вы хотели поговорить с комиссаром?

Тут в свою очередь я спросил:

— А вы не знаете случайно, где он?

— Полицейский комиссар — это я,— ответил он.

Тогда уже иным тоном я сказал:

— Добрый вечер, сеньор комиссар.

И только было собрался изложить суть дела, как комиссар ответил мне:

— Добрый вечер.

Только тогда я продолжил:

— Вы извините, сеньор, что я сижу в машине, но у меня разбито колено. Вас же мы ищем, потому что столкнулись автобус и автоцистерна — они на дороге, что ведет в Дионизио.

Затем я объяснил, почему все остальные сейчас на выгоне. Полицейский комиссар был молод, лицо веселое, и он засмеялся. Второй, что стоял со стороны моей дверцы, подошел поближе и тоже засмеялся. В руках у него была веревка, и я понял, что они уже знали, зачем мы их разыскиваем. Комиссар попросил меня посигналить светом тем, с кем я приехал. Я посигналил. Он попросил еще погудеть. Я погудел. Второй полицейский поинтересовался, серьезная ли авария. Я ответил, что нет, так, ерунда. Тогда комиссар, продолжая смотреть в сторону забора, спросил, почему же водители не договорились между собой без полиции. Я стал рассказывать все как было, без утайки, рассказал даже, что видел, как шофер автобуса после столкновения подал машину вперед. Комиссар слушал, а я рассказывал-рассказывал, что водитель автоцистерны настаивал, чтобы приехала дорожная инспекция. Тут комиссар спросил меня,

не считаю ли я, что водитель автоцистерны был не в себе. Я не понял. Он повторил. До меня дошло, что он имеет в виду, и я ответил, что нет, выпивши он не был. Вернулись трое моих спутников, комиссар заговорил с ними, спросив, как произошла авария, и, выслушав все до конца, сказал, чтобы мы следовали за его машиной.

Наконец мы с комиссаром подъехали к полицейскому участку и вышли из машины. Я посмотрел, не грязные ли у меня брюки сзади. Нет, они были не грязные, вся грязь осталась на сиденье машины. Мы вошли в участок. По дороге комиссар крикнул двух солдат и велел им идти вместе с нами, сержанту — захватить фотоаппарат и позвонить писарю. Затем стал рыться в ящиках стола, ища какой-то формуляр, о котором сержант даже понятия не имел. Подошли остальные мои попутчики и встали молча в дверях. Комиссар говорил, что всего два дня назад видел этот формуляр в одном из ящиков, и попросил сержанта, который называл его капитаном, передать писарю, что он, комиссар, через несколько секунд будет на площади и возьмет его с собой. Солдату он приказал вызвать такси, тот позвонил, и когда он называл адрес полицейского участка, я понял, что мы в Ипатинге, а не в Коронел-Фабрисиано. Но как я уже говорил, это такой город, в котором можно запутаться. Прекратив поиски формуляра, комиссар спросил меня, куда я еду. Я ответил, что мне как можно скорее нужно попасть на автостраду Рио — Баия. Тут он взглянул на часы и сказал, что лучше всего ехать поездом, затем спросил у сержанта, когда на такой-то станции — мне эта станция была неизвестна — будет поезд. Сержант ответил, что в семь утра. Комиссар еще раз сказал, что поездом ехать лучше, в такую погоду на автобусы надежда плохая. Он разговаривал со мной дружески, совершенно не обращая внимания на тех, с кем я приехал. И мне захотелось как можно скорее от них отделаться и уехать. Поездом так поездом. Я был согласен. Тут как раз подошло такси, и комиссар велел микроавтобусу следовать за ним. В такси сели комиссар, двое солдат и я. Один солдат был с фотоаппаратом. Мы проехали немного и остановились на какой-то площади перед домом, где жил писарь. Тот уже ждал у дверей. Он был в форме и, прежде чем сесть в машину, отдал честь. Усевшись, он взял фотоаппарат и начал спрашивать, что́ будем снимать и еще что-то. Он проверил flash[1]. Похоже было, что разбирается в фотографии. Когда мы поехали, то комиссар сказал ему, где мы должны были его подхватить, и показал. Тут я узнал, что это место называлось Каладиньо. Они заговорили об аварии, а такси кружило по улицам, кружило, потом остановилось у какого-то здания. Это был другой полицейский участок. Мы вышли, и я понял, что этот полицейский участок уже в Коронел-Фабрисиано. Микроавтобус остановился тоже, и я увидел, что трое моих бывших попутчиков смотрят на меня с любопытством. Тут мы с комиссаром вошли в полицейский участок. Сидевшие там сержант и солдат встали, и комиссар спросил их о ком-то, а потом, есть ли вода в душе. Сержант ответил, что есть. Тогда комиссар объяснил ему, что я должен помыться и успеть на семичасовой поезд. «Слушаюсь»,— сказал сержант. Он был совсем молоденький, но лицо у него было хмурое. Мы вышли на улицу. Комиссар со мной попрощался. На микроавтобус я даже не взглянул: я знал, что мы едем в разные стороны. Когда они уехали, сержант велел солдату показать мне, где у них душевая. Мы пошли по коридору. Тут солдат попросил у меня сигарету, я дал, и мы стали друзьями.

Душевая была маленькая и темная. Она находилась в конце коридора. Пол и стены цементные. Я вошел в душевую, разделся, стал открывать чемоданчик и разозлился: не так-то просто открыть этот чемоданчик — чертов замок заедает. Вещей у меня, как правило, ма-

[1] Вспышка *(англ.). (Здесь и далее прим. перев.).*

ло. Мне приходится много ездить — где только я не был,— а потому я беру с собой только то, что мне действительно может понадобиться. И в моем чемоданчике было все, что нужно, даже полотенце.

Открыл кран — вода еле шла. Душ был с электроподогревом, но не подключен, и провода болтались просто так. Я опасался задеть их, а то еще ударит током. Дверь пришлось закрыть, чтобы в коридор не летели брызги. Душевая была маленькая, грязная и темная. Я ничего не видел и не мог найти, куда бы положить мыло. И все время держал его в руках. Но вот уж чего я не люблю, так это мыться, держа мыло в руках. В темноте мне показалось, что в дырке, куда стекала вода, кишели тараканы. А как только я открыл воду — точно! — они оттуда полезли. Душем, похоже, никто не пользовался, а потому тараканы тут чувствовали себя полными хозяевами. Я торопился как можно скорее вымыться, но вода текла еле-еле, и мыло не смывалось, а наоборот — пены делалось все больше и больше. Около часа я топтался на чем-то скользком, потом не выдержал и выскочил в коридор, сильно стукнувшись по дороге коленом о стенку. Мокрый, весь в мыле, я стал рассматривать свои ноги, но никаких следов от раздавленных тараканов не увидел. Я открыл дверь душевой и заглянул туда. Зажег спичку, чтобы лучше видеть, но не обнаружил ни одного таракана. Я снова вошел туда, и скажу вам, хоть я их не увидел, я все равно знал — они здесь. Это точно, спасаясь от воды, они полезли, должно быть, на стены. Вот тут попробуй прислонись к стене. Поэтому я кончил мыться и, не смыв до конца мыло, вытерся насухо полотенцем, чтобы хоть как-то снять грязь и стоя одеться. Затем я очистил от грязи ботинки и бумажник. И как это я — ей-богу, не знаю — мог его запачкать, когда он лежал в кармане брюк? Покончив со всем этим, я закрыл чемоданчик и почувствовал себя лучше. Открыл дверь. Солдата не было, сидел только сержант. Сидел и слушал радио, стоящее на столе. Сержант слушал и подпевал, а я стоял тихо в дверях и смотрел на сержанта, дожидаясь, пока музыка кончится. Потом я стукнул дверью. Сержант обернулся, но ни о чем не спросил и ничего не сказал. Молчал он и когда я прощался, только махнул рукой в сторону железнодорожного вокзала.

Вокзал находился прямо напротив участка. У входа я столкнулся с солдатом, он опять попросил сигарету и, поинтересовавшись, как я вымылся, хлопнул меня по плечу и пожелал счастливого пути. Я купил билет, спросив, не опаздывает ли поезд. Сидевший за окошечком мужчина сказал, что нет, не опаздывает, идет по расписанию. Я вошел в зал ожидания. На улице еще не до конца рассвело, но здесь, внутри, не горело ни одной лампочки. На цементных скамьях, вделанных в стены, сидело много людей, закутанных во что попало, они дремали в ожидании поезда. Я было присел на одну из скамеек, но почти тут же встал — увидел в конце зала бар. Там я взял бутерброд с маслом и большую чашку кофе с молоком. Около стойки разговаривали двое мужчин. Один из них объяснял другому, что какой-то Зе Долговязый психанул и ткнул карандашом в начальника вокзала и тот упал тут же: карандаш угодил между ребер и вошел в сердце. Тот, кто говорил это, наседал на собеседника, потом стал приставать к нему — верит он ему или нет. Другой что-то ответил, что́ именно, не знаю, но, похоже, ответ его не понравился. Тогда говоривший спросил, да знает ли он вообще Зе Долговязого. Я опять не расслышал ответа, но увидел, что спрашивавший припер того, другого, к стенке, потом вдруг обратил внимание на меня и подошел ко мне. Пьян он был вдрызг. Посмотрел на меня и поинтересовался, знаю ли я Зе Долговязого. Язык его заплетался, на губе висел окурок сигареты. Я уже допивал кофе, когда он вперился в меня, почти касаясь своим носом моего. Окурок его погас. Я ответил ему, что не знаю никакого Зе Долговязого. Он стал объяснять мне, что тот такой

тощий и высокий, с лицом старика, потому что у него в животе дырка,— язвенник. Говорил он все это, не отводя от меня взгляда. Сказал, что Зе Долговязый работал в компании и что, когда сеньор Жайро велел составлять на всех картотеки, его взяли на заметку. Но я не знал Зе Долговязого, а этот тип со своим погасшим окурком не отставал от меня, твердя, что я должен знать Зе Долговязого. Это тот, кто проткнул карандашом начальника вокзала,— и показал, как тот держал карандаш. Тут я посмотрел на него и сказал:

— Ха!..

Тип оценил мое «ха», оставшись явно довольным моим ответом, и, подойдя к прежнему выбранному им собеседнику, сказал:

— Ну, что я говорил? Все знают Зе Долговязого. А как же вы его не знаете?

Я доел хлеб, допил кофе и снова сел на скамейку. Я сидел, думал и смотрел на дождь, который опять лил с новой силой. А вокзал все заполнялся и заполнялся пассажирами, и когда подошел поезд, началась сутолока. Я взглянул на часы. Две минуты восьмого. Опять увидел пьяного, который цеплялся к каждому со своим Зе Долговязым. Кто-то его пихнул, и он чуть не упал.

Я не стал спешить и толкаться: пропустил всех и последним вошел в вагон. Вагон был переполнен. Я пошел вперед по вагонам, но места свободного не нашел и решил выйти в тамбур. Здесь я поставил свой чемоданчик и сел на него. Вытянул ноги, скрестил на груди руки и прислонился спиною к холодной стенке. В тамбуре гулял ветер и залетали капли дождя. Однако, на мой взгляд, я устроился не так плохо. В вагонах-то дышать было нечем, от дыма щипало в носу. А здесь, в тамбуре, воздух был свежий.

Покачиваясь в такт поезду, я сидел и думал о своей поездке, которая началась так неудачно, а что еще будет впереди?! Но сидеть, смотреть на дождь и думать было совсем неплохо. Тем более что скоро у меня уже была компания: из вагона вошли двое мужчин и сели так же, как я, вытянув ноги. Потом появился начальник поезда и, назвав нас «господами», предупредил, чтобы мы были осторожны и не спали — а то как бы не проснулись там, на насыпи.

Холод меня не беспокоил, а к покачиванию я приспособился, нашел удобное положение. Потом между нами завязался разговор. Заговорили мы о местах, по которым ехали. Окрестности походили на болото — так их залили дожди. Тут один из устроившихся со мной рядом сказал, что дождь размыл все, особенно дороги, и если так будет продолжаться, то и автостраду размоет, и даже город Кампос в штате Рио окажется под водой. Он рассказал о мостах, которые снесло, и о многом другом, так что в конце концов я убедился, что полицейский комиссар был прав — в автобусе бы я никуда не доехал. Другой тоже говорил о дожде и разрушениях. Каждое слово он произносил как бы взвешивая, и казалось, что он рассказывает длинную историю и торопиться ему некуда. Я же слушал обоих, смотрел на дождь и чувствовал, что меня укачивает. А сосед все говорил и говорил о своих домашних делах.

Слушая, я подумал: «А у меня вот до сих пор нет своего дома. Надо же! Ведь с тех пор, как я работаю у сеньора Марио, я живу в кабинке пикапа, в кузове грузовика, в сарае, в гараже, в конторе, только не в доме. Да у меня никогда и не было постоянного местожительства. Я ж все время мотаюсь с места на место. Начинается работа в одном месте, потом надо ехать в другое, потом в третье. Был бы у меня свой дом, я возвращался бы с работы в такой вот дождь и прежде, чем войти, снимал бы ботинки. И ждала бы моего прихода Сандра. Она бы или шила, или читала журнал, или чем бы еще занималась. Вот было бы здорово! Да, как хорошо иметь свой дом и чтобы в нем была Сандра. Нам бы не надо было ничего говорить друг другу. Она бы знала, что я пришел, но молча продолжа-

ла бы заниматься своим делом, а я бы глядел на нее, на плечи или ноги, закинутые одна на другую так, что видны колени. Смотрел бы на ее руки, лицо, зачесанные назад волосы. А потянуло бы к ней, запер бы дверь, и все в порядке. И спешить не надо. А она бы смотрела рассеянно, ничего вроде бы не видя вокруг. А я рядом. Ну а ночью... Проснулся бы, и только руку протянуть — она здесь, под боком. А после ужина можно было бы спокойно посидеть и ни о чем не говорить, а просто смотреть на нее. И главное — не надо спешить. Как хорошо, когда не надо мотаться туда-сюда, жить в кузове или в кабине грузовика, в конторе или гараже, как хорошо, когда не надо куда-то ехать и быть вдали от Сандры». И я стал вспоминать ее колени, когда она спускалась по лестнице, ведь я тогда смотрел и думал: а вдруг еще чего увижу, поинтереснее.

А эти двое все болтали, и один пояснял другому, тому, который говорил с расстановкой, что он еще не обжил новый дом, что сам он из Жануарии и что нет лучшего спиртного, чем кашаса[1]. А я, глядя на залитые водой окрестности, мимо которых мы ехали, думал: как, интересно, они выглядят в сухую погоду? Поезд покачивало, и мне здорово хотелось спать, но я не спал, потому что действительно можно было вывалиться из тамбура, если задремлешь, тамбур ведь открытый.

Поезд стал замедлять ход, вроде бы останавливаться, но не остановился, а продолжал едва тащиться. Мои попутчики замолчали, и мы решили узнать, что же там впереди случилось. Оказалось, что дожди размыли овраг и принесенная водой земля осела на путях.

Но вскоре поезд стал набирать скорость. Мои попутчики снова стали болтать, а я, докуривая сигарету, продолжал думать. Теперь я думал о Луисе. Ждет, должно быть, меня в Каратинге, сидя в кабине машины, и нервничает, глядя на дождь. А сеньор Марио со своим другом и блондинкой отдыхает, совершенно уверенный, что маис будет доставлен на маслозавод к сроку, и он по случаю его открытия выпьет виски и пожелает заводу процветания и улыбнется, конечно, как уверенный в себе человек — хозяин слова. Я знал эту его манеру улыбаться: вид у него бывал такой, будто он все на свете знает и может, а на самом деле о многом не имеет никакого понятия. Вот так! Тут я вспомнил, как он, бывало, смотрел на меня и объяснял, что и как нужно сделать. А я, дурак, рад был ему услужить. И сколько раз так было. Но позже, хоть вид у сеньора Марио был все такой же всезнающий, он перестал мне объяснять, что и как надо делать, предоставляя мне возможность решать все своим умом. И скажу вам: человек со временем меняется. И я, конечно, тоже изменился. Уверен, что изменился. О том, что я изменился, я подумал в поезде, вспомнив, как однажды один инженер спросил сеньора Марио там, в городе Бразилиа, спросил, точно ли знает он место, где строится отель. Сеньор Марио ответил, что знает, и еще добавил, что грузовики прибудут туда не за пять дней, а быстрее. А я вам скажу, что он и понятия не имел, что отель строится на острове Бананал. Я даже думаю, что он не знал, существует ли такой остров. Но сказал, что знает. Ведь дело обещало прибыль, и ему плевать было на все: даже если один грузовик пропадет, он все равно в барыше будет. Сделку заключили, а потом он пришел ко мне и стал объяснять, где это, по его мнению. Сказал, что туда каждый день-два самолеты летят, туда и обратно, и что с летчиком можно послать уведомление, и прочая и прочая. Но все было совсем не так. Ничего похожего. Это я узнал от рассыльного того магазина, где покупал нужные мне товары. И выходило, что с собой, если я не хочу лапу сосать в дороге, даже еду следовало захватить, не говоря уж о бензине. Вот так-то обстояло дело. Ведь мы с пятью грузовиками

[1] Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

оказались на дороге, вокруг которой только песок, колючий кустарник и ничего больше.

Но в то время я еще не задумывался над своей жизнью, я был всем доволен. Тронулись мы в путь, я был весел, все было хорошо. Ночью мы остановились, разожгли костер, разогрели еду. Это было единственно возможное время, когда мы могли приготовить себе горячее и поесть, ведь днем-то мы боялись потерять каждую минуту. А вокруг ни души и ничего вообще, только дорога и дорога. И страшно было подумать, что на этой дороге мы одни.

Грузовики были загружены полностью, и каждую машину вел только один шофер, мы взяли с собой запасные части и весь инструмент — если поломка какая, чинить, но не бросать машину. Когда мы приехали на место, Фефеу — свой парень — был арестован, и сторож сказал, что отправят его под стражей в город Бразилиа. Так вот, вы не поверите, но эта дорога, да еще такая длинная, привела нас туда, где ничего не было. Только бараки и гора стройматериалов для отеля. Фефеу арестован, сторож даже разговаривать с нами не желает.

Мы прибыли и стали разгружаться, не спрашивая, за что же арестован Фефеу, но я, конечно, обдумывал, как бы освободить парня, потому что, несмотря на свое непонятное прозвище, малый он был хороший и решительный. Ведь это он уладил тогда наши дела с компанией в Новакаре. В Новакаре шло строительство, да еще в таком темпе, что мы порой подолгу не получали жалованья и не волновались, потому что такие задержки были в порядке вещей. Но однажды жалованье задержали на шестьдесят дней. У сеньора Марио на этом строительстве работало двенадцать грузовиков, ответственным был я. Ну так вот, жалованье задержали, и водители стали выражать свое недовольство. Когда приехал сеньор Марио, я с ним поговорил, и он отправился в компанию. Однако компания все равно не заплатила. Сеньор Марио отбыл в Бело-Оризонте, а я с двенадцатью грузовиками и без гроша в кармане остался в Бразилиа. Водители желали получить свои кровные, да еще бензозаправщики отказывали нам в бензине. Представляете, положеньице. И кроме того, мы даже хлеба себе купить не могли, так как больше в кредит нам не отпускали ни в одном магазине. Сеньор-то Марио приехал, да толку-то никакого, и уехал он в тот же день.

И вот тогда-то Фефеу, у которого было три грузовика, подозвал меня и еще других, кто работал на компанию, и сказал, что он решил подвести свой грузовик под экскаватор, который насыпал щебенку, и не двигаться с места. И нам предложил сделать то же самое, пока нам не заплатят. Мы все обсудили, и я сказал об этом своим шоферам, «своим», ведь мне всегда приходится выступать в роли хозяина. Мы дожидались условленного часа. И когда Фефеу приехал — он приехал точно как договорились — и стал со своим грузовиком под ковш экскаватора, а с ним встали еще два его грузовика, я присоединился: поставил рядом свои одиннадцать грузовиков — двенадцатый повез гравий и к тому времени еще не вернулся. Надо сказать, что нашему примеру последовали еще только двое, остальные же, а их было большинство,— нет. Мы стояли, а управляющие кричали, чтобы мы немедленно убирались со своими машинами. Но мы не тронулись. Приехал инженер, за ним следом другой инженер, а мы ни с места. Вызвали полицию, но мы, не будь глупы, взяли ключи да кое-какие детальки из моторов вынули. Естественно, завести их было уже нельзя. Ругались как черти, но никто не двигался с места. Тогда полицейский комиссар приказал всех нас отвести в участок. Взяли и нас, и инженеров. Тут Фефеу заявил полицейскому комиссару, что наши семьи голодают, что у детей нет лекарств и вообще ничего нет. Он так говорил, что я, начавший было сомневаться, верно ли поступил, вновь загорелся и забыл о страхе.

А Фефеу говорил с комиссаром так, точно у него у самого были дети и все они голодали. Когда же потом заговорили инженеры — они были взбешены тем, что и их забрали в участок,— то понесли такое, что, конечно же, не следовало говорить полицейскому комиссару. К примеру, сказали, что это не тот случай, который надо разбирать в полицейском участке, и что они не преступники, чтобы их тащить сюда. Они так много говорили, что полицейский комиссар пришел к заключению, что правы мы, и велел найти возможность заплатить нам к завтрашнему дню. А нам сказал, чтобы мы отогнали машины, но их, инженеров, предупредил, что, если они не заплатят, он примет меры. На другой день — помню, как сейчас,— мы получили свои кровные, те, что нам задолжала компания за сверхурочные ездки.

Однако через неделю нас рассчитали. Я принялся искать новую работу и нашел, когда появился сеньор Марио, мы уже работали и я все ему объяснил. Он нисколечко не разозлился, наоборот, рассмеялся, когда я ему рассказал о Фефеу и его голодных детях. Ему это показалось забавным. Ну, и мы посмеялись, конечно. В свою очередь он рассказал о новой сделке, которую только что заключил. И добавил — в то время он всегда говорил со мной о своих делах,— что на этом можно быстро разбогатеть: он приобрел каменоломню с камнедробилкой. Помню, хлопнув меня по плечу, он сказал, что я уже набил руку, так что все будет как надо. Я же ему ответил, что он может на меня положиться целиком. Скажу откровенно: я никогда не отлынивал от работы, а в то время мне хотелось работать лучше всех и больше всех. Я считал, что должен работать до глубокой ночи — это при том, что вставал я чуть свет, и все ругал себя, если терял время попусту и позволял другим обогнать себя. Мне хотелось быть там, где работы невпроворот, из кожи лезть, но сделать больше других. Заботиться лишь о том, чтобы машины больше перевезли груза. Не припомню, закрадывалась ли в те времена мне в голову мысль, подобная сегодняшней. Нет, я из себя не выходил, но и не видел необходимости делать вид, будто не понимаю, что творится вокруг меня. Зачем это? Конечно, я знаю, что с годами человек меняется, но скажу вам, что в себе перемену мы не видим так ясно, как в другом. Хотя то, что я стал другим,— так и есть. И то ли еще будет! Ведь вот вы, глядя на меня и не поговорив со мной, никак не скажете, что я изменился. А может, как раз то, что перемены не видно, и есть самая большая перемена в человеке. Да, трудно сказать, но что есть, то есть — я переменился.

Ну так вот, тогда там, на острове, когда мы закончили разгружать грузовики, я встретился и поговорил со сторожем. Он был стар и угрюм. Жил тут же, в зарослях, и почти ни с кем не водил дружбы. Пожалуй, он хорошо относился только к индейцу. Ведь и с охраной авиакомпании он тоже не разговаривал. А как раз они-то и держали под замком Фефеу. Поговорив со сторожем, я узнал, что Фефеу арестовали за воровство. Потом мы со стариком еще долго беседовали на разные темы, ну, и в результате договорились: освободить Фефеу под мою ответственность, чтобы он уехал со мной.

Мы еще три дня там болтались — ждали, нас должны были послать за камнем на берег реки, неподалеку. И эти три дня Фефеу сидел в одном из бараков. Позже он рассказал мне, что он — опытный шофер и знает свое дело на все сто. А за руль грузовика на перевозках он сел только потому, что работа обещала дать много денег, риск ведь дело благородное. И он даже не побоялся ехать один по этой дороге. Хотя, конечно, его не предупредили, что ехать придется долго и что кроме дороги, по которой он будет ехать, ничего кругом нет. Только дорога, и все. Ни малейшего признака жизни. И он, хоть он и опытный шофер, не захватил с собой ременный привод для вентилятора. Он перечислил мне все, что взял с собой, все.

И надо сказать, среди перечисленного были такие вещи, без которых вполне можно обойтись. А вот ремень для вентилятора не взял. Из-за этого чертова ремня его и арестовали. Тот, что был в машине, лопнул, а поскольку на этой бесконечной дороге Фефеу им пользовался все время и ни одной машины, у водителя которой можно было бы попросить этот чертов ремень, не встретил даже к концу второго дня, Фефеу все пытался приспособить к вентилятору ремень от брюк. В последнюю ночь, опять же никого не встретив, он даже стал думать, что эта дорога никуда не ведет и что она так и будет идти в глубь зарослей, пока, наконец, в них не кончится. Ну, а после того, как он испробовал все, чем можно было заменить этот проклятый ремень, и у него ничего не получилось, он решил жаркие часы пережидать где-нибудь в тени, а ехать, когда спадает жара. Потом он то ехал, то стоял. Вечером он свет не зажигал — берег аккумуляторы. Вот так он и доехал до строительства. А доехав, вынужден был еще сам разгружать машину, потому что сторож не позаботился о том, чтобы найти ему помощников. Индеец как сидел на корточках, так и продолжал сидеть, но не помог ему снять ни одного ящика. Потом Фефеу спросил сторожа, где бы достать ремень для вентилятора, и рассказал, что́ с ним в дороге было, но тот ответил, что здесь ремень достать невозможно, разве что самолет из столицы доставит. Тогда Фефеу попросил одного из охраны посадочной площадки переговорить с пилотом, чтобы тот купил ему ремень в Бразилиа. И пока он ждал, что ему его привезут, кто-то из солдат возьми и поинтересуйся, почему же он не попросит ремень у сторожа. Ремни у того должны быть, потому что, когда начались здесь земляные работы и грузовиков сюда нагнали дополна и больше, запчасти лежали в одном из бараков.

— Я говорил с ним, Жорже. Рассказал ему все, а он мне даже войти в барак, где лежали запчасти, не позволил.— Фефеу говорил мне это чуть не плача.— До чего же человек может быть поганым, а? Я сказал ему, что заплачу. Сказал, что пришлю из столицы столько ремней, сколько захочет. А он молчит, и все.

Самолет задержался, и Фефеу, прождав еще два дня, решил войти в барак и посмотреть, действительно ли там есть эти ремни. И что же он увидел, войдя? Связку ремней. Перехваченные веревкой, они висели на одной из балок барака.

— Жорже, я ведь взял всего один ремень. Даже про запас не взял. Один, только один. Что было делать? Самолет-то не прилетал.

Когда он выходил из барака, его уже поджидали сторож с индейцем.

— Это был плохой индеец. Я как глянул на него, так понял, что человек он дрянь. И уверен, что это он сказал сторожу, что я пошел в барак.

Тут сторож приказал Фефеу раздеться и стал его обыскивать: уж не украл ли он еще чего?

— Посмотрите, Жорже, на его рожу, на ней же все написано. Этот тип ни с кем не разговаривает, разве что с индейцем, который ничем не лучше его.

Индеец как раз по своему обыкновению сидел на корточках поблизости и смотрел на нас. В тот день, когда мы приехали, сторож предупредил, чтобы мы не заглядывались на жену индейца. Не знаю, зачем он это сказал. Жена индейца все время находилась при индейце. Если он шел, она шла следом за ним шагах в трех, опустив голову. Если он останавливался, она останавливалась тоже. Если он садился на корточки, она застывала за его спиной. Потом тоже садилась на корточки, и они оба сидели молча и неподвижно.

По вечерам мы все время видели огонек сигареты индейца, и нам казалось, что индеец следит за нами.

Когда мы уезжали, с нами уехал и Фефеу. Он был мрачен и всю дорогу, даже когда остров остался далеко позади, говорил:

— Надо же, Жорже, обозвать меня вором, а? Он меня обозвал вором, а я промолчал. А что я мог ответить? Ведь я же взял ремень. Вынужден был взять.

Похоже, эта история не шла у него из головы.

Когда поезд прибыл в Говернадор-Валадарес, дождь кончился. Выйдя на платформу, я постоял, соображая, в какой стороне автобусная остановка. Вспомнил и пошел в нужную сторону. Я знал Валадарес еще с тех пор, когда работал на строительстве автострады Рио — Баия там, наверху, сначала у Витория-де-Конкиста, потом рядом с Жекие. Мы всегда, если надо было отремонтировать или заменить мотор, ездили в Валадарес или же проезжали мимо него, когда ехали в Бело-Оризонте. Я шел и вспоминал, каким был в те времена этот город. На автобусной остановке я узнал, что вниз по трассе Рио — Баия не идет ни один автобус, и что около Ален-Параиба река залила все и даже снесла дома на шоссе, и что на всех поворотах завалы, а мосты все разрушены. Хуже всего была дорога на Кампос, говорили, что и город затоплен. Единственная дорога, по которой можно было проехать, это через Жуис-де-Фора. Но там ходил только один автобус, и то потому, что его тащили спецмашины дорожного управления. Я знал также, что дорожная полиция установила ниже Каратинги шлагбаумы и никто не мог там проехать. Машинам, едущим за шлагбаум, требовалось особое разрешение, на получение которого шоферы тратили много времени, и прежде всего потому, что полиция проверяла, пользуясь передатчиком, действительно ли ехавшие пассажиры были из этих городов. И тут я представил себе грузовики с прицепами, стоявшие у шлагбаума в Каратинге.

Выяснив все, что мне было необходимо, я зашел в ресторан, сел за столик, и стал смотреть в окно на прохожих, и нашел, что на улице так же оживленно, как и тогда, когда дороги были в порядке. Люди шли или стояли. Чувствовалось только, что, в какую сторону направиться, они не всегда знали.

Я ел и обдумывал: каким же образом добраться до Каратинги? К концу обеда я пришел к мысли, что лучше всего мне разыскать Алтаира. С его помощью легче будет найти какой-нибудь транспорт. Я сидел и пытался вспомнить название его мастерской. И не мог вспомнить. Ни как она называлась, ни где находилась. Я осоловел, тело мое обмякло, и, ковыряя в зубах, я доходил, чувствуя, что скорее сдохну, чем вспомню. Официант с нетерпением ждал, когда же попрошу я счет и освобожу место, потому что народу было много и жаждущие поесть томились в ожидании. А я все вспоминал название мастерской Алтаира, и мне не хотелось вставать. И помню, я так долго сидел, что официант в конце концов принес мне счет, не дождавшись моей просьбы. Тогда я вышел из ресторана, не оставив ему на чай. Вышел, перешел на противоположную сторону, где была автобусная остановка, и пошел дальше. Я шел, а чемоданчик бил по ноге. Помню, я все время пытался проголосовать, чтобы меня подбросили до Каратинги, и с любопытством смотрел на велосипедистов, запрудивших улицы. Солнце выглянуло из-за туч, но грело слабо. На улицах было много луж, и велосипедисты объезжали самые глубокие. И вот тут я вспомнил название мастерской Алтаира. Она называлась «Параизо» [1]. Я так обрадовался, что зашел в первую попавшуюся мне механическую мастерскую и спросил, не знают ли работающие в ней парни мастерскую с таким названием. Тот, к кому я обратился, сразу же ответил, что знает, и объяснил мне, что она находится по дороге на мост, не доходя моста. Я подумал: видно,

[1] Рай *(португал.)*.

мастерская Алтаира очень хорошая, раз ее знают, она ведь стоит на дороге, в стороне от центра города.

Я сел в автобус и доехал до моста. Вышел и, стоя на остановке, увидел, как разлилась река. И какая же грязная вода! Посмотрел в сторону Ибитуруна и припомнил, как, бывало, ходил там по дороге: солнце печет, камни пышут жаром, дышать нечем. И все мы не могли понять, как это живущие там люди выносят подобную жарищу. И еще я вспомнил, как Зито говорил, что в Говернадор-Валадаресе больше камней, чем чего-либо другого. Он говорил это, стараясь подколоть Алтаира.

Я посмотрел на дорогу. Теперь она выглядела пустынной, совсем не похожей на дорогу того времени, когда мы здесь работали. Посмотрел на мост и увидел бензоколонки, но и они были не такие, как прежде. Теперь они стояли в стороне — дорога-то шла по дамбе,— и бензоколонки выглядели новенькими, но бездействующими.

Разглядел я и то, что на месте бензоколонки Алсиндо теперь подъездная площадка. Я шел не торопясь, вспоминая прошлое и ища площадь или что-нибудь под названием «Параизо». И на пути я не встретил ни одного из тех мальчишек, которые, бывало, осаждали нас на трассе Рио — Баия со смазочным маслом. Их всегда было столько, что нельзя остановить машину — сразу же залезут под нее, говоря, что хотят смазать. Ничего они не смазывали, а тащили все, что могли. Бывало, эти дьяволята воровали то, что и унести-то им было не под силу. И каждый раз, когда мы вынуждены были останавливаться, нам приходилось кричать, что смазывать не надо. И все равно гляди в оба, чтобы не залезли под машину. А стоило зазеваться, они тут как тут — уже под машиной. Заорешь на них, а они отвечают, что все уже готово — смазано, и требуют денег. Как-то у меня даже возникло желание задавить полдюжины этих сорванцов, чтобы их стало меньше. Но сейчас ни одного не было видно, не у кого спросить, где же мастерская Алтаира. А ведь эти дьяволята вам обо всем расскажут, что делается на дороге. Даже по каким дням компания платит жалованье. Ей-ей, они знали это лучше нас, тех, кто там работал. Знали все. И среди них были такие ловкие, что могли украсть у грузовика задний мост. Вот так. Хотите верьте, хотите нет. Ох, и жалко же было смотреть на машину, хозяин которой разрешал им ее смазать. Они просто разбирали ее снизу. Отвинчивали все, что можно было отвинтить. Так что мы, когда нам приходилось стоять по нескольку дней на каком-то участке дороги, ничего лучшего не могли придумать, как нанять самых отчаянных из них и поручить им присмотр за машинами. Тут уж они никого даже близко не подпускали. Они ухаживали за машинами, старались делать для нас все что могут: покупать сигареты, носить белье в стирку и все прочее, что требовалось и не требовалось. И, скажу вам, мы, бывало, так к ним привыкали, что расставаться было грустно.

Так вы думаете, что я действительно не встретил ни одного парнишки на дороге? Как бы не так! Были, на дорогах детей всегда много. Только у этих в руках было не смазочное масло, а жестяные банки для милостыни. Те воровали, а эти просили.

У бензоколонки я узнал, где мастерская Алтаира. Она оказалась на другой стороне, действительно в нескольких метрах от моста.

Я перешел дорогу и вошел в мастерскую, которая походила скорее на большой сарай. Войдя, я увидел, что это мастерская по ремонту моторов, и услышал, как притирали клапан. Токарный станок стоял около двери. В мастерской был полумрак. Сидевший в мастерской мужчина спросил, что мне нужно. Я ответил, что хочу поговорить с Алтаиром. Взглянув на меня, мужчина сказал, что Алтаир вышел. Я поинтересовался, надолго ли. Он ответил, что нет, не надолго. Тогда я сказал, что подожду его. Нашел на что сесть и сел. Сел и стал оглядывать мастерскую. Трое находившихся здесь пар-

ней работали, и, несмотря на шум от притирания клапана, в мастерской было тихо. Тот, который спросил меня, что мне надо, возился у токарного станка. Он шлифовал головку блока мотора. И, скажу вам, это был токарь что надо. Один из тех, которым стоит только взять деталь в руки, как сразу же становится ясно, что он мастер своего дела. Я смотрел, как он работает на станке, как просверливает отверстие и как падает металлическая стружка, когда в дверь вошел Алтаир. Он вошел и увидел меня раньше, чем я его, и закричал на всю мастерскую, даже напугал меня, потому что, как я уже сказал, в мастерской было тихо. Я встал, мы обнялись, и я увидел, что Алтаир совсем не изменился, каким был, когда мы работали вместе, таким и остался. Ну, прямо вроде бы мы были в Жекие, и все тут, а он тот же балагур и весельчак, не пропускавший ни одной женской юбки на трассе Рио — Баия. Никогда ни на что Алтаир не жаловался — пусть хоть ночь за ночью работать приходилось. То мы вскрывали коробку скоростей, то копались в дифференциале. И я, я еще никогда не встречал лучшего механика, чем он. Он всегда с радостью брался за любую работу, только проведет расческой по своей шевелюре, и все. А шевелюра у него была — загляденье: волос жесткий, красивый. Никогда не видел таких волос, ей-ей. И сам он был из тех, с кем всегда приятно работать.

Мы обнялись и заговорили о жизни, стали спрашивать друг друга, кто из нас что делает. Больше-то говорил он, говорил громко, не слушая, что говорю я. Потом взял меня за руку и повел осматривать мастерскую, спрашивая, как я ее нахожу. Я, конечно, сказал, что она мне нравится. И это была правда: кругом порядок, чистота и опять же оборудование что надо. А он сказал: «Вот это жизнь, это тебе не баранку крутить денно и нощно и терпеть таких хозяев, как ты». И засмеялся громко, во весь рот и потащил меня в глубь мастерской, открыл дверь внутрь и сказал, что он здесь и живет. Теперь он женат. И тут же поинтересовался, женат ли я. Я, конечно же, ответил, что нет. Тогда он заметил, что я зря теряю время, и втолкнул в дом и потащил по комнате, зовя Руте — так звали его жену. Руте скоро появилась, и я, когда она вошла, застыл на месте — она была такая некрасивая, маленькая, толстая, а я-то считал, что если когда-нибудь Алтаир женится, то только на красавице. Когда мы с ним вместе работали, он всегда увивался за самыми красивыми девушками с трассы Рио — Баия. И вот когда он позвал Руте и она вошла, некрасивая, толстая, маленького роста, с жирными руками да еще в очках, я оторопел. Она вышла из внутренних комнат, вытирая руки о передник и улыбаясь. А Алтаир положил мне руку на плечо и сказал, что я тот самый Жорже, тот «проклятый хозяин», о котором он ей рассказывал. Она же, пожав мне руку, сказала, что много слышала обо мне и ей очень приятно со мной познакомиться и чтобы я чувствовал себя у них как дома. Тут Алтаир заметил ей, что я самый бессовестный бабник, каких он когда-либо знал. И засмеялся. Руте тоже засмеялась, ну и мне, поскольку я нашел его слова забавными — ведь он говорил-то о себе,— ничего не оставалось, как тоже засмеяться. И мы стояли и весело смеялись. Но Алтаир-то, говоря обо мне, говорил о себе. А Руте была довольна, и ее улыбавшееся маленькое личико очень не подходило к ее толстой фигуре. Мы сели за стол и продолжали разговаривать, и Алтаир не давал даже слова вставить — ни о моей поездке в Каратингу, ни о застрявших грузовиках. Руте пригласила меня обедать с ними. И когда я было собрался ответить, что не могу, Алтаир даже слушать не стал: что бы там у меня ни было, но обедать будем вместе и не стоит обращать внимание на хмурые лица братьев Руте. Тут я понял, что те трое в мастерской — ее братья. А Алтаир добавил, как всегда шутя, что, женившись на Руте, он разрешил все проблемы семьи — братья Руте могут на него положиться. И спросил:

— А они тебя не укусили, когда ты вошел?

И продолжал в том же духе, говоря, что все, кто приходит в мастерскую в его отсутствие, не знают, как унести ноги, и никогда больше не возвращаются. Утверждая это, он считал, что был очень остроумен. То была его манера быть самим собой, и не плохая манера.

Алтаир продолжал рассказывать о братьях жены: одного он отправил на курсы слесарей, потому что тот ничего другого, кроме как пялить глаза на зады работниц у соседей, не умел. Из второго он тоже сделал человека — раньше тот об одном только думал: как бы, не работая, побольше заработать. Жена Алтаира ушла на кухню. Теперь она уже не казалась мне некрасивой, а наоборот, я даже подумал, что у нее очень симпатичное лицо. Алтаир же продолжал говорить о ее братьях и сказал, что у третьего тоже был какой-то недостаток — какой, я так и не понял. Он говорил и смеялся, а его жена возилась на кухне и поддакивала ему. Иногда она, довольно улыбающаяся, показывалась в дверях. А он продолжал говорить, вставляя чуть ли не через два-три слова — и всегда к месту и с любовью — имя жены, это, как видно, стало его манерой. Потом он велел жене кликнуть детей. Пришли мальчик и девочка, и он показал мне их обоих, сказав, что это — его зверюшки и есть еще один, но сейчас он у тестя с тещей. Он время от времени отправляет одного из ребят к ним на пансион,— как говорится, услуга за услугу, ведь он оказал услугу их семье, женившись на Руте.

Я понял, что Алтаир и теперь любил пошутить, понял, что у него хорошая семья и он всем сердцем любит ее и рад, что меня увидел, как и я тоже был рад встрече с ним. Вдруг он спросил меня:

— Ну, а как дом доны Олги? Помнишь? — И обращаясь к жене: — Руте, Руте, спроси-ка у него о доне Олге. Эта сеньора любила его как сына. Не так ли, Жорже? — И он похлопал меня по руке.— Разве не так? А? Расскажи Руте о своей дружбе с доной Олгой.

А эта история с доной Олгой к нему-то как раз и имела отношение, и большее, чем к кому-либо, а уж ко мне-то никакого. Я-то даже сбоку припека не был. А вот Алтаир — он доны Олги домогался. И даже когда мы уже второй раз были в ее доме, ни с кем не хотел сближаться, ждал, когда она согласится. А знаете, мы, бывало, подолгу не могли заглянуть к ней в дом. То работа не позволяла, то денег не было. Ведь деньги, как правило, задерживали.

И все-таки задержки с выплатой денег на четыре месяца случались редко. На моей памяти один раз это было, в Бразилиа — я вам уже о том рассказывал, ну, когда Фефеу затеял эту историю с грузовиками,— и второй, когда я работал на дороге Бразилиа — Акре. Но, конечно, чего хорошего, когда тебе по четыре месяца денег не платят. Ведь даже если у тебя и звенит в кармане, все равно не дело. А в тот раз, на строительстве трассы Бразилиа — Акре, случилось так, что нам не платили, да и сеньор Марио не появлялся более сорока шести дней. Компания денег не давала, а мне еще выпало на долю оплачивать аренду самосвалов. Итак, деньги нам не поступали. Да и не только нам, все были без денег, и мы перестали обращать внимание на сборщиков налогов, которые нас преследовали.

Работа на трассе Бразилиа — Акре была сумасшедшая, крутиться приходилось и днем и ночью. Да, да, только успевай поворачиваться.

Да, так вот, тот день, когда после длительного отсутствия появился сеньор Марио, я помню прекрасно. Мы работали на семи самосвалах — в то время у сеньора Марио было семь самосвалов. Я сидел за рулем без рубашки — жарища адская. Все работали голыми по пояс. И наши самосвалы шли друг за другом — красота смотреть! — груженные до самого верха, только шины шипели на новой-то дороге. Вереница самосвалов ссыпала землю, несколько машин раз-

равнивали ее, подготавливая для дальнейших работ новые метры дороги. А впереди нас другие машины и другие люди рубили кустарник и очищали просеку. А еще впереди них валили и рубили крупные деревья. До нас даже доносился звук падающих стволов.

Я ожидал своей очереди, чтобы нагрузить машину землей, когда увидел один из наших самосвалов, заново покрашенный,— он направлялся в сторону конторы компании. Пролетел мимо меня, но я все же разглядел, что это наш самосвал, а все потому, что, когда долго работаешь на одних и тех же машинах, сразу, даже не приглядываясь, узнаешь свою. Это был самосвал Жосимара. И даже не сомневался, хотя машина была перекрашена и ехала в сторону конторы. Нагружать свой самосвал я не стал. Выехал из ряда и, не сбавляя скорости, развернулся, тут же оказавшись в хвосте вереницы ехавших по дороге машин. Когда я проезжал мимо Антунеса, то по одному его взгляду понял, что он тоже видел тот самосвал. Догнал я самосвал уже во внутреннем дворике компании и тут уж разглядел и как хорошо он выкрашен в зеленый цвет, и его новые покрышки, и ковш. Даже не подумаешь, что он предназначен возить землю. Машина была красивая, чистая, свежевыкрашенная и резко отличалась от остальных, грязных, с облупившейся краской. Самосвал развернулся и застыл под деревом, около склада. Я въехал во двор и стал рядом с ним. И увидел... сеньора Марио. Это было еще то время, когда сеньор Марио мог сесть в самосвал и пригнать его из Бело-Оризонте на строительство дороги Бразилиа — Акре. Сорок шесть дней его не было! И вот он здесь. И, надо сказать, на таких людей, каким он был тогда, приятно работать.

У меня все было в полном порядке: расписано по дням, выверено, и все самосвалы в работе. Только с арендной платой неувязка была. Так ведь деньги-то, что задолжала компания, все еще не выплатили. А выплатят — и здесь будет порядок. Сеньор Марио увидел меня, а я, увидев его за рулем этого свежевыкрашенного и красивого самосвала, очень обрадовался и даже поблагодарил его. Он засмеялся и обнял меня. В тот день я больше не работал: мы сверяли мои записи. И не нашли ни одной ошибки. И не было ничего такого, что́ бы я сделал, а сеньор Марио не похвалил меня, не сказал, что это здорово.

Он привез ящик пива, который мы с ним и все наши шофера осушили в тот же вечер. И еще он привез мне в подарок две рубашки. Когда мы с ним все сверили, я рассказал ему, как опрокинулся на этой машине Жосимар. Все в точности рассказал.

На следующий день сеньор Марио улетел в Куиабу на самолете компании. А я стал подыскивать водителя для самосвала, который он пригнал и который теперь выглядел новеньким. Потом передумал и взял его себе, а свой отдал Леви — шоферу, которого нанял в тот же день. Теперь моя машина была на трассе Бразилиа — Акре самая новая, и я подумал, что совсем недавно я и представить не мог, что этот самосвал принесет мне столько радости. А сколько он мне доставил хлопот тогда, когда я вытаскивал его из канавы? Я был просто в бешенстве, когда идиот Жосимар перевернулся на нем, возвращаясь из Куиабы, куда он ездил за клапанами.

И, скажу вам, самосвал я увидел еще издали. Он лежал на правом боку. В том самом месте дорога делала поворот, он и лежал там, внизу, съехав с дороги. Поворот был открытый — дорога-то современная,— и никаких тут случайностей быть не могло. И вот когда все это я увидел: и поворот и лежащий самосвал, то, скажу вам, прямо приуныл. Самосвал был не загружен, и ведь вел его шофер, привыкший к любым дорогам, даже грунтовым. Я ничего не понимал, да и трудно было все это понять. Я затормозил и встал на обочине, внимательно разглядывая лежавший самосвал, и пришел в бешенство. Он съехал вниз, ударился передком и завалился на правый бок.

Бампер задрался чуть ли не выше глинобитной лачуги. Тут я подумал, что лучше бы он завалился на левый бок, чтобы его, черта Жосимара, придавило и послужило ему уроком. Но нет, Жосимар свалился так ловко, что, думаю, даже не испугался. Я посмотрел в сторону лачуги и увидел идущего ко мне худого старика, тот еле ноги передвигал. В доме была одна дверь и одно оконце, оно выходило как раз в ту сторону, куда свалился самосвал, и было крошечным, можно подумать, что это просто дыра в стене.

При доме никакой зелени не было, как не было и никакой живности — кур или домашних животных, ну, скажем, собаки. Участок был обнесен изгородью из желтого бамбука. Земля тут сухая. Старик подошел и сказал:

— Да-а.

Я ему ответил:

— Да-а.

Тут он сказал:

— Видите эту машину?

— Вижу. А где шофер?

— Уехал.

— Куда?

— Да туда.— И он махнул в сторону Куиабы.

— На чем же он уехал?

— На другом самосвале.

— Он разбился?

— Нет, сеньор.

«Вот досада»,— подумал я. Говорить больше не хотелось, я спустился к самосвалу, чтобы осмотреть его. Так и есть, машина свалилась потому, что земля у самого края дороги была рыхлая. Ее недостаточно утрамбовали, да и травяной газон, закрепляющий землю на склоне, был недостаточен, ему бы еще подрасти следовало. Шасси погнуто, радиатор полетел ко всем чертям, машина врезалась в забор или забор в нее — все одно. Ковш смят, задние правые колеса соскочили, дверь исковеркана.

Увидев все это, я задумался, можно ли будет, да и где привести в порядок это месиво. Мотор, похоже, тоже поврежден. Но это должно было выясниться позже. Сейчас же было ясно одно: водитель сбежал, а именно он повинен в том, что машина разбита. И надо же, даже ничего не сообщил нам, а ведь работал-то он на нас. Хорош гусь. Разбил машину и хоть бы что предпринял. Натворил дел и смылся.

Старик из лачуги с глинобитными стенами сказал, что ему, Жосимару (старик говорил не Жосимар, а Жусима), повезло: он не разбился. Бог уберег его. Тут я спросил старика, что же предпринял Жосимар, чтобы вытащить самосвал из канавы.

— Ничего, сеньор.

Тогда я спросил, когда же перевернулся Жосимар.

— Вчера, под вечер.

— И долго здесь был?

— Долго.

— Где же он провел ночь, после того как самосвал перевернулся?

— Что?

— Где спал водитель?

— А там, внутри.— И он указал пальцем на машину.

— А в котором часу он уехал?

— После обеда.

Я стал соображать, почему же Жосимар торчал здесь до обеда. Думал я и рассматривал старика, который оказался вовсе не стариком. Он был худ, белки глаз желтые, один зуб торчал во рту. И я представил себе, как Жосимар спал в кабине самосвала, храпя, точно

боров, а проснувшись, стал просить у этого человека что-нибудь поесть.

— Он вам хоть заплатил?

— Что?

— За еду он заплатил?

— Нет, сеньор.

Он сказал это так, будто я оскорбил его.

Вечерело, и я стал подумывать, куда же все-таки мог уехать Жосимар, и направился к своей машине. Но перед тем как тронуться с места, попросил старика никого не подпускать к самосвалу. Главное, не давать в нем копаться.

У первой бензоколонки я остановился и спросил о Жосимаре. Но никто его не видел. Я спрашивал о нем на каждой бензоколонке и у всех водителей, какие там заправлялись, но никто его не видел. Было уже поздно, и я очень хотел есть, когда мальчишка из бара при бензоколонке у въезда на улицу Розарио-до-Оэсте сказал мне, что, похоже, парень, которого я описываю, ехал на фургоне. Я обрадовался. Мальчишка сказал, что Жосимар проезжал здесь, как только начало темнеть. И добавил, что рубашка на нем была вся в грязи.

Теперь уже все было проще простого: я останавливался только в том случае, если видел фургоны. А в то время на той дороге их почти не было: шли только самосвалы да грузовые с открытым кузовом. С землей, конечно. А фургон — редкий случай.

Начинало светать, а я все еще не настиг этого чертова Жосимара. Дважды я все-таки встретил машину с фургоном, будил шоферов, но они ничего не знали о Жосимаре. Утром один заправщик сказал мне, что Жосимар ехал в грузовой машине марки «шевроле». Это уже совсем облегчало дело. А уж когда он сказал, в котором часу проехал здесь грузовик, я понял, что иду по следу и близок к цели.

Но представляете, как же я хотел есть. Однако у меня даже в мыслях не было остановиться перекусить, ведь мне во что бы то ни стало нужно было догнать этого мерзавца. И вдруг я увидел «шевроле» среди других машин у входа в ресторан недалеко от местечка, которое называется Акоризал. Посмотрел внимательно, да, «шевроле», и второй такой машины здесь не было. Я затормозил и встал очень неудачно, явно мешая движению. Но мне было не до того, единственно, о чем я думал, так это как бы перехватить Жосимара. Я вылез из машины и вошел в ресторан. И вижу голубчика за столиком. Одного. Подошел я к нему, ну он меня и увидел. Он уже пообедал и потягивал кофе. Я стал перед ним. А он улыбнулся и говорит:

— Жорже, привет!

Я молчу.

— Я поехал людей искать на подмогу, ну чтобы вытащить самосвал,— пояснил он мне.

— Пошли,— сказал я.

А он так это смотрит на меня и продолжает улыбаться.

— Подожди, может, я допью, Жорже?

И тут я как дам ногой по столу. Такая злость меня взяла: вспомнил перевернутый самосвал да то, что он его бросил на дороге... А уж что он вел его пьяным, так это как пить дать. А тут, видите ли, подождать просит, пока он кофеек дотянет. Да еще лыбится.

От бутс из сыромятной кожи и на резине, которые мы обычно носили,— это была единственная обувь, не разваливавшаяся в этих местах,— стол полетел к чертовой матери. Столик маленький, на одного — такие теперь во всех дорожных барах и ресторанах. Так вот, я попятился и задел другой, стоявший рядом. Тарелки и бутылки пива полетели на пол, а Жосимар продолжал сидеть с чашкой кофе в руке, но уже не за столиком. Он смотрел на меня, но я тоже не

сводил с него глаз, даже не посмотрев, куда отлетел столик, и сказал:

— Пошли в машину.

— Иду, иду, Жорже. Оставь, иду!

И пошел. А я, правда уже у двери, обратил внимание, что в зале все притихли.

Дело-то в том, что столик, покатившись, ударил по другому столику, за которым сидел мужчина и что-то жевал, ну и еда попала ему на костюм. Я подошел, поднял стол и попросил официанта подать мужчине новую порцию. Тарелки я поднимать не стал и бутылку тоже — она была разбита. Но подошел к стойке, спросил, сколько за все, заплатил и вышел.

Жосимар уже был в машине, сидел и ждал меня. Я включил зажигание, развернулся и поехал. Поесть остановился я только тогда, когда почувствовал, что смогу что-либо проглотить. Весь остальной путь, пока мы ехали до того места, где лежал самосвал, я порой задевал плечом Жосимара, но не смотрел в его сторону, чтобы не видеть его рожи. Я понимал, что он вел самосвал настолько пьяный, что только потому и спал в перевернувшейся машине. А потом еще выпросил еду у того худого, желтого старика и уехал. И при всем этом ему, видите ли, смешно было, когда он меня увидел. Когда я думал обо всем этом, мне хотелось лупить его по морде, пока рука не заболит.

Оба мы сидели в кабине. Я вел, а он сидел рядом. И все молча, до того места, где лежал самосвал.

Когда мы приехали, было уже поздно. Как только я остановился у обочины, дверь дома распахнулась и вышел старик, вышел поглядеть, кто там. Жосимар вылез из машины, а старик спросил:

— Значит, сеньор нашел вас?

Он еще что-то говорил, но я сказал, что уже поздно и мы здесь заночуем. Это его, похоже, удовлетворило, и, подойдя поближе к машине, он посмотрел, как это у нас получится. У него в руке была коптилка, и я боялся, как бы машина не загорелась от искры. Но он стоял и смотрел и только тогда, когда увидел, что я снимаю ботинки, повернулся и пошел к дому. Ночь была светлая, и я все время видел его, пока он с коптилкой в руке шел к дому, медленно, согнувшись. Ну вроде бы на похоронах.

На то, чтобы вытащить самосвал из канавы, мы потратили два дня. В первый день, как только рассвело, я встал, надел ботинки и пошел будить Жосимара, который спал в кабине лежащего на боку самосвала. Громко стуча в дверцу машины, я его разбудил. Потом умыл лицо — вода была на участке старика. Пока я умывался, солнце встало. Потом принялся думать, с чего мы должны начать свое трудное дело. Я осматривал самосвал, когда старик принес нам пластмассовый стакан и чайник с заваренным кофе. Интересно, а сам-то он пил кофе? Похоже, нет, вид уж очень был болезненный. Я поблагодарил, взял чайник и стакан и выпил кофе. После меня выпил Жосимар, и мы приступили к работе. Вначале я решил, что надо откопать переднюю часть самосвала, которая увязла. Это сделал Жосимар один, так как лопата была одна и то от моей машины. Его — исчезла. И когда я спросил, где его лопата, он сказал, что оставил в мастерской в Куиабе. «Врет»,— подумал я, слушая его... Он просто понятия не имеет, где она может быть. Пока он откапывал самосвал, я пошел поискать что-нибудь, что бы помогло нам вытащить машину. Но не нашел поблизости ничего, даже куска проволоки. И стал думать: что же делать-то? Бампер самосвала землей засыпан не был... Тут я послал Жосимара нарубить веток, чтобы настелить их на рыхлую землю, по которой придется тащить машину, а сам сел в свою и отмахал на ней эдак километров двадцать, ехал я в сторону, где, как мне помнилось, раньше размещалась контора компании.

Проехал я туда и нашел там сторожа, который остался жить на том месте с женой и детьми и именно в том бараке, где помещалась контора. Я поговорил с ним, и он вызвался мне помочь. Среди старого, брошенного хлама мы искали, что́ бы могло мне пригодиться. Нашли кабель. Я выбрал тот, что был покороче, но даже и этот был длинен, и нам пришлось попотеть, чтобы забросить его в кузов. Кабель был толст и в гудроне. С большим трудом мы его скрутили, но все-таки скрутили и уложили в кузов. Еще я получил лопату — мы нашли ее во дворе.

Два дня мы вытаскивали самосвал. Это было не так-то просто. Пришлось здорово помучиться, чтобы привязать кабель к кузову лежащего самосвала и к крюку на бампере моей машины. Кабель трудно было выпрямить. Он ломался, а торчащие из него проволоки ранили руки, было очень больно. Один раз кабель сорвался. Мы вроде бы хорошо привязали его к обеим машинам, но, когда я сел за руль своего самосвала и сдвинул его с места, кабель сорвался и полоснул Жосимара по шее. В другой раз, когда кабель держался прочно и мне удалось сдвинуть с места самосвал Жосимара, забуксовал мой. Тут нам пришлось собирать камни и загружать ими кузов моей машины, чтобы утяжелить ее и она бы не буксовала.

После того как нам удалось поднять самосвал, еще предстояло тащить его вверх по устланной сучьями земле. И всякий раз, протащив его самую малость, Жосимар надевал на колеса цепи, чтобы самосвал не съезжал обратно вниз. Старик очень хотел нам помочь, но был так хил, что ни на что способен не был. И вот, когда уже самосвал был почти на обочине дороги, кабель развязался, и наша работа пошла коту под хвост — самосвал оказался на прежнем месте. Пришлось начинать все сначала. Только к концу следующего дня нам удалось вытянуть его на дорогу. И все это сделали мы с Жосимаром вдвоем.

После того как мы вытащили самосвал, я еще дня два бился, чтобы раздобыть грузовик с платформой,— ведь самосвал надо было отвезти в Бело-Оризонте. Для этого мне опять пришлось ехать в Куиабу. И все время, пока я занимался этим, Жосимар сидел на дороге возле самосвала. Тут мне никаких усилий прикладывать не пришлось. Он сам сказал, что останется стеречь, и стерег. И еще он помог поднять самосвал на платформу.

И вот после всей той работы, которую задал мне Жосимар со своим самосвалом, я вдруг увидел эту машину, новенькую, вроде бы и не бывшую в употреблении, да еще вел ее сам сеньор Марио. И, помнится, когда сеньор Марио сел в самолет и отправился в Куиабу, а я остался с этой машиной, то подумал, что для такого человека, как сеньор Марио, можно работать всю жизнь. И браться за любую. Ведь он привез ящик пива и две рубашки мне в подарок.

А работа на трассе была не мед, я уже вам говорил, хотя недовольства я и не испытывал. Но, честно говоря, где бы я ни работал, я везде был доволен, потому что сеньор Марио был такой человек, который, если дела плохи, ждать, что они улучшатся, не станет, а наоборот: только что не так, если я ему сигнализирую,— раз и договаривается в другом месте. И мы переезжаем туда. Бывало, до нового места приходилось добираться несколько дней. Но место всегда было выгодным. Вот потому-то я и говорю, что знаю почти все компании по строительству дорог, о которых рассказываю. И знаю в этих краях такие места, что вам и во сне не приснятся. И, глядя на человека, могу так вот, сразу определить, работник он или нет. А каких работящих людей мне приходилось встречать, не поверите. Алтаир — один из них. Когда он начинал со мной работать, он ведь ни одного винтика в машине не знал. Тогда мы работали на трассе Рио — Баия на грузовиках марки «мерседес». Работали бок о бок и никогда друг другу не мешали, работали даже в темноте, без света. И долго. Про-

вели вместе не один год. Все у нас было общее, и было о чем вспомнить — это точно. Вот он и вспоминал, когда я оказался у него дома. Ну, к примеру, о заведении доны Олги. О чем, кстати, на мой взгляд, в присутствии жены говорить не следовало. Но он представлял дело так, вроде бы все это со мной было, а на самом-то деле с ним, это он в доме доны Олги хозяином себя чувствовал. Ведь вообще-то всем заправлял он и даже плату определял. Да и сама затея была его.

В первый раз мы побывали в доме доны Олги в день выдачи жалованья, которое выдал всем шоферам я. Деньги были в кармане, и мы решили поехать. Поехали все. Ввалились веселой гурьбой и заполнили весь дом, потому что нас было человек двенадцать. И все с деньгами в кармане. Кутили мы на славу, деньги бросали почем зря, и, думаю, когда мы ушли и дона Олга подсчитала, то поразилась, хоть мы там и перевернули все вверх дном. Получила она достаточно, больше чем достаточно, думаю, сама это поняла. Когда нам нужно было уезжать, мы почти час собирали своих, стучали во все двери без разбора. Алтаир — он сидел со мной в кабине — вылез и позвал дону Олгу. Она вышла, и он о чем-то стал с ней разговаривать. Потом он взял ее выше локтя, но она оттолкнула его руку. Мне все это было видно в зеркальце. Никто не обратил на это внимания, так как каждый шутил и дурачился с женщинами. Потом Алтаир сел в машину, сделался серьезным и сказал:

— Поехали, быстро.

Я, конечно, не знал, в чем дело, но сорвался с места и поехал, видя, что дона Олга продолжает стоять и смотреть нам вслед. И тут Алтаир захохотал. Я спросил, чего он. А он ответил, что покорил старуху. Он еще долго смеялся и сказал мне, что в ее доме «все будет наше». Я поинтересовался, о чем он болтал с доной Олгой, и он сказал, что предупредил ее, что в следующий раз он хочет быть с ней.

— Видел бы ты ее физиономию в этот момент.

После той первой поездки в дом доны Олги, о которой я вам уже рассказывал, мы отправились к ней в воскресенье.

И все было прекрасно. Дона Олга ждала нас и никого больше не принимала. Все оплачивали мы. И дона Олга заботилась только о нас, и девицы с нами были ласковые, и никто не торопил нас, потому что хозяевами положения были мы. Каждый выбирал себе ту, которая ему приглянулась. Со мной была маленькая, росточком маленькая. Тараторила без умолку. И что бы ни говорила, обязательно прибавляла «да». Только и слышно было: «Хочешь, да?», «Слушаешь, да?» И сидел ли я, положив ноги на стул, или лежа курил, она все время что-то говорила и дакала. Я вроде бы был ее ребенок, которого она уговаривала. Забавно было слушать ее «да, да, да». Только вот тощая была очень и все время есть хотела. Я даже не представляю, как в эту пигалицу могло войти столько жратвы. Она сказала, что у нее есть ребенок, он в школе в Теофило-Отони. Кормила-то его ее мать, а за школу платила она. И еще сказала, что хочет научиться играть на гитаре. И мне пришлось ей ответить, что я не играю на гитаре.

— Жаль, да?

И потом она говорила, что хорошо бы мы всегда все вместе приезжали и все оплачивали. И что сын ее будет врачом.

Говорила, что собирается снять дом и что посылает подарки сыну каждый месяц. И еще сказала, что хорошо бы найти мужчину, который помогал бы ей оплачивать дом, который она собирается снять, потому что быть все время с разными плохо: и денег мало, и можно потерять здоровье. И вот бы я увидел, как ее любит сын и что он хорошенький.

«Ну все, да?», «Тебе хорошо, да?», «Понравилось, да?»

Это был первый раз, когда мы приехали, заранее предупредив до-

ну Олгу. Алтаир никого себе не выбирал, потому что ему была нужна только дона Олга, а она, видно, упрямилась.

И хотя дона Олга его отвергла, он так никого себе и не выбрал. Один был. Спал в зале на диване пузом кверху. А ведь именно в этот раз в доме доны Олги все было только для нас, и ни для кого больше. И мы договорились, что в следующий так же будет. И помню, как никому не хотелось уезжать. А когда подошло время расплачиваться, все платили, никто не скупился. И когда мы уже пошли к машине, Алтаир задержался, он стоял в дверях и разговаривал с доной Олгой, держа ее руки в своих. Лишь только сели в машину, он выругался и сказал, что дона Олга — идиотка. Помнится, это был один-единственный раз, когда я его видел злым. Ребята подтрунивали над ним, советуя не отступаться ни под каким видом, они, мол, заинтересованы — им больше достанется. А он отвечал, что мы еще увидим, он своего добьется. И добился. Тут дело обернулось совсем интересно, потому что он стал вроде бы хозяином дома. Он даже расходы проверял, считая выпитые бутылки и все остальное. А дона Олга сидела и смотрела на него как на хозяина. И мы тоже смотрели — ждали, когда он подсчитает. Он же, стоя на стуле за стойкой, считал, сколько недостает бутылок на полках и в ящиках. Так всегда делала дона Олга. Она ставила на витрину ящики, а когда наступало время предъявить счет, пересчитывала пустые бутылки или пустые места в ящике. Так вот, теперь это делал Алтаир. А дона Олга стояла и смотрела, ну как влюбленная дурочка. А он, со стула, громко диктовал мне, что записывать, и я записывал.

Он и на кухне командовал. Кухарки посмеивались, а он учил их тому, что, по их словам, им давно было известно и прекрасно получалось. И все же им нравилось, когда он к ним наведывался, чтобы посмотреть, как они обжаривают свинину или кладут приправу и еще что делают. А дона Олга не сводила с него восторженных глаз, точно он был ее возлюбленным, который долго отсутствовал и наконец вернулся. Он же к ней обращался со всей почтительностью. Для нее все было в первую очередь. За столом, когда мы ели все вместе, и это было здорово, потому что шутки так и сыпались, он обращался к доне Олге как к важной особе, спрашивая, чего она желает. И все ей подавал. Вставал, шел к стойке и приносил вино, лучшее, как он говорил, к тому, что она изволила есть. Но я-то знал, что он в вине ничего не смыслит. И все это одна пыль в глаза. Он открывал принесенную им бутылку, а она сидела с таким видом, что ей сейчас подадут бог знает какое яство. И я нет-нет да замечал, как она пожимала ему руку. А он, держа ее руку, продолжал давать указания. Да, хорошее было время, ничего не скажешь. И надо же, чтобы теперь, когда я был у него в гостях, он все это рассказывал своей жене, только представлял дело так, будто на его месте был не он, а я. А я, вспоминая прошлое, теперь понимал, что Алтаира тогда больше всего занимало положение хозяина в доме доны Олги, а не сама дона Олга.

И вот теперь, когда спустя годы я сидел у него за столом, он так же, как тогда, веселился. Шутил со своими шуринами. Припоминал все в подробностях, перепихивая на меня свои заигрывания с доной Олгой, а его домашние слушали и смеялись. И жена тоже смеялась. А братья ее нет. Но шутки Алтаира им были приятны. За столом было весело, а это главное. Я уже находил жену Алтаира красивой и не считал, что она так толста, как показалось мне сразу.

После ужина мы стали говорить о деле. Алтаир считал, что грузовикам, да еще с прицепами, в Бело-Оризонте не добраться к сроку, конечно, намеченному сеньором Марио. Он сказал, что единственная дорога, по которой можно проехать,— это та, что отходит от трассы Рио — Баия перед Иньяпимом и идет на Коронел-Фабрисиано через Ипабу и Бугре. Но она очень старая и принадлежит муниципалитету. Даже не столько старая, сколько плохая. Он бы даже не рискнул и с

пустыми прицепами, а тут такой груз. О грузе я ему сразу сказал. Лучше бы отправить телеграмму сеньору Марио и переждать дожди у него, у Алтаира.

Я сказал: что верно, то верно. Лучше. Но я ведь только по пути заглянул к нему и немедленно должен ехать в Каратингу. Тогда он ответил мне, что постарается что-нибудь придумать, и вышел. Я было хотел пойти за ним, но он сказал:

— Сиди тут и жди меня.

И я остался ждать, растянувшись на софе.

Вернувшись, Алтаир зажег свет. Он сказал, чтобы я поднимался, так как он нашел возможность добраться до Каратинги.

На улице перед дверью мастерской стоял грузовик, в кузове его на чем-то сидел какой-то человек. Грузовик принадлежал муниципалитету Каратинги. Садясь в кабину, я предложил тому, кто сидел в кузове, чтобы, если он хочет, шел в кабину, а я сяду на его место. Но он не согласился. Тогда в кабину сел я, и мы поехали.

Несмотря на темноту, я все же пытался разглядеть дорогу — в этих краях, с тех пор как сеньор Марио приказал нам прекратить работу, которая не сулила выгоды, я не бывал. А в последний раз, когда ехал договариваться о работе самосвалов, гнал вовсю. Ведь когда работы на трассе Рио — Баия шли плохо, сеньор Марио к нам не показывался. Зачем? Он только телеграфировал, чтобы я съездил и посмотрел, имеет ли смысл подрядиться на участок Бело-Оризонте — Виторию неподалеку от трассы Рио — Баия, и все. Я же с тремя самосвалами — остальные оставались недалеко от Жекие — пускался в путь. В последний раз со мной были Алтаир и Зито. Дорога мне понравилась. И когда мне доводилось попадать на эту прямую линию, я всегда вспоминал, как мы ее строили, и всех остальных, кто ее строил, и инженеров, конечно, и даже вспоминал, где стояли наши палатки или контора компании.

Такие вот дела. В жизни ведь как? Вот вы работаете в каком-нибудь месте, и вам кажется, что до конца жизни будете здесь работать, и не нужно искать никакое другое, потому что это лучшее. Но работа заканчивается, и приходится перебираться на новое, и новое опять ваше, опять хорошее, а если случится вернуться на старое, вам оно кажется уже не таким, как было. Но ведь место-то не может измениться, стать другим. Стало быть, изменились вы сами. И это точно. Но я всегда старался не думать, что я меняюсь, становлюсь другим, потому что мне не нравилось меняться — вроде бы я теряю что-то. Понимаете? И вот я еду по этим местам в грузовике муниципалитета Каратинги, еду по трассе Рио — Баия, еду за машинами, которые застряли из-за размытых дождем дорог и о которых у сеньора Марио даже времени не было поговорить. И не потому, что это дело не требовало разговора, а потому, что сеньор Марио изменился,— я же говорил вам, что люди меняются, вот и он не тот, что прежде, а совсем другой, это я вам говорю.

В Каратинге я вышел из машины в центре города. Вышел, спросил у водителя, сколько с меня, и тут же пожалел об этом: я понял, что даже спрашивать было нечего. Конечно же он сказал, что я не должен ничего. Я поблагодарил и отправился разыскивать свои грузовики с прицепами. Везде стояли машины: у бензоколонок, у въезда в город и просто на улицах. Их было много, но я искал, где самый затор. Затор был у шлагбаума на улице, выходившей на шоссе. Я-то думал, что шлагбаум поставили далеко от города и грузовики мои перед ним. Но их не оказалось, и я пошел искать.

Народу на улицах было видимо-невидимо, больше чем когда-либо. Люди шли по улицам, сидели в барах, стояли на остановках, собирались группами. Было такое впечатление, что, как только дождь перестал, все высыпали на улицу узнать, что там на шоссе случилось.

Свои грузовики я разыскивал недолго. Ведь сколько бы машин в городе ни было, восемь красных грузовиков, да еще с прицепами, разыскать нетрудно. Они стояли на обочине дороги и в общем-то недалеко от шлагбаума. На всех восьми дверцах красовалось имя сеньора Марио.

Я подошел к машинам и спросил у Оливейры, как дела. Он сидел на земле, прислонившись к заднему колесу последней машины. Увидев меня, поднялся.

— А, сеу[1] Жорже! Ничего, жив. А вы?

— Я тоже жив.

— Вот так-то, сеу Жорже. Дела дрянь!

Я поглядел вокруг. Светило солнце, и ничего плохого я не видел.

— Да уж не так дрянь, Оливейра.

— Это просто вы не знаете, сеу Жорже. Вон там, внизу, черт-те что. Никто не может проехать. Тысяча машин стоят. Даже жертвы есть. Солдат нагнали — они тут командуют, продукты доставляют. И выезжать отсюда никому не дают. А-а, плохо, хуже некуда. Вроде бы мы арестованы, сеу Жорже. Вот сидим — вас дожидаемся, и я...

— Где Луис? — прервал я его на полуслове, чтобы он не начал говорить о болезнях или еще о чем.

— Не знаю, сеу Жорже. Где-то тут, поблизости. Ведь мы здесь не без дела стоим. Луис спать нам не дает, велит смотреть в оба.

— Это твоя машина? — снова прервал я его.

— Нет, сеньор. Моя пятнадцатая. Эта — Тео.

— Тео?

— Новенький.

Я велел сказать Луису, чтоб ждал меня, скоро приду.

В другой машине я увидел Антонио, он спал на откинутом сиденье. Я заглянул в кабину и пошел дальше. Пошел, осматривая машины. Под одной из машин увидел Фабио и Мурту, они о чем-то спорили. Увидев меня, они вылезли и стали со мной разговаривать. Вскоре пришел Луис. Он очень мне обрадовался. Но на мой вопрос, что́ же он думает делать, ответил, что не видит выхода. Вероятно, придется торчать здесь, пока не кончатся дожди и военные не разрешат спуститься на шоссе около Ареала, чтобы там выехать на трассу Рио — Бело-Оризонте. И добавил, что все возможные варианты он продумал, переговорив со многими местными, похоже — это один-единственный. Я выслушал его молча. Он сказал еще о телеграмме, сказал, что послал ее, когда понял, что положение аховое и к сроку им никак не добраться. Я ответил, что он сделал верно, и это его обрадовало, и он снова стал говорить, по каким дорогам думал отсюда выбираться, но, как видно, ничего не выйдет.

— Ведь до Бело-Оризонте даже пешком не дойти.

Потом он стал рассказывать, как они ехали до того, как здесь застряли. Все шло хорошо, они не опаздывали ни на минуту, вплоть до этого шлагбаума. И хотел отчитаться в расходах. Тут мы пошли к его машине, и я поинтересовался, кто из шоферов с ним едет. Оказалось, что из восьми я не знал двоих. Луис сказал, что они «ничего более или менее». Один из них как раз стоял у своей машины и курил. Луис окликнул его, и тот подошел.

— Тео, это сеньор Жорже — компаньон фирмы. — Они всерьез считали меня компаньоном сеньора Марио.

Тео сказал:

— Очень приятно, сеньор Жорже.

И все. Сам продолжал стоять и курить. Я посмотрел на него внимательно. Он молчал, поглядывая то на меня, то на Луиса.

— Ну что ж, Тео, — сказал я, — есть какие-нибудь претензии к машине?

[1] Сеу — сокращение от слова «сеньор».

— Нет, сеньор, нет,— ответил он.

Мне понравилось, как он держится. А как я уже говорил, я редко ошибаюсь в человеке, когда его вижу. Я уже стольких нанимал и рассчитывал, что по одному тому, как они держатся, вижу, что́ за человек — хорош он или плох. И мне этот парень понравился. Я спросил Луиса, где второй.

— Его сейчас нет. Это молодой парень. Он едет на тринадцатой.

Еще раньше он мне сказал, как его́ зовут. Имя мне показалось странным, я никогда не встречал водителя с таким именем. Его почему-то звали Толедо. Я спросил Луиса о других делах. Тут он вытащил записную книжку и сказал, что в каждой машине четыреста восемьдесят восемь мешков. И только в семнадцатой пятьсот.

— Кто же на семнадцатой? — спросил я.

— Лауро.

— А я думал, Оливейра.— Луис улыбнулся, а я заметил: — Не выдержал?

Луис еще раз улыбнулся и сказал:

— Он и без того жалуется на все. И жаловался до того, как мы здесь застряли. То у него бок болит, то голова. И еще на тормоза жалуется.

— Ты проверил тормоза?

— Проверил. Не новые, но ехать можно.

Продолжая разговор, мы переходили от машины к машине. Я поинтересовался, может, какая нуждается в ремонте, и выяснил, что на неполадки жаловались только двое: Фабио и Оливейра. Фабио говорил, что его машина плохо смазана, но я заметил, что она плохо смазана, только когда за рулем этой машины сидит Фабио. Ну и тормоза у семнадцатой. Я их испробовал и решил, что все в порядке, а вот брезент сменить надо. Фабио еще говорил, что у него тугое управление, но я сделал круг на его машине — правда, управлять было трудновато, но не настолько, чтобы требовался ремонт. Можно было ехать дальше. Потом Тео сказал, что у него вибрирует руль, когда машина идет на скорости более шестидесяти километров в час. Но я успокоил его — о такой скорости и мечтать нечего. Это уж точно. Вот тут я познакомился с Толедо. Меня передернуло, когда я увидел выпрыгивающего из кабины долговязого парня. На нем были широченные клеши, ботинки на высоких каблуках и рубашка — яркая, с длинными рукавами. «Кто это?» — спросил я Луиса. «Толедо!» — ответил тот. Я поинтересовался, умеет ли он водить грузовик. Луис засмеялся и сказал, что умеет. Когда я спросил Толедо, нуждается ли его машина в срочном ремонте, он ответил:

— Нет, все в порядке. Не машина, а чудо. Чудо!

Я заглянул в кабину, и, скажу вам, там была чистота и порядок... мне даже показалось, что духами пахнет.

Вот так и прошел день — в осмотре и разговорах. Но к концу дня я все еще не знал, что делать, и подумал: чтобы решить, как быть и что предпринять, нужно потерять целый день — это слишком. Только ведь в таком положении от того, что я решил, будто это слишком, все равно ничего не менялось. Наступил вечер, а я даже представить себе не мог, как же доставить грузовики в Бело-Оризонте. И от расстройства уснул в машине Луиса, который был уверен почему-то, что именно его машину поведу я. Луис же спал в машине Лауро — тот устроился в гамаке под грузовиком.

Когда рассвело, я отцепил от машины, в которой спал, прицеп, крикнул Луиса, приказав ему готовить машины Оливейры и Фабио к выезду, и поехал на железнодорожную станцию, чтобы переговорить с ее начальником. На начальника я поднажал, и он в конце концов посоветовал мне попытать возможность отправить маис поездом из Говернадор-Валадареса. Может, что и выйдет! И еще ска-

зал, что есть дорога, которая идет к Вале-до-Рио-Досе, и что по ней движение более организованное и меньше ремонтных работ.

Я вернулся к своим, позвал Мурту, и мы вдвоем поехали в Говернадор-Валадарес. Мы очень торопились, потому что теперь я был убежден: приди мне это в голову раньше, все бы уже было в порядке.

Когда мы прибыли в Говернадор-Валадарес и я увидел, что станция не забита неотправленными грузами, как это было в Каратинге, мне полегчало. Начальник встретил нас дружелюбно. Это был старый, почти седой человек в форменной одежде. Он повел меня в помещение станции и показал таблицу, он назвал ее «графиком движения». И объяснил, сколько тонн груза и в какие города ему нужно переправить. А я, надо сказать, и понятия не имел, сколько тонн берет каждый состав, и, слушая его, терялся в догадках: соглашается он или нет помочь мне? Он же подсчитал все мои мешки, прикинул общий вес и дальность следования и ответил, что может гарантировать отправку моего груза месяца через два. Я взглянул на него и подумал, какого черта он не сказал мне об этом сразу.

Из Говернадор-Валадареса мы двинулись вниз по дороге. Доехали до того места, о котором мне говорил Алтаир тогда, у него дома. Свернули и проехали километров пять. Глинистая почва доверия не внушала. Порожняком здесь еще можно было проехать, но с тридцатитонным грузом?! Надо сказать, что, пока мы ехали, ни одной встречной машины нам не попалось, а это был плохой признак. Мы развернулись и доехали до Иньяпима. Там после долгих расспросов я выяснил, что несколько дней назад один человек все же проехал по этой дороге. Я разыскал этого человека, он оказался хозяином аптеки. Я стал расспрашивать его о дороге на Коронел-Фабрисиано, в каком она состоянии, можно ли проехать. И он сказал, что дороги нет, да, по совести говоря, никогда и не было, вернее, была, но была непригодная, а после ливней вообще перестала существовать. И было бы безумием отправиться по ней с грузом. Потом он спросил, где грузовики. Я сказал, что в Каратинге. Он посмотрел на меня с недоверием, но продолжал говорить, что он-то проехал на джипе. Не будь джипа, он бы сидел в глине и по сей день и что самый скверный участок — от Ипабы до Бугре. А мне, мол, и думать нечего, чтобы проехать по нему. Я спросил, сколько времени он ехал от Ипабы до Иньяпима. Он сказал, что долго. Я продолжал допытываться, сколько именно. Тогда он ответил, что целый день. Мы простились. Но он еще раз предупредил нас, чтобы мы не пытались проехать по этой дороге, потому что «это — безумие».

Когда мы возвращались в Каратингу, Мурта заметил, что, похоже, у нас нет выбора. Мне это было яснее ясного, тем более что, как обещал сеньор Марио маслозаводу, грузовики должны были прибыть в Бело-Оризонте через шесть дней, а другой дороги, кроме этой, не было.

В Каратинге я позвал Луиса, и мы с ним все обсудили. Потом пошли в город, купили восемь мотыг и две лопаты. Луис сказал мне, что Лауро умеет готовить, и мы купили продукты. Подумали, что́ еще нам может понадобиться в дороге, и тоже купили. Тут он вспомнил о фонарях. Я спросил, сколько их у него. Он ответил, что ни одного,— захватил лишь три сигнальных. Мы купили три фонаря. И, скажу вам, обдумывали мы все основательно, так что самое необходимое у нас было.

Вернувшись к грузовикам, я сказал Луису, что мы поедем с ним в одной машине. Потом созвал всех водителей и поговорил с ними. Этому я научился у сеньора Марио. Прежде он всегда так делал, когда предстояло начинать какую-нибудь работу. Он говорил с водителями и все разъяснял им. И мы всегда приступали к работе с хорошим настроением. Вот и мне он советовал не забывать погово-

рить с людьми перед началом работы. Потом уж я сам стал понимать, что это необходимо, да и сеньор Марио перестал это делать — все ведь теперь делал я.

Каждому я дал по мотыге, а себе еще взял лопату. Вторую лопату отдал Толедо. Когда все расходились по машинам, я обратил внимание на то, что Толедо нес лопату и мотыгу на плече и что у него очень странная походка: он шел вроде бы на цыпочках, не касаясь пятками земли. Ну, гасит сигареты ногами, да и все. А тут еще на нем эти самые ботинки на высоких каблуках — забавное зрелище, в кино ходить не нужно. Я засмеялся, но ничего не сказал. Стоявший рядом со мной Луис не заметил, что я смотрю на Толедо, и указал на Оливейру:

— Посмотрите-ка на него.

Оливейра шел к нам с обычным плаксивым выражением лица.

— Что такое, Оливейра?

— Сеу Жорже, вы говорили, что... что нам придется ехать по дороге, которая... которую мы не знаем...

— Ты болен?

— Нет, сеньор. Но дело в том, что я только что вышел... Вы знаете, я не мог...

— Ты болен или здоров? — прервал я его.

— Сеу Жорже, вы же видите. Но у вас восемь грузовиков и девять шоферов. И вы здесь...

— Оливейра, ответь мне, ты можешь вести машину?

— Вести машину я могу...

— Тогда иди в кабину, и дело с концом. Слышишь?!

— Но, сеу Жорже...

— Давай быстро.

И он пошел. Я же смотрел ему вслед до тех пор, пока он не поднялся в кабину. А Луис сказал:

— Посмотрим, может, на сегодня его ломанье кончилось.

Сидя за рулем в машине Луиса, который был тут же в кабине, на соседнем сиденье, я, трогаясь с места, неожиданно для себя включил сразу вторую скорость. Но заметил то, что сделал, только тогда, когда машина пошла рывками. Это было плохо, очень плохо. А ведь я — я уже говорил вам — переводил столько разных машин, что у меня нет и быть не может сложностей ни с какой коробкой скоростей. Больше того, я на слух, по звуку мотора определяю, на какой скорости идет моя машина и на какую я переключаю. Все это я делаю без особого внимания. А если я стою на дороге, покуривая сигарету, и не думаю даже о машинах, но вдруг слышу, что какая-то идет мне навстречу и водитель переключает скорость, то я по одному звуку мотора могу сказать, хороший это водитель или нет. А тут на́ тебе, сам вместо первой включил вторую, да еще при таком грузе. И еще при Луисе. Да от такого у любого шофера настроение на весь день испортится. И заметил уже только тогда, когда машина пошла рывками. У меня даже сердце защемило. А Луис ведь знал, что я в машинах разбираюсь лучше его. Очень неприятно получилось.

На шоссе я выехал медленно, разворачивался, чтобы свернуть на Иньяпим. Тут было полно машин, и я шел к ним впритирку и осторожно. А как миновал этот затор, то дал третью скорость. И в этот самый момент из-за стоявшего сбоку автомобиля «альфа-ромео» выскочил мальчишка и кинулся прямо под мою машину. Я тормознул, да так, что машина чуть носом в асфальт не зарылась. Затормозить-то я затормозил, но по инерции она юзом проехалась по асфальту. Я почувствовал запах жженой резины, ведь колеса-то держали на себе тридцать тонн. Вот так-то, но машину остановил. Увидев над собой застывший грузовик, мальчишка повернул обратно и скрылся за тем же «альфа-ромео». Стоящая поблизости шоферня заорала на парня:

— Чтоб тебя, проклятый!

— Осел, не видишь, куда лезешь?

И еще один:

— Надо бы проехать по нему для науки, может, в следующий раз поостережется!

Все они были шоферы и всех взяла ярость, шоферская, профессиональная.

Тут я услышал, как тормозят другие, ехавшие за мной, и включил зажигание, потому что мотор мой заглох. Когда мы поехали, я взял чуть левее, чтобы быть в стороне от других машин и, если что, спокойно тормозить. На этот раз я включил первую скорость, и Луис сказал мне:

— Надо же, чуть было...

Я утвердительно кивнул головой. А он продолжал:

— Если бы не ваш опыт, мальчишке...

Я не ответил, потому что понял — он прощает мне первую оплошность.

Поглядев в зеркальце, я увидел две идущие за мной машины. А позже, когда мы доехали до поворота, увидел все семь, вернее, цепочку из семи идущих друг за другом машин. Я был доволен. Как было приятно на них смотреть, на все семь, выкрашенных в красный цвет, с хорошо уложенным грузом и плотно натянутым брезентом. Все как одна! И я подумал: «Ну и дурак же мальчишка!» Такого с теми чертенятами, ну, что лезли к нам под машины со смазкой, никогда бы не случилось. А этот ведь почти под колеса угодил. Я ведь его, мерзавца, чуть не задавил, хотя всегда осторожен и предусмотрителен: мало ли что может случиться. Я всегда стараюсь быть внимательным и готовым к тому, что кто-то или что-то окажется перед твоей машиной. Конечно, вы можете хорошо водить машину, но вдруг отвлечетесь и — авария. А уж когда она произошла, то проще простого считать, что по-другому и быть не могло. Судьба. Несчастье может случиться с каждым и в любой момент. Но, скажу вам, если водитель надеется только на судьбу — это плохо. Судьба частенько подводит. И не надо кивать на нее. Виноваты все равно будете вы, и только вы. Ведь тот, кто прячется за судьбу, ничего не выигрывает. И хуже всего, что потом он не может избавиться от мыслей о случившемся. От себя ведь не уйдешь, а ты к тому же наедине с тем, что произошло. И никто тебе помочь не может. Так что самое лучшее — не допускать, чтобы случилась авария, и ни на кого не наезжать. В Бразилиа я задавил одного человека и забыть случившееся не смог всю жизнь. Оно то и дело вспоминалось, и я приходил в такое состояние, что сам не свой делался.

Ведь как было? Тело зацепилось за решетку и не падало, хоть я и гнал как сумасшедший, и мне казалось, что оно там приклеилось. В то время я работал на каменоломне. Сеньору Марио принадлежала половина ее и два грузовика. В тот день я был на одном из них. На капоте у того грузовика была стрела. Водить его было одно удовольствие, но если барахлил мотор, то не приведи господи, чинить — адское дело. Так вот, на одном из этих грузовиков я и ехал в тот день, ехал со скоростью сто двадцать в час, ехал по авеню мимо дворца, объезжая озеро[1]. Асфальт был свежий — и никакого освещения. Темно кругом, и только фары моей машины освещают дорогу. Ехал я к Нуклес-Бандейранте, чтобы найти там двух парней, сбежавших с каменоломни. Гнал я потому, что дорога была пустынна. И еще я хотел добраться как можно быстрее, чтобы перехватить их. Голова моя была только ими и забита. Они ведь и месяца на каменоломне не проработали, а сбежали. И нужно было вернуть их назад во что бы то ни стало, и скорее: иначе другие начнут задумываться над

[1] Имеется в виду водохранилище Парануа, на берегу которого расположен город Бразилиа, столица Бразилии.

случившимся, а это ни к чему хорошему не приводит. Ведь всем им еще нужно было работать месяца два по меньшей мере. Мы заключили с ними контракт на три месяца. Но они, надо сказать, обычно умнели и начинали сматываться, не проработав трех месяцев. И если тех, кто удрал, мы не ловили и не возвращали обратно, другие тоже намыливались. Так что этих двоих мне нужно было вернуть хотя бы для того, чтобы тут же с треском выгнать. Тогда бы я мог сказать остальным, что их поймали солдаты или еще что другое, но не оставлять их без наказания. Оставишь без наказания — не оберешься хлопот: разбегутся все, не удержишь никого, тем более что рабочие руки везде были нужны.

И вот я ехал и думал, что они, должно быть, в баре «Коутиньо» или «Башано». А может, и в «Империале». Я перебирал в уме все места, в которые они обычно заглядывали. И гнал вовсю. Но мне все время казалось, что я еду медленно, потому что, кроме узкой полоски черного асфальта, освещенного фарами, я ничего не видел. Я мчался — и вдруг на середине дороги мужчина. Не знаю, что он там делал: шел или стоял,— только когда я его заметил, он обернулся. Думаю, что он был пьян, потому что вполне мог отойти в сторону, увидев свет фар и услышав шум мотора. Я-то его заметил, когда уже был близко. И шел я со скоростью сто двадцать и без груза. А вы сами знаете, что на такой скорости порожняк остановить невозможно. Да и в сторону податься еще никто никогда не мог. Когда он обернулся, я увидел его лицо, и показалось мне, что он, посмотрев на меня внимательно, скорчил рожу. Я знаю, что ничего такого не было, потому что была ночь и он меня не мог видеть, видел только свет фар. И что он делал в такой час на дороге?! И почему не видел свет фар и не слышал шум мотора до тех пор, пока я к нему не подъехал?! Должно быть, действительно был пьян, не иначе! А у меня, знаете, он так и остался в памяти: смотрит на меня и корчит рожу. Такое было впечатление, что он специально остановился, чтобы его грузовик шарахнул. Ну, я его и шарахнул. В этот самый момент я вцепился в руль так, что мне свело руки, а мужчина оказался на капоте. Голова его почти касалась ветрового стекла, одна рука была вытянута и покачивалась у окошка дверцы с той стороны, где я сидел, другая — другую я не видел, она, должно быть, была под ним, на капоте. Когда я налетел на него, мне показалось, что дорога стала узкой. Потом-то я понял, что у меня погасла одна фара. Погасла — очевидно, разбилась. Но звук был такой, будто что-то взорвалось. Я даже думал, что грузовик не пойдет дальше. И ветровое стекло треснуло. Но мотор продолжал работать, а человек лежал на капоте лицом ко мне, с вытянутой рукой, которая болталась за стеклом слева. Я крутанул руль вправо, потом влево — тело продолжало лежать. Рука покачивалась у моего окна. Машину заносило то в одну сторону, то в другую, но тело не падало. Тут я заметил сзади себя свет и рванул в сторону, рванул с такой силой, что рука съехала и тело, соскользнув с капота, упало на дорогу. Свет сзади не исчезал, а приближался. Я надавил на акселератор. Свет стал не таким четким и вроде бы исчез. Но нет, вскоре опять показался, и я увидел, что за мной идет «симка»,— две большие фары и две маленькие над большими я увидел в зеркальце. Я продолжал жать на акселератор, стараясь как можно больше подать бензина в карбюратор. Рука у меня все время скользила, потому что я взмок от напряжения. Когда показался первый поворот, на Аза-Сул, я так крутанул, что повернулся на двух колесах. И учтите, это при том, что машина была без груза и с одной фарой. Я все так же жал на акселератор и подсасывал бензин, свернул еще раз на клеверную развязку и поехал по ней, крутя баранку. У меня было такое чувство, что машина вот-вот опрокинется. Руки были потные, руль выскальзывал, его нужно было держать изо всех сил. Вскоре я буквально вылетел на окружную

столичную дорогу. Тогда она еще не была покрыта асфальтом. Но и тут я не снимал ноги с акселератора. Почти час грузовик прыгал на этой дороге, а я стукался головой о потолок кабины. Потом я посмотрел в зеркальце — света фар «симки» не было видно. Когда машина отстала, я не знал, но продолжал гнать и гнал до каменоломни. А она находилась почти в Планалтине. Только там я и остановился. Въехал на каменоломню и стукнулся об угол дома, где находилась наша контора. Дал задний ход и вылез из машины. Хоть ночная смена и работала, никто ко мне не подошел, и я решил осмотреть капот грузовика. Капот освещали лампы камнедробилки. Тут я увидел, что вторая фара свернута, решетка помята, и здорово, а ветровое стекло все сверху донизу в трещинах. Осматривая все с большим вниманием, я обнаружил темные пятна — это была кровь. Бегом пустился в контору, взбежал по лестнице, схватил охапку ветоши и слетел вниз. Но, тут же вспомнив, что ветошь оставляет ворсинки, вернулся и взял рубашку. Рубашка была тонкая, и я, когда смял ее в руках, решил, что надо прихватить еще и брюки. Потом пошел к баку с водой, смочил и рубашку и брюки и стал мыть решетку. Еще раз намочил и опять вымыл решетку. Так я делал много раз, пока не смыл все. И тут разозлился на себя за то, что налетел в машине на угол, ведь теперь пришлось мыть и то место, о которое я стукнулся.

А потом, да, потом я не знал, что делать с брюками и рубашкой, держал их в руках, соображая, куда бы их деть, где спрятать. А тут еще камнедробилка перестала работать, и такая тишина наступила, что я испугался. А уж совсем я испугался, когда увидел Селио — он смотрел на меня, облокотившись на перила. А когда он окликнул меня, я почувствовал, как внутри все похолодело. Но посмотрел вверх и спросил его, что случилось. Он попросил меня подняться. Я стал подниматься по лестнице, но медленно, очень медленно. А когда поднялся, увидел, что в руках у меня скомканные брюки. Селио стоял у камнедробилки и ждал меня. Я положил брюки на перила и подошел. Он спросил, говорил ли я с покупавшим у нас щебенку и не заплатившим за нее Артуром, я ответил, что нет, не говорил. Он поинтересовался почему. Я сказал, что не застал его. «А записку ему оставил?» — спросил он. Я ответил, что оставил.

— Вежливую? — спросил он.

— Написал, чтобы он ехал сюда.

— И только, Жорже?

— Только.

— Так ведь надо бы пригрозить ему. А так дело пустое. Ведь дураками будем, если не получим денег.

— Все будет в порядке. Что ты хотел? — спросил я, меняя тему разговора.

Он указал мне на сетку с крупным щебнем.

— Как думаешь, продолжать можно? Посмотри.— Он повернул ключ машина заработала, и все вокруг наполнилось шумом.

Я смотрел, как вибрирует сетка — вибрирует и шумит, как всякая работающая штуковина,— и сказал, что пустяки, все в порядке. Но он говорил, что машину, по его мнению, нужно остановить и починить.

— Тебе не кажется, что это серьезно? Сцепление не лопнет?

Я ответил, что ничего серьезного не вижу, и вышел.

— И не находишь, что я должен попытаться починить ее?

Я ответил, что нет, а сам не останавливаясь шел к лестнице, зная, что он все равно ничего никогда не чинил и, конечно, заметил, что я не хочу разговаривать.

— Ну а тех, что сбежали, не нашел? — крикнул он, перекрикивая шум машины.

— Нет, не нашел,— ответил я так же громко.— Ни одного.

— Искал во всех барах?

— Конечно.
— А в «Коутиньо» был?
— Был. Везде был.— И я пошел вниз.
— А как тебя угораздило стукнуться об угол конторы?
— Тормоза.
Уже на лестнице я услышал:
— Значит, ты считаешь, что я могу продолжать работать?
Я посмотрел на него и кивнул головой, взял брюки и спустился вниз. Внизу я еще услышал, как он крикнул:
— Смотри, под твою ответственность! Если что, скажу Селсо, что работал по твоему распоряжению.
Я ничего не ответил. Взял ключ, отпустил тормоза, слил жидкость и опять подумал: куда бы деть брюки? Но так и не нашел места. Поднялся в контору и рухнул на кровать. Обычно Селио, Селсо и я спали в конторе.
Лежа, я слушал, как шумит сетка, и ждал, что она вот-вот лопнет. Потом не знаю зачем, но сюда пришел Селио. Он зажег свет и, увидя, что я лежу, не сняв ботинок, и гляжу в потолок, спросил:
— Что-нибудь произошло?
— Произошло,— ответил я.
— Что именно?
— А-а, надоело!
— Женщину тебе надо. В этом все дело.
Я не любил ни его, ни его дядю Селсо, который был компаньоном сеньора Марио. Ведь я знал, что они ворюги, а я ел и спал рядом с ними здесь, в каменоломне.
Я уснул, а когда проснулся, Селио стоял около меня.
— Проснулся?
— Да, а что?
— Пойдем, посмотри хорошенько, что-то там неладно... Шум все усиливается. Как бы не лопнула эта штука.
— Не лопнет.
— Но уж очень шумит. Пойдем посмотрим, я что-то боюсь.
— Да оставь, пусть работает.
— Пошли, пошли, не ломайся.
— Никуда я не пойду.
— Ну на минутку, слышь, на минутку.
— Сегодня не пойду. Завтра.
— Завтра будет поздно. Тогда я остановлю машину, но Селсо может взбеситься.
Надо же, он целыми днями слонялся без дела. Какое это дело — торчать у сетки! А чуть что — бежит за мной, бежит, как только ему покажется, что появился посторонний шум. Я, честно говоря, подозревал, что у сеток он торчал не просто так, а изобретая возможность украсть щебень, пока он дробился. Ведь где только он не воровал его: и на контроле, и при выезде грузовиков с каменоломни. А сейчас сомневается: разозлится ли Селсо из-за убытка, который мы понесем, если машина встанет. Я ничего ему не ответил, а он, прежде чем уйти, что-то еще сказал и оставил свет включенным. До выключателя было не дотянуться, и я заснул при свете.
И знаете, в ту ночь мне приснился очень неприятный сон. Будто бы я все же пошел за Селио и должен был перепрыгивать через работающие сетки. А от камня, который дробили, поднималась такая пыль, ужас один! Она забивала все легкие. И мои стали такими тяжелыми, что я еле на ногах держался. А Селио все не отпускал меня и находил новые шумы в сетках, валах и черт знает где еще. А я должен был все осматривать, что он показывал, и пыль лезла в нос, а из носа в легкие. И с каждым вздохом грудь моя тяжелела и меньше оставалось места для воздуха. Когда я проснулся, я вроде бы воскрес из мертвых.

Я-то проснулся, а Селио уже спал. Дробилка не работала, и тишина стояла невообразимая. Кровать Селсо была пуста — он еще не приходил. Я стащил ботинки и вдруг на полу около моей кровати увидел брюки, которыми смывал кровь. И, скажу вам, я больше не уснул ни на минуту, валялся с открытыми глазами до самого рассвета. А Селсо так и не появился. Когда рассвело, я встал, пошел к дробильной машине и за десять минут нашел причину, вызывавшую побочный шум, и устранил ее. Починив, я пустил машину и пошел предупредить рабочих — тех, что наполняли тачки щебнем,— чтобы шли на рабочее место. Сам же поднялся наверх, куда ссыпали привозимый камень, который тоже попадал в машину. Вот туда-то я и бросил брюки. Потом пошел взглянуть на грузовик. В решетке радиатора застряли нитки от одежды того, кого я задавил. Я стал их вытаскивать, когда по плечу меня хлопнули, и довольно сильно. И опять я испытал страх. Но это был Селио.

— Ну, парень, исправил-таки машину, молодец! — И побежал, должно быть, искать новую поломку.

А передо мной, скажу я вам, маячило лицо человека, который там, на дороге, посмотрел на меня и скорчил мне рожу. Не мог я отделаться от этого видения. Вроде бы во мне он сидел, и долго. Вот пойду я или поеду куда, и он со мной. И не оставляет меня. И не дает никакой возможности ничем заниматься, ни о чем думать. Вечно со мной, не отпускает ни на шаг. Дело дошло до того, что я не мог работать, ведь он меня преследовал, вот как.

Потом со временем я стал забывать его, и он отстал от меня. И все же нет-нет да опять придет на ум, и всегда внезапно, когда даже думать не думаю о нем, он вдруг опять появляется, смотрит на меня и рожу корчит. Теперь, правда, редко. Но все равно ужасно.

И вот сейчас, сидя здесь, с вами, покуривая и поглядывая на свои ноги, лежащие на стуле, я думаю, что ведь случается иногда в жизни такое, в чем вы вроде бы и не виноваты. И все-таки в глубине души понимаешь, что всего этого могло бы и не произойти, потому что, когда ты действительно не хочешь, чтобы что-то произошло, может ничего и не случиться.

И еще скажу: бывает, вы затеваете трудное дело, и с самого начала вкалываете будь здоров, и с самого начала настроены вкалывать до конца. А бывает, дело трудное, но с самого начала усилий не требует, и вы к тому привыкаете и работаете с прохладцей — вас ведь ничто не прижимает, а прижмет — сникаете и начинаете жаловаться. Так вот было на той дороге после Иньяпима. Вся дорога была глинистая, и грузовики шли медленно, очень медленно, но не останавливались и не застревали. Но потом стало хуже. Мне все время приходилось вылезать из машины и осматривать дорогу, прежде чем продолжать путь. И это меня раздражало. Машины следовали одна за другой, можно сказать, по единственной колее, не думая о встречных. А бывали участки, где идущим друг другу навстречу машинам разъехаться было просто невозможно. Тогда я останавливал машину и посылал Луиса вперед сигналить тем, кто вдруг едет нам навстречу. Ведь рисковать мы не могли, потому что на той дороге подать машину назад — целая проблема. И Луис, сидя рядом со мной, нервничал, если я не посылал его вперед посмотреть, вытягивая шею, вглядываясь, не едет ли какая машина.

Нам повстречался грузовик с углем. Он стоял посередине дороги Проехать было невозможно. Водитель подошел к нам и сказал, что он менял покрышку, а теперь не может завести мотор. Я спросил его не в аккумуляторе ли дело.

— Нет. Аккумулятор в порядке. Это стартер.

А я подумал, если, как он говорит, дело в стартере, то я знаю, почему ему пришлось менять покрышку посередине дороги. Делать

было нечего, мы вышли из машины и стали толкать грузовик. Он был с углем, а дорога — глина, глиняное месиво. Однако нам повезло, мотор заработал с первой же попытки. Водитель грузовика остановился, вышел и поблагодарил нас. Тут как раз Оливейра стал жаловаться на печень. Я посмотрел на Луиса, но он сказал, что, по всей видимости, это обычные его штучки, но я все же велел Луису сесть за руль его машины и предупредил о том Оливейру.

Я приказал ехать дальше, а Оливейра исчез. Я крикнул ему, что он поедет со мной. Он пришел, уселся в кабину и схватился за бок. Тут он стал распинаться, что не боится работы, когда здоров. А вот когда болен... Я не ответил, а он продолжал говорить, что он долго работал в одной фирме по перевозке мебели. Сейчас уж и не помнит, сколько времени. Так вот там он не получил ни одного замечания, ни разу не опоздал с грузом, никогда не прогуливал, не разбивал машину, ни разу не помял ее, словом, молодец молодцом. А контроль в этой фирме был такой, только держись. Хозяин контролировал каждый пройденный километр и знал все места, где водители останавливались на ночлег. И что у хозяина было несколько легковых машин только для того, чтобы следить за ними. Вот там, в этой фирме, он и научился работать. Еще он говорил, что работать он всегда горел желанием. Тут я заметил:

— Только, должно быть, это желание ты оставил в той фирме. — Оливейра замолчал и надулся.

Когда участок, по которому нам предстояло ехать, оказывался под водой и невозможно было определить, где сама дорога, я вылезал из машины, снимал ботинки и шел по воде, отмечая путь ветками. Потом звал Оливейру, и он, стоя на дороге, указывал нужное направление. Я же садился в машину и медленно ехал вперед, глядя на него, стоящего столбом. С места он сходил только тогда, когда я подъезжал к нему вплотную. Тут он бежал дальше, к следующей ветке, воткнутой в глину. Если он мешкал, я его задевал буфером. Тогда, сплевывая воду, он бросался вперед. И вот одна ветка была маленькой, и когда он в очередной раз побежал, то потерял ее из виду. Он закружился на месте, отыскивая ее, но не находя. А я видел и продолжал ехать вперед. Тогда он поднял руки вверх и закричал. И даже стоя с поднятыми руками, все еще оглядывался, ища ветку, но поскользнулся и упал. И весь перепачкался. А я продолжал ехать, потому что видел ветку. Когда Оливейра поскользнулся, я заметил, что он не очень-то старался удержаться на ногах. Это была та его манера, за которую я его не любил. Я все двигался вперед, а он барахтался в грязи, и мне ничего не оставалось, как начать притормаживать. А делать это было нужно с разумом, потому что остальные грузовики шли почти вплотную друг к другу, каждый старался ехать по следу впереди идущей машины. Тут надо было быть внимательным и осторожным, чтобы не забуксовать. В такой глине, да с таким грузом — это опасно.

Когда Оливейра весь грязный и мокрый поднялся, я указал ему на ветку. Дрожа от холода, он побежал к ней. Из кабины я видел, что он дрожит, явно демонстрируя мне, как он замерз. Я прибавил газ и подъехал к нему. Помню, как потом он сидел в кабине разутый и не хотел ни переодеться, ни надеть ботинки. И на лице его было написано, что он умирает от холода.

Было уже темно, когда мой грузовик застрял. Застрял на одном повороте. По моим расчетам мы находились километрах в двадцати от города Бугре. Поворот был на подъеме, подъем был небольшим, и, помнится, я сбавил скорость, ехал медленно. Дождь лил как из ведра, и я различал дорогу с трудом, но все же заметил, что у поворота она сужается, и в тот же момент, как заметил, почувствовал, что прицеп тянет меня назад, в кювет. Я затормозил. Грузовик повело в сторону. Прицеп съехал вниз и увяз в грязи. «Это же невозмож-

но!» — подумал я про себя. Выключил мотор, погасил фары, оставив гореть подфарники, вылез из кабины и пошел смотреть, в чем дело. И увидел: прицеп был на краю кювета. Брезент разорван. Веревки, которыми он был привязан к крюкам, развязались. Я обошел грузовик. Тут подоспел Луис и все остальные. Спавший в машине Оливейра проснулся, выпрыгнул из кабины, поскользнулся и упал в глину. Луис сказал:

— Да, дела...

— Дела,— ответил я.

Поворот был узкий и с прицепом развернуться не позволял. Если бы не дождь — он виноват,— я бы сразу это заметил и остановился. Я осмотрел дорогу. Луис тоже. И мы поняли, что назад машину подать невозможно. С этим согласились все. Оставалось одно — подкопать со стороны кювета, чтобы освободить прицеп. Было темно, но я все же полез в канаву и прикинул, что и как будем копать. Прикинул, только прикинул. Дождь продолжал лить, и я сказал, чтобы все шли спать: копать будем завтра. Никто не возражал, все разошлись по своим машинам. Луис подошел к грузовику, который вел я, и достал керосин и два фонаря. Оба зажег. Один повесил на ветку впереди, где кончался поворот. Другой — позади машины Тео, которая шла последней.

Я готовил себе постель, когда Лауро постучал в дверцу и спросил меня:

— А как насчет перекусить, сеу Жорже, не хотите?

Он стоял, накрывшись куском брезента, и держал в руке судок. В судке была фасоль и еще что-то, что́ — я не разглядел. Судок он прикрывал брезентом, чтобы туда не лил дождь. Я вылез из кабины и пошел к его машине. Лауро готовил ужин на плитке с двумя конфорками, а остальные сидели под прицепом и разговаривали. Когда я подошел, все замолчали, а Оливейра стал мешать в кастрюле. Я залез под прицеп и уселся, как все, на какую-то деревяшку и стал есть.

— Похоже, дело дрянь, сеу Жорже? — спросил Толедо.

Свет от плитки шел слабый, и все мы сидели под прицепом, в общем-то, в темноте и молча жевали. Казалось, что произошло что-то очень серьезное, раз все молчали. Но, похоже, это казалось только мне. Через несколько минут шоферы опять заговорили. Еда мне понравилась, и я как следует наелся. Потом, когда все поели, каждый помыл свою миску под струйками дождя, стекавшими с прицепа, и мы продолжали сидеть, потягивая горячий кофе со шкварками и разговаривая. Обсуждали, много ли придется завтра срыть земли. Говорили о дождях, о глине. Антонио принес бутылку молока и предложил мне. Я отказался и услышал голос Толедо:

— Оливейра хочет.

Антонио шутки не понял и предложил Оливейре.

— Нет, я молоко не люблю.

— Пей, Оливейра, пей, от печени помогает,— приставал к нему Толедо.

Я посмотрел на Толедо. Вот ведь штука: все мы были и промокшие, и в помятой одежде, а он нет. Он был сухой и отутюженный. И ботинки на нем были чистые. Сидел он, поджав колени и обхватив их руками.

Лауро приготовил еще кофе, а Оливейра налил каждому.

На следующий день я проснулся, как только рассвело. Занавеску я не задергивал, чтобы не проспать. Разбудил остальных. Моросил дождь, но было не холодно. Я спрыгнул в кювет и посмотрел, много ли придется копать. Отмерил метра два в ширину и четыре в длину, отмерял мотыгой.

А на дороге уже скопились машины: автобус с двумя пассажирами и два легковых автомобиля. Все, кто был в них, сидели и смот-

рели, как мы работаем, но никто не пожелал нам помочь. Все утро по пояс голые мы копали под дождем, копали до кровяных мозолей на руках. И чем дольше мы копали, тем было труднее, потому что приходилось относить землю все дальше и дальше. А Толедо и Оливейра потели внизу: они выбрасывали землю наверх. Я подумал, что, если дождь усилится, они там, внизу, будут вязнуть, как в болоте.

Работали без передыха до самого обеда. Только Антонио один раз отошел к своей машине за молоком. Когда Лауро позвал нас обедать, мы съели все подчистую. И, скажу, я удивился, что не жалуется даже Оливейра. И вдруг услышал:

— Повтори, повтори еще раз — увидишь, я скажу сеу Жорже, что ты хочешь не лопатой, а мотыгой поработать.

Было уже совсем поздно, когда мне показалось, что все сделано. Оставалось проверить. Но сначала нужно было надеть цепи на задние колеса, чтобы они не буксовали, а развернули бы прицеп так, чтобы он не съезжал в канаву. Я позвал Луиса. Вдвоем мы все осмотрели, но так и не пришли к решению, что же делать. Луис предложил набрать камней и выложить ими то место, которое мы срыли, чтобы колеса не буксовали. Но тут же он понял, что это ничего не даст. Тогда я попросил его принести веревок, и как можно больше. Он понял, что я надумал, когда увидел, что я смотрю на задний бампер. Тут мы пошли и собрали все веревки, какие только у нас были. Веревки были крепкие — они держали брезент. Но мы подумали, что для нашей цели они недостаточно крепки, и свили их по две в одну. Получилось всего пять. Теперь нужно было продумать во всех подробностях, что и как мы будем делать. Мы собирались привязать веревки к заднему бамперу и удерживать ими прицеп, не давая ему съехать в кювет. Так мы и сделали. И, скажу вам, попотеть пришлось всем! Но дело сделали: я сел за руль и поехал, остальные натянули веревки, все было в порядке. Тут даже те, кто сидел в машинах, пришли нам на помощь. Когда я остановил машину и посмотрел на своих, все они были красные и усталые. Держать прицеп, да с грузом — дело нелегкое! Но все были довольны.

И опять нам пришлось кидать землю. Но теперь это было недолго, и мы снова взялись за веревки. Я включил мотор и тронулся с места. Какой же радостный крик вырвался у всех нас, когда машина выехала на дорогу! Радовались все. А Толедо не переставал подтрунивать над Оливейрой:

— Не радуйся, парень, не радуйся. Это еще не конец. Тебе не раз придется попотеть, «благословляя» дорожное управление, прежде чем мы доберемся до Бело-Оризонте.

Стало совсем темно, когда мы оказались перед мостом-настилом. Я остановил машину и пошел его осматривать. Это были связанные меж собой бревна. Ко мне подошел Луис, и по его лицу я понял: он считает, что здесь нам не проехать. Я пнул ногой одно бревно, осмотрел въезд и выезд, позвал остальных, они уничтожили торчащий у въезда сук, тем самым расширив въезд. Я осмотрел все еще раз и решил, что ехать можно, объяснив, как собираюсь это делать. Прикинул, на каком расстоянии от меня идет машина Мурты, и велел ему подать назад, чтобы я мог взять разгон, и проехал со скоростью, какую только смог выжать. И, скажу вам, даже не почувствовал, чтобы что-нибудь под моей машиной прогнулось или сломалось. Я остановился на другой стороне чуть подальше, чтобы дать возможность встать каждому следующему, и пошел взглянуть, действительно ли не пострадал настил. Осела перекладина. Увидев это, я сказал Луису, что нам надо было бы взять с собой и топоры — сейчас бы они ох как пригодились! Он согласился, и мы решили купить топоры в первом же городе, через который проедем. Осевшая перекладина оказалась несущей, а так как топора не было, мы решили подложить под нее камни, чтобы могли проехать все остальные машины. Я объ-

яснил Мурте, как проскочить настил. Он внимательно выслушал, газанул и проехал. Я стоял около настила, чтобы видеть, как он проедет, и слышал, как скрипят под колесами бревна. Настил, конечно же, осел, когда на него въехал грузовик, но тут же, как только опустел, поднялся. После того как проехал Мурта, мы опять все проверили. Оказалось, что камни разъехались и их нужно уложить плотнее. Фабио проехал без осложнений. И остальные проехали. Я же засмотрелся на машину Толедо — она казалась легче других. И, скажу вам, этот парень был классным шофером! К тому же так приятно было видеть, как сидел он прямо в яркой рубашке с длинными рукавами.

Ночью мы добрались до Кашоейра-Эскура, поселка за Бугре. Здесь тоже на выезде был мост. Я осмотрел его, хотя вовсю лил дождь, осмотрел, не включая фар машины, чтобы лучше рассмотреть. И, скажу вам, он мне не понравился. Я кликнул Луиса. Он подошел, накрывшись куском брезента, и тоже осмотрел мост. И тоже он ему не понравился. Тогда я решил, что будет лучше, если мы рискнем проехать по нему завтра. Может, и дождь перестанет.

Мы остались стоять там, где стояли. Я лег спать голодный, но заснуть мне это не помешало. Закрыв глаза, я тут же куда-то провалился, а приоткрыв, увидел, что уже день.

Встал, пошел к мосту. Луис уже был у моста и сказал мне, что тут нам никак не проехать. Я прошел по мосту: он был высокий, узкий, деревянный — и старый. Под тяжестью наших машин он просто рухнет: балки-то трухлявые. Лауро принес кофе и что-то поесть, но я попросил его подержать все это, пока я сойду к реке и умоюсь. Под мостом я умыл лицо и пошел вверх. И, поднимаясь, все время думал: что же делать-то?! И даже когда ел и пил кофе, тоже думал. Потом спросил Лауро, нет ли еще чего поесть — не наелся. Тогда мы пошли к его машине, и здесь уж я подзаправился как следует. Но так и не придумал, что же нам делать. Опять спустился к реке — вымыть миску. И тут меня осенило: я снял ботинки и вошел в воду. Дно песчаное, берега пологие, и река разливалась, не становясь глубже, в такое дождливое время. Я перешел реку вброд. Вышел на другой берег, выяснив, что вода в реке мне по колено. Вернулся обратно и отметил, до каких пор будет вода машинам. Осмотрел место около моста и сказал Луису, что выход есть: нужно рубить кустарник у моста и делать съезд прямо в воду. Луис выслушал, осмотрел сам берега, подумал и согласился. Мы позвали шоферов и объяснили, что думаем делать. Все согласились с нашим решением и принялись за дело.

Берег, на котором стояли наши машины, был лучше, чем противоположный, но работа предстояла большая. От дождя вода в реке, конечно же, поднялась, что тут говорить, но ненамного. И я был этому рад, но боялся, как бы дождь не разошелся,— ведь разойдись он, она поднимется еще выше, и тогда пиши пропало. Начали мы с того, что, перейдя на другой берег, выровняли его так, чтобы машины могли по нему подняться,— чересчур крутым он был. А тот, на котором стояли машины, зарос кустарником. Вот я, Фабио и Мурта взялись за топоры и принялись рубить кусты, конечно сделав топорища. Как же трудно было найти подходящую для этого палку! Я даже удивился, когда Мурта все же нашел ее. Потом-то я увидел, что он приспособил к топору черенок от лопаты, и подумал: и как это я сам до этого не додумался?

Лауро поспешно сварил обед, потому что все кричали, что хотят есть. Перед обедом дождь стих, и мы вовсю поработали. А когда обедали, Мурта развлекал рассказами.

Мы снова принялись за работу и долго возились, корчуя пни с тех мест, где должны были пройти наши машины. Я переговаривался с теми, кто был на том берегу, показывая им, где надо побольше снять земли, когда вдруг услышал, что в воду упало что-то тяжелое,

и увидел, что стоящие на противоположном берегу испугались. Оказалось, что топор Мурты соскочил с рукоятки и, пролетев у самой моей головы, упал в воду. Когда испуг прошел и Мурта увидел, что меньше всех перепуган я, он вошел в воду и стал шарить по дну руками, отыскивая топор. Фабио тут же крикнул, уж не собирается ли Мурта пометить реку, поза самая подходящая. Все засмеялись, и Мурта тоже, и так как он продолжал стоять в той же позе, все продолжали хохотать. Топор мы так и не нашли, хотя все видели, куда он упал.

Потом опять пошел дождь, но мелкий, и я не опасался, что река разольется, а под дождем даже лучше работалось.

По мосту шли легковые машины, и их водители с удивлением поглядывали в нашу сторону и останавливались, чтобы посмотреть, как мы работаем в поте лица на противоположном берегу, оставив свои машины на этом. Один даже подошел и поинтересовался, чем это мы заняты. Фабио ответил. Но удивленный шофер спросил:

— А почему вы не хотите ехать по мосту?

Вот так-то, сытый голодного не разумеет. Ведь вот едут они в легковых машинах, и им в голову не приходит, что по такому мосту грузовику с грузом, да еще с прицепом, не проехать. Так и хочется им ответить, что мы спортом занимаемся, чем же еще? Так, во всяком случае, ответил Толедо.

На следующий день мы выровняли съезд с нашего берега и закончили работы на другом берегу, набросав камней и утрамбовав их. Мурта и Фабио, чтобы укрепить дно реки, сбрасывали в воду срубленные эвкалипты. Однако некоторые всплывали, и мы их старались углубить в песок обухом топора или камнями.

Когда, по моему мнению, все было сделано, я сказал Тео и Лауро, что, как только мы начнем переправлять первую машину, им следует идти рядом с ней и смотреть, не вязнут ли в иле колеса. Луису же поручил следить за кабиной и прицепом — не станут ли они крениться, въезжая на другой берег. На мой взгляд, подъем был все-таки крутоват.

Я сел в машину и, тронув ее с места, медленно поехал. Когда я стал съезжать в реку, на дороге остановился джип, из которого вылез какой-то тип и, подойдя к берегу, наблюдал за мной. Мне пришлось затормозить — прямо по курсу моего грузовика я увидел забытую кем-то мотыгу. Она лежала острым концом кверху. Я крикнул: «Кто забыл мотыгу?» Оказалось, Толедо. Стремглав бросился он в воду, но прыгал по воде аккуратно, не брызгая, и крикнул мне:

— Извините, капитан, это моя!

Я съехал с берега, переправился через реку и поднялся на другой берег. И все же прицеп откинулся назад и намок больше, чем я ожидал. Машина заскользила и стала съезжать обратно в реку, вернее, наезжать на прицеп. Но выручили уложенные нами камни. Кабина выровнялась и взяла подъем. Я проехал, как обычно, чуть дальше, оставляя место для следующих машин, и встал.

Мы укрепили камнями то место, где заскользил мой грузовик, и переправили все остальные без каких-либо осложнений. Когда же грузовик Тео, замыкающего, взяв подъем, выехал на берег, Толедо подошел к Оливейре и сказал:

— Вот так-то, Оливейра, это ты, хворенький, такое сделал, а будь ты здоровый, ты бы гору своротил!

Проделанная нами работа действительно была огромной. Остановившийся на дороге джип, ну тогда, когда я стал переезжать, теперь, переехав мост, встал рядом с нашими грузовиками.

— Ну и работенка — везти такой груз, да в такую погоду! — сказал водитель.

— Что делать?! — ответил я.

И тут я взглянул на сидевшую рядом с водителем женщину и

вздрогнул. У нее не было носа. На месте носа зияла дыра. А женщина еще улыбалась. Я с трудом заставил себя отвернуться и повторил:

— Что делать?! Работа.

Посмотрев на реку, водитель заметил, что, припозднись мы, сидеть бы нам тут и сидеть. Я согласился. Он сел в машину и уехал. Стоявший со мной рядом Тео в недоумении спросил меня:

— Что это у нее?

В этот момент я как раз поднес руку к своему носу и тут же отдернул, разозлясь на Тео, который увидел мой испуг. Ничего ему не ответив, я сел в машину, включил зажигание и поехал. В зеркальце мне было видно, как Мурта бежал к своей машине.

— Вот тетка! Даже не прикрывает...

На первом же перегоне, на котором дорога хорошо просматривалась, я увидел все свои машины, шедшие друг за другом. Вскоре мы миновали местечко Ипаба. Я посчитал, сколько осталось дней до назначенного сеньором Марио срока, к которому мы должны были доставить маис,— оказалось, три дня. И подумал, что, похоже, приедем вовремя. А может, и раньше, ведь от Ипатинги до Бело-Оризонте дорога новая, только что заасфальтированная. Правда, проезд по ней закрыт, но я во что бы то ни стало должен по ней проехать. Размытые участки нам теперь уже не страшны — у нас есть опыт. Да и там работают ремонтные машины, а они всегда помогут вытащить застрявший грузовик. Это ведь дело обычное. Я думал обо всем этом, когда услышал, что одна моя машина гудит. Затормозил, как и все остальные. Вылез из кабины. Сигналил Толедо — у него лопнула камера на заднем колесе. Оливейра помогал ему, а все мы стояли и смотрели. И тут я подумал, что на ходу, пожалуй, почувствовать, что шина лопнула, мог только Толедо. Я смотрел, как Оливейра отвинчивал гайки, а Толедо надевал комбинезон. Потом им стал помогать Лауро — они возились уже час. Толедо раскраснелся, а Мурта все подшучивал, предупреждая Толедо, чтобы он был осторожен, не запачкал бы свои белые ручки.

В Ипатинге нас ждал асфальт. И, скажу вам, теперь, когда мы ехали по асфальту, нам не верилось, что совсем еще недавно мы вязли в грязи. Разница была так велика, что один свист ветра в окошке поднял нам настроение. Ведь ехать по узкой глинистой дороге да все время останавливаться — это все равно что идти пешком. А тут дорога — первый сорт, только что заасфальтирована, широкая, со свежевыкрашенными дорожными знаками,— нет, это даже передать невозможно. Проскочили мимо полицейского участка, в который тогда, когда я добирался в Каратингу, завез меня капитан. Я успел заметить место, где парни и тот, что увязался с нами свидетелем, остановив машину, пошли узнать, уехал ли полицейский комиссар ловить воров, ну тех, что крали козлят в местечке Каладиньо. А мы продолжали мчаться, и я, глядя на дорогу, узнавал то одно, то другое место. Проехали Коронел-Фабрисиано, потом мост, длинный-предлинный, и еще одно селение, где, скажу вам, если бы мы остановились, то были бы очень довольны. Но мы не остановились, не хотел я нигде задерживаться. Я уже было думал, что так вот прямиком по этой хорошей дороге мы и приедем в Бело-Оризонте. Так нет. Впереди я увидел шлагбаум. И это был не контрольный пункт, нет. Шлагбаум был опущен. Пришлось останавливаться, но, скажу вам, если бы шлагбаум был поднят, я бы проехал, честное слово, проехал не задумываясь. Но чертов шлагбаум перекрывал дорогу, и я остановился. На обочине стояла будка, из будки вышел солдат и спросил, чего я хочу. Я, не выходя из кабины, сказал, что хочу проехать, и нужно, чтобы он поднял шлагбаум.

— Куда проехать? — спросил он.

— На участок,— ответил я.

Он не понял и подошел поближе. На поясе висел револьвер. Рукава рубашки были засучены.

— Куда именно?

— На участок,— повторил я,— на стройку.

Тогда он подошел к машине вплотную и, поглядев на меня в упор, спросил, на какую стройку. Я ответил, что на строительный участок компании.

— Где разрешение? — И даже не протянул руки. Ясно было, он знал, что никакого разрешения у меня нет.

— Мне не дали.

— Тогда это невозможно,— ответил он, отрицательно покачав головой.

— Не дали, но сказали, чтобы груз был доставлен вовремя.

— Я думаю, что вовремя не получится.

— Позвоните в компанию.

— Какую?

— В ту, которая ремонтирует дорогу.

— Этот груз для нее? — спросил он, явно сомневаясь в моих словах.

— Да, и мне нелегко было его сюда доставить.

— А что здесь?

— Что-то, что нужно компании. Откуда я знаю.

Он посмотрел на прицеп и даже отошел от него на несколько шагов, чтобы лучше видеть.

— И все для компании?

— Ясно, все.

— Н-да, но эта компания не могла вас послать по этой дороге.

— Как не могла? Разве не она ведет здесь ремонт дорог?

— А-а, не знаю я. Знаю только, что по этой дороге она послать не могла.

— Ну, а если компания, которая ведет здесь ремонтные работы, не может получить материалы, тогда как быть?

— Этого я не знаю, но здесь проезжают только по разрешению.

Я выключил мотор, погасил фары, оставив подфарники, и вылез из кабины.

— Кто может дать разрешение?

— Да один сеньор...

— Как его фамилия?

— Да откуда мне знать!

— А я что должен делать, чтобы доставить материалы?

— Не знаю, сеньор, не знаю, это меня не касается.

С того места, где я стоял, мне была видна внутренняя часть будки, и я увидел там еще одного солдата, он лежал.

— Но послушай, ведь мне только вручить материалы, и все.

— Без разрешения не пропущу.

— Ну подумай, я сюда доехал с таким трудом, а ты не пускаешь, ведь компания ждет. Поди позвони — и убедишься.

— Здесь нет телефона.

Подошел Луис, потом Лауро. Вылез из машины и Оливейра и тоже стал рядом с нами.

— Послушай, друг, ну как ты можешь нас не пропустить. Посмотри, на кого мы похожи. Все в глине. Представь, сколько труда нам стоило сюда добраться, а ты шутки шутишь! Разрешение?! Да забыли мне его дать, забыли!

— Но без него вы не проедете.

— Но кто-нибудь-то проехал, наверное, без этого твоего разрешения?

— В мое дежурство — нет.

— Так кто же, дьявол возьми, может его дать?

Солдат не ответил. Я посмотрел на широкую и гладкую дорогу, расстилавшуюся перед моими глазами, и подумал о той, по которой мы добирались до Ипатинги.

— Ну, так если я не могу проехать, чтобы доставить груз, то что же мне с ним делать, а? Может, разгрузить здесь, на полпути?

— Не знаю, сеньор.

— А если я все-таки поеду?

Солдат опустил голову и ответил, глядя в землю:

— Сеньор нарушит распоряжение властей.

— Хорошо. Да, я нарушу распоряжение властей, ну а ты, ты что будешь делать?

Луис только что не говорил, что не надо настаивать, надо отказаться. Он смотрел на меня так выразительно, но я делал вид, что не понимаю. Оливейра отошел к машине, а солдат, все так же глядя в землю, говорил:

— Посмотрим, как это у вас получится.

Я снова взглянул на дорогу, лежавшую передо мной, и вспомнил ту, по которой ехал в сторону Каратинги.

— Тогда вот что, мы поедем. Я должен доставить эти материалы, я человек слова, и ты не имеешь права задерживать ремонт дорог.

А солдат, все так же тупо глядя в землю:

— Вас много...

— Ребята, поехали! — сказал я трем своим шоферам, стоящим рядом.

— Послушайте, меня здесь не просто так поставили, я вас не пропущу.

Сказал и пошел к будке. Вынул из кобуры револьвер, позвал другого солдата, не оборачиваясь и не глядя на нас. Оливейра побежал прятаться за кузов. Луис продолжал стоять у кабины, а Лауро — со мной рядом. Я поднялся в кабину, дав знак ехать. Однако Оливейра в машину не полез, а Луис сказал мне:

— Думаю, сеу Жорже, этого делать не следует.

Тут я высунулся из окошка кабины и крикнул солдату, что поеду к полицейскому комиссару за разрешением. Развернулся, предупредил всех, чтобы не трогались с места, и, объехав все машины, встал на обочине. Ко мне подошел Луис и сказал, что все верно, рисковать не стоит. Я отцепил прицеп, подозвал к себе Оливейру — он дрожал от страха,— сказал ему, чтобы он не психовал, и поехал.

В полицейском участке комиссара не было. Сержант переговорил с ним по телефону и сказал мне, что тот сейчас подъедет. Я стал ждать. Через полчаса комиссар появился. И как только я к нему обратился, он меня тут же узнал — надо же, вспомнил! — и спросил, что я здесь делаю. Я объяснил ему, что стою перед шлагбаумом, а когда сказал, что с восемью грузовиками, груженными маисом, да с прицепами, которые привел сюда с трассы Рио—Баия, он даже свистнул от изумления, сказав, что этому трудно поверить. А узнав, что мне нужно разрешение, сказал, что это не в его власти. Приказ получен из Бело-Оризонте, и нарушать его он не будет, ведь километрах в десяти обвал и машины не идут ни туда, ни обратно. И даже специально посланные туда грузовики с материалами для ремонта дорог тоже застряли, потому никого и не пускают. А не доезжая до Нова-Эра дела еще хуже, в двух местах дороги почти нет, так что хлопот тут много и надолго. Тогда я поинтересовался, как с той дорогой, по которой я ехал сюда без грузовиков. Он ответил, что ее совсем размыло, к тому же компания не заинтересована поддерживать ее в хорошем состоянии, так как есть новая. Я продолжал настаивать на своем, говоря, что если я поеду по новой дороге, то мне грозят три-четыре задержки. Нас девять человек, и мы к дорожным работам уже привыкли. А если по старой,

то буду барахтаться в грязи все время. И еще сказал, что мы уже так долго в пути, что пора бы и приехать в Бело-Оризонте, а то, глядишь, и груз сгниет. И если он поможет мне миновать шлагбаум, то остальное мне не страшно. Но он ответил, что не может, солдаты ему не подчиняются. В чем другом — пожалуйста, но тут он бессилен и посоветовал подождать, пока починят дорогу. Я сказал, что это совсем не скоро, а он — что нет другого выхода. Я поблагодарил и вышел. Когда я был в дверях, он спросил меня:

— А что за груз-то?

Я повторил, что маис.

— Маис? — удивился он.

Я подтвердил, что маис. Но выражение его лица было все то же. Он, видно, считал, что я шучу. И я подумал, что нужно было соврать, сказать, что везу что-нибудь другое. И опять я поехал на станцию Коронел-Фабрисиано, ну, ту самую, с которой ехал в Говернадор-Валадарес, и поговорил с начальником. Тот сказал, что у него нет возможности отправить груз, все зависит от властей в Витории и Говернадор-Валадаресе, но и оттуда составы идут полные. В этом я сам могу убедиться, взглянув на график, висящий в конторе. Я поблагодарил и попросил меня извинить, так как очень спешу, и поехал в сторону шлагбаума, думая об этой новой дороге, по которой за несколько часов можно доехать до Бело-Оризонте, и о той дороге, что задаст такую работенку, от которой придет в уныние любой христианин.

Когда мы съезжали с асфальта на грунтовую дорогу или, вернее, на то, что раньше было дорогой, а теперь — сплошное месиво, я решил послать сеньору Марио телеграмму. Остановился, поджидая остальных. Мимо меня, подгоняя осла, шел какой-то мужчина. Я было собрался спросить его, где здесь почта, но вовремя удержался, так как вид у него был человека явно несведущего. Вскоре все мои грузовики появились на дороге, и я решил найти почтовое отделение в городишке Асезита, через который нам предстояло проезжать.

Въехав на улицу городка, я стал смотреть по сторонам, ища вывеску почтового отделения. И увидел ее, желтенькую, на окне одного из домов. Остановил грузовик. Следом за мной остановились все семь. Тут я обратил внимание, что все прохожие глазеют на наши машины — они ведь были в грязи до самого верха. Я вылез из кабины и постучал в дверь дома. На стук вышла девушка. Я спросил, могу ли отправить телеграмму. Она ответила: нет, не могу, почта работает только «до восемнадцати». Я стал ее упрашивать, и она согласилась, сказав, чтобы я подождал немного, и исчезла за дверью. Пока она не появлялась, я, поразмыслив, решил телеграмму не посылать. Когда она опять вышла, я сказал, что передумал, извинился и тут же, спускаясь со ступенек, столкнулся с Луисом. Он спросил, почему я остановился. Я ответил, что хотел послать телеграмму. Он поинтересовался, отправил ли, я ответил, что нет, пошел к машине, влез в кабину и поехал. Оглянулся и увидел Луиса, бежавшего от дверей почты к машине. Видно, он ждал, что я вернусь на почту.

Потом я никак не мог найти выезд на большую дорогу. Кругом стояли одинаковые дома, улицы были пустынны. Похоже, машины здесь не ходили: не было ни дорожных знаков, ни указателей, как выехать из городка, а я точно не помнил. Помнил направление — я ж здесь уже проезжал — и считал его верным. Тут я заметил велосипедистов, и высунулся из окна прямо под дождь — он опять пошел,— и крикнул:

— Где здесь выезд на Бело-Оризонте?

Один из них услышал и ответил:

— Это не здесь. Это там.— И махнул рукой туда, откуда мы ехали.

— А на Сан-Домингос-до-Прата? — спросил я и подумал: «Какое длинное название, особенно когда льет дождь и ты вынужден прокричать его, высунувшись из окошка».

Велосипедист подъехал поближе — он был так себе велосипедист,— чтобы расслышать, что я спрашиваю.

— На Сан-Домингос? — повторил он.— Это вот здесь,— и указал вперед.

Тут я успокоился — мы были на правильном пути — и крикнул:

— Спасибо!

Выезд из городишка был очень плохой — колдобины, ямы. Грузовик все время трясло. Вдруг я услышал взрывы и треск и решил узнать, что происходит. Совсем скоро мы въехали в Тимотео. В город вела крутая, мощенная булыжником улица. Машина стала буксовать. Я включил первую скорость и поехал медленно. Хотя колеса нет-нет да буксовали, я все же поднялся вверх по дороге. А когда поднялся, почувствовал запах резины — воняли покрышки. И опять раздались взрывы. Тут мне стало ясно, что это ракеты. Я припоминал, не говорили ли Мурта с Фабио о каком-нибудь матче, который должен состояться сегодня, но не вспомнил. Нет, ничего такого они не говорили. Когда я миновал подъем, я выругался. Надо же, чтобы в городе были такие улицы, да еще мощенные скользким булыжником! И заметил, что грузовик Мурты тоже буксует, но тут мне нужно было сворачивать, и я потерял всех из виду. На той улице, куда я въехал, фонарь освещал плакат, на котором было написано, что жители Тимотео полны благодарности главе муниципалитета. Я было хотел остановиться и пойти посмотреть, как миновали подъем все остальные грузовики, но улицы были узкие и петляли, и я решил выехать на площадь — она была здесь, я знал,— и подождать всех на ней. Опасался-то я, в общем, только за Фабио, ведь только Фабио мог что-нибудь выкинуть,— например, газануть где не следует. И тут я увидел еще один плакат. Он был натянут между двумя столбами и выражал пожелания счастья семье главы муниципалитета. Тут я подумал: «И какого черта они повесили эти плакаты с пожеланиями?» А когда выехал на запруженную народом площадь и увидел, как люди, держа в руках плакаты, пускали ракеты, я убедился в искренности их чувств. Не могут же люди просто так пускать ракеты и нести плакаты. А плакаты призывали главу муниципалитета не забывать Тимотео и обещали, что Тимотео не забудет его. Жители Тимотео желали ему счастья. Ассоциация коммерсантов благодарила его за сотрудничество и так далее и тому подобное. Я огляделся и понял, что на площади останавливаться не следовало. Уж очень она была мала. Я поехал дальше, поглядывая в зеркальце. Наконец я увидел грузовик Мурты. Одного Мурты, и никого больше. Какое-то время я ждал, но потом решил, что надо остановиться и узнать, где же Фабио. Однако мой грузовик и грузовик Мурты стали привлекать внимание собравшихся на площади, и я не остановился. Тут появился Фабио, и я вздохнул с облегчением, потому что если проехал Фабио, то другие-то уж как-нибудь проедут.

Выезд из города был такой, как и въезд. Только здесь еще ливни вымыли почти все камни, а те, что сохранились, остались будто для того, чтобы портить наши покрышки. Улица продолжала идти вверх, оставляя город в низине. Не помню, чтобы я видел когда-нибудь такую улицу. Когда же подъем кончился, кончились и дома, и улица вышла на дорогу, шедшую тоже вверх, но совсем недолго. По обе стороны дороги тянулись овраги, обнажившие краснозем. Я ехал вверх медленно, боясь забуксовать. Но на дороге камней не было, как не было и колдобин. И это было хорошо, потому что та, по которой я только что ехал, была очень плохая.

Тут я услышал гудки сигналившей мне машины. Я остановил

грузовик и выключил мотор. Сигналил Фабио — у него испортился тормоз. Я сказал ему, чтобы он выжал педаль, и увидел, что она провалилась. Это значило, что вытекла тормозная жидкость. Подождал, пока подъедет Антонио, и велел ему осмотреть задние колеса, а сам стал осматривать передние. Взял фонарь и попросил Фабио еще раз нажать на педаль, но прежде чем он нажал, увидел, что подводка, идущая к левому заднему колесу, лопнула. Я приблизил лицо и, пока осматривал, чувствовал, что на затылок мой капает вода. Сверху лил дождь, а под машиной по колено глины. И непонятно было, почему же лопнула подводка. «Может, перебило камнем?» — подумал я. Мы посовещались с Антонио, он тоже осмотрел, и мы пришли к заключению, что починить не сможем. Луис спросил, что будем делать. Я не ответил, а послал Антонио за плоскогубцами, чтобы зажать трубку. Антонио все понял — он механик что надо! А Луис опять спросил, что будем делать, тогда я сказал: перекроем шланг. Услышав это, Оливейра полез под машину помогать Антонио.

Антонио закончил починку и позвал меня. Я подошел, посмотрел. Все было в порядке. Антонио спросил, как быть с тормозной жидкостью, в системе не осталось ни капли. Я спросил у Луиса, нет ли у него в запасе. Он ответил, что нет. Не было ни у кого. Тогда я сказал Антонио, что выход только один — отлить понемногу из каждой машины и доехать до первого города. Луис было предложил послать одну машину, без прицепа, конечно, в Тимотео или Коронел-Фабрисиано, пока мы тут стоим, и купить банку этой самой жидкости, но потом согласился со мной и велел Оливейре заняться делом, предварительно спросив меня, сколько сливать с каждой машины. Я ответил:

— Пусть Антонио покажет, как и сколько сливать.

Надо заметить, что Толедо поспешил принести банку.

Когда я счел, что педаль достаточно упруга и можно будет тормозить, я позвал Фабио и сказал ему, что он должен пересесть в мою машину, а я в его — я ее поведу. Так будет вернее. Мы переложили наши вещи, а Оливейра, забрав свои, перенес их в машину Толедо.

Я тронулся с места и выехал вперед. И тут же почувствовал, что эта машина лучше, чем та, на которой я ехал до сих пор. Вдруг я увидел бегущего ко мне Фабио и остановился. А Фабио бежал и что-то кричал, что́ — я не понял, а потому открыл дверцу. Но тут услышал крик Мурты, он кричал, чтобы я не отдавал Фабио, что — я опять не понял, а выбросил, выбросил. Я не понял, о чем они, и продолжал ждать. Подбежав к машине, Фабио полез в кабину и взял вымпел клуба «Атлетико» — он висел на зеркальце.

— Забыл взять! — сказал он.

И бросился обратно. А я подумал: «Ну и ну! Не мог подождать, пока мы остановимся, а? Вымпел ему потребовался. Черт знает что!»

Я вытер об одежду руку: она была мокрая от дождя и скользила на руле, одежда, скажу вам, тоже была не слишком сухой, ведь все время, пока мы возились с подводкой тормозной жидкости, я мок под дождем. Вел я машину осторожно, чтобы не дай бог не тормознуть резко — этого делать было никак нельзя,— и на первом же спуске сбавил скорость, крепко держа руль. Спуск шел среди деревьев, ветви которых переплетались и мешали смотреть вперед.

Ветви эвкалиптов стали гуще, а спуск круче. Я еще сбавил скорость, сбавил, чтобы не тормозить. Мотор работал вовсю, чтобы сдержать давление на коробку скоростей. Я же прилагал все усилия, чтобы мотор не вышел из повиновения. И вдруг впереди показалось что-то темное. Я вглядывался, но понять, что это, не мог. Потом-то я увидел, что это мост, и он приближался. Издали мне он показался надежным, и я даже подумал въехать на него с ходу. А все-таки затормозил. Машина было вильнула вправо, но остановилась, и легко.

Вблизи мост тоже показался хорошим. Однако я пошел его осматривать, оставив фары зажженными, а когда спускался, меня нагнал Луис и спросил, что я думаю делать. Я ответил, что еще не знаю, надо посмотреть, как и что. Я попробовал ногой балки — они были крепкими. Мост не был узким и даже производил впечатление нового. Но я заметил, что он много ниже уровня дороги, особенно с противоположной стороны. Прицепы не пройдут. Сядут брюхом на землю, и все! Похоже, нам предстояло выравнивать дорогу. Да, работенка, подобная той, что проделали мы, переправляясь через реку около Кашоейра-Эскура. А может, и похуже, ведь там мы прокладывали дорогу, и только. Я сказал Луису, что не проедем, и увидел, что он не понимает почему. На разницу-то уровней он внимания и не обратил. Его волновал сам мост. Я вернулся к машине. Тут подошел Оливейра и спросил: «Что-нибудь случилось?» Я ответил, что случилось. Он, конечно, захотел узнать, что именно. Но я промолчал. Сказал только, что мы здесь заночуем. Сел в машину и погасил фары, хотя Луис все еще стоял на мосту. Со злости я сорвал вторую побрякушку с мячиками и бросил на дорогу. Крикнул Лауро. Он не ответил. Тогда я крикнул громко. Он подошел и спросил, чего я хочу. Я хотел сесть. Он удивился и спросил, неужели мы здесь устроим стоянку? Я сказал:

— Устроим, да и заночуем.

Тогда он спросил, что с мостом. Я сказал:

— Плохо, не проедем.

— Почему, сеу Жорже?

Я не ответил и поинтересовался, когда будем обедать. Он сказал, что не скоро, так как еще не разжигал плитку.

— Позови Оливейру, пусть поможет,— сказал я, а мог бы и не говорить, он и без меня позвал бы.

— Хорошо, сеньор.

Потом я устроился в кабине, откинул голову назад и закрыл глаза, однако слышал, как проходивший мимо Мурта спрашивал Луиса, почему нельзя проехать по этому мосту. Луис ответил, что не знает, не понял. Я продолжал сидеть не шевелясь, прислушивался, как моросит дождь, который, казалось, так никогда и не перестанет. И, скажу вам, мне уже было все равно, идет он или не идет, мочит нас или не мочит, мерзнем мы или не мерзнем. Мне все это порядком осточертело, хотя я все еще хотел добраться до Бело-Оризонте к намеченному сеньором Марио сроку. А еще больше хотел сесть в кресло и ни с кем ни о чем не говорить, а только курить, курить сухую, сухую сигарету. Вот о чем я мечтал и вдруг заметил свет на мосту. Это Луис зажег фонарь — явно пытался уразуметь, что нам мешает проехать. Свет перескакивал с места на место, и я видел тени тех, кто ходил по мосту. Они были огромные и тоже прыгали из стороны в сторону. А я все сидел не двигаясь. Потом вылез из машины и пошел к ним. Окликнул Луиса, сказал о разнице уровней дороги и моста и показал, где она особенно явно была видна. Остальные молча слушали и глядели на то, что я показывал, держа фонарь в руке. Я улучил момент и сказал, что лучший водитель у нас — Фабио! Когда я это сказал, все умолкли, ожидая, что за этим последует. Ну, я и пояснил: «Ведь он на подъеме определил, что у машины не работают тормоза». Это всех развеселило. А Мурта хлопнул Фабио по плечу и сказал:

— Вот это да!

А я еще вспомнил, как Фабио заставил меня остановиться, да приукрасил: прыгал, мол, перед носом моей машины, чуть под колеса не угодил, а все из-за чего? Из-за флажка с надписью «Атлетико». И сказал им: «А я-то радовался, что поеду в его машине с этим флажком!» Все опять расхохотались, а Фабио ответил, что обязательно достанет мне такой же точно. Тут Лауро уронил чайник на ногу Оливейре, и тот, вскочив от неожиданности, принялся ругаться.

А Лауро сказал, что он сам виноват — вечно под ногами мешается. Их перебранка развеселила всех еще больше.

— Вам, видно, понравилось, что мы сюда заехали? — в шутку спросил подошедший ко мне Луис.

Потом мы выравнивали дорогу, подгоняя ее уровень к уровню моста. И сначала мы делали это с той стороны, где стояли, чтобы не препятствовать проезду встречных машин и не заставлять их ждать. Закончив с этой стороны, перешли на другую. И вот в какой-то момент мне показалось, что мы перестарались и нет нужды снимать так много земли за мостом. Только время теряем. И так проедем! И я решил попытать счастья после еды.

Когда мы поели, я послал Оливейру туда, где дорога после съезда с моста делала поворот. Он должен был задержать встречную машину, если та появится, когда я буду проезжать по мосту. И вот я въехал на мост. Въехал и почувствовал, что он затрещал. Я испугался — вдруг не выдержит и рухнет. Но никто не подавал мне никаких знаков и не кричал. Я поехал дальше. Подъехал к тому месту, где мы срыли землю, и понял, что на дорогу мне не выехать никак. Увидел, что не выехать. И остановился, злясь на самого себя: надо же, вот дурень! Машина стояла на мосту, а съехать с моста не могла: хоть мы и срыли землю, но дорога все равно была выше. О том, чтобы назад подать, нечего было и думать. Да и мост деревянный. Я вылез, все подбежали к машине и взялись за лопаты. А я копал и глядел на мост и думал, что он вот-вот рухнет... Бросил копать, подошел к мосту и сделал отметку. Потом встал не двигаясь и смотрел, не спускается ли моя отметка. И в какой-то момент увидел, что спускается, точка моя двигалась. Я испугался. Но потом понял, что шевельнул головой. И все-таки мост оседал — это я проверил. Проверив, вернулся на свое место, и все мы стали рыть быстрее, стараясь изо всех сил. Потом мне показалось, будто трещат балки. Я сел в машину, включил первую скорость и поехал. Все тут же разбежались, а этот чертов Толедо опять забыл посередине дороги мотыгу. Я видел ее, но все же ехал, машина брала подъем с трудом. Тут Толедо выскочил на дорогу и схватил мотыгу. Я подумал, что если на этот раз он решил пошутить, то я ему покажу шуточки, только бы переехать на другую сторону. Машина ползла вверх, и я чувствовал, что днище прицепа скребет по земле. Я прибавил газ и ясно ощутил, что зацепился за что-то. Точно зацепился. Но никто ничего не крикнул. Впрочем, даже если бы они и крикнули, я все равно бы не остановился. Услышал, как, ломаясь, трещит глушитель, но рванул вперед и оказался за мостом.

После меня ехал Мурта, ехал медленно, и опять я слышал, как мост трещит. Но Мурта продолжал ехать и остановил машину, только когда стал сзади моей. Я пошел и подал свой грузовик вперед, чтобы было где встать остальным. Фабио дождался, когда я вернусь, и тоже поехал. И под его машиной мост трещал. Он трещал под каждой, но выстоял, не рухнул.

Когда мы двинулись дальше, я уже не надеялся приехать вовремя, тем более что дорога стала еще хуже. Мы ехали медленно. Очень медленно. А когда стемнело, то просто еле ползли. Я же все время ждал встречную, боясь, что мы либо не разъедемся, либо столкнемся на повороте. И вспомнил, что не обратил внимания на спидометр: сколько же мы проехали? Да, в общем, какое это имело значение?..

Мы снова тронулись в путь. Оставили позади Понте-Алта. Кто-то из наших вдруг начал сигналить светом. Я остановился и стал ждать. Но никто не появился. Я погудел. Пришел Антонио. И, скажу вам, по одному его виду мне стало ясно, что предстоит работа настоящая. Оказывается, у него пробит радиатор. А я подумал: «Поломка — это как раз то, чего нам не хватало в нашем путешествии!» Я-то боялся, что больше всего хлопот у нас будет с тормозами, но пока что они вели себя хорошо, если не считать одной машины, что теперь была

под моим надзором. Мы шли с Антонио к его машине, он говорил мне, что все время молил бога, чтобы хоть такой поломки не было. Пусть бы лопнул шланг или что-нибудь еще. Так нет, случилось именно это — самое худшее. Мы подошли к машине. Капот у грузовика был поднят, в радиаторе виднелась дырка, и большая. Вода почти вся вытекла и теперь едва сочилась. Я хотел было отправить Антонио обратно в Понте-Алта, вместе с Оливейрой, а самому с остальными продолжать путь, но...

Но тут подошел Луис. Он вспомнил, что видел в Понте-Алта грузовики, принадлежащие компании, значит, там есть мастерская и можно починить радиатор.

Мы помогли Антонио снять радиатор и стали дожидаться, не поедет ли в сторону Понте-Алта какая-нибудь машина. Ждали долго. Никто не ехал. Дорога была пустынна. Я сказал, что мы тратим время попусту, так что пусть Луис освободится от прицепа и едет с Антонио и радиатором в Понте-Алта. Антонио я дал денег и велел вернуться как можно скорее.

Луиса мы ждали долго. А когда он вернулся, сказал, что пришлось завезти Антонио в одну из мастерских — они вроде бы там неплохие — и будить механика.

Когда он уезжал, радиатор уже ремонтировали. Я переговорил с Оливейрой, решив оставить его дожидаться Антонио, и сказал, чтобы он не спал. Луису же велел дать ему два фонаря — один сигнальный, другой обычный. Оливейре оставаться не хотелось, но он был не из тех, кто не подчиняется приказу, и остался. А мы поехали. Поехали после того, как я разбудил одного из водителей, заснувшего прямо в кабине. Начинало светать.

Уже в пути я стал прикидывать, сколько же мы еще протащимся. Ведь были участки, на которых мы ползли со скоростью меньше двух-трех километров в час. Это повороты, подъемы, спуски. На них мы останавливались, шли смотреть, не вязнут ли в грязи колеса, промеряли глубину ям, заполненных водой, осматривали мосты и балки настилов, прислушивались к скрипу и скрежету прицепов. И пугались, что машину заносит, что она начинает скользить. И измеряли километры часами. И путали ночь с днем.

В одном месте, которое казалось самым обычным, колесо моей машины увязло в грязи, машину затрясло, и она стала. Я включил первую скорость, машина пошла не сразу, но все же двинулась. Проехав немного вперед, я остановился, чтобы посмотреть, как проедут другие. Мурта проехал, а Фабио застрял, увяз. Когда колеса его машины ушли в глину, я крикнул, чтобы он взял левее, ближе к середине дороги, и газанул. Он сделал все, как я велел, но машина не тронулась с места. Я показал ему, что нужно выжать газ. Он выжал, машина взвыла, потом что-то треснуло. Я посмотрел на Луиса — он стоял рядом со мной,— а Луис на меня. Трещала полуось. Все, крышка, лопнула! А этот дьявол Фабио продолжал жать на газ, хоть я махал ему, чтобы он остановился. Антонио с нами не было, а потому мы вдвоем с Луисом сняли эту самую полуось.

Луис отцепил прицеп и повез полуось в ближайший город — Дионизио.

Я же решил оставить здесь грузовик Фабио и продолжать наш путь. Теперь я понял: то самое место, где скользил автобус, нужно укрепить. Пришлось крикнуть своих ребят, чтобы они опять рубили сучья. Надо же, только они принялись за работу, как на дороге появился грузовик. В кузове народу было полным-полно. А один из сидевших в кабине высунулся и крикнул, что рубить эти эвкалипты мы не смеем — они принадлежат компании. Но я тихо сказал своим, чтобы они продолжали, и они продолжали рубить, несмотря на то, что мужчина вновь крикнул что-то насчет прав. Тогда он спросил, кто из нас главный. Я не ответил, а ребята промолчали. Ну, и дело кончи-

лось тем, что грузовик уехал, а мы, нарубив сучьев, принялись настилать их в том треклятом месте. Как назло, опять полил дождь, да такой сильный, что я даже подумал: «Черт возьми, сколько же там, на этом небе, воды! И откуда она только берется?!» Ну, а так как работать стало невозможно — дорога превратилась в реку,— мы разбежались по машинам и стали ждать, когда дождь прекратится.

Уже темнело, а Луиса все не было. Тут я принялся подсчитывать остававшиеся дни, и оказалось, что их нет. Завтра срок, когда мы должны прибыть в Бело-Оризонте. Я не спускал глаз с дороги — все ждал, все глядел, когда же наконец появится свет фар машины Луиса. Все глаза проглядел, ей-богу. Потом на какую-то минуту прикрыл их и заснул, но вскоре же проснулся — и снова уснул. Потом-то меня уже разбудили. Это был Антонио, он был весел. Увидев его, я обрадовался и сказал ему о полуоси. И он вдруг ответил, что это же ерунда! Он готов согнуть любую железяку, и все мы доедем до Бело-Оризонте. Доедем все вместе.

Я опять подумал, что к сроку в Бело-Оризонте мы не поспеем. И так у меня стало на душе муторно. Я спросил, где Оливейра.

— В машине Толедо,— ответил Антонио.

Антонио отдал мне сдачу и квитанцию, они были завернуты в оберточную бумагу, всю промасленную машинным маслом. Я проверил сдачу, спросив, потратился ли он на обратный путь. Он сказал, что ехал на грузовике бесплатно. Ехал в кузове, держа радиатор.

Настало утро, а Луис так и не появился. Сколько километров до Дионизио, я не знал, но вряд ли много. Почему же он так задерживался? Дождь теперь шел не переставая. Поливал нас и поливал, но мы уже не обращали на него никакого внимания. Все вещи у нас были мокрые, все, даже сигареты. А руки еще и грязные. А ноги — ноги в глине, каждый ботинок килограммов десять весил. Но мы и на это не обращали внимания. Ждали Луиса, а его не было. Я ведь ему велел не задерживаться, и он знал, что у нас остался всего один день, чтобы доставить этот чертов маис в Бело-Оризонте.

Лишь после обеда я услышал шум машины Луиса, услышал еще издали. И потому, когда она, обрызгав всех грязью, появилась перед нами, у меня создалось такое впечатление, что всю дорогу Луис ехал медленно, а за километр до нас поднажал. Остановив машину, Луис выпрыгнул из кабины и подбежал ко мне. Он стал объяснять, почему так задержался. Я молча слушал, понимая, что надо молчать, пока не остыну. А он сказал, что нам и торопиться некуда, потому что в Дионизио рухнул мост. А рабочие, которые должны его чинить, еще и не приступали к работе — ждут, когда им привезут материалы. И сказал, что река снесла не только мост, но и несколько домов. Проехать невозможно. И он, оставив грузовик в Дионизио — там не было полуоси,— вынужден был перейти реку по мостику, чтобы там сесть в автобус. Мостик этот пешеходный, и все грузовики перед ним останавливаются, а привезенный груз грузчики носят в город на спине. На другом берегу реки он сел в автобус и поехал в Сан-Домингос-до-Прата. Но и там полуоси не оказалось. Тогда он добрался до Монлеваде. И сказал, что видел такие участки дороги, где мы точно не проедем, даже думать нечего. К тому же впереди стена дождя. Он хотел тут же отчитаться в расходах, но я сказал, что не надо — отчитается позже.

Когда показались первые дома, я решил, что мы уже в Дионизио. Как бы не так. Селение, куда мы попали, было крошечное, в несколько домов, и без света. На дороге стояла машина, мешая нам проехать. Оставив свою, я пошел посмотреть, что там такое. Но увидел только шоферский зад, сам шофер весь был под капотом. В его руках светил фонарик, да только маломощный. Я пошел и принес ему свой. Увидев меня с фонарем, он воспрянул духом. Но помочь я ему не мог: ведь под капотом умещался только один человек. Чтобы не мокнуть под

дождем, я вернулся к своей машине и увидел, что все мои ребята пошли в бар. Бар находился в одном из домов. Я тоже пошел в бар. Бар — это только одно название,— захудалая харчевня, освещенная двумя керосиновыми лампами. Мои шоферы стояли у стойки и пили кофе с булочками. У стойки стоял пьяный мужчина. Он потягивал пиво. Пиво теплое — холодильника в этом «баре» не было. Когда я вошел, он стукнул стаканом по прилавку и спросил, заглядывая в стакан:

— Кто в мире самый великий человек?

Он продолжал глядеть в стакан. Потом качнулся, снова стукнул стаканом по стойке и снова спросил:

— Так кто самый великий в мире?

Из стакана, когда он ударился о стойку, выплеснулось пиво и теперь стекало по руке мужчины.

Фабио отошел и сказал:

— Пеле.

— Пеле! Ерунда, пустое место,— вставил Мурта, скорее для Фабио, чем для пьяного.— Тостан [1] — не более.— И, повернувшись к мужчине, спросил:

— Тостан, ведь правда?

Мужчина, похоже, не слышал и вновь повторил свой вопрос. Я ждал, что он разобьет стакан и порежет себе руку.

Тут Толедо подтолкнул Оливейру, подбивая его ответить. И Оливейра ответил:

— Папа римский!

Мужчина оторвал взгляд от стакана и посмотрел на Оливейру. Потом оглядел каждого из нас и, ткнув пальцем в висевшую на стене картину, сказал:

— Вон, вон самый великий человек.

Картина висела над бутылками, стоявшими на полке. Свет был слабый, но мы все же разглядели. Это был портрет Жуселино [2].

— Вот,— повторил он,— вот самый великий человек. Ну, так или не так?!

Никто из нас не ответил. Тогда он опять посмотрел на каждого и, снова ударив стаканом по стойке, принялся разглагольствовать. Но тут же, забыв, с чего начал, закончил словами:

— Наша жизнь — загадка! Понятно? — Он держался так, будто был на трибуне и произносил торжественную речь.

Тут в бар вошел водитель стоявшего на дороге грузовика, вернул мне фонарь и поблагодарил. Я заплатил за кофе, и мы пошли по своим машинам. Пьяный же продолжал дубасить стаканом по стойке и твердить, что «жизнь — загадка».

В Дионизио мы приехали поздно. Там, где, по словам Луиса, нам было не проехать, мы проехали, ни разу не выйдя из машин. Только в одном месте мы остановились, чтобы разглядеть, где проходит дорога,— вокруг было море разливанное. Но мы проехали, проехали. Правда, двигались мы медленно, но нигде не застревали. Когда мы подъезжали к Дионизио, я услышал, что сзади сигналят, и остановился. Сигналил Луис. Подойдя ко мне, он сказал, что, будучи здесь, присмотрел местечко, где нам остановиться,— на площади перед бензозаправочной станцией. Там есть бар и ресторан. И добавил, что это как раз у въезда в город. Это он сделал хорошо.

— Хорошо, остановимся именно там,— сказал я, не совсем понимая, почему же Луис сказал об этом только сейчас, а не раньше.

Площадка была большая. На ней вполне можно было разместить все восемь наших грузовиков, и даже еще место оставалось. Я остановился перед стеной бара у выезда на какую-то улицу. Все остальные

[1] Мелкая монета.

[2] Жуселино Кубичек де Оливейра (1902—1976) — президент Бразилии (1956—1961), ранее был губернатором штата Мина-Жераис, где происходит действие повести.

пристроились рядом. Стали так, чтобы, когда придется трогаться дальше, не нужно было разворачиваться, а сразу ехать, и все. Тут же, на площадке, были еще три грузовика и какой-то допотопный автомобиль без колес и одной передней дверцы. Когда все мои машины разместились, я сразу же ринулся в бар. В баре две стойки. Одна — напротив входа, другая — сбоку. В ресторане же — большом зале — стояло много столиков со стульями. Те, кто останавливался у бензоколонки, конечно же, заходили в бар выпить кофе. Но мне показалось, что бар, пожалуй, великоват для тех посетителей, которые могли бы сюда заходить. Мы выпили по чашечке кофе, а, кстати, официантка была приветлива со мной. Потом мы с Луисом пошли смотреть мост на другом конце города, нам пришлось пройти через весь город — хорошо, что он небольшой, и мы довольно быстро пришли к мосту. Мост снесло не весь, а только середину — вода доходила до самого настила. Оставшаяся часть казалась крепкой. Река тут широкая, так что противоположный берег даже разглядеть было трудно. Поскольку уже стемнело, мы с Луисом условились вернуться сюда, как только рассветет.

Проснулся я рано и пошел в бар выпить кофе. Потом позвал Луиса, мы отправились вновь смотреть мост. На другом берегу я увидел машины, а чуть выше по течению два пешеходных мостика. И, несмотря на раннее время, по ним уже сновали носильщики с грузом. И еще я увидел, что работа по ремонту моста предстоит немалая: его придется делать в общем-то почти заново. Но рабочих на берегу не было. Наконец подошли несколько мужчин с топорами и пилами, остановились около нас. Я спросил, не они ли должны этот мост ремонтировать. Они ответили, что да, они, и добавили, что начнут работу, как только подвезут доски и бревна. Я предпочел подождать, чтобы увидеть, что подвезут. Но наступил час обеда, а ничего не привезли, рабочие сидели без дела. Они курили, разговаривали, а когда пошел дождь, спрятались в магазин, продолжая курить и разговаривать. Я же ждал эти чертовы доски и бревна, а их все не везли.

Наконец около часу дня приехал грузовик и привез доски и бревна. Посмотрел я на них и понял, что если именно ими рабочие собираются чинить мост, то это пустое дело — для моста они не годятся. Мост тут же провалится, как только по нему пойдут мои машины, груженные маисом. Я подошел к тому, кто, похоже, ведал предстоящими работами, и рассказал ему о своих машинах. Ведь в каждой у меня тридцать тонн груза, тридцать! И всем нам нужно проехать на тот берег. Он внимательно меня выслушал и сказал, что ремонтные работы ведет префектура, хотя в общем-то это не ее дело. И она сейчас этим занимается только потому, что если дожидаться, пока этим займется дорожное управление, то мы тут все посинеем от скуки. Ведь у дорожного управления хлопот хватает, когда идут такие дожди.

— Сейчас повсюду так.

И добавил, что все должны помогать дорожному управлению. И здесь, на этом мосту, по ремонту он — главный. Я его так и прозвал «главный». Говорил он очень серьезно и даже пошел со мной к моим машинам. Спросил, какова их длина. Длину их, как и ширину, я не знал. Тут он вытащил из кармана тесемку, и мы помогли ему измерить и длину и ширину одного из прицепов. Для чего это ему было надо? Не знаю. Но он все обмерил, и записал в блокнот, и сказал, что подумает, как укрепить мост. И добавил, что, по правде говоря, он не рассчитывал на такие грузы. Он ушел, а мы, глядя, как он топает по улице, задумались, что же нам делать.

На площадке, где стояли наши грузовики, машин прибавилось, ведь каждый день подъезжали новые. Всех, кого мог, я расспрашивал, нет ли еще какой дороги, чтобы добраться до Бело-Оризонте. Но

другой не было. Так что ничего не оставалось как ждать, пока мост починят. Наши машины ремонта не требовали, разве что подводка тормозной жидкости в моей, но ее в два счета один механик запаял.

Меня раздражала работа этих, из префектуры. Они все делали с прохладцей, вроде бы и не торопились. И я даже подумал, не предложить ли «главному» нашу помощь. Но понял, что чем больше на мосту будет толочься народу, тем хуже. Один из рабочих и так уже свалился в реку. Сам я, правда, очевидцем не был, но слышал, как о том рассказывали. Рассказывали, что рабочий, поднимая доску, задел другого и столкнул того в воду. Течение здесь бурное, и все видели, как его понесло вниз по реке. Он плыл и кричал, пока не схватился за траву у берега, метрах в пятидесяти ниже моста. Не утонул по чистой случайности. А рабочие, ремонтирующие мост, уверяли, что всему виной спешка и толчея. Зачем здесь столько рабочих? Да, народу на мосту было действительно много, но работа не двигалась.

Я вошел в бар и попросил кофе. Уже четвертый день мы здесь торчали, и в баре, надо сказать, посетителей прибавилось. Я стоял у стойки, ждал, пока официантка нальет мне кофе. Наконец она протянула мне чашку и посмотрела на меня с улыбкой. Все эти дни, что мы здесь торчали и бывали в баре, я не обращал внимания на эту девушку и потому, когда она мне улыбнулась, не понял: мне ли она улыбается или у нее на лице всегда эта улыбка. Но тут я заметил, что она продолжает смотреть на меня, да так выразительно, что мне все стало понятно. И, скажу вам, никогда я не видел, чтобы девушка так вот ясно показывала, чего она хочет. Тогда уже я на нее сам посмотрел. Теперь она обслуживала других посетителей и делала вид, что меня не замечает. Она была совсем молоденькая или, вернее, не по годам молодо выглядевшая. На ней был голубой передник с двумя карманами. На груди ткань вытерлась — ведь она все время прислонялась к кофеварке или витрине с посудой.

Я выпил кофе, но продолжал сидеть и ждать, когда она подойдет и возьмет мою чашку. Она подошла, опять взглянула на меня и опять улыбнулась — во всяком случае вполне можно было подумать, что она улыбнулась, так как губы ее дрогнули и растянулись,— но ничего не сказала. Я встал и расплатился за кофе. И еще сказал парню, что не знаю, сколько времени займет ремонт моста. Вышел из бара, сел в машину и стал думать об этой девушке. Потом вместе с Луисом пошел в бар обедать. Я был недоволен, что Луис за мной увязался, и постарался сесть так, чтобы видеть стойку и девушку, которая была за стойкой, и с Луисом не разговаривать.

В этот день я опять ходил смотреть, как идет ремонт моста, но, честно говоря, не понял, как он идет, потому что все время думал о девушке. Когда же я вернулся в бар, ее не было. Я вышел из бара и подошел к машине. Тут около меня оказался Тео. Он что-то говорил мне, но я ничего не слышал и не понимал. Я смотрел на дверь бара, надеясь, что девушка появится. И как только она появилась, сказал Тео, что хочу в туалет. И пошел. Туалет-то засорился, и мне пришлось идти на пятках, да еще выбирать, куда ступить. Выйдя оттуда, я подошел к стойке и попросил кофе. И когда она протянула чашку, я взял ее руку и задержал в своей. Она посмотрела на меня, а я, сжав ее руку, сказал:

— Может, встретимся?

Она ничего не ответила, а только улыбнулась, опять так же, как и раньше.

Когда же она подошла ко мне, чтобы взять пустую посуду, я еще раз повторил, что, может, встретимся.

— Сегодня?

— Да, сегодня.

Она немного подумала и, не сводя с меня глаз, сказала:

— Хорошо.
— Во сколько? — спросил я.
— В девять.
— Где?
— Возле кафе, у двери.

И показала мне на дверь. И все, ни слова больше. И, скажу вам, никогда я не видел такой решительной девушки. Должно быть, она знала, чего хотела. Тут я вышел из бара и пошел искать, где бы помыться, ведь мы столько мокли под дождем, столько вязли в грязи, что уже не замечали, какие мы грязные, мокрые. Но я-то знал, что грязный, и пошел мыться, а потом надел самое чистое белье, побрился и пришел в бар ужинать.

В половине девятого я уже сидел в кабине, сидел и не сводил глаз с двери бара, но она не открывалась. И так я сидел до девяти часов. Она появилась ровно в девять. Я тут же подошел к ней — мне и секунды не потребовалось, чтобы выпрыгнуть из кабины. Мы встретились и молча пошли к машине. Я открыл дверцу, и она поднялась в кабину, поднялась легко. Вы же знаете, что у таких грузовиков, как мой, кабины расположены очень высоко, а подножки нет. И чтобы попасть в кабину, ногу нужно поставить в определенное место... ну, есть такое место. А если этого не сделать, в кабину не влезешь, опять на земле окажешься. Так вот, она обошлась без этого. Она просто подпрыгнула и оказалась в кабине. Когда она подпрыгнула, я увидел ее ноги под платьем. И, скажу вам, я не помню, чтобы кто-нибудь так прыгал. А она прыгнула и была уже в кабине. Так просто, легко. Когда же я поднялся в кабину, она на сиденье уже дожидалась меня. Я сел рядом и посмотрел на нее. Но она взглянула на меня так, будто давным-давно ждала меня. Мы ни слова не сказали друг другу. Нет, она сказала, верней, попросила задернуть занавеску, и все. Я задернул, и она обняла меня за шею обеими руками. И мы прижались друг к другу. Губы у нее были мягкие. Шея длинная. Изо рта пахло теми самыми листьями, которыми местные девушки натирают зубы, чтобы приятно пахло. Зубы были ровные, белые, да еще этот запах! До сих пор не могу забыть!

Потом-то я отстегнул цепочку и опустил постель. Она опять ни слова не сказала, легла на нее, и мы оба разделись. Она была молодая, горячая. Надо же, а я, дурак, столько дней провел здесь, в этом городе, сидел у нее в баре, но думал только о том, как бы проехать и доставить этот чертов маис в Бело-Оризонте! Думал о том, как бы не застрять, не опоздать, и черт знает о чем еще! И усталый же я был, и от этой самой усталости у меня все болело.

Я посмотрел на девушку. Высокая, складная, и этот запах листьев, которыми она натерла зубы. Он кружил мне голову. Я обнял ее так, что моя рука оказалась под ней. Какая же она была теплая! А тело — тело упругое, рука моя все время скользила по ее коже. Потом она тихонько заговорила, не открывая глаз:

— Не шевелись.

И я замер. Не шевелился почти час. Тогда она обняла меня еще крепче за шею и повторила:

— Тихонечко, не шевелись, не надо.

И я не шевелился, не шевелился и тогда, когда почувствовал, как поднялась во мне теплая волна. Тут вдруг я вспомнил, что не запер дверцу кабины. Девушка-то была из семьи хозяев бара — они могли видеть, что она поднялась ко мне в кабину. И, скажу вам, я не только не попытался запереть дверцу, но даже не пошевелился, потому что девушка эта любого мужчину может заставить ни на что не обращать внимания. Но если бы кто-нибудь открыл дверцу, я бы тут же ее захлопнул. Да-а, если женщина рождается женщиной, ее ничему не надо учить. Она все умеет от рождения, и у ней все так хорошо получается, что лучше и быть не может.

Вот, к примеру, со мной все всегда бывало по-другому, но она мне велела не шевелиться, и я послушался. И вдруг горячая волна. А она сжала свои руки у меня на шее и опять заставила лежать спокойно. После же гладила меня по голове и ворошила мои волосы, и все без единого слова, молчаливая она была.

На следующий день я опять пошел посмотреть на мост. Но мост как был, вернее, как его не было, так и не было. А тут еще «главный» меня спрашивает, каков же вес всего груза, что мы везем. И, услышав мой ответ, сказал, что здесь, по этому мосту, с таким грузом никто никогда не проезжал. Но, признаться, я не обратил особого внимания на его слова и даже не подумал, что нам ни сегодня, ни завтра не уехать. Не помню, как такое могло со мной случиться! Пять дней мы торчали здесь, в Дионизио, и «главный» сказал, что мост не починят ни сегодня, ни завтра, а я даже не обозлился.

Вечером мы, конечно же, опять встретились с этой девушкой. Она пришла в кабину сама, мы с ней об этом условились заранее, условились, что я буду ждать ее не у двери, а в кабине. Как она открывала дверь, я видел, видел, что она вроде бы за чем-то вышла, а не ко мне на свидание. Но я открыл кабину, и она мигом очутилась рядом. Как же я ждал этого часа весь день! И, скажу вам, после я уснул как мертвый. Вот ведь как бывает. Проснулся — утро. Отдернул занавеску, а солнце уже вовсю светит. Тут посмотрел я на пустое место рядом с собой и разозлился: как же это я не заметил, когда она ушла? Правда, тогда я еще какое-то время лежал и думал о ней. И вроде бы чувствовал запах тех листьев, которыми она натирала зубы, и что она вот здесь, со мной рядом. В этот день мост починили, и мы тронулись в путь. Но я перед отъездом, конечно же, в бар заглянул — не мог я уехать, не переговорив с ней. И мне было все равно, что она из семьи хозяев бара,— я взял ее руку в свою и сказал, что вернусь. Нет, представляете?! Я сказал, что вернусь. Да, такая девушка кого угодно заставит думать, что он будет последним идиотом, если с ней еще раз не встретится. И я сказал, что вернусь и пусть она меня ждет. А она, она не отняла своей руки, а только посмотрела на меня, и все, и я пошел к двери, не думая ни о том, что я уезжаю, ни о том, что собираюсь вернуться. Ни о чем. Потому что, вы ж знаете, когда вас здорово заберет, что тут говорить, да и думать тоже. Ведь если чувство большое,— а я считал, что оно большое,— то думай не думай, все равно вернешься.

Дионизио находился совсем рядом с Сан-Домингос-до-Прата, в сорока километрах, не более. А мы тащились целый день и часть ночи, потому что все время вязли: дорога-то — сплошная глина. А один раз нам пришлось остановиться и вытаскивать машину Лауро, она ушла в глину чуть ли не на полметра. И хоть мы подстелили под колеса прицепа комбинезон — толку все равно никакого не было. Я велел всем вместе толкать сзади и подстелил еще один комбинезон. Все мы толкали, а Оливейра придерживал комбинезон. И вытащили, и дальше поехали. Тут дорога петлять стала. Вел я машину и думал, что эта девушка, наверное, могла бы со мной поехать. Ведь бывают моменты, когда ты считаешь, что жить надо так, как тебе хочется, потому что жизнь ведь твоя, и что там смотреть на кого-то, кому это не понравится. Важно то, что нравится тебе и что ты чувствуешь.

Мы продолжали тащиться, а когда приехали в Сан-Домингос-до-Прата, я понял, что еще один день потерян, но опять не разозлился, нет, никакой злости или чего-нибудь подобного у меня не было. Я знал, что сделал все, что было в моих силах, и что человек не может гробить себя ради невозможного. В Сан-Домингос-до-Прата тоже был мост и почти в том же месте, что и в Дионизио,— у выезда из города. Мы остановились и, посмотрев, увидели, что он нас выдержит. Правда, Луис считал, что нам следует подождать до завтра и завтра, когда

будет светло, осмотреть его получше. Но я все же велел трогаться, и мы тронулись. Ехали, как я уже говорил, мы медленно, с опозданием на шесть дней. А что делать? Ведь другого пути-то не было. И потому я не раздражался. Теперь я считал, что если все восемь грузовиков со всеми прицепами прибудут в Бело-Оризонте, то одно это уже большая удача.

...На авениду Антонио Карлоса мы выехали около десяти часов вечера. Я это прекрасно помню, потому что Мурта принялся гудеть,— гудят обычно в маленьких городах, чтобы все знали, что долгожданные машины приехали. Я услышал, что он гудит, и тоже загудел, и все загудели. А был уже десятый час вечера. В машине ведь, вы знаете, два сигнала: один для пригорода, другой для города. Так вот, мы жали на тот, что был для пригорода. Мы, должно быть, перебудили всех ребятишек.

Все грузовики один за другим мы поставили у этого самого завода, куда везли маис. Я выпрыгнул, осмотрел их и нашел, что все восемь грузовиков, стоящих друг за другом и заляпанных глиной по кабину, прекрасны. Крикнул Луиса и увидел его, радостного. Что говорить, я тоже радовался. Луиса я оставил при грузовиках, но, прежде чем уйти, собрал всех и сказал им, что завтра буду здесь рано утром. Вы понимаете: ведь после такого тяжелого пути просто так взять и уехать нельзя, надо же что-то сказать людям, которые столько суток подряд трудились с вами бок о бок. Потом уж я поехал в гараж. Как же я соскучился по своей кровати!

Приехав в гараж, я увидел две стоящие здесь бетономешалки. Поздоровался со сторожем, и надо сказать, что я после всего был рад встрече не в пример ему, сторожу. Я, конечно же, спросил его, что с этими машинами — почему они здесь. А он ответил, что одна уже стоит довольно давно, а другая — второй день, у нее лопнула шина. Это мне не понравилось. А когда я пошел к своей кровати, сторож спросил меня, куда это я. Я посмотрел на него и ничего не понял, но ответил, что иду спать. Тогда он сказал, что сеньор Марио распорядился, чтобы здесь больше никто не спал. Я спросил, что это значит, а он ответил, что приезжал сеньор Марио и велел не пускать сюда никого. Я все-таки вошел внутрь, нашел свои вещи и пошел помыться.

Воды не было, и я крикнул сторожа, спросив его, почему не работает душ. Он ответил, что перекрыт. Вымылся я без особого удовольствия холодной водой, а мечтал о теплой и о своей постели. А когда вымылся, вся усталость и навалилась, и без задних ног я свалился на кровать. Но тут пришел сторож и опять спросил меня, действительно ли я собираюсь здесь спать. Я ответил, что конечно.

— Но сеньор Марио предупредил, чтобы здесь никто не спал.

Я оторвал голову от подушки и сказал, что буду здесь спать и что мы обо всем поговорим завтра.

— Но он же предупредил меня, сеу Жорже?

Мне это не понравилось, но я ничего не ответил. Очень я устал.

Когда же я проснулся, у меня было такое чувство, что я все еще сплю — сон был тяжелый, но сниться мне ничего не снилось. На улице сияло солнце, было жарко, и яркий свет слепил глаза. Слепил так, что я вынужден был щуриться. Механик не приходил, хотя пора бы ему было быть на месте, и это мне тоже не понравилось. Я пошел за ключами от пикапа, но не нашел их на месте и спросил сторожа, где ключи. Он ответил, что не знает. Я взглянул на него и понял, что он врет, и велел ему немедленно дать мне ключи.

— В чем дело? — спросил я его.

Сторож сунул руку в карман и, конечно же, вынул ключи, но сказал, что сеньор Марио не велел их никому давать и не велел здесь никому ни к чему прикасаться. Я сел в пикап и поехал в контору.

Войдя в контору, я направился к кабинету сеньора Марио. Я хотел рассказать ему все, как было. Вы ж знаете, как это нужно бывает.

Но когда я проходил мимо комнаты бухгалтера, тот окликнул меня и, посмотрев на меня в упор, спросил:

— Что вам здесь надо?

Я взглянул на него и, ничего не поняв, рассмеялся, передразнивая его:

— «Что вам здесь надо, что вам здесь надо?»

Мне не понравился этот его вопрос. И так как он не унимался и цеплялся ко мне, я решил уйти. Но тут он стал говорить об «опоздании» и о том, что потрачено «столько дней», чтобы доставить всего несколько грузовиков с трассы Рио—Баия в Бело-Оризонте, и что сеньор Марио собирается со мной потолковать как следует. Руй был толстый, пальчики у него короткие, и он облизывал губы, когда говорил... И опять он забубнил, что сеньор Марио, дескать, «еще со мной потолкует», что он очень недоволен и что «сыт мной по горло». И спросил, где это меня носило. Нет, вы слышите? И добавил, что сеньор Марио велел, как только я появлюсь, тотчас прийти к нему. И снова забубнил, что он со мной еще «потолкует».

— Сеньор Марио приказал не выпускать вас из конторы, пока вы не отчитаетесь в истраченных деньгах. Давайте мне бумаги, давайте немедленно все до единой. Понятно?

Вот что я от него услышал, и еще он пошел на меня, тыча своим пальчиком и повторяя:

— Все бумаги, слышите?! Все! — И потом: — Эта ваша манера тратить деньги и не отчитываться мне надоела, хватит. Давайте бумаги!

Тут я полез в карман, вытащил деньги, какие там были, и пошел на него. Он посмотрел на меня и умолк, опершись о стол и откинувшись назад. Бухгалтер-коротышка стоял на цыпочках. Я подошел к нему, стал швырять ему в рожу все, что было у меня в карманах — бумаги, деньги. Под конец он уже почти лежал спиной на столе. А стол был завален грязными и смятыми бумагами и записками. Тогда я схватил его за пиджак — он всегда работал в пиджаке,— притянул к себе и сказал:

— Ты дерьмо! Слышишь — дерьмо! Куча дерьма!

Я тряс его, а он стоял на цыпочках и дрожал. Я чувствовал, что он дрожит. Хотел сказать еще что-нибудь покрепче, но вдруг забыл, забыл все крепкие слова. Я его теснил к двери, и мы оказались у двери кабинета сеньора Марио. Тут я приподнял это дерьмо за пиджак и швырнул на дверь. Раздался грохот, дверь распахнулась, и он полетел к противоположной стенке. На пол посыпались всякие железки и осколки дверного стекла.

Бухгалтер лежал на полу и не двигался. Он держался за подбородок. Но тут я рывком поднял его и, тряся и толкая, потащил к столу, продолжая говорить, что он дерьмо, куча дерьма. По дороге я стукнул его о стенку. Он молчал. Молчал, прикрывая лицо руками, и дрожал. Я еще раз стукнул его о стенку и выпустил из рук. Он упал на пол мешком. Тут я поддал его ногой. Тогда он вскочил и прижался к стене, со страхом тараща глаза на меня. Я повернулся и вышел. Никто мне ничего не сказал. Я сел в пикап и поехал к дому сеньора Марио. Ехал и смотрел в окна кафе, где он любил бывать. Но нет, его нигде не было, и я доехал до его дома. Въехал в ворота. Солнце еще светило вовсю, но мне вдруг захотелось спать. Спать, ни о чем не думая.

Я позвонил в дверь и стал ждать, кто же мне откроет. Дверь была стеклянная, и я увидел, что идет открывать не сеньор Марио, а дона Элена. Она со мной поздоровалась, и я спросил, дома ли сеньор Марио. Она ответила, что нет, но скоро придет и я могу его подождать. И поинтересовалась, как прошла поездка. Я ничего ей не ответил, только сказал, что подожду сеньора Марио на улице. Дона Элена удивилась и стала настаивать, чтобы я вошел. И я вошел. Она о чем-

то говорила, но о чем — я не слышал, а она не умолкала, и говорила, и улыбалась. Вы знаете, как это бывает. Потом она села напротив меня и закинула ногу на ногу и продолжала говорить. А я думал, какой у нее приятный голос и еще: откуда же сеньор Марио узнает, что я у него дома, если он не знает, что мы приехали?

А дона Элена была женщина особая. Она сидела, закинув ногу на ногу, такая холеная, и ноги золотистого цвета, вроде бы загорелые. А ведь все эти дни лил дождь. Но она была женщина особая, она даже ногу на ногу закидывала не так, как все, по-особенному. А у меня никакого желания разговаривать не было. Мне хотелось сидеть, сидеть в мягком и большом кожаном кресле и смотреть на нее, как она держит в руке сигарету и говорит, помогая себе этой рукой. Я слушал ее и был доволен, что ничего не надо делать, а только сидеть не двигаясь, вот так, как я сидел. И, скажу вам, сколько я просидел, даже не знаю.

Служанка, та самая, что приносила ей спички, принесла потом поднос с кофе, и я выпил чашечку. А дона Элена все говорила и говорила, не отводя от меня своих красивых глаз. Они так прямо в душу вам и заглядывали.

Тут я решил пойти поискать сеньора Марио. А все потому, что вспомнил Руя — это дерьмо, что без конца облизывает губы. Ведь если он со мной так разговаривал, то только потому, что повторял слова сеньора Марио, который все это говорил в его присутствии. И я решил подняться с огромного и мягкого кресла и пойти искать сеньора Марио. Не помню, сказал я что-нибудь доне Элене или нет, а может, она сама догадалась, куда я, только тут же стала уговаривать, чтобы я не уходил, потому что сеньор Марио сам скоро придет, он не задержится, нет. Она продолжала сидеть, закинув ногу на ногу, а разрез ее платья открывал ноги чуть ли не до самого верха. Но я все же встал, а когда встал, то понял, что́ хотелось мне сделать с того самого момента, как дона Элена села передо мной и закинула ногу на ногу. Так закидывать ногу на ногу умеют только красивые женщины. Так вот, я встал и подошел к ней. Она тоже встала и посмотрела на меня. Я подошел к ней вплотную, ни слова не говоря. Она тоже молчала. Я обнял ее, она не оттолкнула. Только, глядя на меня, опустила руку с зажженной сигаретой. Я привлек ее к себе и почувствовал, как ее тело ко мне прижалось. Потом повернул ее голову, нашел губы и поцеловал. Она продолжала стоять и смотреть на меня. Я поцеловал ее еще раз. Тут я почувствовал ее всю. И, скажу вам, никогда еще я не обнимал такую красивую женщину. Волосы ее блестели и касались моего лица, губы были влажные, точно только что она пила воду. Я опять поцеловал ее, раздвинув языком ее зубы. Нет, никогда еще не целовал я подобных женщин.

Потом я выпустил ее из своих рук и вышел, заметив, что ее сигарета упала на пол. Служанка столбом стояла в дверях и таращила глаза. По дороге я сшиб какую-то вазу, а может, столик, не разобрал, и остановился, но только для того, чтобы подождать, когда он грохнется об пол, а не подхватить, когда он падал, и не поднять, когда упал, и вышел вон, хлопнув дверью.

Я поехал в гараж. Собрал свои вещи — их было немного,— уложил в два чемодана, и бывайте здоровы, привет. И, скажу вам, не люблю я вспоминать все это и вспоминаю только тогда, когда кто-нибудь приходит и начинается треп. Ведь вы же знаете, когда идет треп, каждому хочется рассказать о себе: и каким он был, и что делал.

■

ИРВИН ШОУ

Нищий, вор

РОМАН

Перевод с английского Н. ЕМЕЛЬЯННИКОВОЙ и И. ЯКУШКИНОЙ

6

Упаковывая чемоданы при отъезде из Брюсселя, Билли взглянул на выданную ему бумагу. Увольнение с положительной характеристикой. Он кисло улыбнулся и положил документ в плотный конверт.

В тот же конверт он вложил и письмо от отца. Отец радовался, что Билли принял разумное решение демобилизоваться, и выражал сожаление по поводу того, что сын не приедет в Чикаго, хотя и понимал привлекательную сторону жизни, которую сулит Европа молодому человеку. В письме были также новости, касающиеся его матери. Она ставит кинофильм. Отец считал, что Билли должен написать ей и поздравить. Самое интересное, добавлял отец, что один из ведущих актеров в ее картине — Уэсли, двоюродный брат Билли. Джордахи пекутся о членах своей семьи, писал отец. Жаль, что Билли не поддерживает с матерью более близких отношений.

Потом Билли положил в чемодан испано-английский словарь. Бельгийский бизнесмен, с которым он играл в теннис и который занимался строительством кооперативных домов, вилл и теннисных кортов в местечке под названием Эль-Фаро под Марбеллой в Испании, предложил ему поработать там год в качестве тренера. После жизни в Брюсселе Испания привлекала его куда больше, чем Чикаго, к тому же единственное, что он умел хорошо делать — это играть в теннис. Работа на открытом воздухе, чистая и хорошо оплачиваемая, и он согласился. Да и на солнышке неплохо побыть. Берегись сеньорит, предупреждал его отец.

Теперь оставалось еще одно письмо. Оно не имело даты и было подписано «Хейди». Он нашел его в конверте без почтового штемпеля накануне вечером в своем почтовом ящике. «Должна срочно уехать в связи со смертью друга. Насколько я понимаю, ты демобилизуешься. Оставь новый адрес, хотя я и так смогу тебя разыскать. Нам предстоит еще завершить начатое дело».

Он без улыбки прочитал письмо, порвал на мелкие клочки и спустил в унитаз. Нового адреса он не оставил.

В Париж Билли отправился поездом. Машину он продал. Моника знала ее марку, год выпуска, номер, и как знать, сколько теперь людей, располагая этими сведениями, разыскивают его на дорогах Европы?

Он купит себе новую машину во Франции. Он может себе это позволить. В банке на углу авеню Боске в Седьмом районе Парижа его ждет скромное, но вполне приличное наследство.

— Стоп,— сказала Гретхен, и сразу же среди актеров и членов съемочной группы начались разговоры и смех. Сцена снималась на искусственной, выходящей на улицу лужайке перед старым особняком, у которого сейчас был бутафорский фасад. В сегодняшней сцене Уэсли и девушка, которая играла его сестру, вели ожесточенный спор по поводу образа жизни Уэсли. Одну эту сцену снимали с утра до вечера. Рудольф, приехавший как раз в этот день, находился на съемочной площадке, и хотя он всего лишь помахал Уэсли рукой, из-за его присутствия Уэсли смущался несколько

Окончание. Начало см. в № 5, 6.

больше обычного. Но особенного значения это не имело, так как он играл роль молчаливого и довольно вялого парня, и основную нагрузку в этой сцене несла девушка.

Первые дни Уэсли был скован перед камерой и стеснялся такого количества людей, но затем понял, что от него требовалось. Гретхен сказала, что у него все очень хорошо получается, и хотя она похвалила его, когда они были вдвоем, он знал: она не из тех женщин, которые лгут.

Ему нравилась атмосфера, царившая в съемочной группе. Большинство ее членов были молоды и дружески настроены, постоянно шутили и проявляли готовность прийти на помощь. Он обзавелся множеством друзей.

Гретхен разрешила ему взять фамилию Джордан. В конце концов отец уже выступал под этой фамилией, так что кое-какое право на нее Уэсли имеет. Сначала он позволил себя уговорить и согласился сниматься в фильме главным образом потому, что всего за месяц мог заработать три тысячи долларов, а это давало ему возможность расплатиться с Элис и поехать в Европу, не обращаясь к дяде за помощью. Однако теперь он каждое утро с удовольствием мчался на съемочную площадку даже в те дни, когда сам в съемках не участвовал. Его захватил процесс съемки картины, ему нравилось все — работа операторов, осветителей и звукооператоров и воодушевление актеров, спокойная уверенность его тетки. Своей манерой обращения с людьми она напоминала ему отца. А как говорила игравшая его сестру Фрэнсис Миллер, которая в свои двадцать два года прекрасно во всем разбиралась, так как работала в шоубизнесе с четырнадцати лет, такая обстановка на съемках — большая редкость.

Фрэнсис отличалась своеобразной, несколько диковатой красотой — веснушчатое треугольное личико с широко расставленными, глубоко сидящими глазами, придававшими ему задумчивое выражение, миниатюрная фигурка с восхитительными формами и удивительно нежная кожа. Она была несдержана на язык и часто пересыпала свою речь ругательствами. Она любила выпить, а еще больше спать с Уэсли. Сразу по приезде в Порт-Филип она зашла к нему в номер, чтобы отрепетировать сцену для съемки на следующий день, и осталась на всю ночь. Уэсли был ослеплен ее красотой и тем, что она выбрала именно его. Сам он никогда бы не осмелился сделать первый шаг. Он пока еще не понимал, что исключительно хорош собой, и когда незнакомые женщины задерживали на нем взгляд, страшно смущался. Уэсли считал, что влюблен в Элис Ларкин, и в начале романа с Фрэнсис ему было немного не по себе. Но Элис по-прежнему называла его кузеном, и, бывая в Нью-Йорке, он по-прежнему спал на кушетке в гостиной. А Фрэнсис отдавалась ему так радостно и самозабвенно, что чувствовать себя в чем-либо виноватым было невозможно.

Фрэнсис была замужем за молодым актером и постоянно жила в Калифорнии. О ее муже Уэсли старался забыть. Насколько ему было известно, никто в группе не догадывался об их отношениях, и на людях Фрэнсис вела себя так, словно он не только в картине, но и в жизни — ее младший брат.

Для Гретхен их отношения, конечно, не были тайной. Однажды, пригласив его поужинать, она как бы мимоходом заметила, что, когда съемки кончатся, Фрэнсис вернется в свою Калифорнию, а затем будет сниматься в очередной картине и спать с очередным молодым героем, так что Уэсли не следует относиться к этому роману слишком серьезно.

— Я ведь не зря говорю. Она многим и постарше тебя основательно попортила жизнь. — Гретхен умолчала о том, что Фрэнсис Миллер полгода была любовницей Эванса Кинселлы и что он просил ее развестись и выйти за него замуж, а на другой день, после того как картина была закончена, она перестала отвечать на его звонки. Не сказала Гретхен и того, что она все еще ревнует его к Фрэнсис и жалеет, что именно Фрэнсис оказалась самой подходящей актрисой на главную роль в ее картине. — Постарайся запомнить мои слова,— добавила она.

— Постараюсь.

— Бедный мой человечек,— Гретхен наклонилась и поцеловала его в щеку. — Никому не давай себя в обиду. Ты даже не представляешь себе, какие жестокие люди тебя окружают.

Уэсли поужинал вместе с остальными актерами, как всегда в ресторане гостиницы. Гретхен и Ида Коэн, дядя Иды, а также художник-декоратор и Рудольф ужинали наверху в номере Гретхен. После ужина Уэсли и Фрэнсис решили прогуляться.

Главная улица, освещенная неоновым светом жалких витрин, была почти пуста. Порт-Филип сидел у телевизоров и спать ложился рано. Фрэнсис безразлично посматривала на витрины.

— Я бы ничего здесь не купила,— сказала она.— А уж жить в такой дыре! Страшно подумать!

— Моя семья как раз отсюда,— сказал Уэсли.

— Вот бедняга.

— Сам я никогда здесь не жил. А мой отец, дед... — Он осекся, чуть не сказав «моя тетка Гретхен». Он никому не говорил, что Гретхен его тетка, а сама Гретхен относилась к нему просто как к начинающему актеру.

— Ты видишься с ними, когда здесь бываешь? — спросила Фрэнсис.

— Теперь тут уже никого не осталось — все разъехались.

— Я их вполне понимаю.

— Бабушка рассказывала отцу, что, когда она приехала сюда молоденькой девушкой, это было красивейшее место,— сказал Уэсли. Он шел по улицам города, в котором родился, провел детство и юность его отец, и ему было неприятно, что какая-то девчонка из Калифорнии считает этот городок стоячим болотом. Где-то здесь, думал он, наверняка остался след пребывания отца. Он поджег здесь крест. По крайней мере Теодор Бойлан об этом помнит. Интересно, что сказал бы отец, увидев, как он разгуливает по тем же улицам в обнимку с красивой, почти знаменитой кинозвездой. И более того, зарабатывает три тысячи долларов в месяц играючи, а не трудясь до седьмого пота, как отец.— Бабушка говорила: повсюду росли деревья,— продолжал Уэсли,— все дома были аккуратно покрашены и при каждом большой сад. Отец частенько купался в Гудзоне — тогда вода в нем была чистая... — Он замолчал, вовремя удержавшись, чтобы не сказать ей, что кроме всего прочего в этой реке утопился его дед.

— Да, я давно хотела тебя спросить: в какой студии ты учился?

— В какой студии? — Он задумался.— Ни в какой.

— А играешь так, будто всю жизнь учился. Кстати, сколько тебе лет?

— Двадцать один,— сказал он, уже не задумываясь. Один раз он честно ответил Элис, и она теперь относится к нему, как к ребенку. Больше он такой ошибки не сделает.

— А почему же ты не в армии?

— У меня поврежден мениск,— быстро ответил он. После возвращения в Америку он научился врать, не моргнув глазом.

— Понятно,— недоверчиво протянула она.— А где ты играл раньше?

— Я? — снова глупо переспросил он.— Ну... нигде особенно.

— Как же тебе удалось получить эту роль?

— Миссис Берк...— Дико как-то называть собственную тетку миссис Берк.— Она увидела меня у одних знакомых и спросила, не хочу ли я попробовать. Почему ты спрашиваешь?

— А что особенного, если девушка хочет кое-что узнать о человеке, с которым у нее роман?.. Надо признаться, что ты оказался для меня приятным сюрпризом,— весело продолжала она.— Я знала почти всех в этом списке, кроме Уэсли Джордана. Вот уж не подозревала, что найду в куче навоза такое сокровище. Между прочим, это твоя настоящая фамилия?

— Нет,— не сразу ответил Уэсли.

— А настоящая?

— Она длинная и трудная,— сказал он уклончиво.— Плохо смотрится в титрах.

— Это — твоя первая картина.— снова засмеялась она,— но ты быстро учишься.

— Хватаю на лету,— ухмыльнулся он.

— А что ты потом собираешься делать?

— Еще пока не знаю.— Он пожал плечами.— Поеду в Европу, если удастся.

— Ты талантливый парень. И это не только мое мнение. Оператор Фредди Кан уже видел весь отснятый материал и от тебя просто без ума. Поедешь в Голливуд?

— Может быть,— осторожно сказал он.

— Приезжай. Я обещаю тебе теплый прием.

Уэсли набрал воздуха в легкие.

— Но ты ведь замужем.

— Кто тебе об этом сказал? — спросила она резко.

— Не помню, кто-то говорил. В общем разговоре.

— Хорошо бы люди поменьше болтали. Это мое личное дело. А тебе не все равно?

— Что ты ответишь, если я скажу, что нет?

— Отвечу, что ты дурак.

— Тогда я этого говорить не буду.

— Так-то лучше. А ты в меня влюблен?

— Почему ты задаешь такой вопрос?

— Потому что мне больше нравится, когда в меня влюбляются. Поэтому я и стала актрисой.

— Ладно,— сказал Уэсли. — Я в тебя влюблен.

— Давай за это выпьем,— предложила она. — Вон на углу бар.

— Я дал себе слово не пить,— сказал он. Ему не хотелось, чтобы при Фрэнсис бармен попросил показать документ, подтверждающий его возраст.

— А я люблю выпить,— сказала она. — Зато мужчин люблю непьющих. Пойдем, я возьму тебе кока-колу.

Уэсли и Фрэнсис вошли в бар и увидели Рудольфа и художника-декоратора, рыжебородого молодого человека по фамилии Доннелли; они сидели за отдельным столиком и разговаривали.

— Ого! — прошептала Фрэнсис. — Начальство.

Всей съемочной группе было известно, что Рудольф финансирует производство картины и что именно он договорился с властями Порт-Филипа о разрешении на ночные съемки и о том, чтобы полиция перекрывала движение на улицах. Однако о том, что он приходится Уэсли дядей, никто не знал: в тех редких случаях, когда Уэсли разговаривал с ним при актерах, он называл его «мистер Джордах», а Рудольф, обращаясь к племяннику, говорил ему «мистер Джордан».

Фрэнсис и Уэсли пришлось пройти мимо столика, за которым сидели Рудольф и Доннелли. Рудольф улыбнулся им, встал и сказал:

— Добрый вечер, молодые люди.

Уэсли пробормотал что-то невнятное, а Фрэнсис улыбнулась своей самой обольстительной улыбкой и сказала:

— Какой заговор против нас, бедных актеров, готовят джентльмены в этой шумной берлоге?

Уэсли поморщился.

— Напротив, мы хвалим вас — двух таких талантливых актеров,— сказал Рудольф.

— А вы человек вежливый! — хихикнула Фрэнсис. — Какая восхитительная ложь.

Доннелли что-то буркнул.

— Пожалуйста, садитесь,— сказала Фрэнсис. — В Голливуде никто никогда перед статистами не встает.

Уэсли снова поморщился.

Рудольф сел. Доннелли мрачно уставился в стоявший перед ним стакан. За все время съемок никто еще не видел, чтобы он улыбнулся.

— Мистер Доннелли,— кокетливо сказала Фрэнсис,— раньше я не смела, а теперь, когда картина почти закончена, мне хотелось бы сказать вам, что я восхищена вашей работой. Я еще не видела отснятого материала и не знаю, как он выглядит на экране, но мне никогда не было так удобно двигаться перед камерой, как в ваших декорациях. — Она засмеялась, словно смущенная собственной смелостью.

Доннелли снова что-то буркнул.

Уэсли заметил, как Фрэнсис плотно сжала зубы.

— Ну, не буду вам мешать — вы сейчас, наверное, решаете наши судьбы,— сказала она. — А мне надо еще подзаняться с Уэсли,— это у нее прозвучало так, словно Уэсли было десять лет от роду,— и подготовиться к завтрашней съемке, а то у нас трудная сцена.

Уэсли потянул ее за рукав, и, озарив их ослепительной улыбкой, она последовала за ним. Около соседнего столика она остановилась, но Уэсли решительно повел ее в глубину бара, где Рудольф и Доннелли не могли их слышать.

— Зачем ты с ними так заигрывала? — спросил он, когда они сели.

— Дорогой мой, в мед попадается больше мух, чем в уксус,— сказала она слад-

ким голоском. — А вдруг эти двое приятных мужчин будут делать другую картину, и от них будет зависеть, кого возьмут в ней сниматься, а кого вышвырнут на улицу.

— Ты слишком много кривляешься.

— В этом, мой милый, и состоит искусство,— холодно ответила Фрэнсис. — И если ты хочешь чего-нибудь добиться, тебе пора это усвоить.

— Я не хочу ничего добиваться такой ценой.

— Я тоже так рассуждала, когда мне было четырнадцать лет. А когда мне исполнилось пятнадцать, я стала думать по-другому. Ты просто немного отстал в своем развитии, дорогой.

— И слава богу.

Подошел официант. Фрэнсис заказала себе джин с тоником, а ему кока-колу.

— Не пила бы ты этот джин,— сказал Уэсли, когда официант отошел к стойке.

— Это почему же?

— Потому что после джина от тебя противно пахнет.

— Не беспокойся, дорогой,— холодно сказала Фрэнсис. — Мне завтра рано утром идти к парикмахеру, и я сегодня не собираюсь заниматься никакой гимнастикой.

Уэсли угрюмо замолчал. Официант принес джин и кока-колу.

— Во всяком случае, если несколько совершенно безобидных женских штучек вызывают у тебя такое возмущение,— сказала Фрэнсис, потягивая джин с тоником,— то есть люди, которые находят их очаровательными. Вот, например, этот милашка мистер Джордах, у которого столько денег. Когда он меня видит, у него глаза так и загораются.

— Не заметил,— сказал Уэсли, оскорбленный тем, что кто-то посмел назвать его дядю «этот милашка мистер Джордах».

— А я вот заметила,— уверенно сказала Фрэнсис. — И держу пари: как мужчина он не пустяк. Я знаю такой тип — холодная внешность янки и вулкан внутри.

— Да он тебе в отцы годится.

— Только в том случае, если он начал этим заниматься очень рано. Спорим, так оно и было.

Уэсли встал.

— Мне надоело слушать подобную ерунду! Я ухожу. Посмотрим, как у тебя пойдут дела с этим милашкой мистером Джордахом, у которого столько денег.

— Ах ты, боже мой,— сказала Фрэнсис, не двигаясь с места,— какие мы сегодня чувствительные.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— ровным тоном ответила Фрэнсис. — Не утруждай себя по поводу счета.

Уэсли прошел мимо столика, за которым сидели дядя и Доннелли. Ни один из них на него не взглянул. Он вышел на улицу, чувствуя себя как обиженный ребенок; в груди у него все кипело.

Пять минут спустя Фрэнсис встала и направилась к выходу. Около столика, где сидели Рудольф и Доннелли, она остановилась и попыталась завязать разговор, но они его не поддержали. В гостинице она на этот раз прошла прямо в свой номер и долго разглядывала себя в зеркало над туалетным столиком.

А в баре Доннелли и Рудольф разговаривали вовсе не о кино. Доннелли был архитектором, но теперь стал работать художником-оформителем, обнаружив, что проектировка убогих невысоких зданий, которые он считал недостойными своего таланта, может дать ему лишь мизерные комиссионные. В процессе подготовки «Комедии реставрации» он подружился с Рудольфом и сначала застенчиво, а затем все с большим воодушевлением стал рассказывать ему о своем честолюбивом плане, требующем, однако, серьезной финансовой поддержки. И сейчас он посвящал Рудольфа в детали этого плана.

— Мы живем в век переизбытка людей, как выражаются англичане,— говорил он,— и дело не только в том, что появились новые машины или возросла численность населения, но и просто в возрасте. Люди уходят в отставку — либо потому, что им надоело работать и они располагают достаточными средствами, либо потому, что уже не выдерживают постоянного напряжения, либо их вытесняет более молодое поколение. Дети вырастают и покидают родной дом. И старые дома внезап-

но оказываются слишком большими для их владельцев, город, в котором они живут, их либо пугает, либо теряет прежнюю привлекательность. Размер пенсий или сбережений не позволяет им держать прислугу; теперь им по карману только маленькие квартиры, но в таких домах живут обычно молодые пары с детьми, и они смотрят на стариков как на пришельцев из прошлого столетия; друзей их возраста рядом уже нет: они тоже разъехались в попытке решить аналогичные проблемы... Старики хотят сохранить независимость, но боятся одиночества. Им нужна новая среда обитания, отвечающая их новым потребностям и возможностям,— среда, где их окружали бы люди тех же лет, с теми же проблемами и нуждами; люди, которые всегда готовы прийти на помощь, но могут и сами обратиться за помощью к соседу, и одна мысль об этом заставляет человека чувствовать, что он не зря живет на свете.— Доннелли говорил убежденно, точно генерал, излагающий план освобождения осажденного гарнизона.— Это должен быть настоящий комплекс,— продолжал он, выразительно жестикулируя своими большими руками, словно уже клал кирпич и мешал цемент, возводя новые здания: магазин, кинотеатр, небольшая гостиница, где можно было бы поселить гостей, лужайки для гольфа, плавательные бассейны, теннисные корты, лекторий... Все это, конечно, не для бедняков. Кому, кроме государства, по плечу решить проблему бедняков, я не знаю, и я не настолько тщеславен чтобы думать, будто я могу преобразовать американское общество. Нет, я имею в виду людей со средним доходом, тех, чей образ жизни меняется коренным образом, когда глава семьи перестает работать. — В его голосе зазвучала гордость. — Я знаю все это по опыту своих родителей. У них есть немного денег, и я сам им помогаю, но из дружелюбных, общительных людей они превратились в мрачных, ворчливых стариков, уныло и бесполезно доживающих жизнь. Эта идея пришла мне в голову не сегодня. Она повсюду встречала одобрение, но я пока не смог заинтересовать людей со средствами, поскольку это не сулит большой выгоды. Для начала надо купить обширный участок земли в каком-нибудь живописном загородном районе, но не слишком изолированном, чтобы всякий, кто пожелает, мог пользоваться прелестями городской жизни,— и построить небольшой поселок, состоящий из хорошо спроектированных, но недорогих, примыкающих друг к другу домов, где легко могут управиться двое стареющих людей. Пустить автобус, обеспечить постоянное дежурство врачей и медицинских сестер и создать администрацию, которая бы умело и неназойливо всем управляла. Это не дом для престарелых с присущим ему отчаянием... туда будет приезжать молодежь — сыновья, дочери и внуки, радость жизни, надежда на будущее. Ваша сестра рассказывала мне, что вас волнует то, как живет наше общество, что у вас есть связи в финансовом мире и вы хотите найти себе какое-то занятие. Насколько я могу судить, производство кинофильмов не совсем отвечает вашей идее служения обществу...

Рудольф рассмеялся.

— Не совсем, вы правы.

— Она также говорила, что вы — прирожденный строитель, что в молодости вы практически на голом месте построили торговый центр и превратили его в настоящий маленький городок. На днях я съездил посмотреть комплекс Колдервуда и был поражен... столько фантазии... подлинный шаг в будущее.

— В молодости,— задумчиво повторил Рудольф. По его лицу нельзя было сказать, о чем он думал, слушая Доннелли, но в действительности его охватило волнение, которое было чем-то новым и одновременно уже знакомым. Он давно находился в состоянии ожидания, но чего — он и сам не мог четко определить. Может быть, это как раз то, чего он ждал.

— У меня подготовлены проекты и макеты домов, сметы... В общем, все...

— Хорошо бы на них взглянуть,— сказал Рудольф.

— Вы можете завтра приехать в Нью-Йорк?

— Думаю, что да.

— Отлично. Я вам их покажу.

— Разумеется, все будет зависеть от того, какой участок удастся приобрести, как его можно использовать и, конечно, сколько он будет стоить,— сказал Рудольф.

Доннелли окинул взглядом пустой бар, словно желая убедиться, не подслушивает ли их кто-нибудь.

— Я уже нашел участок,— сказал он, понижая голос. — То, что надо. Это заброшенная фермерская земля, очень дешевая. В штате Коннектикут, живописная, холми-

стая местность, час езды от Нью-Хейвена и часа два от Нью-Йорка. Как будто специально для такого городка.

— Вы можете мне показать этот участок?

Доннелли бросил на собеседника настороженный взгляд, словно у него внезапно возникли подозрения относительно намерений Рудольфа.

— А вас это на самом деле интересует?

— Да, интересует.

— Хорошо,— согласился Доннелли. — Знаете что,— голос его зазвучал торжественно,— я думаю, сама судьба побудила меня дать согласие вашей сестре, когда она предложила мне работать на этой картине. Я вас обязательно туда отвезу, и вы сами все увидите.

Рудольф положил на стол деньги за выпитое и встал.

— Уже поздно,— сказал он.— Пойдемте.

— Если вы не возражаете,— сказал Доннелли,— я посижу еще.

— Примите две таблетки аспирина на ночь,— сказал Рудольф.

Когда он выходил из бара, Доннелли заказывал себе виски, чтобы отблагодарить судьбу, которая свела его с Рудольфом Джордахом.

Рудольф в одиночестве медленно шел по знакомым улицам. С тех пор как он колесил по ним на велосипеде, развозя булочки из семейной пекарни, они постарели, но сейчас ему почему-то казалось, что все здесь как прежде и он снова молод и полон грандиозных планов, которые сумеет осуществить. И снова, как тогда, на берегу моря в Ницце, ему захотелось пробежаться в темноте, еще раз почувствовать радость, охватившую его, когда он одержал победу в беге на двести двадцать ярдов с барьерами. Он сделал несколько разминочных бросков и уже совсем было побежал, но, увидев фары приближающейся машины, снова перешел на свою обычную, полную достоинства походку.

Он прошел мимо большого здания, в котором помещался универсальный магазин Колдервуда, взглянул на витрины и вспомнил, как ночами занимался их оформлением. Если считать, что его счастливая звезда взошла в каком-то определенном месте, то это произошло именно здесь. Теперь витрины выглядят убого и напоминают небрежно подкрашенную старуху — губная помада размазана, тени под глазами превратились в пятна. Имитация молодости, которой никого не обманешь. Старик Колдервуд завопил бы от ярости, увидев, во что превратилось дело всей его жизни. Полезное? А может, бессмысленное?

Рудольф вспомнил как шел, играя на трубе, во главе колонны школьников вечером того дня, когда окончилась война, и верил, что его ждет великое будущее. Вчера в городской газете он прочитал о другой демонстрации школьников — на этот раз в знак протеста против войны во Вьетнаме. Одиннадцать человек было арестовано. Тогда Трумэн, теперь Никсон. Все катится под гору. Он вздохнул. Лучше не вспоминать.

Интересно, что почувствует Доннелли лет через десять, когда, уже достигнув многого в жизни, пройдет по улицам родного городка и не узнает ни улиц, ни домов. Рудольфу нравился Доннелли; Гретхен он тоже нравится. Интересно, есть ли что-нибудь между ними? Насколько реален и осуществим план Доннелли? Не слишком ли Доннелли молод и честолюбив? Рудольф обещал себе не торопиться, все проверить самым тщательным образом, как он это делал, когда был в возрасте Доннелли.

Он обсудит это с Элен Морисон. Она женщина трезвого ума. На нее можно положиться. Но Элен сейчас в Вашингтоне. Ей предложили работу у одного конгрессмена, которым она восхищалась, и она переехала в столицу. Придется ее разыскать.

Он подумал о Жанне. Они изредка обменивались письмами, но чем дальше, тем труднее становилось писать: та неделя на Лазурном берегу постепенно уходила в прошлое. Может быть, когда Уэсли будет во Франции, стоит воспользоваться этим предлогом и навестить Жанну. Адвокат в Антибе наконец написал ему, что все улажено и Уэсли может вернуться, но Рудольф пока ничего Уэсли не говорил. Он ждал окончания съемок, так как боялся, что Уэсли может все бросить и умчаться в Европу. Уэсли — не взбалмошный мальчик, но он весь во власти не покидающих его воспоминаний, и его поступки нельзя предсказать заранее.

Правда, сам Рудольф тоже был человеком одержимым, его гнала вперед тень

собственного отца — отчаявшегося неудачника и самоубийцы, обезумевшего от нищеты и рухнувших надежд, так что отчасти он понимал племянника.

Рудольф вошел в гостиницу, где все уже давным-давно спали, поднялся в свой номер, разделся и улегся в холодную постель. Сна не было. Он лежал и думал о хорошенькой кокетливой девушке в баре, о ее бедрах, обтянутых джинсами, ее профессиональной, недвусмысленной улыбке. Интересно, как бы все было с ней? Спроси своего племянника, с завистью подумал Рудольф, он сейчас, наверное, с нею в постели. Другое поколение. Он в возрасте Уэсли еще не знал женщин. Ему было стыдно этой зависти, он не сомневался, что позже мальчику суждено страдать. Уже страдает — ушел из бара один. Не привык к таким штучкам. Но он сам ведь тоже к ним не привык. Страдаешь в зависимости от своей способности страдать, а в Уэсли эта способность видна невооруженным глазом.

Его разбудило пьяное пение на улице. Он узнал резкий и глуховатый голос Доннелли. «Учился в Йельском университете, но не похож на его типичных выпускников»,— сквозь сон подумал Рудольф. Пение прекратилось. Он повернулся на другой бок и снова заснул.

■ ■ ■

Гретхен сидела в своем номере, готовясь к завтрашней съемке. На съемочной площадке она заставляла себя выглядеть спокойной и уверенной, даже если ей хотелось визжать от злобы и досады. Но когда она работала одна, от страха и нерешительности у нее временами тряслись руки. От нее зависело столько людей, и каждое ее решение было таким безнадежно окончательным. То же самое происходило и с Колином Берком, когда он ставил пьесу или снимал фильм, и она тогда просто не могла понять, как он с этим справляется. Теперь же ее поражало, что человек способен выдержать в течение месяца, а то и больше такую раздвоенность.

С улицы донеслось пение Доннелли. Гретхен с грустью покачала головой, подумав о связи между талантом и алкоголем в американском искусстве. И опять вспомнила Колина Берка, которого никогда не видела пьяным. Он во многом был исключением. В эти дни она часто о нем думала, пытаясь представить себе, где бы он поставил камеру, как осадил бы капризного актера или решил сложную сцену.

Пение на улице прекратилось, и она искренне понадеялась, что утром у Доннелли не будет раскалываться голова. В его же интересах, потому что, когда он приходит на съемочную площадку с похмелья, у него такое смущенное лицо...

В дверь постучали.

— Войдите,— сказала Гретхен. Она никогда не запирала дверь.

Дверь открылась, и вошел Доннелли, держась почти прямо.

— Добрый вечер,— сказала она.

— Я только что провел с вашим братом знаменательный час в своей жизни. Я люблю вашего брата, и я подумал, что надо вам об этом сказать.

— Я тоже люблю своего брата,— улыбнулась она.

— Мы собираемся вместе заняться одним великим, нет, величайшим делом. Мы с ним люди одной породы.

— Вполне возможно,— добродушно ответила Гретхен. — Наша мать была ирландкой, во всяком случае, она так считала. Однако отец у нас был немец.

— Я отношусь с уважением как к ирландцам, так и к немцам,— сказал Доннелли и, чтобы не потерять равновесия, оперся о косяк двери,— но я не это имел в виду. Я говорил об общности духа. Я вам мешаю?

— Я уже почти закончила. Если вам хочется немного поболтать, было бы неплохо закрыть дверь.

Медленно и с достоинством Доннелли закрыл дверь и прислонился к ней спиной.

— Хотите кофе? — Гретхен кивнула в сторону термоса, стоявшего у нее на столе. Для поддержания бодрости она выпивала не меньше двадцати чашек в день.

— Мне всегда почему-то предлагают кофе,— обиженно сказал Доннелли. — Я считаю это унизительным. Я презираю кофе.

— К сожалению, ничего более крепкого не могу вам предложить,— сказала Гретхен, хорошо зная, что в буфете стоит бутылка виски.

— Я не собираюсь пить, мадам. Я пришел сюда исключительно для того, чтобы передать сообщение.

— От кого?

— От Дэвида П. Доннелли, то есть от меня самого.

Гретхен засмеялась.

— Передавайте ваше сообщение, а затем советую вам пойти спать.

— Я уже наполовину его передал. Я люблю вашего брата. Вторая часть более сложная. Я люблю его сестру.

— Вы много выпили.

— Правильно. Пьяный я люблю его сестру и трезвый я люблю его сестру.

— Благодарю вас за сообщение,— сказала Гретхен, продолжая сидеть, хотя ей хотелось вскочить и поцеловать его.

— Вы не забудете, что́ я сказал? — Его глаза горели на заросшем бородой лице.

— Не забуду.

— В таком случае,— сказал он важно,— я удаляюсь спать. Спокойной ночи, мадам.

— Спокойной ночи. Спите спокойно.

— Обещаю вертеться и метаться. О, я, несчастный.

— О, вы, несчастный...— усмехнулась Гретхен.

Задержись он еще на десять секунд, она вскочила бы и бросилась его обнимать. Но он торжественно помахал ей в знак приветствия рукой и, почти не качаясь, вышел.

В коридоре он снова запел.

Она сидела, уставившись на дверь, и думала: «А почему бы и нет?» Она покачала головой. Потом, когда работа будет окончена. Может быть.

В тишине комнаты, в которой теперь стоял запах виски, она снова принялась за режиссерский сценарий.

■ ■ ■

А этажом ниже никак не мог заснуть Уэсли. Он лежал, ожидая, что вот-вот повернется дверная ручка, послышится шорох и в темную комнату войдет Фрэнсис. Но дверная ручка не поворачивалась, и не раздавалось никаких звуков, помимо стона пружин, когда он поворачивался с боку на бок.

Он сказал, что любит ее. Правда, признание было вынужденным, но когда он произносил эти слова, он в них верил. Однако если любишь, разве замечаешь, как девушка притворяется или обманывает, разве говоришь ей, что она ведет себя глупо? Говорят, что любовь захватывает тебя целиком,— вот ты признался в любви, и все остальное теряет значение. Говорят, любовь слепа. Нет, сегодня он не был слеп. Он видел, как Фрэнсис разыграла в баре лживую и отвратительную комедию, и сказал ей об этом. Может быть, ему надо учиться держать свое мнение при себе. Тогда бы сейчас, во втором часу ночи, он не лежал бы в постели один.

Он тосковал по прикосновению ее рук, по ее телу. Если это не любовь, то что же? Когда она была с ним в постели, он, несмотря на предупреждение Гретхен, не мог заставить себя поверить, что она вернется к мужу или увлечется другим мужчиной. Ему нравилось развлекаться с пассажирками на «Клотильде», пока их мужья спали внизу или играли в казино, ему нравилось заглядывать к миссис Уэрфем, но все это была не любовь. Не нужно особого опыта, чтобы почувствовать разницу между тем, что было тогда и что теперь — с Фрэнсис.

Он помнил, как на узкой кровати Фрэнсис лежала в его объятиях, как в темноте переплетались их тела и Фрэнсис шептала: «Я тебя люблю». Что же это означало? Он тихо застонал.

К кому обратиться, чтобы понять ее и себя? К матери? Которая, по всей вероятности, скажет, что он, как и его отец,— позор и несчастье для достойных христианских семей. К дяде? Для него он скорее всего доставшаяся по наследству обуза, неблагодарный мальчишка, который показывается на глаза, лишь когда ему что-нибудь нужно. К тете? Чудак, по прихоти природы наделенный талантом, который он по глупости или по отсутствию честолюбия собирается зарыть в землю. Может быть, к Элис? Для нее он — нескладный и наивный мальчик, нуждающийся в участии и материнской ласке. К Кролику? Хороший помощник на яхте, но он никогда не станет таким прекрасным человеком, как его отец. К Кейт? Единокровный брат ее сына, живое и горькое напоминание о покойном муже. Если собрать мнения всех этих людей, какой же получится человек?

Может, потому он такой, что еще молод и не уверен в себе? Отстал в развитии,

сказала Фрэнсис. Но никто из его ровесников, по-видимому, так не мучается, все прекрасно понимают себя.

Лежа в одиночестве в темной комнате, Уэсли был уверен лишь в одном: он не останется прежним. Только каким он станет? Интересно, если бы он мог взглянуть на себя, когда ему будет двадцать один год, двадцать пять, а то и все тридцать, что бы он о себе сказал?

Возможно, после того как его увлечение Фрэнсис пройдет, он последует совету тетки и станет актером. Научится играть не только перед камерой, но, как Фрэнсис, ежедневно и ежеминутно. Наверное, она пришла к выводу, что мир хочет от нее именно этого, а раз так — пусть он это и получает.

Завтра утром Уэсли предстояло играть роль жестокого и необузданного парня. Это нетрудно. Может быть, год-другой он посвятит этой профессии. Такое начало ничем не хуже любого другого.

Когда он, наконец, заснул, ему снилось, что он сидит в гостиной у Элис, ест бутерброд с холодным мясом и пьет пиво, только за столом напротив него сидит не Элис, а Фрэнсис Миллер.

Из записной книжки Билли Эббота (1971)

Снова сел за пишущую машинку. Дурные привычки исчезают с трудом. Кроме того, здесь после обеда соблюдают сиесту, а я никак не привыкну спать днем, и поскольку общаться не с кем, почему бы не поговорить с самим собой? Во всяком случае, нет никаких оснований полагать, что полиция Франко заинтересуется писаниями американского теннисиста, работающего тренером в этом логове богачей на берегу синего моря. В Бельгии все было иначе.

После Брюсселя климат южной Испании кажется райским, и остается только удивляться, почему люди, имеющие возможность выбирать, продолжают жить к северу от Луары.

Приехал сюда в крохотном открытом «пежо», купленном в Париже за сходную цену у торговца подержанными машинами. Как только я пересек Пиренеи, то сразу почувствовал какую-то особую радость, будто все эти деревушки, поля и реки я встречал где-то в другой жизни и теперь после долгого путешествия возвращаюсь домой.

Если я молчу, то вполне могу сойти за испанца. Не могло ли случиться так, что члены семейства Эбботов оказались темноволосыми в результате греха, совершенного страстными андалузцами в те времена, когда «Непобедимая армада» потерпела кораблекрушение у берегов Англии и Шотландии?

Отель, в котором я живу, выстроен совсем недавно, и пройдет еще лет десять, прежде чем ветер и приливы начнут его разрушать. У меня удобный, просторный номер с видом на лужайки для гольфа и море. Помимо начинающих и разных увальней, которым я даю уроки, здесь есть и сильные игроки, и с ними часок-другой можно ежедневно постукать по мячу. Я человек нетребовательный, с простыми вкусами.

Испанцы — люди красивые, приятные и вежливые: резкий контраст после американской армии. Многие приехали сюда просто отдохнуть и стремятся показать себя с наилучшей стороны. Пока меня ни разу не оскорбили и не вызвали на дуэль, не заставили смотреть бой быков или принять участие в свержении существующего строя.

Стараюсь соблюдать максимальную корректность с дамами. Их мужья или любовники держатся в стороне, но с большим подозрением относятся к молодому американскому спортсмену, проводящему в полуголом виде по крайней мере час в день с их спутницами. Во время уроков они с мрачным видом внезапно появляются возле корта. Я вовсе не хочу, чтобы меня с позором выставили из города, обвинив в том, что я обесчестил жену или любовницу какого-нибудь испанского джентльмена. В мои намерения не входит попадать в неприятную историю.

После Моники радости холостяцкой жизни особенно приятны. Не люблю сумятицы как в постели, так и вне ее.

Я отлично загорел, нахожусь в прекрасной форме.

Платят мне хорошо и на чаевые не скупятся. У меня накапливается порядочная сумма — наверное, впервые в жизни.

Здесь чуть не каждый вечер устраиваются вечеринки, и меня почти всегда приглашают. По-видимому, как недавно приехавшего. Я стараюсь не пить слишком много и не разговаривать с одной дамой более пятнадцати минут. Теперь я уже настолько освоил испанский, что понимаю бо́льшую часть ожесточенных политических споров. Здесь частенько говорят об угрозе кровопролития, экспроприации, коммунизме и о будущем Испании после смерти старика. Я держу язык за зубами, благословляю судьбу, что поселился, пусть ненадолго, в прекрасной стране, которая так соответствует моему темпераменту; высказываю свое мнение лишь по наиболее животрепещущим вопросам, например, как держать ракетку при подаче.

Еще раз приходится сомневаться в правоте отца, предостерегавшего, что я происхожу из невезучей семьи.

Мать написала мне несколько писем. Как и раньше, адрес она узнала от отца, которому я пишу в тщеславном убеждении, что только мои письма удерживают его в этом мире и не дают броситься в озеро Мичиган. Письма матери стали значительно мягче. Она, по-видимому, думает, что я не остался в армии только по ее просьбе, и это представляется ей признаком наступления долгожданной зрелости. Теперь она подписывается «любящая тебя мама». В течение многих лет она подписывалась просто «мама», тем самым выражая свое отвращение ко мне. Я ответил ей взаимностью и закончил свое письмо словами: «любящий тебя Билли».

Она пишет, что ей очень нравится заниматься режиссурой; это меня вовсе не удивляет: она всегда стремилась командовать окружающими. С восторгом рассказывает об актерских способностях моего двоюродного брата Уэсли. Это одна из профессий, о которой мне следовало бы подумать раньше, поскольку я не хуже любого другого могу быть и лживым и искренним, но теперь слишком поздно. Мать пишет, что Уэсли хочет меня навестить. Что мне сказать ему при встрече? Добро пожаловать, братец-страдалец.

Господи! Через два дня после предыдущей записи здесь появилась Моника в сопровождении немолодого немецкого бизнесмена, занимающегося продажей замороженных продуктов. У нее сейчас период процветания — вся в дорогих тряпках, хорошо причесана. Делает вид, что мы незнакомы, но, вероятно, это — затишье перед бурей. Все время думаю о том, что надо бежать.

Проиграл несколько партий человеку, у которого выигрывал шесть дней подряд.

На традиционной вечеринке в павильоне нью-йоркской студии по окончании последнего дня съемок Фредди Кан, оператор, подняв руку Гретхен, дирижировал здравицей в ее честь. Актеры, работники студии и приглашенные друзья пели громко и от души. Гретхен хотелось и смеяться и плакать. Ида Коэн, ради этого случая сделавшая прическу, не скрывала слез. Кан преподнес Гретхен в подарок от актеров часы, на приобретение которых Уэсли дал пятьдесят долларов, и попросил Гретхен сказать несколько слов.

— Спасибо, большое всем спасибо,— начала Гретхен чуть дрожащим голосом.— Вы все работали превосходно, и я хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе за то, что вы так помогли мне в моей первой попытке стать режиссером. Правда, в Голливуде говорят: «Покажите мне счастливую группу, и я покажу вам отвратительную картину».

Среди присутствующих раздался смех и выкрики: «Это не про нас!»

Гретхен подняла руку, требуя тишины.

— Для всех вас работа закончена; надеюсь, что впереди вас ждут более интересные и более значительные картины, что ваши промахи будут забыты, а взлеты останутся в памяти навсегда или по крайней мере до того дня, когда Академия искусств будет присуждать свои награды. Но для некоторых из нас, для тех, кто занимается монтажом и озвучанием, для композитора и музыкантов, а также для мистера Коэна, которому предстоит незавидная работа по продаже картины в прокат, все по сути дела еще только начинается. Пожелайте нам успеха, потому что впереди у нас месяцы работы и от того, что мы сделаем, зависит, ждет нас успех или провал.— Она говорила скромно, но Уэсли, который стоял неподалеку, видел в ее глазах торжествующий блеск.— Ида,— сказала она,— перестань плакать. Это еще не похороны.— Ида всхлипнула. Кто-то подал Гретхен стакан с виски, и она подняла его.— За всех нас — от самых старых до...— она повернулась к Уэсли,— до самых молодых.

Уэсли, также державший в руке стакан с виски, к которому он пока еще не притронулся, поднял его вместе с остальными. Он не улыбался, и на лице его не было восторженного выражения: он только что видел, как Фрэнсис Миллер и ее муж чокнулись и поцеловались. После того вечера в баре Порт-Филипа Уэсли и Фрэнсис помирились, и она снова приходила к нему в гостиницу, а он несколько раз ночевал в ее нью-йоркской квартире, когда они приступили к павильонным съемкам. Но три дня назад из Калифорнии приехал ее муж, блондин со спортивной фигурой, довольно красивый, хотя и на стандартный голливудский манер. Когда Уэсли увидел, какими взглядами обменялись Фрэнсис и ее муж и как они нежно поцеловались, он пожалел, что пришел на эту вечеринку.

Элис тоже была здесь, хотя сейчас он не мог ее разглядеть в тени декораций. Как всегда, она старалась не привлекать к себе внимания. После того как он несколько ночей не появлялся в квартире, она держалась довольно странно и говорила с ним свысока и довольно официально. Когда он сказал ей о вечеринке, она ответила, что ей очень бы хотелось пойти: она никогда не бывала на вечеринках в павильоне киностудии. Он пригласил Элис, желая сделать ей приятное, но это далось ему не просто. Наверно, с возрастом, думал он, стараясь не глядеть в сторону Фрэнсис и ее мужа, можно научиться вести себя в подобных ситуациях.

Уэсли сделал большой глоток виски с содовой, вспомнив при этом, что последний раз пил виски в баре «Розовая дверь» в Канне. Вкус виски был приятным, и он сделал еще глоток.

Гретхен ходила по площадке, кому-то пожимала руки, кого-то целовала в щеку, у многих женщин в глазах стояли слезы. Никто не уходил, словно всем хотелось подольше сохранить отношения, установившиеся за время совместной работы. Уэсли слышал, как пожилая характерная актриса сказала Гретхен:

— Благослови вас бог, дорогая: лучше, чем было, уже не будет.

Уэсли удивился, что такое привычное для актеров дело, как совместное создание фильма, вызывает столько эмоций. Он с удовольствием принимал участие в съемках, но ему было безразлично, увидит он снова кого-нибудь из группы, помимо Фрэнсис и Гретхен, или нет. Может быть, несмотря на слова Гретхен, он все-таки не родился актером.

— Уэсли Джордан, я буду без тебя скучать,— сказала Гретхен, подойдя к нему, и поцеловала его в щеку. Уэсли видел, что она говорит искренне.

— Вы очень хорошо говорили.

— Спасибо тебе, милый,— поблагодарила она, продолжая оглядываться по сторонам, словно кого-то разыскивая.— Уэсли, а Рудольф ничего не говорил тебе, что он опоздает или вообще не придет?

— Нет, не говорил.— В последние дни съемок дядя Рудольф сказал ему только, что, по словам антибского адвоката, он может вернуться во Францию. Но билета Уэсли пока еще не купил. Хоть он и не признавался себе в этом, но уехать из Америки был не готов: слишком многое оставалось здесь нерешенным.

— Он сегодня снова собирался в Коннектикут с мистером Доннелли,— сказала Гретхен, продолжая смотреть поверх голов,— но обещал вернуться к пяти часам. Сейчас уже больше семи. Это на него не похоже. Я сейчас не могу отсюда уйти, так что будь добр, позвони ему в отель и узнай, не просил ли он что-нибудь передать.

— Сейчас позвоню,— сказал Уэсли и направился к телефону-автомату за съемочной площадкой; дядя постоянно держал номер в гостинице «Алгонкин» и ночевал там, когда ему случалось задержаться в Нью-Йорке.

Уэсли пришлось подождать: по телефону, хихикая, разговаривала Фрэнсис. Он отошел в сторону, чтобы не слышать, о чем она говорит. Однако она не спешила уходить и то и дело опускала в автомат десятицентовые монеты. Он взял с собой стакан с виски и к тому времени, когда Фрэнсис закончила разговор, выпил все без остатка. Возбужденный звуком ее голоса, он упрямо твердил: «Больше никогда в жизни», хотя понимал, что лжет.

Хихикнув напоследок, Фрэнсис повесила трубку и направилась к двери в павильон, возле которой стоял Уэсли.

— А-а,— сказала она, снова хихикнув,— чудо-мальчик в полной готовности.

— Просто мне надо позвонить, но сначала...— Внезапно он схватил ее и поцеловал в губы.

— Наконец-то научился кое-чему у актеров. Например, как проявлять страсть в присутствии мужей.— Ее голос был несколько хриплым от выпитого.

— Когда мы увидимся? — Уэсли не выпускал ее рук, как будто надеялся удержать силой.

— Кто знает? — насмешливо сказала Фрэнсис.— Может, никогда, а может, когда подрастешь.

— Ты же не всерьез так думаешь.

— Никто не знает, что́ я думаю на самом деле. А я — тем более. Я хочу дать тебе один хороший совет. Мы неплохо повеселились, а теперь ты об этом забудь.

Дверь из павильона распахнулась, и они увидели мужа Фрэнсис.

— Пусти ее.

Уэсли разжал руки и немного отступил.

— Мне известно, чем вы до сих пор занимались. Шлюха.

— Джек, успокойся, пожалуйста,— тщательно выговаривая слова, сказала Фрэнсис.

Муж дал ей пощечину.

— А что касается тебя, ублюдок,— сказал он Уэсли,— если я еще раз увижу, что ты ошиваешься около моей жены, то сверну тебе шею.

— Супермен,— с издевкой сказала Фрэнсис. Она даже не поднесла руку к щеке, словно муж до нее и не дотрагивался. — Всюду и везде, кроме постели.

Он глубоко вздохнул и снова ударил ее по щеке, еще сильнее.

Однако Фрэнсис и на этот раз не приложила руку к щеке.

— Ты такая же свинья, как и твои шпионы.

Муж схватил ее за руку.

— Сейчас ты пойдешь со мной и будешь улыбаться, потому что твой муж, которого задержали дела на Западном побережье, сумел вырваться в Нью-Йорк, чтобы провести с тобой уик-энд.

— Как тебе будет угодно, свинья,— ответила Фрэнсис. Она взяла его под руку и, не взглянув на Уэсли, пошла с мужем обратно в павильон, где теперь играла музыка и танцевали пары.

Уэсли стоял неподвижно, лицо у него подергивалось. Затем он с силой сжал пустой пластиковый стаканчик и швырнул его в стену. Так он стоял минуты две, пока не почувствовал, что теперь уже не бросится за ними вслед и не вцепится этому человеку в горло.

Убедившись, что голос у него не дрожит, он позвонил в гостиницу, и телефонистка на коммутаторе сказала ему, что мистер Джордах ничего не просил передать. Уэсли еще немного постоял у телефона, потом вернулся в павильон, нашел тетку и передал ей слова телефонистки. После этого он подошел к бару, заказал виски, залпом выпил, заказал еще порцию и тут почувствовал на плече чью-то руку. Он повернулся и увидел рядом с собой Элис. На ее лице было то самое высокомерное выражение профессиональной медсестры, которого он уже начал побаиваться.

— Мне кажется,— спокойно сказала Элис,— было бы неплохо привести себя в порядок. У тебя все лицо в губной помаде.

— Спасибо,— ответил он деревянным голосом, вынимая носовой платок, и вытер им губы и щеки.— Так лучше?

— Намного. Ну, мне пора. Я убедилась, что у киноактеров вечеринки самые обыкновенные, хоть о них и рассказывают бог знает что.

— Спокойной ночи,— сказал Уэсли. Ему хотелось попросить у нее прощения, хотелось, чтобы ее глаза перестали быть холодными и чужими, но он не знал ни как это выразить словами, ни за что она должна его простить. — Ну пока, попозже увидимся.

— Может быть.

«Боже мой,— подумал он.— Что я наделал! Пора убираться из Нью-Йорка». Он снова повернулся к стойке и заказал еще виски. Когда он брал у бармена стакан, к нему подошел Рудольф.

— Хорошо проводите время мистер Джордан?

— Чудесно. Гретхен вас ищет. Она беспокоится. Даже просила меня позвонить в отель.

— Меня задержали. Пойду поищу ее. А потом мне надо с тобой поговорить. Ты где будешь?

— Здесь.

Рудольф нахмурился.

— Не спеши, мальчик,— сказал он. — В Нью-Йорке бутылку виски можно будет найти и завтра утром, если постараться. — Он дружески похлопал Уэсли по плечу и пошел разыскивать Гретхен.

Рудольф увидел ее на другой стороне площадки, где танцевали пары. Гретхен разговаривала со сценаристом Ричардом Сэнфордом. Рудольф мысленно отметил, что Сэнфорд не пожелал отказаться от неизменной куртки и шерстяной рубашки с открытым воротом даже по случаю окончания съемок своего первого фильма.

— Больше всего меня беспокоит,— серьезно говорил Сэнфорд,— то, что в материале, который я пока видел, у героини мало крупных планов, а средним планам не хватает выразительности, а...

— Дорогой Ричард,— сказала Гретхен,— боюсь, что, подобно большинству сценаристов, вы увлеклись прелестями актрисы и не обращаете внимания на ее способности...

Сэнфорд покраснел.

— Это вы бросьте,— пробормотал он,— я с ней почти не разговаривал.

— Зато она с вами разговаривала,— сказала Гретхен. — А когда дело имеешь с такой молодой особой, этого более чем достаточно. Я очень сочувствую, что из-за других дел ей было не до вас.

— Вы меня недооцениваете,— обиделся Сэнфорд.

— Эта проблема существует среди людей искусства в течение пяти тысяч лет. Вы еще к ней привыкнете.

— У нас с вами дружеские отношения не сложились. Вас просто раздражает то, что я — мужчина. Я с самого начала это чувствовал.

— Во-первых, это не относится к делу, а во-вторых, абсолютная чушь. И если вы сами этого не знаете, то разрешите сказать вам, молодой человек, что в основе искусства лежат не дружеские отношения.

— Вы просто злобная, стареющая женщина. — Копившееся месяцами возмущение прорвалось в его голосе. — Чего вам не хватает, так это хорошего мужика. Но не находится достаточно вежливого человека, чтобы прийти вам на помощь.

Гретхен потерла глаза, прежде чем ответить.

— Вы талантливый, но неприятный молодой человек. С возрастом вы станете менее неприятным и, вероятно, менее талантливым.

— Зачем вы меня оскорбляете?

— В нашей профессии,— сказала Гретхен,— оскорбления не имеют значения. Вы меня раздражаете. И я, наверно, вас тоже. Впрочем, и это не имеет значения. Но, дорогой Ричард,— она чуть коснулась его щеки, одновременно и ласково и угрожающе,— я обещаю служить вам исправно. Большего не просите. Я обещаю столько крупных планов и чувств, сколько может выдержать зритель. С нашей героиней проблема не в том, что ее на экране будет слишком мало, а в том, чтобы не было слишком много.

— У вас на все готов ответ. Мне ни разу не удалось вас переспорить. Кинселла предупреждал меня...

— А как поживает наш дорогой Эванс? — спросила Гретхен.

— Неплохо,— Сэнфорд смущенно переступил с ноги на ногу. — Он предложил мне написать сценарий для его новой картины.

— Значит, вы на пути в Голливуд?

— В общем... да.

— Очень рада за вас обоих. Вы, безусловно, будете довольны друг другом. А сейчас извините, мне надо поговорить с братом.

Сэнфорд безнадежно покачал головой. Когда она добралась до Рудольфа, тот посмеивался.

— Над чем это ты?

— Я видел, какое выражение лица было у этого молодого человека, когда ты от него отошла.

Гретхен скорчила гримасу.

— Мы занимались делом, требующим наибольшего напряжения творческих сил: старались как можно больнее оскорбить друг друга. Одна картина, и он считает себя

уже главным редактором «Кайе дю синема» [1]. Погибшая душа. Но невелика трагедия. Америка полна талантов, способных создать всего одну-единственную вещь. А где ты был все это время? Я беспокоилась.

— У нас неприятности в Коннектикуте. Доннелли готов кусать себе локти. Похоже, наш проект рухнет.

— Почему? Что произошло?

— Какое-то паршивое общество по охране окружающей среды возбудило против нас дело — требуют прекращения строительства. Мы целый день просидели с адвокатами.

— А я думала, что все в порядке.

— Я тоже так думал до вчерашнего дня. Мы-то покупали заброшенный фермерский участок. А теперь нам говорят, что это, видите ли, драгоценная заповедная земля, где полно редких птиц, чудесных оленей, прелестных змей. А за последние годы замечены даже три рыси. И вместо благодетелей стареющего человечества мы оказались городскими хапугами, намеренно загрязняющими чистый воздух суверенного штата Коннектикут, и к тому же врагами рысей. — Он полунасмешливо покачал головой.

— А что говорят адвокаты?

— Что если в конечном счете мы и выиграем, то на это уйдут годы. Доннелли чуть не плакал от досады, когда понял, сколько времени наши деньги будут заморожены.

— А где он?

— Я уложил его — он мертвецки пьян. Завтра у него настроение будет еще хуже. Да, вот еще что. Вчера мне звонил из Калифорнии один знакомый агент по фамилии Боуэн.

— Я тоже его знаю,— сказала Гретхен. — У него солидная контора.

— Он говорит, что до них дошли слухи об Уэсли и что он может устроить ему выгодный контракт. Если Уэсли собирается продолжать актерскую карьеру, то ему непременно нужен будет агент, а Боуэн ничуть не хуже других. Я хочу поговорить с Уэсли.

— Последний раз, когда я его видела, он, весь перемазанный губной помадой, атаковал бар.

— Я его тоже там видел. Постараюсь дать ему мудрый дядюшкин совет. — Рудольф наклонился и поцеловал Гретхен в щеку.— Поздравляю тебя. Ты отлично поработала. И так считает не только твой брат.

Он снова направился к бару, но Уэсли там уже не было. Бармен сказал, что он ушел пять минут назад.

■ ■ ■

Когда появился Уэсли, Элис сидела в гостиной и читала. По дороге домой он заглянул еще в два бара, где было так темно, что никто не спросил, сколько ему лет. Возвращение домой пешком оказалось делом непростым: тротуар почему-то все время ускользал из-под ног, а при переходе улиц страшно мешали обочины.

— Добрый вечер,— мрачно приветствовал он Элис.

— Добрый вечер,— бросила она, не поднимая глаз от книги. Он заметил, что на диване не постелено как обычно. У него было странное чувство, будто он видит перед собой не Элис, а ее отражение в покрытой рябью воде.

Пытаясь сесть, он не рассчитал расстояния и чуть не упал. А затем уставился на Элис, которая по-прежнему расплывалась у него перед глазами.

— Из меня не выйдет ничего путного. Ты напрасно тратишь на меня время.

— Во-первых, ты пьян, а во-вторых, я на тебя времени не трачу.

— Завтра,— сказал он, и звук собственного голоса показался ему далеким и странным,— я отдам тебе весь долг до последнего цента и у... у... уеду отсюда.

— Хоть сию минуту,— сказала Элис, по-прежнему глядя в книгу. — Я уверена, что тебе нетрудно будет найти другое место для ночлега. А о деньгах говорить не надо. Ты мне ничего не должен: все, что я для тебя делала, я делала не ради денег.

Он смотрел на нее, с трудом удерживая ее в фокусе.

— А ты не будешь возражать, если я скажу спасибо?

---

[1] Французский журнал, посвященный проблемам киноискусства.

— Я возражаю против всего, что бы ты ни сказал,— бросила она.— Голливудский подонок.

— Я никогда не был в Голливуде, даже в Калифорнии не был,— сказал он глупо.

— Путаешься с проститутками! — Она швырнула книгу на пол.— И зачем я читаю это проклятую книгу?

— Я думал, ты мне... ну... как сестра.

— Я тебе не сестра.

Уэсли подыскивал слова, но мысли и язык его не слушались.

— Ты говорила, что я умираю. В твоей книге. Ты хочешь, чтобы я был благородным и умер. Ты хочешь от меня слишком многого...

— О господи! — Она обхватила его голову и прижала к себе.— Прости меня. Я не хочу, чтобы ты умирал, Уэсли. Честное слово.

— Все хотят от меня чего-то такого, чего я не могу дать,— сказал Уэсли.— Я не знаю, где я. Ищи меня завтра в столе находок.

— Прошу тебя, Уэсли. Не говори так.

— Ты как-то сказала, что крадешь частицу моей души... Я слушаю, как ты стучишь по ночам на машинке, и говорю себе: «Вот уходит еще одна частица».

— Ну, пожалуйста, милый...— Она еще крепче прижала его голову к себе, чтобы он больше ничего не смог сказать.— Ты меня убиваешь такими словами.

— Все только и делают, что меня стыдят. Через что я прошел сегодня... А теперь ты... Я не оправдал твоих надежд... Я это знаю, но...

— Ш-ш-ш, маленький мой.

— Я люблю тебя,— сказал он.

Она притянула его к себе. И вдруг неожиданно засмеялась:

— Сколько же времени тебе понадобилось, чтобы об этом сказать! — Она опустилась перед ним на колени и нежно его поцеловала. — Скажи еще раз.

— Я тебя люблю.

— У тебя ужасный вид.

— Я и *чувствую себя* ужасно. Я второй раз в жизни напился. Прости, пожалуйста, меня сейчас вырвет.— Он с трудом встал и, нетвердо держась на ногах, двинулся в туалет. Его вырвало, однако легче ему не стало. Он медленно разделся, долго чистил зубы, а затем принял холодный душ. Вытираясь, он почувствовал себя немного лучше, хотя голова поворачивалась с трудом, а в желудке было такое ощущение, будто он наглотался гвоздей. Уэсли надел халат, который купила ему Элис, и с мокрой головой направился обратно в гостиную, держась рукой за стену.

Гостиная была пуста, и на диване все еще не было постелено.

— Я здесь,— раздался из спальни голос Элис.— Сегодня тебе не придется спать на диване.

Он побрел в спальню. Там горела лишь одна маленькая лампочка и царил полумрак, но Элис, лежавшая под одеялом на широкой кровати, все так же колыхалась и покрывалась рябью.

— Иди сюда, под одеяло.

Не снимая халата, он стал ложиться.

— Сними эту противную тряпку.

— Выключи свет.— Одна только мысль, что Элис Ларкин, эта застенчивая девушка, увидит его голым, привела его в трепет.

Она засмеялась и потушила свет.

Из записной книжки Билли Эббота (1971)

Она все еще здесь.

Однако пока не подает и виду, что знает меня. Насколько я мог заметить, она и ее торговец замороженными продуктами из Дюссельдорфа ни с кем не разговаривают, я ни разу не видел их в чьем-либо обществе. На вечеринках мы до сих пор не встречались. Он каждый день играет в гольф. В отеле она зарегистрировалась как «сеньорита Моника Хитцман», то есть совсем не под своей фамилией. Когда мы случайно встречаемся, независимо от того, одна ли она или со своим другом, мы проходим мимо как чужие, но меня обдает таким леденящим холодом, словно я проплываю мимо айсберга.

Время от времени — иногда одна, иногда со своим другом — она появляется возле теннисных кортов и останавливается посмотреть игру.

С каждым днем я играю все хуже.

К тому же возникло еще одно осложнение. За мной ухлестывает, если так можно выразиться, одна молоденькая испанка по имени Кармен (неужели не удастся отделаться от знакомой мелодии?). Она ожесточенно и неутомимо играет в теннис; родом из Барселоны, где отец ее, как мне стало известно, занимал высокий пост во франкистском правительстве. Иногда он ее сопровождает — прямой седовласый джентльмен с жестким лицом.

Ей двадцать лет, у нее опасные темные глаза, светлые волосы и движения как у тигрицы — и на корте, и вне его: такое впечатление, что она решила не уступать героине оперы. В одиночной игре она совсем загоняла меня. После игры и вообще при всяком удобном случае она приглашает меня выпить и поверяет свои тайны, которые я вовсе не желаю знать. Она училась в Англии и хорошо говорит по-английски — правда, с сильным акцентом. При ней я играю свою дурацкую роль — изображаю спортсмена, но она, по ее словам, видит меня насквозь: боюсь, так оно и есть. Она рассказала мне, что ее отец, хоть он и каталонец, сражался на стороне Франко и придерживается тех же взглядов, что и полководцы Фердинанда и Изабеллы, изгнавшие из Испании мавров и евреев. Она обожает своего отца, однако часто приводит его в бешенство, разговаривая с ним по-каталански. По ее словам, она будет счастлива только тогда, когда над Барселоной взовьется флаг Каталонии и поэты «ее родины» начнут писать на этом языке. Они с Моникой, которая также придает большое значение делению Европы по лингвистическому признаку, сразу нашли бы общий язык, хотя Кармен еще не заложила ни одной бомбы. Она распространяет какие-то листовки, что, вполне возможно, не разрешается законом. У нее чудесная гибкая фигурка, и я не знаю, сколько еще смогу выдерживать осаду, хотя и побаиваюсь ее отца, который смотрит на меня — что, впрочем, случается редко — холодно и подозрительно. Кармен говорит, что он относится с подозрением ко всем иностранцам, и к американцам особенно, но я не могу отделаться от чувства, что его антипатия вызвана соображениями не только шовинистического характера.

Кармен похожа на испанок, чьи фотографии часто появляются в испанских газетах,— они обычно стоят у barrera[1]*, а матадоры посвящают им быков, и совсем не похожа на девушек, которые распространяют листовки в Америке.*

И еще одно сходство с Моникой: из нее тоже никогда не выйдет хорошей жены.

■ ■ ■

Следующий день оказался для Билли Эббота скверным. Моника пришла со своим другом на корт и записалась на целую неделю занятий, ежедневно с 11 утра.

Билли дал ей первый урок. Она была безнадежна. Поговорить с ней ему не удалось, так как в течение всех сорока пяти минут ее друг сидел у корта и смотрел, как они играют. Она называла Билли «мистер Эббот», а он обращался к ней «сеньорита Хитцман». Подавая ей мячи, которые она большей частью пропускала, он думал, что надо бы ее отвести в сторону и спросить, что она затевает,— не могла же ее привести в Эль-Фаро чистая случайность.

Днем Билли чуть не проиграл Кармен. Она была в плохом настроении и играла с ожесточением.

После игры, когда они сидели в баре гостиницы, он спросил ее, что случилось.

— Вы читали утренние газеты?

— Нет.

— На первой странице помещена фотография, на которой ваш адмирал получает награду от Франко.

— Адмиралы на то и существуют,— пожав плечами, ответил он.— Откровенно говоря, я ничего не имею против какой-то медали, а вот то, что он со своими кораблями и наши военно-воздушные силы с их самолетами находятся здесь, мне совсем не нравится. Я долго служил в армии и сильно сомневаюсь, что в случае кризисной ситуации от них будет большая польза.

Кармен сверкнула глазами.

— А вы бы хотели, чтобы русские захватили Европу?

— Если бы у них было такое желание, они бы уже давно ее захватили. Наши войска в Европе вызывают у них раздражение, но их слишком мало, чтобы оказать

[1] Барьер *(исп.)*.

сопротивление русским. В случае войны решающее значение будут иметь ракеты, а не наземные войска. Ими пожертвуют в первый же день. Я служил в этих войсках и не испытывал большого удовольствия.

— Я просто счастлива,— саркастически заметила Кармен,— что у меня есть собственный американский военный эксперт, который разъясняет мне истинное положение вещей.

— Это все делается для рекламы,— продолжал Билли. Зачем он с ней спорит? Возможно, просто потому, что последняя партия закончилась со счетом 8 : 6 в ее пользу? А возможно, ему надоело, что привлекательные молодые женщины учат его политике? — Создание баз по всему миру дает военным возможность немного встряхнуться и выжать из конгресса побольше денег, чтобы потом разъезжать в роскошных автомобилях и жить раз в пять лучше, чем дома.— И скорее чтобы поддразнить ее, чем всерьез, он добавил: — Если бы мы сняли военную форму со всех американских солдат и отправили их домой заниматься чем-то полезным, все от этого только выиграли бы — в том числе и испанцы.

— Слабые и ленивые всегда находят оправдание своей слабости и лени,— сказала Кармен.— Слава богу, что не все американцы такие, как вы.— Ее собственные политические взгляды были достаточно сложны. Она ненавидела Франко, ненавидела коммунистов, а теперь, по-видимому, и его вместе с адмиралом-американцем.— В том, что адмирал находится здесь, ничего страшного нет, а вот то, что он, американец, позволяет Франко нацеплять себе на грудь медаль,— безнравственно. Одно дело — защищать какую-то страну и совсем другое — поддерживать отвратительный режим. Будь я американкой, я бы немедленно обратилась с протестом в конгресс, в государственный департамент, к президенту, во все газеты. Вот, если хотите сделать что-то полезное, напишите хотя бы в «Геральд трибюн».

— А сколько, по-вашему, я здесь продержусь, если это письмо напечатают?

— Двадцать четыре часа. Все равно стоит.

— Человеку, между прочим, надо есть.

— Ну, конечно,— сказала Кармен пренебрежительно,— для таких людей, как вы, главное — деньги.

— Разрешите вам напомнить, что у меня нет богатого папочки, как у некоторых моих знакомых.

— Как вы смеете так говорить! Испанцы по крайней мере не меряют свою жизнь на доллары и центы.

— Испанцы, которых я вижу здесь, весьма богаты и занимаются лишь тем, что приумножают свое богатство. Скупают, например, оливковые рощи и превращают их в ловушки для туристов. И владельцы этих огромных яхт в заливе тоже не давали обета бедности.

— Это — подонки, потерявшие совесть. Они делают все, что велит им Франко и его банда. Им лишь бы сохранить свои fincas [1], свои яхты и своих любовниц, а остальные пусть голодают. Я не коммунистка, но когда я вижу, как приходится трудиться простым людям, чтобы прокормить семью, я могу понять, почему они за коммунистов.

— Так чего же вы хотите — еще одну гражданскую войну? Еще миллион убитых? Кровь на улицах?

— Если дойдет до этого,— сказала Кармен,— то виновниками окажутся ваши друзья — владельцы яхт. Конечно, я этого не хочу. Я хочу спокойных и планомерных преобразований. Если это возможно в Америке, то почему же невозможно здесь?

— Я не занимаюсь изучением национального испанского характера, но где-то я слышал, что ваши соотечественники в возбужденном состоянии кровожадны, жестоки и неистовы.

— О, боже мой, как я устала от таких разговоров,— воскликнула Кармен.— Как будто Испания — это только бой быков, флагелланты да мстители за поруганную честь. Почему никто не говорит о жестокости немцев — после того, что они натворили в Европе? Или французов — после Наполеона? Я уже молчу о том, что в свое время творили американцы. Эх вы, бедный, никчемный теннисист.— Кармен презрительно подписала поданный ей счет.— Ну, вот, вы сэкономили на четырех порциях джина с тоником. Разве вы не рады, что приехали в жестокую и буйную Испанию и стали здесь лакеем богачей?

[1] Поместья *(исп.)*.

— Вероятно,— обиделся Билли,— нам не следует больше встречаться. Ищите себе другого партнера.

— Вы по-прежнему будете играть со мной в теннис, потому что вам за это платят. Завтра в то же время.— Она вышла, оставив его одного в огромном пустом баре. «Боже мой,— думал он,— а я-то считал, что она меня добивается! Сначала Моника со своими бомбами, а теперь вот эта!»

На следующее утро Моника появилась на корте одна. Билли должен был признать, что выглядела она настоящей теннисисткой — маленькая, стройная, с красивыми ногами, в коротком теннисном платьице и с лентой вокруг головы, чтобы не растрепались аккуратно уложенные волосы.

Когда они вместе шли на корт, Билли тихо спросил:

— Моника, какую игру ты сейчас затеваешь?

— Мистер Эббот, меня зовут сеньорита Хитцман,— сказала она холодно.

— Если тебе нужны деньги, которые я отвозил в Париж, и... остальное, то я все тебе верну. Правда, на это потребуется некоторое время, но я мог бы это сделать...

— Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите, мистер Эббот.

— Да брось ты это,— сказал он раздраженно.— Мистер Эббот! Ты не называла меня мистером Эбботом, когда мы спали в одной постели в Брюсселе.

— Если вы будете продолжать в том же духе, мистер Эббот, я буду вынуждена сообщить администрации, что вы тратите время на разговоры, вместо того чтобы выполнять свои обязанности, то есть обучать меня игре в теннис.

— Ты никогда не научишься играть в теннис.

— В таком случае,— сказала она спокойно,— это еще одна неудача, о которой вы будете вспоминать с сожалением, когда состаритесь. А теперь, с вашего позволения, я хотела бы начать занятия.

Вздохнув, он направился на другую сторону корта и начал подавать ей мячи. Ее ответные удары были ничуть не лучше, чем накануне утром.

Когда урок закончился, она сказала:

— Благодарю вас, мистер Эббот,— и ушла с корта.

Днем он выиграл у Кармен со счетом 6 : 0, 6 : 3, нарочно перемежая свечи укороченными ударами, чтобы заставить ее побегать, пока, наконец, лицо ее не запылало.

— Вы играете как последний кастрат,— вот и все, что она сказала, уходя с корта. Посидеть в баре она его не пригласила и пошла в гостиницу одна. Билли смотрел ей вслед и думал о том, что Испания становится для него все менее привлекательной.

■ ■ ■

Уэсли поехал из Лондона в Бат поездом и с удовольствием любовался из окна аккуратными зелеными ландшафтами сельской Англии. После напряженности и неуверенности Америки прогулки по Лондону действовали на него успокаивающе, он никого здесь не знал, и никто ничего от него не требовал. Однажды в какой-то закусочной Уэсли услышал голос официантки, очень похожий на голос Кейт, и вдруг почувствовал, что сильно по ней соскучился. Он доел свой сандвич, пошел на вокзал и первым же поездом отправился в Бат. Вот Кейт удивится, когда его увидит! И наверное, обрадуется.

В Бате он дал таксисту адрес и, сидя на заднем сиденье, с любопытством рассматривал аккуратные улочки и красивые дома. Да, это тебе не Индианаполис.

Такси остановилось перед маленьким белым домиком в сплошном ряду точно таких же домов. Уэсли расплатился с таксистом и позвонил. Дверь тут же открылась, и невысокая седая женщина в фартуке сказала:

— Добрый день.

— Добрый день, мэм. Кейт дома?

— Простите, а вы кто?

— Уэсли Джордах, мэм.

— Господи! — Женщина широко улыбнулась и протянула ему руку. Жесткая, с мозолями, трудовая рука.— Я столько о тебе слышала. Заходи, заходи, мальчик. Я — мать Кейт.

— Очень приятно познакомиться, миссис Бэйли.

Они вошли в маленькую гостиную. На полу в манеже с гуканьем ползал малыш.

— Это — твой брат,— сказала миссис Бэйли.— Вернее, твой единокровный брат. Его зовут Том.

— Я знаю,— сказал Уэсли, с интересом разглядывая малыша.— Отличный парень!

— Просто чудо. Такой веселый! Ты чаю хочешь?

— Нет, спасибо. А Кейт дома?

— На работе. Можешь туда сходить. Закусочная «Кингс армз», всего в нескольких шагах отсюда. То-то она обрадуется! Ты останешься ужинать?

— Пока не знаю. Здравствуй, Томми,— сказал он, подходя к манежу,— как поживаешь?

Малыш улыбнулся и загукал. Уэсли наклонился и протянул ему руку, выставив вперед один палец. Малыш сел, затем ухватился за палец, встал и победоносно засмеялся. «Ну и хватка»,— подумал Уэсли.

— Томми,— сказал он,— а ты сильный парень.

Малыш был счастлив. Может быть, он и сам был так же счастлив в его возрасте. Интересно, надолго ли брату хватит этого счастья. При такой матери, как Кейт, может быть, и на всю жизнь.

— А где та закусочная? — спросил он.— Как туда пройти?

— Выйдешь из дома — поверни налево; это через три квартала отсюда, прямо на углу.— Миссис Бэйли открыла ему входную дверь. Она стояла рядом с ним, едва доставая ему до плеча; у нее было простое, очень приятное лицо.— Я хочу, чтоб ты знал, Уэсли,— сказала она серьезно,— то время, которое моя дочь провела с твоим отцом, было лучшим в ее жизни. Она никогда этого не забудет.— Она сделала шаг назад и улыбнулась, но он увидел, что на глазах у нее слезы.— Помни, мы тебе не чужие.

— Я обязательно вернусь. Кто-то должен же научить его играть вместо крикета в бейсбол, так почему бы не я?

— Ты — хороший мальчик,— засмеялась миссис Бэйли.— Именно таким по рассказам Кейт я тебя и представляла себе.

Она стояла у открытой двери и смотрела, как он идет по залитой солнцем улице.

Было почти три часа — время закрываться,— и закусочная «Кингс армз» уже опустела; только один старик дремал за маленьким круглым столиком над кружкой пива. Кейт мыла стаканы, а мужчина в фартуке расставлял бутылки.

Уэсли молча стоял у стойки, ожидая, когда Кейт оторвется от своей работы. Наконец она, не оборачиваясь, спросила:

— Что вам угодно, сэр?

Уэсли засмеялся.

— Уэсли! — воскликнула она.— Сколько же времени ты здесь стоишь?

— Пятнадцать минут. Умираю от жажды.

— Хочешь пива?

— Нет. Я просто хочу посмотреть на тебя.

— Я ужасно выгляжу.

— Ну что ты.— Она почти совсем не изменилась, только лицо и грудь пополнели да загар стал бледнее.— Ты очень красивая.

Она серьезно посмотрела на него.

— Это неправда, но все равно приятно.

Часы над стойкой пробили три, и Кейт громко сказала:

— Время, джентльмены, прошу вас.

Старик за столиком встрепенулся, допил пиво и ушел.

Кейт вышла из-за стойки и остановилась перед Уэсли.

— Я так рада снова тебя видеть.— Она обняла его и поцеловала.— Как ты узнал, где меня найти?

— Я был у тебя дома.

— Видел малыша?

— Да. Мировой парень.

— Ну, не такой уж мировой, но ничего.— Уэсли видел, что она довольна.— Подожди, я сейчас накину пальто, мы выйдем на улицу, и ты расскажешь, как ты жил все это время.— Выходя, она крикнула мужчине за стойкой: — До шести, Элли.

Мужчина что-то пробурчал в ответ.

— Красивый городок,— сказал Уэсли на улице.— Должно быть, здесь приятно жить.

— Бат видел и лучшие дни.— Она пожала плечами.— Раньше сюда приезжало высшее общество — пили воды, выдавали замуж дочерей, играли в казино. А теперь здесь больше туристы, и иногда кажется, что живешь в музее. Не знаю, куда теперь ездит высшее общество. И осталось ли оно вообще на свете.

— Скучаешь по Средиземному?

— Кое по чему да... а по остальному нисколько,— ответила она, задумчиво глядя перед собой.— Давай не будем об этом говорить. Ты лучше расскажи о себе.

Уэсли рассказывал долго, и за это время они прошли почти весь город из конца в конец. Он начал с Индианаполиса, и Кейт, слушая его, печально качала головой. Когда Уэсли перешел к людям, с которыми он встречался и разговаривал об отце, она совсем погрустнела, зато когда он рассказал, что снимался в фильме, она стала смотреть на Уэсли чуть ли не с благоговением.

— Актер! Вот это да! Ты и дальше будешь этим заниматься?

— Может быть, но потом. Сейчас у меня есть дела в Европе.

— Где это, в Европе? — подозрительно спросила Кейт.— Уж не в Канне ли?

— Да, в Канне.

Она кивнула.

— Кролик боялся, что рано или поздно этого не миновать.

— Рано или поздно.

— Мне бы тоже хотелось отомстить всему этому проклятому миру, а я вот подаю пиво в баре. У мести где-то должен быть конец.

— Но прежде у нее должно быть начало.

— А если тебя убьют, кто отомстит? — В ее голосе теперь звучала горечь.

— Об этом придется думать уже кому-то другому.

— Я не собираюсь с тобой спорить. Ты слишком похож на своего отца. Того, если он что задумал, отговорить было невозможно. Желаю тебе удачи. А что ты будешь делать потом?

— Об этом я тоже думал. На деньги, которые я получу в наследство, и на то, что смогу заработать в кино, через пару лет я куплю яхту, что-нибудь вроде «Клотильды», и тоже буду возить пассажиров.

Кейт нетерпеливо замотала головой.

— Ты не Том, а его сын. Живи *своей* жизнью, Уэсли.

— Это и будет моя жизнь. Я даже подумал о том, что ты, может быть, захочешь стать моим компаньоном, а то и членом команды. К тому времени, когда мы сумеем купить яхту, малыш... Томми... он уже достаточно подрастет, и его можно будет взять с собой и...

— Мечты. Старые мечты.

Они молча прошли еще с полквартала.

— Я должна тебе кое-что сказать, Уэсли. Про деньги. У меня их больше нет.

— Кончились? — недоверчиво переспросил Уэсли.— При том, как ты живешь...

— Я знаю, как я живу,— сказала она с горечью.— Я живу как идиотка. Есть один человек, который говорит, что хочет на мне жениться. У него в Бате свое дело, небольшая контора по доставке грузов. Он попросил у меня денег, чтобы спастись от банкротства.

— И ты все ему отдала?

Она кивнула.

— Я думала, что люблю его. Ты должен меня понять. Я не могу жить одна без мужчины. Мы видимся с ним почти каждый день после закрытия бара. Сегодня он тоже ждет меня, а когда я скажу ему, что провела это время с сыном Тома, он будет в ярости. Он ведь даже не смотрит на малыша, когда заходит за мной.

— И ты хочешь выйти замуж за такого человека?

— Он не был таким, пока не разорился. До этого он был добрый, ласковый. Со мной, с матерью, с малышом...— Она вздохнула.— Ты еще молод. По-твоему, на свете есть только черное и белое... Ну, так я тебе сейчас кое-что скажу. Для женщины моего возраста, с ребенком, некрасивой, всю жизнь занятой самой черной работой, это не так просто.— Она посмотрела на часы.— Уже почти пять. Я во время перерыва стараюсь хоть час провести с Томми.

Они молча шли к дому ее матери. Перед домом стояла машина, за рулем сидел мужчина.

— Это он,— сказала Кейт.— Ждет и злится.

Когда Уэсли и Кейт подошли к дому, человек вышел из машины. Это был высокий плотный мужчина с красным лицом, от него пахло спиртным.

— Где ты, черт побери, шляешься? — сказал он громко.— Я с трех часов тебя жду.

— Я немного прошлась с этим молодым человеком,— спокойно ответила она.— Гарри, это Уэсли Джордах, он приехал меня повидать. Гарри Доусон.

— Немного прошлась, да? — переспросил Доусон и с силой ударил ее по лицу. Это произошло так быстро, что Уэсли не успел ничего сообразить.— Я научу тебя, как немного пройтись,— выкрикивал Доусон, снова поднимая руку.

— Одну минутку, приятель,— сказал Уэсли и, схватив его за руку, оттолкнул от Кейт.

— Пусти, сволочь... янки паршивый! — прошипел Доусон, стараясь освободиться.

— На сегодня ты драться кончил, мистер.— Уэсли отталкивал Доусона плечом все дальше. Но тут Доусон вырвал руку и ударил Уэсли по голове. Уэсли покачнулся, но удержался на ногах и двинул Доусона в челюсть. Доусон повалился на него, и они оба упали на мостовую. Уэсли получил еще два удара по голове, но затем ударил Доусона коленом в пах и начал молотить его кулаками по лицу. Доусон лежал обмякший на мостовой, и Уэсли, встав, дважды злобно пнул Доусона ногой в голову.

Во время драки Кейт стояла согнувшись, не произнося ни слова, но теперь она подбежала к Уэсли и, обхватив руками, стала оттаскивать от лежавшего на земле Доусона.

— Хватит, остановись,— кричала она.— Ты что, хочешь его убить?

— Именно этого я и хочу,— сказал Уэсли, дрожа от ярости. Однако из рук Кейт вырываться не стал.

— Он тебя сильно ударил? — спросила она, все еще не отпуская его.

— Не-ет,— сказал он, хотя голова у него гудела.— Ничего особенного. Можешь меня отпустить. Я не трону твоего приятеля.

— Уэсли,— быстро проговорила Кейт,— тебе надо отсюда немедленно убираться. Садись на первый же поезд и уезжай в Лондон. Когда он встанет...

— Он ничего больше не сделает — он свое получил.

— Он вернется и приведет своих дружков. И они придут не с пустыми руками. Уходи, я тебя прошу, уходи сейчас же...

— А как же ты?

— Обо мне не беспокойся. Со мной ничего не случится. Только уезжай.

— Я не могу оставить тебя с этим ворюгой.— Он поглядел на Доусона — тот шевельнулся, хотя глаз не открывал.

— Он ко мне больше не подойдет. Я с ним покончила.

— Ты это говоришь только для того, чтобы я поскорее уехал?

— Клянусь тебе, это правда. Если он только попытается ко мне подойти, я напущу на него полицию.— Она поцеловала Уэсли в губы.— До свиданья, Томми.

— Томми? — засмеялся Уэсли.

Кейт тоже засмеялась, смущенно прикрыв лицо рукой.

— Слишком много событий за один день. Береги себя, Уэсли. Жаль, что тебе пришлось впутаться в эту историю. А теперь иди.

Уэсли посмотрел на Доусона. Тот пытался сесть, бормоча что-то окровавленными губами. Уэсли опустился на колени и схватил его за галстук.

— Слушай, ты, обезьяна,— сказал он, наклонившись к распухшему уху Доусона,— если я узнаю, что ты ее тронул, я вернусь. И то, что ты получил сегодня, это еще цветочки по сравнению с тем, что будет потом. Понял?

Доусон пробормотал что-то невнятное.

Уэсли поцеловал Кейт в щеку и пошел по улице, не оглядываясь. Голова у него все еще болела, но шел он легко, чувствуя себя с каждым шагом все лучше,— воспоминание о драке наполняло его какой-то удивительной умиротворенностью. И в поезде всю дорогу до Лондона он чувствовал себя отлично.

■ ■ ■

Билли играл с Кармен — на этот раз без всякой злобы, когда возле корта появился молодой парень с выгоревшими светлыми волосами, в джинсах и с рюкзаком за спиной; он постоял некоторое время, понаблюдал за игрой, затем снял рюкзак и удобно расположился на траве. Путешественники с рюкзаками были необычным явлением в Эль-Фаро, и Билли то и дело на него посматривал. Парень с интересом следил за игрой, однако ни восхищения особенно удачными ударами, ни возмущения ошибками не проявлял.

Билли заметил, что у Кармен он тоже вызвал любопытство и она частенько на него посматривала.

— Не знаете, кто это? — спросила она, когда они менялись сторонами.

— Первый раз его вижу,— сказал Билли, вытирая лоб полотенцем.

— Лучше он, чем эта Хитцман,— заметила Кармен. Моника ежедневно появлялась в начале пятого — то есть как только Кармен и Билли выходили на корт — и внимательно следила за их игрой.— В ней есть что-то странное, словно ее интересует не теннис, а *мы сами*. И интерес этот какой-то нехороший.

— Я занимаюсь с ней каждое утро,— сказал Билли. Его отец, увидев Монику в Брюсселе, тоже говорил, что в ней есть что-то странное.— Может быть, она решила посвятить себя изучению тенниса.

Они снова начали игру, и Билли выиграл; на этот раз Кармен не обзывала его последним кастратом.

— Спасибо,— сказала она, надевая свитер.— Сегодня было больше похоже на теннис.— Она не пригласила его в бар выпить, а, проходя мимо сидевшего на траве парня, улыбнулась ему. Однако на ее улыбку ответа не последовало.

В этот день Билли больше некого было тренировать, поэтому он тоже надел свитер и собрался уходить. Парень встал.

— Мистер Эббот?

— Да.— Билли удивило, что он знает его фамилию. Парень был явно не из тех, кому по карману уроки тенниса в Эль-Фаро.

— Я твой двоюродный брат,— сказал молодой человек,— Уэсли Джордах.

— Вот это да! Я много слышал о тебе.— Они пожали друг другу руки. Рука у двоюродного брата была твердая и сильная.

— Я тоже много о тебе слышал.

— Что-нибудь хорошее?

— Не особенно,— усмехнулся Уэсли.— Ты, однако, здорово играешь в теннис.

— Роузволл[1] может спать спокойно,— скромно сказал Билли, хотя комплимент был ему приятен.

— И девушка тоже,— сказал Уэсли.— Она неплохо играет, верно?

— Она в хорошей форме.

— Если все твои ученицы так выглядят, то ты неплохо устроился.

— Они не все так выглядят. А где ты остановился?

— Нигде. Езжу с места на место.

— А сюда зачем приехал?

— Посмотреть на тебя,— серьезно ответил Уэсли.

— На меня?

— Я решил наконец посмотреть на второго представителя молодого поколения Джордахов.

— Ну и как?

— У тебя хорошая подача, и ты прилично играешь у сетки.— Оба засмеялись.

— Ну, это еще ничего,— сказал Билли.— Послушай, я просто умираю от жажды. Пойдем выпьем пива?

— С удовольствием,— сказал Уэсли, вскидывая рюкзак на плечи.

По дороге в гостиницу Билли не без зависти поглядывал на рослого сильного парня, который так легко вскинул сейчас на плечи рюкзак, но все равно кузен ему определенно нравился.

— Мой... наш дядя Рудольф говорит, что ты знал моего отца,— сказал Уэсли.

— Я видел его всего один раз. Еще мальчишкой. В доме у бабушки — мы ночевали в одной комнате.

---

[1] Известный австралийский теннисист.

— Ну, и как он тебе показался? — спросил Уэсли подчеркнуто безразличным тоном.

— Он мне понравился. Рядом с ним все остальные казались неженками. И мне хотелось жить так же, как он,— драться, плавать по морям в далекие края. Потом,— Билли улыбнулся,— он не спал в пижаме, как все остальные. Это стало для меня, наверно, каким-то символом свободной жизни.

— Ты, наверно, был странным парнишкой,— засмеялся Уэсли.

— Не таким уж и странным,— ответил Билли.

Они вошли в бар и заказали два пива.

В баре вместе с отцом сидела Кармен. Она с любопытством поглядела на вошедших, но больше ничем своего интереса не выразила.

— А получилось так,— продолжал Билли,— что я ни разу ни с кем не дрался, нигде не был и всегда сплю в пижаме.— Он пожал плечами.— И еще меня поразило, что у твоего отца был пистолет. Вот это да, подумал я, по крайней мере в семье есть хоть один настоящий человек. Не знаю только, зачем он был ему.

— А ни за чем. Когда пистолет понадобился, его не оказалось под рукой.

Они помолчали.

— Мне очень жаль, Уэсли,— мягко сказал Билли,— что все так произошло.

— Да-а-а.

— А какие у тебя планы? В данный момент и вообще.

— Пока никаких. Посмотрим, что подвернется.

У Билли было такое впечатление, что какие-то планы у Уэсли есть, но обсуждать этот вопрос ему не хочется.

— Мать считает, что тебя в кино ждет большое будущее.

— Я готов принять предложение, но не сейчас. Подождем, посмотрим, как пройдет картина.

— Мать пишет, вашу картину хотят послать на фестиваль в Канн.

— Это для меня новость,— сказал Уэсли.— Я рад за тетю Гретхен. Она женщина стоящая. Пора бы тебе относиться к ней помягче. Будь она моей матерью, я бы сделал для нее все, что в моих силах. Слушай, а почему бы тебе не навестить ее в Канне?

— Неплохая мысль,— задумчиво проговорил Билли.— А ты туда собираешься?

— Да. У меня там еще и другие дела.

— Давай поедем вместе на машине? Когда фестиваль?

— В конце мая.

— То есть через полтора месяца. Отличное время для поездки.

— А тебя отпустят?

— Ты слышал о «теннисном локте»? — усмехнулся Билли.

— Слышал.

— Ну вот, мне кажется, у меня скоро будет приступ, а это значит по крайней мере две недели полного покоя. А ты чем будешь заниматься?

— Не знаю,— пожал плечами Уэсли.— Покручусь немного тут, если не возражаешь. Может, поучусь у тебя играть в теннис, а может, поработаю на пристани.

— Как у тебя с деньгами?

— Пока кое-что есть,— сказал Уэсли,— но немного деньжат не помешало бы.

— Тут в бассейне работал один парень — чистил его, вытаскивал матрацы и спасателем еще подрабатывал, так вот он два дня назад уволился. Ты плавать умеешь?

— Вполне прилично.

— Хочешь, я спрошу про это место?

— Это было бы здорово.

— У меня в комнате две кровати. Так что можешь располагаться.

— А разве у тебя нет девушки?

— В данный момент нет,— сказал Билли.— И пока не предвидится.

— Я не хочу тебя стеснять.

— Двоюродные братья для того и существуют,— сказал Билли,— чтобы стеснять друг друга.

На следующий день Уэсли начал работать в бассейне, а вечером при свете фонарей Билли учил его играть в теннис. Уэсли был прирожденным атлетом с отличной реакцией и скоро превзошел остальных учеников Билли. Он играл с упоением, забывая обо всем на свете. Билли гордился успехами своего ученика, но сдержанная

ярость в игре Уэсли вызывала у него растерянность, и временами ему хотелось сказать: «Опомнись, ведь это всего лишь игра». У него было такое, не дававшее ему покоя чувство, что игра в обычном понимании этого слова в жизни его двоюродного брата Уэсли полностью отсутствовала.

Билли наслаждался обществом Уэсли и скоро обнаружил, что он идеальный сосед, умеющий поддерживать образцовый порядок, что было приятно после беспорядочного хозяйствования Моники. Управляющий гостиницей был доволен Уэсли и поздравил Билли с удачной находкой. После того как Билли представил Уэсли Кармен, ее отношение к нему изменилось, и она вскоре стала приглашать их обоих ужинать в маленький ресторанчик неподалеку от порта, когда отца в отеле не было. Уэсли держался с Кармен спокойно и вежливо, и Билли обнаружил, что Кармен, которая до сих пор плаванием не увлекалась, теперь почти все утро проводит в бассейне. А узнав, что мать Билли была режиссером фильма, в котором снимался Уэсли, Кармен начала проявлять к нему даже признаки уважения, и когда в городе шла интересная, на ее взгляд, картина, приглашала их обоих в кино. Ей нравились фильмы, где проливалось много крови и был печальный конец, и она часто выходила из кинотеатра заплаканная.

После двух недель занятий Моника сообщила Билли, что на следующее утро она уезжает. Но, добавила она, давая ему щедрые чаевые, она непременно вернется; однако точной даты не назвала.

— Мы будем рады снова увидеться с тобой,— сказала она, не уточняя, кого она имеет в виду.

— А тебе не интересно узнать, что произошло на улице Гро-Кайю? — спросил Билли.

— Я знаю, что произошло на улице Гро-Кайю. Там по ошибке убили не того человека. И еще нескольких.

— Я тебе звонил.

— Ты забыл оставить свой адрес. Не повторяй ту же ошибку снова. Ты так и собираешься всю жизнь оставаться тренером по теннису в этой несчастной стране?

— Не знаю.

— Где ты познакомился с парнем, который работает в бассейне?

— Он просто забрел сюда в один прекрасный день,— солгал Билли. Он никому не говорил, что Уэсли его двоюродный брат: ему не хотелось, чтобы Уэсли связался с Моникой.

— Я тебе не верю,— спокойно сказала Моника.

— Ничем не могу помочь.

— У него хорошее лицо. Сильное и неистовое. Как-нибудь я должна с ним серьезно поговорить.

— Оставь его в покое.

— Пожалуйста, запомни, я в твоих указаниях не нуждаюсь.

— Запомнил. И не только это. Еще целую кучу вещей. Некоторые из них восхитительны. Как у тебя сейчас с памятью?

— Плохо. Очень плохо. Благодарю вас за терпение, проявленное по отношению ко мне на корте, хоть оно и не очень пошло на пользу, верно?

— Совсем не пошло. Ты безнадежна.

— Надеюсь, вы добьетесь больших успехов с другими учениками. Например, с этой испанской шлюхой. Сколько она платит вам? Вы ведь при ней в качестве жиголо? А в Испании жиголо должен быть членом профсоюза?

— Я не обязан выслушивать подобную мерзость,— сказал он сердито.

— Через несколько лет придется привыкнуть. Adios [1], крошка.

Он посмотрел ей вслед, потом дрожащими руками положил в карман чаевые и взял ракетку. И все же его не оставляла надежда, что Моника вернется, скажет, в каком она номере, и пригласит зайти после полуночи.

Две недели спустя Уэсли сидел за столом в их номере и писал письмо. Билли одевался, собираясь пойти на вечер фламенко. По этому случаю были приглашены цыгане, а гостей просили прийти в испанских национальных костюмах. Билли купил себе нарядную рубашку с кружевами на груди и попросил у одного из музыкантов оркестра узкие черные брюки, курточку болеро и туфли на более высоком

[1] Прощай *(исп.)*.

чем обычно каблуке. Уэсли тоже был приглашен, но решил вместо танцев заняться письмами и добавил, что в таком наряде чувствовал бы себя настоящим идиотом.

Утром он получил письмо от Гретхен, в котором она сообщила, что «Комедия реставрации» представлена на Каннский фестиваль, и просила его туда приехать, чтобы разделить славу. Вместе с ней и Дэвидом Доннелли поедет Рудольф. Постарается приехать хотя бы на три дня и Фрэнсис Миллер. Эти две недели обещают быть интересными. Она очень рада, что они с Билли наконец познакомились и понравились друг другу. Дальше Гретхен выражала надежду, что ему удастся повлиять на Билли и убедить его тоже приехать в Канн.

— Билли,— сказал Уэсли,— я пишу письмо твоей матери. Она просит нас обоих приехать в Канн. Что ей ответить?

— Напиши...— Билли задумался; одна туфля была уже надета, вторая стояла на полу,— напиши ей... приедем, а почему бы и нет?

— Она обрадуется.

— Ладно,— сказал Билли, всовывая ногу в другую туфлю и вставая,— я полагаю, раз в десять лет человек может доставить удовольствие собственной матери. Как я выгляжу?

— По-идиотски.

— Так я и думал. Ну, я пошел к цыганам.

— Желаю повеселиться.

— Если к утру я не вернусь, значит, меня похитили. От этих цыган можно всего ожидать. Выкупа больше тринадцати с половиной долларов не давай.

И вышел, насвистывая арию тореодора из «Кармен».

Цыгане были превосходны, гитара и кастаньеты зажигали в крови огонь, музыка и пение наполняли сердце грустью, заставляли его трепетать в ожидании любви, танцоры плясали гордо и темпераментно, а вино лилось рекой. И снова, как в тот первый день в Испании, Билли почувствовал, что он оказался в стране, которая словно создана для него.

Один из танцоров подошел к Кармен и пригласил ее. Она танцевала с удовольствием и очень легко — не хуже профессиональной танцовщицы, решил Билли; ее длинные блестящие волосы развевались, лицо, по обыкновению, выражало гордое презрение. Вот танец окончился, и гости, в том числе и Билли, громко зааплодировали. И тут, вместо того чтобы снова сесть, Кармен подошла к нему и подняла его с места. Под общий смех и хлопки Билли начал с ней танцевать, слегка пародируя движения цыган.

Когда танец кончился, Кармен наградила взмокшего Билли поцелуем.

— Я хочу на воздух,— сказал он. Они вышли на террасу. Небо было тревожным и темным, черные рваные тучи то и дело закрывали луну.

— Ты был неподражаем,— сказала Кармен.

Билли обнял ее и поцеловал.

— Позже,— прошептал он,— я приду к тебе.

Она замерла в его объятиях, а затем оттолкнула его.

— Я готова танцевать с тобой,— холодно сказала она,— играть в теннис и спорить. Но мне бы в голову не пришло отдаться тебе...

— Но ты на меня так посмотрела...

— Во время танца все так смотрят,— сказала она, с презрением вытирая рот.— Только поэтому. Уж если я и соберусь кому-то здесь отдаться, так это тому парню, что работает в бассейне.

— Понятно,— ответил он хриплым от злости и разочарования голосом.— Хочешь, чтобы я ему об этом сказал?

— Скажи.— Вот до чего уже дошло.

— Так и сделаю. Как всегда, к вашим услугам, мадам.

— Мой номер триста один. Не забудешь?

— Буду помнить до гробовой доски.

Она засмеялась. Смех был не из приятных.

— Мне пора обратно. Все видели, как мы выходили вместе. Вы, наверное, знаете, что Испания — отсталая страна, где придается огромное значение соблюдению приличий. Вы идете со мной?

— Нет. Мне ведь надо выполнить поручение. А затем я собираюсь спать.

— Приятных сновидений.— Она повернулась и направилась в зал навстречу музыке.

А он медленно побрел к себе, внезапно ощутив всем телом ночную прохладу. Опасайся сеньорит, писал ему отец. Старик знал, о чем говорил.

Когда Билли вошел в номер, Уэсли спал. Он спал беспокойно, ворочаясь и вздрагивая, и время от времени стонал, словно какая-то неутолимая боль, которую ему удавалось отгонять от себя или не замечать днем, ночью целиком овладевала им. Билли смотрел на своего новообретенного двоюродного брата, не зная, жалеет ли он его, любит или ненавидит.

Он собирался раздеться и лечь спать, предоставив Уэсли его мрачным сновидениям, но потом подумал: «Ну, какого черта, мы же из одной семьи» — и начал расталкивать Уэсли.

— В чем дело? — встрепенулся Уэсли.

— У меня для тебя новость. В номере триста один тебя ждет дама. Ее зовут Кармен. Она просила меня передать это тебе лично.

— Ты шутишь.— Уэсли окончательно проснулся.

— Никогда в жизни не говорил более серьезно.

— Что это ее так воспламенило?

— Я бы на твоем месте не задавал вопросов, а ковал железо, пока горячо. Ты сам говорил, какая она красивая.

— Я ее не люблю,— сказал Уэсли обиженно, точно маленький мальчик, которого впервые заставляют делать что-то очень неприятное; Билли вспомнил, что между ними разница в семь лет.— Наверное, это глупо. Но не могу. Я влюблен в одну необыкновенную девушку. Она в Нью-Йорке. Может быть, скоро она приедет в Европу. Мне наплевать, что эта дама обо мне подумает,— добавил он вызывающе,— я буду ждать мою девушку.

— Потом пожалеешь,— предупредил Билли.

— Никогда. Кармен ведь тебе тоже нравится, и ты знаешь ее гораздо лучше — почему бы тебе не пойти?

— Она ясно дала понять, что меня она не ждет. Ну, ладно, я свою обязанность выполнил и ложусь спать... Спокойной ночи, Уэсли. У тебя было серьезное испытание, и тебе нужен отдых.

— Да-а. Выключи ты этот чертов свет.

Билли протянул руку и погасил свет. Он долго лежал с открытыми глазами и смотрел в темный потолок. Через пять минут он услышал ровное дыхание Уэсли, изредка прерываемое тихим стоном: у парня снова начались кошмары. Билли лежал без сна до тех пор, пока в комнате не забрезжил рассвет. Издали все еще доносились звуки музыки. В Испании, подумал он, это время отведено для секса.

■ ■ ■

На следующий день ровно в четыре Кармен появилась на корте. У нее был спокойный и отдохнувший вид. Им предстояла парная игра. Партнеры уже ждали, и Кармен приветствовала их и Билли одинаково сияющей улыбкой. Оба партнера были мужчины, но играли значительно слабее Кармен, поэтому они с Билли оказались на разных сторонах площадки. Кармен превзошла себя, и ее противникам пришлось порядком побегать. При счете 4 : 4, после долгого обмена ударами она дала свечу над головой Билли. Отбегая назад, он заметил на ее лице ироническую усмешку, высоко подпрыгнул, успел принять мяч и с лета злобно погасил, стараясь, чтобы он упал у ног Кармен и она не смогла его отбить; но она бросилась к сетке, споткнулась, и мяч угодил ей в глаз. Кармен вскрикнула, уронила ракетку и закрыла глаз руками.

«О господи,— подумал Билли, перепрыгивая через сетку и устремляясь к ней,— только этого мне еще не хватало».

Лицо доктора было серьезным. Глаз в опасности, сказал он. Кармен должна немедленно ехать в Барселону к опытному специалисту. Возможно, придется делать операцию.

— Я прошу вас простить меня,— сказал Билли, когда они возвращались от доктора в гостиницу.

— Вам не за что просить у меня прощения,— твердо сказала Кармен, хотя он видел, что ей очень больно.— Это не ваша вина. Мне не надо было бросаться к сетке. Я хотела спровоцировать вас, чтобы вы промазали. Вы и думать не должны, будто в чем-то виноваты.

Он наклонился и поцеловал ее в щеку. На этот раз она его не оттолкнула.

Но что бы там ни говорилось, Билли знал, что виноват, что, если бы не вчерашний вечер, он никогда бы не погасил мяч с такой силой.

На следующее утро его вызвал к себе управляющий.

— Молодой человек, кажется, вы переусердствовали. Мне только что звонил ее отец. Специалист считает, что операции можно избежать и, по-видимому, все обойдется, но отец просто в бешенстве. Что касается меня, то я нанимал вас вовсе не для того, чтобы вы увечили моих постояльцев. Отец требует, чтобы я вас уволил, и хотя дочь тоже звонила мне и говорила, что она никогда мне этого не простит, я, к сожалению, вынужден склониться перед желанием отца. Так что собирайтесь и уезжайте. И чем скорее, тем для вас же лучше.— Управляющий достал из ящика стола конверт и протянул его Билли.— Здесь ваше месячное жалованье. Никаких вычетов я не делал.

— Благодарю вас,— скромно сказал Билли.

— Жаль, что вы уезжаете. Вы здесь всем очень нравились.— Управляющий пожал ему на прощанье руку.

Направляясь к бассейну, чтобы рассказать Уэсли, что произошло, Билли вспомнил слова отца о невезении, которое преследует Джордахов. Правда, его фамилия Эббот, а не Джордах, но это не имеет значения.

■ ■ ■

В тот же день в открытом «пежо», пригреваемые ласковым солнцем, они уже ехали во Францию. Билли пытался убедить Уэсли, что глупо ему бросать работу, но Уэсли с ним не согласился, а Билли не слишком настаивал. Он привязался к двоюродному брату, и перспектива совместного автомобильного путешествия по весенней Испании и Франции была весьма заманчива. Они ехали не спеша, осматривали достопримечательности, обедали в тени оливковых деревьев на обочине или у виноградников. Еда их состояла из колбасы, простого деревенского хлеба и бутылки вина. Мячи и ракетки они взяли с собой, и почти в каждом городке им удавалось найти корт и сыграть несколько партий.

— Если будешь тренироваться,— говорил Билли,— то через два года сможешь меня побить.

Чем дальше забирались они на север, тем больше Билли радовался, что они покинули Эль-Фаро. Ему было жаль расставаться с Испанией, зато теперь не придется каждый день думать о том, что перед ним в любой момент может появиться Моника со своими туманными намеками на будущие неприятности и полнейшим отсутствием способностей к теннису.

Уэсли стал откровеннее и рассказал ему о встречах с людьми, знавшими его отца, и о своем визите в Бат. О драке с Доусоном он умолчал и говорил только о Кейт и с чувством нежности — о своем маленьком единокровном братишке.

— Такой симпатичный малыш. Сильный, как молодой бычок. Наверное, вырастет, будет похож на своего... нашего отца. И он по-настоящему счастлив.

— А вот ты, по-моему, нет,— сказал Билли.— Ты молодой, сильный, красивый парень, мать пишет, что тебя ждет прекрасная карьера, если ты только этого пожелаешь, а на счастливого парня ты не похож.

— Я вполне счастлив,— уклончиво ответил Уэсли.

— Во всяком случае, когда ты спишь, этого сказать нельзя. Почему ты всю ночь стонешь?

— Просто мне снятся дурные сны. Это ничего не значит.

— Психиатры так не считают.

— А ты? — неожиданно спросил Уэсли.

— А я считаю, что тебя что-то гложет. Что-то страшное. Если бы ты об этом рассказал, тебе, наверное, стало бы легче.

— Может, когда-нибудь и расскажу, только не сейчас. Давай переменим тему.

Переехав французскую границу, они остановились на первый ночлег в маленькой приморской гостинице в городе Порт-Вандр.

— У меня блестящая идея,— сказал Билли.— Нас ждут в Канне только через две недели. Почему бы нам не махнуть в Париж и не погулять там?

— Нет,— покачал головой Уэсли.— Я должен ехать в Канн. Я все откладывал, а теперь пора.

— Зачем?

Уэсли как-то странно посмотрел на Билли.

— Мне надо повидаться с Кроликом — он ходил со мной на «Клотильде»... он сейчас в Сен-Тропезе. У него могут быть для меня важные сведения. Ты поезжай в Париж, а я на попутных машинах махну прямо туда.

— Какие сведения?

И снова Уэсли странно посмотрел на него.

— Я разыскиваю одного человека, и Кролик может знать, где его найти. Только и всего.

— А не может этот человек подождать пару недель?

— Он и так уже слишком долго ждет.

— А кто это?

— Это человек, из-за которого я так плохо сплю. Я каждую ночь вижу его во сне. Мне снится, что я всаживаю в него нож — снова и снова, а он не падает, стоит и смеется мне в лицо... Когда я просыпаюсь, у меня в ушах все еще звучит его смех.

— Ты узнаёшь его? Я имею в виду — узнаёшь во сне?

Уэсли медленно кивнул.

— Это человек, убивший моего отца.

Уэсли произнес это таким тоном, что Билли стало жутко.

— Что же ты собираешься делать, когда его найдешь?

Уэсли глубоко перевел дух.

— Рано или поздно все равно придется кому-нибудь об этом сказать, так почему бы не тебе. Я собираюсь его убить.

— О господи.

Они сидели молча и смотрели на море.

— И как ты собираешься это осуществить? — наконец спросил Билли.

— Не знаю,— пожал плечами Уэсли.— Придет время, тогда и решу. Может быть, ножом.

— А пистолет у тебя есть?

— Нет.

— А у него может быть?

— Вполне.

— Значит, тебя убьют.

— Постараюсь, чтобы этого не случилось,— мрачно сказал Уэсли.

— Ну, а если тебе удастся его прикончить, тебя тут же начнет разыскивать полиция, ты это понимаешь?

— Допустим.

— В лучшем случае отделаешься двадцатью годами. Тебе так хочется сесть в тюрьму?

— Нет.

— И все же ты хочешь поехать в Канн и сделать это?

— Да.

— Послушай, Уэсли,— сказал Билли,— я не допущу, чтобы ты очертя голову шел на смерть. Я тебе помогу.

— Как?

— Прежде всего у меня в Париже спрятан пистолет с глушителем.

— Он может пригодиться,— согласился Уэсли.

— Я мог бы помочь тебе составить план... убийства,— Билли споткнулся на этом слове.— Я все же прошел солдатскую подготовку и знаю, как обращаться с оружием. Потом я гораздо лучше тебя говорю по-французски. Я тебе сейчас кое-что скажу, о чем ты не должен говорить ни одной живой душе: когда я был в армии, я вступил в террористическую группу в Брюсселе...

— Ты? — недоверчиво переспросил Уэсли.

— Да, я. И участвовал во взрыве испанского туристического агентства в Амстердаме. Я умею собирать бомбы. Лучшего помощника в этом деле тебе не найти! Мы вот что сделаем: пока ты будешь добираться до Сен-Тропеза, я съезжу в Париж,

возьму пистолет и встречусь с тобой либо в Сен-Тропезе, либо в Канне. Ну как, согласен?

Уэсли задумчиво поглядел на Билли.

— А ты не обманешь?

— Ты что? — обиделся Билли.— Никогда в жизни. А что, собственно, ты теряешь? Через несколько дней я приеду. Привезу пистолет. И достаточно патронов, чтобы ты смог попрактиковаться. Это похоже на обман?

— Пожалуй, нет. Ладно. Сообщи, где ты остановишься в Париже, и я тебе позвоню и скажу, где меня найти.

— Хорошо бы выпить, а? — сказал Билли.

— Да, пожалуй,— согласился Уэсли.

На следующий день они вместе доехали до Нима, где Билли должен был повернуть на север к Парижу. Поставив машину на обочину в тени тополя, Билли молча сидел за рулем; Уэсли вытащил свой рюкзак и закинул его на спину. Они договорились, что Билли телеграфирует ему до востребования в Сен-Тропез и сообщит, в какой гостинице в Париже он остановился.

— Ну, пока,— сказал Уэсли,— смотри в оба.

— И ты тоже,— ответил Билли.— Ты без меня ничего не выкинешь?

— Нет. Обещаю.— Они пожали друг другу руки.— Я буду скучать без тенниса.

— Помни, что во французских тюрьмах в теннис не играют.

— Буду помнить,— сказал Уэсли и сделал шаг назад.

Билли включил мотор, помахал рукой, и автомобиль выкатился на дорогу. В зеркале заднего обзора видна была высокая худощавая фигура, зашагавшая в направлении Канна.

■ ■ ■

В Париже Билли снял номер в гостинице на Левом берегу и сразу же заказал разговор с Америкой. Услышав голос Рудольфа, Билли сказал:

— Дядя Рудольф, это Билли Эббот. Я в Париже в гостинице «Аламбер». Мне срочно нужна ваша помощь. С Уэсли может произойти нечто ужасное... и со мной тоже, если...— Он замолчал.

— Если что, Билли?

— Если мы кое во что не вмешаемся. Это не телефонный разговор.

— Завтра я буду в Париже.

— Слава богу! — сказал Билли.— Это самое приятное, что я мог услышать.

Он устало лег на кровать и через минуту уже крепко спал.

9

— А теперь, Билли,— сказал Рудольф, когда они свернули на автостраду, ведущую из аэропорта в Париж,— объясни мне, в чем дело.

— Дело в Уэсли,— сказал Билли, осторожно ведя машину. Шел дождь, и огни вечернего потока машин отражались на мокрой поверхности дороги.— Он сейчас на юге Франции, разыскивает убийцу.

Рудольф сдвинул шляпу на затылок и провел рукой по лбу, словно прогоняя боль.

— Откуда ты знаешь? — глухим голосом спросил он.

— Он сам рассказал. Мы подружились в Испании. Мы жили в одном номере. Когда он спал, можно было подумать, что он лежит в одиночном окопе, а вокруг все ближе и ближе рвутся снаряды. Я понял: парня что-то гложет. В конце концов я спросил его, и он мне все рассказал.

— Ты считаешь, он говорил серьезно?

— Конечно, серьезно. Он не из тех, кто шутит. Он даже в теннис играет так, что смотреть жутко. Я таких никогда еще не встречал, даже среди бывалых мужчин.

— А он в своем уме?

— Во всем, кроме этого.

— Почему ты не остался с ним? — осуждающе спросил Рудольф.

— Ну...— смущенно протянул Билли.— Это вторая половина истории. Я обещал ему помочь.

— Как?

Билли неловко заерзал на сиденье и перехватил руль.

— Обещал принять в этом участие и придумать что-нибудь такое, чтобы нас не

поймали. Учитывая мою военную подготовку и тому подобное.

— Ну, а ты-то в своем уме? — резко спросил Рудольф.

— Я всегда считал, что да.

— И ты *действительно* собирался выполнить свое обещание?

— Даже не знаю. Одного его я, конечно, не брошу. Вы разговариваете со мной, словно полицейский, который допрашивает заключенного.

Рудольф безнадежно махнул рукой.

— Два идиота. Два молодых дурака с одного дерева.

— Это у нас семейное,— сказал обиженно Билли.— Добро пожаловать, дядюшка, в страну дураков, в ее европейское отделение.

— А почему ты сидишь в Париже, когда он там затевает черт знает что? — Рудольф злился все больше.

— Я сказал ему, что в Париже у меня есть пистолет с глушителем, и обещал его привезти.

— И он у тебя *в самом деле есть?*

— Да.

— Чем, черт подери, ты тут занимался последние годы?

Билли опять неловко заерзал на сиденье.

— Я предпочел бы об этом не говорить. Лучше и для вас... да и для меня... если вы не будете знать.

Рудольф сделал глубокий вдох, затем шумно выдохнул.

— Тебя разыскивает полиция?

— Нет. Мне по крайней мере об этом неизвестно,— сказал Билли, довольный тем, что сидит за рулем и не видит выражения дядиного лица.

Рудольф устало провел рукой по небритой щеке.

— Тебе придется отдать этот пистолет мне.

— Но я обещал Уэсли привезти его через пару дней.

— Послушай, Билли,— сказал Рудольф, стараясь говорить спокойно,— ты ведь сказал, что тебе нужна помощь. Я вылетел первым же самолетом. Ты будешь делать то, что я говорю, или...— Он замолчал.

— Или что?

— Пока еще не знаю. Где сейчас Уэсли?

— В Сен-Тропезе. Мы договорились, что я сообщу ему телеграммой свой парижский адрес, он мне позвонит, и мы условимся, где и когда встретимся на юге.

— Так ты послал телеграмму?

— Сегодня утром.

— Зачем ты так спешил? Почему нельзя было дождаться моего приезда? Пожалуй, было бы лучше, чтобы он не знал, где тебя найти.

— Он и так относится ко мне с подозрением,— защищался Билли.— А если я его обману, он плюнет на меня и займется этим в одиночку.

— Может быть, ты и прав. Он уже звонил?

— Нет еще.

— Отлично. Когда позвонит, не говори, что я здесь. Скажи, что тебе не удалось достать этот проклятый пистолет, что это оказалось не так просто, как ты думал.

— И что это даст?

— А то, что у меня будет время придумать какой-то выход,— сердито сказал Рудольф.— И тебе тоже не мешало бы пошевелить мозгами. А теперь помолчи, пожалуйста. После перелета мне хочется несколько минут спокойно посидеть с закрытыми глазами,— а вдруг нас с тобой осенит какая-нибудь мысль.

В отеле, прежде чем расстаться, Рудольф сказал:

— Не забудь: завтра пистолет должен быть у меня. И еще одно: чтоб Уэсли его даже не видел.

— Тогда он возьмет нож или дубинку, а то и с голыми руками пойдет. Вы его просто не знаете,— возразил Билли.

— Не знаю, и очень плохо, что начинаю узнавать его именно теперь.

— Послушайте,— сказал Билли,— если вам не хочется впутываться в это дело, я постараюсь справиться сам. Можете считать, что я вам ничего не говорил.

Рудольф задумчиво посмотрел на Билли, словно прикидывая, что́ его ждет, если он согласится с этим предложением, затем покачал головой.

— Наверно, разыскивать Дановича должен был я. Давным-давно. Только до се-

годняшнего вечера мне это не приходило в голову. Нет, считать, что ты мне ничего не говорил,— не решение вопроса. Спокойной ночи, Билли. Если ночью у тебя возникнут идеи, позвони мне. Хорошо поспать все равно вряд ли удастся.

Он снова несколько раз провел рукой по лицу и медленно, тяжелой походкой направился к лифту.

«Я ни разу не подумал о его возрасте»,— упрекнул себя Билли, когда дверца лифта закрылась.

■ ■ ■

Утром они позавтракали вместе. Лицо у Рудольфа было усталое, под глазами мешки, он ел молча и чашку за чашкой пил кофе.

— Сегодня ты заберешь... этот предмет,— проговорил он наконец,— и отдашь его мне.

— Вы уверены, что хотите...— начал Билли.

— Единственное, в чем я уверен,— огрызнулся Рудольф,— это в том, что не желаю слушать от тебя никаких возражений.

— Ладно, подчиняюсь.— Он произнес эти слова с большим облегчением: ответственность за принятие решения теперь лежала не только на его плечах.

В столовую вошел портье и по-французски обратился к Билли:

— Вас просят к телефону в холле, мистер Эббот.

— Спасибо.— Билли поднялся.— Это, наверно, он. Больше никто не знает, что я здесь.

— Будь осторожен и не говори лишнего. Постарайся, чтобы все звучало правдоподобно.

— Постараюсь, но от этого парня можно ожидать чего угодно,— сказал Билли, выходя из ресторана. От кофе у него во рту вдруг стало горько. В холле он вошел в телефонную будку и взял трубку.

— Билли,— услышал он голос Уэсли, приглушенный расстоянием,— ты можешь говорить?

— Не очень.

— Я в отеле «Лэ Пинед» в Сен-Тропезе. Когда ты приедешь?

— Через несколько дней, не раньше, Уэсли. С этим делом возникли некоторые осложнения. — Звук собственного голоса казался ему фальшивым.

— Какие осложнения? — резко спросил Уэсли.

— Расскажу, когда увидимся.

— Так ты достанешь или нет?

— Обязательно достану. Только на это потребуется еще немного времени.

— Сколько?

— Четыре-пять дней.

— Если ты в ближайшие пять дней не появишься, я уезжаю в Канн,— сказал Уэсли.— Один. Тебе понятно, что́ я говорю?

— Ты не волнуйся, Уэсли. Я делаю все, что от меня зависит.

— А по-моему, ты тянешь, Билли.

— Ничего я не тяну. Просто возникли некоторые препятствия.

— Все ясно,— сказал Уэсли и повесил трубку.

Билли медленно вернулся в ресторан.

— Он в отеле «Лэ Пинед» в Сен-Тропезе,— сказал он, садясь.— Он недоволен и дал мне пять дней сроку.

Рудольф кивнул.

— Ты не сказал ему, что я здесь?

— Нет.

— Сегодня вечером я уезжаю в Антиб поездом. Я не хочу, чтоб меня осматривали в аэропорту. Если тебе потребуется со мной связаться, я буду в отеле «Коломб д'Ор» в Сен-Поль-де-Вансе.

— Вам ночью пришла в голову какая-то идея?

— Возможно.— Рудольф мрачно улыбнулся.

— Не хотите со мной поделиться?

— Не хочу. Ты сам сказал вчера вечером, что о некоторых вещах не надо говорить. Так будет лучше для нас обоих.

— По части секретов наша семейка любой даст сто очков вперед.

— Да, пожалуй.— Рудольф встал.— Сегодня я собираюсь любоваться Парижем, может, даже схожу в Лувр. Встретимся здесь в пять часов. Не наделай глупостей до этого времени.

— Постараюсь. Увидимся в пять.

После ухода Рудольфа Билли на такси отправился в банк. Он не хотел, чтобы кто-нибудь обратил внимание на «пежо» с откидывающимся верхом и, чего доброго, записал номер. Он захватил с собой теннисную сумку и, когда служитель в хранилище, открыв оба замка, удалился к своему столу, положил в нее автоматический пистолет и запасные патроны, а также то, что осталось от десяти тысяч франков. Он поднялся наверх, сказал банковскому служащему, что сейф ему больше не нужен, и вернул ключ.

Затем с сумкой в руках, снова на такси, вернулся в гостиницу, положил сумку на кровать и, не сводя с нее глаз, просидел в номере до пяти часов вечера.

■ ■ ■

Сойдя с поезда, Рудольф окунулся в залитое южным солнцем утро Антиба. Машина, заказанная им в агентстве Хертца, ждала его на вокзале. Расписываясь у стойки в ее получении, он все время прижимал ногу к стоявшему на полу чемодану.

Подъехав в отелю «Коломб д'Ор», он сам внес чемодан в холл, а сняв номер, пошел следом за носильщиком, чтобы не упускать его из виду.

Когда носильщик ушел, Рудольф позвонил старому адвокату в Антибе и договорился встретиться с ним в одиннадцать часов. Потом побрился, лег в ванну и долго дремал в воде. По нью-йоркскому времени было два часа ночи, и организм его еще не перестроился. Двигаясь словно во сне, он оделся и заказал в номер большую чашку кофе. Это был тот самый номер, где он останавливался раньше. Сюда приходила Жанна, и воспоминания о проведенных с нею часах вызвали к жизни старые желания. Он взял лист бумаги и написал: «Дорогая Жанна! Я снова в нашем отеле, и, может быть, если сейчас ты свободна...» Он не дописал и скомкал листок. Слишком давно. Уже все в прошлом.

В половине одиннадцатого он запер чемодан, спустился вниз, сел в машину и поехал в Антиб.

Старик ждал его за большим полированным столом, а за его спиной в огромном окне, словно на картине, сверкало залитое солнцем ослепительно синее море.

— Здесь можно разговаривать? — спросил Рудольф, садясь.

— Безусловно.

— Я имею в виду — здесь нет магнитофонов в столе или другой аналогичной техники?

— Есть,— признался адвокат,— но он не включен. Я пользуюсь им только по просьбе клиента.

— Надеюсь, вас не обидит, если я попрошу поставить его на стол — для большей верности.

— Как вам угодно, сэр,— холодно отозвался старик. Нахмурившись, он открыл ящик и поставил маленький аппарат на край стола.

Рудольф встал, чтобы взглянуть на него поближе. Магнитофон действительно не был включен.

— Благодарю вас, сэр,— сказал он и снова сел.— Я бы также просил вас не делать никаких записей — ни сейчас, ни после того, как я уйду.

— Хорошо, никаких записей,— кивнул старик.

— Дело, по которому я к вам приехал, очень деликатное. Речь идет о безопасности моего племянника, сына моего убитого брата.

Старик снова кивнул.

— Очень печальная история. Надеюсь, время немного залечило раны...

— Немного.

— И что наследство было разделено с минимальными... э... неприятностями.

— С максимальными,— мрачно ответил Рудольф.

— Увы,— сказал старик,— семейные проблемы...

— Мой племянник сейчас на юге Франции. О том, что я здесь, ему неизвестно, и я предпочел бы, чтобы на данном этапе такое положение сохранилось.

— Очень хорошо.

— Он приехал сюда, чтобы найти Дановича.

— О! — воскликнул старик.

— Он собирается его убить.

Старик закашлялся, словно что-то застряло у него в горле. Он достал большой белый носовой платок и вытер губы.

— Извините меня,— сказал он.— Теперь мне понятно, почему вы назвали дело «деликатным».

— Я не хочу, чтобы он нашел этого Дановича.

— Естественное желание,— отозвался адвокат.— Но чем я могу быть вам полезен?

Рудольф глубоко вздохнул.

— Если Дановича убьют до того, как мой племянник узнает о его местонахождении, то проблема будет решена.

— Понимаю,— задумчиво сказал старик. Он снова закашлялся и вытащил носовой платок.— И как же, по-вашему, я могу помочь вам добиться желаемого результата?

— В свое время, сэр, вы наверняка занимались делами, связанными с milieu[1] на этом побережье.

Адвокат кивнул.

— В свое время,— сказал он тихо,— да.

— Если бы вы познакомили меня с человеком, который знает, где находится Данович, и если бы он согласился взять на себя это дело, я был бы готов очень хорошо заплатить за его... услуги.

— Понимаю,— повторил адвокат.

— Естественно,— добавил Рудольф,— я готов перевести значительную сумму и на ваш счет в швейцарском банке.

— Естественно,— согласился адвокат, вздыхая то ли из-за возможности риска, то ли при мысли о значительной сумме в швейцарском банке.

— Это должно быть сделано быстро,— сказал Рудольф.— Мальчик глуп и нетерпелив.

— Я вам сочувствую, мсье Джордах,— кивнул адвокат,— но как вы понимаете, такие дела не делаются за одну ночь, если делаются вообще.

— Я готов заплатить двадцать тысяч долларов.

И снова адвокат закашлялся. И снова вытирал носовым платком рот.

Долгое время в комнате стояла тишина. Рудольф мучительно раздумывал над тем, что же он делает. Всю жизнь он верил в доброту и порядочность и теперь совершает преступление. Но во имя чего он это делает? Чтобы предотвратить еще бóльшее преступление. Порядочность может оказаться ловушкой, думал он, так же как и множество других благородных слов. Вопрос в том, что́ для тебя важнее: твои принципы или твоя собственная плоть и кровь!

Не поворачиваясь к Рудольфу, адвокат сказал:

— Я подумаю, что можно сделать. Постараюсь связаться с одним человеком и, если он проявит интерес, попрошу его найти вас. Я надеюсь, вы понимаете, что этим мое участие в деле и ограничится.

— Понимаю,— сказал Рудольф, вставая.— Я остановился в отеле «Коломб д'Ор» в Сен-Поль-де-Вансе. Я буду ждать звонка.

— Я ничего не обещаю, дорогой мсье,— напомнил адвокат. Он повернулся и, стоя теперь спиной к морю, с трудом выдавил из себя улыбку.— Честно говоря, я бы предпочел, чтобы вы убедили своего племянника отказаться от его безрассудного замысла.

— Я бы тоже, но сомневаюсь, что мне это удастся.

— Ох, уж эта молодежь,— хмуро кивнул адвокат.— Ладно, я постараюсь что-нибудь сделать.

— Спасибо.— Рудольф встал. Когда он выходил из кабинета, взгляд адвоката был снова устремлен на море. Прощаясь, они не пожали друг другу руки.

Сила денег, думал Рудольф, проезжая по улицам порта. Интересно, нанял бы Гамлет Розенкранца и Гильденстерна, чтобы убить своего дядю короля, если бы у него были на это флорины?

Добравшись до «Коломб д'Ор», он позвонил в гостиницу «Аламбер» в Париже. К счастью, Билли был в номере. Рудольф не знал, что после поездки в банк Билли не выходил из гостиницы.

— Билли, у меня все-таки есть надежда. Я ничего не могу тебе сказать, поэтому

[1] Определенной средой *(франц.)*.

и не спрашивай — ни сейчас, ни потом. Но все же надежда есть. Теперь главное — выиграть время. Поэтому ты должен сдерживать Уэсли. Ты хорошо меня слышишь?

— Слишком хорошо. Ну, а как же я должен его сдерживать?

— Поезжай на пятый день в Сен-Тропез. Придумай какую-нибудь историю... ты же умный парень...

— Все мне об этом только и твердят,— уныло отозвался Билли.

— Не оставляй его одного, чтобы он куда-нибудь не исчез. Мы все время должны знать, где он находится. Тебе понятно?

— Понятно,— сказал Билли без всякого энтузиазма.

— Если будет необходимость, скажи ему, где я нахожусь. Я бы этого не хотел, но если иначе его не удержишь, придется сказать.

— Сколько же времени я должен его сдерживать?

— Столько, сколько нужно.

— Симпатичный кругленький срок.

— Пожалуйста, без насмешек,— резко сказал Рудольф.— Я выполняю свою часть дела, а ты — свою.

— Слушаюсь, сэр. Следующие несколько дней я посвящаю придумыванию какой-нибудь истории.

— Вот и отлично.

— Только удастся ли заставить этого сумасшедшего в нее поверить — это уже другой вопрос.

— Желаю удачи,— сказал Рудольф и повесил трубку.

■ ■ ■

«Клотильда» стояла на якоре в порту Сен-Тропеза неподалеку от яхты, на которой служил Кролик, и они с Уэсли отправились туда, чтобы на нее посмотреть. Кролик долго отговаривал Уэсли.

— Ты и так ее уже достаточно видел,— говорил он.

— Не беспокойся, Кролик,— сказал Уэсли,— я не заплáчу и никого не прибью. Это единственный дом, где мне хорошо жилось. Я только взгляну на нее и вспомню, как все было, когда на ней ходил отец. С тех пор я насмотрелся много чего и похуже...— Поджидая Билли, он дни и ночи болтался по ночным кабакам в Сен-Тропезе и Канне. Он не решался спросить у Кролика, не встречал ли тот Дановича, потому что Кролик тотчас начал бы с ним препираться Уэсли не мог спросить о Дановиче и никого другого: он не хотел, чтобы Данович и в конечном счете полиция узнали, что он его разыскивает. Но сам искать он мог. Он искал ежедневно и был уверен, что рано или поздно Данович где-нибудь непременно объявится. Ну а времени у Уэсли было достаточно. К его удивлению, Канн и Антиб в этот тихий предсезонный месяц действовали на него умиротворяюще. Он даже спал теперь спокойнее, и кошмарные сны, которые так долго его преследовали, больше не повторялись.

Дойдя до того места, где была пришвартована «Клотильда», они остановились. Яхта выглядела старомодной и комфортабельной, и Уэсли было приятно, что она содержится в чистоте и порядке.

— Они хорошо ее содержат, правда? — спросил он у Кролика.

— Немцы. Такая чистота — прямо хоть на палубе ешь. Хочешь подняться на борт посмотреть? Они поставили автопилот.

— Нет,— покачал головой Уэсли.— И так достаточно. Я рад, что посмотрел на нее.

Они направились обратно к яхте Кролика, где к обеду жарилась рыба. Обедать они должны были втроем, так как Кролик подружился с девушкой, которая работала в маленьком магазинчике в порту и теперь обедала с Кроликом каждый день. Это была хорошенькая темноволосая девушка, она довольно прилично говорила по-английски; Кролик был от нее без ума и, насколько мог понять Уэсли, она — от Кролика. Она приходила на яхту и после работы, а иногда оставалась на ночь. Они собирались пожениться и вместе наняться на более крупное судно.

Обед был вкусный и сытный, с бутылкой холодного вина. Уэсли попросил Кролика никому не говорить, что он снялся в картине, которую будут показывать в Канне, но когда девушка — ее звали Надин — спросила Уэсли, чем он занимается, Кролик выпалил:

— Он, черт побери, киноактер. Как тебе это нравится — мой старый товарищ по плаванию?

Что ж, подумал Уэсли, если это только повышает шансы Кролика в глазах девушки, то ничего плохого тут нет.

— Это правда? — Надин смотрела на него недоверчиво.

— Правда. После того как картина выйдет, меня, возможно, будут считать бывшим киноактером.

— Вы что, меня разыгрываете? — спросила Надин.

— Сама убедишься,— сказал Кролик.— Он герой в кинокартине, которую будут показывать на фестивале.

— Не герой,— запротестовал Уэсли.— У меня там просто эпизодическая роль.

Надин пристально посмотрела на него.

— Я так и подумала, потому что уж слишком ты хорош собой, чтобы быть никем. Со мной работает одна девушка,— продолжала Надин,— моя лучшая подруга, удивительно милая, она просто с ума сходит по кино. Привести ее сегодня на ужин?

— Я пробуду в Сен-Тропезе недолго,— сказал Уэсли смущенно. Помня обещание Элис приехать на две недели в Европу, он не хотел, чтобы его соблазнила удивительно милая французская девушка.

— Она хорошо говорит по-английски.

— Видите ли, у меня сегодня свидание.— Это был пятый день его пребывания здесь, и он хотел встретить Билли в гостинице, когда тот появится.

— А как насчет завтрашнего вечера? — настаивала Надин.

— Завтра вечером я, наверное, буду в Канне. Как-нибудь в другой раз.

— А если мы приедем в Канн,— спросила Надин,— ты сможешь достать нам билеты на твою картину?

— Наверно, смогу. Кролик будет знать, где я остановился. «Черт побери,— подумал Уэсли,— только мне не хватает, чтобы две французские девицы висели у меня на шее, когда я налечу на этого сукина сына Дановича».

— А ты не забудешь? — спросила Надин, собираясь возвращаться в свой магазинчик.

— Не забуду,— солгал Уэсли.

Надин поцеловала Кролика, и они с Уэсли посмотрели вслед ее точеной маленькой фигурке, танцующей походкой быстро удалявшейся по набережной.

— Как она тебе? — спросил Кролик. Раньше он этот вопрос задать не решался.

— Очень хорошенькая.

— Ты считаешь, слишком легкомысленна, чтобы стать хорошей женой? — тревожно спросил Кролик.

— Она славная,— сказал Уэсли. Он не хотел брать на себя ответственность за такое серьезное дело, как женитьба Кролика.— Я ведь ее почти не знаю.

— Я тебе вот что скажу: с твоей внешностью и твоими киношными делами, да с тем, чему ты научился у отца, держу пари, ты теперь в сто раз лучше меня разбираешься в женщинах. У меня это всегда было слабым местом, и я боюсь ошибиться.— Он помолчал.— Тебе не показалось, что она с тобой вроде немного заигрывала?

— Ну, что ты, Кролик,— удивился Уэсли.

— Я бы не хотел связать себя с женщиной, которая строит глазки моим друзьям.

— Ты зря волнуешься. Она мне и ресницей не моргнула.

— Рад слышать. Ну, а как насчет тебя?

— Что насчет меня?

— Ты ведь приехал на Лазурный берег не только повидаться со старым приятелем и посмотреть какую-то там дурацкую картину...

— Ну, что ты придумываешь. Я только...

— Ничего я не придумываю,— сказал Кролик.— Я просто хорошо тебя знаю. Знаю, когда ты в хорошем настроении. Знаю, когда тебя одолевает беспокойство. Сейчас ты что-то скрываешь. Я все время за тобой незаметно наблюдаю, и ты мне не нравишься, Уэсли.

— Чепуха все это,— сказал Уэсли резко.— Что ты охаешь, как старая баба.

— Одно я знаю точно: твоему отцу очень не хотелось бы, чтобы ты попал в беду, особенно из-за этого Дановича. Ты слушаешь меня, Уэсли?

— Слушаю.

— Он любил тебя и больше всего на свете хотел, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Того же хочу и я. У меня нет желания навещать тебя в тюрьме или в больнице или опознавать в морге.

— Не заставляй меня жалеть, что я приехал с тобой повидаться.

— Плевать мне, если ты меня вообще больше не увидишь,— сказал Кролик,— лишь бы вколотить в твою башку хоть что-то разумное. У тебя впереди прекрасная жизнь — не губи ее. Твоего отца нет в живых, и ничего теперь не поделаешь. Уважай его память — вот все, о чем я тебя прошу.

— Мне пора возвращаться в гостиницу,— сказал Уэсли.— Я жду звонка.

Кролик остался на корме, а Уэсли под его осуждающим взглядом сел на взятый напрокат одноцилиндровый мопед и с треском помчался по направлению к своему отелю.

■ ■ ■

Подъехав к отелю, он увидел на стоянке «пежо» с откидывающимся верхом.

— Вас в баре ожидает какой-то джентльмен,— сказал ему портье, отдавая ключ от номера.

В пустом баре Билли в одиночестве потягивал пиво. Он сидел ссутулившись и казался маленьким и несчастным. Костюм его был помят, а спутанные ветром волосы так и остались непричесанными. После поездки в открытой машине в Париж, а затем сюда лицо его, и без того смуглое, стало еще темнее. Похож на араба, решил, подходя к нему, Уэсли. Билли встал, и они обменялись рукопожатиями.

— Ну, кузен, давно бы пора приехать,— сказал Уэсли.

— А по-другому ты разговаривать не умеешь? — спросил Билли раздраженно.

— Пошли ко мне,— сказал Уэсли, кинув взгляд на бармена, который у другого конца стойки чистил лимоны.— Поговорим там.

— Подожди, я допью. К тому же тебе и самому кружка пива не помешала бы.

— Мне многое не помешало бы. Допивай быстрее.

Билли огляделся.

— Хороший отель. Стоит, наверное, кучу денег.

— Я же собирался пробыть здесь всего дня два, а не весь сезон. Ну что, допил свое пиво?

— Допил, но надо еще заплатить.

— Запишите на мой счет,— бросил Уэсли бармену.

— Спасибо,— сказал Билли, выходя вслед за Уэсли из бара.

— Это самое малое, что я могу сделать,— с издевкой заметил Уэсли,— для моего верного кузена.

В номере Уэсли сразу же набросился на Билли.

— Достал? — резко спросил он.

— Сейчас я тебе все объясню. Человек, который его для меня хранил, скрывается от полиции. В Париже его нет, и его девчонка сказала, что не знает, где он. Но он будет ей звонить и...

— Когда? Когда он собирается ей звонить?

— Она точно не знает. Наверное, скоро.

— Скоро? В День независимости? Или, может быть, на рождество?

— Какого черта ты так со мной разговариваешь? Я сделал все, что от меня зависело.

— По-моему, ты врешь, Билли,— сказал Уэсли ровным тоном.

— Почему ты всех подозреваешь? Я ведь сам вызвался помочь тебе, правда? Никто меня не заставлял под дулом пистолета. Я изо всех сил старался.

— Врешь! Ты ведь знаешь, где этот пистолет... если он вообще существует...

— Он существует. Клянусь тебе.

— Тогда ты скажешь, где он находится. Сейчас же.— И Уэсли, как кошка, прыгнул на Билли и принялся его душить. Билли отчаянно сопротивлялся, но Уэсли был тяжелее его на сорок фунтов. Они молча продолжали бороться. Потеряв равновесие, Билли упал, и Уэсли придавил его коленом. Лицо его по-прежнему было спокойно, цепкие, как у маньяка, руки сдавили горло Билли. И только когда Билли уже начал терять сознание, Уэсли чуть разжал пальцы.

— Ты скажешь или нет?

— Отпусти.— Билли задыхался.— Ты мог меня задушить.

— Вполне вероятно.— Руки Уэсли снова начали сдавливать его горло.

— Рудольф... Он в Сен-Поль-де-Вансе... отель «Коломб д'Ор». Отпусти!

Уэсли медленно разжал руки и встал. Он помог Билли подняться, и Билли повалился на стул, ощупывая руками шею.

— Откуда взялся дядя Рудольф? Только без вранья.

— Я позвонил ему в Нью-Йорк. Я подумал, что уж если кто может тебе помочь, так это он. Исключительно ради тебя. Ты ведь не думаешь, что я о себе беспокоился?

— Струсил,— презрительно сказал Уэсли.— И позвал на помощь Санта-Клауса. Мне следовало бы это предвидеть. Чего еще, черт возьми, можно ожидать от теннисиста?

— Отправляйся теперь в Сен-Поль-де-Ванс, кровожадный идиот, и попытайся придушить дядю Рудольфа.

— Может быть, так и сделаю. А ты катись отсюда. И чтоб я тебя не видел, не то пожалеешь.

— Больше я к тебе без ножа не подойду,— сказал Билли, вставая.— Предупреждаю.

— Спасибо. Буду иметь в виду.

В дверях Билли обернулся.

— Еще одно слово. Что бы ты ни думал, я — твой друг.

Уэсли надменно кивнул, и Билли вышел из номера.

Снизу он позвонил в Сен-Поль-де-Ванс и рассказал Рудольфу, что произошло.

— О господи,— сказал Рудольф.— Неужели он в таком скверном состоянии?

— Даже хуже,— сказал Билли.— Лишился рассудка. Вы лучше переезжайте в другой отель, а то он и вас начнет душить.

— Никуда я переезжать не стану,— спокойно сказал Рудольф.— Пусть приходит.

— Только не встречайтесь с ним наедине,— сказал Билли, восхищаясь дядиным спокойствием.

— Я готов встретиться с ним так, как он пожелает.

— Вы что-нибудь придумали?

— Возможно.

— Я бы на вашем месте все же отделался от той вещицы до его приезда. Бросьте ее в море.

— Нет,— задумчиво сказал Рудольф,— я думаю, этого не стоит делать. Она в ближайшем будущем может пригодиться.

— Желаю удачи.

— Увидимся на следующей неделе на фестивале в Канне. Я заказал для всех нас номера в отеле «Мажестик». Ты — в одном номере с Уэсли. Но при сложившихся обстоятельствах...— он усмехнулся,— придется поместить тебя на другом этаже.

— Вы все успеваете предусмотреть,— с сарказмом сказал Билли.

— Почти все,— ответил Рудольф.

Билли повесил трубку и, подойдя к стойке портье, сказал:

— Пожалуйста, запишите этот разговор на счет мистера Джордаха.

Уэсли не позвонил ни в этот день, ни на следующий. Зато позвонил адвокат из Антиба.

— У меня есть кое-какие новости,— сказал он.— Человек, к которому я намеревался обратиться по поводу вашего дела, в настоящее время сидит в тюрьме. Но через две недели он выйдет и вернется домой в Марсель. Я с ним свяжусь и сообщу ему, где он сможет вас найти.

— Я буду в отеле «Мажестик» в Канне,— сказал Рудольф.

— Извините за задержку.

— Ничего не поделаешь. Благодарю вас за труды. Я буду ждать звонка.

«Ничего не поделаешь,— подумал Рудольф, вешая телефонную трубку.— Хороший заголовок для истории моей жизни. Ничего не поделаешь».

10

Рекламный агент «Комедии реставрации» напечатал статью о Гретхен — женщине, чья первая режиссерская работа должна была вместе с другими фильмами представ-

лять американское киноискусство на Каннском фестивале. Поэтому, когда самолет Гретхен приземлился в аэропорту Ниццы, ее уже ждали фотографы. Они снимали, как Гретхен выходит из самолета, как встречается с Билли и Рудольфом. Гретхен крепко обняла и поцеловала сына, едва удерживаясь от слез.

— Сколько времени прошло,— прошептала она.

Билли был смущен проявлением материнских чувств в присутствии фоторепортеров и мягко, но решительно высвободился из объятий матери.

— Мама,— сказал он,— давай отложим эту семейную сцену на потом.

Ему вовсе не улыбалась перспектива появиться на страницах газет чуть не задушенным родственными объятиями, независимо от того, пойдет ли такая фотография на пользу картине или нет.

Гретхен отступила, и ее губы плотно сжались в столь хорошо знакомую Билли тонкую, холодную линию.

— Билли,— сказала она официальным тоном,— разреши мне представить тебя мистеру Доннелли, нашему художнику.

Билли пожал руку рыжебородому молодому человеку.

— Очень рад познакомиться, сэр,— сказал он. Еще один. Она никак не может от них отказаться. Он отметил, с каким покровительственным видом собственника Доннелли держал мать под руку, когда они проходили через небольшую толпу, образовавшуюся у выхода из таможенного зала. Во время этой встречи — первой за столько лет — Билли собирался быть нежным и чутким, но вид матери, как всегда красивой, в шикарном светло-голубом дорожном костюме, под руку с человеком не намного старше его самого, вызвал у него раздражение.

Однако ему стало стыдно, что он позволил этому чувству одержать верх. В конце концов, мать взрослый человек и что она делает в свободное время и кого выбирает — это ее личное дело. Поэтому сейчас, идя с ней к машине, он нежно сжал ее руку, как бы извиняясь за недавнее замечание по поводу семейной сцены. Она удивленно взглянула на него, а затем радостно улыбнулась и сказала:

— Нас ждут чудесные две недели.

— Надеюсь. Мне не терпится поскорее посмотреть твою картину.

— Тем, кто ее видел, она как будто нравится.

— Мало сказать нравится,— вмешался в разговор Рудольф.— Все просто в восторге. Мне уже предложили продать мою долю в картине со стопроцентной прибылью, но я отказался.

— Преданный братец,— весело сказала Гретхен, но тут же нахмурилась.— Руди, ты плохо выглядишь. У тебя такой вид, словно ты ночи напролет не спишь. В чем дело?

— Ни в чем,— смущенно рассмеялся Рудольф.— Наверное, слишком подолгу засиживаюсь в казино.

— Честно говоря, я огорчена,— сказала Гретхен, пока носильщик и шофер укладывали чемоданы в машину.

— Чем?

— Что Уэсли не приехал меня встретить.

Рудольф и Билли переглянулись.

— Разве он не в одном с нами отеле? — спросила Гретхен.

— Нет,— сказал Рудольф.

— Но он ведь в Канне? После показа картины газеты и телевидение будут рвать его на части. Он должен вести себя как актер, даже если он таковым себя не считает.

— Гретхен,— осторожно сказал Рудольф,— мы не знаем, где он сейчас. Он был в Сен-Тропезе — это последнее, что о нем известно, но потом куда-то исчез.

— Что это значит?

— Да ничего,— солгал Рудольф.— Ты не беспокойся. Я уверен, он появится.

— Да, уж лучше ему появиться,— сказала Гретхен, садясь с Доннелли в машину.— А то мне придется объявить розыск.

Из-за багажа в машине не осталось места для Рудольфа, и они с Билли направились на стоянку к «пежо».

— Надо срочно придумать для нее какое-то объяснение,— сказал Рудольф.

— На этот раз придумывайте сами,— сказал Билли.— То, что я придумал в последний раз, чуть не стоило мне жизни.

— Может быть, увидев в газете фотографию Гретхен, он объявится. Во время съемок он очень к ней привязался.

— Я знаю. Он мне рассказывал. Сейчас его занимает только одно — как найти некоего югослава.— Билли с любопытством посмотрел на Рудольфа.— У вас есть какие-нибудь новости?

— Возможно, будут через несколько дней.

— Вы по-прежнему не хотите сказать мне, что вы затеяли?

— Нет,— решительно ответил Рудольф.— И не выпытывай.

Некоторое время Билли молчал, сосредоточенно следя за дорогой. По случаю приезда матери он вымыл машину и надел чистый, отутюженный костюм. Ему было жаль, что отсутствие Уэсли омрачило встречу.

— Надеюсь, что он не испортит матери этот торжественный момент в ее жизни. В аэропорту она была в отличном настроении. И сегодня она очень красивая, правда?

— Очень.

— А что у нее с этим Доннелли? — Билли повернул голову и посмотрел на Рудольфа.

— Ничего, насколько мне известно,— ответил Рудольф довольно резко.— Они хорошо поработали вместе, а сейчас мы с ним затеяли одно дело. И здесь тоже ничего не выпытывай.

— Я просто спросил,— сказал Билли.— Естественное беспокойство сына о матери. А что он за парень?

— Отличный парень: талантливый, честолюбивый, честный, пьющий.

— К этому она уже должна была привыкнуть за время жизни с отцом. Я говорю про пьянство.

— Твоего отца она тоже приглашала сюда. Но у него теперь какая-то новая работа, и он не может уехать из Чикаго. Возможно, он наконец взял себя в руки.

— Не уверен. Хватит и того, что он сделал для своего сына одну полезную вещь.

— Что же именно?

— Привил мне отвращение к пьянству.— Билли усмехнулся.— Послушайте, у меня идея. Не по поводу родителей, а насчет Уэсли.

— Какая же?

— Вы, конечно, знаете, что полиция собирает карточки, которые заполняют при въезде в гостиницу...

— Да.

— У Уэсли здесь, в Канне, наверняка нет знакомых, остановиться ему не у кого, так что скорее всего он живет в гостинице. Можно пойти в полицию и узнать. В конце концов, он же играет в фестивальной картине... скажем, что его разыскивают, чтобы взять интервью и сфотографировать...

— Нет, этого делать нельзя. Чем меньше полиция будет интересоваться Уэсли, тем лучше для всех. Нам придется искать его самим. Поброди в районе порта, зайди в ночные клубы, вообще посматривай по сторонам. А матери пока скажи, что он стесняется — не хочет никакой шумихи до показа картины, ему кажется, что он не очень хорошо сыграл и над ним будут смеяться, а потому старается не показываться на людях...

— Вы думаете, она на это клюнет? — с сомнением спросил Билли.

— Возможно. Она знает, что парень он странный, и, вероятно, скажет, что этого от него и следовало ожидать.

— Меня только удивляет,— сказал Билли,— что он не пришел к вам и даже не позвонил.

— Я был почти уверен, что он этого не сделает. Того, что он ищет, от меня он никогда не получит, и ему это прекрасно известно.

— А пистолет еще у вас? — спросил Билли.

— У меня.

Билли снова усмехнулся.

— Держу пари, вы единственный человек на фестивале, у кого в номере лежит пистолет с глушителем.

— От такого преимущества я бы с радостью отказался,— мрачно заметил Рудольф.

Когда они проезжали по набережной Круазетт в Канне, среди афиш фестивальных фильмов Рудольф увидел афишу «Комедии реставрации» с фамилией Гретхен.

— Теперь,— шутливо сказал Билли,— плюс ко всем другим заботам мне еще предстоит научиться быть сыном знаменитой матери. Что же мне говорить, если у меня будут брать интервью и спрашивать, каково это?

— Говори, что это потрясающе.

— Следующий вопрос, мистер Эббот. Не считаете ли вы, что ваша мать приносила вас в жертву ради своей карьеры? Ответ: только последние десять—пятнадцать лет.

— Так ты можешь шутить со мной,— резко сказал Рудольф,— но больше ни с кем. Надеюсь, тебе это понятно?

— Да, сэр. Конечно, я валял дурака.

— Во всяком случае, пока она еще не знаменита, и вообще в таких местах сегодня ты знаменит, а завтра — нет. У твоей матери сейчас время сложное и напряженное, и мы должны быть к ней очень внимательны.

— Я буду поддерживать ее, как могучий дуб, и она не узнает своего непослушного сына и будет с изумлением на меня взирать.

— Хоть ты и не пьешь, как твой отец, Билли, но ты, по-видимому, унаследовал его способность производить впечатление человека, который ни к чему не относится серьезно.

— Это просто защитный прием, передаваемый от отца к сыну, чтобы скрыть от постороннего взгляда нежную и трепетную душу.

— Пусть она хоть изредка проглядывает наружу. Это тебя не погубит.

Когда они вошли в холл гостиницы, Рудольф спросил, нет ли для него каких-либо известий. Нет, ничего не было.

В глубине холла сидела Гретхен, окруженная журналистами и фотографами. Главные знаменитости в Канн еще не прибыли, и рекламный агент «Комедии реставрации» старался максимально использовать это время. Гретхен говорила хорошо, улыбалась и, по-видимому, чувствовала себя прекрасно.

Заметив их, она сделала им знак подойти, но Билли отрицательно покачал головой.

— Я ухожу,— сказал он Рудольфу,— пройдусь по порту и поищу нашего пропавшего ангелочка. Скажите матери, что я ее люблю, но у меня дела.

Рудольф подошел к Гретхен, и она представила его как своего брата и одного из тех, кто финансировал картину. Куда отправился Билли, она не спросила. Когда один из фотографов попросил Гретхен стать рядом с Рудольфом, он спросил ее, где Доннелли.

— Догадаться нетрудно,— она улыбнулась Рудольфу, повернув лицо к фотографу.

Рудольф пошел в бар; там с мрачным видом, сгорбившись над стаканом виски, сидел Доннелли.

— Наслаждаетесь весельем и забавами знаменитого фестиваля? — спросил Рудольф.

Доннелли бросил на него сердитый взгляд.

— Не надо было мне сюда приезжать.

— Почему? — удивился Рудольф.

— Этот мальчишка, ее сын Билли, так на меня посмотрел в аэропорту...

— Вам показалось.

— Не показалось. Я боюсь, теперь он из-за меня устроит Гретхен веселую жизнь. Он что, ревнует?

— Нет. Вероятно, просто беспокоится: все-таки вы намного ее моложе, он боится, как бы ей потом не пришлось мучиться.

— Он вам это сказал?

— Нет,— признался Рудольф.— Он ничего не говорил.

— Она рассказывала мне о нем.— Доннелли допил виски и знаком велел барменну подать еще.— От него и в детстве была одна морока.

— Он сказал, что открывает в своей жизни новую страницу.

— В аэропорту в Ницце он не открывал никаких новых страниц — это уж точно. А где второй парень — этот Уэсли? Гретхен сказала, что они должны были вдвоем приехать на машине из Испании.

— Он здесь,— неопределенно ответил Рудольф.

— Где это «здесь»? — не отступался Доннелли.— Когда мы прилетели, его здесь

не было, а он, черт побери, должен был ее встретить после всего, что Гретхен для него сделала.— Он с жадностью отпил из стакана.— Держу пари, все это дело рук ее сыночка.

— Ну, зачем так нервничать из-за одного взгляда в аэропорту? Уверяю вас, все будет в порядке.

— Хотелось бы надеяться. Потому что, если он испортит своей матери и эти две недели, я сверну ему шею. Так и передайте. И скажите, что я сделал его матери предложение.

— И что же она ответила?

— Засмеялась.

— Поздравляю.

— Я настолько на ней помешался, что ничего не вижу кругом,— мрачно сказал Доннелли.

— Вы будете лучше видеть, если перестанете так налегать...— И Рудольф слегка постучал стаканом по стойке бара.

— Вы тоже решили меня перевоспитывать?

— По-видимому, Гретхен уже затрагивала эту тему?

— Конечно, затрагивала. Я обещал ей, что, если она за меня выйдет, я перейду на вино.

— И что она ответила?

— Опять засмеялась.

Рудольф улыбнулся.

— Желаю вам хорошо провести время в Канне.

— Постараюсь, но только если у Гретхен все будет о'кей. Между прочим, за день до нашего вылета из Нью-Йорка мне звонил адвокат и сказал, что, по его мнению, наше дело в Коннектикуте уладится до конца года.

— Вот видите, все складывается в нашу пользу, так что не надо сидеть с таким трагическим видом.

Рудольф дружески похлопал Доннелли по плечу и вышел из бара. Пресс-конференция в холле закончилась, но рекламный агент Симпсон еще собирал бумаги.

— Ну как, прошло нормально? — спросил его Рудольф.

— Прекрасно,— ответил он.— Она умеет их очаровать. Вы знаете, я был на просмотре в Париже и думаю, что одно из первых мест нам обеспечено.

Рудольф согласно кивнул, хотя, пожалуй, ни один рекламный агент на свете не признáет в первую неделю работы, что его клиента ждет провал.

— Мне хотелось бы, чтобы в газетах было побольше фотографий Уэсли.

— Никаких проблем,— сказал агент.— О нем уже и так все говорят, что он — чудо, и фотографии не повредят.

— Он сейчас тоже здесь, и если его начнут узнавать на улице, мы сразу его найдем. Тогда газетчики смогут взять у него несколько интервью еще до того, как картина будет показана.

— Будет сделано. Мне этот материал и самому пригодится.

— Спасибо,— сказал Рудольф и поднялся к себе в номер. Чемодан стоял на стуле — там, где он его оставил. Он набрал шифр и открыл его. Пистолет по-прежнему лежал на месте. Какой отвратительный предмет, подумал он, снова запирая чемодан. Он поймал себя на том, что заходит в номер и открывает чемодан не меньше десяти раз в день.

Он пошел в ванную и принял две таблетки успокоительного. С тех пор как он приехал в Париж, он находился в крайне возбужденном состоянии — у него даже появился нервный тик. Действия таблеток хватало на два часа.

Когда он вошел в спальню, зазвонил телефон. Он снял трубку, и женский голос произнес:

— Можно попросить мистера Рудольфа Джордаха?

— Я у телефона.

— Вы меня не знаете,— сказал женский голос.— Я знакомая Уэсли. Меня зовут Элис Ларкин.

— Да, Уэсли рассказывал мне о вас. Вы где сейчас?

— В Нью-Йорке. А Уэсли с вами?

— Нет.

— Вы не знаете, где он?

— В данный момент, к сожалению, нет.

— Он должен был позвонить мне еще на прошлой неделе,— сказала Элис.— Я хотела перенести свой отпуск и на несколько дней приехать в Канн. По-моему, с отпуском все будет в порядке, но мне хотелось бы знать, не переменились ли у него планы.

— Мне кажется, вам следует немного подождать, прежде чем принимать решение. Дело в том, что Уэсли куда-то исчез. Если он появится, я скажу ему, чтобы он вам позвонил.

— С ним ничего не случилось? — с беспокойством спросила она.

— Насколько мне известно, нет,— ответил Рудольф, взвешивая каждое слово.— Хотя утверждать не берусь. Он человек непредсказуемый.

— Что верно, то верно.— Теперь ее голос звучал сердито.— Во всяком случае, если вы его все-таки увидите, пожелайте ему от меня самого большого успеха.

— Непременно.— Он медленно положил трубку. Таблетки еще не подействовали. От этого одержимого можно сойти с ума. «Может,— подумал он,— когда я его найду, отдать ему этот проклятый пистолет и умыть руки?» Рудольф подошел к окну и посмотрел на море — синее и спокойное. Внизу на набережной Круазетт гуляли люди; над их головами светило солнце и весело хлопали на ветру флаги фестиваля. «Счастливцы,— подумал Рудольф, глядя на пеструю толпу.— Поменяться бы с кем-нибудь из них местами!»

■ ■ ■

Билли вернулся в свой номер, когда уже стемнело. Весь день он мотался по старому порту, рассматривал яхты, заходил в бары и рестораны. Уэсли нигде не было. Он позвонил матери в гостиницу, но телефонистка ответила, что миссис Бэрк просила ни с кем ее не соединять. Наверное, в постели со своим бородачом. Лучше уж об этом не думать.

Он разделся и принял душ. После долгого жаркого дня это было настоящее блаженство — стоять под острыми струйками холодной воды, забыв обо всем на свете и чувствуя лишь их приятное покалывание.

Когда он выходил из душа, в дверь номера постучали. Билли обмотал вокруг бедер полотенце и, оставляя на ковре мокрые следы, подошел к двери. Перед ним стояла улыбающаяся Моника.

— О! — выдохнул Билли.

— Я вижу, ты готов к приему гостей,— сказала она.— Можно войти?

Он бросил взгляд в коридор, проверяя, одна ли она.

— Не беспокойся, это просто светский визит. Со мной никого нет.— Она проскользнула в номер, и Билли закрыл дверь.— Ну и ну,— сказала она, оглядывая огромную, красиво обставленную комнату.— Мы растем! Это совсем не то, что в Брюсселе. Капитализм тебе к лицу, мой мальчик.

— Как ты меня нашла? — спросил Билли, пропустив мимо ушей ее слова относительно Брюсселя.

— Очень просто. На этот раз ты оставил свой новый адрес.

— Постараюсь избегать подобной ошибки в дальнейшем. Что тебе надо?

— Мне просто хотелось с тобой повидаться.— Она села, скрестив ноги, и улыбнулась ему — Ты не возражаешь, если я закурю?

— А если я скажу что возражаю?

— Я все равно закурю.— Она засмеялась, вынула из сумочки сигарету, но огня к ней не поднесла.

— Пойду оденусь. Я не привык принимать посторонних дам в голом виде.— Он направился было в ванную, где висели его брюки и рубашка, но Моника, бросив сигарету, схватила его за руку.

— Не надо. Я вовсе не посторонняя. Кроме того, чем меньше на тебе надето, тем лучше ты выглядишь.— Она подняла голову и посмотрела на него.— Поцелуй меня.

Он попытался высвободиться, но она его крепко держала.

— Ну, и что ты теперь задумала? — спросил он резко, хотя уже почувствовал знакомое возбуждение.

— Все то же,— усмехнулась она.

— В Испании того же не было,— заметил он, проклиная внезапно возникшее желание.

— В Испании я была занята другими делами. И к тому же я туда приехала не одна, если ты помнишь. Теперь я одна, ничем не занята и все будет по-старому. Я, кажется, тебе как-то говорила, что «новые левые» меня не удовлетворяют. С тех пор ничего не изменилось.

— О господи! — Он был уверен, что в конечном счете пожалеет об этом.— Пойдем в постель.

— В общем-то за этим я и пришла.— Она встала, и они поцеловались.— Я по тебе скучала,— прошептала она.— Иди ложись, я разденусь.

Он лег, не снимая обмотанного вокруг бедер полотенца. Моника через голову сдернула платье. Он закрыл глаза. Один последний раз, подумал он, в конце концов какого черта? Этажом выше мать, по-видимому, занимается тем же. Он слышал, как Моника босиком идет к кровати. Щелчок выключателя — она погасила свет. Билли отбросил полотенце. Она упала на него с тихим стоном, и он крепко ее обнял.

■ ■ ■

Он лежал на спине в душной темной комнате, а Моника уютно устроилась рядом, положив голову ему на плечо. Он вздохнул:

— Лучше не бывает. Все, кто согласен, пусть скажут «да».

— Да,— сказала Моника.— Теперь не забывай оставлять свой адрес.

— Не забуду,— сказал он, хотя не был уверен, что говорит правду. Она заставила его пройти через слишком многое, и единственным местом, где, находясь с нею, он чувствовал себя в безопасности, была постель.— А у тебя какой сейчас адрес?

— Зачем он тебе?

— Вдруг я буду проходить мимо твоего отеля, и меня охватит внезапное и неодолимое желание.

— Когда неодолимое желание возникнет у меня, я навещу тебя здесь. Я не хочу, чтобы меня видели с тобой. Ты будешь достаточно часто меня видеть, но только в этой комнате.

— Черт побери! — Он высвободил руку и сел.— Почему инициатива должна всегда исходить от тебя?

— Потому что я люблю действовать таким образом.

— Действовать! Мне не нравится это слово.

— Придется привыкнуть, милый,— сказала Моника. Она тоже теперь сидела и искала сигареты на тумбочке у кровати. Вынув из пачки сигарету, она чиркнула спичкой, и пламя осветило ее лицо и глаза.

— Ты ведь, кажется, сказала, что сейчас свободна.

— Свободное время тоже когда-нибудь кончается.

— Если ты не скажешь, где я могу тебя разыскать, то это последняя наша встреча.

— Мы увидимся здесь,— сказала она, затягиваясь,— завтра в это же время.

— Сука.

— Меня всегда поражал твой лексикон.— Она встала и начала в темноте одеваться.— Между прочим, сегодня днем около одного отеля я видела твоего двоюродного брата. Того самого парня, с которым ты играл в теннис.

— Да? Кто тебе сказал, что он мой двоюродный брат?

— Я нашла его в справочнике «Кто есть кто».

— Как всегда, очень остроумно. Около какого отеля ты его видела?

— А разве он живет не с вами? — не сразу спросила Моника.

— Нет. Так около какого отеля мы должны его разыскивать?

— Кто это мы?

— Ладно, оставим это.

— Видишь ли, я забыла название отеля.

— Ты врешь.

— Может быть,— засмеялась она.— Вот если ты, как хороший мальчик, будешь завтра вечером меня здесь ждать, я могу и вспомнить.

— Ты с ним разговаривала?

— Нет. Меня интересует другой член семьи.

— Боже мой,— сказал Билли,— как ты умеешь осложнять секс.

— Секс? Когда-то ты называл это любовью.

— Это было давно,— мрачно сказал Билли.

— Пусть будет по-твоему, мальчик.— Она бросила сигарету, подошла к постели, нагнулась и поцеловала его.— Спокойной ночи, мальчик. Мне пора.

Когда дверь за ней закрылась, Билли откинулся на подушки и уставился в темный потолок. Новая проблема — говорить ли Рудольфу, что Уэсли сегодня видели в городе возле отеля, названия которого он не знает, хотя завтра может выяснить. Но тогда придется объяснять, откуда он это узнал и почему надо ждать до завтра. А объяснить что-либо, не упоминая имени Моники, он не мог. Он с раздражением покачал головой. У Рудольфа и без Моники хватает забот.

Зазвонил телефон. Это был Рудольф, который сказал ему, что через полчаса они все встречаются перед ужином в баре внизу. Повесив трубку, Билли пошел в ванную и снова принял душ. Интересно, что делает мать — может быть, тоже принимает душ?

11

— Нет,— говорила Гретхен,— я не хочу ничего устраивать. Я устала, хорошо бы лечь и не вставать по крайней мере двое суток.— Она сидела в гостиной своего номера вместе с Доннелли и Рудольфом.

Рудольф предложил после просмотра картины устроить праздничный ужин для членов жюри, представителей главных прокатных компаний и журналистов, с которыми у Гретхен и Рудольфа установился контакт. Чем меньше оставалось дней до показа фильма на фестивале, тем больше Гретхен волновалась, и такой вечер мог бы снять напряжение.

— Будь здесь кто-нибудь еще помимо нас троих,— сказала Гретхен,— тогда, может, и стоило бы что-то устроить. Я не хочу одна принимать все почести, если они будут, а уж лицезреть в одиночку вытянутые лица, если картина провалится, и вовсе ни к чему. Вот если бы здесь были Фрэнсис Миллер и Уэсли, я бы согласилась, но эта сучка так и не приехала, а Уэсли куда-то пропал, да и вообще я уже стара для таких сборищ...

— Отлично,— сказал Рудольф.— Мы просто поужинаем в узком кругу и поздравим друг друга.— Он взглянул на часы.— Уже поздно. Ложись и постарайся заснуть.— Он поцеловал Гретхен и направился к двери.

— Я — с вами,— сказал Доннелли,— мне тоже надо выспаться. Если, конечно, Гретхен не хочет, чтобы я остался.

— Нет, спасибо,— сказала Гретхен.— Увидимся утром.

— Мне надо поговорить с вами, Руди,— сказал Доннелли по дороге к лифту.— Я беспокоюсь. Она очень тяжело все это переносит. Не спит, принимает таблетки, плачет, когда рядом нет посторонних. Я просто не знаю, как ее успокоить.

— Хорошо быть женщиной,— отозвался Рудольф.— Я бы сам с удовольствием поплакал.

— А я-то думал, что вы полны оптимизма,— удивился Доннелли.

— Это так и есть, тут дело не в картине.

— А в чем же?

— Как-нибудь потом расскажу.

— Я ничем не могу помочь?

— Можете. Заботьтесь о Гретхен.

— А что, если мы с ней после просмотра прокатимся на машине по окрестностям — все-таки она хоть на пару дней вырвется из этого сумасшедшего дома.

— Я — за,— сказал Рудольф,— если вам удастся ее уговорить.

— Завтра утром попробую.

— Прекрасно,— сказал Рудольф. Дверь лифта открылась.— Спокойной ночи, Дэвид. Отдыхайте.— Доннелли пошел обратно по коридору и остановился перед дверью Гретхен. Он поднял было руку, чтобы постучать, но раздумал. Сегодня ей, наверное, лучше спать одной. Он вернулся к лифту и спустился в бар. Когда бармен спросил, что он будет пить, он ответил не сразу. И все-таки заказал виски с содовой. Вино пока подождет.

Открывая дверь номера, Рудольф услышал настойчивый звонок телефона. Он поспешно снял трубку.

— Мсье Джордах? — спросил мужской голос.

— Да.

— L'avocat d'Antibes m'a dit que vous voulez me parler . . .[1]

— Вы говорите по-английски? — спросил Рудольф. Если это тот самый человек, то надо, чтобы он понял каждое слово.

— Говорю немного.— У него был низкий грубый голос.— Адвокат в Антибе сказал, возможно, у нас будет маленький бизнес вместе...

— Когда мы можем встретиться?

— Сейчас,— ответил мужчина.

— Где?

— A la gare. Вокзал. Я буду у стойки в буфете.

— Я приеду через десять минут,— сказал Рудольф.— Как я вас узнаю?

— Я одет в синие брюки,— сказал человек,— пиджак коричневый, я — маленький, с великий живот.

— Договорились,— сказал Рудольф.— Через десять минут.— Он повесил трубку. Синие брюки, коричневый пиджак, большой живот. В конце концов, красота и умение одеваться сейчас не самое главное. Он отпер чемодан, заглянул в него. Пистолет на месте. Он закрыл чемодан, запер его и вышел.

Спустившись вниз, он вошел в комнату кассира за стойкой портье и попросил открыть его сейф. Банк в Нью-Йорке прислал ему десять тысяч долларов, и Рудольф перевел их во франки. Он знал: то, что произойдет — хорошее или плохое,— будет стоить денег. Он оглядел аккуратные пачки банкнот, задумался и взял пять тысяч франков. Остальные пачки он оставил в сейфе и запер его. Потом вышел из гостиницы, сел в такси и сказал: «La gare». По пути на вокзал Рудольф старался ни о чем не думать. Расплачиваясь, он неловко вытащил из кармана несколько десятифранковых бумажек. Когда он брал сдачу и давал таксисту чаевые, руки его дрожали.

Толстяка, человечка в синих брюках и коричневом пиджаке, он увидел возле стойки бара. Перед ним стоял стакан с пастисом.

— Добрый вечер, мсье,— сказал Рудольф, подходя ближе.

Человек обернулся и окинул Рудольфа оценивающим взглядом. Он был темноволосый, с жирным лицом, маленькими, глубоко посаженными черными глазками и толстыми, мокрыми губами. Нелепая светло-голубая кепочка сидела у него на затылке, открывая выпуклый морщинистый лоб. При других обстоятельствах Рудольф не доверился бы такому человеку.

— Может, пойдем пройдемся,— сказал человечек.— Здесь сильный свет — это вредно глазам.

Они пошли по узкой, темной и пустынной улочке, где ничто не напоминало о яркой многолюдной шумихе фестиваля.

— Я слушаю предложение.

— Вы знаете человека по фамилии Данович? — спросил Рудольф.— Югослав.

Человечек молча прошел еще шагов десять и покачал головой.

— Может, знаю под другая фамилия. А где, по-вашему, он?

— Скорее всего, в Канне,— сказал Рудольф.— Последний раз его видели в ночном клубе «Розовая дверь».

— Плохое место,— кивнул человечек.— Очень плохое.

— Верно.

— Если я найду его, что будет?

— Вы получите определенную сумму, если с ним разделаетесь.

— Что значит — разделаетесь?

— Убьете.— «Господи боже,— подумал Рудольф,— я ли это говорю?»

— Compris[2],— сказал человечек.— Теперь будем говорить про деньги. Сколько это — определенная сумма?

— Скажем, пятьдесят тысяч франков, или примерно десять тысяч долларов, если вы хотите получить в долларах.

— А сейчас задаток какой? Чтобы искать?

— У меня с собой пять тысяч франков,— сказал Рудольф.— Можете их взять.

Человечек остановился и протянул короткую толстую руку.

— Я берет деньги сейчас.

---

[1] Адвокат из Антиба сказал, что вы хотите со мной поговорить *(франц.)*.

[2] Понятно *(франц.)*.

Рудольф достал бумажник и вынул деньги. Его спутник тщательно пересчитал их в тусклом свете уличного фонаря. «Интересно, что он скажет, если я попрошу у него расписку». При этой мысли Рудольф чуть не рассмеялся. В мире, с которым он сейчас имеет дело, есть только одна гарантия — месть.

Человечек запихнул банкноты во внутренний карман пиджака.

— Когда я найдет его,— сказал он,— сколько я получит?

— До или после... работы?

— До.

— Двадцать тысяч,— сказал Рудольф.— Это будет ровно половина.

— D'accord[1],— сказал человек.— А как я получит остальное?

— Как вам будет угодно.

Человечек немного подумал.

— Когда я скажет, что нашел его, вы передадите адвокату двадцать пять тысяч. Адвокат читает в «Нис-матэн», что с этим человеком... как это вы называет?

— Разделались,— сказал Рудольф.

— Так вот, разделались, и мой друг идет к адвокат и берет деньги. По рукам? — И он протянул Рудольфу руку.

Рудольф в своей жизни скреплял рукопожатием множество сделок, а потом праздновал их заключение. На этот раз никакого празднования не будет.

— Будьте близко от телефон,— сказал человечек, повернулся и быстро зашагал в сторону от вокзала.

Глубоко вздохнув, Рудольф медленно пошел на набережную Круазетт в свой отель. Он думал о тех двух бандитах, которые напали на него в Нью-Йорке и пришли в ярость, обнаружив в карманах у такого богатого человека всего несколько долларов. А что, если кому-нибудь взбредет в голову ограбить его на темных улицах Канна? Обшарив его карманы, они сразу же его прикончат. Оставшихся при нем денег только-только хватило бы на такси до гостиницы.

■ ■ ■

Билли проснулся от стука в дверь. Еще не стряхнув с себя сон, он встал, подошел к двери и открыл ее. Перед ним стояла Моника. Она быстро вошла, он закрыл за ней дверь и включил лампу.

— Привет,— сказал Билли.— Я все думал, когда же ты снова появишься? — После ее визита прошло четыре дня.

— Ты по мне скучал? — Она сбросила плащ и, улыбаясь, села на смятую постель.

— Я тебе расскажу потом. Сколько сейчас времени?

— Двенадцать тридцать.

— У тебя странное расписание.

— Лучше поздно, чем никогда. Разве ты не согласен?

— Об этом я тоже скажу тебе потом. Мне дневное время нравится больше.

— Ты стал таким европеизированным.

— А ты-то чем днем занимаешься?

— Любопытство до добра не доведет,— с притворной скромностью улыбнулась Моника.

— Я вижу, у тебя сегодня вечер избитых фраз. Ты вспомнила название отеля, возле которого видела моего двоюродного брата?

— Я очень стараюсь вспомнить. Иногда мне кажется, что оно вот-вот слетит у меня с языка.

— Иди ты...— сказал Билли.

— Какое прелестное выражение.— Она бросила сигарету и втоптала ее в ковер. Билли передернуло. Одеваться она научилась, но манера вести себя дома оставалась на брюссельском уровне. Она встала, подошла к нему, обняла и поцеловала. В нем тут же вспыхнуло желание. Он пытался думать о другом — не пора ли сменить масло в машине, не пойти ли завтра поиграть в теннис и не отдать ли погладить смокинг, который ему придется надеть через два дня на вечерний просмотр «Комедии реставрации»,— но это не помогало.

---

[1] Согласен *(франц.)*.

— Пойдем ляжем,— пробормотал он.

— А я-то все думала, когда же ты наконец это скажешь.— И она засмеялась, уверенная в своей власти над ним.

Час спустя она сказала:

— А ночью тоже неплохо, правда?

Он поцеловал ее в шею, но она высвободилась из его объятий и встала.

— Мне пора.

— Почему, черт возьми, ты не можешь остаться на ночь? Ну, хоть один раз

— Не могу. Существует более ранняя договоренность.— Она оделась и, расчесывая перед зеркалом волосы, сказала: — Кстати, мы решили получить с тебя долг.

По его телу пробежала холодная дрожь, и он натянул на себя одеяло.

— Что ты имеешь в виду? — спросил он, стараясь сохранить спокойствие.

— Парижский долг,— сказала она.— Ты о нем помнишь, надеюсь?

Он ничего не ответил и продолжал лежать, не шевелясь.

— Вот что ты должен сделать,— продолжала она, расчесывая спутанные волосы.— Послезавтра к шести вечера ты придешь в бар «Вуаль вер» на улице Антиб. Там увидишь человека с журналами «Экспресс» и «Нувель обсерватёр». Ты сядешь за его столик и закажешь бокал вина. Он достанет из-под стола шестнадцатимиллиметровую кинокамеру.

— Только на самом деле это будет не шестнадцатимиллиметровая кинокамера,— с горечью сказал Билли.

— Ты умнеешь.

— Да прекрати ты, ради бога, причесываться!

— С этой камерой ты войдешь во Дворец фестивалей, вынешь то, что в ней лежит, и спрячешь в укромном месте. Часовой механизм сработает в девять сорок пять.— Моника наконец положила гребенку и поправила рукой волосы, стараясь при этом увидеть себя в профиль.

— Ты что, спятила? — сказал Билли.— В девять сорок пять там будут показывать картину моей матери.

— Совершенно верно. Тебя никто не заподозрит. Там будет масса людей с камерами, и ты сможешь ходить по всему зданию, и никто тебя ни о чем не спросит. Вот почему тебя и выбрали для этого задания. Не беспокойся. Никто не погибнет.

— Иными словами, это будет милая безвредная бомбочка?

— Мог бы уже бросить свои шутки. В девять часов в полицию позвонят и сообщат, что в здании заложена бомба. За пять минут они очистят помещение. Мы не собираемся никого убивать, во всяком случае сейчас.

— Тогда зачем же все это? — спросил Билли, стыдясь своего дрожащего голоса.

— Это будет демонстрация, о которой узнают все благодаря прессе и телевидению и всемирно известным знаменитостям, которые будут давить друг друга, пробиваясь к выходу. Что может убедительнее продемонстрировать гнилость всей системы, чем этот отвратительный цирк!

— А если я откажусь?

— Тобой займутся,— спокойно сказала Моника.— Если же все будет сделано как следует, я постараюсь вспомнить название отеля, где живет твой двоюродный брат. Не забудь: бар «Вуаль вер», два журнала, шесть часов вечера. Спокойной ночи, мальчик.— Она взяла сумочку, накинула плащ и вышла.

■ ■ ■

Поднимаясь по ступенькам Дворца фестивалей вместе с Гретхен, Рудольфом и Доннелли, Билли сказал, что сядет в партере, «вместе с простыми людьми», хотя у всех четверых были места на балконе. Он поцеловал мать и прошептал ей на ухо:

— Merde.

— Что? — спросила удивленно Гретхен.

— Так во французском шоу-бизнесе желают удачи.

— Надеюсь, картина тебе понравится,— улыбнулась Гретхен и чмокнула его в щеку.

— Я тоже надеюсь,— ответил Билли серьезно. Он показал свой билет и вошел в зал. Зал был уже полон, хотя до начала утреннего просмотра оставалось еще минут

десять. Укромное место, думал он, где же его найти? Он прошел в мужской туалет. Там было пусто. На полу возле раковины стоял бак для использованных бумажных полотенец. За тридцать секунд, если ему никто не помешает, он успеет снять заднюю крышку камеры, вынуть бомбу и спрятать ее. Если никто не помешает.

Дверь отворилась, вошел мужчина в цветастой рубашке и сразу же направился к писсуару. Билли для виду вымыл руки и, вытянув бумажное полотенце, тщательно их вытер. Он вернулся в зал и сел в первых рядах, где еще оставалось несколько свободных мест. Он был в таком состоянии, что не знал, сможет ли досмотреть картину до конца,— вот почему ему не хотелось сидеть рядом с матерью. Но картина сразу его захватила, и в комических местах он даже смеялся вместе со всеми. А игра Уэсли его просто поразила.

Когда картина кончилась, зрители аплодировали особенно долго и дружно. Затем они повернулись к балкону, и Билли увидел, что они аплодируют его матери, которая теперь стояла у перил балкона и робко улыбалась. Взволнованный успехом матери, Билли хлопал громче всех и мысленно ругал себя за то, что столько лет относился к ней как последняя свинья!

На набережной Круазетт он увидел толпу молодых любителей автографов, окружавшую человека, который стоял к нему спиной. Билли направился было туда, но остановился. В человеке, подписывавшем программы, тетрадки и даже клочки бумаги, он узнал Уэсли. Билли усмехнулся. «Актер не удержится от соблазна на себя посмотреть, как я сразу не подумал». Он стал по возможности вежливо проталкиваться к Уэсли, который в этот момент, нагнувшись, давал автограф невысокой девушке в цыганской юбке.

— Мистер Джордан,— зашепелявил Билли высоким женским голосом,— подпишите и мне. Я от вас просто в восторге!

Уэсли поднял глаза.

— Иди ты к черту,— сказал он. Однако на его лице расплылась довольная улыбка.

Билли крепко взял его за руку.

— На сегодня все, ребята.— сказал он громко.— Мистера Джордана ждут на пресс-конференции. Пойдемте, сэр.— Он двинулся вперед, продолжая крепко держать Уэсли. Уэсли сначала слегка упирался, затем послушно зашагал рядом.

— Ты сейчас нужен матери больше всего,— сказал Билли,— и не смеешь ее подводить.

— Да-а,— протянул Уэсли.— Она — просто молодчина.

— Еще бы! И ты ей непременно об этом скажешь. Знаешь, а у тебя тоже здорово получилось.

— Да, ничего,— довольно ответил Уэсли. Улыбка теперь уже не сходила с его лица.

Стоя в ожидании лифта, Билли тихо спросил:

— Ну как, нашел того человека?

Уэсли покачал головой.

— А не пора тебе об этом забыть?

Наконец Уэсли перестал улыбаться.

— Нет, не пора.

— Кинозвездам не положено бегать по городу и убивать людей.

— Я не кинозвезда.

— Сейчас в Канне твое лицо известно каждой собаке. Ты и мухи не прихлопнешь без свидетелей, не то что человека.— К лифту подошли еще двое, и Билли замолчал.

Когда Билли и Уэсли вошли в конференц-зал, Гретхен, окруженная журналистами, уже начала говорить, но, увидев их, остановилась на полуслове.

— Дамы и господа,— сказала она взволнованно,— сюда пришел один из самых многообещающих молодых актеров, каких мне доводилось встречать. Уэсли, поднимись, пожалуйста, сюда.

— О господи,— пробормотал Уэсли.

— Иди же, идиот.— Билли подтолкнул его в сторону помоста, на котором стояла Гретхен.

Уэсли медленно прошел через зал и поднялся на помост. Гретхен поцеловала его, а затем, обращаясь к аудитории, сказала:

— Имею честь представить вам Уэсли Джордана.

Зал зааплодировал, засверкали «блицы» фотографов, и на лице Уэсли снова появилась улыбка, теперь уже немного искусственная. Билли незаметно выскользнул из зала.

На набережной Круазетт он зашел в кафе, заказал пиво и, сделав глоток, попросил жетон для телефона-автомата. Внизу, в телефонной будке, он полистал справочник и набрал номер префектуры полиции.

— Алло,— ответил мужской голос.

— Сегодня вечером кафе «Вуаль вер» на улице Антиб,— сказал Билли по-французски с характерным для жителей Южной Франции акцентом,— вы увидите человека с журналами «Экспресс» и «Нувель обсерватёр»...

— Одну минутку! — полицейский явно встревожился.— Кто это говорит? Что вам нужно?

— На полу под столиком,— продолжал Билли,— будет лежать бомба.

— Бомба! — закричал полицейский.— Что вы говорите? Какая бомба?

— Механизм бомбы установлен на девять сорок пять вечера. Повторяю: сегодня в шесть, в кафе «Вуаль вер».

— Подождите! Я должен...— еще громче закричал полицейский.

Билли повесил трубку, поднялся наверх и допил пиво.

■ ■ ■

После вечернего просмотра они сидели у Гретхен и пили шампанское. Симпсон, рекламный агент, говорил:

— Мы увезем домой все призы — за лучший фильм, за лучшее исполнение женской роли, за лучшее исполнение мужской роли второго плана. Я это гарантирую. Обычно я склонен настраиваться на худшее, но теперь...— Он покачал головой, словно не в силах осмыслить ценность вверенного ему сокровища.— Я приезжаю в Канн вот уже пятнадцать лет подряд и, скажу вам, такого восторженного приема еще не видел. А что касается вас, молодой человек,— он повернулся к Уэсли,— что касается вас, даю руку на отсечение, вы отсюда без премии не уедете.

Уэсли сидел молча, с деланной застывшей улыбкой на лице. Билли встал и налил себе пятый бокал шампанского. Все начало картины он просидел, тупо уставясь на экран. То, что происходило там, казалось ему теперь лишенным смысла, а слова — пустым звуком. Он то и дело смотрел на часы, а в девять сорок пять откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Гретхен, бледная и усталая, непрерывно вертела кольцо на пальце. К шампанскому она не притронулась и за весь вечер не проронила ни слова. Сидевший рядом с ней на диване Рудольф время от времени похлопывал ее по руке, стараясь приободрить. Доннелли стоял, прислонившись к камину, и пощипывал бороду. Излияния рекламного агента, по-видимому, его раздражали.

— Завтра,— не унимался Симпсон,— у вас, Гретхен, и у вас, Уэсли, напряженный день. Каждому захочется с вами поговорить и вас сфотографировать. Завтра в девять я дам вам программу и...

Рудольф и Доннелли переглянулись, и Рудольф встал.

— Если завтра у нас такой трудный день,— сказал он, прерывая Симпсона,— то Гретхен надо отдохнуть. Давайте расходиться.

— Я тоже так считаю,— поддержал Доннелли.

— Конечно, конечно,— согласился Симпсон.— Просто я сейчас настолько взволнован, что...

— Мы все понимаем, дружище,— сказал Рудольф. Он нагнулся и поцеловал Гретхен.— Спокойной ночи, сестричка.

Она через силу улыбнулась. Когда они уходили, она поднялась, подошла к Доннелли и взяла его за руку.

— Дэвид,— сказала она,— задержись на минутку.

— С радостью,— сказал Доннелли и мрачно посмотрел на Билли.

Билли попытался улыбнуться и поцеловал Гретхен в щеку.

— Спасибо, мама,— сказал он,— сегодня был такой чудесный день.

Гретхен схватила его за руку и всхлипнула.

— Извини,— сказала она,— это просто... просто слишком много всего за один

день. Утром я буду в полном порядке.— И, обращаясь к уже стоявшему в дверях Уэсли, спросила:— А ты не исчезнешь?

— Нет, мэм,— ответил Уэсли.— Если я вам понадоблюсь, я всего двумя этажами ниже.— Рудольф хотел поселить кузенов в одном номере, но Билли отказался: мало ли что взбредет в голову этому сумасшедшему. Он не сказал Рудольфу, чего он опасается на самом деле и о чем, если ему, Билли, повезет, Рудольф никогда не узнает.

В коридоре Рудольф сказал:

— Мне что-то совсем не хочется спать. У меня в номере есть бутылка шампанского. Пошли разопьем ее.

— У меня завтра утром деловая встреча,— сказал Симпсон.— А вы идите.— Он стоял, прислонившись к стенке лифта, длинный и мрачный, обреченный всю жизнь хвалить других; на прощание он грустно помахал рукой дяде и двум племянникам, намеревавшимся продолжать праздничный вечер за бутылкой шампанского, и пошел готовиться к завтрашней утренней встрече.

Открывая шампанское, Рудольф заметил, что Уэсли не сводит глаз с запертого чемодана, лежавшего на стуле возле окна.

— Держу пари,— сказал Уэсли, когда пробка вылетела и Рудольф стал наполнять бокалы,— он здесь.

— Что здесь? — переспросил Рудольф.

— Вы знаете, о чем я говорю.

— Давай выпьем,— сказал Рудольф.

Уэсли неторопливо поставил бокал на стол и вытащил из кармана маленький пистолет.

— Тот мне все равно больше не нужен,— сказал он очень спокойно,— так что можете хранить его в качестве сувенира.

— Так и остался ненормальным,— заметил Билли.

— Я за это и выпью,— сказал Уэсли.

Они выпили.

Уэсли сунул пистолет обратно в карман.

— Значит,— сказал Рудольф,— ты смотрел фильм, а потом принимал поздравления, и эта штука все время была у тебя в кармане?

— Точно,— ответил Уэсли.— Ведь мишень может появиться в любую минуту.

Рудольф, нахмурившись, расхаживал взад и вперед по комнате.

— А если я тебе скажу, Уэсли, что этим делом займутся и тебе самому не надо ничего делать?

— Как это понимать — «займутся»?

— А так, что сейчас, когда мы здесь пьем шампанское, того человека разыскивает профессиональный убийца.

— Я не желаю, чтобы кто-то это делал за меня,— сказал Уэсли холодно,—и я больше не нуждаюсь ни в ваших, ни в чьих-либо благодеяниях.

— Я пробуду в Канне до конца фестиваля. Еще десять дней. Если к тому времени работа не будет сделана, я уезжаю домой и ставлю на этом деле точку. Только обещай мне, что в течение десяти дней ты ничего предпринимать не будешь. Потом делай что хочешь.

— Я ничего не могу обещать.

— Уэсли...— начал было Билли.

— А ты не суйся,— оборвал его Уэсли.— Хватит уже.

— Успокойтесь,— сказал Рудольф.— Оба успокойтесь. Да, вот еще что, Уэсли. На днях звонила твоя приятельница, мисс Ларкин.

— И что она сказала?

— Что хочет приехать сюда. Она считает, что получит в редакции отпуск на две недели, и ждет твоего звонка.

— Пусть подождет.— Уэсли допил шампанское.

— Она сказала — ты сам хотел, чтобы она приехала.

— Я думал, к тому времени все будет кончено. А ничего не получилось. Повидаемся после.

— Как знаешь,— сказал Рудольф.— Я не собираюсь разыгрывать из себя Купидона — у меня и так дел хватает. Давайте допьем, и я пойду спать.

— Ты что будешь сейчас делать? — спросил Билли, когда они с Уэсли вышли из отеля на улицу.

— Пойду погуляю. Хочешь, пошли вместе?

— Нет.

— А что ты вообще обо всем этом думаешь? — спросил Уэсли.

— Я до смерти боюсь,— сказал Билли.— Боюсь за всех нас.

Уэсли серьезно кивнул головой.

— Я дойду с тобой до стоянки,— сказал Билли.— Я забыл поднять верх у машины, а скоро, похоже, пойдет дождь.— На стоянке Уэсли помог ему опустить верх и поднять стекла.— Уэсли,— сказал Билли,— а все-таки, может, нам с тобой махнуть на машине в Париж? В теннис по дороге поиграем, покутим... Ты мог бы позвонить своей девушке и сказать, чтобы она приехала туда. Подумаешь, какие-то десять дней! Ведь уже столько лет прошло.

— В теннис я с тобой играть согласен,— ответил Уэсли,— но только здесь. Спокойной ночи, приятель.

Билли посмотрел вслед высокой фигуре в темном костюме со слегка оттопыривавшимся карманом, покачал головой и пошел обратно в отель. Дверь он запер на два оборота.

На следующее утро он проснулся рано и попросил прислать в номер газеты. Ему принесли специальные выпуски, посвященные фестивалю, и «Нис-матэн». На первой странице Билли увидел фотографию человека в темных очках, стоявшего между двумя полицейскими. Лицо его показалось Билли знакомым. Он узнал приятеля Моники из Дюссельдорфа, торговца замороженными продуктами. В заметке под фотографией говорилось, что этот человек арестован по звонку в полицию неизвестного лица и что у него была найдена бомба, спрятанная в футляре кинокамеры. Человек, звонивший в полицию, говорил по-французски с сильным южным акцентом.

Читая эти строки, Билли улыбнулся. «И кроме Уэсли,— подумал он,— в нашей семье есть актеры».

■ ■ ■

На следующее утро в маленьком открытом автомобиле они поехали в тихий загородный клуб в Жуан-ле-Пэн играть в теннис. Уэсли был в джинсах, выгоревшей хлопчатобумажной рубашке и твидовом пиджаке с обтрепанными рукавами и совсем не походил на актера, которому пресса предсказывала головокружительную карьеру. Билли с отвращением дотронулся до его кармана:

— Неужели ты не можешь расстаться с этой проклятой штукой, даже когда идешь играть в теннис? Мне все время кажется, что, если я начну выигрывать, ты возьмешь и пристрелишь меня.

— Где я, там и он,— снисходительно улыбнулся Уэсли. Когда они переоделись и отправились на корт, он накинул пиджак поверх теннисного костюма, а перед самым началом игры аккуратно свернул его и положил на скамейку возле сетки, где пиджак все время был на виду.

В первый день Уэсли играл так же самозабвенно, как и в Испании, с яростью бил по мячу и чаще всего попадал в сетку или в аут. Через два часа Билли сказал:

— На сегодня достаточно. Если бы ты в кино так играл, тебя бы даже по билету в зал не пустили.

— Молодой задор,— усмехнулся Уэсли, накидывая пиджак поверх мокрой от пота рубашки.— Обещаю исправиться.

— Это когда же?

— С завтрашнего дня,— заверил Уэсли.

В раздевалке, кроме них, никого не было, но Уэсли потребовал, чтобы они шли в душ по очереди и не оставляли пиджак без присмотра.

— Много я делал глупостей,— ворчал Билли,— но караулить пиджак мне еще не приходилось.— Уэсли начал раздеваться. Глядя на его мускулистую спину, длинные, крепкие ноги, Билли добавил: — Мне бы такое сложение, я бы уже давно дошел до финала в Уимблдоне.

— Нельзя иметь все сразу,— заметил Уэсли.— Ты зато умный.

— А ты разве нет?

— Похвастаться нечем.

— Ты далеко пойдешь в своей профессии.

— Если я ее выберу,— сказал Уэсли, направляясь в душ.

Минуту спустя Билли услышал сквозь шум льющейся воды голос Уэсли, который пел «Мне на голову падают капли дождя...» Если кто-нибудь зайдет в раздевалку, подумал Билли, и услышит это беззаботное пение, то в жизни не догадается, что парень днем и ночью носит при себе пистолет.

Когда они шли к машине, Билли сказал:

— Если ты бросишь кино, мать никогда тебе не простит. Да и я тоже.

Уэсли молча плюхнулся на сиденье и стал насвистывать мелодию из своего фильма.

На следующее утро Уэсли сдержал обещание и играл спокойнее. Казалось, он вдруг усвоил тактику игры и чередовал удары, не стараясь гасить каждый мяч. Через два часа Билли вконец выдохся, но выиграл все четыре сета. А у Уэсли даже дыхание не участилось, хотя он бегал вдвое больше, чем Билли. И снова, как накануне, он заставил Билли караулить его пиджак, когда они пошли в душ.

На третий день им удалось поиграть всего час: Билли обещал вернуться рано, чтобы Гретхен и Доннелли могли съездить на его машине в Мужен пообедать. В Канне после демонстрации картины Гретхен не оставляли в покое ни на минуту, и постоянное напряжение стало уже сказываться.

За час Билли и Уэсли сыграли только один сет; Билли пришлось бороться за каждое очко, но все же он выиграл со счетом 6 : 3.

— Уф-ф-ф,— отдувался он по дороге в раздевалку.— Зря я тебя утихомиривал. Если так пойдет и дальше, от меня ничего не останется.

— Детская игра,— самодовольно сказал Уэсли.

Когда они одевались после душа, раздался сильный взрыв.

— Это что еще? — спросил Билли.

Уэсли пожал плечами.

— Наверное, газовая труба взорвалась.

— На газовую трубу не похоже,— сказал Билли. У него слегка закружилась голова, и он сел на скамейку. В раздевалку вбежал управляющий.

— Мсье Эб-б-бот...— Он заикался от страха.— Идите скорее. Это — ваша машина... Случилась беда.

— Сейчас иду,— сказал Билли, продолжая неподвижно сидеть. Послышался вой полицейской сирены. Билли надел рубашку и медленно и методично начал застегивать пуговицы; Уэсли торопливо натягивал джинсы.

— Уэсли,— сказал Билли,— не ходи туда.

— То есть как — не ходи туда?

— Неужели непонятно? Через несколько секунд там будет полиция.— Билли говорил торопливо, проглатывая слова.— Тебя поместят во всех газетах. Сиди здесь. И спрячь свой дурацкий пистолет. В какое-нибудь укромное место. Если тебя будут спрашивать, ты ничего не знаешь.

— Но я действительно ничего не знаю...

— Ну и прекрасно. Так всем и говори. А я пойду посмотрю, что произошло.— Он кончил застегивать рубашку и не спеша вышел из раздевалки.

Из ближайших жилых домов к клубу начали стекаться люди. В ворота влетела маленькая полицейская машина с включенной сиреной и резко остановилась. Из нее выскочили двое полицейских и бросились к тому месту, где стояла машина Билли. Билли увидел, что от машины практически ничего не осталось — передних колес не было, капот лежал в нескольких футах от кузова. Какая-то женщина, отчаянно жестикулируя, говорила полицейскому, что, проходя мимо ворот, она видела мужчину, который возился в моторе, а когда она уже миновала ворота, раздался взрыв.

Полицейский спросил управляющего клубом, чья это машина; управляющий указал на Билли. Билли пробился поближе и только тогда увидел обезображенное и залитое кровью тело мужчины, лежавшего лицом вниз рядом с тем, что раньше было радиатором «пежо».

— Мсье,— сказал Билли,— это моя машина.— Не будь здесь управляющего, он сделал бы вид, что говорит только по-английски.

Когда полицейские стали переворачивать тело, Билли отвернулся. Толпа отпрянула, раздался женский крик.

— Мсье,— обратился один из полицейских к Билли,— вы узнаете этого человека?

— Я предпочитаю не смотреть,— сказал Билли, по-прежнему глядя в сторону.

— Прошу вас, мсье,— сказал полицейский, молодой парень с побелевшим от ужаса лицом.— Вы обязаны сказать нам, знаете ли вы этого человека. Если вы не сделаете этого сейчас, вам позже придется приехать в морг.

Второй полицейский стоял на коленях у тела и осматривал то, что осталось от карманов. Потом встал и покачал головой:

— Никаких документов нет.

— Прошу вас, мсье,— настаивал молодой полицейский.

Билли заставил себя посмотреть вниз. На месте груди зияла красная дыра, лицо было изуродовано, на нем застыла жуткая гримаса, обнажавшая разбитые зубы между обуглившихся губ, но Билли все же узнал это лицо. Он встречался с этим человеком в Брюсселе — там его звали Джордж.

— Извините, мсье,— покачал головой Билли,— я никогда в жизни не видел этого человека.

Часть четвертая

1

Билли сидел за своим письменным столом в пустой комнате отдела городских новостей и не сводил глаз с пишущей машинки. Всю работу на сегодня он закончил и мог отправляться домой. Но дом был скверной однокомнатной квартирой, где его никто не ждал. Он сам выбрал такой образ жизни. После событий в Жуан-ле-Пэне он сторонился людей.

На столе перед ним лежал толстый конверт — письмо от дяди Рудольфа из Канна, пришедшее уже три дня назад. Дядя писал слишком часто, соблазняя его рассказами о завидной жизни блестящих молодых людей, получающих солидное жалованье в Вашингтоне, где Рудольф теперь проводил значительную часть времени, выполняя какую-то неоплачиваемую, но, по-видимому, важную работу для демократической партии. Во всяком случае, его имя стали упоминать в газетах, иногда рядом с Элен Морисон и сенатором от штата Коннектикут, вместе с которым он совершал деловые поездки в Европу.

Билли уже собирался взять письмо, но тут зазвонил телефон. Он снял трубку.

— Эббот слушает.

— Билли, это Рода Флинн.— В трубке слышалась музыка и голоса.

— Привет, Рода,— ответил он. Рода была начинающим репортером и хорошенькой девушкой. Дела у нее шли куда лучше, чем у него — ее материалы уже печатались с подписью. В редакции она всегда строила Билли глазки.

— У меня вечеринка,— сказала Рода,— и лишние мужчины нам не помешают. Я подумала, если ты ничем не занят...

— Извини, Рода, я еще работаю. Как-нибудь в другой раз.

— Ну, в другой, так в другой,— голос ее звучал разочарованно.— Только не слишком усердствуй. Я знаю, сколько они тебе платят, так что не стоит их баловать.

— Спасибо за совет. Желаю повеселиться.

Положив трубку, он снова остановил взгляд на пишущей машинке. Тишину нарушал лишь отдаленный стук телетайпа, а в ушах продолжали звучать шум и веселье, донесшиеся до него из телефонной трубки. Он был бы не прочь пойти на эту вечеринку, поболтать с какой-нибудь хорошенькой девушкой, но тем, о чем ему хотелось поговорить, он ни с кем не мог поделиться.

«Какого черта,— подумал он,— если нельзя поговорить с другими, то поговорю хоть сам с собой».

Он вложил в машинку лист бумаги и принялся печатать.

1972 год. По разным причинам после Испании я не делал никаких записей. В настоящее время я живу в одиночестве, безвестности и страхе в Чикаго.

Я считаю, что человеку моего поколения и с моей биографией есть о чем рассказать и рассказ этот будет небезынтересен молодым людям грядущих поколений.

Я становлюсь неврастеником. А может, и нет. Мне кажется, что за мной постоянно следят. Мне кажется, что незнакомые люди пристально смотрят на меня. Я приобрел привычку неожиданно оглядываться, когда иду по улице. За последние полгода я четыре раза сменил квартиру. Пока я никого у себя не застал. Может, я наделен даром предвидения и потому предчувствую, что́ со мной случится. А может, время идет по кругу, а не по спирали, и в этом кругу кто-то движется в обратном направлении. Невроз Уильяма Эббота-младшего, пока неизвестный науке.

Если меня убьют или я погибну при странных обстоятельствах, то в этом будет виновна женщина, которая называла себя Моникой Волнер, когда она работала переводчицей в НАТО, а я служил в армии в Брюсселе, и Моникой Хитцман, когда я позже встретил ее в Испании в маленьком городке Эль-Фаро неподалеку от Малаги. Она была и, я думаю, остается членом террористической организации, которая, по-видимому, по-прежнему действует по всей Европе и, возможно, имеет связи с аналогичными организациями в Америке.

Человек, который погиб при взрыве, когда закладывал бомбу в мою машину в Жуан-ле-Пэне во Франции, известен мне только под именем Джордж; он возглавлял группу, в которую входила Моника Волнер-Хитцман. Он был специалистом по огнестрельному оружию и по изготовлению взрывных устройств.

Я пишу это в отделе городских новостей газеты «Чикаго трибюн», куда меня взяли полгода назад благодаря дружбе отца с одним из редакторов. Отец будет знать, где хранятся мои записи. Я держу эту записную книжку вместе с книгами и бумагами, старой одеждой и разными мелочами, которые у меня накопились за время моих путешествий, в армейском сундучке в подвале дома, где он живет, поскольку в моей крохотной комнате его негде поставить. Отец знает, что в этом сундучке находится кое-что написанное мной, но сам ничего не читал. Я убедил его, что это наброски романа, который он все уговаривает меня написать.

С тех пор как я уехал из Канна, где подвергся весьма строгому допросу французской полиции (там совершенно справедливо подозревали, что между мной и человеком, которого я знал как Джорджа, существует некая связь, но ничего не могли доказать), никого из членов моей семьи не видел — скорее из боязни подвергнуть их опасности, чем из-за отсутствия привязанности. Меня не оставляет мысль, что через двадцать минут после случайного взрыва бомбы я собирался отдать машину матери и ее другу, которые собирались поехать вместе за город обедать, и сейчас я впервые нашел в себе силы написать о том, что произошло на Лазурном берегу.

Он перестал писать, вспомнив, как его допрашивали двое полицейских — сначала вежливо и участливо, а потом резко и грубо, не скрывая своей враждебности. Они угрожали ему арестом, но он понимал, что его хотят запугать, и стоял на своем, снова и снова повторяя, что приехал в Канн, только чтобы посмотреть фильм, поставленный его матерью, что никогда не встречал этого человека и что, насколько ему известно, у него нет никаких врагов. По-видимому, тут произошла какая-то трагическая ошибка.

Наконец, они отпустили его, предупредив, что дело не закрыто и что между Францией и Соединенными Штатами существует соглашение о выдаче преступников.

Рудольф как-то странно на него поглядывал, но этого следовало ожидать после истории с пистолетом и глушителем.

— Ты везучий человек,— сказал Рудольф в аэропорту на следующий день, провожая Билли в Нью-Йорк.— Так и держись.

— Не беспокойтесь,— ответил он тогда.

Уэсли, который был с ними и теперь уже не улыбался, молча пожал ему руку.

Гретхен приехать не смогла. Когда она узнала о бомбе — скрыть это от нее не удалось,— ей сделалось плохо, и она слегла. Доктор обнаружил у нее высокую температуру, но диагноза поставить не сумел и велел ей не меньше пяти дней оставаться в постели.

Когда Билли зашел к ней попрощаться, его поразил ее вид. Она стала синевато-белой и за несколько часов словно уменьшилась.

— Билли, очень прошу тебя... ради меня... будь осторожен,— еле слышно сказала она.

— Постараюсь,— ответил он и, наклонившись, поцеловал ее в горячий лоб.

Билли покачал головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания, а затем снова принялся печатать.

Если бы я мог рассказать полицейским всю правду, мне, возможно, дали бы орден Почетного легиона. В конце концов ликвидация или по крайней мере сокращение шайки преступников, которые терроризируют Европу,— моя заслуга. Конечно, это произошло случайно, но случайности тоже — может быть, даже больше чем что-либо еще — следует принимать во внимание. Вся история моей семьи целиком состоит из случайностей, как хороших, так и плохих. Наверное, то же самое происходит и в других семьях.

Несмотря на то что я вроде бы избегаю встреч с родственниками, они часто мне пишут и держат меня в курсе всех своих дел. Я тоже отвечаю бодрыми пространными письмами, из которых следует, что отец почти бросил пить и что в газете у меня все блестяще. Это весьма далеко от истины, поскольку пишу я всего-навсего о работе полиции да о мелких преступлениях. И хотя я не стараюсь убедить отца, что роман, над которым я теоретически работаю,— это нечто вроде «Войны и мира» или что это Великий Американский Роман, я говорю ему, что, кажется, получается неплохо.

Дядя Рудольф — спаситель, совесть и ангел-хранитель нашей семьи — свято бережет семейные узы и, хотя в настоящее время в своей вечной погоне за добрыми делами и курсирует между Лонг-Айлендом, Коннектикутом, Вашингтоном и столицами Европы, находит время писать пространные письма с предостережениями и советами, на которые никто из нас не обращает внимания. Благодаря его усердию — я не встречал другого человека, который бы так любил писать письма,— я узнал, как поживает он сам, мать, которая теперь стала миссис Доннелли, и мой двоюродный брат Уэсли, который остался в Канне и работает матросом на какой-то яхте. Дядя Рудольф находит время и навещает его в связи с одним делом, которое...

Он перестал печатать, встал и принялся ходить вокруг письменного стола. Затем снова сел, уставился на заложенный в машинку лист бумаги и снова начал печатать, однако теперь уже медленнее.

Даже теперь я продолжаю считать, что ни о чем, связанном с навязчивой идеей Уэсли, лучше не писать. Мы все — мать, дядя и я — пытались увезти его с Лазурного берега. Счастливые воспоминания, мягко выражаясь, у нас с этим местом не связаны. Даже фестиваль принес сплошное разочарование. Вопреки предсказаниям Симпсона, жюри не присудило нашей картине ни одной награды. Мать, которая вскоре собирается приступить к съемкам своей второй картины, пишет, что Уэсли отказался от роли, которую она ему предложила и которая должна была принести ему кучу денег, а также от всех подобных предложений. Вообще-то говоря, Уэсли сейчас несомненно самый потенциально богатый матрос на всем Средиземном море. В последнем письме он писал мне, что, покончив со своим «делом» на Лазурном берегу, он намерен много работать в кино, накопить денег на яхту, чтобы потом, как его отец, возить пассажиров. Судя по письмам, настроение у него довольно бодрое, но на самом деле это может быть и не так, потому что я тоже пишу своим родственникам бодрые письма. Все же у него есть кое-что, чего нет у меня и что может служить источником бодрости. Когда ему исполнилось восемнадцать, он получил свои тридцать тысяч долларов, правда, за вычетом довольно приличной суммы на уплату налогов, а его девушка перешла в парижское бюро «Тайма» и то и дело летает к нему в Канн. Он также пишет, что за исключением летних месяцев много играет в теннис и сейчас, наверное, уже может у меня выиграть. Я же после Жуан-ле-Пэна за ракетку и не брался.

Полиции так и не удалось выяснить, откуда приехал Джордж и как его настоящее имя. А у меня все время такое чувство, что однажды я подниму глаза от письменного стола и увижу перед собой Монику. Она постоянно мне снится — сны эротические, счастливые, а когда я просыпаюсь, меня охватывает отчаяние.

Билли остановился, нахмурился и выругался. Он вынул напечатанную страницу из машинки и положил вместе с двумя другими в большой конверт, чтобы унести домой. Потом встал, надел пиджак и уже собирался выйти, но тут взгляд его упал на письмо дяди Рудольфа из Канна. «Могу и сейчас прочитать,— подумал он,— когда-то все равно придется». Он вскрыл конверт и увидел старую и протертую на изгибах га-

зетную страницу с приколотыми к ней с двух сторон записками. На первой почерком дяди было написано: «Прочти заметку, обведенную красным карандашом, а затем прочитай записку с другой стороны».

Билли раздраженно покачал головой. Шуточки, подумал он. Однако на дядю Рудольфа это совсем не похоже. Охваченный любопытством, он сел за стол, поближе к свету. В левом верхнем углу страницы было крупно напечатано MARSEILLES [1] и помельче — «Page deux» [2]. Колонка под названием «Faits Divers» [3] была обведена красным карандашом.

«Mort d'un Voyou» [4], — прочитал Билли, оказывается, он еще не забыл французский. В заметке говорилось:

«Вчера вечером в Старом Порту было обнаружено тело человека, которого позже полиция опознала как гражданина Югославии Яноша Дановича. Он был убит двумя выстрелами в голову. По данным полиции, он принадлежал к milieu Лазурного берега и Марселя и неоднократно арестовывался по обвинению в сутенерстве и вооруженных ограблениях, хотя ни разу не был осужден. Полиция считает, что это убийство является еще одним случаем сведения счетов, и продолжает расследование».

Билли медленно положил газету на стол. Боже мой, подумал он, Рудольф, наверное, спятил! Зачем он посылает по почте такие вещи! А если письмо попадет не по тому адресу или его случайно кто-нибудь вскроет! Всегда найдутся какие-нибудь подонки, которых может заинтересовать, почему советник американского сенатора проявляет интерес к убийству мелкого преступника в Марселе, и начнут раскапывать... Он уже собирался порвать газету на мелкие кусочки, когда вспомнил о второй записке.

Он перевернул страницу, отколол записку и прочел: «Посмотри на дату». Билли взглянул на верхнюю часть листа. Это была первая страница газеты «Меридиональ», и на ней стояла дата: суббота, 24 октября 1970 г.

1970 год! Данович уже полгода был мертв, когда Уэсли отправился в Европу. Билли положил голову на руки и начал смеяться. Когда приступ смеха наконец прошел, он снял трубку и позвонил Роде Флинн. Услышав ее голос, он сказал:

— Привет, Рода! Вечеринка еще продолжается?

— Если можешь приехать,— ответила Рода,— то да.

— Еду. Какой адрес? — Она продиктовала ему адрес.— Буду через десять минут. Приготовь чего-нибудь покрепче. Сегодня мне это необходимо.

Когда он вышел из редакции и пошел по Мичиган авеню, высматривая такси, ему опять показалось, что за ним следят. Он оглянулся: позади него на расстоянии в полквартала шли только две парочки.

Наверное, надо спросить Рудольфа, подумал он, не сохранился ли у него пистолет. Мало ли что, вдруг пригодится.

Затем он увидел такси, сел в него и отправился на вечеринку.

■

---

[1] Марсель *(франц.)*.
[2] Страница вторая *(франц.)*.
[3] Хроника *(франц.)*.
[4] Смерть хулигана *(франц.)*.

Критика

В. ОСКОЦКИЙ

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

К вопросу о судьбах «малых литератур»

«Литературы малых народов в многонациональном государстве» — этой теме был посвящен один из коллоквиумов Международной ассоциации литературных критиков, проведенный в Мадриде одновременно с заседанием исполкома МАЛК. В коллоквиуме приняли участие представители более двадцати европейских стран, Индии, США, Бразилии, СССР. В дискуссии, открывшейся вступительным словом президента МАЛК Робера Андре, выступили М. Лобе (Бельгия), Е. Ларошфуко, П. Гамарра, Р. Жан (Франция), С. Максуорт (Англия), Ж. Десси (Италия), А. Бланк, П. Васкес Куэста, А. Брок (Испания), Е. М. де Мело э Каштру (Португалия), К. Димарас (Греция), Э. Пеониду (Кипр), Дж. Л. Браун (США), К. Аппель (Бразилия), Н. Сингх (Индия), Е. Каранфилов, И. Цветков (Болгария), К. Ярмац (ГДР), Г. Грзалова, А. Я. Штефчек (Чехословакия), Дж. Ивашку (Румыния), Ю. Суровцев, П. Кадыров (СССР). Литературные критики разных стран, рассказывает вице-президент МАЛК Ал. Михайлов [1], проявили зрелый и гуманный подход к проблемам литератур малых народов, выразив при этом уважение к национальным традициям каждого народа, независимо от его численности.

Уважение к культурам малых народов подкреплено в СССР переводческой и издательской практикой, опытом литературоведения и критики. Свидетельство тому — наши журнальные публикации поэзии и прозы, издания произведений, переводимых с десятков языков мира. В Институте мировой литературы им. А. М. Горького подготовлена девятитомная «История всемирной литературы», многие разделы которой посвящены литературам малых народов. Такое неослабное внимание к ним органично отвечает культурной политике, осуществляемой в СССР — первом в мире многонациональном социалистическом государстве. Решение национального вопроса в нашей стране обеспечило свободное развитие и обогащение каждой из советских литератур, чьи художественные достижения становятся общим духовным достоянием социалистической культуры в целом.

О проблемах, обсуждавшихся в ходе дискуссии, размышляет на наших страницах критик В. Оскоцкий, касаясь некоторых выступлений на мадридском коллоквиуме МАЛК.

Попытаемся представить, каким будет взгляд историка литературы из грядущего XXI века на наши 70—80-е годы, как воспримет он этот этап в художественном развитии человечества. Назовет временем обостренного выражения национального самосознания народов, интенсивного подъема разноязычных литератур мира, оставивших свой неповторимый след на культурной карте стран и континентов? Или, напротив, временем, нивелировавшим национально выразительные черты и тем самым способствовавшим исчезновению одних литератур, вытесненных или поглощенных другими?

К такой мысленной проекции будущего на современность располагает дискуссия, которая развернулась на мадридском коллоквиуме МАЛК. Тему его — «Литературы малых народов в многонациональном государстве» — подсказала культурная ситуация современного мира, где судьбы отдельных национальных литератур типологически воссоздают закономерности нынешнего состояния, предвосхищают тенденции и перспективы завтрашнего развития мирового литературного процесса.

Оправдано ли ныне его размежевание на составные слагаемые, большие и малые величины? Существуют ли объективные критерии такого жесткого разграничения? «Нет больших и малых литератур. Есть литературы, которым история дала больше, чем другим»,— убежденно настаивает РОБЕР АНДРЕ. И в то же время наглядно показывает, какие резкие контрасты таит в себе слово «судьба» применительно к разнонациональным литературам и языкам, едва мы ставим его на твердую почву современной действительности, исторического опыта. С одной стороны, судьба литературы действительно «не зависит от степени распространения языка. На древнегреческом говорило не так уж много людей, однако влияние литературы, ими созданной, было значительным, можно даже сказать — ни с чем

[1] Отчет Ал. Михайлова о заседании исполкома и коллоквиума МАЛК см.: «Вопросы литературы», 1982, № 2.

не сравнимым». Но, с другой стороны, мир знает и подавление литератур, созданных на языках менее распространенных, литературами, чья сфера языкового бытования более широка. Художественное достояние тех и других равно входит в культурную сокровищницу человечества, но, признавая это, никуда не деться от несправедливости, которая все острее осознается в наше время: многие малые литературы «менее известны, вообще забыты».

Уточним: такая несправедливость нередко подстерегает даже языки и литературы, которые имеют многомиллионную аудиторию. На языке хинди, например, говорят в Индии около 400 миллионов человек, но, как свидетельствует НАМВАР СИНГХ, литература, создаваемая на нем, разделяет судьбу литератур малого распространения. Сохраняя за собой преимущественное положение официального языка, английский значительно облегчает доступ к литературам Западной Европы и США, в то время как крупнейшие мастера, пишущие на хинди, за пределами страны зачастую неизвестны. Подобная ситуация имеет место в англоязычных и франкоязычных странах африканского континента. Но было бы упрощением считать английский язык в Индии, английский или французский в Африке лишь орудием подавления национальной самобытности «местных» литератур, как это было во времена колониализма. Диалектическая сложность проблемы как раз и состоит в том, что на современном этапе социального и духовного возрождения бывших колоний оба языка выполняют роль каналов, связующих древние и молодые литературы афро-азиатского региона с культурами западного мира. Нынешняя однонаправленность таких связей в перспективе преодолима: и Запад и Восток равно в силах открывать и познавать друг друга тем шире и полнее, чем больший размах получат переводы их литератур на языки мирового распространения. И это при всем том, что в силу определенных социально-исторических причин, включая прежде всего наследие колониального прошлого, ни английский, ни французский не стали языками межнационального общения в том всеобъемлющем, всепроникающем смысле, в каком в условиях социализма играет эту роль русский язык.

Поистине тугой клубок противоречий.

Не берясь разрешать эти противоречия, Робер Андре считает возможным объяснить их. Непременным условием этого он справедливо называет выход за пределы сугубо литературных проблем, погружение в область «политических, по сути, вопросов бытия национальных меньшинств», чьи письменные литературы развились с опозданием, а языки находятся в опасности. Каким бы ни было их будущее, созданные ими культурные ценности имеют такое же право на существование, как и завоевания литератур, чьим развитым письменным традициям, по крайней мере в наше время, «ничто не угрожает».

Обозначив таким образом круг актуальных проблем, дискуссионное обращение к которым диктовалось заглавной темой коллоквиума, Робер Андре контурно очертил и масштабы их рассмотрения, размыкающего эстетическую реальность, сопрягающего ее с реальностью политической. Это одинаково необходимо при обращении как к историческому, так и к современному опыту литератур, чье становление и развитие происходило или происходит в условиях многонационального государства. Нельзя, к примеру, судить о венгерской или чешской литературах XIX — начала XX века, отвлекаясь от вдохновлявших их освободительных идей, которые пробивали себе дорогу в тисках габсбургской монархии, чья имперская политика преднамеренно направлялась на то, чтобы тормозить рост национального самосознания, а стало быть, и художественного сознания народов.

Политическими и социальными реалиями современной эпохи рожден «груз времени», который, по свидетельству Робера Андре, отягощает мироощущение молодой бретонки, забывшей после смерти отца язык детства. Да и как было не забыть, если «старый язык уже лишен своей социальной функции и обращен только в прошлое. Литератор в подобной ситуации подвергается искушению почти непреодолимому. Ирландец Бернард Шоу творил на английском, а бретонский писатель хочет стать франкоязычным. Не знаю, что тут можно сделать. Мне кажется, что о возрождении бретонской литературы говорить уже слишком поздно».

Не стоит, однако, зарекаться столь категорически: ни язык, ни литература сами по себе в своем забвении не повинны. Сопоставим наблюдения Робера Андре с путевыми впечатлениями Сильвы Капутикян[1], которые советская писательница вынесла из встреч с соплеменниками в Канаде и США.

С болью и горечью повествует она о необратимой утрате армянским меньшинством обеих стран самобытно национальных черт, об угасании духовной жажды у потомков древнейшей цивилизации, наследников многовековой культуры. И как знать, не стерлись ли бы вообще их следы в памяти нынешних поколений, если б исконная земля армян — Советская Армения — не несла им, разбросанным по всему миру, «излучения света и надежды», не стала колыбелью национального возрождения народа.

Так противоположно отзываются политические условия, социальные основы бытия одной нации, ее языка и культуры в разных многонациональных государствах. Однако засвидетельствовать самоочевидное — только полдела. Всего лишь первый подступ к проблеме, рассмотрение которой настоятельно нуждается в неослабной опоре на надежный философский фундамент — научную теорию нации и национальной культуры, подтвержденную практическим опытом истории и современности.

Подобную перепроверку временем, жизнью выдержала марксистско-ленинская теория нации. Ее исходное методологическое условие — рассматривать национальный вопрос применительно к каждой определенной эпохе и стране, «не играя в юридические дефиниции, не «сочиняя» абстрактных определений, а разбирая историко-экономические условия национальных движе-

[1] Сильва Капутикян. Меридианы карты и души. Авторизованный перевод с армянского Т. Смолянской. М., «Советский писатель», 1978.

ний»[1],— непреложно и для нашего времени, как ни перекроило, ни усложнило оно политическую карту мира. В главных, существенных своих проявлениях «две исторические тенденции в национальном вопросе» и ныне выступают как «мировой закон капитализма». «Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.»[2]. Однако обе они знают сегодня реальную альтернативу, предложенную социализмом — шестидесятилетней историей СССР, первого в мире многонационального социалистического государства, опытом государственного строительства в других социалистических странах.

Таковы реальности современной эпохи, каждый раз по-своему отозвавшиеся и в материалах коллоквиума МАЛК. Многие выступления его участников, представлявших страны Западной Европы, американского континента, исполнены неподдельного драматизма и свидетельствуют о конфликтности, а порою и взрывоопасности противоречий, накал которых определяет культурные ситуации в разных точках мира.

«Ударом в самое сердце древнейшей культуры, над которой сейчас нависла угроза полного уничтожения», называет ЭЛЛИ ПЕОНИДУ[3] искусственную границу, рассекшую ее родной Кипр, наглухо отгородившую друг от друга две нации острова. Невообразимо, но факт: в век сверхзвуковых скоростей, массовых средств информации и связи люди, разделенные расстоянием в каких-нибудь 50 километров, не только лишены возможности встретиться, но даже переписку обречены вести через третью страну. «Я чувствую себя киприоткой. Хочу отыскать свои корни, изучить их. Спрашиваю друзей, поэтов из Турции: к кому обращаетесь вы в поисках своих корней? Они отвечают мне: к великим классикам турецкой поэзии. Я тоже их изучаю. Но ведь я киприотка, я хочу обрести *собственные корни*, а они — на Кипре. И тут я обнаруживаю пропасть. Где найти средства? У меня нет греческих книг, я не говорю по-гречески, рядом нет никого, кто бы мне помог»,— приводит Элли Пеониду письмо молодой поэтессы. Действительно, не письмо, а документ, один из тех человеческих документов, которые «могли бы выбить удобные кресла из-под господ, сидящих в ООН и разглагольствующих о «неразрешимости кипрской проблемы», об «отсутствии взаимопонимания» между киприотами-греками и киприотами-турками».

И Элли Пеониду, пишущая по-гречески, и ее подруга-турчанка представляют малочисленный, но древний народ, в полной мере испытывающий на себе чудовищные последствия колониализма. «Следы недавней войны стираются шагами тысяч туристов, а ее эхо заглушается ревом самолетов с британских военных баз... Разумеется, Кипр — не единственное место смятения и скорби. Но, будучи точкой пересечения многих проблем, он более других рискует оказаться ореховой скорлупой среди бушующих вокруг волн».

Эти волны пенятся далеко от Британских островов. Но драматичное «уцелеть» прозвучало и в выступлении СЕСИЛИ МАКСУОРТ, передав ее тревогу и беспокойство о будущем валлийской культуры, которую, полагает оратор, можно рассматривать как некую модель «малой культуры» в условиях высокоразвитого индустриального (скажем определеннее: капиталистического) общества. Основа ее — одна из старейших литератур Европы, сложившаяся в Уэльсе к X веку, когда другие языки, кроме греческого и латыни, еще не имели письменности. Но не реликты насильственно реанимируемой старины питают сегодня ее жизнестойкость, а дееспособная традиция борьбы за право на существование. Слово «уцелеть» тут как нельзя кстати. Нелегко сохранить себя культуре, если ее древний язык даже в самой Великобритании неизвестен большинству населения. Непросто выстоять, если она, как в случае с Уэльсом, разбросана «лишь по малонаселенным и сравнительно бедным аграрным областям, которые сами по себе являются анахронизмами» — немногими островками, пока что не сокрушенными шквалом урбанизации.

Бытует и такое мнение: исчезновение «окраинных» литератур малых народов — историческая неизбежность, которую надлежит принять как объективную реальность современного западного мира. И даже признать за благо их вытеснение и поглощение некой «всеобщей культурой», растворение в ней. Но так ли уж ничего не утратит при этом человечество, не обеднеет в своем духовном развитии? «Мы стоим перед выбором,— отвечает Сесили Максуорт воображаемым оппонентам,— и от нашего решения зависит облик будущего. Либо мы смиримся со стандартизацией, сглаживанием индивидуальных особенностей культур, либо будем бороться за сохранение живой культурной традиции, развивающейся в русле общественного прогресса».

Несомненно: точка зрения, которую решительно отвергает Сесили Максуорт, служит идеологической защите тех «внутренних и внешних сил», которые враждебны культурам малых народов и Великобритании, и других стран. О том, сколь разрушительно действие этих сил, можно судить по выступлению ПИЛАРА ВАСКЕСА КУЭСТЫ, с не меньшей, чем писательница из Уэльса, горячностью защищавшего, вопреки «губительной реальности», права галисийской литературы, которая «ничем не уступает литературам на более употребительных языках», но «почти неизвестна даже в своем языковом ареале — в Португалии и Бразилии». Все попытки ее распространения, в том числе средствами перевода, «разбиваются о стену непонимания», и чем-то вроде «гетто» становится для галисийского языка, теснимого кастильской языковой традицией, сфера его употребления, ограничиваемая «сельской местностью и домашним очагом».

К той же ассимиляторской тенденции, действующей в социально определенных ус-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 259.

[2] Там же, т. 24, с. 124.

[3] Ее стихи публиковались в «ИЛ», № 8, 1965; 1971, № 3; 1974, № 11.

ловиях капиталистического строя, восходит «парадоксальный феномен» культурной ситуации в Бельгии, отмеченный МАРСЕЛЕМ ЛОБЕ: всепроникающий «космополитический дух», который насаждают средства массовой информации, и противодействующий ему рост национального самосознания, усилившееся обращение к национальным корням культуры. И тем и другим равно навеян вывод о том, что самый термин «бельгийская литература» в наши дни устарел: северные провинции страны, Фландрия, тяготеют к голландскому языку и голландской культуре, а в Валлонии, южных провинциях, тесно связанных с Францией, распространены французский язык и французская культура. «Две тенденции, двойная принадлежность, культурное наследие, питаемое двумя источниками»,— все вместе чревато скрытыми и явными столкновениями. «Фламандизация» теснит французский язык, который, в свою очередь, ревностно защищают «порой заходя дальше, чем нужно» (примечательное свидетельство!), писатели Валлонии. Собственно валлонская литература существует на диалектах, художественные достоинства которых в силах постичь только специалисты, или довольствуется внешним колоритом местных «словечек», вставленных во французскую речь. Все это побудило оратора признать, что «ход истории не остановить», и перед лицом его не остается ничего другого, как поддержать призыв профессора Брюссельского университета, лингвиста Пьера Рюэля к выбору между чувством и разумом, предпочесть разум чувству, коль скоро он «подсказывает нам, что диалекты — это отражение исчезнувшего мира».

Но не просто, оказывается, смирить чувство, если оно хочет быть (и зачастую бывает) прозорливее разума. Соглашаясь, что «знать будущее не дано никому», ПЬЕР ГАМАРРА продолжает упрямо «верить в жизнь, а не смерть культуры, в возможность ее процветания, а не в неизбежность упадка», хотя многое оборачивается против такой веры. Всемирная слава французской культуры не уберегла нацию от того, что около половины французов ни разу в жизни не купили ни одной книги. Все меньше людей говорят на некогда распространенных и до сих пор не умерших языках, которые ныне стали считаться диалектами,— провансальском, бретонском, каталанском, эльзасском, пикардийском. Вполне может статься, что «в один прекрасный день» они вовсе исчезнут.

Примем во внимание существенную оговорку писателя: резко выступая против «неуважения к культурным ценностям и возможностям провинции», он вовсе не бросает вызов Парижу. Спор о другом. Об остро назревшей необходимости устранить препятствия, тормозящие духовное развитие нации, демократизировать культурную жизнь страны в интересах широкого участия в ней каждого территориального региона. Для Франции, настаивает на том же РАЙМОН ЖАН, это имеет тем большее значение, что «централизация культуры, интеллектуальной жизни вообще и литературы в частности» развита в ней чрезвычайно. «В результате почти все, что появляется нового в литературе и общественной мысли, исходит из двух-трех округов Парижа». Выступление Раймона Жана примечательно тем, что его голосом, призывающим остановить «центростремительное движение», «установить литературный и культурный полицентризм, необходимость которого глубоко ощущается всеми, кто живет и творит в провинции», говорит Прованс, где, как в любом районе Франции, имеются «все условия для полноценной, автономной, независимой от Парижа» литературной жизни.

Возрождение диалектов и языков, активное включение создаваемых на них литератур в общекультурную жизнь страны возможно лишь на демократической основе, в условиях, благоприятствующих выражению самосознания этнических групп и национальных меньшинств. В мрачные времена франкистской диктатуры АЛЕКС БРОК и помыслить не мог о том, чтобы «с сознанием огромной ответственности», возложенной на него веками народной истории, выступать с трибуны международного форума как «живое доказательство существования каталонской культуры и каталонского народа», представлять «одну из тысячелетних культурных традиций, сформировавших современную Испанию». Оглядывая путь каталонской культуры за несколько последних столетий, он уподобил ее деятелей Сизифу: поднять камень на вершину горы означало для них обрести «нормальный культурный статус», защитить неотъемлемое право народа изучать в школах свой язык.

На протяжении всей новой и новейшей истории великодержавная политика шовинизма в условиях классово антагонистического общества знала свои, родовые черты. «...Испанских детей еще в школе не учат тому, что у нас реально существует многоязычие, и, сталкиваясь с этим во взрослой жизни, испанцы часто проявляют нетерпимость и раздражение»,— возмущался известный литературовед, академик Гильермо Диас-Плаха. Так было совсем недавно — на закате франкистского режима, который недалеко ушел от «тюрьмы народов», как называли встарь царскую Россию. Циркуляр ее министерства внутренних дел, запретивший в 1876 году печатание книг на украинском языке,— звено той же цепи, что и меморандум губернатора Якутии, громогласно заявившего в 1905-м: «Учреждение школ с преподаванием на якутском языке и искусственное создание якутской грамотности, литературы и библиотек принесет не пользу делу просвещения, а вред».

Как не вспомнить эти дела давно минувших дней, оставшиеся в далеком дореволюционном прошлом народов СССР,— для нынешних поколений они почти как костры средневековой инквизиции,— проникаясь горечью воспоминаний Алекса Брока о том, как «роковой исход» национально-революционной войны испанского народа против фашизма лишил Каталонию автономии, которой она добилась в начале 30-х годов. История повернула вспять, «свела на нет все долгие усилия. Лишь те, кто пережил это страшное событие, представляют себе размеры ущерба, который понесла в результате каталонская культура. Новым поколениям пришлось начинать с нуля. Но сила каталонского народа оказалась столь вели-

ка, что мы вновь смогли доказать реальную мощь и возможности нашего языка и словесности».

Сколь бы ни были извилисты и круты пути национальной истории, народ — не экспонат археологического музея, афористично выведенный в стихотворении Жозепа Карнэ[1], одного из зачинателей современной каталонской поэзии, не забывший «после стольких передряг» свое божественное происхождение идол, чей отчаянный крик о помощи не встречает «в ответ ни голоса, ни эха». Вершитель собственной исторической судьбы, он заявляет о себе патетическими строками Сальвадора Эсприу[2], крупнейшего поэта, возвестившего после долгой непроглядной ночи рассвет нового дня над древней землей:

Порой бывает необходимо,
чтобы во имя народа умер один
человек,
но целый народ никогда
не должен умирать во имя одного
человека —
запомни это, наш общий город.

Наведи мосты пониманья,
постарайся постичь, полюбить
разноплеменную речь
детей твоих.

(Перевод с каталанского С. Гончаренко)

Жизнеутверждающему гуманистическому пафосу этих строк близко убеждение Алекса Брока в том, что «углубление и развитие собственной культурной традиции нисколько не противоречит открытости культуры для критики, участию в интеллектуальной жизни остального мира». Временем трудностей, но и временем надежд, разделяемых всеми демократами Испании, видится ему нынешний день. Возрождение национальной культуры в условиях восстановленной автономии — процесс сложный и противоречивый, встречающий сопротивление правых сил. Но «после долгих лет борьбы каталанский язык наконец-то введен в школьные программы, признан официальным языком Каталонии». Ее литературе предстоит продолжить свои самобытные традиции и вместе с тем лучше отвечать насущным потребностям современности. «Потерпят поражение все те, кто не верит в новое качество каталонского писателя конца XX века, открытого всем передовым помыслам и движениям общества, неуклонно приближающегося к XXI веку».

На пороге его насильственная ассимиляция малых народов встречает все большее противодействие. Упорное сопротивление ей растет и среди литератур североамериканских национальных меньшинств, к которым АНТОНИО БЛАНК относит также литературу «чиканос» — американцев мексиканского происхождения, утверждающих «свою этническую принадлежность путем отказа подчиняться» англо-американскому языковому и культурному диктату.

Согласно статистике, в США проживает шесть-семь миллионов «чиканос». Пробуждение их национального самосознания совпало в середине 60-х годов с первой волной борьбы сельскохозяйственных рабочих в защиту своих гражданских прав. Духом этого социального протеста и проникнута испаноязычная, «уже не мексиканская, но еще не американская» литература, развившаяся поначалу в кварталах «чиканос» из устного поэтического творчества, театрализованных песен, пьес для народного уличного театра. Ее своеобычный, пока только складывающийся язык усваивает различные диалекты, элементы сленга, речевой колорит улиц и кафе, портовый жаргон. «Одна из характерных черт этой литературы — ее политическая направленность. Она всегда была связана с движением протеста...»

Однако в том, что литературу национальных меньшинств США создают активные участники политической борьбы, Антонио Бланк видит не только силу, но и «одну из главных опасностей, угрожающих ей», чреватых односторонним критическим подходом, который «уводит нас в область чисто идеологических выводов и не учитывает текстологической реальности литературы, ее собственно литературного контекста». Отсюда желание оратора «напомнить, что литературная критика не может ограничиваться идеологией. Произведение искусства — нечто большее чем социальный диагноз, революционное оружие или укор нашей совести».

Напрасные опасения. Отвергая крайности упрощенного вульгарно-социологического взгляда на искусство, нет надобности противопоставлять одну схему другой — не признавать преимуществ подлинно социологического анализа художественных процессов и явлений, творчески соединяющего идеологию и эстетику, способного уловить их разветвленные взаимопроникновения в структуру образа, материю слова. Формализованное, выхолощенное слово бессильно постигнуть противоречия и драмы жизни, углубить наше познание мира и человека в мире. Но исполненное социального протеста или революционного призыва, оно становится знаменем и знамением века, достойным выражением национального самосознания личности и народа.

Обратим внимание на важнейшую общую особенность в развитии литератур малых народов: чем активнее пробуждаются они к самостоятельной творческой жизни, тем органичнее их национальное возрождение протекает в русле реалистического искусства. Именно реализм с его ориентацией на жизнестойкие традиции исторически конкретного и социально обусловленного изображения действительности, гуманистическим пафосом сострадания униженным и оскорбленным, безотказным чувством художественной правды — вспомнить, к примеру, роман каталонской писательницы Мерсе Родореды «Площадь Диамант»[1] — действенно противостоит духовно выхолощенной «массовой культуре» потребительского общества, чья космополитическая обезличенность размывает национальные основы народного бытия.

Чем, как не ее натиском, вызвано «болезненное ощущение работы впустую», нередко сопутствующее, по признанию Робера Андре, современному писателю даже тогда, когда он творит на широко распространенном языке? И что же говорить в таком случае о мироощущении писателей, представляющих малочисленные народы? С поэзией Кипра, рассказывает Элли Пео-

[1] Стихи Ж. Карнэ см. в «ИЛ», 1981, № 4.
[2] Стихи С. Эсприу см. в «ИЛ», 1978, № 10.

[1] Опубликован в «ИЛ», 1981, № 11.

ниду, достигшей в последние годы небывалого расцвета, едва ли знаком ближайший сосед — греческий читатель. Зато на самом Кипре «телевидение бомбит нас американскими, английскими, арабскими, израильскими и прочими передачами. Огромное количество других языков можно услышать в наших магазинах и отелях — эти языки вторглись уже и в повседневную жизнь. Со скорбью замечаем мы, что наша национальная одежда отступает перед модой, и с глубокой печалью видим, что обезличенные международные «удобства» — бетон, пластик, нержавеющая сталь — заменяют камень, дерево, мрамор, которые некогда нас взрастили. Больно сознавать, что наши ценнейшие памятники культуры распродаются на аукционах в западных столицах».

Посягая на национальную самобытность малых народов, космополитическая «массовая культура» порождает в ответ коварный искус самоизоляции, амбициозных «почвенных» устремлений, замыкающих художественную мысль в узком кругу традиционных устоев, экзотических примет национального быта. Путь явно неплодотворный, творчески бесперспективный. В конечном итоге он способен породить подобия так называемой «тривиальной беллетристики» — крайнего выражения провинциальной, областной, местной или, точнее, областнической литературы, которая, например, образует широкий пласт современной культуры ФРГ (и напрочь отсутствует в литературе ГДР). Не напоминает ли это о том, что автономия этнического или национального региона сама по себе еще ничего не гарантирует, не уводит культуру от грозящих ей тупиков? Решающее значение обретают здесь ориентация, направленность художественных исканий.

Думается, призыв возвратить французскую литературу к «средневековым корням» вряд ли даст надежный стимул самостоятельному культурному развитию регионов, высвобождающихся из-под централизованных воздействий. Впрочем, для Раймона Жана это скорее всего оговорка. Как уточняет оратор, не «почвенническую литературу» защищает он, но региональную культуру провинций, поднятую до общенационального значения. Еще определеннее говорит об этом Алекс Брок, видя ближайшей задачей каталонской литературы преодоление национальной ограниченности: «...истинная культура несовместима с культурным колониализмом. Она — плод постоянного общения народов, способности и желания открывать реальные ценности других культур и таким образом обретать сознание собственной значимости, своего места в мировой культуре».

Так наметилась тема взаимосвязей, взаимовлияний, взаимодействий разнонациональных литератур — составных звеньев мирового литературного процесса.

Включаясь в нее, ЮРИЙ СУРОВЦЕВ осветил «опыт развития национальных литератур при социализме», который выдвигает «новые основы взаимосвязей литератур и тем самым новые критерии для многонациональных (разнонациональных) литературных общностей. Разумеется, при этом «старые», «традиционные» не исчезают, но модифицируются, проявляясь уже в новых — социалистических — условиях жизни этносов».

На протяжении всей советской истории мы не знаем ни одной поглощенной, исчезнувшей литературы. Больше того: самый процесс движения советской литературы из десятилетия в десятилетие сопровождался динамичным становлением новых и новых литератур, расширявших ее национальное многообразие.

Семьдесят восемь литератур образуют сегодня национально многообразную и в то же время интернационально единую советскую литературу. Более половины из них — младописьменные или новописьменные литературы малых народов, получивших современную письменность только в советское время. Семен Курилов, первый юкагирский писатель, автор созданного в 60-е годы большого эпического полотна о дореволюционном прошлом народов Крайнего Севера, говорил, что знает в лицо всех соплеменников: по последней переписи юкагиров насчитывается всего 800 человек. Поэтесса Огдо Аксенова, сама, прежде чем выпустить в 1973 году первую книгу, участвовавшая в разработке долганского алфавита, представляет литературу одной из малочисленных народностей заполярного Таймыра, насчитывающей около 5 тысяч человек. А по переписи 1924—1926 годов, напоминает она, долган не было и тысячи.

Более чем в семидесяти странах издавались книги Чингиза Айтматова. Но все ли зарубежные читатели помнят, что его ранней повестью «Джамиля», вышедшей во Франции почти четверть века назад в переводе и с предисловием Луи Арагона, впервые заявила о себе миру национальная культура киргизского народа, которая на глазах писателя прошла путь «от импровизаций акына к современной философской поэме, от патриархальных сказаний к многоплановому роману, от орнаментов к станковой живописи, от народных игр к театру и кинематографу, от комуза к симфонической музыке»? Пример показательный, но вовсе не исключительный в ряду многих и разных примеров, подтверждающих предвидение В. И. Ленина о том, что социализм создает все необходимые предпосылки и условия для решения воистину грандиозной исторической задачи — «за годы, за десятилетия загладить культурный долг многих столетий»[1]. В общем русле многонационального единства советской культуры литературы малых народов, родившиеся и окрепшие на памяти нынешних читательских поколений, совершили ускоренное движение от традиций устного народного творчества к современному реализму. Сегодняшний их расцвет столь интенсивен, что литературоведы и критики с полным основанием называют его не иначе как «культурным взрывом».

И в самом деле — взрыв, если учесть, что речь идет не только и не просто о стремительном преодолении унаследованного от дореволюционного прошлого и неравномерного развития 20—30-х годов разрыва в уровнях малых и больших, молодых и зрелых литератур, но их равноправном взаимодействии, взаимно плодотворном обога-

[1] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, М., Политиздат, 1969, т. 5. с. 65.

щении в масштабах единого общелитературного процесса. На волне его каждая литература выдвигает яркие дарования и таланты, получающие всенародное признание. Тем шире исследовательские плацдармы, заданные литературами малых народов текущей критике и литературоведческой науке. Здесь и монографии о творчестве таких ведущих мастеров, как аварец Расул Гамзатов, балкарец Кайсын Кулиев, калмык Давид Кугультинов, и научные труды о становлении и развитии отдельных жанров — например, жанра романа в литературах народов Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока[1], и теоретические обобщения путей и судеб литератур в неразрывной диалектике их национальной самобытности и интернациональной общности[2]. В республиках, краях и областях изданы истории литератур малых народов, которые, в свою очередь, стали неотъемлемой частью многотомной «Истории советской многонациональной литературы»...[3]

Прав Ю. Суровцев: «Мировая литература в прошлом не знала ничего подобного в каком-либо многонациональном государстве». Но наверняка узнает в будущем, потому что «наиболее существенные закономерности культурно-литературного развития социалистического государства с разнонациональным составом населения, впервые показавшие себя на советском опыте, позднее подтвердились в иных масштабах и условиях иных социалистических стран». Об этом говорили на мадридском коллоквиуме МАЛК писатели и критики из Болгарии, Чехословакии, Румынии, ГДР.

Творя «новые, высшие формы человеческого общежития», социализм и в области национальных отношений «устраняет почву для конфликтов, устраняет взаимное недоверие, устраняет опасение каких-либо интриг, создает то доверие, в особенности рабочих и крестьян, говорящих на разных языках, без которого ни мирные отношения между народами, ни сколько-нибудь успешное развитие всего того, что есть ценного в современной цивилизации, абсолютно невозможны»[4]. Вот почему в условиях социалистического образа жизни утратили свою былую конфликтность, разрешились и многие из тех проблем, которые так остро стоят в буржуазном обществе.

Взять, скажем, диалекты, неминуемую гибель которых предвидит Марсель Лобе и допускает Пьер Гамарра. Воспоминание к случаю: писатель из ГДР Иоахим Новотный однажды рассказывал, как, будучи в 50-е годы студентом Лейпцигского университета, слушал лекцию профессора германистики, предрекавшего к 80-м годам исчезновение диалектных речений в немецком языке. Считать так побуждал наметившийся в то время процесс выравнивания диалектов. Но наступили 80-е годы, и оказалось, что диалекты по-прежнему живут. И даже выражают что-то существенное в своеобразии человеческих характеров, что, в свою очередь, находит отклик в литературе. Аналогичный пример дает Советская Литва. Литовский язык исстари имеет четыре основных диалекта, но только один из них — аукштайский — исторически лег в основу литературного языка. Однако и три остальных, реально бытуя в народе, обогащают его своими самобытными красками — расширяют лексический строй, вносят интонационные и стилистические особенности.

Не знает внутреннего разлада и двуязычие писательского творчества, обретающее с годами значение одной из типологических закономерностей многонационального литературного процесса, которая, считал академик М. П. Алексеев, может стать «необходимостью в обществе будущего»[1]. Выдвижение ее едва ли не первым чутко уловил старейший ученый, один из создателей школы советского литературоведения П. Н. Берков. В 1967 году он выступал в Белграде на V конгрессе Международной ассоциации по сравнительному литературоведению с докладом «Литература народов СССР и проблемы международных литературных контактов».

Значительное место в докладе было отдано обоснованию все возрастающего значения русского языка (как родным или вторым родным сейчас им свободно владеют восемьдесят два процента населения страны) во взаимодействии и взаимообогащении литератур советских народов. Став языком межнационального общения, он не только выводит в мир любую из национальных литератур, но нередко и сам выступает средством их самовыражения. «Широкое распространение русского языка в национальных республиках и областях,— говорил П. Н. Берков,— вызвало не вытеснение национальных языков, а возникновение качественно нового явления — установления двух равных по практическому применению языков»[2]— «материнского» и русского. По мере того как последний становился для народов СССР вторым родным, второй родной становилась для них и русская литература, классическая и современная.

Возможно возражение: разве в истории мировой литературы не встречались прежде подобные явления? Вся проза Тараса Шевченко создавалась на русском языке. На русском, итальянском, английском осталось литературное наследие прозаика и публициста, революционера-народника С. Степняка-Кравчинского. Как польский революционный поэт начинал свой творческий путь русский советский прозаик Бруно Ясенский, а его знаменитый роман-памфлет «Я жгу Париж» печатался в «Юмани-

[1] См.: Пархоменко М. Н. Рождение нового эпоса. М., «Современник», 1979.

[2] См.: Пархоменко М. Н. Многонациональное единство советской литературы. М., «Просвещение», 1978; Ломидзе Георгий. Ленинизм и судьбы национальных литератур. М., «Современник», 1974; Чувство великой общности. М., «Советский писатель», 1978; Гусейнов Ч. Г. Формы общности советской многонациональной литературы. М., «Мысль», 1978; Суровцев Юрий. Необходимость диалектики. К методологии изучения интернационального единства советской литературы. М., «Художественная литература», 1982.

[3] История советской многонациональной литературы. В шести томах. М., «Наука», 1970—1974.

[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 40; т. 45, с. 240.

[1] М. П. Алексеев. Многоязычие и литературный процесс. В сб.: «Многоязычие и литературное творчество». Л., «Наука», 1981, с. 17.

[2] П. Н. Берков. Проблемы исторического развития литератур. Л., «Художественная литература», 1981, с. 377—378.

те» с французского оригинала. Поляк Юзеф Коженёвский стал английским писателем Джозефом Конрадом, а армянин Уильям Сароян — выдающимся мастером американской прозы. Великие фламандцы Метерлинк и Верхарн, напомнил Марсель Лобе, предпочитали писать на французском языке...

Но как бы ни были многочисленны эти явления двуязычного (и даже трехъязычного) творчества или избрания для него неродного языка, они существовали лишь разрозненными фактами и, будучи результатом жизненной биографии или творческой воли писателя, не складывались в тенденцию. Применительно же к опыту современной советской литературы мы вправе говорить о тенденции, которой тем более не вольно пренебрегать (но нельзя и абсолютизировать), что проявления ее достаточно многоразличны. Здесь и создание произведений на языке другой нации, чаще всего русском, который стал для писателя родным,— таковы поэзия Олжаса Сулейменова, проза Фазиля Искандера, Александра Эбаноидзе, Ануара Алимжанова, Тимура Пулатова, Тимура Зульфикарова, проза и драматургия Максуда и Рустама Ибрагимбековых. И творчество на двух языках одновременно — киргизском и русском у Чингиза Айтматова, молдавском и русском у Иона Друцэ, белорусском и русском у Алеся Адамовича. И перевод своих произведений на русский язык самим писателем — белорусом Василем Быковым, грузином Чабуа Амирэджиби, эстонцем Владимиром Беэкманом. Поучительный пример двуязычия дал Юрий Рытхэу, пишущий по-русски, но обогативший родной чукотский переводом «Поднятой целины» Михаила Шолохова.

Как — возникает вопрос — определять в таких случаях национальное «подданство» писателя? Или, говоря конкретно, являются ли писавшиеся по-русски романы Ч. Айтматова «И дольше века длится день», И. Друцэ «Белая церковь» достижениями киргизской и молдавской литератур? Ответ на него и в малой мере не сопряжен с теми драматическими переживаниями, которые нередко сопутствуют писателю, живущему в мире национальных конфронтаций. «...В собственном переводе автора с родного азербайджанского на родной русский» — таким красноречивым подзаголовком сопроводил публикацию своей повести «Магомед, Мамед, Мамиш» Чингиз Гусейнов.

Уместно подчеркнуть: язык—важнейший, но не единственный, не всеисчерпывающий фактор национальной самобытности писательского таланта. Будь иначе, мы считали бы Мориса Карема французским поэтом, а Макса Фриша — немецким прозаиком. И не умели бы различать американского или английского, итальянского или испанского писателя в переводе. Между тем не только оригинальный текст, но и перевод, если он создание искусства, а не изделие ремесла, позволяет нам проникать в структуру художественного образа, выявлять внутренние законы образного мышления, характерные особенности поэтического мировосприятия и жизнеутверждения в творчестве иноязычного писателя и через его неповторимую «манеру понимать вещи» постигать национальное своеобразие самой литературы...

Такова цепь актуальных проблем, связанных с темой дискуссии на коллоквиуме МАЛК. Проникаясь ими, как не повторить слова Робера Андре: литературной критике важно осознать не только сложность стоящих перед нею задач, но и свою ответственность за их решение. В ее силах помочь развитию литератур малых народов, содействуя, в частности, переводам значительных произведений на распространенные языки.

Велика роль критики в благородном деле взаимного ознакомления литератур стран и континентов с художественным опытом друг друга, расширения культурных контактов поверх все еще существующих предрассудков непонимания или недоверия, национальной узости, ограниченности или национального эгоизма, высокомерия. Ни одна литература не сможет развиваться гармонично, если не найдет у других ничего полезного, поучительного для себя, если идеалом ее станет самоустранение от забот и тревог современного мира. Перед лицом их советские писатели и критики «готовы к диалогу с любыми течениями духовной жизни современности — кроме тех, что проповедуют войну, насилие, национальное неравноправие» (Ю. Суровцев).

Несомненно, уроки такого диалога будут тем плодотворнее, чем активнее литературно-критическая мысль включит в круг своих наблюдений и выводов опыт советской литературы, которая, размышляет авторитетный исследователь, «именно как многонациональное целое изменила и меняет соотношение идеологических сил в мире, укрепляет — самим фактом своего существования и успешного развития — демократические и социалистические элементы литературы мировой». Советская литература, создающаяся на различных языках и одушевленная общими идеями и стремлениями, «представляет феномен небывалый в истории мировой литературы — и благодаря своему многообразию, и благодаря своему единству. И не в последнюю очередь — благодаря новому типу отношений между различными своими национальными отрядами»[1]. Это питает социальный оптимизм в отношении будущего национальных культур, которое ждет их за порогом нового века.

[1] Т. Мотылева. Многонациональная советская литература в международном контексте. В кн.: «Единство». Сборник статей о многонациональной советской литературе. Выпуск четвертый. М., «Художественная литература», 1982, с. 182.

К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

ПРАВО ЖИТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Владимир Маяковский — один из тех, кто составляет гордость и славу русской советской литературы. Поэт, сознательно и бесповоротно отдавший свое перо служению революции, создатель поистине новаторской поэтической системы, смелый реформатор русского стиха, обновивший и самый язык нашей отечественной поэзии, он сумел с непревзойденной яркостью и полнотой отразить в своем творчестве духовное становление человека нового, социалистического общества. Поразительна многогранность его таланта: мы равно восхищаемся Маяковским-лириком, Маяковским-трибуном, Маяковским-сатириком. Его высоко ценили многие мастера поэтического слова — Назым Хикмет и Луи Арагон, Пабло Неруда и Бертольт Брехт И по сию пору жизнь и поэтическое наследие Маяковского остаются предметом многочисленных исследований литературоведов и критиков всего мира. Ибо без постоянного изучения и обобщения опыта Маяковского немыслимо движение вперед современной поэзии. Вот почему мы вновь обращаемся к высказываниям о нем видных зарубежных писателей и деятелей культуры и публикуем их в этом номере[1] Относящиеся к разным годам, собранные вместе, они дают представление о масштабности личности и творчества великого советского поэта.

НАЗЫМ ХИКМЕТ (Турция)

Маяковский-поэт впервые заговорил во весь голос в дни Октября. Заговорил от имени революции, от имени всей Советской России. «Сплошное сердце» забилось вместе с пульсом жизни нового, строящегося мира. Советская Россия снарядила его в большую дорогу, как мать снаряжает сына,— она дала ему силу волю, талант, голос, который перекрывает бури легко проходит сквозь все преграды на любых широтах и долготах.

Не было в жизни советского народа ни одного сражения в котором бы не участвовал поэт Маяковский, не было утраты, которую бы он не оплакал. Не было победы, которую бы он не воспел, не прославил бы на века. Всей своей жизнью Маяковский завоевал право жить после смерти, шагать как и прежде, вместе с народом, оставаясь его выразителем и слугой.

ЛУИ АРАГОН (Франция)

Маяковский не боялся полным голосом говорить о Родине, Партии, Человечестве и подбирал для этого слова нежные, слова, исходящие из артезианских глубин его сердца, слова подлинной любви,— не брезгуя при этом ничем что помогало создать образ, проникало в человеческие сердца... и родину он называл родиной, партию — партией и человечество — человечеством.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ (Польша)

Маяковский для меня вечно молод. И если бы даже отмечалось тысячелетие со дня его рождения, для меня он всегда остался бы воплощением поэтической молодости. Я вижу его «глазами души» как говорит Гамлет, не таким какой он на московском памятнике которому я всегда кланяюсь с почтением и дружелюбием, и не тем, с кем я познакомился в Варшаве,— хмурым и читающим стихи, стоя за стулом, но

[1] Приводимые высказывания цитируются по изданию: В Маяковский. Собр. соч. в 12-ти томах. М., изд. «Правда», 1978, т. 12.

Высказывание Л. Арагона цитируется по изданию: Луи Арагон. Собр. соч. М., 1961, т. 10.

таким, каким я увидел его в Киеве на улице в 1913 году,— юным и могучим, уже известным, так как товарищ сказал мне: смотри, это Маяковский. Он шагал с открытой головой по улице (в те-то времена!) и захватывал, как ветер.

Потом он пришел в революцию, звал на борьбу, призывал «крепить у мира на горле пролетариата пальцы». Но все эти большие политические и социальные лозунги были окрашены, насквозь проникнуты личным восприятием, полной преданностью делу, лирикой.

Он говорил о великих делах, но это был и разговор о себе. И потому его слова были так убедительны, музыка стиха так пронзительна, а голос звенел вечной молодостью чувств. Я счастлив, что вижу его таким.

ЮЛИАН ТУВИМ (Польша)

Мне трудно осознать, проанализировать и описать потрясающее впечатление, какое на меня произвело первое знакомство со стихами Маяковского... Потрясение от поэзии, которое пережил я, впервые читая Маяковского, можно сравнить только со впервые пережитым волнением от голоса и вида разорванного молниями неба.

Вихрь, переворот, гром, пламя — все новое, беспрецедентное, чудесное, тревожное, революционное.

Строфа — революция, рифма — революция, образы — революция. Меня заполнило чувство, что в поэзии случилось что-то огромное по своему значению — художественный перелом.

ПАБЛО НЕРУДА (Чили)

Среди одряхлевших поэтических систем, с их классификацией рассветов и сумерек раздался его голос, подобный молоту строителя. Поэт находил в сердце коллектива силу для новых мелодий. Нежность и яркость замечательного советского поэта остаются поныне высочайшим образцом нашей поэтической эпохи. Он, а не творцы развлекательных попурри, был отныне собратом моим по искусству. О нем я не раз вспоминал в окопах республиканцев у стен осажденного Мадрида в дни боевого моего крещения.

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ (Дания)

Даже в переводе поражаешься гениальности Маяковского: он умен, парадоксален и эпиграмматичен, и все же у него настолько глубокое дыхание, что редко встречается у лириков. Он напоминает как Петефи, так и Уолта Уитмена. Его поэма «Ленин» — это высшее напряжение от первой до последней буквы. Простых слов он, кажется, не знает. Может быть, он производил бы еще более сильное впечатление, если бы кое-где снижал голос. Но эта движимая мощным пафосом поэма величественна.

ЖОРЖ САДУЛЬ (Франция)

Слава Маяковского во Франции растет и растет, и я уверен, она будет расти все больше как заслуживает того один из самых великих поэтов мира, певец советского человека и Революции.

ИОГАННЕС БЕХЕР (ГДР)

...Всемирно-революционное значение Маяковского заключается, по нашему мнению, в том, что поэту блестящим образом удалось показать в своих произведениях себя как свободно развивающуюся социалистическую личность... Он связал себя неразрывными узами с национальными и революционными интересами своего времени.

ПЕТРОС АНТЕОС (Греция)

Прогрессивные греческие поэты считают Маяковского самым великим поэтом нашего века. Большой греческий революционный поэт Яннис Рицос в своей поэме «Здравствуй Владимир Маяковский» пишет:

...Сколько бы время ни уносило, ты всегда останешься
первым поэтом нашего века.

...Я глубоко почувствовал, что Маяковский был поэтом жизни и поэтому стал самым великим поэтом революции.

ГУГО ГУППЕРТ (Австрия)

Маяковский дозрел до глубоко идейного, эмоционально насыщенного интернационализма, ленинской чеканки. Эта сознательная, резко подчеркнутая универсальность получила однако, свой цвет, свой стиль, свой рельеф лишь благодаря тому, что Маяковский был и остался вполне русским, народным поэтом.

ЭЛЬВИО РОМЕРО (Парагвай)

Маяковский подобен могучему дереву, пустившему корни в сердцах нашей латиноамериканской молодежи. Его поэзия, как молния, как неугасимый огонь, в нашем сознании...

РЕНЕ ДЕПЕСТР (Гаити)

Как поэт я преклоняюсь перед Маяковским, которого считаю величайшим поэтом современности. Творчество Маяковского — это первая ракета, запущенная в небо поэзии.

ДИЕГО РИВЕРА (Мексика)

Маяковский для Мексики был метеором по краткости своего пребывания и ослепительности своего гения. Но свет этого метеора не угас в нашей стране — он озаряет всех нас и сегодня. Маяковский не долго жил среди нас, но тем не менее мы чувствуем, что он принадлежит и нам, потому что его гений породил расцвет многих мексиканских талантов.

Он вызвал восторженную любовь тех, кто его видел. Его изумительный голос и необычайная звучность его стихов пробуждали необычный энтузиазм рабочих и крестьян, которым удалось слышать, как он их читал. Позже «Левый марш» в хорошем переводе превратился в гимн и боевую песню трудящихся...

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)

Мое поколение пришло на смену поколению, к которому принадлежал Маяковский. Его творчество наложило большой отпечаток на английскую современную литературу и английского читателя. Для нас он всегда был и остается одной из звезд первой величины мировой литературы. Вы даже не представляете, какое огромное значение имеют для нас на Западе многие его произведения, такие, например, как «Стихи о советском паспорте».

Потрясающая сила этих стихов, личность самого поэта, с такой гордостью и радостью говорящего о своем советском гражданстве, о своей молодой Родине, не могли никого оставить равнодушным. Его произведения переводились и издавались в Англии много раз. Я могу сказать, что Маяковского сейчас знают и любят в нашей стране все больше и больше,

Особенно нравится его творчество нашей молодежи...

В эпоху подъема классовой борьбы молодых привлекает героико-романтическая поэзия Маяковского, им близки присутствующие в ней дух юности, борьбы, желание победы.

Для меня лично все творчество Маяковского представляется ярким и стойким цветком, выросшим на почве Великой революции. И нам, на Западе нужны такие герои и такая литература, как у Маяковского...

НИКОЛАС ГИЛЬЕН (Куба)

...Октябрьская революция пронеслась над поэзией Кубы, как освежающий ветер, до нас дошли прекрасные стихи Маяковского.

Это влияние не ограничилось одной лишь областью формы. Поэзия Маяковского оказала большое влияние и на содержание. Поэты Кубы стали интересоваться классовой борьбой, стали участвовать в классовой борьбе и стали писать стихи о классовой борьбе.

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)

Маяковский учит нас всех, писателей и поэтов, как надо превратить искусство в орудие пролетариата для строительства социализма.

ВИКТОР ВИЛЬЯМС (Австралия)

Главная сила Маяковского — в его неразрывной связи с передовой частью трудового народа, с движением вперед, к социализму.

Все люди творческого труда должны помнить об этом, ибо без такой связи с жизнью и с будущим мы не сможем создать ничего ценного.

Имя, творчество, вдохновенная сила Маяковского известны далеко за пределами Советского Союза и будут жить в веках.

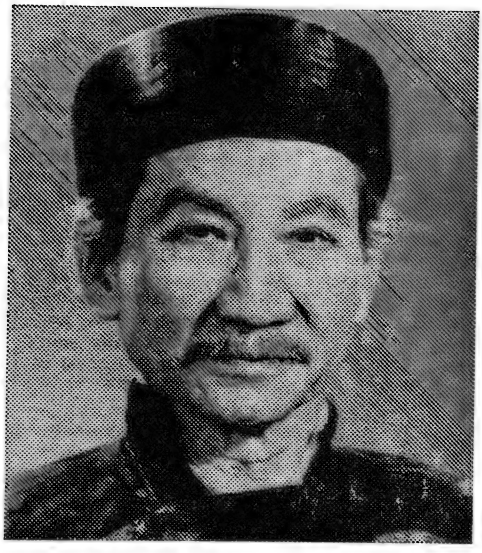
МАРИЯ МАЙЕРОВА (Чехословакия)

В нас во всех будет жить Маяковский, как жизнь, как свет, как поборник жизни и мира.

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ТУНЬОН (Аргентина)

Маяковский, клянемся быть верными твоей памяти, клянемся следовать твоему светлому примеру; если же мы не выполним эту нашу клятву, пусть народ и поэт призовут нас к ответу.

◆



Нгуен Туан в фильме «Лампа гаснет»

МИХАИЛ ИЛЬИНСКИЙ

НГУЕН ТУАН: «ПИСАТЕЛЬ — ВЕЧНЫЙ ПУТНИК»

Почти десятилетие прожито в Индокитае... После трехлетнего перерыва я вновь сижу на балконе в номере ханойской гостиницы «Тхонгнят» и ожидаю друга. До его прихода остается еще с полчаса, и я наслаждаюсь прохладой. Война уже давно отгремела. Как преобразился город за последние годы! Невольно вспоминается прошлое. Блиндажи, уличные бомбоубежища под окнами, надрывный вой сирен, воздушные тревоги, налеты, авиационные бои, залпы с зенитных и ракетных позиций.

Как и тогда, лучи заходящего солнца, едва касаясь верхушек высоких деревьев сау, бликами ложатся на черепичные крыши ханойских домов. Приветливо покачивают кронами старые кокосовые пальмы. И дома как бы излучают свет и тепло. Простые, уютные, они лишены архитектурных «капризов» и восточной чопорности. В каждое лепное украшение на стенах и крышах зодчие пытались вложить, пожалуй, единственный смысл — радушие, гостеприимство. Каменные «хвосты драконов» на крышах — символ мира и спокойствия жителей. Ведь по древним легендам дракон, повелитель вод, наделен великой добродетелью. Он верно служил людям и защищал их. И сам Ханой еще примерно столетие назад назывался Тханглонгом — городом Взлетающего дракона.

И повсюду цветы. Они — под моими окнами. В скверике — перед фонтаном Лягушки — вестницы дождя. Цветы разлились по всему городу. Лотосы в многочисленных озерах, хризантемы в парке имени В. И. Ленина, гладиолусы и пионы у пагоды Восходящего солнца на берегу озера Возвращенного меча — это феерия, хоровод красок, пылающее многоцветье улыбок, доброты ханойской земли.

Человеку судьба преподносит свои цветы. В моем жизненном букете они тоже есть — цветы дружбы, любви, верности. Это люди Вьетнама, которых бы хотелось сравнить с красными лоакенами, цветами солнца — матчой, чудесными гладиолусами, гвоздиками, лотосами. И это сравнение не случайно. В течение веков складывалось во вьетнамском народе представление, будто цветы, растения, деревья воплощают высшие человеческие качества.

Хризантема, например,— символ благородства. В холодную, трудную пору этот цветок испускает более сильный аромат, чем в погожее летнее время. Смысл: друг познается в годину испытаний.

Цветы фузунг, с их роскошными пурпурными шапками,— словно короткая, но яркая человеческая жизнь. Они цветут всего двенадцать часов. А бамбук — рыцарь земли вьетнамской. Народные сказания называют его святым воителем. Его заросли могучи и непроходимы. Бамбук — символ крепкого духа, свойственного человеку возвышенных целей.

Молодые побеги бамбука после сезона

дождей — само буйство природы, будто разметавшиеся гривы боевых коней. Бамбук — это и леса новостроек, это и мачты парусников, уходящих в открытый океан, это и днища трудяг-плотов на реках Вьетнама. Но бамбук — это и смертоносные стрелы, в течение столетий служившие оружием для вьетнамцев...

Пробили часы на крупнейшем городском соборе, который старожилы по привычке называют «Нотр дам де Ханой». Стук в дверь прерывает ход моих мыслей. На пороге — Нгуен Туан, старейшина вьетнамских писателей.

Нет, не изменился Нгуен Туан, подумал я, обнимая друга. Тем же веселым добрым светом сверкают его глаза из-за очков. Тот же высокий лоб, обрамленный седыми длинными волосами. Те же воинственные усы. Та же обкуренная трубка. Я знаю Туана уже много лет. Знаю, сколь длинный и трудный путь прошел этот человек. Он приобрел известность в литературных кругах в середине 30-х годов. Еще до Августовской революции и провозглашения Демократической Республики Вьетнам включился в революционную борьбу. В 1946-м стал коммунистом, первым генеральным секретарем Ассоциации деятелей литературы и искусства Вьетнама. И каждая его книга проникнута любовью, верностью Родине, оптимизмом, гражданственностью, человечностью.

«Читатель видит в нас источник нравственной силы. Он не прощает нам слабых, бездушных строк. Чашечка зеленого чая утоляет жажду, рис кормит человека, а книга насыщает мозг. Возможности творчества безграничны. Литература — та волшебная скатерть, на которой всегда должны быть изысканные блюда. Сумей найти жемчужину, скрытую в человеческой душе, и опиши ее»,— эти слова часто повторял Туан, размышляя о назначении писателя в обществе. Сам он сумел отыскать эту жемчужину. Его книги и рассказы [1] «Тени и отзвуки времени», «Чашка чая из утренней росы», «Без родины», «Храм музыки», «Дух сопротивления», «Черная река» и многие другие отмечены романтической приподнятостью, отточенностью стиля, который известный вьетнамский критик Ву Нгок Фан назвал «неповторимым, истинно вьетнамским стилем». В переводах Нгуен Туана Вьетнам «открыл» Чехова, Гоголя, И. Ильфа и Е. Петрова... Он автор статей о творчестве Толстого, Достоевского...

— Это прекрасно — переводить их творения,— говорил Нгуен Туан.— Быть даже тенью большого и сильного дерева — немалое блаженство. Но что такое быть писателем? Это — умение найти выход из сложнейшего лабиринта, это — умение познать иероглифы и арабески... Талант писателя проявляется ярко в моменты творческого напряжения, когда в полную силу бьется сердце, работает мозг, когда натянут каждый нерв, когда от усталости тяжелеют руки. Литература — заветная кладовая, ключи от которой находят лишь очень немногие.

Нгуен Туан нашел эти ключи, но для этого он проехал тысячи километров на своем стареньком велосипеде по дорогам Вьетнама. И в дождь, и в жару, и во время тайфунов. «Главное,— писал он,— узнать свою землю, каждый ее уезд».

Вот, например, как в рассказе «Люди строят дорогу» (1959) Нгуен Туан рассказал о прокладке новой транспортной артерии в легендарном уезде Диенбиен: «Не умолкая грохочут взрывы. В расщелины между камнями тяжко вонзаются ломы. Никнут оскопленные утесы, расступаются рассеченные надвое холмы. Могучее эхо катится вдаль, точно гул наступающей армии. И вековые валуны, торчащие, как грибы, далеко впереди, посреди старого шоссе, настораживают уши...». Идет наступление на мирном трудовом фронте. Но автор описывает строительство так, будто воскрешает в памяти осаду и разгром французского экспедиционного корпуса весной 1954 года при Диенбиенфу.

Когда массированным налетом подвергался угольный район Вьетнама — Хонгай, Нгуен Туан печатал гневные репортажи с места событий в ханойской газете «Тхонгнят» («Единство»). Роман, повесть он считает своеобразной лабораторией, где оттачивается литературный стиль и язык. Он сравнивает роман с храмом, построенным по собственному архитектурному проекту, а рассказ, новеллу — с мини-лабораторией, где проходит не вся жизнь, но лишь отдельные ее эпизоды.

Как-то я застал Туана за письменным столом. Он заканчивал новеллу «Островной уезд». За окном громыхала гроза. Писатель открыл ставни: «Люблю буйство природы. Дожди вспучивают ручьи и реки, правда, они грозят прорвать дамбы, но зато обновляют землю». Пока Туан готовил крепкий зеленый чай, я углубился в чтение его новеллы:

«Вот уже который день подряд море вокруг Вандона (древнее название уезда Камфа в провинции Куангнинь.— *М. И.*) гудит и волнуется под напором северного ветра. Мокрый берег пустует. Занимается утро. Толстые бревна все тлеют и тлеют в костре, словно никак не желают сгореть. Мне почему-то стало жаль этот костер, похожий на человека, мечущегося в бессоннице. Я не могу уснуть, сажусь у огня. А ветер раздувает пламя и нагоняет с моря валы.

Я вспоминаю, что происходило здесь, в Вандоне, в далекие времена. В гулких ударах волн и свисте ветра мне чудится грохот боя и победные крики воинов Чан Куанг Кхая на наших галерах, потопивших флот юаньского императора...».

Легендарные герои словно восстают из огня туановской водяной бамбуковой трубки-кальяна.

«Гудит северный ветер. Голубоватые блики пламени пляшут на бревнах. Я чувствую, как глубоко в душу мне западают знакомые издавна стихи прославившегося в боях князя Чан Куанг Кхая. Да будет

[1] В нашем журнале опубликованы следующие произведения Нгуен Туана: «Звенья в цепи времени», «ИЛ», 1974, № 4; «Багрянец Черной реки», «ИЛ», 1978, № 3; «Монолог о войне и мире, обращенный к Льву Толстому», «ИЛ», 1979, № 3; рассказы «Сон», «Прекрасное расположение духа», «ИЛ», 1982, № 1. См. также: Нгуен Туан. Меж двумя веснами. М., «Молодая гвардия», 1974; Нгуен Туан. Тени и отзвуки времени. М., ГИХЛ, 1976. (*Прим. ред.*).

дозволено мне перевести на нынешний наш язык их начертанные старинными иероглифами строки:

Не надо жалеть
ни стараний, ни сил,
Чтоб мир вековечный
на нашей земле наступил...»

(Перевод с вьетнамского М. Ткачева)

Нгуен Туан не жалел сил во имя этой великой цели. Бумага стала его пашней, перо — его винтовкой и плугом. От груза добродетели не затонет лодка; борясь с врагами, не заржавеет перо писателя.

Когда над Винем — главным городом провинции Нгетинь, что лежит примерно в трехстах километрах от Ханоя,— и днем и ночью патрулировали американские самолеты Нгуен Туан приезжал на зенитные батареи, в рыбачьи селения, читал бойцам, крестьянам, строителям дорог свои новеллы, полные оптимизма и непреклонной веры в победу. Нгуен Туан писал о Вине еще на заре своего литературного творчества, в рассказе «Сенсация», входящем в сборник «Тени и отзвуки времени».

Когда в декабре 1972-го стратегические бомбардировщики США сбрасывали на Ханой «ковровую» смерть, превращая в руины Кхамтхиен, улицу древних звездочетов, он создавал книгу «Ханой сбивает самолеты» Ее, еще пахнущую типографской краской, он подарил мне сразу же после подписания соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме. Очерки и новеллы, составившие книгу, рассказывали о людях фронта, которые давали решительный отпор агрессорам, защищали Вьетнам, строили новую жизнь. Ракетчики и летчики-истребители, бойцы отрядов самообороны и ударных строительных бригад, восстанавливавших дороги мосты, паромные переправы... Их подвиги, описанные пером мастера, вошли в сокровищницу современной вьетнамской литературы.

Каждую книгу Нгуен Туана я храню как драгоценную реликвию. Сколько труда, мужества, воли вложено в них! Его творчество складывается из поездок и записей чтения вокруг того, что увидено, и, наконец, самого процесса написания Если недостает одного из этих элементов, писатель (как считает Нгуен Туан) неизбежно впадает в творческую нищету.

«В годы мира силы свои напрягай,— повторял он слова Чан Куанг Кхая.— Тысячи лет будут озарены светом горы и реки твои». И тут же замечал: «Деревья хотят тишины, но ветер им этого не позволяет»

И непременно вспоминал слова другого национального героя Вьетнама, поэта и полководца Чан Хынг Дао: «Если хочешь побеждать в годы войны, думай о своем народе в годы мира».

— Жизнь — как крутая горная дорога. Писатель — вечный путник,— часто слышал я от Нгуен Туана.— Он словно поднимается в горы, по крутизне, где надрываются даже идущие без вьюка кони И как он мечтает тогда о нежном и ласковом море! Пот льет с него градом. Жажда все сильнее. Но помни: чем труднее, тем солонее должно быть питье. Прими крупицу-другую соли, и ровным станет шаг, ноги бодрей пойдут по острым камням, не защемит болью сердце.

— Подлинное искусство никогда не снизойдет до простого ремесла. Писатель не может жить в паутине похвал,— продолжал Нгуен Туан.— Мягко ложе лести. Но нет ничего губительнее этого ложа. Оно лживо и ложно. Это я всегда повторяю молодым литераторам. И еще. Каждая поездка, как капля за каплей, наполняет чашу жизненного опыта. И сколько бы вы ни пили из этой чаши, она не опустеет.

«Я хочу,— писал он в одной из своих первых книг,— чтобы изо дня в день опьяняла меня новизна. Хочу, чтобы каждый день мне дарил удивление, из которого рождается вдохновение и тяга к работе. Если человек отвыкает удивляться, ему остается одно — вновь стать глиной и прахом». Вот, пожалуй, литературное и человеческое кредо Нгуен Туана.

Если меня спросят, кто лучше всех знает обычаи, пословицы, легенды Вьетнама, я отвечу: Нгуен Туан. Если меня спросят, кто глубже всех познал вьетнамскую древность, я отвечу: он же, Нгуен Туан. И продолжу его словами: «Если умеешь почитать старость, надолго останешься молодым».

Нгуен Туану уже за семьдесят (он родился в деревне Нянмук, близ Ханоя, 10 июля 1910 года), но если спросить его о возрасте, он рассмеется и скажет: «Я молод, еще очень и очень молод. А сколько мне лет? Не считал. Только знаю, что каждый год моей жизни делаю таблицу с нарезкой величиной с бамбуковую зубочистку «там». Теперь таких табличек с нарезками столько, что ими набито семь домов и наполняется восьмой»

Как-то он сказал одному журналисту: «Сколько мне лет? Посчитайте сами: я родился, когда моя мать сорвала украдкой цветок персика в саду у Тэй Выонг Мау — мифической хозяйки Запада А это персиковое дерево, согласно легендам, расцветает один раз в три тысячи лет и дает плоды один раз в три тысячи лет» Затем рассмеялся и взял из вазы персик: «Сначала надо надкусить плод, потом доберешься до косточки Так сколько мне лет?» Журналист смутился, думая что допустил бестактность. Туан дружески пожал ему руку и добавил: «Я в возрасте Ромео плюс почти шестьдесят лет мужского опыта...»

За свои семьдесят три года Нгуен Туан объехал весь Вьетнам. Географию и историю страны можно изучать по его книгам. Помню, в 1960 году, когда я был еще студентом, вышла в свет его «Черная река». Восемнадцать лет спустя я зачитывался его блестящим очерком «Багрянец Черной реки». Он посвящен стройке советско-вьетнамской дружбы возведению крупнейшей в Юго-Восточной Азии ГЭС на Черной реке.

Заканчивать каждое свое новое произведение Нгуен Туан непременно возвращается в столицу.

— Воздух Ханоя меня вдохновляет,— поясняет он.— Настоящий ханоец до начала рабочего дня всегда выкроит время, чтобы прогуляться вокруг озера Возвращенного меча или по тенистой дороге Конгы, между двумя озерами — Западным и Белого бамбука.

Эти районы сравнивают с двумя легкими, которыми дышит в жаркие тропические дни Ханой.

Почти тысячелетие в самом сердце дельты Красной реки существует вьетнамская столица — город трудового народа, поэтов и зодчих, художников и ученых, цитадель, отбросившая от своих стен в разные эпохи полчища поработителей, посягавших на свободу и независимость страны.

Неподалеку от Западного озера сохранился ден Чан Во — храм Повелителя северных пределов. Сюда часто приходит Нгуен Туан. На одной из стен храма изображена ярко-золотистая птица. Она символизирует Юг. Другая стена окрашена в черный цвет, что означает Север. Оттуда на землю Вьетнама не раз приходили войны. Стена зелено-голубая, как цвет океанских волн,— это Восток. На четвертой стороне белый тигр со злобным оскалом, олицетворяющий Запад. Посередине храма возвышается черная бронзовая статуя духа-воителя. В магическом жесте застыла его рука, предостерегающая врагов Вьетнама.

— Издавна,— продолжает Нгуен Туан,— в нашу литературу вошла фраза: «Где бы ты ни был, помни: тебя ждет родной дом. Если опасность нависнет над ним, возьми меч, защити кров и алтарь твоих предков». История доказала, что ханойцы умеют защитить свой кров, свой город.

Пожалуй, нет во Вьетнаме городских кварталов более милых и живописных, чем улицы старого Ханоя. Центр столицы, столь тонко и поэтично изображенный Туаном в повести «Судьба Нгуена», подобен уютному игрушечному городку, где по архитектуре ни один дом не повторяет другой.

— Некоторые крыши,— улыбается Нгуен Туан,— будто созданы для «Карлсона, который живет на крыше».

По старой традиции, в центре города улицы носят название профессий и изделий старинных их обитателей: улица Вееров и Ювелиров, Зонтиков и Корзинщиков; Шелковая, Духовых Инструментов; Вермишелевая и Мучная; Серебряный, Парусный и Барабанный ряды... Одни говорят, что таких улиц в Ханое было тридцать шесть. Другие утверждают — шестьдесят одна. Но так или иначе, местные жители называют центр Ханоя — Городом тридцати шести улиц. По-прежнему в столице социалистического Вьетнама сохраняются наименования главных ворот — Северных, Южных, Западных и Восточных...

Мы вышагиваем с Нгуен Туаном по тротуару кирпичной кладки, что охватывает кольцом озеро Возвращенного меча.

— Озеру дала название легенда о нашем национальном вьетнамском герое Ле Лое и Священной Черепахе, вручившей ему Меч-освободитель,— рассказывает Туан. Она широко известна и за пределами Вьетнама. Но — увы! — вместе со старыми людьми грозит уйти из жизни и память о минувшем. И наша задача — сохранить для грядущих поколений эту память. Поэтому-то мы стараемся не забывать, как выглядел традиционный центр Ханоя тридцать, пятьдесят и сто лет назад. Это ведь наша история.

В деревянном резном шкафу, где хранит писатель свои рукописи, немало эссе по истории Ханоя. Он всегда готов щедро поделиться с другом, знакомым, приезжим своими уникальными знаниями.

— Весь центр Ханоя в конце прошлого — начале нынешнего века принадлежал колонизаторам,— продолжает рассказывать Туан.— Чудесные дома строили вьетнамцы, а жили в них поработители. Неподалеку от озера Возвращенного меча сохранилась большая металлическая клетка. Здесь некогда находился так называемый «Музыкальный киоск», над которым восседало, распушив хвост, чучело павлина. «Индижанам»-туземцам, как называли вьетнамцев колонизаторы,— вход в киоск был запрещен. Там развлекались лишь иностранцы... Ныне, почти сто лет спустя, в клетке поселился роскошный павлин. Искусственное уступило место живому.

В колониальный период все улицы Ханоя носили французские названия и должны были, как и памятники, увековечить имена захватчиков, губернаторов, тех, кто грабил и унижал вьетнамский народ,— Нгуен Туан ступил на то место, где прежде в центре сквера на улице Хюэ высилась статуя Поля Бера[1].— После освобождения столицы 10 октября 1954 года статуя была сброшена. С этим наследием колониализма покончено навсегда. В бывшем губернаторском дворце теперь вьетнамское правительство принимает высоких зарубежных гостей. Решетчатая ограда перед дворцом на бывшей улице Анри Ривьера (ныне Нго Куен) осталась такой же, какой была в августе 1945 года, когда восставший народ штурмовал резиденцию губернатора Тонкина. Эта чугунная ограда — реликвия революционного прошлого ханойцев.

Здание ханойской мэрии, что выходит фасадом на озеро Возвращенного меча,— показывает Туан, — было построено в начале 80-х годов прошлого столетия. Вот уже более четверти века депутаты народа руководят отсюда всей хозяйственной, общественно-политической и культурной жизнью столицы. Цитадель и Флаговая башня. Здесь при колонизаторах квартировался французский гарнизон. В прошлом Флаговая башня называлась Мирадор, ее построили во времена правления императора Зя Лонга[2]. Ныне над Флаговой башней развевается знамя республики — красное полотнище с золотой звездой. Перед цитаделью — артиллерийское орудие, громившее колонизаторов. Здесь же — музей Вьетнамской Народной армии.

Среди детей и внуков Нгуен Туана — воины ВНА, сражавшиеся за свободу родины в годы первой (1946—1954) и второй (1965—1975) войн Сопротивления. Писатель часто приходит в музей. Останавливаясь у макетов, посвященных сражению при Диенбиенфу (1954), освобождению Сайгона (1975), приведшему к объединению страны и образованию Социалистической Республики Вьетнам (2 июля 1976 года), он словно перелистывает страницы своих повестей, новелл, рассказов.

---

[1] Один из первых губернаторов Тонкина.

[2] В годы его правления (1802—1820) страна была переименована из Дайвьета во Вьетнам и столица перенесена из Тханглонга (Ханой) в Хюэ. Этот город был императорской столицей Вьетнама до 1945 года.

— Экскурс в историю прошлого был бы неполным,— замечает Туан,— если не рассказать о некоторых сторонах так называемого «культурного» наследия прошлого. Например, кто знает, что первая городская филармония была построена на берегу озера Возвращенного меча, там где сейчас билетные кассы вьетнамского Аэрофлота. Но в начале XX века филармоническое общество заглохло. В моду вошел цирк. О том старом цирке теперь уже забыто. Современный цирк переехал из центра города в живописный уголок Ханоя, где раскинулся крупнейший в столице парк имени В. И. Ленина.

В брезентовый шатер, расцвеченный красными и голубыми лампочками, приходят каждый вечер тысячи жителей столицы. Но многие из них не знают, как была создана первая наша национальная цирковая труппа. А было это более 60 лет назад. Совсем юношей судьба привела актера Та Зуй Хиена в Советскую Россию в годы гражданской войны. Вьетнамский актер, имевший многих друзей в революционной республике, проникся глубоким чувством любви к молодому советскому цирковому искусству. Вернувшись на родину, он стал практически создателем современного вьетнамского цирка. Во время войны Сопротивления труппа Хиена давала представления перед бойцами Вьетнамской Народной армии, жителями освобожденных районов, контролируемых патриотами. После октября 1954 года труппа Та Зуй Хиена была преобразована в центральный народный цирковой коллектив.

Счастливые дни не бывают длинными.

У книжного магазина на улице Чан Тиен Нгуен Туан не мог не углубиться в историю вьетнамской книготорговли. Он поведал о том, что первый книжный магазин в Ханое был заложен в 1879 году. Первая библиотека в Тонкине открылась в 1919 году. В 1954-м, уходя из столицы, колонизаторы вывезли почти все книги. Ныне в центральной ханойской библиотеке около восьмисот тысяч книг. Нгуен Туан, постоянный посетитель библиотеки, называет ее хранилищем книжных талантов разных эпох.

— А первые книги о России? Они,— рассказывает Нгуен Туан,— появились в лавках букинистов на берегу озера Возвращенного меча в 1885 году и принадлежали перу известного французского путешественника Габриэля Бонвало и ботаника Гийома Капюса. Выехав из Москвы в 1880 году, они пересекли Восточную Сибирь, Туркестан, собрали богатую коллекцию азиатских трав, растений, насекомых. Бонвало был личным другом Пржевальского, которого почитал за мужество и искренность, упорство и увлеченность. Бонвало вынашивал даже план перехода из Москвы в Индокитай.

Нгуен Туана приводила в восхищение фраза Бонвало: «Я хочу дышать горным воздухом Азии, а не задыхаться в кулуарах Бурбонского дворца». Возможно, именно эта фраза навела писателя на мысль покорять горные вершины. В 1957 году, поддавшись соблазну альпинизма, он сумел подняться на самую высокую гору Вьетнама — Фансипан. Теперь, спустя много лет, рассказывая о своих путешествиях в горы, Туан не смог удержаться от остроты:

— До моего восхождения ни один писатель не бывал на вершине Фансипан и считалось, что высота горы 3141 метр, а ныне — 3142 метра. Не обязана ли этим гора моему пребыванию на вершине?..

«Обитель мою подметите в горах — пусть в гости придут облака»,— вспомнил писатель строки, принадлежащие Нгуен Чаю.

Не только горы, но и море — давнее пристрастие Туана. И не потому ли он часто прибегает к сравнению: цель морехода — достигнуть берега, цель писателя — завершить творческий поиск новой книгой. Старые маяки могут погаснуть, но новые всегда освещают путь, говоря о близости земли.

В домашней библиотеке Нгуен Туан хранит антикварный «Тонкинский сборник», в котором на 191-й странице сообщается, что первым русским кораблем, бросившим якорь у берегов Северного Вьетнама, был крейсер первого класса «Забияка». Нгуен Туану пришлось по душе русское слово «забияка». Он неоднократно бывал на островке в заливе Халонг, носящем имя «За-би-я-ка», в честь русского крейсера. Даже собирается написать рассказ о тех временах.

— «Посланцев России,— зачитывает своим басовитым голосом Нгуен Туан,— торжественно встречал Ханой во вторник, 30 января 1894 года. В честь русских моряков в губернаторском дворце доктор Ле Лан читал стихи некоего Мельвинского, которые он обнаружил в неизвестно каким образом попавшем в Ханой сборнике «Черная роза». Стихи имели большой успех. Один из офицеров «Забияки», растроганный аплодисментами, сел за фортепиано, исполнил мелодию Гуно и имел не меньший успех. В пятницу, 2 февраля 1894 года, в честь офицеров с «Забияки» был дан бал. По улицам танцевали вприсядку русскую и кадриль. В те дни в Ханое все даже пытались одеваться «по-русски». Некая знатная дама умудрилась вырядиться в медвежью шубу...»

Однажды утром, когда еще не распустились бутоны фиолетовых и пунцовых цветов фузунг, мы шли от озера Возвращенного меча в сторону Западного озера — самого большого в Ханое.

Там, где на набережную выходит улица Чан Нгуен Хан (вьетнамский полководец XV века), стоит дерево вынг[1] с густой, низко нависшей над землей кроной.

— Помню,— рассказывал Туан,— лет тридцать назад я завел обыкновение присаживаться в тени под этим деревом, когда на нем распускались цветы. Вынг приобретает особую красоту, когда на его ветвях поселяются белые аисты. Эти удивительные птицы своим изяществом словно подчеркивают, что выбрали самое красивое дерево.

Здесь задумал я тогда повесть «Зеленые огни... перепевы гудков» — зарисовки о Ханое.

Немало людей были знакомы со мной в ту пору. Многих из них нет больше. Они вернулись, как говорят во Вьетнаме о покойных.

[1] Дерево с маслянистыми плодами, используемыми для приготовления лекарств.

И вот тридцать лет спустя я снова прихожу под мое дерево, думаю об ответственности перед людьми, о чести. Я думаю о мире, который мы завоевали в суровой и долгой борьбе, ценой больших жертв.

На память мне пришел очерк Нгуен Туана «На освобожденной земле Куангчи». Рассказывая о строительстве новой жизни, писатель будто заглядывал в души и сердца людей: «Я невольно подслушал слова молившихся женщин. Большей частью старухи, они, наверное, все были матери, и молитвы их — то горькие, то радостные — были о мире. Миру этому, обретенному высочайшей и тяжкой ценой, едва исполнилось несколько недель. Но матери просили у Будды вечного мира...»

Я взглянул на друга. Он сидел, глубоко задумавшись. Рукоять трости уперлась в подбородок. Вечная спутница Нгуен Туана — старая обкуренная трубка — упрямо попыхивала под седыми усами. «Вот он — и бамбук, и роза, и алмаз вьетнамской земли — Нгуен Туан»,— подумал я.

К каждой встрече с Туаном я готовлюсь, приношу его любимые цветы фузунг. Он называет их иногда цветами «прекрасных мгновений», они всегда наводят его на воспоминания о далеких годах. Когда-то, еще в 1941-м году, с цветами фузунг встречала писателя после возвращения из колониальной ссылки жена. С цветами фузунг шагал Нгуен Туан к площади Бадинь 2 сентября 1945 года [1]. Эти цветы стояли на его рабочем столе в самодельной вазе из снарядной гильзы, когда он заканчивал «Очерки войны Сопротивления», удостоенные Национальной премии по литературе. (Правительство Республики наградило Нгуен Туана орденом Сопротивления I степени). С цветами фузунг я видел Туана вечером 30 апреля 1975-го, когда в честь освобождения Сайгона весь Ханой вышел на улицы. Нгуен Туан стоял рядом со своим домом в окружении пятнадцати внуков. Он смотрел в небо, которое разрывали огни победных фейерверков. В этих огнях были и яркие искры его труда.

Вряд ли в Ханое вы встретите человека, который бы не знал этого мастера слова. Знают его и далеко за пределами страны. Среди его друзей были Анри Барбюс и Мадлен Риффо, И. Эренбург и К. Симонов, Л. Соболев и М. Луконин... Хотя не обходилось и без курьезов: случалось, у нас в стране его принимали то за тибетского врача, то за Эйнштейна... «Известность не давит»,— смеется, вспоминая об этом, Туан.

В 30-годах Нгуена Туана пригласили в качестве актера на съемки фильма «Донг ма» («Долина призраков»). Фильм прогорел. Все актеры были удручены, истощены до предела и, как говорил Туан, дошли до «состояния призраков». А сам Туан? Он, оказывается, был счастлив: написал новеллу о том, как вредно сниматься в плохих фильмах. Впрочем, недавно, почти полвека спустя, он все-таки снялся в фильме «Лампа гаснет» по роману Нго Тат То. И на сей раз с большим успехом[2].

У нас, в Советском Союзе, привычно звучат адреса — дом Чехова, дом Толстого, дом Горького... В Ханое пока таких традиций нет. И дело прежде всего в долгих войнах, острой нехватке жилья. Целый дом — это пока роскошь для вьетнамского писателя или художника. Но они несомненно будут, эти дома!

Небольшой двухэтажный дом на улице Чан Хынг Дао. Перед ним четыре высоченные пальмы. Здесь живет семья Нгуен Туана и еще одиннадцать соседей. Писатель гордится своим двухкомнатным жилищем. В его библиотеке более тысячи редчайших томов соседствуют с керамическими изделиями, возраст которых измеряется столетиями. Страстный книголюб, Туан называет чтение счастливой свадьбой, соединяющей человека с миром знаний. И при этом добавляет: «Но на этой свадьбе я самый ненасытный жених».

На стенах в пятнах сырости, чем-то напоминающих материки на географических картах,— картины друзей: Нгуен Шанга, Нгуен Ты Нгиема, Буй Суан Фая, Чан Ван Кана. Лицо Туана смотрит с поверхности лаковой тарелки работы Шанга под названием «Луноход». Довольно точно подмечено. И не только потому, что сам Туан улыбается с тарелки подобно полной луне, но и потому, что свет его мыслей в тяжелые годы многим освещал дорогу.

Вечный шутник. Он утверждает, что его старость, серебряная седина, белые усы не портят уюта тесной комнаты. И комната эта всегда полна гостей.

Его манера говорить напоминает и юмористическую манеру его письма. Слушаешь Нгуен Туана и будто перечитываешь его повесть «Судьба Нгуена», написанную еще в 1940—1945 годах. Писатель умеет тонко, с иронией и юмором, на «полутонах» раскрыть человеческие характеры, описать драматические коллизии...

Повесть «Судьба Нгуена» многие считают в какой-то мере автобиографической. Однако Нгуен Туан не разделяет подобной точки зрения. Главный герой произведения, как и два второстепенных персонажа,— писатели. Путем сопоставлений, убедительных замечаний, порой юмористических, Нгуен Туан сумел показать, что инертность, излишний рационализм, самолюбование, эгоизм, отсутствие стремления к достижению социально полезной цели неизменно приводят писателя к нравственному и художественному краху. Сам автор избрал иной творческий путь, став активным участником революционных событий в стране, борцом за свободу и счастье родины.

Помимо книг, картин, сувениров друзей Нгуен Туан собирает... веера.

— Не сочти это за странность! — восклицает он, перехватив мой взгляд.— Ты знаешь, что такое веер? Для нас, вьетнамцев, каждое движение веера может передавать определенный смысл. Ты обращал внимание, что во Вьетнаме нечасто встретишь человека, который не носил бы веера. Веер — его верный друг в жаркое время и постоянный советник и собеседник. У веера есть свой язык, свои манеры, привычки и даже форма выражения мысли.

Я с некоторым недоумением слушаю слова Туана, он продолжает:

[1] День провозглашения Демократической Республики Вьетнам.

[2] Об этой работе Нгуен Туана см. подробнее в «ИЛ», 1982, № 8, с. 251.

— Веер — это и театр, и объяснение в любви. А порой одно мановение веера служило знаком объявления войны. Трудно перечислить все функции, которые возложил наш народ на этот скромный предмет повседневного обихода. Чаще всего мы придаем ему лишь одно практическое значение — освежать лицо в жаркий тропический день. Но для вьетнамца... «Моя душа раскрывается вместе с веером...» — так писал литератор Хюи Кан несколько веков назад. «Если любишь, приходи с парчовым платком и веером из листьев красного лотоса»,— советовал юным влюбленным великий мыслитель Вьетнама Нгуен Зу. Полководец и поэт XV века Нгуен Чай рекомендовал дипломатам никогда не расставаться с веером. В ходе беседы стоявшие за спиной посланника телохранители благодаря одному лишь движению веера могли знать, как протекали переговоры. Веер передавал настроение дипломата: медленные, спокойные движения означали взаимопонимание, радушие и сердечность в ходе беседы. Когда посланник быстро, но размеренно помахивал веером, это было знаком примирения, а в торговой практике — свидетельство положительного развития переговоров. Но если посланник складывал веер и поднимал его к лицу, то это означало — не миновать войны...— И если народ Вьетнама придал такое количество «функций» вееру, наделил его своеобразным языком символов, сделал из него самостоятельный театральный персонаж, обладающий своим характером, то сколько мысли и нежности должен был вложить в веер человек, его сотворивший?

— Вот видишь, что означает для нас веер,— он сложил его и поднес к губам. Это означало, что рассказ закончен.

Проходила восьмая луна. Во Вьетнаме — это конец лета. Нгуен Туан ступал по скрипучим ступенькам старого дома, и за каждым поворотом лестницы — страницы его долгой и интересной жизни.

Когда-то Нгуен Туан носил в кармане небольшой документ «протеже франсе» (охраняемый Францией). Это позволяло ему путешествовать по Индокитаю или, как он любит повторять, вести цыганскую жизнь. Метрапажи находили его в небольших кафе, где он, отставив чашку кофе, заканчивал очередной очерк. Наутро его «подвалы» читали в газетах Тонкина. Но французские власти не желали признавать писателя. Однажды в полицейском участке ему был задан вопрос: «Род занятий?» «Литератор»,— ответил он. «Лицо без определенных занятий» — было занесено в протокол. Судьба посмеялась над незадачливыми полицейскими. Вполне «определенные занятия» Нгуен Туана, его литературный талант принесли ему широкую известность не только в Индокитае, но и далеко за его пределами.

...В канун нового 1983 года по лунному календарю я пришел в дом Нгуен Туана вместе с художником Чан Ван Каном и известным прозаиком То Хоаем. Хозяин встретил нас в своей комнате-кабинете. Зажег старенькую керосиновую лампу, чтобы напомнить нам о проведенных вместе фронтовых годах. На нем была коричневая вельветовая куртка, черная шерстяная рубашка. На воротничок ложились длинные седые волосы. Туан припадал на правую ногу: во Вьетнаме люди его возраста часто страдают от ревматизма зимой. Но он умеет переносить боль. Лицо не теряет обаяния. Глаза улыбаются. Как всегда, над неизменной трубкой воинственно топорщатся усы.

— Знаешь,— говорит он,— сегодня на меня нахлынули воспоминания. В канун 1941 года я прибыл в Ханой... в наручниках, в арестантском вагоне, в сопровождении полицейских. Возможно, кого-то и ожидал новогодний праздник, а я отправлялся в ссылку. Это был мой второй арест по политическим мотивам, в 1929 году мне уже пришлось отсидеть в бангкокской тюрьме. Как часто случается в жизни, в трудные моменты нам видятся безвыходные тупики, но время и борьба доказывают, что то были не тупики, а лишь крутые и порой опасные повороты. И вновь перед тобой дорога...

Как часто судьба изощряется в ненависти к человеку, думал я тогда. Мне пришла на память старая легенда. Два мандарина обратились к правителю, желая определить судьбу поэта. «У этого человека,— говорили они,— есть два пути: или с нами, или на плаху. Талант не живет в одиночку»... Правда, до плахи дело тогда не дошло. Но и с «королями» я не пошел,— продолжает Нгуен Туан.— Через несколько дней все резко изменилось. Чтобы успокоить индокитайскую интеллигенцию, мне была присуждена первая премия за книгу «Тени и отзвуки времени» Я получил свободу и... чек в Индокитайском банке на целых 500 пиастров. По тем временам это была довольно солидная сумма. Что делать со свободой, я знал, но как поступить с деньгами?..— Туан улыбается в усы.— Решение, наконец, было найдено. Разыскал одну свою знакомую, известную в те времена певицу, отправился с ней в банк и отдал деньги ей. Прежде, в трудные годы, она не раз помогала мне. Ведь источники существования в годы моей юности быстро иссякали! Вряд ли, конечно, эти деньги могли покрыть те расходы, которые она несла, оплачивая долги начинающего писателя. Да вообще есть ли монета, которой оплачивается доброта?.. В годы первой войны Сопротивления наши дороги разошлись. Я ушел в партизанские районы, а она осталась в столице, не теряя, однако, связи с революционерами. Однажды друг привез от нее посылку. Я развернул сверток и обнаружил слиток золота и шелковый платок. Слиток золота? Я отдал его революционной власти. А вот платок...— Туан вытащил его из нагрудного кармана и развернул,— я храню по сей день.

Долго, сосредоточенно смотрел он на причудливые узоры на платке. «Она погибла во время первой войны Сопротивления. Как и при каких обстоятельствах — не знаю. Но говорят, что она тоже встала в ряды революционеров. Мне неведомо, где ее могила, но память о ней я сохранил навсегда. И запомнил ее слова: «На Востоке краешком засветилось солнце. Заря. Счастье узнает Вьетнам». Заря счастья действительно занялась над Вьетнамом, свободным и ныне единым. Немалая заслуга в этом вьетнамских писателей и, конечно же, Нгуен Туана.

■

Письма из-за рубежа

НАМ ПИШЕТ КАРТАР СИНГ ДУГГАЛ

К. С. Дуггал — видный литератор и общественный деятель Индии, президент литературной академии Пенджаба, лауреат премии Джавахарлала Неру. В письмах, адресуемых редакции журнала «Иностранная литература», он делится информацией о событиях в культурной жизни Индии. Некоторые из его сообщений мы публикуем ниже.

Когда Индия обрела независимость, Джавахарлал Неру с присущей ему дальновидностью основал ряд учреждений для развития современной науки в новой Индии. Кроме сети исследовательских лабораторий в разных областях знаний он создал ряд высших специальных институтов, призванных способствовать развитию искусств. В 1954 году были организованы три академии: Музыки и драмы, Изящных искусств, а также Литературная академия.

Будучи сам выдающимся писателем, Неру согласился стать ее первым президентом, а обязанности ученого секретаря взял на себя Кришна Крипалани, известный литератор и критик.

Джавахарлал Неру стремился к тому, чтобы академия утверждала высокие гуманистические идеалы в такой важной области, как литература.

Этой идее призвано было служить и учреждение ежегодных премий Литературной академии. Торжественная процедура их вручения происходила обычно в Ашока Холле, в президентском дворце Раштрапати Бхаван под гром фанфар. Премии вручал президент Индии.

В нынешнем году процедура чествования лауреатов состоялась в одной из столичных аудиторий, где 22 февраля 1983 года премии вручал нынешний президент Академии В. К. Гокак. Одним из награжденных был Дешхабандху Догра Нутан — автор четырнадцати книг на языке догри, в том числе трех романов и трех сборников рассказов, магистр истории Алигархского университета. Его роман «Каиди» («Узник») представляет собой исключительное по силе обвинение в адрес коррумпированных чиновников государственной полиции и тюремных властей, осуждение феодальных пережитков, в частности в положении женщины в индийском обществе. По признанию Литературной академии, это произведение является выдающимся вкладом в литературу догри.

К немалому удивлению публики, однако, Дешхабандху Догра Нутан отказался принять премию в знак протеста против несовершенного, с его точки зрения, порядка присуждения академических премий, в результате чего имена ряда крупнейших писателей Индии в списках лауреатов отсутствуют.

В числе наиболее выдающихся писателей, удостоенных премии Национальной академии литературы минувшего года,— Х. Ш. Парсаи (хинди), М. Р. Госвами (ассами), Б. С. Рамайя (тамили), Гульсар Сингх Сандху (пенджаби), Арун Джоши (английский).

Федеральное правительство, власти отдельных штатов Индии, а также некоторые промышленные корпорации учредили целый ряд других, больших и малых, литературных премий. Самой популярной из них является премия «Бхаратья-Гьянпитх», основанная более десяти лет тому назад одной из крупнейших промышленных компаний и завоевавшая неплохую репутацию.

Ежегодно лучшие писатели Индии получают и советские премии Неру. Они учреждены журналом «Страна Советов» и присуждаются в первую очередь литераторам, преданным принципам гуманизма, мира, индо-советской дружбы. Отбор кандидатов на эти премии осуществляется виднейшими деятелями литературы и искусства обеих стран.

Среди лауреатов советской премии Неру 1982 года, например, Исмат Чугхаи —

выдающаяся писательница урду, доктор Рамбилас Шарма — литератор, пишущий на языке хинди, и Джай Пракаш Бхарати — редактор выходящего на хинди детского журнала «Нандан».

■

В связи с ростом цен на бумагу и увеличением технологических типографских расходов книгоиздание в Индии испытывает серьезные затруднения. Печатная продукция становится все дороже. Цены на книги в бумажной обложке возросли вдвое, если не больше, и равны теперь недавним ценам на книги в твердом переплете. И те и другие покупают нынче только библиотеки, тоже, впрочем, страдающие от постоянных ограничений ассигнований. Руководитель одной из них признался, что сейчас может купить лишь десятую часть книг, которые приобретал на те же средства десять лет тому назад.

Известно, что тираж книги даже знаменитого писателя, пишущего на распространенном повсюду английском языке, в наши дни чрезвычайно мал. Бóльшая часть его к тому же идет в библиотеки, некоторая доля — в другие страны, и лишь незначительное число экземпляров — в розничную торговлю. И если таково положение с англоязычной литературой, то что же говорить о книгах на языках Индии?

Издатели один за другим закрывают свои предприятия. Те же, кто еще остался, едва сводят концы с концами. Рукописи известных писателей, за которыми недавно еще гонялись, теперь лежат, ожидая очереди на публикацию. Печатание многих книг финансируется самими авторами или академическими учреждениями — под тем или иным предлогом.

Можно было бы, вероятно, ограничить импорт книг из-за рубежа для защиты интересов национального книгоиздания. Но более разумным способом понизить цены на книги является увеличение их тиражей.

Путь к оздоровлению издательского дела в Индии может лежать и через создание писательских кооперативов. Первым на этот путь встало издательство «Сахитья Парвартика» в штате Керала. Оно не только публикует книги, но и, имея собственную торговую сеть по всему штату, платит авторам гонорары в размере 40% с каждого проданного экземпляра. В Керале самый высокий уровень грамотности по стране, и благодаря усилиям «Сахитья Парвартика» интерес к книге возрос здесь в последнее время как нигде в Индии.

Отдельные попытки создать писательские кооперативы предпринимались и в других штатах. У пенджабских писателей есть свой кооператив. В Гильдии индийских писателей также имеются зачатки подобной организации. Успехи их, правда, пока невелики, ибо они не располагают еще соответствующей инфраструктурой для распространения книг. Между тем я уверен, что издательское дело в Индии должно начинаться, если можно так выразиться, с конца: усилия издателей лишь тогда увенчаются успехом, когда мы будем обладать надежной торговой сетью.

■

Не так давно мне довелось брать интервью у министра информации и радиовещания для цикла телепередач «Люди хотят знать».

Я задал ему вопрос:

«Что происходит с нашим телевидением? Вместо того чтобы способствовать социальным переменам и развитию страны, как предполагалось вначале, так называемая «телевизионная культура» сегодня приобретает черты элитарности, буржуазности и преимущественной ориентации на вкусы горожан. В таких условиях появление у нас цветного телевидения может только ухудшить положение дел. Что вы предполагаете сделать, чтобы этого не произошло?»

Надо сказать, министр честно признал справедливость упрека. Он заявил, что видит единственный выход из положения во введении специального телевизионного канала для сельского зрителя. А поскольку на это потребуются дополнительные средства, министр предлагает завести и отдельный рекламный канал на коммерческой основе, который даст телевидению деньги.

Субсидий на средства массовой информации у нас никогда не хватает, и причины этого ясны: когда приходится выбирать между питьевой водой для деревень и телевидением, выбор самоочевиден.

Первая телепередача в Индии состоялась 15 сентября 1959 г. в порядке эксперимента, проводившегося совместно с ЮНЕСКО. Телевизоров в стране не было, а правительство решительно отказалось тратить на них деньги. Сотня телеприемников, которые нам удалось получить, стала основой для создания ТВ-клубов в Дели и близлежащих деревнях. Соответственно программы строились в расчете на групповые просмотры и носили по преимуществу информационно-просветительский характер. Особое внимание уделялось работе сельских ТВ-клубов, где устраивались обсуждения программ; мнения, высказанные зрителями, доводились до сведения ТВ-центра. Таким образом обеспечивалась четкая обратная связь.

Следующий значительный шаг был сделан нашим телевидением в 1961 г., когда в 250 школах установили телеприемники и организовали учебные передачи. Результаты эксперимента были тщательно проанализированы, и выяснилось, что они превзошли все ожидания. С тех пор учебные программы занимают значительное место в индийском телевидении.

Прошло десять лет, и уже никому не нужно было доказывать, что телевидение в стране, где процент грамотных весьма невысок, не забава, а мощное средство воздействия. В 1971 г. Индия — при содействии ЮНЕСКО — начала готовить собственные кадры телеспециалистов; один за другим вводились в действие телецентры в Бомбее, Шринагаре, Амритсаре, Калькутте, Мадрасе и Лакнау.

Однако, по мере того как телевидение набирало силу, все более и более очевид-

ным становилось несоответствие содержания телепередач тем задачам, которые перед ним стояли. Телевидение все заметней ориентировалось на городского зрителя, довольствуясь примитивными общеобразовательными программами для села. Да и городскому зрителю охотней всего предлагались кинофильмы — каждому ясно, что прокрутить по телевидению фильм проще и дешевле, чем подготовить оригинальную передачу. Но ясно и другое: так не решают жгучие проблемы социальных перемен и вовлечения деревни в орбиту современности.

Быстрое развитие технического потенциала телевидения — запуск спутника связи ИНСАТ (который, правда, был неудачным, но скоро будет повторен) — поставило перед нами еще один важный вопрос. Речь идет о том, будет ли индийское телевидение развиваться по пути все большей централизации своих программ, или с учетом того, что страна наша и многоязыка и многонациональна, на первое место будут поставлены программы региональные, естественно отличающиеся большей конкретностью в трактовке местной проблематики.

Централизованное телевидение, безусловно, содействует укреплению национального единства и развитию эмоционального ощущения причастности каждого зрителя ко всей Индии. Зато региональное помимо большей конкретности в подаче материала способствует и быстрейшему культурному развитию регионов.

Недавняя широкая дискуссия по поводу того, следует ли Индии переходить на цветное телевидение — мы уже смотрим передачи в цвете,— многих заставила всерьез задуматься над тем, что нехватка собственных качественных программ может открыть двери культурной агрессии империализма, как это уже произошло в некоторых соседних с нами странах. Попытка индийского телевидения вернуть средства, затраченные на новую технику, и разумна, и понятна, однако включение специального рекламного канала, равно как и организация отдельных передач только для деревни, может привести к тому, что гибридная культура города и традиционная культура деревни не сблизятся, а разойдутся еще дальше.

Первейшая задача индийского телевидения заключается в ускорении процессов социального и экономического развития и повышении уровня самосознания народных масс, как прочной основы для национальной интеграции. Для выполнения этой задачи нам необходимы телепрограммы, сочетающие занимательность с познавательностью, показывающие все богатство и разнообразие нашей культуры.

■

Около двух лет тому назад Чандан Неги, обыкновенная домашняя хозяйка, женщина без особого образования, обремененная семьей и детьми, проявила себя... серьезной писательницей, выступив как автор рассказов на пенджабском языке. О последнем сборнике ее новелл «Аромат», опубликованном кооперативом пенджабских писателей, заговорил весь Нью-Дели. Ранее изданы сборники «Верни мне любовь», «Счетовод» и «Горькая правда». Скоро из печати выйдет ее новый рассказ «Возмездие за грех». По литературной технике Чандан Неги не уступает, мне кажется, опытным писателям. Ее рассказы, отточенные по форме, своеобразные, полные тонкого очарования, свидетельствуют о мировоззренческой зрелости автора, удивительной для человека ее возраста.

В отличие от других современных писательниц, Чандан Неги пишет не только о взаимоотношениях мужчины и женщины. Спектр ее интересов весьма широк: она рассказывает о жизни бедняков, разоблачает лживость и лицемерие, царящие нередко среди сильных мира сего, анализирует комплекс переживаний, связанных с разделением страны.

Чандан Неги искренне убеждена, что в ней воплотились мечты отца, известного в свое время поэта, впоследствии начавшего писать новеллы, но признания при жизни не снискавшего.

Перевод с английского Е. МИРСКОЙ и М. САЛГАНИК

◆

СЕМНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ РОБЕРУ САБАТЬЕ

Когда десять лет назад я впервые встретилась с Робером Сабатье — известным французским поэтом и прозаиком, лауреатом множества литературных премий и членом Гонкуровской академии, то он и выглядел как настоящий академик: с длинными волосами, с неизменной трубкой, медлительно важный в движениях.

Теперь же, когда я подходила к кафе на одной из парижских улиц рядом с Монпарнасом, где у меня было назначено свидание с Робером Сабатье, я увидела легко и стремительно двигающегося мне навстречу человека в спортивной куртке, коротко стриженного, седого, но... помолодевшего. Как объяснить подобную метаморфозу?

— В ту пору длинные волосы были в моде и вдобавок я увлекался дендизмом.— говорит, смеясь, Робер Сабатье.— За это время и мода на длинные волосы прошла, и мое увлечение дендизмом прошло. Когда вот-вот исполнится шестьдесят, уже не до таких глупостей.

Если в разговоре с французами, хорошо знающими Робера Сабатье, вы произносите его имя, лицо собеседника сразу смягчается улыбкой: обезоруживающая открытость, естественность, простота в обращении и доброжелательность Робера Сабатье привлекают к нему даже людей совсем иного склада характера и настроя чувств, которым не так уж близка его словно пронизанная солнцем поэзия и проза, в основном посвященная вечной и особенно дорогой для этого писателя теме детства.

Принадлежа к поколению, у которого жизнь делится на три периода: довоенный, военный и послевоенный, Робер Сабатье — в отличие от более молодых поэтов, пришедших в литературу в пятидесятые годы,— никогда не стремился к разрушению языка и формотворчеству как самоцели. Возможно, именно годы оккупации и участия в Сопротивлении заставили его зримо и реально осознать, какую угрозу человеку, да и в целом существованию жизни на земле несет война. Тревожным ощущением хрупкости человеческого бытия и продиктовано, вероятно, созидательное звучание поэзии Робера Сабатье и светлая, теплая тональность его прозы, к которой так потянулись читатели, уставшие от обездушивающих литературу лабораторных экспериментов.

«Стихотворение, поэзия для Сабатье — это праздник»,— замечает Ален Боске во вступительном слове (по сути, это глубокое и фундаментальное исследование) к сборнику стихов Сабатье, вышедшему в 1978 году у Сегерса в серии «Поэты сегодняшнего дня». Это вступление, написанное изящно-ироничным и талантливым пером поэта совсем другого темперамента, но искренне влюбленного в поэзию Сабатье, многое раскрывает в личности Робера Сабатье и его творчестве.

Мир и я — мы составляем единую
книгу.
Чтоб ее хорошо написать —
ради этого стоит жить.

Смерть отступает перед последним
чудом
Песни жизни — звучаньем неведомых
слов,
Что слышатся человеку в шелесте
листьев и трав.
В этом и есть ключ к утраченному
языку.

Дерево мимо проходит...
И человек замечает вдруг,
что у него самого —
зеленые волосы,—

эти строки принадлежат Роберу Сабатье, который в одном из ранних стихотворений утверждал, что «поэт подобен дереву...».

Последнее десятилетие Робер Сабатье, до этого одинаково успешно выступавший и в прозе, и в поэзии, что далеко не часто удается писателям, углубился в кропотливую

и бескрайнюю по трудоемкости работу — создание восьмитомной «Истории французской поэзии», охватывающей десять веков ее существования — от истоков по сегодняшний день. И вот с выходом двух томов, посвященных XX веку и завершивших в основном построение многоэтажного здания истории национальной поэзии, благодарная читающая публика (специалисты, литераторы, студенты и просто читатели) может по достоинству оценить это исследование, в которое художник вложил столько самозабвенного труда и душевной щедрости. *«Читая «Историю поэзии» Сабатье, понимаешь, какую важную роль играет поэзия в жизни общества». «У французской поэзии есть теперь свой памятник». «Веха в нашей литературе». «История поэзии» Сабатье — это наша память». «Каждый грамотный человек должен прочитать эти книги». «Вдохновенное и вдохновляющее творение Робера Сабатье». «Манифест в защиту поэзии». «Книги, написанные сердцем». «Какой талант рассказчика!»* Это лишь малая толика восторженных похвал, которые звучат во французской прессе в адрес Сабатье. Газеты и журналы широко публикуют его интервью, в которых ему приходится отвечать на бесчисленные вопросы: как удалось ему довести до конца свою летопись поэзии, как шла работа и т. д.

— Вы не устали давать интервью? — спрашиваю я Сабатье.

— Но ведь и писатель, и журналист — каждый из нас делает свое дело. И мне прекрасно известно, что такое труд газетчиков и журналистов, я сам прошел журналистскую школу, так что, если я могу кому-то помочь в работе, почему я должен в этом отказывать?

— В таком случае расскажите, давно ли у вас родилась идея написать «Историю французской поэзии».

— Давным-давно. Но я очень хорошо помню, как это произошло. Шел 1938 год, мне было пятнадцать лет, и я работал в типографии. В девять лет я остался круглой сиротой, меня забрали к себе дедушка и бабушка, но с двенадцати лет я был вынужден сам зарабатывать себе на жизнь. В моем распоряжении находился трехколесный мотороллер, и я развозил на нем издания подписчикам — об этих страницах моей биографии я рассказал в романе «Поющие девочки». Когда выдавалась свободная минута, я погружался в чтение стихов — моих чаевых хватало на то, чтобы изредка приобретать у букинистов поэтические сборники. И вот прихожу я однажды в книжный магазин и прошу историю французской поэзии. Хозяин магазина говорит, что таковой просто не существует, и предлагает мне купить общую историю литературы, а в подобных трудах поэзии всегда отводится очень мало места, или антологию, но мне во что бы то ни стало хочется приобрести именно историю поэзии. Не получив желаемого, я рассердился и с юношеским пылом и самонадеянностью воскликнул: «Раз так, я сам ее напишу!» Конечно, в тот момент это было смешное донкихотство, тем не менее мысль засела у меня в голове и не выветрилась с годами. Позже, продолжая работать, я пошел учиться и читал все подряд, что попадалось под руку: Валери, Александра Дюма, Аполлинера, Рабле, Толстого. Принялся и сам писать стихи и печатал их на обрезках бумаги. Но тут началась война, и уже только после 1945 года я снова мог заняться литературой, писать стихи и одновременно изучать поэзию. И уже тогда я завел картотеку и стал заносить в нее первые записи...

— Наверное, вы и не представляли тогда масштабы работы, за которую столь храбро взялись?

— Нет, конечно, я совсем не представлял, что меня ждет. Я просто работал и работал изо дня в день, как трудолюбивый муравей. Если бы в ту пору я знал, как далек от конечной цели, то наверняка отказался бы от своей затеи. Я сотрудничал в издательстве «Французская университетская пресса» и думал, что моя будущая книга будет своего рода дайджестом, объемом немного более ста страниц. Очень скоро я понял, что не смогу уложиться в такой объем. В году шестидесятом я поделился своими планами с издателем Альбеном Мишелем, который публиковал мои стихи и романы. Он дал мне совет: «Занимайся лучше собственным творчеством, а над исследованиями пусть корпят ученые». И все-таки ему не удалось отговорить меня. Я твердо решил написать задуманную книгу и вложить в нее всю мою любовь к поэзии. Знаете, я уверен, что о поэзии должны писать только влюбленные в нее люди. И я хотел, чтобы моя будущая книга была интересна и понятна самому широкому кругу читателей, и в первую очередь молодым. Но и уважаемых специалистов мне тоже, честно говоря, не хотелось разочаровывать.

— И вы принялись за дело?..

— Да, но сначала я работал совершенно бессистемно. Затем, почитав труды ученых, понял, что необходимо составить план, хотя и не впадать при этом в излишний педантизм. Я решил, что нужно придерживаться тематического принципа, соблюдая хронологические рамки, и не бояться сопоставлять поэтов разных эпох. Ведь что такое поэзия? Это длинная и непрерывная цепь, и каждый поэт — одно из ее звеньев. Я вижу тесную связь между средневековой поэзией и стихами Аполлинера, между лирикой трубадуров и Арагоном, между бретонским романом и его сегодняшними последователями, между героическими поэмами и «новым романом», между придворными поэтами и группой «Тель кель» и т. д. Я составил картотеку, сам разработал систему понятных мне сокращений и завел именной указатель на всех поэтов, в котором значилось, в каких книгах, журналах или ученых трудах о них можно что-либо узнать. Но разве я имел право упомянуть хоть одно имя, не познакомившись с текстами этого автора? Вот почему требовалось бесконечно много времени и терпения, чтобы отыскивать нужные мне книги в библиотеках или у букинистов.

— Однако поэзия не существует сама по себе, и свою историю поэзии вы, наверное, включаете в контекст общей истории французской литературы?

— Когда я говорю о поэзии, то совсем не имею в виду только стихи и поэмы в их чистом виде. Возьмем, к примеру, Рабле. Хотя он писал прозу, в нее входили и стихи, поэтому в истории поэзии шестнадцатого века ему принадлежит прочное место. Или давайте вспомним девятнадцатый век — разве можно, говоря о поэзии эпохи романтизма, обойти молчанием Шатобриана и мадам де Сталь? Я считал также, что необходимо рассказать, как проявлялся романтизм в разных европейских странах. То же самое относится к символизму и сюрреализму, которые, как вы знаете, перешагнули границы нашего «шестиугольника». Короче говоря, я хотел, чтобы моя история поэзии ни в коем случае не была оторвана от общей истории литературы и истории в целом. Но поскольку в первую очередь меня интересовала поэзия и ее эволюция, то мне хотелось, чтобы поэты, о которых я писал, представали как живые личности, каждый со своей биографией и неповторимым характером. Так что можно назвать мою работу и «Историей поэтов». Для меня было важно все: как соотносится их поэзия с прошлым, настоящим и будущим. Какие взаимоотношения связывали их с современниками, какую политическую и общественную позицию они занимали.

— Но у вас наверняка есть свои вкусы и пристрастия, какими же критериями вы руководствовались при оценке такого огромного числа самых разных поэтов?

— Приходилось смирять свои вкусы и пристрастия. Я уверен, что абсолютно каждый творческий акт, в который художник вложил вдохновение и труд, заслуживает того, чтобы быть упомянутым. Что это за историк, если он выкидывает из истории неугодные ему события или имена? В каждую эпоху превалировали свои формы и тональности. Давайте опять вспомним прошлое. В средние века помимо историографов и летописцев время запечатлевали также поэзия, религиозные и научные трактаты, учебники. В восемнадцатом веке в моду вошли мадригалы и дидактические поэмы. Мы с вами, естественно, воспринимаем поэзию иначе, чем наши предшественники, но я не чувствую себя вправе обойти ни одно из этих явлений. Ведь речь идет не об антологии, где отбор авторов может отражать вкусы составителя. Я вознамерился дать всеобщий охват французской поэзии за десять веков и хотел, чтобы моя «История» стала своего рода документом. Знаете, один из поэтов говорил мне недавно, что был очень рад прочитать у меня о Рушере, которого нигде никогда не называют, или о совершенно забытом Жане де Бошере, и сколько еще тысяч поэтов прошлых веков я вот так же возвращаю из забвения. Но чтобы быть до конца справедливым, я полагаюсь не только на собственное мнение и энтузиазм, я обязательно сверяюсь с трудами критиков, историков, поэтов.

— Последние годы вы целиком посвятили работе над многотомной «Историей французской поэзии». Как это оказалось возможно практически?

— В 1969 году у меня вышел роман «Шведские спички» [1], который читают и по сей день, как и две последующие книги, которые вместе составляют трилогию. И вопреки прогнозам моего издателя, уверенного, что этот роман будет иметь очень ограниченный успех, меня прочитали несколько миллионов человек. Это и позволило мне уйти из издательства Альбена Мишеля, где я занимал должность литературного директора. Теперь я мог полностью отдаться сочинению стихов и романов, и в первую очередь этой самой «Истории», работать над которой я начал еще тридцать лет назад, и вот теперь, занявшись ею вплотную, посвящал ей ежедневно пятнадцать часов кропотливого труда. Я хотел убедить своего издателя, что способен быть не только поставщиком бестселлеров, но и защитником поэзии, и решился доказать это на деле, создав нужную всем книгу.

— Есть писатели, которые превыше всего ценят собственное творчество и неохотно отвлекаются от своей работы. Не было ли жаль откладывать в сторону романы и стихи ради осуществления столь грандиозного замысла?

— Я был бы рад, если бы вместо меня его осуществил кто-нибудь другой, но поскольку желающих не нашлось, пришлось браться самому. Сколько знаний, поисков, изысканий потребовала от меня эта работа! И главное — любви! Ведь Франция владеет бесценным сокровищем: десятью веками поэзии. Большинство французов об этом даже не подозревает. А между тем молодежь жаждет поэзии, потому что в наш трудный век она несет людям спасительный мир и гармонию.

Ведь сколько поэтов всю жизнь служат своему искусству и пишут вполне достойные стихи, но им не удается привлечь к себе внимание и войти в так называемую «литературную республику»! Зачастую их не знают даже современники. Это несправедливо, и они заслуживают того, чтобы им воздали должное.

— Значит, одна из ваших целей — привлечь внимание к поэзии?

— Жителей деревни, где я родился, барабанным боем собирали, чтобы сообщить о важных событиях, а церковные колокола созывали верующих на службу. Вот я и решил выступить в роли и барабанщика, и колокола, и балаганного созывалы, и уличного разносчика газет. Я воспользовался тем, что приобрел некоторую известность благодаря моим книгам, и каждое выступление в печати, по радио и телевидению использую для того, чтобы неустанно повторять: поэзия существует и в ее силах помочь людям жить и лучше понимать окружающий их мир. И я очень рад, что интерес к поэзии во Франции сейчас заметно

[1] Этот роман, переведенный во многих странах, на русском языке вышел в издательстве «Прогресс» в 1975 г.

растет. В апреле у нас даже состоялся День национальной поэзии. В Париже и в других городах проходили книжные выставки и поэтические чтения. Так что я тружусь не зря.

— При оценке поэтических явлений вы придерживаетесь традиционной для французской критики точки зрения?

— О, можете мне поверить: я не из тех историков, которые довольствуются тем, что с умным видом повторяют сказанное ранее и при этом повторяют чужие ошибки. Хочу надеяться, что я принадлежу своему времени и как современный поэт воспринимаю те стихи, о которых пишу. Случается, что моя точка зрения совпадает с традиционной, случается, что и нет. Например, средневековую поэзию мы воспринимаем иначе, чем ее воспринимали в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. Что же до двадцатого века, здесь мне очень часто приходится иметь дело с настоящей целиной. Поднимать целину, поднимать целину — вот в чем состоит моя работа.

— Выбор названия — тоже нелегкое дело. «История французской поэзии» — почему вы именно так назвали свое исследование?

— Точнее было бы назвать его «Опыт введения в историю французской поэзии во Франции и других франкоязычных странах». Но это чересчур длинно и тяжело. Однако понятие «французская поэзия» нельзя воспринимать в узконационалистическом смысле. Да, Франция может гордиться своими трубадурами и провансальскими поэтами, но нельзя забывать, что наш язык служит также средством выражения для бельгийцев, швейцарцев, канадцев, ливанцев и жителей других стран.

— Теперь вы можете, наконец, вздохнуть свободно — ведь ваша работа подходит к концу?

— Уф! Да, действительно я уже дошел до нашего времени, и последний, восьмой, том — он вышел в двух частях — представляет поэтическое богатство двадцатого века и творчество таких ныне живущих поэтов, как Шар, Мишо, Леирис, Супо. Я думаю, у вас их тоже хорошо знают. Следующий том будет о франкоязычной поэзии других стран, которая так обогащает франкоязычную поэзию в целом, и, кроме того, я хочу рассказать о творчестве поэтов, о которых еще не успел сказать: о Гильвике, Френо, Тардье, Понже, Эмманюэле, Одиберти, Фоллене, Фомбере, Норже, Сенгоре, Боннфуа, Боске, Глиссане и многих других. Это уже мое поколение, но есть и более молодые поэты. Возможно, придется посвящать им еще один, самостоятельный, том. Кто знает, а вдруг я доживу до 2005 года?

— То есть вы не собираетесь расставаться со своей «Историей»?

— Думаю, что буду работать над ней до самой смерти, и хочу надеяться, что она наступит не очень скоро, потому что я люблю жизнь. Но главное — это сделать разгон и начать. Быть может, кто-нибудь продолжит мое дело и напишет «Историю поэзии двадцать первого века». Почему бы и нет? Но какой адский труд! Только на составление индекса к двум последним томам у меня ушло два месяца. Конечно, я мог бы обзавестись помощниками, но у меня психология кустаря-одиночки, как и у моего деда, который, будучи кузнецом, сам делал подковы и для верности перековывал лошадей.

— Удавалось ли вам в эти годы писать стихи?

— Два года назад я опубликовал объемистый сборник стихов под названием «Птица завтрашнего дня», в который включил стихи последних пяти лет. А сейчас я продолжаю работать над своей «Историей», но одновременно мне захотелось написать повесть, которую я обдумываю уже много лет. Это будут не только воспоминания о детстве и о Париже тридцатых годов, мне хочется поделиться с читателями моими мыслями о судьбе и предназначении человека двадцатого века в контексте событий нашей эпохи. Решил попробовать себя в совершенно новом для меня жанре. Эта книга не будет походить ни на одну из тридцати написанных мною книг. Всю жизнь я откладывал этот замысел «на потом». И вот на пороге шестидесятилетия вижу, что «потом» — это уже сейчас!

— А как вы пишете? Расскажите о своих рабочих привычках.

— Пожалуйста. Для примера расскажу вам историю одной рукописной страницы. Я всегда ношу при себе маленькие карточки из белого картона и, где бы ни находился: на улице, в кафе, в автобусе, записываю все, что приходит мне в голову. Затем я переписываю эти мысли на другие карточки, после чего переношу их в тетрадь без линеек — знаете, есть такие тетради с толстой обложкой, наподобие книги отзывов для почетных гостей. А уж потом перепечатываю текст на машинке. Готовые страницы я печатаю, не дожидаясь, пока целиком закончу всю книгу. Это позволяет мне одновременно работать над разными частями рукописи и заранее предвидеть ее примерный листаж. Пользуюсь я только черными чернилами.

Каждый день, что бы со мной ни происходило, я работаю с семи утра до двух часов дня. Потом иду прогуляться, заглядываю в книжные магазины и к букинистам, встречаюсь с друзьями, мы вместе обедаем, пьем вино, спорим, шутим, смеемся. Или я встречаюсь с молодыми поэтами, присутствую на различных дискуссиях и дебатах, занимаюсь профсоюзными делами. Но это еще не все. Я член различных обществ, вхожу в состав двух Академий — Гонкуров и Малларме, являюсь членом поэтических жюри имени Аполлинера и Макса Жакоба и жюри, распределяющего премии литературной критики. Только не подумайте, что я соглашаюсь на это из тщеславия. Мне это дает возможность защищать и отстаивать то, что я люблю: книгу и поэзию. Вы можете спросить, не утомительно ли это. Нет, мне нравится участвовать в литературной жизни, да и в жизни вообще. Башня из слоновой кости — это не

для меня! Уединение я люблю лишь в те часы, когда работаю.

— Проза или поэзия — что же вам дороже?

— О, тут мне и самому трудно разобраться. Могу только сказать, что когда я пишу эссе или романы, то как бюрократ назначаю себе часы работы и неукоснительно соблюдаю этот распорядок. С поэзией же все обстоит совершенно иначе. Она сама приходит ко мне, когда пожелает, и не я, а она диктует мне свою волю. Всю жизнь я остаюсь ее робким учеником. Это не я сочиняю ее, а она движет моим пером. Она властной рукой протягивает мне зеркало и, принуждая заглянуть в глубины моей собственной души, помогает проложить тропинку к сердцам других...

— Кто наиболее близок вам из наших поэтов?

— Я читал многих классиков русской прозы и под рукой постоянно держу сборники стихов ваших поэтов. Но ближе всех мне, конечно, Маяковский. К сожалению, я не знаю русского языка, но я множество раз вчитывался в переводы его стихов. Маяковский для меня — это поэт необычайной цельности и чистоты, весь, без остатка отдававшийся поэзии. Враг всего косного, он создал поэзию, которая обошла земной шар. Я считаю, что именно благодаря ему поэзия приобрела в мире такую популярность. Маяковский развенчал поэзию, предназначенную для элиты. И то, чего поэзия до него чуралась, служило ему источником вдохновения и придавало его стихам необычайную силу и притягательность. Этот человек, по-настоящему справедливый и демократичный, безошибочно чувствовал дух и требования эпохи и, чутко вслушиваясь в звучащие вокруг него ритмы, как никто другой сумел выразить в стихах наше время. Хорошо известно, какое влияние оказал Маяковский на французских поэтов своего поколения и какие отношения связывали его с ними. Но он дорог и моему поколению, мы видим в нем нашего современника, и точно так же он близок людям всей земли.

Беседу вела Н. ПОПОВА

ПОСЛЕ «МЕФИСТОФЕЛЯ»

Беседа с венгерским кинорежиссером Иштваном Сабо

Случайное, но по-своему выразительное совпадение. В городе Канн на юге Франции в 1949 году покончил с собой мятежный духом Клаус Манн, автор романа «Мефистофель». И в том же Канне в 1981 году получил свои первые овации и международные призы одноименный фильм, поставленный по этому роману венгерским режиссером Иштваном Сабо. Из Канна, еще раз вписавшегося таким образом в биографию немецкого писателя-антифашиста, фильм отправился в триумфальное шествие по экранам мира, собирая почетные награды и титулы.

Это первая экранизация в творчестве Иштвана Сабо. До сих пор он ставил фильмы исключительно по собственным сценариям («Пора мечтаний», «Отец», «Любовный фильм», «Улица Тюзолто, 25», «Будапештские сказки», «Доверие»), материал для которых находил в собственных воспоминаниях и в том, что слышал от родителей. Он шел по следам оставленных ему в наследство легенд, вглядывался в лица на старых фотографиях, искал в прошлом, в своем прошлом, которое одновременно и прошлое всего его поколения, всей нации, объяснений и духовных опор для настоящего. Вот почему тем, кто давно следил за творчеством этого венгерского режиссера, его обращение к «Мефистофелю», написанному Клаусом Манном в 1936 году, показалось неожиданным.

Этот роман, хотя и выходил дважды на венгерском языке, в 1945 и в 1957 годах, не вызвал в то время в Венгрии особого резонанса, его мало читали. Иштван Сабо признается, что ему самому не пришло бы в голову экранизировать эту книгу, если бы кто-то не подсунул ее во время отпуска, сказав: «Будет нечего делать — прочти».

— Я начал перелистывать роман, немного почитал — и отложил его в сторону только после того, как прочел до конца. У меня сразу же сложилось впечатление, что я наткнулся на превосходный сюжет для фильма. Кроме того, мне давно хотелось попробовать себя на материале, который целиком тебе не принадлежит — ты здесь только интерпретатор. Роман Клауса Манна отвечал моему глубокому убеждению, что если произведение литературы совершенно, то по нему нелегко, просто нельзя сделать фильм, который не уступал бы оригиналу. Для создания хорошего фильма, по-моему, больше подходит в качестве основы такое литературное произведение, в котором волнует тема и оригинальный сюжет, но которое далеко не вершина художественной прозы. Именно таков, на мой взгляд, «Мефистофель» Клауса Манна. События в нем лишь очерчены, у действующих лиц нет сколько-нибудь разработанных характеров и, наконец, в воссоздании самых серьезных исторических моментов автор полагается только на свое представление — их непосредственным свидетелем он уже не был, так как в период третьего рейха жил вне Германии, в эмиграции.

В фокусе фильма, как и в романе,—актер, который платит за вожделенную славу компромиссами, меняет свои убеждения по мере изменения политического климата в стране, а потом употребляет весь дар демагогии для того, чтобы подвести под свой оппортунизм прочный идеологический фундамент. Это дало основание в некоторых откликах зарубежной печати рассматривать его нравственно-политическое содержание преимущественно под углом проблемы «художник и власть».

Интересно в этой связи вернуться к интервью, которые давал Иштван Сабо еще в период съемок «Мефистофеля».

— Мой фильм,— настаивал он в одном из них,— меньше всего об актере или, как порой пытаются истолковать, об отношении власти и художника. Меня интересует здесь история определенного характера, типа личности, который встречается не так уж редко. Или, говоря иначе, способность иных людей приспосабливаться. Герой этого фильма не в состоянии жить, если ходит не по солнечной стороне улицы. Он хочет быть признан и любим всеми. Только это дает ему уверенность и силы. Ради этого он готов поступиться всеми убеждениями, вступить в контакт с заведомым злом. Душевно тонкий, чувствительный человек, он, конечно, ведает, что творит, и ему приходится изворачиваться перед самим собой, чтобы оправдать собственные поступки. Подобное поведение не обязательно связано с такой экстремальной ситуацией, как приход к власти фашистов в Германии. Впрочем, экстремальных ситуаций в мире хватает. Достаточно открыть газету или включить телевизор, чтобы увидеть, как часто политические события ставят человека перед нравственным выбором. Как часто человеку приходится всеми средствами «удерживать» свое место; это стало во вторую половину двадцатого века чуть ли не правилом. Поведение, подобное поведению героя «Мефистофеля», уже перестает удивлять. Если так, то его нужно показывать, анализировать.

Вспомнив, что в статье о его фильме «Доверие» один венгерский критик употребил удачное выражение «социальная терапия», Сабо сказал:

— Это как раз то, чем я стремлюсь заниматься. И в «Доверии», и в моем новом фильме «Мефистофель». Метод же социальной терапии» — показать нравственную болезнь, ее формы проявления. Причем герой должен быть одновременно и симпатичен, чтобы зритель мог отождествить себя с ним. Если зритель в своем отражении разглядит эту болезнь, выражающуюся в стремлении всегда ориентироваться на то, откуда дует ветер, если он поймет, чем чревато такое поведение, то моя «социальная терапия» достигнет цели. Хотя явление, о котором в данном случае идет речь, раскрывается в фильме в сфере большой политики, его аналоги можно встретить в повседневной жизни — скажем, в преподавательском коллективе школы, в любом предприятии и учреждении, где случается, что за собственную безопасность и положение человек вынужден служить какой-либо группке, задающей тон.

...В начале этого года Иштван Сабо был в Москве, и я встречался с ним, но о «Мефистофеле» мы говорили мало — режиссер настолько обстоятельно и ясно изложил в процитированных интервью свои позиции, что возвращать его к этой теме казалось лишним.

В Москве у Иштвана Сабо состоялся, можно сказать, «бенефис». Почти одновременно вышли на наши экраны «Мефистофель» и «Доверие» — один из предыдущих его фильмов, также получивший широкое признание. Кроме того, Союз кинематографистов СССР устроил ретроспективу. Фильмы разных лет, начиная с первых короткометражек, полных изобретательности, поэзии, переменчивых настроений и глубоких мыслей, заставили вспомнить фразу, брошенную кем-то из венгерских критиков еще в пору «проб пера» этого венгерского режиссера: «Он родился с кинокамерой в руках». Вспомнились также слова, которыми заканчивался в середине 60-х годов один из зарубежных откликов на его первый полнометражный фильм «Пора мечтаний»: «В будущем необходимо с самым большим вниманием следить за постановками Сабо, который, может быть, открыл пору расцвета венгерского киноискусства». «Открыл» ее, конечно, не один Сабо, но доля его в том действительно велика.

— Задаете ли вы когда-нибудь себе вопрос, зачем делаете фильмы? — спросил я Иштвана Сабо.

— Да, задаю... Я думаю, что делать стоит что-нибудь лишь в том случае, если это имеет какую-то конкретную цель. Средства кино являются, на мой взгляд, самой лучшей возможностью для достижения как минимум двух целей. Во-первых, кино расширяет духовный горизонт человека, умножает его душевный опыт, учит его пониманию чувств и представлений других людей. Это, конечно, не просто. К сожалению, люди живут предрассудками. Эти предрассудки они приносят в кинотеатр. Видя на экране непохожего на него человека, иначе чувствующего и поступающего, зритель пытается настроиться на его волну, чтобы сочувствовать ему, и... наталкивается на собственные предрассудки. Тогда он начинает догадываться, что то, что он думал раньше, не является таким уж безоговорочно истинным, единственно справедливым. Так кино помогает нам встретиться с самими собой, уточнить, расширить, а в некоторых случаях — изменить свое мировоззрение.

Ну и, конечно, элементарная визуальная информация. Зритель видит, как одевается другой человек, какой у него дом, в каком кругу он вращается. Вживание в мир другого человека, которого зрители созерцают, помогает ему идентифицировать себя с ним. В конце концов, люди лучше узнают друг друга. Приятно и ответственно сознавать, что ты в этом посредник.

— Когда пересматриваешь сегодня один за другим ваши ранние, лирико-исповедальные фильмы, видишь, как близко они стоят друг к другу. Они выросли из одного зерна и развивают, углубляют, по сути, одну тему: связи человека с историей и его ответственность за свою судьбу. Иное дело — «Доверие» и «Мефистофель». Эти фильмы, по моему впечатлению, существуют каждый сам по себе, не перекликаясь с предшествующим и последующим.

— Есть все же мотив, который роднит эти картины. «Доверие» говорит о том, как

трудно людям обрести взаимное доверие и как легко его потерять. Нет ничего ценнее доверия. Человек хранит память о тех моментах жизни, когда у него это было. И он всегда будет стремиться к такому же состоянию, потому что нормальное состояние человека — это когда он доверяет. Ребенок все трогает, все берет в рот, потому что всему вокруг доверяет. Человек родился для того, чтобы доверять. Недоверие — болезнь.

«Мефистофель» — родной брат «Доверия». Та же тема тут проигрывается в другом регистре. Главный герой «Доверия» — человек, которого исторические обстоятельства и пережитое им вынуждают быть закрытым. Недоверием он защищается, выстраивает надежную оборонительную стену. Потому он и стоит в тени, скрывается. Он не доверяет всему миру. Выстроенную им стену недоверия ломает женщина. Она — активное начало в этом фильме. Может быть, поэтому мужчины, как мне показалось, прохладнее реагируют на «Доверие».

Герой «Мефистофеля» тоже не доверяет никому и этим тщится себя спасти. Но стоит он всегда на свету, в самой яркой точке. Именно так он чувствует себя защищенным.

— Судя по цифрам венгерского кинопроката, «Мефистофель» примирил в кинозале всех — и мужчин и женщин, и молодежь и старших людей. Выходит, «формула» зрительского успеха у вас в кармане?

— Если бы! С тех пор как я занимаюсь кино, я всегда хотел, чтобы мои фильмы смотрели все. И стояли в очереди за билетами. Желательно даже, чтобы леваки перепродавали билеты по повышенной цене — это еще больше тешило бы мое авторское честолюбие. Я не знаю ни одного режиссера, ни в Венгрии, ни среди моих зарубежных друзей, кто бы думал иначе. Некоторые, правда, кокетничают с журналистами, уверяют, что зрители их не интересуют. Но, поверьте, именно этих режиссеров больше, чем других, гложет тайная тоска по зрителю. Потому что всегда, во все времена режиссеры хотят делать фильмы для зрителя. Вопрос только в том, есть ли Зритель с большой буквы. Он может принадлежать к любому слою. Все определяется лишь тем, развит ли у человека художественный вкус, богат ли его душевный опыт. Именно по такому зрителю надо выверять подлинный успех фильма.

Возьмите музыку. Одни слушают Баха, другие предпочитают легкую музыку — оперетту, танцевальные мелодии, песни. Легкая музыка доступнее, потому что она выражает наиболее поверхностные, сиюминутные наши переживания. Оттого круг ее любителей шире. Но мы же не делаем из этого вывод, что она — большая ценность, чем Бах. Ценности это абсолютно разные... Или в литературе. Я не знаю, кто в Советском Союзе самый популярный автор детективных романов. У нас в Венгрии, как во всем мире, Агата Кристи. Она, бесспорно, великолепный мастер своего жанра. И читают ее куда больше, чем Достоевского, хотя и тот использовал детективную интригу. Но возникает ли у нас хотя бы на секунду вопрос, кто из них значительнее. Достоевский писал о человеческой природе, о сущности человеческой души, он проникал в нее так глубоко, как никакой Агате Кристи не снилось. А в киноискусстве?.. Есть фильмы, которые рассказывают о том же историческом периоде, что и «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна, и зрителей на них больше. Секреты простые. Немного любви, немного лимонада — и зритель уже спешит в кино. Но «Броненосец «Потемкин» говорит о сути исторических движений... Или взять современников. Допустим, Феллини. Кто мог до него (да и после!) так конкретно и с такой глубиной сказать языком кино о проблемах самого художника, как это сделал он в «Восьми с половиной»? Или Бунюэль, «Виридиана»... Кто еще мог заглянуть в такие бездны веры и сомнения? Или Бергман. Как много он сказал о человеческом одиночестве!.. Чтобы идти с этими художниками в ногу, чтобы прочитать их «послания», зритель тоже должен быть творческим человеком. Пусть не так много зрителей «идет в ногу» с Бергманом, с Феллини, с Бунюэлем, все же это гораздо ценней, чем набитый до отказа кинозал, где с людьми ничего в принципе не происходит, они выходят из кинотеатра такими, какими вошли в него.

Люди задают себе в жизни вопросы. Эти вопросы меняются с годами в зависимости от политических, экономических, социальных изменений. В зависимости от того, как в каждый исторический момент человек чувствует себя в мире. И если вопрос, который поставил фильм, встречается с вопросом, который задает сам себе человек, тогда возникает ток. Очень много талантливых фильмов — я мог бы привести и венгерские — не встречается со зрителем. Они либо отстали от времени, либо очень рано ставят свои вопросы. А это должно быть в синхроне — переживания и вопросы человека, который создает фильм, с переживаниями и вопросами зрителя.

О легком успехе что говорить? Тут все просто. Был один венгерский режиссер, который поступал так. Закончив писать сценарий, он давал его прочитать женщине, которая ему готовила. Если ей не нравилось, он переписывал. Не потому, что эта женщина была требовательным, тонким ценителем. Нет. Просто он ориентировался именно на таких людей, как она. Посмотрев какой-нибудь фильм, он говорил: «Это не понравится тете Ковач». «Тетей Ковач»» он называл в данном случае широкий слой неискушенных зрителей.

Я же убежден в другом: художник должен не обслуживать широкого зрителя, а служить народу. Не мне, режиссеру, надо опуститься до низкого вкуса, не зрителю надо подняться до моих понятий и эмоций. Нет, мы вместе должны, взявшись за руки, взбираться на вершины, приобретать новый, более сложный взгляд на вещи. Зритель может противиться: он идет,

мол, в кинотеатр не для того, чтобы напрягаться. Но надо его побудить к тому, чтобы он все-таки сделал над собой усилие, надо, чтобы он сам почувствовал необходимость в этом и был рад, что он стремится к чему-то. Он должен чувствовать то же, что чувствует спортсмен, когда тренер призывает его напрячься. Тренер ведь тоже в эту минуту напрягается. Новую высоту они берут вместе.

Наверно, все это очень красиво звучит. На деле же, конечно, трудно. Бывает, когда это получается, бывает — нет. И отчего, никто не знает.

— Поскольку вы мимоходом коснулись и венгерского опыта, хотелось бы задержать вас немного на этой теме, узнать ваше мнение о нынешнем состоянии венгерского кино, о его характерных явлениях. Прежде всего — о венгерских фильмах, освещающих недавнее прошлое. Они вызывают всюду много споров.

— Мне трудно дать общую оценку венгерскому кино. Наверно, потому, что я его очень хорошо знаю. У нас выходят разные фильмы: удавшиеся и неудавшиеся, развлекательные и серьезные. Адресованные какой-то одной категории зрителей — например, фильмы с участием популярных ансамблей пользуются успехом исключительно у молодежи — и обращенные ко всем. Я горд тем, что существует венгерский кинематограф. По моему убеждению, он остается самой репрезентативной частью венгерской культуры.

Венгерское кино многоцветно. Поэтому неправомерно сводить представление о нем к какому-то одному типу произведений, к одному стилю. А это иногда делается. Например, вдруг услышишь, что наиболее характерными для нынешнего венгерского кино являются «социологические фильмы». Имеются в виду фильмы, связавшие себя исключительно с современной жизнью, с ее проблемными сторонами и использующие документализм как метод и стиль. Они делаются в принципе в одном и том же ключе, одинаковыми средствами. Тем не менее один фильм удается, а другой нет. Так что метод, пусть он трижды модный, не гарантирует успеха. Однако о нем много говорят. Течение это, родившееся во второй половине 70-х годов, называют теперь «будапештской школой». Почему, не знаю. Так же как не понимаю, на каком основании «социологические фильмы» выдаются порой за «визитную карточку» всей нашей кинематографии. В таких случаях мне всегда хочется рассеять туман, объяснить, чему на самом деле обязан у нас «бум» «социологического фильма».

— Чему же?

— Экономическим трудностям. «Социологические фильмы» — дешевые: ни дорогих декораций, ни актеров-профессионалов, только любители. Включил камеру, и можешь пойти погулять — она сама снимет длинную разговорную сцену. Нет, я вовсе не ставлю под сомнение эстетику «социологического фильма», знаю, что обращение к ней обусловлено многими причинами — культурными и социальными. Но простор этой эстетике открыла все-таки экономика, повышение цен во всем мире. Поднялись цены на серебро, значит — на кинопленку. Подорожала древесина, поэтому дороже обходятся постройки декораций. Поднялись цены на топливо, на нефть — стал дороже транспорт; следовательно, не с такой щедростью, как прежде, можно менять места съемок. Дотация, которую венгерское кинопроизводство получает от государства, становится уже недостаточной для того, чтобы работать как прежде. Сумма не изменилась, но возможности ее гораздо меньше. Вот и ищем выход. Так создался благоприятный климат для «социологических фильмов».

Что же касается исторических фильмов... В нашей истории есть много моментов, которые искусство как следует еще не оценило, не разобралось в них. Долгое время венгерское кино обходило наше прошлое. Говорило только о будущем и о настоящем, которое должно когда-то перерасти в будущее. Но потом мы стали понимать, что наше будущее определяется нашим прошлым. Все, что случилось вчера и позавчера с людьми, которые сегодня работают во имя будущего, естественно, влияет на те решения, которые они принимают. Почему человек берет на себя какую-то задачу, почему он от чего-то отказывается, почему начинает за что-то бороться или, наоборот, прекращает борьбу, почему он женится на этой женщине, а не на другой, почему он слушается своего отца или отвергает отцовское наследие? Всему этому есть объяснение в прошлом, в том, что человек испытал. А испытал он немало. Если человеку сегодня семьдесят и он уже на пенсии, значит, он помнит, пусть смутно, революционные события 1918 года, Венгерскую Коммуну 1919-го и ее падение. Помнит экономический кризис конца 20-х годов. Уже будучи взрослым, он видел и, возможно, на себе испытал развитие фашизма. Он принимал участие во второй мировой войне. Потом Освобождение, потом 50-е годы и печально памятный 1956-й.

Если этому человеку пятьдесят лет, он помнит вторую мировую войну. В 1945-м он был молодым энтузиастом, а в 50-е уже мог занимать ответственную должность.

Если этому человеку сорок лет, то в войну он только родился. Тогда Сталинград для него то же самое, что для меня Бородино. Ему о нем рассказывали, сам он там не был. Но он был уже достаточно взрослым в 1956 году, чтобы помнить те трудные дни, когда каждый венгр — может быть, и его родители — делал выбор.

Эти впечатления, которые живут в памяти, очень важны, они влияют на все дальнейшие решения человека, будь то министр, директор школы или, допустим, глава семейства, где трое детей. Чтобы правильно понять эти решения, надо знать, что к ним привело, что их подсказало. Вот для чего нужны фильмы о прошлом. К нашему непосредственному опыту они прибавляют опыт предшествующих поколений.

Разумеется, не все фильмы о прошлом действительно расширяют наш опыт, углубляют понимание истории. Здесь возможны повторы, ошибки, односторонность. Но лучше с неизбежными повторами и даже ошибками продолжать начатое дело, чем остановиться и ждать. Фильмы о недавнем прошлом, которые создаются у нас сегодня, пашут целину. В будущем, быть может вот-вот, на ней взрастет зрелый колос — фильм-откровение, который исчерпывающе и объективно расскажет нам о том времени. Но у «больших» фильмов, у фильмов-откровений всегда имеются предтечи. Сегодня, по моему мнению, мы находимся в стадии фильмов-предтеч. Идет накопление знания, прокладывается путь. Какие бы разные по художественным и духовным итогам ни были нынешние венгерские ленты о 50-х годах, благодаря им мы знаем сегодня о том трудном периоде, о его общественной атмосфере и человеческих взаимоотношениях все же гораздо больше, чем знали в середине 60-х, когда создавали «Двадцать часов» и «Отца».

— Видели ли вы что-нибудь из последних советских фильмов и какие у вас впечатления?

— В последнее время я работал почти без пауз: заканчивал одну картину и сразу приступал к другой. Поэтому мои зрительские приобретения за этот период незначительны. Самых новых советских фильмов я не видел. Ну, может быть, один-два. Не видел последних работ режиссеров, которые мне давно нравятся. Я очень люблю, к примеру, ранний фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!», люблю фильмы Марлена Хуциева, «Первый учитель» Андрея Кончаловского, «Листопад» Отара Иоселиани. Вообще люблю грузинские фильмы и всегда задаю своим советским друзьям вопрос: каким секретом владеют грузинские кинематографисты? Ведь чувство кино у них поразительное! Мне нравятся фильмы Глеба Панфилова и Андрея Тарковского. Среди советских режиссеров, которые выдвинулись сравнительно недавно, мне больше всего близок Никита Михалков. Жаль, что я еще не видел его «Родню», но скоро увижу — наш кинопрокат купил этот фильм. А вот «Агонию» Климова я уже видел, она потрясла меня. Теперь жду его «Прощание»...

Хотелось спросить Иштвана Сабо еще о многом, но мы уже посматривали на часы: не опоздать бы к началу его вечера в Центральном Доме кино. В Москву Сабо вырвался всего на два дня, закончив съемки телевизионного фильма «Кошки-мышки» по известной повести Иштвана Эркеня (экранизация осуществлена для западногерманского телевидения) и намереваясь продолжить работу (уже для венгерского телевидения) над учебным сериалом из истории венгерской литературы. Кроме того, на очереди у него еще одна экранизация: «Дело полковника Федля», по репортажам Эгона Эрвина Киша.

Беседу вел **А. ТРОШИН**

■

БЕСЕДА С ПАВЛОМ ВЕЖИНОВЫМ

Предлагаем вниманию читателей беседу известного болгарского писателя П. Вежинова, автора романов и повестей «Звезды над нами», «Ночью на белых конях», «Барьер», «Измерения»[1] и других произведений, переведенных на русский язык, с преподавательницей литературы В. Петричевой. Беседа опубликована в газете «Литературен фронт».

ВОПРОС. С каждым вашим произведением вы все настойчивее стремитесь проникнуть в человеческое сознание. Это заметно по вашему последнему роману «Весы». Эта особенность вашего творчества дает нам основания задать вам следующие вопросы: насколько человек контролирует свое поведение и насколько оно плод ускользающих из-под контроля сознания подсознательных пластов человеческой психики? Что сильнее всего определяет поведение личности?

П. ВЕЖИНОВ. Я считаю ваш вопрос правомерным, хотя и не совсем согласен с вашей терминологией. Если вы внимательно читали роман «Весы», то, вероятно, заметили, что в авторском тексте я нигде не употребляю понятие «подсознание». И это не случайно. По-моему, человеческое сознание следует рассматривать как нечто цельное и единое, хотя оно и не изоморфно и не монолитно. В сознании действительно существуют как врожденные (наследственные), так и приобретенные качества. Но они не разграничены одно с другим, а находятся в комплексном взаимодействии, притом различном при различных обстоятельствах. Вершина человеческого сознания — человеческий разум. Я, правда, не уверен, что эта «вершина» — высшее достижение природы, хотя так принято считать. Но развитое человеческое сознание, несомненно, обладает одним качеством, так называемым самосознанием, то есть способностью человека оценивать смысл и цели своих действий. Это качество в комплексе с другими я привык называть душевным миром. Еще видный советский физиолог Павлов предупреждал, что не следует строго разграничивать рефлекторное от психического. Здесь и кроется загадка жизни и ее проявлений. Что такое, в сущности, жизнь? В том-то и дело, что наука до сих пор не сумела дать никакого удовлетворительного, по-настоящему научного объяснения этому понятию. Более того, видные современные ученые, главным образом физики (Нильс Бор, например), утверждают, что жизнь нельзя объяснить при помощи какого-либо из известных (по крайней мере в настоящее время) законов физики или химии. И все-таки что такое жизнь? Где проходит граница между живой и неживой природой? Тут я склонен отойти от гипотез некоторых современных ученых, поскольку они, в сущности, идеалистические, и вернуться к древнегреческому философу Аристотелю, который считал, что живая материя отличается от неживой способностью к ощущению. Именно она развивалась и совершенствовалась у человека, пока не достигла степени переживания.

По-моему, переживания и составляют смысл человеческого существования. Это сфера, в которой решаются все душевные проблемы человека. Сила, глубина, значительность переживаемого приближают нас к тому состоянию, которое мы привыкли называть затертым словом «счастье», или отделяют нас от него. Человек или носит ощущение счастья в себе, или утратил эту способность навсегда. Я не хочу недооценивать значение такого понятия, как «благосостояние». На практике оно означает прежде всего удовлетворение нужд и потребностей человека. Это, конечно, очень важно. Но если оно не превратится в переживание, то есть в полное удовлетворе-

[1] Повесть «Барьер» см. в «ИЛ», 1978, № 1; повесть «Измерения» — в «ИЛ», 1981, № 2.

ние и духовных потребностей, то оно рискует превратиться в свою противоположность. Нельзя сказать, что на этой грешной земле самые счастливые — это богатые и сытые народы. Гораздо счастливее те, у которых есть силы и возможности идти к какой-то высокой цели. Лично я склонен считать, что движение к цели приносит больше удовлетворения, чем ее достижение. Эту мысль я стремился развить и обосновать в своей повести «Когда ты в лодке»... Итак, вернемся к вопросу: насколько человек может контролировать свое поведение? Очевидно, легче контролировать то, что сложилось под влиянием общественной среды и общественного воспитания. Пожалуй, этими качествами особенно часто манипулируют. Но они возникли не на пустом месте. Как известно, личность обладает и наследственными генетическими качествами, которые формировались не днями, не годами, а веками и тысячелетиями. Они труднее поддаются изучению и очень часто остаются непонятными до конца главным образом потому, что они проявляются редко и порой совершенно неожиданно. Они, так сказать, таятся в глубинах человеческого сознания. Мне кажется, что не стоит абстрактно говорить о доминанте человеческого поведения. Все зависит от того, о каком человеке идет речь, когда, при каких обстоятельствах. Я представляю себе сознание живого человека не как категорию, идею, не как кристалл, даже не как некую структуру. Оно скорее представляется мне рекой, которая течет откуда-то из далекого далека. Она течет в берегах, они, конечно, определяют ее, но не всегда и не в одинаковой степени. Иначе она превратилась бы просто в канал. Это было бы лучше для общества, но человек утратил бы свое богатство как личность. А как известно, бывают грозы, идут проливные дожди, река выходит из берегов, широко разливается. Что сможет ее тогда обуздать? Ничто.

ВОПРОС. Стал ли человек по сравнению с прошлым умнее, иными словами, становится ли он со временем интеллигентнее? Какие перемены произошли в эмоциональной сфере человеческой личности?

П. ВЕЖИНОВ. Человек сегодня стал, бесспорно, умнее, чем был вчера. Это определяется образованием, большим объемом знаний, тем, что он занимается разными видами практической деятельности, которые требуют гораздо большего умственного напряжения. Но вряд ли он стал интеллигентнее. Почему я делаю различия между этими двумя понятиями? Первое скорее связано с функциональными качествами человеческого мозга, которые поддаются тренировке и совершенствованию. А интеллигентность — это, по-моему, отражение всего духовного мира человека, его воображения, главным образом его интуиции, его творческих способностей, если хотите. Уму присуща прежде всего четкая логика и постоянство логических связей и выводов. Интеллигентный же человек больше склонен к свободным комбинациям понятий и представлений. Вот почему у него больше развито чувство юмора, одно из самых характерных признаков природной интеллигентности. Он легче улавливает малозаметные связи между явлениями и нюансами человеческих отношений. И в конечном счете легче приходит к большим обобщениям и важным для науки открытиям. К такому типу ученых относится, например, Эйнштейн, которому, как он сам говорил, еще в школьные годы пришли в голову некоторые основные положения теории относительности, то есть до того, как он приобрел достаточно большой запас знаний.

Можно только сожалеть, что наша система образования (да и система образования в целом) обращает главное внимание на заучивание при передаче новых знаний. Но заученное — это лишь наполовину выученное, это полузнание, главное — проникнуть в сущность изучаемого, связать его в систему ассоциативного мышления. Зубрежка мешает думать, свободно искать и открывать истину. Не будем забывать, что главной целью древнегреческих гимназий было развитие интеллектуальных способностей своих учеников. Вот почему сила интеллекта древнегреческих философов до сих пор поражает воображение и мысль всех современных ученых, которые и до сегодняшнего дня, пожалуй, не могут сделать ничего большего, кроме как доказать опытом и конкретными данными их великие открытия.

Какие изменения произошли в эмоциональной сфере человеческой личности? Трудно ответить на этот вопрос. Можно только отметить (по крайней мере если судить по классикам мировой литературы), что некогда чувства и страсти были гораздо более сильными и бурными и были основным мотивом человеческого поведения. Не случайно «Илиада» Гомера начинается известной строкой «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Чувства и страсти движут героями Шекспира, Стендаля, Достоевского. Но, с другой стороны, философия и идеи Возрождения были в основном рационалистическими. В современном мире, который мы называем «веком научно-технической революции», «атомной эрой», «электронной эрой» и даже «космической эрой», чувства словно бы уступают завоеваниям разума. К сожалению, мы все больше привыкаем считать эти открытия чем-то решающим для будущего человечества, не отдавая себе ясного отчета в той опасности, которую они уже в зародыше таят в себе. Речь идет не о последствиях атомной войны, не о разрушении окружающей среды или об истощении природных ресурсов. Речь идет о чем-то более страшном и неизбежном — об обесчеловечивании человека, об обезличивании личности. Невозможно перечислить все источники этой опасности, но факт остается фактом. Современная цивилизация становится все более утилитарной и прагматичной, приглушает и даже подавляет эмоциональные побуждения, унифицирует человеческие характеры. Это и заставляет наше социалистическое общество так твердо и настойчиво выдвигать лозунг борьбы за «всесторонне развитую гармоническую личность». На

практике это означает прежде всего гармонию между рациональным и эмоциональным в человеке, раскрытие всего богатства человеческой души, творческое отношение к труду. Но лозунг лозунгом, а жестокое наступление стандарта продолжается.

ВОПРОС. В чем выражается гармония между человеком и природой?

П. ВЕЖИНОВ. Тот исторический момент, в который мы живем, кажется мне кульминацией трагического противоречия между человеком и природой. Я уже упоминал о разрушении природы, о хищнической эксплуатации природных ресурсов. А ведь все мы вроде бы понимаем, что так не может продолжаться вечно. Если представить в каком-то материализованном виде верховный разум, то он, наверное, взорвался бы, потрясенный слепотой человека. Разумеется, современный человек ищет выхода в каких-то иллюзиях и надеждах, не имея никакой гарантии, что эти надежды осуществятся в какой-то обозримый срок. Много пишут и говорят о неисчерпаемых источниках термоядерной энергии. Или о расселении в космическом пространстве. Но даже если это осуществится, основные проблемы останутся. Как мы, человек вообще, приспособимся к жизни в среде, не приспособленной для обитания? Природа существовала миллионы лет как неделимое целое, состоящее из автономных частей. Можем ли мы вырвать одно звено из этой цепи и предоставить ему существовать самому по себе? Нет, этого нельзя делать. Или по крайней мере нам не стоит подвергать себя риску, используя подобную возможность, потому что мы не знаем, что нас ждет там — вырождение или безумие.

Единственный способ преодолеть это трагическое противоречие заключается в том, чтобы человек осознал себя не хозяином или эксплуататором природы, а звеном в ее вечном развитии. Легко сказать, но безмерно трудно этого добиться. Пройдет, наверно, много веков, прежде чем мы коренным образом изменим основы наших будущих цивилизаций. Но каким путем пойти? Не назад к природе, конечно, это уже невозможно. А вперед к природе, вместе с природой, используя и развивая ее бесконечные жизненные силы. В новом обществе, без классов и внутренних конфликтов, это, вероятно, окажется возможным.

ВОПРОС. В чем вы видите различие между мужчиной и женщиной в их отношении к человеку и миру? Может быть, в образе Доротеи помимо прочего воплощено и отношение женщины к миру, в основе которого любовь во всех ее проявлениях?

П. ВЕЖИНОВ. Я не занимался этой проблемой, и она не представляется мне значительной. Только одно я мог бы сказать, не опасаясь ошибиться. Женщина мне кажется более естественным созданием природы, более отвечающей основным требованиям жизни. Дать человеку жизнь и защищать его — это нечто несравненно большее, чем превращать его в пушечное мясо.

ВОПРОС. На страницах ваших книг встречается иногда какой-нибудь котенок со своим кошачьим пониманием людей, в котором очень много человеческого. В «Голубом камне» есть страшная сцена, когда обезумевший от ярости человек набрасывается на лошадь с бессмысленной жестокостью, в «Весах» символом спасительной любви становится возвращение собаки Пинки. Что вы думаете об отношении человека к животным как части более общего вопроса: отношения человека и природы?

П. ВЕЖИНОВ. Отношение к животным — один из самых важных аспектов проблемы взаимоотношений человека и природы. Лично я считаю, что каждое животное имеет право на существование и в существовании каждого есть свой смысл. Кроме того, я никогда не считал животных, даже насекомых, совершенно бессознательными. То, что мы называем инстинктом, не есть что-то изначально данное природой. Это тоже опыт, какой-то разум, какое-то отношение, автоматизм, включенный в генетический код вида. Человек также не лишен некоторых полезных инстинктов, без которых он вряд ли мог бы появиться на свет. Целенаправленны ли разум и воля человека, еще не доказано окончательно. В известном смысле можно считать, что они вносят дезорганизацию в поведение. Дело в том, что у некоторых видов животных, например пчел и муравьев, организация коллективной жизни гораздо совершеннее, чем у человека. И хотя мы не могли бы назвать ее «общественной», она в большей степени гарантирует как их общность, так и их существование. За очень редкими исключениями животные не ведут той жестокой внутривидовой войны, какую ведут люди, во всяком случае вели до сих пор... У некоторых видов животных взаимная помощь между особями просто удивительна и доходит до самопожертвования. Не следует недооценивать и их эмоциональную жизнь, их чувства. Почти рядом с моим окном есть гнездо голубей, в котором они выводят птенцов. Но их взаимная привязанность, их любовь (почему бы и нет?), их самоотверженная забота о птенцах вызывают у меня удивление, если не сказать более сильного слова. Разве я мог бы убить этих птиц? Скорее я переломал бы руки тому, кто посягнул бы на них.

У нас дома есть кошка. Мне не хватает слов, чтобы описать ее привязанность, ее ласковое отношение не только ко мне, но и ко всем членам моей семьи, даже к моим друзьям, которых она безошибочно распознает. Иногда, правда, она мне досаждает, особенно когда я работаю. Но я приучил себя не выказывать своего неудовольствия. Мы должны быть признательны за любое проявление любви, от кого бы оно ни исходило. Есть тысячи, тысячи старых людей, брошенных, забытых своими детьми, людей, которые просто

погибли бы без своих домашних животных, без их любви и привязанности.

Я не вегетарианец, конечно. Не охотник, но занимаюсь рыбной ловлей. Думаю, что люди имеют на это право, раз его имеют животные. Это естественно, определено природой. Но поскольку мы люди, мы обязаны заботиться о животных так же, как заботимся о себе. Это оселок, на котором проверяется наше отношение к природе. Мы должны заботиться о ней как о своей праматери, а не быть ее палачами. Я не суеверен, я не мистик, но признаюсь вам, что боюсь ее проклятия.

ВОПРОС. В «Измерениях» вы, говоря о невозможности человека познать себя до конца, пишете: «Это гораздо более невозможно, чем взлететь птицей в небо. Что, наверно, когда-нибудь и случится, потому что такое в границах человеческих возможностей». Какие мысли о потенциальных возможностях человека вы хотели выразить здесь?

П. ВЕЖИНОВ. Эти слова — скорее художественная гипербола, но у нее все же есть научное обоснование. Вероятно, недалек тот день, когда человек наконец разгадает тайну того явления, которое мы называем гравитацией. По мнению физиков, хотя она бесконечно мала, ее можно преодолеть только с помощью сверхмощной энергии. Вероятно, это так, но все ли знает наука об энергии? Может быть, тому, что мы называем жизнью, присуща своя, неизвестная нам энергия. Иначе как объяснить то, что пшеничное зерно преодолевает не только гравитацию, но и огромную массу, которая давит на него. Как научно установлено, живая материя непрерывно нарушает какие-то важные законы физики. И вполне можно допустить, что в этом отношении она не исчерпала всех своих возможностей.

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

ДИАЛОГ ДВУХ КУЛЬТУР

Способность внимать голосу иного народа, разделять его горести и радости, даже перенимать чужие нравы, не оставляя своего, родного, всегда была свойственна русской культуре. Советская наука, и в частности наука о литературе, глубоко усвоила эту черту русской непосредственной человечности, черту гуманистическую. Дело не в абстракциях, а в душевном даре — в даре понимать духовный язык чужой культуры. В наши дни проблема взаимопонимания народов и их культур встает, пожалуй, с небывалой остротой. Потому и литературоведение освобождается от последних следов какой-либо кабинетной отрешенности — укрепляя при этом свою истинную академическую фундаментальность. Изучение литератур далеких и близких, малых и великих, даже проникновение в самые труднодоступные для историка уголки мира — все это становится глубокой потребностью, хотя и не всегда и не всеми сразу же осознается как задача актуальная. Историку культуры всегда особенно приятно, если он может подвести положительные итоги общения двух народов, своего и чужого, если, стало быть, достигнуто в таком общении многое. В таком положении культуры — русская и австрийская. И здесь тоже своя острота ситуации. Австрийская культура — ее специфика, своеобразие — признается в мире, в Западной Европе и даже в куда более узком немецкоязычном мире с трудом, иногда с нежеланием. Книга с заглавием «История австрийской литературы» в самих же немецкоязычных странах — величайшая редкость и вот почему: прежде всего не всегда просто и требует особых усилий выделение самой австрийской, шире — южнонемецкой культурной и литературной специфики, далее — не все на Западе готовы (по причинам различным, в том числе и политическим) это делать; в итоге — суть австрийского начала в культуре нивелируется, размазывается в «вообще» немецком. Советские литературоведы видят эту специфику ясно и определенно.

Вызывает удовлетворение такое положение, при котором и усилия советских литературоведов, и вся направленность русской и советской культуры в общении с другими культурами понимаются вполне правильно и расцениваются адекватно, позитивно деятелями культуры других стран. Таким положительным примером служит обширная статья Иоганна Марте, опубликованная венским журналом «Паннония». Она озаглавлена «Австрийская литература в Советском Союзе. Очерк восприятия австрийских писателей». Статья шире заглавия, она затрагивает глубинные основания диалога двух культур. В статье — две основные линии. Одна касается восприятия австрийской литературы в СССР, другая посвящена специально работам советских литературоведов, сделавших немало для выяснения национального характера австрийской литературы, для принципиальной по-

становки этой проблемы. Автор статьи, в частности пишет:

«Осознанная постановка вопроса: существует ли австрийская литература и какова ее специфика? — приходится на 1950—1960 годы. Историк литературы Борис Сучков, тогдашний директор Института мировой литературы Академии наук СССР, был первым, кто в начале 60-х годов сделал этот вопрос предметом научного исследования. И тогда же он дал на него принципиальный утвердительный ответ. Уже никакого сомнения в этом вопросе не было для Д. Затонского в книге «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965). Тема была развита дальше в 1968 году Юрием Архиповым в журнале «Вопросы литературы» на примере развития австрийской литературы после 1945 года. Правда, эта статья в первую очередь служила тому, чтобы познакомить советскую публику с молодым и талантливым поколением австрийских литераторов».

Особое значение Иоганн Марте придает статье С. Рожновского «Прошлое и настоящее австрийской словесности» («Иностранная литература», 1981, № 9), подчеркивая в «не совсем академических раздумьях» автора следующие принципиальные положения:

«В своем подходе к материалу исследования он привлекает политические и экономические моменты, утверждая, что обычные филологические критерии игнорируют литературу как явление социальное и историческое... В поле его критического обстрела попадают литературные критики типа Марселя Райх-Раницкого, которого Рожновский обвиняет в создании шовинистической догмы о «единой немецкой литературе», ставшей «литературным вариантом доктрины Хальштейна». Тот же пангерманский дух господствовал в выпущенной в 1941 году «Истории немецкой литературы» Пауля Фехтера.

С. Рожновский решительно отклоняет три главных аргумента противников концепции своеобразия австрийской литературы. Во-первых, лингвоцентрическую концепцию в понимании национальной литературы, утверждающую идентичность языка и литературы, на основании которой ряд ученых объявляет вопрос о существовании австрийской литературы устаревшим. Она ошибочна, ибо игнорирует литературу как социальное и историческое явление. Во-вторых, Рожновский опровергает тезис об отсутствии самостоятельной австрийской литературы, основывающийся на том факте, что австрийские авторы публикуются, рецензируются и читаются прежде всего в Федеративной Республике. Он считает, что принятие этого тезиса означало бы, что литературоведение подвластно коммерческой точке зрения. В-третьих, советский автор считает, что «главным образом духовные узы определяют принадлежность писателя к национальной литературе, а не место его рождения или случайный адрес проживания».

Поэтому годы, проведенные в эмиграции и за рубежом, не могли изменить «австрийский дух» произведений Музиля, Йозефа Рота, Бахман, Шпербера, Канетти и других. Все они остались, по мысли автора, австрийскими писателями.

Иоганн Марте конкретно и осведомленно говорит о вкладе каждого из советских историков австрийской литературы в освещение ее национальной специфики, в разработку ее конкретных проблем.

«Некоторые советские литературные критики, — отмечает он, — например Н. С. Павлова, во время австрийско-советского симпозиума в Вене в декабре 1981 года говорили о большой типологической близости австрийской литературы к русской литературе: как для русской, так и для австрийской литературы характерна также склонность к постановке вопросов из области общественной этики — в отличие от немецкой литературы, тяготеющей к этике индивидуального. Анализ австрийской литературы с идеологических позиций, который еще только предстоит, возможно, внесет сюда ясность».

Вспоминается и другой советско-австрийский симпозиум, происходивший в Москве в 1978 году; в нем участвовали П. Палиевский, П. Топер, Н. Павлова, А. Карельский, Ю. Архипов и другие советские литературоведы; посчастливилось быть его участником и автору этих строк. С австрийской стороны на симпозиуме выступали Вальтер Вайсс и Карлхайнц Россбахер, профессора Зальцбургского университета. В деятельности обоих симпозиумов, московского и венского, принимал участие также и Иоганн Марте, о статье которого идет сейчас речь: участники симпозиумов могли по достоинству оценить его большую роль в установлении общественных и личных контактов между представителями культуры двух стран, могли почувствовать и немаловажные для такой деятельности личные качества человека, чуткого ко всем явлениям культуры, музыки, поэзии, проявляющего к ним глубокий интерес, наконец, человека, по-славянски душевного и открытого. Сама его статья, результат многолетнего делового и личного интереса к австрийско-советским культурным связям,— не отчет стороннего наблюдателя, но слова человека, живущего теми делами, о которых он пишет. Этим сотворческим волнением отмечены и другие разделы статьи — те, в которых Иоганн Марте пишет о судьбах австрийской литературы сначала в России, а затем в СССР; получается целый исторический очерк, при всей его конспективности, и не ошибусь, если скажу что чувство гордости вызывает в авторе статьи не только множество литературных шедевров, рожденных на почве Австрии, но и их — весьма часто — славная судьба в гостеприимной русской культуре.

Конечно же, Иоганн Марте вспоминает и о давнем прошлом: о запомнившемся современникам спектакле «Сафо» Ф. Грильпарцера в московском Малом театре (1892 год) и о замечательном блоковском переводе «Праматери», рассказывает и о более новом, об увлечении поэзией

Р. М. Рильке, об увлечении, не знающем спадов, о прекрасных переводчиках Рильке на русский язык — Б. Пастернаке, К. Богатыреве... Производит впечатление статистика изданий прозы А. Шницлера на русском языке, таковых было 163 и пьес — более двухсот, и это, пожалуй, даже слишком много.

Вообще, говоря о распространении австрийской литературы в Советском Союзе, нетрудно впасть в восторженный тон.

Сложно даже перечислить имена австрийских писателей, произведения которых изданы за последние годы в нашей стране, не только на русском, но и на других языках народов СССР. Назовем Томаса Бернгарда и Петера Хандке — двух писателей, приобретших европейскую известность; назовем Г. Вольфгрубера, П. Розая, Б. Фришмут... Разумеется, многочисленность переводов объясняется не внешними причинами, не простым желанием получить информацию — как там люди живут, как там писатели пишут,— переводы своим обилием отражают качественный уровень, который достигнут австрийской литературой в наши дни. Чем отличается австрийская литература от других национальных литератур Западной Европы, и прежде всего от литературы ФРГ, с которой ее сближает язык — отсутствие языкового барьера? Прежде всего, умением стоять на своем, австрийский писатель немыслим вне своей культурной традиции. Конечно же, австрийские писатели придерживаются различных взглядов и порою резко расходятся в своем понимании литературы и ее задач. Но для самых значительных австрийских писателей нашего времени характерно гуманистическое истолкование традиции, нравственная и интеллектуальная принципиальность, а притом и нежелание следовать западноевропейским художественным модам. Эти писатели и создают настоящие художественные ценности. Переведено на русский язык немало произведений новой австрийской литературы, но могу заверить читателей в том, что их еще ждет не одно подлинное открытие неизвестных ему произведений и неизвестных пока имен. В этом отношении творческая потенция австрийской литературы очень, очень велика. Ее сила — в не прерывавшихся, несмотря на всю историческую ломку, традициях гуманистической культуры.

Нельзя не пожалеть о том, что контакт между литературами русской и австрийской в прошлом, начиная с середины XIX века, не всегда был тесным. Ведь нельзя по-настоящему узнать культуру другой страны, нельзя проникнуть в глубины ее духа, не зная ее классики. Нельзя узнать Россию, не прочитав Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Точно так же нельзя понять Австрию, не усвоив Франца Грильпарцера, Адальберта Штифтера — классиков австрийского XIX века. А ведь именно классики задают настоящие задачи. Грильпарцер в значительной мере (но без некоторых основных драм) переведен на русский язык, Штифтер по-настоящему не переводился никогда, и его превосходные сборники рассказов и два весьма разных по строю и духу, трудных по стилю романа все еще дожидаются своих переводчиков. А между тем в этих романах скрыт австрийский, следовательно национально-специфический, ответ на те проблемы бытия и истории, которыми в России занимался Лев Толстой. Корни австрийского народного бытия — в этих еще недоступных широкому советскому читателю произведениях.

В конце XIX века, когда русские издательства развернули свою деятельность по изданию переводов, они первым делом принялись за близкое и более доступное, а близкими по времени были — реалист второй половины века Людвиг Анценгрубер, писавший об австрийском крестьянстве, явный эпигон реализма Петер Розеггер и представители модерна, из которых бóльшая доля досталась наиболее простым, наименее замысловатым. Читатель диктовал тогда свой вкус — своим умением справиться с предложенным ему чтением. Эта тенденция лишь отчасти сохранилась в советское время. Предпочтение, которое долгое время нашими издательствами отдавалось Стефану Цвейгу перед другими австрийскими писателями, не совсем оправданно. Лишь немногим более года тому назад в издательстве «Прогресс» впервые вышел однотомник крупнейшего австрийского прозаика XX века — Хаймито фон Додерера (издание подготовлено Ю. Архиповым и Д. Затонским); однако до сих пор не изданы два главных, монументальных романа этого писателя. Такие диспропорции ждут своего исправления. А сделано немало, и об этом свидетельствует написанная со знанием дела статья Иоганна Марте.

«Если есть сегодня страна,— пишет он,— в которой австрийская культурная традиция понимается как нечто прочное, обретшее с течением истории стройность и упорядоченность, то эта страна — Советский Союз».

А. МИХАЙЛОВ

Публицистика

Г. ШАХНАЗАРОВ

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ «ЯДЕРНАЯ ПОЛНОЧЬ»

Ядерная опасность — само словосочетание это звучит набатом. Нет темы более простой и в то же время более сложной. Казалось бы, должно быть ясно для всех, что если разразится новая мировая война с применением ракетно-ядерного оружия, то планета наша превратится в подобие вельзевулова котла, в котором сгорит род человеческий и некому будет даже собрать его пепел. Но ясно ли? Все ли отдают себе отчет в том, насколько многообразны и неоднозначны причины нависшей над миром угрозы? Одни из них, лежащие на поверхности, легко различимы, другие, гораздо более основательные, скрыты от внешнего наблюдения, тянутся корнями в экономику, политику, идеологию, в социальное и национальное самосознание, в человеческую психику. А там, в глубине общественного организма, корни эти переплетены естественно и прихотливо. Далеко не просто высветлить их лучом науки, отделить один от другого, выстроить в ряд по значению и выставить на всеобщее разумение. Тем более не просто, что истинное положение вещей запутывается всевозможными фальсификациями — преднамеренными и непреднамеренными, идущими от узости зрения и классового пристрастия, от своекорыстного толкования обстановки и неистребимого эгоизма.

Ядерная опасность — самая серьезная, не терпящая равнодушия проблема нашего времени. Проблема многоликая: военно-стратегическая, техническая, экономическая, экологическая, историческая, психологическая, но больше всего политическая и философская. Преимущественно под таким углом зрения рассматривает ее американский публицист Джонатан Шелл в недавно вышедшей своей книге «Судьба земли» [1]. Ее мы и возьмем за исходный материал для размышлений.

Почему именно ее? За четыре десятилетия, прошедшие с того рокового мгновения, когда атомный гриб накрыл Хиросиму, в мире опубликованы сотни и тысячи книг, посвященные этой теме,— художественных, публицистических, научных, научно-фантастических. Историки литературы имеют все основания говорить о возникновении и выделении в самостоятельную отрасль нового, «атомного» направления. Как у всякого другого вида литературного творчества, у него есть уже свои шедевры и поделки, откровения и банальщина, произведения, проникнутые высоким гуманизмом, и каннибальские бредни, заслуживающие сожжения. (Да, да, к сожалению, есть и книги, уничтожение которых явилось бы не преступлением, а благом для человечества.) Особенно быстро растет «атомная библиотека» в последние годы. На Западе буквально одно за другим выходят в свет пухлые исследования, в которых скрупулезно описывается разрушительная мощь ядерного оружия, подсчитываются его запасы, высказываются предположения о вероятных последствиях его применения, анализируется степень такой угрозы с учетом господствующих военно-политических доктрин. И если оставить в стороне их тональность, то по содержащейся в этих работах информации они заметно превосходят скромную, в некотором роде даже любительскую, книгу Шелла.

И все-таки выбор в ее пользу. Прежде всего потому, что она проникнута заботой о жизни рода человеческого, раздумьем о его будущем. Коротко говоря, перед нами проповедь и одновременно исповедь пацифиста атомной эры. Примерно так, видимо, мыслит и чувствует средний американец, а с известными оговорками и вообще житель развитой капиталистической страны. Понять образ мыслей этого «среднего» не менее, а может быть, даже более важно, чем побуждения тех, кто держит пальцы на кнопках ядерной войны.

Смерть смерти

Шелл начинает с описания размеров опасности. Если иметь в виду разрушительную или «убойную» силу ядерного оружия, то переход от обычной взрывчатки к внезапному высвобождению скрытой энергии вещества равнозначен революции в военном деле, связанной с изобретением пороха. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, эквивалентна

[1] Jonathan Schell. The Fate of the Earth. N. Y., 1982.

по своей взрывной силе 12,5 тыс. тонн тринитротолуола. Всего лишь несколько десятков водородных бомб мощностью 20 и более мегатонн обладают такой же разрушительной силой, как вся взрывчатка, использованная во второй мировой войне.

Если большинство обычных бомб вызывает последствия лишь одного вида — ударную волну, то у нового оружия есть ряд неизвестных ранее поражающих факторов: электромагнитный и тепловой импульс, радиоактивность. Все эти факторы, действуя вначале локально, то есть охватывая район, непосредственно примыкающий к месту взрыва, вызывают неисчислимые вторичные последствия, пагубные для общества и природной среды.

Причем здесь существует качественная разница, в зависимости от того, идет ли речь об отдельных ядерных взрывах или об одновременном использовании всех запасов накопленного оружия массового уничтожения. В первом случае экосфера еще способна залечить, зарубцевать нанесенные ей раны. Во втором же локальные нарушения перерастают в глобальные, которые на протяжении более или менее длительного срока приведут к уничтожению среды обитания человека — гибели растительности, общему понижению температуры земной поверхности, разрушению озонового слоя, окружающего землю в стратосфере, радиоактивному отравлению водоемов и заражению почв, к непредсказуемым катаклизмам, по сравнению с которыми нынешние землетрясения, наводнения и прочие стихийные бедствия покажутся детской забавой.

Здесь, на наш взгляд, напрашивается сравнение с человеком, попавшим в огонь. Если ожоги покрывают от трети до половины кожной поверхности, спасти его практически невозможно. Таким же исходом угрожает всеобщее ядерное побоище всему человечеству; даже в том случае, если после него сохранятся очаги жизни, более или менее обширные районы, непосредственно не затронутые военными действиями, те, кто останется в живых, будут обречены на постепенное вымирание.

Ссылаясь на мнение специалистов и дополняя их собственными рассуждениями, Шелл приходит к выводу, что новая мировая война с применением ядерного оружия означала бы конец человеческого рода. Читатель вправе сказать, что это не открытие, и не слишком велика заслуга признавать то, что в век широкого распространения научно-технической информации должно быть ясно каждому. Все так, но следует учитывать, что вопрос о вероятных последствиях всеобщего ядерного конфликта продолжает оставаться на Западе предметом острых дискуссий и получает далеко не однозначные толкования.

Какое это имеет значение — понять нетрудно. Ведь если мировая ядерная война грозит гибелью всем, то каждый, кто рискнул бы применить ядерное оружие, уподобился бы японскому камикадзе, идущему сознательно на смерть, чтобы уничтожить противника. Становится недостижимой, отпадает, просто снимается главная цель любых военных действий — достижение победы. В ходу у воинственных древних римлян была поговорка «vae victis!», что значит «горе побежденным!». Применительно к ядерному конфликту нельзя даже сказать: «горе и побежденным и победителям!», потому что не будет ни тех, ни других. А отсюда следует, что ядерного побоища нельзя допускать никоим образом. Не существует целей, достижение которых могло бы оправдать уничтожение человеческого рода. Есть высокие идеи, во имя которых люди способны жертвовать жизнью, но все дело как раз в том, что высота, благородство этих идей проистекают из стремления принести благо своим ближним, своему народу, всему человечеству, сделать жизнь лучше. Нет и не может быть такой идеи, такого блага, ради которого стоило бы развязать ядерную войну, пойти на коллективное самоубийство. Больше того, не только самоубийство, но и убийство, если иметь в виду грядущие поколения, судьба которых целиком и полностью зависит от нас.

Конечно, они еще не существуют во плоти, представляют собой некий фантом, «воспоминание о будущем», но американский автор совершенно прав, подчеркивая нашу ответственность перед потомками. К его суждениям можно добавить, что забота о продолжении рода, проистекая из биологической функции и осознанного нравственного долга, диктуется помимо прочего и насущным жизненным интересом Человек смертен, разум, этот уникальный дар природы, поставивший его выше всех других живых существ, способен реализовать себя лишь в приходящей друг другу на смену цепи поколений, которые передают из рук в руки торбу цивилизации. Поскольку каждое пополняет ее своим трудом и опытом, она представляет собой общее достояние, принадлежит в равной степени нам, нашим пращурам и нашим потомкам. Их еще нет, но мы уже взаимодействуем с ними, готовясь вручить им и плоды своих дел, и нерешенные нами задачи, и попечение о нашей памяти. А ведь это — единственное средство победить время, продлить свое существование за короткие пределы человеческой жизни.

Какова цена гения Шекспира без тех, кто читает его сонеты и смотрит на подмостках сцены его трагедии? Чего стоят «Давид» Микеланджело и «Лунная соната» Бетховена без сегодняшнего зрителя и слушателя? В чем смысл совершенного Достоевским вскрытия человеческой души, если некому будет извлечь из этого какие-то нравственные уроки?

Великие всегда занимают наше воображение, они как точки опоры, на которых строится сознание человека. Мы нередко забываем менее великих, не говоря уж о «рядовых разума», которые тем не менее положили свои кирпичики в башню цивилизации. Но ведь само

забвение — тоже форма жизни. Пока живет человечество, всегда есть возможность извлечь из архива забытые имена и погребенные под слоем вековой пыли идеи — хотя бы для того, чтобы зафиксировать сам факт их существования. Не станет человечества, не станет забвения.

Вернемся к Шеллу. Отдельно взятый человек, пишет он, получил бы неправильное представление о ядерной опасности, пытаясь осмыслить ее главным образом с точки зрения угрозы для себя лично или для близких ему людей. Это — угроза жизни прежде всего «не на уровне индивидуумов, которые и без того живут под властью смерти, а на уровне всего того, что является общим для них». Смерть прекращает жизнь, отправляет в небытие каждого родившегося, ядерное же уничтожение одним махом превращает в ничто всех, кладет конец самой идее рождения.

Рассуждения об индивидуальном и всеобщем подводят Шелла к следующей мысли. На свете, видимо, есть люди, которые могут думать так: все мы смертны и, в конце концов, какая разница, покончим ли мы свои счеты с жизнью в разное время или за компанию? Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Стоит ли особенно беспокоиться, живи пока живется, а там видно будет.

Да, если провести всемирный социологический опрос и гарантировать при этом полную тайну высказываний, наверняка обнаружится энное число циников, безразличных не только к судьбе рода, но и своих близких. Больше того, суперциники выскажут, пожалуй, удовлетворение тем, что им придется покидать сей бренный мир не в одиночку. Существует и такой сорт homo sapiens. Однако это тот случай, когда и без опроса можно с уверенностью утверждать, что речь идет о ничтожном проценте миллиардного населения земли.

Гораздо шире распространено и потому более опасно другое умонастроение, которое автор описывает так: думая о ядерной угрозе, человек чувствует себя больным, а прогоняя эти мысли прочь, как, очевидно, люди должны поступать почти всегда, чтобы быть в состоянии жить дальше, он испытывает облегчение.Но подобное чувство благополучия имеет в своей основе отрицание важнейшей реальности нашего времени и поэтому само по себе является своего рода болезнью.

Общество, которое закрывает глаза на непосредственную угрозу своему физическому существованию и оказывается неспособным предпринять какие-то меры, чтобы спасти себя, не может быть названо психически здоровым. Думаем ли мы о ядерном оружии или избегаем думать о нем, наличие этого оружия в нашей среде лишает нас душевного равновесия и, по-видимому, мало что можно сделать в интеллектуальном или эмоциональном плане, чтобы изменить такое положение.

Независимо от того, принимать ли описанное умонастроение за обыкновенную защитную реакцию, без которой невозможно жить, или за трусливое нежелание взглянуть в глаза опасности, или, наконец, за беспечный оптимизм, свойственный человеческой натуре, оно является фактом. Что же происходит? Движется ли человечество навстречу своей гибели из-за того, что оно оказалось слишком самонадеянным, неспособным соразмерить свои силы с силами природы, из-за того, что ему отказывает инстинкт самосохранения, либо просто потому, что настал час расплаты за грехи его?

Есть, кстати, и такая точка зрения. Шелл пишет, что по предположению некоторых ортодоксальных христиан ядерная война — не что иное, как библейский армагеддон, устроить который грозил бог. И возражает: нет, истребление с помощью атомных бомб не стало бы днем страшного суда, когда бог уничтожит мир, поднимет из могил мертвых и свершит правосудие над каждым, кто когда-либо жил. Это был бы совершенно бессмысленный, ничем не оправданный акт самоуничтожения человечества. Воображать, будто бог направляет нашу руку, склоняя к такому финалу,— означало бы лишь попытку уклониться от ответственности.

В поисках рационалистического объяснения ситуации, в которой оказалось человечество, американский автор обращается к теории Зигмунда Фрейда. В последнем разделе своей работы «Неудовлетворенность культурой», опубликованной в 1930 году, создатель психоанализа писал: «Мне кажется, перед людьми стоит роковой вопрос: удастся ли и в какой мере благодаря культурному развитию преодолеть неупорядоченность уклада их совместного существования, порождаемую свойственным человеку инстинктом агрессии и самоуничтожения? Возможно, именно наше время заслуживает в этом отношении особого внимания. Люди установили контроль над силами природы в такой степени, что с их помощью им не представило бы никакого труда истребить друг друга до последнего человека. Они сознают это, и отсюда в значительной мере проистекают их нынешние волнения, ощущение несчастья и состояние тревоги. Теперь остается надеяться, что другая из двух «небесных сил», вечный Эрос, постарается утвердиться в борьбе со своим, в равной степени бессмертным противником (смертью). Но кто может предвидеть, с каким успехом и с каким результатом?»

По мнению Шелла, Фрейд понимал, что чаша весов между животным, инстинктивным, низким началом в человеке, которое всегда рассматривалось религией и философией как разрушительное, и высоким, рациональным склонилась в сторону последнего. Наибольшая опасность человеку и человечеству исходит сейчас не от буйного бесконтрольного инстинкта, а от экспансии разума, который этот инстинкт подавляет.

Животное начало было и продолжает оставаться источником многих ужасов, но в конечном счете оно не способно пресечь человеческий род, напротив, в нем-то и коренится спасительный инстинкт самосохранения. Зато всемогущий разум, презревший примитивные инстинкты и внушивший человеку сознание, что он является полным хозяином своего бытия и природы, довел его до нынешнего угрожающего перекрестка судьбы.

Нетрудно заметить, что Шелл подгоняет мысль Фрейда под собственную концепцию. Ведь Фрейд отнюдь не сводил дело к противопоставлению инстинктов разуму. Напротив, в самих инстинктах и страстях он усматривал заданные природой противоречия: одни из них, как любовь, становятся источником жизни, другие, как агрессивность, озлобленность, ведут к гибели. Фрейд не винит разум за то, что он вооружил людей реальным средством коллективного самоубийства. Он лишь задается вопросом: успеет ли «культурное развитие» (то есть тот же разум) возвыситься настолько, чтобы ликвидировать «неупорядоченность уклада совместного существования» (то есть враждебность, антагонизм), порождаемые, по его мнению, страстями? Можно сколько угодно рассуждать, прав или неправ З. Фрейд (в конце концов, борьба Эроса со смертью — больше художественный образ, чем научная констатация), но привлекать его в союзники для обвинения разума явно нет оснований.

Почему же Шеллу понадобилось заручиться подобным авторитетом? Потому что сам он исповедует убеждение, что все зло коренится именно в чрезмерных притязаниях человеческого интеллекта. По его словам, все происходит в согласии с библейской легендой. Когда Адам и Ева вкусили плод от древа познания, бог наказал их, лишив привилегии на бессмертие и обрекая на смерть их самих и их потомков. Сейчас человек вкусил еще больше от плодов древа познания и поставил себя лицом к лицу со второй смертью — гибелью всего человечества.

Грех познанья?

Поскольку речь идет о принципиальном вопросе — кто несет ответственность за ядерную опасность? — я позволю себе привести еще две небольшие цитаты из книги Шелла. «Основная опасность,— пишет он,— кроется не в каких-то социальных или политических обстоятельствах нашего времени, а в достижении всем человечеством — после тысячелетия научного прогресса — определенного уровня знаний об окружающем мире». И в другом месте: «Значение и характер ядерной проблемы определяются тем, что она возникла скорее из научных знаний, чем из социальных условий».

Из утверждения, что главным источником ядерной опасности являются знания, вытекает ряд логических выводов, и Шелл их делает. Коль скоро такая опасность однажды возникла, говорит он, от нее уже не избавиться никогда. Не существует способа вытравить из сознания людей имеющиеся у них в головах сведения, вернуть физику в доэнштейновскую, ньютоновскую эру. Научное открытие подобно любому другому: когда Колумб открыл Америку и оповестил об этом мир, ее уже нельзя было снова «закрыть».

От знания, как и от самого себя, не убежишь и на космических кораблях. Куда бы люди ни отправлялись, они всегда будут нести с собой представление о том, как извлечь энергию из массы и сотворить атомную бомбу.

Но если нельзя найти спасения в прошлом и за пределами земли, то, может быть, оно достижимо где-то в будущем благодаря тому же научно-техническому прогрессу? Увы, заявляет Шелл, на это тоже надеяться нечего. Едва ли будут изобретены противоракета или магнитная ловушка, которая обезвредит ядерное оружие. Наоборот, длящаяся уже несколько веков научная революция неизменно вела к наращиванию разрушительной силы оружия, ибо знания вообще ведут к увеличению, а не уменьшению нашей мощи.

Здесь Шелл допускает неточность. Ведь «мощь знания» может быть приложена к разным целям. Вполне можно представить, что техническая мысль создаст средства защиты более мощные, чем нынешние средства ядерного нападения. Однако это был бы лишь преходящий эпизод в извечной борьбе меча и щита, пушки и брони. Причем речь даже не обязательно идет о соревновании наступательной и оборонительной мысли в рамках гонки вооружений.

Само развитие науки открывает такие сферы взаимодействия природных сил, дает нам в руки такие методы контроля над ними, которые при желании всегда могут быть обращены во вред человеку. Так было начиная с приручения огня, ставшего для человечества великим благом и в то же время принесшего ему неисчислимые бедствия. Так в особенности стало теперь, когда мы вступили в полосу овладения тайнами микромира, проникновения в живую клетку, конструирования искусственного мозга.

В нашей печати много писалось об опасных потенциальных ресурсах такого важнейшего направления в биологии, как генетика. Повсюду, где злой умысел сопрягается с новейшими открытиями науки, создается реальная возможность умножать убойную силу оружия. Химические, биологические, электронные, лазерные — это только несколько названий средств массового уничтожения, которые могут уже в последние десятилетия XX века начать соперничать с ядерным оружием, а весьма возможно — и намного его превзойти

Но вот что надо подчеркнуть: если можно с оговорками согласиться с выводами, которые Шелл делает из своей главной посылки, то никак нельзя согласиться с нею самой.

Чтобы обнажить внутреннюю несостоятельность мысли американского автора, доведем ее до логического завершения. Если допустить, что во всем повинно человеческое знание, то ответственность за жертвы бесконечных войн XVII—XIX веков следовало бы возложить не на честолюбивых и корыстолюбивых монархов тогдашней Европы, а на Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Ломоносова, Ньютона и других корифеев, чьими трудами заложены теоретические основы физики, химии, астрономии, географии и прочих естественных наук. Военное дело всегда зависело от развития фундаментальных направлений науки, без этого невозможны были бы успехи кораблестроения и фортификации, металлургии и пиротехники, других прикладных дисциплин. Соответственно за страдания и потери, понесенные европейскими народами в первой и второй мировых войнах, пришлось бы «отвечать» Фарадею и Менделееву, Гельмгольцу и Максвеллу, Дизелю и братьям Райт, Попову, Эдисону, другим светочам науки и изобретательства. А что касается ядерной войны, тут гадать и вовсе не приходится: на скамье подсудимых окажутся пионеры атомной эры. Если будет кому судить.

Разумеется, никто не собирается отрицать причастность к бедам человечества тех ученых, которые сознательно ставят себя, свое творчество на службу неправедному делу. Это одна из вечных тем, приобретших в наше время особую злободневность. Но в данном случае речь идет не о моральной ответственности отдельных ученых, а о месте науки в истории духовной и материальной культуры. И с этой точки зрения привлекать знание к ответу за неразумное, преступное его использование столь же несправедливо, сколь и опасно. При таком подходе ускользает от возмездия истинный виновник.

Впрочем, разве нет доли правды в утверждении, что не будь знания, не было бы и угрозы уничтожения? Не открой Менделеев таблицы элементов, не предложи Томсон модели атома, не обнаружь Беккерель радиоактивность, не выдели Кюри радия, не смоделируй Резерфорд атомного ядра, не приди Эйнштейну в голову формула $E=mc^2$, не разработай Бор теорию строения атома, не открой Чедвик нейтронов, не используй их Ферми для бомбардировки ядра — не было бы и атомной бомбы. Вот ведь как все просто.

Но простота, как известно, хуже воровства. Стоит протянуть такую мысленную цепочку, как становится нелепой попытка возложить на науку ответственность за преступные мысли и деяния. Во всем, что создавал человек с первых шагов своего превращения в разумное существо, была своя «уничтожающая сторона». Открытие возможности использовать камень в качестве пращи, сослужив великую службу в охоте на дикого зверя, одновременно обернулось приобретением первого оружия против своего ближнего. То же можно сказать о ноже, стреле и даже о колесе: совершив буквально переворот в развитии производительных сил, это замечательное изобретение с одинаковым успехом стало применяться в повозках и в боевых колесницах, то есть было на руку не только рачительному Гермесу, но и воинственному Марсу. И так, что ни возьми, едва ли не всякое движение мысли в самых различных и, казалось бы, совсем далеких от войны отсеках знания содержало в себе двойной заряд, могло быть использовано и во благо, и во зло. А чаще всего — и так и этак.

Нет, нечего валить на знания грех, целиком связанный с несовершенством социального устройства, разделением людей на господ и рабов, угнетателей и угнетаемых. Возможностью уничтожить себя обладает каждое живое существо — те же киты, выбрасывающиеся на берег, когда океанская вода уже не в состоянии удовлетворить их потребности, или исполинские черепахи, забивающие себя насмерть на тихоокеанских атоллах, поскольку после ядерных испытаний им все равно грозит медленная смерть. Так что весь «грех» науки состоит в том, что она сделала возможным не индивидуальное, а всеобщее убийство. Но и эта «заслуга» относительна. Разве без всякой науки не творилось нечто подобное, пусть в менее широких масштабах? Много ли научных знаний понадобилось младотуркам, чтобы вырезать в 1915 году 3 миллиона армян? Так ли уж шибко использовали достижения науки гитлеровцы, когда травили пленников концентрационных лагерей газом — велика ли тут разница по сравнению с потравой дымом, применявшейся еще в раннем средневековье?

Можно подойти к делу и с другой стороны. Стоит провести небольшой мысленный эксперимент, представив себе, что с самого начала развитие общества пошло более разумным путем — не образовалась частная собственность, не произошло раскола на классы и т. д. Кстати, философы и историки не раз спорили: является ли развитие через антагонистические противоречия обязательной нормой или в других условиях (если, конечно, принять за аксиому существование внеземных цивилизаций) прогресс мог осуществляться в неантагонистических формах. Вопрос остался открытым, да иначе и быть не могло, поскольку речь идет о сфере не только непознанного, но и непознаваемого, по крайней мере сейчас.

Однако сделать условное допущение никому не возбраняется. Итак, как бы воспринимались и прилагались к делу научные открытия в обществе, изначально свободном от классовых антагонизмов и национальной вражды? Ответ лежит на поверхности: никому не пришло бы в голову использовать их против человека, не было бы на то причин. Люди ведь убивают друг друга не потому, что у них под рукой внезапно оказался клинок или пистолет. Наоборот, эти оружия убийства изготавливаются

специально, поскольку возникают причины для убиения себе подобных.

Тут нам придется привлечь еще один аргумент. Дело в том, что Шелл, усмотрев первоисточник ядерной опасности в прогрессе знания, ссылается на авторитет самой науки в лице такого видного ее представителя, как английский философ Бертран Рассел. Выступая в палате лордов британского парламента 28 ноября 1945 года, он сказал об атомной бомбардировке Хиросимы: «Мы должны взглянуть на это не просто с точки зрения следующих нескольких лет, а с точки зрения будущего человечества. Вопрос стоит так: может ли общество, зиждущееся на науке, существовать и дальше или это общество неизбежно уничтожит себя? Это простой вопрос, но он имеет жизненно важное значение. Я думаю, невозможно преувеличить серьезность того зла, которое может повлечь за собой использование атомной энергии».

При всем уважении к одному из незаурядных мыслителей нашего столетия приходится признать, что Рассел допустил неточность в самой постановке своего вопроса, не оговорив, о каком именно обществе идет речь. Если под этим подразумевалось человечество, едва вышедшее из пламени второй мировой войны, обремененное множеством острейших противоречий, в которых уже невооруженным глазом можно было различить семена будущих конфликтов, то для такого состояния сравнение философа вполне уместно. Но ведь Рассел выражал тревогу за будущее, а оно есть итог непрерывных изменений. Мы не знаем, как реагировали на его выступление коллеги по палате лордов, а вот наш ответ на его вопрос примерно таков: «Да, наука, пожалуй, действительно «поторопилась», создав ядерное оружие в момент, когда оно еще может быть использовано против человечества. Но общество, опирающееся на науку, безусловно может существовать. Больше того, как раз для того, чтобы не допустить самоуничтожения, человечество должно прислушаться к голосу передовой науки и утвердить новые отношения между людьми и народами, основанные на принципах социализма».

Хорошо, скажут нам, пусть наука чиста, как голубка, снимем с нее все обвинения и привлечем к ответственности социальные условия. Но разве эта операция изменит тот факт, что опасность теперь всегда с нами, что на нас как вечное проклятье, как тяжкое бремя познанья висит умение изготовить атомную бомбу. Не уподобилось ли человечество тому незадачливому герою политических детективов, который случайно стал обладателем страшной тайны и обречен поэтому на смерть?

Что же думает на сей счет Шелл? По его мнению, этот дамоклов меч представляет, как ни странно, единственное средство спасти человечество от самого себя. Использование знания в качестве средства устрашения — вот, оказывается, каким будет «стратегический принцип жизни» в мире, где решена проблема ядерной опасности. Возникнув из знания, в нем она и должна покоиться. Обрекая людей отныне и навсегда существовать с сознанием неустранимости риска для их жизни, это знание в то же время даст им «...полное эмоциональное, интеллектуальное, духовное и даже подсознательное понимание того, что означает всеобщее уничтожение, и в особенности — что означают для живущих людей еще не родившиеся поколения. Поскольку всеобщее уничтожение гибельно для самого мироздания, оно никогда не может быть для нас более чем «знанием», мы никогда не сможем «испытать» его. Именно такое знание — ужас перед актом убийства грядущих поколений... должно стать средством устрашения».

Таким образом, человечеству придется жить, постоянно испытывая чувство страха, и никуда от этого не денешься. Больше того, оказывается, в таком состоянии есть даже известное преимущество, потому что оно вынуждает нас осознавать свой долг перед потомками. В этом преобразовании зла в благо можно не только увидеть свойственную обыденному сознанию способность приспосабливаться к ситуации (грубо говоря, делать хорошую мину при плохой игре), но и расслышать отзвук христианского смирения перед промыслом божьим (или промыслом науки). С религиозной точки зрения постоянное страдание, ниспосланное человеку за грехи его, должно восприниматься не с бунтом, а с терпением и даже радостью, ибо это есть не что иное, как искупление, очищение от скверны. До некоторой степени сходная конструкция получается и у Шелла.

Скажем прямо: перспектива мрачная. Жить с вечным страхом и теснением в груди. Принимать каждый прожитый нами день чуть ли не как дар небес. Конечно, в конце концов ко всему можно привыкнуть. Разве не жили на коленях рабы, передавая от отца к сыну все ту же убогую долю? Разве не жили под ярмом у захватчиков целые народы, притом не год и не десятилетие, а века? Жили, выжили и даже ухитрились сохранить культуру.

Словом, нам внушают философию покорности, приспособления к препятствиям, одолеть которые якобы выше сил человеческих. Нет, уж, как говорится, увольте. Человечество не обречено жить в страхе, оно в состоянии прогнать застывший над планетой призрак атомного гриба. Мир более не будет ядерно-опасным, когда перестанет быть миром социального и национального гнета, грабежа отсталых народов, колониальной и неоколониальной зависимости, империализма, терроризма, преступности, неэквивалентного обмена, неустойчивой финансовой системы, торговых рогаток, нищеты, безработицы, бесправия, голода, бюрократизма, коррупции и т. п. Разумеется, эпитет «ядерный» останется в языке людей, но через несколько поколений нормальной жизни

из их памяти выветрится тот зловещий смысл, который связывается с этим словом сейчас.

Одна из исторических целей социализма и коммунизма состоит как раз в том, чтобы исключить возможность использования добытых наукой знаний против человека. Бывает так, что наука ненароком способна выпустить из бутылки джинна, которого с большим трудом удается затолкнуть обратно. Но возможность катастрофы в результате подобной трагической случайности вероятна в такой же степени, в какой вероятен любой природный катаклизм — скажем, столкновение Земли с кометой или угасание нашего Солнца. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь, с этой мыслью мы вынуждены мириться, она не мешает нам чувствовать себя хозяевами на своей прекрасной планете.

Смерть войны?

После вопроса об ответственности науки нам предстоит поразмыслить над другим, не менее крупным и интересным вопросом — о судьбе войны. В последние годы среди теоретиков самых различных направлений получил хождение тезис: ядерное оружие убило войну. Шелл относится к числу горячих сторонников этой точки зрения и приводит в своей книге немало аргументов в ее пользу.

Заметим прежде всего, что в его основе лежит как будто бы серьезный довод. Представьте полководца, который отдает приказ о наступлении, зная заранее, что в результате погибнет как противник, так и все его собственное войско. С полным основанием мы сочтем его преступником или безумцем. А ведь именно такую ситуацию создает наличие у каждой из основных военно-политических группировок ядерных арсеналов, способных уничтожить противника, а заодно весь остальной мир.

Рассуждения кажутся безукоризненными. И все-таки в них есть изъян.

Как можно говорить о смерти войны, когда она остается реальностью нынешней эпохи! Только после 1945 года в мире вспыхнули десятки войн. Не отдельных случайных стычек, а именно военных действий между государствами с применением практически всех видов обычного оружия, с убитыми, ранеными, пленными, перемириями, переговорами, аннексиями и контрибуциями — словом, всеми атрибутами этого понятия. Следовательно, как минимум, надо сказать, что «обычные войны» далеко не умерли. Это если брать за критерий характер применяемого оружия. Если же исходить из политической типологии, то вооруженные конфликты последних десятилетий отражают почти весь спектр войн: империалистические, захватнические, карательные, национально-освободительные, территориальные, престижные и т. д.

Весь спектр, кроме одного вида — непосредственного столкновения ядерных держав. Ссылаясь на почти 40-летний «шаткий мир» между ними, который поддерживался после создания атомных бомб, Шелл утверждает, что «война ушла в небытие», изгнана из отношений ядерных держав, отсутствует в ассортименте имеющихся у них средств защиты своих интересов. Выбор теперь сводится к одной из двух альтернатив: либо мир, либо всеобщее истребление. А последнее «так же далеко от войны, как мир».

Но если считать, что 40-летний мир сам по себе дает основание объявить войну изъятой из политического оборота, то с равным успехом можно было бы сделать подобный вывод в прошлом веке, когда после 1870 года в Европе за некоторыми исключениями царил относительно стабильный, почти полувековой мир. Между тем война тогда не умерла и не устарела, напротив, она находилась в стадии накопления сил, методически пожирала мир, ибо едва ли не все крупные европейские державы лихорадочно вооружались, готовясь к будущей кровавой схватке.

Впрочем, не ставит ли под сомнение оптимистическую софистику относительно «смерти войны» уже и такой аргумент: если это действительно так, зачем же копья ломать и писать книги о ядерной опасности?

Принимая желаемое за сущее, приверженцы концепции «смерти войны» в один голос утверждают, будто ныне устарела и известная формула Клаузевица: «Война есть продолжение политики иными средствами». К сожалению, это утверждение также является плодом теоретического недоразумения. В самом деле, следует прежде всего уточнить постановку вопроса: не есть или не должна быть? Войны объявляют и ведут люди, в последнем счете все зависит от их отношения к проблеме войны и мира, от того, как они мыслят, оценивают ситуацию, принимают решения. Если политические деятели и военачальники вопреки всем предостережениям считают, что у них есть шанс выиграть ядерное сражение, то тут не помогут никакие заверения теоретиков, что формула Клаузевица пережила свой век.

Иначе говоря, чтобы действительно похоронить ядерную войну, не дав ей родиться, нужно поставить ее вне закона, объявить безумной и преступной, исключить всякую мысль о возможности достичь в ней победы. Причем такое отношение к ядерной опасности должно не только стать осознанным убеждением всех и каждого, но быть возведено в принцип международной политики всех без исключения государств мира.

Именно такова, как известно, позиция Советского Союза, на котором, как на одной из двух крупнейших ядерных держав, лежит особая ответственность за предотвращение всеобщего побоища. Во всех официальных заявлениях советского руководства, в нашей печати уже многие годы неизменно подчеркивается, что мировая термоядерная война означала бы гибель всего человечества. Исходя из этого, СССР взял на себя до-

бровольное обязательство никогда не применять первым ядерное оружие. Вынужденные создать достаточный ракетно-ядерный потенциал для защиты безопасности Родины и союзных с нею социалистических государств, наша партия и народ всегда рассматривали его как оружие предостережения и возмездия. На каждом этапе гонки вооружений СССР делал все от него зависящее, чтобы не только остановить наращивание ядерных арсеналов, но и начать на взаимной основе их уничтожение, вплоть до полной ликвидации. К этому наша страна готова и сегодня.

Все, однако, упирается в позицию США. Признать, что в ядерной войне не будет победителей,— значит для реакционных кругов американского империализма лишиться возможности использовать атомное оружие в качестве средства политического шантажа, а именно в этом видели и видят его ценность в Вашингтоне — от президента Трумэна до президента Рейгана.

Приведу выдержку из интервью, данного Джорджем Бушем, бывшим руководителем секретной службы ЦРУ, а ныне вице-президентом США, газете «Лос-Анджелес таймс» в январе 1980 года.

«Вопрос Дж. Бушу. Не дойдет ли дело в области стратегических вооружений до такой точки, когда мы и русские сможем уничтожить друг друга столько раз, что станет безразличным, больше у нас вооружений, чем у противника, на 10%, либо на 20%?

Буш. Да, если считать, что в случае обмена ядерными ударами не может быть победителя. Я так не думаю.

Вопрос. Как же стать победителями в случае обмена ядерными ударами?

Буш. Если вы обладаете способной выжить командной системой, способным выжить промышленным потенциалом, защитой для определенного процента граждан, а также способностью нанести противнику больший ущерб, чем он вам. В этом смысле может быть и победитель...»

Буш отнюдь не составляет исключения. Среди американских «ястребов», особенно в верхушке военно-промышленного комплекса и военного командования, немало таких, кто высказывается на этот счет и похлеще. Конечно, и в правящем американском слое есть люди, стоящие на позициях здравого смысла, отдающие себе отчет в абсолютной недопустимости ядерной войны. Западные политологи ведут подсчет: кого больше, «ястребов» или «голубей»? Но если бы даже большинство оказалось на стороне последних, то это еще ровным счетом ничего бы не значило. Речь идет о том случае, когда не просто арифметическое большинство, а весь слой, имеющий отношение к принятию политических решений, должен проникнуться пониманием фатальности ядерного побоища. Тем более что мы имеем дело не с какими-то отдельными маньяками, а с политическим течением, стоящим у кормила власти. И есть очевидный критерий, свидетельствующий, что перевес пока не в пользу трезвомыслящих: США упорно отказываются взять на себя аналогичное советскому обязательство не применять первыми ядерное оружие, Вашингтон постоянно ставит рогатки достижению соглашений на ведущихся сейчас переговорах по ограничению гонки вооружений.

Вот почему далеко не малозначно, когда Шелл обращается к своим соотечественникам с призывом понять, что в ядерной войне не уцелеет никто. Чем больше эта мысль будет проникать в сознание рядовых американцев, тем больше шансов на то, что она в конечном счете найдет воплощение в государственной политике этой страны.

Для предотвращения ядерного апокалипсиса мало, однако, признавать, что он означал бы гибель всего человечества. Не менее принципиальное значение имеет осознание того факта, что ядерная война, раз начавшись, неизбежно приняла бы тотальный характер.

Американские стратеги, вынужденные считаться с растущей обеспокоенностью общественного мнения, нашли своего рода лазейку в той, можно сказать, непробиваемой броне, какую представляет собой мысль о гибели цивилизации. Допустим, говорят некоторые из них, в тотальном ядерном конфликте не будет победителей и сгорят все без исключения. Но кто может утверждать, что применение ядерного оружия обязательно должно вылиться в тотальный конфликт? Почему нельзя предположить возможность использования тактического ядерного оружия в рамках обычных военных действий? Или же обмена атомными ударами без последующего их перерастания во всеобщее побоище?

Примерно так рассуждали и рассуждают сторонники концепции так называемой ограниченной ядерной войны, первые версии которой стали входить в моду еще в конце 50-х годов — тогда в американских правящих кругах искали альтернативу стратегии массированного возмездия, отцом которой называют бывшего государственного секретаря США Джона Фостера Даллеса. По сравнению с прямолинейными высказываниями Буша о возможности победы во всеобщем ядерном конфликте их аргументы выглядят чуть ли не «голубиными». По существу же, это еще более опасный «ястребизм», потому что он хитрее, коварней, потому что его сложнее опровергнуть.

В самом деле, речь идет о ситуации, незнакомой человечеству по прежнему опыту и вдобавок не поддающейся точному предвидению. Когда дело касается вероятных результатов всеобщего ядерного конфликта, свое веское слово говорит математика. Основываясь на результатах взрывов в Хиросиме и Нагасаки, на подсчете разрушительной силы накопленного ядерного оружия, специалисты способны уверенно прогнозировать последствия более или менее одновременного применения всех ядерных средств. Что касается версии «ограни-

ченной ядерной войны», то здесь мы вступаем уже в сферу догадок. Почему, в самом деле, нельзя предположить, что одна сторона в порядке предупреждения нанесет единичный атомный удар по другой, а та ограничится таким же единичным ответным ударом и на этом все кончится?

Чтобы придать вес своим гипотезам, теоретики «ограниченной ядерной войны» приводят конкретные примеры. Предположим, Советский Союз захватил Западный Берлин... Допустим, СССР вторгся на Ближний Восток, чтобы взять под свой контроль нефтепромыслы... Представим, Москва двинула свои танки, чтобы распространить власть Советов на Западную Европу... Соединенным Штатам во всех этих случаях не обязательно обрушивать на СССР весь запас своих ядерных средств, достаточно ударить ракетой «Першинг-2» по военному аэродрому в Москве, чтобы нагнать страху на «агрессора» и заставить его отступить. Вдобавок к тому, что будет достигнута основная цель — защищены интересы США и их союзников, это им никак не отзовется: не станет же советское руководство наносить ответный ядерный удар, зная, что его постигнет сокрушительное возмездие.

Цель подобного рода аргументов, как видим, двоякая. С одной стороны, заверить западноевропейцев, что ограниченное или «выборочное» применение ядерного оружия ничем им не угрожает. А с другой — исподволь внушить, будто угроза нападения исходит именно от стран социализма. Шеллу, как вполне правоверному американскому патриоту, не приходит в голову оспаривать подобные домыслы. Он тоже исходит из того, что Советский Союз — всегда нападающая сторона, а Соединенные Штаты — обороняющаяся и к тому же защищающая «рубежи свободы». Здесь, как говорится, можно только руками развести и пожалеть, что у нашего автора не хватило объективности и мужества выйти за пределы трафаретов официальной американской пропаганды.

Зато в отличие от многих своих коллег-журналистов он убедительно показывает несостоятельность концепции «ограниченной ядерной войны», независимо от того, какая сторона начала бы ее. Приводя несколько сценариев того, как может развернуться обмен ядерными ударами, Шелл замечает, что теория стратегии обретает в них свою собственную фантастическую жизнь, в которой ядерное оружие должно сводить свои счеты безотносительно к целям, преследуемым людьми. «Вообще те, кто живет в теоретически изощренном, но зачастую лишенном человеческих критериев мире ядерной стратегии, имеют склонность упускать из виду, что развязывание ядерной войны само по себе знаменует крах всех сдерживающих начал, подвластных разуму и чувству гуманности. Массовое убийство людей в ядерном побоище смело бы все нормы, диктуемые совестью и даже эгоистическими расчетами, которые в обычных условиях заставляют государства действовать в определенных рамках. Все эти сдерживающие начала мало помогут защите кого-либо. В невообразимой интеллектуальной и духовной атмосфере, которая воцарится в мире, достигшем такой точки, едва ли что-нибудь спасет его от тотального уничтожения».

Никто, конечно, не может ручаться, продолжает Шелл, что если один ядерный боезаряд будет пущен в ход, то за ним неизбежно последуют и все остальные. Случиться может всякое. Но вот что можно сказать наверняка: после того, как будет взорван один боеснаряд, мир вступит, по выражению бывшего министра обороны США Роберта Макнамарры, в «ситуацию колоссальной неизвестности». А за этим скрывается высокая, если не стопроцентная вероятность того, что «ограниченная ядерная война» стала бы всего лишь запалом к войне тотальной.

Впрочем, если какие-то различия между двумя основными вариантами американской стратегии и давали в прошлом повод для дискуссий между «ястребами» и «полуястребами», то это занятие потеряло всякий смысл с приходом в Белый Дом администрации Рейгана. При ней, как пишет западногерманский публицист Битторф в журнале «Шпигель», сторонники ведения войны одержали верх над теми, кто хотел ее избежать. Пентагон Уайнбергера подстегнул гонку вооружений с целью обеспечить для Америки возможность развязать, а также выиграть войну любого рода: обычную, ограниченную ядерную, ограниченную и затяжную до 6 месяцев, неограниченную, вплоть до мировой войны.

Автор цитирует оригинальный текст из пентагоновских директив на 1984—1988 гг. по программе вооружений, одобренной Рейганом прошлым летом. Черным по белому там записано, что если разразится стратегическая ядерная война с Советским Союзом, то Соединенные Штаты «должны одержать верх и быть в состоянии вынудить СССР как можно скорее стремиться к завершению враждебных действий на благоприятных для США условиях». Американский специалист по проблемам контроля над вооружениями Артур Кокс назвал директивы, предусматривающие «удовлетворительный» и «благоприятный» исход ядерной войны, «фантазиями, основанными на чистом безумии». Почти немыслимо, говорит он, чтобы подобный образ мышления мог стать основой внутренних дебатов и планирования в Вашингтоне. «И тем не менее это произошло» [1].

Взаимное устрашение

Таким образом, война не умерла, она только притаилась, прикинулась мертвой.

Ну а как же с теми, кто пытается успокоить мировую общественность ссыл-

[1] « Der Spiegel », 5 марта 1983 г.

ками на инстинкт самосохранения? Стоит ли тревожиться, говорят они, если уже многие годы, несмотря на постоянное наращивание запасов ядерного оружия и расширение клуба владеющих им держав, удавалось избегать катастрофы. Были, конечно, драматические моменты, когда, казалось, оставался шаг до пропасти (западноберлинский кризис 1953 г., карибский кризис 1962 г.), но благодаря сдержанности и благоразумию, проявленным с обеих сторон, этот роковой шаг не был совершен. Больше того, кризисы послужили своего рода испытанием прочности существующего молчаливого соглашения не начинать ядерной войны. Почему же надо предполагать, что так не может продолжаться и впредь?

Подобные оптимистические рассуждения исходят из того, что самой надежной основой предотвращения ядерной войны в современных условиях служит взаимное устрашение. Однако анализ международной обстановки со всей отчетливостью показывает, что если даже эта доктрина и соответствующая ей политика оказали услугу миру в течение последних десятилетий, то он никак не может покоиться на такой шаткой основе вечно.

Во-первых, и в том случае, если обе стороны будут скрупулезно соблюдать свод правил и норм поведения, сложившийся вокруг концепции взаимного устрашения (как правовых, записанных в различных соглашениях, так и моральных или джентльменских), опасность все равно будет возрастать вследствие наращивания и особенно качественного совершенствования средств массового уничтожения. Чем больше создается оружия, напичканного электроникой, тем больше шанс, что где-то и когда-то автоматика может отказать, война начнется случайно. В нашей печати приводилось много фактов, свидетельствующих, что это не досужая выдумка журналистов, а вполне реальная угроза [1]. Продолжается и расширение «ядерного клуба» [2], что, без сомнения, усугубляет неопределенность обстановки: возрастает не только число потенциальных источников всемирного конфликта, но и круг проблемных ситуаций, способных послужить для него поводом.

Иначе говоря, просто придерживаться позиции «взаимного устрашения», не добиваясь снижения уровня военного противостояния,— значит мириться с увеличением ядерной опасности.

Во-вторых, концепцию «взаимного устрашения» подрывают воинственные ястребы в правящем американском классе, которые никогда не мирились с установившимся примерным паритетом военных сил между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Они спят и видят те времена, когда США принадлежало ощутимое военное превосходство. Если в 70-е годы Пентагон, верхушка военно-промышленного комплекса вынуждены были умерять свои аппетиты, то при Рейгане они получили полную свободу рук. Не приходится говорить, что угроза сломать равновесие военных сил, в частности путем размещения в Западной Европе сотен дополнительных американских ракет средней дальности, запуска в производство ракет «МХ» и нейтронной бомбы, форсированного роста военных расходов и т. д., подрывает основы концепции «взаимного устрашения».

Наконец, третий, не менее существенный момент — внутренняя противоречивость самой этой концепции, возможность различного ее толкования в соответствии с тем, кому как покажется выгодным.

В своих рассуждениях на этот счет Шелл отправляется от конца. Предположим, говорит он, что одна из сторон нанесла первый удар всеми имеющимися в ее распоряжении силами. В каком положении окажутся руководители противной стороны? Их территория уже превращена в радиоактивную пустыню, но средства нанесения ответного ядерного удара сохранены в шахтах, на бомбардировщиках и подводных лодках. В чем для них будет заключаться цель нанесения ответного удара? Поскольку нации уже не существует, такой целью не может быть обеспечение национальной безопасности. Не может быть ею и защита других народов, так как ответный удар окончательно погубит экосферу и положит конец существованию человечества. Каким будет их решение в подобных условиях, невозможно предугадать.

А отсутствие уверенности в реакции пострадавшей стороны подрывает идею устрашения, ибо появляется шанс (пусть незначительный и рискованный) нанести удар без возмездия. Поэтому теоретики начинают ломать головы над тем, как исключить подобную ситуацию. У каждой стороны должно существовать абсолютное убеждение, что противник не поколеблется нанести ответный удар. Известный американский футуролог Герман Кан в этой связи утверждает, что наилучшим средством предотвращения нападения будет «видимость иррационально-непоколебимой решимости». Поскольку же притворство ненадежно, надо «в действительности намереваться сделать это». Таким образом, комментирует Шелл, предлагаемая Каном политика, которую он называет «рациональностью иррационального», заключается в том, чтобы хладнокровно лишить себя рассудка.

Другой вариант, предлагаемый американскими теоретиками,— создать впечатление неконтролируемости своих дей-

[1] По данным ЮНЕСКО, за последние 30 лет имело место по крайней мере 125 таких аварийных срывов, причем большинство их (91) приходилось на США (Armaments, arms control and disarmament: A UNESCO reader for disarmament education. P., UNESCO press, 1981).

[2] По оценкам американских специалистов, к концу столетия возможно превращение в ядерные державы 11 стран: Пакистана, Ирака, Тайваня, Ливии, Южной Кореи, ФРГ, Японии, Израиля, ЮАР, Бразилии и Аргентины.

ствий либо действительно сделать их такими. Неконтролируемость, как и безумие, устраняет надобность в разумных мотивах для ответного удара; создается положение, когда он наносится «как бы случайно». В этой связи Шелл отмечает, что в мемуарах Холдемана, бывшего в свое время начальником канцелярии Никсона, есть запись, что последний верил в теорию «президента-безумца», согласно которой враги склонятся перед волей президента, если сочтут, что он лишился рассудка и ради достижения некоторых ограниченных национальных целей готов пойти на риск ядерного побоища.

Шелл обращается еще к одной идее Кана, призванной «компенсировать» изъяны доктрины ядерного устрашения. Речь идет о некоей «машине судного дня», которая взорвет мир, как только враг решится на действия, неприемлемые с точки зрения ее обладателя. Механизм, стоимость которого, по подсчетам автора, должна обойтись в 10 млрд. долларов, не станет, понятно, испытывать никаких сомнений в отношении ответного удара. Люди в этом случае будут лишены возможности принимать решения, целиком вручив свою судьбу автоматике.

Ну, а если в результате ошибки компьютера «машина судного дня» примет фатальное решение без всякого на то основания?

Разыгрывая запутанные сценарии «ответного удара», Кан и другие американские теоретики ядерной стратегии увлекаются этим занятием, как шахматной задачкой. Их распаленное воображение легко предает атомному пожару Ленинград и Чикаго, сносит с карты пол-Европы, организует тотальные сражения в океане и в космосе. При этом всерьез уверяют публику, а может и сами верят, что подобные упражнения имеют целью сделать безупречной логическую схему «взаимного устрашения» и, следовательно, упрочить мир.

Сон разума порождает чудовищ, говорил Гойя. Можно сказать и наоборот: рождение чудовищ свидетельствует о сне разума. Вместо того чтобы мудрствовать лукаво над вторым ударом, Кану и его коллегам стоило бы прежде всего задаться вопросом: как исключить возможность первого удара и почему в отличие от Советского Союза Соединенные Штаты никак не хотят брать на себя соответствующие обязательства?

Что же касается их нынешних теоретических изысканий, ограничимся точной оценкой Шелла: несостоятельность доктрины ядерного устрашения «является следствием еще большей, коренной несостоятельности — упора... на удар, влекущий за собой всеобщее уничтожение, чтобы предотвратить такое уничтожение».

Здесь уместно сделать отступление.

Шелл не всегда блещет безукоризненной логикой. Одну мысль он доказывает, другую предлагает читателю на веру. Есть у него суждения глубокие и оригинальные, а на следующей странице — банальные и наивные. Но, пожалуй, самое характерное для него, как, впрочем, и для многих других западных интеллектуалов, — это причудливое сплетение общечеловеческого и классового, планетарного и американо-националистического начал. Кое-где он приводит их к общему знаменателю, как и должно быть, когда ведешь речь о ядерной угрозе, в других же случаях они вступают в коллизию, американский обыватель берет в нем верх над «гражданином мира». Словом, Шелл дает предостаточно поводов для полемики, да иначе и быть не может, коль скоро имеешь дело с автором, стоящим на иных идейных позициях.

Однако при этом надо не упускать из виду одно важное обстоятельство. Борьба идей может и должна быть бескомпромиссна, когда речь идет о принципах общественного устройства, о том, что лучше — общественная собственность или частная, какая система надежней гарантирует права человека и т. д. Участники таких идейных схваток не обязаны искать соглашений, да это было бы и бесполезным занятием, поскольку невозможно примирить противоположные по смыслу мировоззрения. Вопрос о том, какое из них в большей мере отвечает нуждам человечества, за каким останется будущее, решается в конечном счете народами, историей.

Иное дело — международные проблемы, и прежде всего ядерная опасность. Единственный способ если не устранить ее окончательно, то по крайней мере ослабить — соглашение, основанное на приемлемом для всех компромиссе. Это не значит, что полемика вокруг самой насущной и актуальной проблемы современности должна вестись на полутонах, в елейной или келейной (то есть в обстановке секретности) форме: речь идет о вопросе, затрагивающем жизненные судьбы всего человечества, и оно имеет полное право знать, кто чего хочет, какой смысл содержится в той или иной программе. Это значит лишь, что, высказав прямо и нелицеприятно все, что они думают по существу дела и поведения друг друга, стороны должны тем не менее искать точки соприкосновения, проявлять максимум терпения, не вставать из-за стола, пока не найдено совместное решение.

Именно в понимании специфики, правильнее даже сказать у н и к а л ь н о с т и ядерной проблемы проявляются и профессиональное чутье, и человеческие качества всех, кто имеет к ней отношение: политических деятелей и военных стратегов, ученых и публицистов, специализирующихся в области международных отношений. Взгляды на ядерную опасность из Москвы и Вашингтона сейчас во многом полярны, но если одних западных теоретиков такое положение вполне устраивает и они в лучшем случае позволяют себе высказать надменное сожаление, что «та сторона не желает идти на уступки», то другие серьезно озабочены ситуацией и настой-

чиво призывают к поискам разумной альтернативы.

К лагерю обеспокоенных принадлежит и наш автор. Он страстно призывает человечество «выйти из «коматозного состояния», очнуться, прийти в себя, осознать, что дальше так продолжаться не может, что следует действовать без промедления. Но вот беда: этот его замечательный призыв может остаться неуслышанным из-за крайне неточной расстановки политических акцентов по двум кардинальным вопросам, непосредственно прилегающим к проблеме ядерной опасности, по существу, составляющим с ней одно целое. В первую очередь это проблема соотношения мира и развития.

И мир, и хлеб, и свобода

Подойдем к ней вот откуда. Буквально взрыв негодования в мировом общественном мнении вызвала фраза бывшего государственного секретаря США Хейга: «Есть вещи поважнее мира». Не цитируя этой фразы, Шелл, по существу, вступает в полемику со своим воинственным соотечественником, убедительно доказывая, что в современную эпоху задача предотвращения ядерной войны занимает абсолютно приоритетное место по сравнению со всеми другими целями человеческой деятельности. И дело не только в том, что право на жизнь всегда было и остается сегодня самым важным из всех прав человека. Дело в том, что речь сейчас идет о выживании человеческого рода, а это служит предпосылкой, sine qua non (непременное условие) удовлетворения каких бы то ни было других чаяний. «Пока мы удерживаемся от самоуничтожения, история продолжает развиваться полным ходом и потребности, желания, опасения, интересы и идеалы, которые всегда были свойственны людям, в полную меру продолжают давать о себе знать, даже несмотря на то, что всем им грозит гибель... Каждому правительству и каждому гражданину во всех странах, особенно правительствам и гражданам Соединенных Штатов и Советского Союза, предстоит решить вопрос, какое значение придавать выживанию всего мира по сравнению с потребностями деловой активности в этом мире».

Но вот загвоздка: справедливо ставя превыше всего задачу выживания человечества, Шелл лишь мимоходом упоминает, что «люди желают также свободы и процветания», «хотят справедливого к себе отношения». Он как бы отделяет все прочие интересы от наиважнейшего, выключает их из сферы своего внимания. Между тем проблема мира неразрешима вне связи с другими насущными потребностями. Причем и в субъективном и в объективном плане.

В субъективном — потому, что она смотрится иначе из разных точек планеты и даже с позиций различных социальных слоев в пределах одних и тех же государств. Если, например, опросить 12 млн. американских безработных, то выяснится, что они не хотят ядерной войны по крайней мере так же сильно, как их благополучные соотечественники. И все же угроза ядерного уничтожения заботит их меньше, они наверняка отодвигают ее на задний план, потому что самое для них важное — прокормиться, найти источник средств существования. Примерно то же можно сказать о десятках миллионов американских негров и «цветных», у которых на первом плане стоит потребность вырваться из унизительной атмосферы расовой дискриминации. О чем, кроме куска хлеба, могут думать почти 800 миллионов людей, проживающих в зоне голода? Задумываются ли вообще над проблемами ядерного апокалипсиса сотни миллионов неграмотных, подавляющее большинство которых отрезано от политической информации и не представляет, что творится за пределами их жилищ и поселений? О чем, кроме свободы, может мечтать коренное население ЮАР, должен ли ужас всеобщего уничтожения сильно заботить униженного и растоптанного человека, который, подобно герою романа южноафриканского писателя Дж. Гордона, говорит о себе: «Да сгинет день, в который я родился!»

В объективном плане — потому, что закономерности общественного развития не действуют изолированно друг от друга, а прорубают себе путь, опрокидывая тенденции противоположного свойства, менее устойчивые и динамичные, нейтрализуя полунедругов и находя себе близких по духу союзников. Разумеется, мы пользуемся этим языком условно. Искусственное «одушевление» объективного мира, где властвуют не страсти, а «большие числа», лишь помогает понять, что никакой обнаруженный наукой закон не гарантирует того или иного хода событий, что не следует упускать из виду его взаимоотношений с другими законами и что наиболее достоверное предвидение может быть лишь итогом учета как можно более широкого круга взаимосвязей, существующих в природе и обществе.

С этой точки зрения нельзя сколько-нибудь объективно взвесить шансы мира, не приняв во внимание, как влияет на решение этой проблемы социалистическая, национально-освободительная, научно-техническая революция, как она соотносится с другими глобальными проблемами, во весь рост вставшими перед человечеством на исходе второго тысячелетия. Между тем Шелла все это настолько мало заботит, что он не пытается протянуть связующую нить между задачей предотвращения войны и задачей строительства справедливого мира, использовав хотя бы такой бесспорный аргумент: сокращение военных расходов и направление части высвободившихся средств на нужды развития позволило бы в короткие сроки сократить географию голода, массовых эпидемических заболеваний, неграмотности.

Или другой момент. Как мы уже говорили, американский публицист многократно обращает внимание на то, что

ядерная война означала бы уничтожение всей экосферы. Но с горячими призывами спасти среду обитания человека от полного уничтожения странным образом сочетается равнодушие к нынешнему постепенному ее увяданию. А ведь и здесь можно и нужно было усмотреть прямую связь: чем меньше средств будет тратиться на гонку вооружений, тем больше их останется для того, чтобы своевременно лечить природную среду, восстанавливать ее жизненные силы. Это не говоря уж о том прямом выигрыше, который она получит, когда полностью прекратятся ядерные испытания.

Вообще создается впечатление, что Шелл как бы заворожен ядерной опасностью. Подобно человеку, оказавшемуся лицом к лицу с гремучей змеей, он не в состоянии отвести от нее взгляда, а такая сосредоточенность, при всех ее очевидных преимуществах, имеет немало и теневых сторон, мешает рассмотреть проблему во всех ее опосредованиях.

Это особенно наглядно сказывается в неспособности американского автора принять во внимание объективную экономическую и социальную ситуацию в мире. Ведь для того, чтобы спасать его от ядерной опасности, надо прежде всего постараться понять, куда, в каком направлении толкают его закономерности экономического и социального развития, каково содержание переживаемой нами эпохи.

Конечно, не будучи марксистом, Шелл может и не признавать, что это — эпоха перехода от капитализма к социализму во всемирном масштабе и что победы нового общественного строя ведут к утверждению отношений мира и дружбы между свободными и равноправными народами, к полной интернационализации всей жизни человечества. Но он должен бы, подобно многим своим западным коллегам, понимать, что повсюду в мире уже произошла, происходит или назревает ломка старых отношений между людьми и народами, основанных на угнетении и эксплуатации. Не учитывать этого фактора при исследовании возможности предотвращения ядерной войны — все равно что строить здание в сейсмической зоне, не потрудившись придать ему необходимых запасов прочности.

Поскольку Шелл тем не менее начисто обошел эту сторону дела, постараемся в предельно сжатой форме возместить пробел. Чтобы нагляднее представить себе связь между миром и развитием, следует прежде всего отрешиться от привычного, но одностороннего представления о мире как простом отсутствии военных действий. С философской точки зрения понятие мира никогда не было всего лишь формой, в которую может быть вложено любое экономическое, социальное или политическое содержание. Подобно тому как война между Римом и Карфагеном отличается от Столетней войны между Англией и Францией, Столетняя от Тридцатилетней, в которой приняла участие едва ли не половина европейских государств, Тридцатилетняя от наполеоновских войн, наполеоновские от первой и второй мировых войн, — отличаются, притом существенно, и состояния мира. Он может быть прочным или хрупким, опираться на равновесие сил потенциальных противников или на устойчивое превосходство одного из них, отличаться полнокровием (с точки зрения условий для развития экономических связей и культурного обмена) или анемией.

Возьмите хотя бы известное каждому со школьных времен историческое понятие «Версальский мир». За этими двумя словами скрывается целая бездна общественных явлений, характеризующих состояние Европы между первой и второй мировыми войнами. Это и экономическая разруха, истощение главных воюющих сторон, и величайшая социалистическая революция в России, и новая система отношений между Европой и Соединенными Штатами Америки, и очередной раунд борьбы империалистических держав за передел мира, и нацистская диктатура в Германии, и формирование новых этнических обществ в рамках вновь созданных или перекроенных государств. Это был мир, структура которого повлияла на самый широкий круг условий человеческой жизни, привела к существенным изменениям в образе мыслей, в быту, в обычаях и даже в языке ряда народов.

Словом, мир не просто отсутствие войны, но *определенное общественное состояние*, и эта истина, верная всегда, приобрела новое значение в нашу эру, эру мировых войн и оружия массового уничтожения, ибо никогда еще война или угроза войны не оказывали столь сильного и разностороннего влияния на все стороны общественной и личной жизни. А с другой стороны, как прямая реакция на это, приобрело невиданный ранее размах сопротивление кровавому Молоху со стороны его потенциальных жертв.

Великий революционный процесс, начатый Октябрьской революцией и принявший, по существу, глобальный характер, вывел на арену истории и сделал активными непосредственными участниками исторического действия многомиллионные народные массы. Мы часто упоминаем этот факт, но не всегда делаем из него должные выводы. Между тем именно благодаря этой новой роли народных масс антивоенная идея впервые соединилась с идеей антиугнетательской, идеей социального и национального освобождения. Здесь, между прочим, и кроется принципиальное различие между буржуазным пацифизмом и широким антивоенным движением. Буржуазный пацифист (да и не только буржуазный, ведь пацифизм не изобретение нового времени, были его проповедники и в древние времена) отрицает войну, с которой связаны ужас, мрак, хаос, разорение, кровь и угроза смерти. Он не хочет ничего иного, кроме как сохранить *сущее состояние* ми-

ра, в котором так удобно и вольготно жить, обладая определенным достатком. Иное дело — воля к миру простого люда. Отвергая войну, он в то же время гроша ломаного не даст за сохранение чуждого себе мира, мир-то ему нужен совсем другой, преображенный, в котором он сумеет найти достойные для себя условия существования.

Теперь сделаем над собой умственное усилие и постараемся слить в своем сознании два различных понятия, обозначаемых словом «мир». Мир как отсутствие войны и мир как все мировое сообщество. Каким мы хотим его видеть? Ответ очевиден каждому — справедливым и процветающим. В этом — вся суть проблемы: огромное большинство человечества видит будущее в двух измерениях, оно не согласно со старым миром, требует нового мира и нового мирового порядка. Любой расчет обойти это требование, ограничиться предотвращением войны (то есть, по сути дела, сохранением старого мира) иллюзорен. Спасти старый мир не удастся никакими заклинаниями, никаким нагнетанием страха перед ядерной опасностью, никакой, самой изощренной политической стратегией и пропагандой. Это — неразрешимая задача. Есть только единственный путь работать на предотвращение ядерной войны — сознательно и целеустремленно способствовать действию объективного исторического процесса, удовлетворению чаяний подавляющего большинства человечества. Вся суть нашей переходной эпохи сводится в конечном счете к решению сложной, но разрешимой задачи — перейти от старого состояния мира к новому без войны.

Четко и лаконично выражена эта мысль в «Делийском послании» VII конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран: «Центральными проблемами нашего времени являются мир и мирное сосуществование, разоружение и развитие. Однако мир должен базироваться на справедливости и равенстве, потому что установленные колониализмом и империализмом невыносимое неравенство и эксплуатация остаются главными источниками напряженности, конфликтов и насилия в мире».

О суверенитете и мировом правительстве

Какие же политические условия могут обеспечить подобное развитие? Здесь мы имеем дело уже с другой кардинальной проблемой нашего времени — соотношением национального и интернационального. В этом вопросе Шелл примыкает к распространенному в западной политической мысли течению, видящему источник всех бед в национальном суверенитете, а якорь спасения — в мировом правительстве.

Ядерные державы, говорит он, сохраняют и наращивают свои вооруженные силы не для того, чтобы гарантировать мир, а для того, чтобы обеспечить свои национальные интересы и устремления, в последнем же счете — увековечить саму систему суверенных государств. Официальным мотивом ассигнований на военные цели является защита национальной безопасности, а в это понятие вкладывается на деле все что угодно. Так, США объявили зоной своей национальной безопасности район Персидского залива, и президент Картер в свое время объявил: «Любая попытка со стороны внешних сил установить контроль над районом Персидского залива будет рассматриваться как удар по жизненным интересам США. Такой удар будет отражен всеми необходимыми средствами, включая военную силу». Таким образом, резюмирует Шелл, Соединенные Штаты готовы были пойти на применение ядерного оружия под предлогом защиты национальной безопасности, в то время как в действительности речь шла об американской заинтересованности получать ближневосточную нефть. К этому мы могли бы добавить, что американское руководство объявило зоной национальных интересов США Латинскую Америку и Ближний Восток, Западную Европу, Океанию, Японию, Юго-Восточную Азию и т. д.

Проводя параллель между отдельным обществом и системой международных отношений, Шелл говорит, что при переходе от природного состояния к гражданскому индивидуумы уступили свое право на насилие центральной власти, которая, в соответствии с определенными установлениями, использует совокупные ресурсы на общее благо. К сожалению, такого «общественного договора» не было заключено в мировом масштабе. Поскольку здесь нет никакой центральной власти, процесс принятия решений остался децентрализованным и по существу каждый член этого сообщества, каждое государство может наложить вето на дальнейшее существование человеческого рода. И мы, восклицает он, считаем такую систему верхом государственной мудрости!

Не знаю, как обстоит дело с американскими теоретиками, а мы не считаем эту систему верхом мудрости. Она, конечно же, нуждается в радикальном усовершенствовании. Но сколь не возмущайся и не размахивай руками, дело от этого не изменится. Система суверенных национальных государств не злокозненная выдумка каких-то негодяев, задумавших таким путем извести человечество, а объективный результат действия законов общественного развития, которые предопределили возникновение наций и организацию общественной жизни в рамках национально-территориальных общин. Безусловно, это не венец развития, а всего лишь один из его этапов. Установившаяся ныне система должна будет уступить место более совершенному миропорядку, но это возможно лишь на стадии победы социализма во всем мире.

Однако Шелл, как и другие теоретики буржуазного клана, хочет мирового пра-

вительства, отнюдь не желая социализма. Возможно ли мировое правительство без социализма? Давайте и здесь прибегнем к мысленному эксперименту. Предположим, все страны, независимо от их общественной системы, согласились отдать свою судьбу в руки мирового правительства, чтобы устранить опасность всеобщего уничтожения в ядерном пожаре и решить другие насущные проблемы, вставшие перед человечеством. Взявшись за дело, мировое правительство неизбежно должно будет заняться плановым учетом, распределением и перераспределением ресурсов, чтобы обеспечить в более или менее короткий срок ликвидацию голода, болезней, нищеты, разрыва между слаборазвитыми и развитыми странами [1]. Как же отнесутся к этому те же США? Их реакцию нетрудно вычислить.

В США господствует, как известно, крупный капитал, прочную опору которого составляет так называемый средний класс. Речь идет о довольно значительной части населения, которая в большей или меньшей мере приобщена к потреблению американского богатства. Не будем касаться сейчас вопроса, каким путем оно нажито, чего в нем больше — созданной трудом стоимости или спекулятивных прибылей от продажи оружия, технического гения или доходов, выкачиваемых корпорациями из слаборазвитых стран, американской деловитости или даровых преимуществ, проистекающих из бреттон-вудской системы (то есть принятия доллара за основу валютной системы всего капиталистического мира, фактического возведения этой бумажки в ранг чистого золота). Как бы то ни было, не только хозяева Уолл-стрита, но и миллионы зажиточных американцев находятся в привилегированном положении по сравнению с миллиардами других жителей планеты. Согласятся ли эти люди, пользующиеся такими привилегиями при существующей в США частной предпринимательской системе, на более справедливое распределение мирового богатства?

Неужели американские теоретики из буржуазного лагеря не задаются этими вопросами, ратуя за мировое правительство? Полагать так было бы полной наивностью. Все дело как раз в том, что, ополчаясь на суверенитет, они видят в нем не столько препятствие для разоружения, сколько рогатку на пути распространения тотального американского влияния. В их представлении Америка именно потому может рискнуть пойти на ликвидацию суверенитета, что на ее стороне подавляющий перевес в экономическом и научно-техническом могуществе, который должен обеспечить господствующее положение американскому бизнесу, корпорациям, науке, технике, политической системе, массовой культуре, вкусам. Иначе говоря, под ликвидацией суверенитета и мировым правительством понимают все то же американское руководство обществом, о котором назойливо твердят едва ли не все политические деятели и идеологи этой страны.

Причем идеология американского империализма представляет собой вершину буржуазного эгоизма. Ей абсолютно несвойственны какие-либо отступления от железных законов коммерции, она чужда какого бы то ни было христианского милосердия, которое нет-нет да дает о себе знать в идеологии буржуазии Старого Света. Это особенно наглядно выражается в том, что, претендуя на руководящую роль, американские идеологи в массе своей не считают США обязанными в обмен взять на себя ответственность за участь отстающих народов, пойти на какие-то жертвы. Ничуть не бывало: «Мы имеем право на руководство, потому что это право вручено нам самим господом богом».

9 августа 1945 года Трумэн, выступая по радио перед своими соотечественниками, заявил: «Мы благодарим бога за то, что бомба появилась у нас, а не у наших противников, и мы молим о том, чтобы он указал нам, как использовать ее по его воле и для достижения его цели». Что это, как не откровенное богохульство: ссылаться на всевышнего, намереваясь вступить на путь ядерного шантажа. И спустя 40 лет святоши из Белого дома, поминутно поминая всуе имя господа, твердят, что одна Америка достойна руководить миром, провозглашают программу открытого вмешательства в дела других государств, насаждения американских интересов, порядков и нравов. Вот вам и реальное наступление на суверенитет, с той лишь разницей, что в отличие от расчетов Шелла оно не может привести ни к чему иному, как к усилению опасности войны [1].

Нельзя не отметить такой любопытный факт. На протяжении многих десятилетий буржуазная пропаганда обвиняла Советский Союз в мессианстве, в намерении навязать всем «советскую модель», использовать идею социализма для насаждения «русского империализма» и «русского духа». Что же мы видим на практике: многообразие экономических и политических форм в странах реального социализма, богатая палитра методов преобразований на социалистическом пути в группе развивающихся государств, широкий спектр теоретических представлений о будущем у партий рабочего класса, борющихся за социализм в капиталистических странах. А с другой стороны,

[1] Кстати, именно с этого начало свою работу мировое правительство, сформированное уже после атомной катастрофы... в романе Г. Уэллса «Освобожденный мир».

[1] Вот что писал патриарх московский и всея Руси Пимен в своем открытом послании президенту Рейгану: «Разве можно оправдывать словом Божьим безумную гонку орудий массового истребления? Разве можно быть верным заповеди «Не убивай!» и одновременно говорить о допустимости «ограниченной ядерной войны», о «всеобщей ядерной войне», о «первом ядерном ударе», о «победе в ядерной войне» и прочих преступных и греховных помыслах?» («Известия», 5 апреля 1983 года).

именно США с их имперской идеологией пытаются подогнать мир под свой ранжир, подчинить своей воле.

Американский конгресс и президент уже сейчас часто ведут себя так, как если бы они были провозглашены мировым правительством: выражают недовольство законом о профсоюзах, принятым в Польше, или разражаются бранью по адресу сальвадорских партизан; рекомендуют западногерманскому избирателю остановить свой выбор на христианских демократах или требуют, чтобы румынское правительство облегчило выезд из своей страны эмигрантам. Наглости этой публике не занимать. Вполне вероятно, что лично Шелл не имел в виду мировое правительство в подобном виде. Но так уж получается: даже хороший лозунг, выдвинутый не в свое время, становится не только утопическим, но и реакционным.

Ядерная опасность — это опасность сегодняшнего дня, и следует не гадать о том, как она могла бы быть предотвращена в иных политических условиях, а искать реальные пути решения этой проблемы сейчас.

С любовью и страхом

Усмотрев в суверенитете главный источник ядерной угрозы и объявив ему священную войну, Шелл с сарказмом пишет о «реалистах», которые «советуют нам признать суверенитет за нечто неизбежное, называя любую другую альтернативу нереалистичной и утопичной». По его словам, как раз реалисты с их искаженным образом мышления не способны признать основную реальность нашего века — яму, в которую рискует угодить человеческий род; утопическим они именуют любой план, дающий человечеству шанс избежать самоуничтожения... Политические мероприятия, которые ставят мир на грань катастрофы, объявляются ими умеренными и приемлемыми, тогда как серьезные предложения, могущие отвести на несколько шагов от края пропасти,— экстремистскими или радикальными. Используя подобные устрашающие эпитеты, продолжает Шелл, «сторонники сохранения статус-кво поддерживают анахроничный образ мыслей и стремятся блокировать революцию в мышлении и действии, необходимую для того, чтобы человечество могло продолжать свое существование».

Здесь мы оказываемся в деликатном положении. С одной стороны, нельзя не сочувствовать Шеллу, ибо по сути дела его филиппики направлены и против тех в американском истеблишменте, кто упорно цепляется за догмы имперской политики, не желая осознать, что они в полном смысле слова играют с огнем.

С другой стороны, как ни оскорбляется Шелл тем, что его идеи могут отнести к разряду утопии, но так ведь оно и есть, никуда от этого не денешься. Серьезная аберрация зрения допускается уже тогда, когда он обвиняет во всех смертных грехах защитников самой идеи суверенитета. Между тем эта идея играет чрезвычайно прогрессивную роль для народов развивающихся стран, которые вынуждены в упорной борьбе отстаивать право быть хозяевами своей судьбы, защищать свою независимость от того же американского империализма.

Если же говорить о «реалистах», к которым Шелл некорректно относит всех защитников суверенитета, то и здесь дело обстоит не так просто. Ему бы следовало оставить в покое тех, кто резонно полагает, что идея мирового правительства на данном этапе неосуществима и сосредоточивает внимание на поисках реальных путей урегулирования существующих конфликтов, ослабления военных угроз. А направить свои стрелы в тех теоретиков и политических деятелей, которые под предлогом защиты суверенитета и национальной безопасности пытаются навязать миру pax americana — американскую систему.

Расплывчатость, неопределенность, слабость буржуазного пацифизма, может быть с особой силой обнаруживают себя в позитивной программе, формулируемой американским публицистом. По его мнению, чтобы избавиться от ядерной опасности, необходимо преобразовать отношения между людьми, приспособив их к жизни в «ядерном общем мире».

Первым принципом этого мира должно стать «уважение к человеку, родившемуся и неродившемуся, основанное на общей любви к жизни и общем риске, связанном с нашими разрушительными силами и склонностями».

Второй принцип — уважительное отношение к Земле, осознание экологического закона, согласно которому окружающая среда рассматривается не просто как стихия, в которой более или менее приятно жить, но как основа человеческой жизни

Наконец, третий принцип — «уважение к богу или к природе, мирозданию, к чему угодно другому, чем предпочтут называть космическую пыль, которая сотворила нас или стала нами. Нужно помнить, что ни как индивидуумы, ни как существа мы не создали самих себя и... что наша возросшая мощь не созидательна, а лишь разрушительна».

Итак, программа рассчитана на всех. В ней есть место и для верующих, и для атеистов (по крайней мере пантеистов), она экономна, абстрактна и, увы, отличается отсутствием творческого воображения. В самом деле, вдумаемся, какую перспективу Шелл возводит в идеал: это — всеобщая любовь, питаемая прежде всего общим страхом, как если бы группа путешественников оказалась неподалеку от жерла вулкана в канун извержения и проповедник сказал им: возлюбим друг друга, братья, ибо нам угрожает неминуемая гибель.

Впрочем, стоит процитировать пояснения самого Шелла. Рассуждая насчет того, какой именно закон имеет больше шансов утвердиться в ядерном мире — закон любви или закон страха, он приходит к выводу, что в конечном счете

один вытекает из другого. Почему? Потому что закон страха опирается на любовь к самому себе. «Любовь, эта духовная энергия, которую человеческое сердце противопоставляет физической энергии, высвобожденной из материи, может создать, взлелеять и спасти то, что может быть уничтожено и превращено в мертвую пустыню в результате всемирной катастрофы. И все же фактически сейчас нет необходимости (по крайней мере с практической точки зрения) выбирать между законом страха и законом любви, потому что в конечном счете они ведут к одному и тому же». После этого не остается сомнения, что в основе модели спасенного от катастрофы «общего ядерного мира» лежит не что иное, как классическая религиозная догма, согласно которой человек должен пребывать в постоянном страхе перед богом за содеянные им грехи, и именно в этом заключается единственная для него возможность спасти себя.

Нет, не стоило Шеллу выдвигать свою позитивную программу, если его воображения хватило лишь на то, чтобы воспроизвести евангельский миф.

Ну, а как наш автор мыслит себе способ «переправы» по ту сторону ядерной опасности, в его идеальный мир всеобщей любви, основанной на всеобщем страхе? Да никак. И прямо заявляет об этом: «В этой книге я не пытался дать политическое решение проблемы ядерной опасности; в мою задачу не входили широкий пересмотр основ политического мышления, необходимый для того, чтобы мировые политические институты соответствовали глобальной реальности, в рамках которой они действуют, или разработка практических мер, при помощи которых человечество, впервые в истории действуя совместно, сможет реорганизовать свою политическую жизнь. Эти сложнейшие, не терпящие отлагательства задачи, которые возлагает на нас история, я оставляю другим».

Не станем сетовать, автор честно очертил круг своих возможностей. И, думается, при всех пробелах и слабостях его книга сыграет положительную роль, еще раз обратив внимание рядовых американцев на ядерную опасность, напомнив им об их ответственности за судьбу земли.

Поскольку же Шелл предоставляет другим решать реальные политические проблемы противодействия ядерной угрозе, воспользуемся этим любезным предложением и скажем, что сейчас задача первостепенная и неотложная — остановить гонку ядерных вооружений и сделать первые шаги к действительному разоружению. Конкретная программа действий в этом направлении содержится в Пражской декларации государств — участников Варшавского Договора, в целом ряде важных инициатив по вопросам ядерного разоружения, выдвинутых Советским Союзом, в том числе в самое последнее время. Опыт 70-х годов свидетельствует, что и по этим сложным вопросам могут быть при желании найдены взаимоприемлемые решения: ведь были же заключены договоры о запрещении испытаний ядерного оружия, ограничении стратегических вооружений СССР и США и др.

Но особенно важно сейчас воздерживаться от дальнейшего нагнетания международной напряженности. Вот как эта мысль выражена в докладе Ю. В. Андропова 21 декабря 1982 года: «При быстроте действия и мощи современного оружия атмосфера взаимных подозрений особенно опасна. Даже нелепая случайность, просчет, техническая неполадка могут иметь трагические последствия. Важно поэтому снять пальцы со спусковых крючков, поставить оружие на надежный предохранитель».

«Поистине,— сказал советский руководитель,— надо быть слепым к реальностям нашей эпохи, чтобы не видеть: каким бы образом, где бы ни вспыхнул ядерный смерч, он неизбежно выйдет из-под контроля, вызовет всеобщую катастрофу.

Наша позиция по этому вопросу ясна: ядерной войны допустить нельзя — ни малой, ни большой, ни ограниченной, ни тотальной. Остановить поджигателей новой войны — нет сейчас задачи важнее».

Дело теперь за Соединенными Штатами. Хочется верить, что разум, забота о сохранении рода человеческого, простой инстинкт самосохранения возьмут верх над мракобесием, самонадеянностью и эгоизмом. Ширящееся движение в США за замораживание ядерных арсеналов — признак того, что американский народ все сильнее осознает размеры грозящей миру беды. Книга Шелла — одно из многих тому свидетельств.

Начиная с 1947 года американский журнал ученых-физиков («Bulletin Atomic Scientist») помещает в каждом номере изображение часов, показывающих приближение «страшного суда». Редакторы ставят стрелки на то или иное расстояние от цифры, указывающей полночь, в зависимости от того, куда, по их мнению, дуют ветры мировой политики.

Для всех ясно, что в последнее время стрелки часов сдвинулись к 12-ти. Это — грозное предостережение. Но теперь уже можно уверенно сказать, что реакцией на него стали не страх и апатия, а решимость противостоять беде. Как организм борется с болезнью, так человечество мобилизует сейчас все свои мощные защитные средства, чтобы «ядерная полночь» не наступила никогда.

■

Публицистика

Из итальянской газеты «Эспрессо»

25 января 1982 года английский писатель Грэм Грин в открытом письме в лондонскую «Таймс» заявил, что город Ницца стал прибежищем террористов, воров, укрывателей награбленного, гангстеров и продажных чиновников. Он сообщал также, что намерен рассказать обо всем, что ему известно, в книжке, название для которой «Я обвиняю» он позаимствовал у Золя. Протагонистами брошюры Грина помимо известных главарей итальянско-французского преступного мира будут продажные судьи, адвокаты и бизнесмены, чья репутация «выше всяких подозрений». Один из них, в частности, и стал главной мишенью Грина. Речь идет о некоем Даниеле Ги — богатом агенте по продаже недвижимости, бывшем муже крестницы Грина Мартины Клоэтта. Взяв за основу процедуру развода Мартины с этим дельцом, Грин словно в детективном повествовании обнажает скрытый механизм действий преступного мира Ниццы. Письмо Грина в «Таймс» и публикация первой страницы книжки в одной из местных французских газет вызвали настоящую бурю. Что же будет, когда он закончит и опубликует всю книгу? («Если только мне дадут ее закончить и опубликовать»,— замечает многозначительно Грин.)

Совсем недавно [1] один французский гангстер решил попугать знаменитого Грэма Грина.

Сначала он замучил его анонимными телефонными звонками, подметными письмами, угрозами. Потом запросил аудиенцию и явился к писателю домой.

— О прибытии гангстера,— рассказывает Грин,— сообщил мне по телефону один из его прихвостней. Второй остался караулить на улице. Поскольку сам этот гангстер — из числа бывших оасовцев [2], которые пытали людей, я немного струхнул. И потому поставил у себя в кабинете два кресла: одно старое, продавленное — в такое сядешь, да не сразу встанешь,— а второе новенькое, с него можно вскочить без всякого труда. Его, разумеется, я приготовил для себя. И еще я позаботился о том, чтобы под рукой у меня была тяжеленная старинная статуэтка. Я человек мирный, но подумал так: пусть этот тип сядет в продавленное кресло. Если он вздумает на меня напасть, ему понадобится по меньшей мере полминуты, чтобы подняться, а я тем временем стукну его статуэткой по голове и убегу...

— Чем же дело кончилось?

— Вы только не смейтесь. От волнения я сам плюхнулся в продавленное кресло и целых два часа пребывал во власти гангстера. Между прочим, статуэтка оказалась под рукой у него, и он вполне мог пустить ее в ход... Мне ничего другого не оставалось, как предоставить ему возможность выговориться, а воспользовался он ею как истый латинянин, перемежая угрозы улыбками. Он рисовал мне автомобильные катастрофы, в результате которых я могу остаться без ног, и в то же время сообщил массу ценной информации о жизни преступного мира. Информации, далеко не безобидной для его дружков. Если бы мне вздумалось дать этому человеку совет, наверно, я сказал бы: для настоящего гангстера вы слишком много болтаете...

— Мэр Ниццы Жак Медсэн утверждает, будто после всей этой истории к вам надо относиться как к человеку, впавшему в детство.

— Почему? — живо спрашивает Грин.

— Потому что с точки зрения Медсэна только впавший в детство человек может утверждать будто Лазурный берег — в руках преступников.

— Медсэн делает вид, будто не знает правды. Так ему выгоднее. Неужели ему ни о чем не говорит война, происходящая между казино, стрельба в самом центре города? В последней перестрелке, как раз напротив кабаре «Багера», прикончили Гаве — гангстера, замешанного в торговле наркотиками. Неужели ему ничего не говорят похищения людей, побеги гангстеров?..

— А вот «Нувель обсерватёр» называет вас «писателем-шерифом», ударившимся на старости лет в романтизм. В общем, говорят, что сегодня, спустя сорок лет после того, как вы были писателем-разведчиком, охотившимся за немецкими тайны-

[1] Интервью опубликовано в марте 1982 года.

[2] OAS (Organisation armée secrète) — террористическая организация французских ультраколониалистов, существовавшая в первой половине 60-х годов.

ми агентами в Сьерра-Леоне, вы захотели поохотиться на гангстеров в Антибе, чтобы вновь почувствовать себя молодым. Печально слышать такое.

— Если уж на то пошло, печально видеть, как солидный еженедельник из чувства ложного патриотизма умывает руки. Ну, конечно, я — англичанин, а они — французы. Нет, я не романтик. Я хочу лишь защитить от своры злодеев честь и жизнь молодой доверчивой и беззащитной женщины. А как это сделать, не разоблачив их всех?

— Ваше прошлое тайного агента, должно быть, помогло вам в ваших расследованиях?

— О да,— смеется Грин.— Скажем так: оно открыло передо мной кое-какие двери... Старая дружба... В общем, я знал, к кому надо обратиться... Хотя и прошло уже сорок лет...

Грин говорит с обезоруживающей мудростью человека, привыкшего всегда и во всем опираться на здравый смысл. На любой вопрос он отвечает, оперируя очевидными фактами, фактами, которые у всех под носом, но которые никто не желает видеть.

Итак, с одной стороны — известный писатель, уважаемый человек, защищающий в конечном счете и нас всех... А с другой стороны — господа из уголовного мира и их покровители, друзья самых настоящих гангстеров из числа живущих сегодня в роскоши старых оасовцев и pieds noirs [1] из бывших французских колоний: эти занимаются теперь рэкетом, контрабандой, «отстиркванием» «грязных денег» и очень тесно связаны с политическим миром. В общем, перед нами само **Зло.**

ГРЭМ ГРИН

«J'ACCUSE» [2]

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА НИЦЦЫ

1

Хочу обратиться с предостережением ко всякому, кого прельщает тихая жизнь на так называемом Лазурном берегу. Сторонитесь Ниццы и ее окрестностей: это заповедная территория самых зловещих преступных синдикатов на юге Франции. Они скупают и продают наркотики, они ведут — с благословения высоких покровителей — настоящую войну за обладание игорными домами (жертвой этой войны уже стала Агнесса Леру — дочь главного держателя акций «Пале де ля Медитеранэ» [3], которая в полицейском досье числится «пропавшей, вероятно убитой»), они вкладывают деньги в строительство и таким образом «легализуют» свою наживу, они тесно связаны с итальянской мафией.

Я отнюдь не преувеличиваю: в Ницце и вокруг нее существует целая сеть, соединяющая преступный мир с весьма респектабельными деловыми кругами. Деньги, как водится, играют роль всеобщего искусителя, но не в одних деньгах дело. Нет надобности напоминать о широко известных отношениях между полицейскими определенного рода и подпольными синдикатами. Гарантируя безнаказанность некоторым преступникам (за счет замалчивания улик и отказа от подлинного расследования), они получают возможность без труда хватать мелких уголовников, с тем чтобы в конце года представить внушительный отчет о борьбе с преступностью. Недавно мы лишний раз увидели, на что готов пойти такой полицейский, чтобы выгородить своего осведомителя.

Все это общеизвестно, об этом пишут в газетах. Я живу в относительно мирном городке Антибе, и я — иностранец. Я слышал, конечно, о войне за игорные дома, которую ведет Жан-Доминик Фратони, об «ограблении века», совершенном неким Спаджари,— я ведь читаю газеты,— но лично меня все это трогало не больше, чем ограбление в Лондоне трогает жителя Борнмута [1]. Теперь-то я знаю, что преступный мир Ниццы может угрожать даже иностранцу: вот уже более трех лет я являюсь свидетелем драмы, в которую были втянуты мои друзья. Казалось бы, банальное дело о разводе, на первый взгляд похожее на тысячи дел такого рода, заставило меня увидеть то, что один сотрудник Министерства внутренних дел назвал «стеной» — стеной, возведенной преступным миром Ниццы, продажными полицейскими и продажными адвокатами. «Эту стену очень трудно пробить,— сказал он мне.— И все же когда-нибудь мы отыщем брешь, и стена рухнет».

А история такова.

Двадцать три года тому назад я был в Камеруне, в городе Дуала, и там познакомился и подружился с Жаком Клоэтта, его женой и семилетней дочерью Мартиной. Мсье Клоэтта, швейцарец, работал в «Юнайтед Африка компани». Его жена Ивонна — француженка, у них есть еще младшая дочь Брижитта. Все они — участ-

© Verdant S. A., 1982.

[1] Французы, родившиеся в Африке.
[2] Я обвиняю *(франц.)*.
[3] Одно из крупнейших казино в Ницце.

[1] Курортный городок на южном побережье Англии.

ники этой истории. Позже, когда я поселился в Антибе, они стали моими соседями (их дом был неподалеку в Жуан-ле-Пэн) и близкими друзьями.

В 1971 году Мартина, поступив диктором на телевидение Монте-Карло, подыскивала себе квартирку в Ницце поблизости от работы и познакомилась с неким Даниелем Ги, служащим местной строительной фирмы. Ни она, ни ее родители не знали, что за год до этого он вышел из итальянской тюрьмы, где отбывал срок за кражу. В 1973 году они поженились. У него был сын от прежнего брака, проводивший с ним половину летних школьных каникул,— заботу о сыне он, как правило, предоставлял Мартине и ее матери.

Брак Мартины и Ги продлился шесть лет. В 1974 году родилась девочка Александра. С помощью тестя Ги основал небольшую фирму по операциям с недвижимостью — СЕЖИ. В то время он был небогат — во всяком случае так казалось,— и заработок Мартины был весомым вкладом в семейный бюджет. Первые годы они жили довольно благополучно. Мартине все было интересно — словно жизнь в чужой стране. Поначалу она спокойно и без вопросов воспринимала некоторые странные происшествия (см. Приложение 1). Чувство новизны лишь позже сменилось страхом и отчаянием. Все переменилось к худшему. Ги ревновал ее к друзьям, к матери, к искусству, от которого был весьма далек. Она страдала, ничего не говоря родителям, дважды бросала работу, желая угодить мужу, решилась родить второго ребенка, дабы развеять его абсолютно беспочвенные подозрения, терпела все, вплоть до побоев ради маленькой Александры. Но стало еще хуже. В феврале 1979 года произошла страшная сцена в загородной гостинице — она думала, что он задушит ее; после этого она ушла, забрав ребенка. Шел пятый месяц ее беременности: предстояло рождение второй дочери — Сандрины.

Грустная история — хотя, быть может, и обыкновенная,— но теперь в игру вступает правосудие — такое правосудие, от которого хотелось бы избавить Ниццу.

Мартина наняла адвоката — метра Т. Утверждая, что на развод из-за жестокого обращения или супружеской неверности потребуется много лет, даже при отсутствии финансовых осложнений, Т. уверял Мартину, что обрести свободу за достаточно короткий срок она сможет только путем развода по обоюдному согласию. Мы увидим, чем обернулось это согласие.

По словам Т., после обстоятельной беседы с Ги он убедился, что ни на какую другую форму развода муж не пойдет: в результате не только дело затянется на многие годы, но и вопрос о детях может в конечном счете быть решен не в пользу матери. У беременной женщины было тогда одно желание: как можно скорее защитить себя и еще не родившегося ребенка. Позже сам адвокат признался ей, что он боялся повредить своей репутации, проиграв в таком пустяковом деле, так как Ги, по его словам, обладал внушительным досье против Мартины. Это досье, как мы обнаружили впоследствии, состояло из показаний тех, кто работал у Ги или принадлежал к его окружению (с некоторыми из них Мартина не была даже знакома), а также одного полицейского, инспектора Л., которому Ги оказал немало услуг. Но главным было письменное заявление некоего Марка, техника с телевидения Монте-Карло, о его связи с Мартиной — фальшивка, которую, как нам теперь точно известно, из него вытянули путем угроз и шантажа (см. Приложение 2).

Об устроенном Т. соглашении тогдашний министр юстиции Ален Пейрефитт, к которому я много позже апеллировал от имени Мартины и ее родителей, сказал так: «Неслыханно!» *Мартине надлежало жить в радиусе пятисот метров от дома ее бывшего мужа* (Ги обязывался выплачивать ей тысячу франков ежемесячно на аренду однокомнатной квартиры). *Ей запрещалось работать после восьми часов вечера* (что лишало ее возможности остаться на телевидении). Ей запрещалось возить детей к своим родителям в Жуан-ле-Пэн, во всяком случае так Ги истолковал тот пункт, что «ни при каких обстоятельствах материальная забота о детях не может быть вверена родителям матери». При этом дети оставались у Мартины, и ей назначалась тысяча двести франков в месяц на содержание старшего ребенка и шестьсот франков на младшего.

По словам мсье Пейрефитта, выделенные курсивом условия противоречат Декларации прав человека и французской конституции.

Я сомневаюсь, чтобы у подобного соглашения нашелся прецедент, и все же Мартина, в результате требований мужа в сочетании с профессиональной неграмотностью или каким-то другим пороком ее адвоката и поразительной безучастностью судьи, оказалась во власти этого документа. Неизбежно события приняли драматический оборот.

После разрыва с мужем, но до развода Мартина с пятилетней дочерью Александрой поселилась в квартирке, расположенной примерно в пятистах метрах от дома Ги, как того требовало соглашение. В августе 1979 года родился ее второй ребенок — девочка Сандрина.

С этого времени жизнь Мартины стала пыткой. Пользуясь правом на посещение детей, Ги изводил ее оскорблениями и угрозами, смысл которых сводился к следующему: «Я тебя изничтожу или отберу детей». Это его собственные слова, которые он повторил в телефонном разговоре с подругой Мартины.

Однажды утром, когда младшая девочка спала, он ворвался в квартиру и напал на Мартину в присутствии соседки, прибежавшей на крик (см. Приложение 3). Врач составил подробный отчет о нанесенных ранах, который Мартина передала своему адвокату. Т. сказал, что инцидент ни в коем случае нельзя предавать гласности, ибо это лишь задержит развод «по обоюдному согласию», который, как он утверждал, был уже делом решенным.

Наконец 19 ноября 1979 года судья по бракоразводным делам в Tribunal de Grande Instance[1] города Ниццы объявил супругов разведенными и утвердил окончательный текст документа. Условия соглашения вы-

[1] Суде высшей инстанции *(франц.)*.

звали у судьи некоторые сомнения, но адвокат Ги заявил, что за Мартиной имеется «провинность», и сослался на ложные показания Марка.

Итак, последовав советам своего адвоката, Мартина оказалась в ловушке. Она была теперь более чем когда-либо связана с бывшим мужем, который поклялся погубить ее, используя при этом самое жестокое оружие — ее детей. Один из первых законов мафии состоит в том, что за всяким неповиновением следует кара, а Мартина, уйдя от мужа, отказалась повиноваться!

2

Видя это хождение по мукам и наблюдая за поведением Даниеля Ги, я захотел побольше узнать об этом человеке и о его прошлом.

В том, что он связан с преступным миром, меня впервые убедил телефонный разговор между ним и Мартиной, услышанный в доме ее родителей. Вот что он говорил: «До сих пор я стрелял холостыми; я еле уговорил своих друзей из milieu [1] не вмешиваться. Но ты меня знаешь, если дело дойдет до крайности, я за себя не отвечаю. Как бы тебе не пришлось сцепиться с ними».

Услышав это, я навел справки в Лионе — городе, возле которого он родился. В результате многое прояснилось. С 1960 по 1970 год его три раза приговаривали к заключению в лионских тюрьмах за различные правонарушения: хулиганское нападение, мошенничество, кражу, сокрытие краденого, и в четвертый раз в Италии за кражу. В целом он провел за решеткой больше пяти из этих десяти лет (см. Приложение 4).

Я решился на разговор с Ги. Он дал согласие, и мы встретились в моей квартире в Антибе 15 января 1980 года. (Его ближайший друг Люсьен Бонито, также связанный с milieu, приехал вместе с ним, но остался внизу в машине). Когда я спросил Ги о его прошлом, он ответил со всей откровенностью, что да, действительно ему случалось сидеть в лионских тюрьмах. Он говорил об этом совершенно спокойно как о пустяковых ошибках юности.

Конечно, до женитьбы он благоразумно умолчал о своем прошлом, а когда после создания СЕЖИ отец Мартины обнаружил, что его зять не может подписывать чеки фирмы, ибо лишен гражданских прав, Ги объяснил это тем, что, будучи в Алжире, он состоял в ОАС. По моим сведениям, Ги действительно входил в особую группу палачей, набранную из лионского «дна» в последние дни существования ОАС (см. Приложение 5).

Далее я заговорил о разводе и о его поведении после развода. Я сказал, что он, по-видимому, лучше обошелся со своей первой женой: — Ваш сын Патрик живет с матерью в Вогезах и приезжает к вам в Ниццу летом. Почему бы вам не договориться в этом же роде с Мартиной?

— Никогда! — ответил он.— Мартина может жить где хочет, но м о и дети останутся здесь.

[1] «Общество», «среда» *(франц.)* — так во Франции называют преступный мир.

Наконец речь зашла об условиях «развода по обоюдному согласию» и о прегрешении, которое приписывалось Мартине. Он с самодовольным видом заявил: — Конечно, я знаю, что это неправда. Я этому Марку заплатил за показания. А потом мы с Бонито его как следует разукрасили. Как бы там ни было,— добавил он,— они были друзьями, а по мне, дружба или прелюбодеяние — все одно.— Ложность этих показаний он признал также в разговоре с сестрой Мартины — Брижиттой. Со своей стороны Марк теперь письменно засвидетельствовал то, что произошло в действительности.

Перед уходом Ги посмотрел мне в глаза и сказал: — Знайте: я — стена! — Это было то самое выражение, которое позже я услышал от сотрудника Министерства внутренних дел.

После этой встречи угрозы и хулиганские выходки участились. 1 апреля 1980 года он позвонил матери Мартины и угрожал «размозжить ей череп», а через час после этого попытался вломиться в дом супругов Клоэтта: они вынуждены были вызвать полицию.

На следующий день — утром 2 апреля — отцу Мартины позвонил Бонито: «Советую одуматься — иначе пеняйте на себя».

В тот же день Ги напал на мсье Клоэтта, когда тот отвозил Мартину с маленькой Александрой домой в Ниццу. Чтобы защитить отца, Мартина вынуждена была воспользоваться баллончиком со слезоточивым газом. Это случилось во дворе перед домом Мартины. Услышав крики, к ним бросился садовник, но Ги уехал, прихватив с собой девочку. Позже он отказался вернуть Александру матери. Все эти события произошли не в те дни, когда он имел право навещать детей.

После этого в связи с похищением ребенка семья подала официальную жалобу в антибскую полицию, а также в Отдел по делам несовершеннолетних, но все так и осталось на бумаге: на папке с делом был поставлен штамп «Закрыто». Ровным счетом ничего не было сделано для проверки фактов, ведь недаром Ги говорил Мартине: «Пиши жалобы сколько хочешь, я-то знаю, куда их сложат». Он был уверен в себе и в своих покровителях и открыто хвастал связями с полицией: «Мы (то есть milieu) держим своих людей в полиции, и это нам недешево обходится. Так что это нам раз плюнуть. Погоди, то ли будет!»

Еще до расторжения брака Мартина и ее отец стали свидетелями прекрасных отношений Ги с одним полицейским. Инспектор Л. пригласил их к себе на обед и долго изливал свою благодарность Ги за работы — судя по всему, бесплатные,— произведенные в этом доме.

В результате описанных событий образовался тупик. По суду Александра была на попечении матери, но в действительности жила у отца, который захватил ее, не имея на то законных оснований. Шестилетняя девочка по вине отца оказалась под небывалым психологическим давлением, став предметом бесконечных, мучительных препирательств и свидетельницей физического насилия. Все это не могло не отразиться на ее психике, и она стала вести

себя агрессивно по отношению к матери и младшей сестре во время их непродолжительных встреч в квартире Мартины.

Мартина представила своему адвокату отчет о сложившемся положении, и Т. пригласил ее к себе в контору. Пора было сделать какое-то заключение, и вот совет адвоката:

«Ваш бывший муж явно намерен заживо похоронить вас с детьми в вашей квартире. Поскольку после развода вы от него непосредственно не зависите, он использует детей, чтобы оказать на вас давление. В сложившейся ситуации, чтобы успокоить этого маньяка, я вам советую временно передать Александру на попечение вашего бывшего мужа, скажем, сроком на два месяца».

Т. заверил Мартину, что при этом она сохранит полные права на детей и эта временная мера не будет иметь никаких юридических последствий. Желая вырвать дочь из чистилища, в котором она оказалась, Мартина сказала, что, вероятно, последует совету.

Вслед за этим Т. предложил ей провести с ним вечер в ночном клубе «Рюль», где выступала Жюльетта Греко. Поколебавшись, Мартина согласилась, так как ей хотелось обсудить свои проблемы подробнее, чем это возможно на официальной консультации, ограниченной во времени и без конца прерываемой телефонными звонками.

Прежде чем они расстались, он предложил ей на следующий вечер сходить в кино с ним и двумя его друзьями. После кино они поужинали в ресторане в компании двух женщин определенного сорта, которых они затем отвезли в ночной клуб «Камарг». После этого Т. стал уговаривать Мартину поехать с ним на следующий день на partouze в один скандально известный дом в Канне, но Мартина отказалась (partouze — это вечеринка, в ходе которой пары меняются партнерами). Впоследствии Т. пытался отрицать факты и уверял меня, что Мартина его не так поняла. Увы, приведенные ею подробности не оставляют места для сомнений, к тому же от других мне известно, что Т. был любителем такого рода вечеринок. Этот адвокат, которому было поручено защищать материнские права молодой женщины, либо сознательно пытался втянуть ее в западню, либо совершал серьезнейшую ошибку — ибо, зная, что Мартина в течение шести лет работала диктором на телевидении Монте-Карло, нетрудно было догадаться, что ее тут же узнали бы в этом каннском доме. О ее присутствии на partouze, даже в качестве стороннего наблюдателя, обязательно стало бы известно Ги, а Ги не преминул бы обвинить свою бывшую жену в безнравственности, чтобы отвоевать права на детей.

Позже мы узнали, что в течение всего этого времени Т. постоянно переговаривался с Ги по телефону, а я не мог не вспомнить, как сам Т. однажды рассказал мне, что еще до оформления развода он случайно встретился с Ги на горнолыжном курорте и тот пытался подкупить его.

Итак, метр Т. был освобожден от ведения дела, и его обязанности взяла на себя метр А.— женщина, честность которой не вызывает сомнений.

3

Каково же подлинное лицо этого человека, который в обход закона поселил у себя шестилетнюю Александру? Нам было известно его прошлое — так называемые ошибки юности, в которых он с легкостью признавался,— но что он представляет собой сегодня?

После того как Ги в телефонном разговоре сослался на «друзей из milieu», я навел справки в Лионе, но наше расследование этим не ограничилось. Оказалось, что среди друзей Ги кроме его ближайшего друга Люсьена Бонито были братья Молинье, которые ныне отбывают тюремные сроки в двенадцать и девять лет за торговлю фальшивыми банкнотами, а в прошлом действовали под предводительством некоего Урбена Гиома, недавно умершего на больничной койке. Последний был известен как крестный отец пресловутой «French Connection» — организации, сбывавшей наркотики в Соединенные Штаты и тесно связанной с итальянской мафией. Мэр Антиба собрал по нашей просьбе неофициальную информацию о кругах, в которых, по-видимому, вращался Ги, и подвел следующий итог: «Они убийцы». Это в особенности относилось к старшему из братьев Молинье — Кристиану, прозванному Le Blême (Бледнолицый). Что же касается самого Ги, мэр Ниццы мсье Жак Медсэн так назвал его в одном интервью, опубликованном в «Нис-Матен»: этот truand Lyonnais [1].

Один интересный факт был очевиден и без расследования. В годы супружества Ги производил впечатление человека весьма скромного достатка. Я не раз предоставлял ему свою парижскую квартиру — чтобы избавить его от расходов на гостиницу,— когда он по делам ездил в столицу. Теперь, через два года после развода, каким-то таинственным и неведомым налоговому управлению образом, он стал обладателем «роллс-ройса» — служебного, конечно, «БМВ» [2] для личного пользования и моторной яхты. В Мон-Бороне (Ницца) на земельном участке, ранее принадлежавшем его другу Бонито, он построил виллу, которую теперь продавал за два с половиной миллиона франков. Пособие, которое он выплачивал на содержание Сандрины, достигло восьмисот франков в месяц (соглашение содержало пункт, обеспечивающий рост пособия в соответствии со стоимостью жизни). Его фирма СЕЖИ — респектабельный фасад, за которым скрывается этот человек,— получила контракт на продажу роскошных квартир в гигантском доме под названием «Шато Сент-Анн» в Нис-Фаброне; среди покупателей, которые внесли первый взнос еще до завершения отделки, находим все тех же людей из milieu: братьев Молинье, Бонито, самого Ги.

Еще один аспект его стремительно нажитого богатства связан с войной за игорные дома, которой руководит Жан-Доминик Фратони, друг детства мэра Ниццы — мсье Жака Медсэна. Эти двое, по словам самого мэра, задумали превратить Ниццу во французский Лас-Вегас, сосредоточив в руках

[1] Лионский проходимец *(франц.)*.
[2] Марка автомобиля.

Фратони такие казино, как «Рюль», «Пале де ля Медитеранэ» и «Сан-бич» в Ментоне. В качестве первого шага после овладения «Рюлем» требовалось разорить оставшихся конкурентов. Один судья в Ницце сообщил мне в личной беседе, что Ги и его друзья Бонито и Кристиан Молинье были среди тех «счастливчиков», которые сорвали банк в ментонском казино, вызвав его крах в сентябре 1975 года, а Молинье входил также в компанию «везучих» игроков, которые раньше нанесли почти сокрушительный удар по «Медитеранэ». Судья объяснил мне, как трудно здесь что-либо доказать, а без доказательств ничего предпринять невозможно.

Ко мне попала переснятая страничка полицейского отчета по ментонскому делу. Играли в trente-et-quarante [1]. Счастливчиков было тринадцать, все они подсели к столу довольно поздно и сделали максимальные ставки. Их общий выигрыш составил 3 105 050 франков. Ги положил в карман 265 000 франков, Бонито — 200 000, Молинье — 135 000; из остальных большинство были итальянцы. В полицейском отчете указывалось место каждого из игроков по отношению к крупье; в итальянскую полицию был послан запрос об игравших итальянцах. О Ги сказано следующее: «В деловом и нравственном отношении характеризуется отрицательно. Скомпрометирован в связи с хищением ювелирных изделий в Швейцарии. Судим за хранение краденого».

Ги сказал одному журналисту, что в тот счастливый вечер он единственный раз в жизни играл в казино. У Мартины память оказалась получше (см. Приложение 6). Позже, в сентябре 1980 года, он хвастал своей любовнице, что сорвал небольшой куш в «Казино де ля Валле» в Сен-Венсане (в долине Д'Аоста) вместе с Бонито и неким Джузеппе Марторана, которого он назвал ouvrier des cartes [2]. Марторана жил тогда в Бордигере в доме с наглухо закрытыми железными ставнями и ездил в машине с пуленепробиваемыми стеклами; ныне он объявлен нежелательным лицом во всех казино Франции и Италии, но продолжает играть, изменяя внешность и предъявляя фальшивые документы. В тот раз три приятеля удовлетворились выигрышем в 900 000 франков. Марторана входит в отделение итальянской мафии, vice capo [3] которого — Чезаре Вальсания — работал в казино «Рюль», подвластном Фратони. Еще в кружок Марторана входил Франческо Руселло, на чье имя в сейфе гостиницы «Меридиан» (казино находится в этой гостинице) были положены на хранение три револьвера и штык! Сейчас он сидит в итальянской тюрьме.

Я вспомнил об этих итальянских связях, когда в декабре 1980 года в моей квартире раздался телефонный звонок (моего номера нет в телефонной книге) и незнакомый голос спросил — сначала на невразумительном английском, а затем по-французски: не приму ли я у себя трех членов «Красных бригад». «Нет», — ответил я. «Pourquoi?» [4] — «Потому что на следующий день мне пришлось бы покинуть Францию». Мой собеседник повесил трубку. Кто это был — действительно член «Красных бригад» или человек, подосланный Даниелем Ги? Когда-нибудь я, быть может, узнаю и это, и личность господина Икс, который в апреле минувшего года пытался в мое отсутствие вломиться в мою антибскую квартиру.

Ги продолжает интересоваться игорным бизнесом и, возможно, сохраняет связь с Фратони, которого теперь разыскивает французская полиция за неуплату налогов на сумму в несколько миллионов франков. В 1980 году Ги в сопровождении все того же Бонито и еще одного приятеля — Жана-Пьера Маттеи (в прошлом adjoint au maire [1] в парижском предместье Клиши, а ныне член палаты депутатов и управляющий крупной компании САДЕРИ), вместе с инспектором парижского отдела по надзору за игорными заведениями, летал на Мартинику, где состоялись переговоры о покупке казино на острове Сен-Мартен. Газета «Патриот Кот д'Азюр» от 11 февраля 1982 года сообщает, что Фратони жил в то время на Сен-Мартене, хотя мэр Ниццы мсье Медсэн недавно заявил в беседе с журналистом, что его старый друг дважды в месяц звонит ему, «по-видимому, из Швейцарии». Эти разговоры ведутся с помощью условного кода, так как мэр опасается, что его телефон прослушивается!

4

Тем временем Ги усиливает наступление на бывшую жену — как на юридическом фронте, так и на житейском.

Зная, что поданным на него жалобам не дан ход, он чувствует себя вправе вызвать бывшую жену в суд для пересмотра вопроса о детях. Первое слушание было назначено на 6 мая 1980 года. Теперь Мартину сопровождала метр А.

Все было тщательно подготовлено, чтобы не дать Ги поставить под сомнение права Мартины. Однако в последнюю минуту адвокат Ги сообщил А., что судья не будет рассматривать основной вопрос, а всего лишь утвердит передачу Александры на попечение Ги сроком на два месяца.

Постановлением от 6 мая 1980 года судья М.:

«Временно поручает Александру ее отцу *(у которого она и так уже жила)* и указывает на необходимость выяснения морального и материального статуса обоих родителей с тем, чтобы *собрать все необходимые сведения о них* и об условиях, в которых живут и воспитываются дети».

Да, мсье Ги силой отобрал Александру, но — хотя девочка находилась у отца — судья М. не принял во внимание plainte [2], поданную Мартиной за месяц до этого в отдел по делам несовершеннолетних в связи с тем, что ее бывший муж, попросту говоря, похитил ребенка, отменив тем самым и пособие, которое он обязался выплачивать на ее содержание.

Тот же судья, признающий в своем постановлении, что у него недостаточно сведений о родителях, счел возможным пору-

[1] «Тридцать и сорок» *(франц.)*. — карточная игра.
[2] Карточным профессионалом *(франц.)*.
[3] Заместитель шефа *(итал.)*.
[4] Почему? *(франц.)*

[1] Помощник мэра *(франц.)*.
[2] Официальную жалобу *(франц.)*.

чить Александру отцу, вознаградив его таким образом за coup de force [1]. Когда-нибудь эти ценные сведения все же увидят свет. Разве судья не проявил предвзятость? Разве он сам себя отчасти не выдал на «слушании» 6 мая, когда встретил Мартину словами: «А, так это вы дама со слезоточивым газом?» Да, Мартина совершила это «преступление» — защитила отца от нападения Даниеля Ги. Судье, очевидно, ничего не было известно о том что человек, которому он доверил шестилетнюю девочку, отбыл четыре срока тюремного заключения с 1960 по 1970 год, равно как и об оценке его деловых и моральных качеств в полицейском отчете 1975 года.

Так называемое расследование состоялось через месяц. Им занималась жена секретаря судьи М. Мадам Н. посетила Мартину. Разговор был коротким: она отказалась упомянуть в протоколе досье, собранное Мартиной и содержавшее, в числе многочисленных свидетельств в ее пользу, письменные показания детского врача и директора школы, в которой училась Александра.

16 декабря 1980 года, опять по настоянию Ги, претендовавшего теперь на обоих детей, состоялось новое слушание дела у судьи М. Согласно принятому постановлению, Сандрина осталась на попечении матери, а Александра — временно на попечении отца. Кроме того, судья распорядился показать Александру специалистам — для оценки физического и психического состояния ребенка. Стоит ли говорить, что осмотр не состоялся?

На это второе слушание Мартину сопровождал метр Ж., один из ведущих адвокатов Ниццы, так как А. честно призналась, что с этим делом ей не справиться: она впервые столкнулась с подобной ситуацией.

Параллельно с официальным наступлением Ги вел безжалостную тайную войну против бывшей жены, что означало: постоянное наблюдение, попытки выследить ее всякий раз, когда она выходила из дому (а она вынуждена была жить все в той же квартире — в пятистах метрах от дома Ги), нескончаемые телефонные разговоры с ней и ее родителями, угрозы отнять младшую дочь... Опасаясь последствий, Мартина терпела все. Она часами выслушивала по телефону рассказы о его сексуальных похождениях. Вот лишь несколько фраз:

Ги: «Летом мы с дружком дали жизни. Представляешь, за два месяца сорок девок». Или еще (это было в декабре 1980 года, когда, как помним, у него жила Александра): «Я теперь сплю с такими бабами — да-да, они ко мне еще сами липнут,— так вот (в его голосе презрение и насмешка) ты рядом с ними просто стыдливая добродетель. Ты меня слышишь?»

Грустный пример для семилетней девочки, которая видит, как рара без конца водит в дом своих copines [2].

Но это еще не все. Тогда же, в декабре 1980 года, поссорившись со своей очередной любовницей — мадемуазель Эскриван, Ги разбил ей нос. Врач установил перелом, подтвердил диагноз рентгеновским снимком и выдал ей справку о временной нетрудоспособности на месяц. Мадемуазель Эскриван отправилась в антибское управление полиции и подала на Ги в суд. Ги донесли об этом через час; он позвонил ей: «Забери свою жалобу, не то хуже будет». Но она не уступила. Два дня спустя и этой женщине пришлось звонить в полицию: у подъезда своего дома она заметила «роллс-ройс» Даниеля Ги. С присущей ему самоуверенностью Ги заявил: «А мне плевать! Все равно твои жалобы похоронят там же, где все остальные. Надоело только из-за вас ходить в участок».

Настало время искать помощи вдали от Ниццы, бежать от здешних судей. Я написал хранителю печати ордена Почетного легиона и отослал ему знак кавалера ордена, который был мне пожалован во времена президента Помпиду. Копию письма я отправил Алену Пейрефитту — тогдашнему министру юстиции. Я написал, что, как иностранец, хочу чувствовать себя совершенно свободным, чтобы выступить от имени пострадавшей. Хранитель печати вернул мне мои знаки отличия, а Ален Пейрефитт предпринял незамедлительные шаги. Он сразу же командировал инспектора министерства и судебного ревизора для проведения расследования на месте, а позже пригласил меня в министерство и долго беседовал со мной, задавая множество вопросов. Результаты расследования, естественно, остались в секрете, но я все же узнал, что один из заместителей прокурора города Ниццы «переведен на другую работу по служебным соображениям». Этот заместитель прокурора был приятелем Ги, и тот не раз принимал его у себя, дабы произвести впечатление на других гостей. Ги же устроил ему квартиру со скидкой в «Шато Сент-Анн».

В мае 1981 года, после избрания президентом Франсуа Миттерана, Ален Пейрефитт покинул министерство юстиции, не успев завершить расследование, а несколько позже, 22 июня 1981 года, явно потому, что мадемуазель Эскриван кое-что рассказала о Ги представителям министерства, к ней на стройку (она работала в строительной фирме) явился какой-то головорез; был вечер, и рабочие уже разошлись. Как она впоследствии сообщила полиции, этот бандит, войдя в контору, перерезал телефонный шнур, направил на нее револьвер и сказал: «Выходит, разбитого носа тебе мало? Ну так я тебя пристрелю». На стройку въехал грузовик, и головорез укатил в сером «мерседесе», ударив ее на прощанье рукояткой револьвера по голове. За несколько дней до этого Ги подъехал к мадемуазель Эскриван на своем «роллс-ройсе» на улице Променад-дез-Англе и сказал ей, что она не доживет до конца года.

Два полицейских узнали бандита по ее описанию. Они назвали даже номер машины — фальшивый номер, в действительности не существующий. Это был известный полиции уголовник — завсегдатай бара, который содержал один осведомитель. Следствие по делу не состоялось. То ли по инициативе комиссара, которому поручили дело, то ли по решению кого-нибудь повыше в полицейской иерархии, но дело бросили,

[1] Применение силы (*франц.*).
[2] Подружек (*франц.*).

как говорится, dans le lac[1]. Жалобы мадемуазель Эскриван были рассмотрены в Ницце 6 декабря 1981 года. После трехчасового слушания суд снял с Ги все обвинения.

Тем временем Мартина, сознавая, что творится вопиющая несправедливость, попросила своего нового адвоката Ж. подать апелляцию против постановления судьи от 16 декабря 1980 г., на этот раз в суд города Экс-ле-Прованс. Эта апелляция по крайней мере освободила ее от условий, которые серьезнейшим образом ограничивали ее свободу. Не могли же судьи в самом деле поддержать нарушение французской конституции! Однако, несмотря на красноречивые факты, характеризующие Ги, Александру «временно» оставили на попечении отца, поставив окончательное решение в зависимость от медицинского обследования ребенка (Сандрину оставили матери — иначе поступить было бы просто невозможно). Об этом решении нам сообщили 4 ноября 1981 года (в апреле 1982 года, когда пишутся эти страницы, обследование девочки еще не состоялось, так как отец отказался внести необходимую плату). Такой результат, как ни странно, удовлетворил Ж., и семья сочла необходимым нанять парижского адвоката, чтобы представить дело на рассмотрение Cour de Cassation — Верховного суда Франции — или начать новый процесс, но парижский адвокат столкнулся с непонятными трудностями при попытке получить досье у Ж., хотя по закону досье принадлежит клиенту. Еще одна тайна правосудия Ниццы!

Для Ги война не окончилась: он вознамерился получить права на обоих детей, чтобы полностью подчинить себе Мартину, играя на ее чувствах к детям. Ему уже временно доверили Александру, и теперь он отчаянно пытался заполучить младшую девочку, которая родилась после развода и не знала даже, как выглядит ее отец. Обращают на себя внимание его слова в записанном на пленку телефонном разговоре: «Чтобы хоть что-то получить, надо требовать все — при разводе это обычное дело. Не думаешь же ты, что мне и впрямь был нужен этот ребенок...» Ребенок для него ничего не значил — это был просто предмет, который может пригодиться.

Воспользовавшись правом на свидания с детьми, он еще до апелляции потребовал, чтобы Сандрину, которой тогда было полтора года, отдали ему на субботу и воскресенье. После этого уик-энда он говорил Мартине по телефону: «А... малышка... да, она пищала. Пару раз подбегала к двери... скреблась в дверь... ну ладно, пока не подрастет, я воздержусь». Девочку стали мучить кошмары — пришлось обратиться к врачу

Несколько недель спустя, в качестве ответной меры на апелляцию, Мартина получила заказное письмо: «В соответствии с постановлением о разводе я приду к тебе на квартиру и заберу обеих дочерей в понедельник 17 августа 1981 года, в девять часов утра. Сандрину я приведу назад в твою квартиру в понедельник 21 сентября 1981 года, в шесть часов вечера».

[1] И концы в воду *(франц.)*.

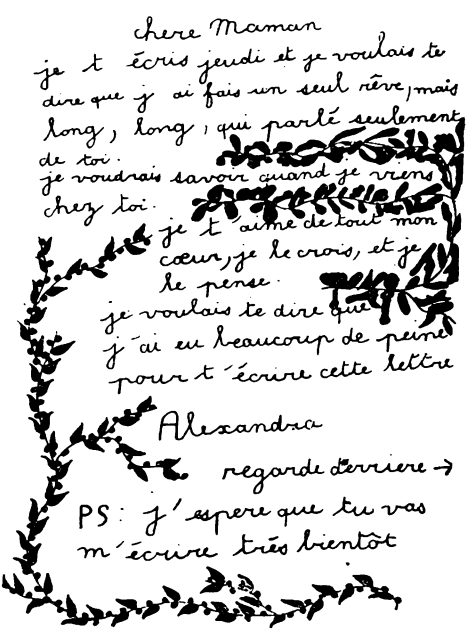
Это было слишком. Страшно было даже подумать, что ребенок, которому только что исполнилось два года, может остаться на тридцать пять дней в руках отца-преступника и его новой любовницы — девицы девятнадцати лет. Уведомив прокурора, Мартина с младшей дочерью уехала за границу, скрепя сердце оставив Александру,— ведь Ги получил ее из рук правосудия, которое, не понимая или не желая понять правды, доверило девочку преступнику, способному научить ее ненависти, но не любви.

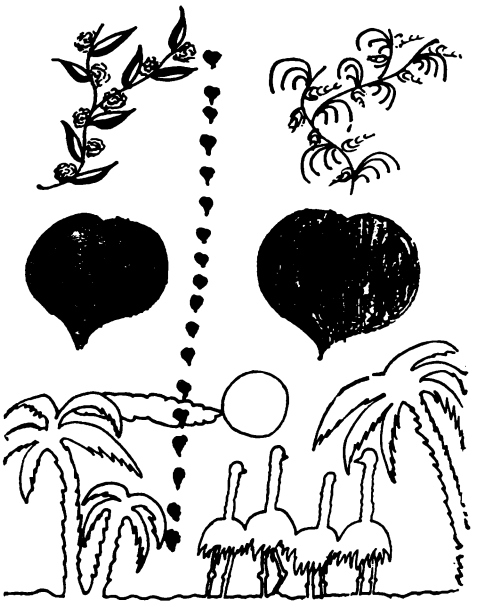
Вот письмо, которое Александра, будучи разлученной с матерью, написала тайком от отца (штамп на конверте датирован 6 октября 1981 года):

«Дорогая мама,
пишу тебе в четверг и хочу сказать, что мне приснился только один сон, но длинный-длинный, и все о тебе.
Я хочу знать, когда я к тебе вернусь.
Я тебя люблю всем сердцем, я так считаю и так думаю.
Я хотела тебе сказать, что мне было очень трудно написать это письмо.
Александра.
Переверни листок.
P. S. Надеюсь ты мне очень скоро напишешь».

Говорят, иногда жулик — прекрасный отец. И так, наверное, бывает, но поведение Ги отчетливо показывает, что дети для него — лишь орудие пыток, с помощью которого он поклялся погубить их мать, хотя бы для этого пришлось погубить и самих детей. Давление на маленькую Александру началось сразу после развода, когда отец сказал ей: «Понимаешь, твоя мать... Мартина... она тебе больше не maman, потому что у вас с ней теперь разные фамилии».

Наказать непокорную женщину — жену или любовницу — требует один из законов мафии, и им руководствуются не только «крестные отцы», но и мелкие уголовники.





5

J'accuse — да, я обвиняю, но не только мелкого проходимца, человека с расстроенной психикой, возможно параноика, личность болезненную и жалкую. Он был бы бессилен без поддержки; это поддержка со стороны некоторых полицейских, судей и адвокатов заставила его уверовать в полную безнаказанность. Свое преступное видение мира он считает полностью оправданным.

Нет, я обвиняю не только Ги. Я обвиняю адвоката в том, что его стараниями молодая женщина и двое детей оказались в руках преступника с больной психикой.

Я обвиняю некоторых полицейских Ниццы в том, что они покрывают преступников и поощряют их на преступления, гарантируя неприкосновенность — либо в обмен на нужные сведения, либо за деньги и прочие услуги.

Я обвиняю некоторых судей в том, что они намеренно закрыли глаза на серьезную проблему, связанную с душевным состоянием двух детей.

Есть, конечно, Верховный суд, заслуживающий полного доверия, но при попытке подступиться к нему мы столкнулись с теми же темными силами, которые перекрыли все пути к реальному правосудию в Ницце. Эти новые сложности следует добавить к выдвинутым обвинениям.

Мои обвинения серьезны. Я это знаю. Есть ли у меня доказательства? Их немало, и я пишу на основании трех лет внимательных наблюдений, совпадающих улик и тщательного расследования, провести которое не смогли или не захотели полицейские и судьи Ниццы. (С тех пор как я начал писать этот очерк, мне прислали множество других досье, столь же серьезных, хотя и не имеющих юридической силы.) Но в конце концов разве у Эмиля Золя были «железные» доказательства, когда он напечатал свое «Я обвиняю» в защиту Дрейфуса? Доказательства появились позже. Надеюсь, они появятся и в нашем деле.

Я намеренно дал этому очерку подзаголовок «Теневая сторона Ниццы». У Ниццы есть, конечно, и солнечная сторона, но о ней пусть говорит мэр города, мсье Жак Медсэн.

Приложение 1

Мартина пишет: «Однажды ночью, около полуночи, нас разбудил звонок внутреннего телефона. Я видела, как Даниель вскочил с постели и коротко переговорил с человеком, который звонил снизу. Я осталась в спальне. Даниель открыл дверь квартиры, и я видела, как он побежал на террасу и что-то бросил в мусоропровод. Все произошло очень быстро. Даниель вернулся в спальню и наспех оделся. Я спросила, что происходит, и он ответил: «Это Бонито, у него проблемы; я еду в Меай (загородный дом Бонито) — надо кое-что туда отвезти. Я скоро вернусь».

Он вернулся около трех часов ночи, очень усталый, и только на следующий день рассказал мне, что произошло. «Бонито почувствовал, что за ним следят, он в опасности. Он пришел к нам, чтобы избавиться от одного чемоданчика. Его-то я и бросил в мусоропровод, а потом вытащил, чтобы отвезти в Меай. На дороге был полицейский кордон, так что я на ходу выбросил чемоданчик в кювет. Когда кордон сняли, я вернулся, чтобы найти чемоданчик. Как бы не так! Темно было. Теперь надо ехать: я должен найти этот чемоданчик».

Я так и не узнала, что было в этом чемоданчике и что с ним стало.

После этой ночи Бонито двое суток допрашивали в полиции. Потом Даниель сказал мне: «Бонито пришлось попотеть, но из него ничего не вытянули».

Приложение 2

Я, нижеподписавшийся Марк Акилина, свидетельствую, что в августе 1978 года г-н Ги и еще два лица мужского пола заставили меня написать письмо, в котором я сообщал, что состою во внебрачных отношениях с его женой. Я написал эту бумагу под его диктовку, так как он дал мне понять, что от этого зависит мое семейное благополучие. Это свидетельство, по его словам, требовалось ему, чтобы получить ребенка после оформления развода.

Настоящим я свидетельствую, что между мной и Мартиной никогда не было никаких внебрачных отношений, а только глубокая дружба. Эта дружба завязалась оттого, что Мартина рассказала мне, что некоторые поступки мужа пугают ее, а я, как ее товарищ по работе, счел своим долгом успокоить и утешить ее, не становясь при этом ее любовником.

Повторяю, г-н Ги, прекрасно зная, что между мной и его женой ничего не было, заставил меня написать эту бумагу.

Приложение 3

Мартина пишет: «Развод был в процессе оформления, и дело понемногу продвига-

лось; я уже жила с обоими детьми в Ницце, примерно в пятистах метрах от дома моего бывшего мужа, как требовало соглашение. Наша старшая дочь Александра провела субботу и воскресенье у отца. В воскресенье вечером Даниель привел ее назад и пожелал видеть Сандрину.

Я сходила за малышкой и дала ее ему в гостиной, а не в спальне, как бывало раньше. Почти сразу после этого он ушел. На следующее утро около девяти часов зазвонил телефон. Он сказал: «Чтобы не повторять вчерашнюю комедию и не прятать любовника в шкафу, будешь теперь приводить Александру ко мне на работу».

Это было настолько нелепо и даже смешно, что я не сочла нужным отвечать, а просто сказала: «Хорошо».

Через несколько минут позвонили в дверь. Ничего не подозревая, я открыла дверь и опомниться не успела, как он повалил меня на пол и стал избивать, а потом сказал: «Вставай, иди в гостиную, надо поговорить». Я была перепугана, потому что в такие минуты у него с лицом творится бог знает что, у меня нет слов, чтобы это описать. Я могу сказать одно: он мог бы меня убить.

К счастью, дверь квартиры осталась открытой. Я вывернулась, выбежала на площадку и закричала изо всех сил. Мой крик встревожил мадам Лабро: она открыла мне дверь, и я бросилась к ней. Он продолжал бить меня и оскорблять меня и мою семью. Я закричала: «Этот человек был в тюрьме».— «Да,— ответил он,— за ОАС»,— и скрылся. Наш консьерж мсье Гарнье тоже поднялся и наблюдал всю эту сцену. Он помог мне дойти до квартиры, где осталась моя младшая дочь — ей тогда был месяц.

В тот же день я получила от врача две справки с описанием ушибов и кровоподтеков — они приложены к моему досье.

Через несколько дней я отнесла документы по этому делу адвокату Т. Вот что он мне сказал: «Вы ни в коем случае не должны подавать в суд и вообще ссылаться на этот инцидент, это только затянет развод: этот маньяк может опять заартачиться».

Приложение 4

Прошлое Даниеля Ги

1. Судимости (без амнистии):

Осужден 22.03.1967 судом высшей инстанции г. Лиона (пятым отделением) за кражу, подделку знаков отличия, мошенничество и пособничество в сокрытии краденого за период с 22.04.1965 по 24.11.1965.

Приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Взят под стражу 4.11.1965.

Осужден 13.05.1969 судом «Assise Correzionali Mendrisio» в Италии за кражу, совершенную 29 и 30.09.1968.

Приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы и высылке из страны на десять лет.

2. Полицейский отчет об одном из «счастливчиков», разоривших казино в Ментоне в сентябре 1975 года:

«Даниель Ги. В деловом и нравственном отношении характеризуется отрицательно. Скомпрометирован в связи с хищением ювелирных изделий в Швейцарии. Судим за хранение краденого».

Приложение 5

Мартина пишет: «В течение шести лет нашей совместной жизни Даниель не уставал рассказывать мне о своих подвигах в ОАС. Он показывал мне диплом и медаль с гордостью настоящего героя. Он мог без конца говорить о том, как совершал вылазки в Оресе, как уходил от опасности, и так далее. Он говорил, что состоял в ударной группе под командованием некоего подполковника Реми. Мне было известно абсолютно все о его похождениях в Алжире. Так по крайней мере я думала, пока не состоялся один разговор. Это было, кажется, в апреле — мае 1978 года, когда обстановка в семье уже накалилась. Мы решили поужинать в ресторане. Наши отношения были натянутыми, нервными. Пытаясь разрядить атмосферу, я заговорила об ОАС и об Алжире, то есть о том времени в его жизни, которое он всегда вспоминал с радостью и воодушевлением. Тогда он поведал мне о кошмарных вещах: он стал подробно вспоминать, как пытал «феллахов», как спокойно перерезал им глотки, особенно в начале своей карьеры — «для практики». Его лицо при этом изменилось, казалось, ему стало трудно произносить слова, а в уголках губ появилась пена. Завершив рассказ, он ухмыльнулся, и мне показалось, что передо мной чудовище. Меня охватил ужас. В ту ночь я не могла уснуть. Я слушала, как он дышит».

Приложение 6

Мартина пишет: «Это началось вскоре после нашей женитьбы: он нередко проводил по полночи в казино Монте-Карло и Ментоны или в «Пале де ля Медитеранэ» в Ницце. Когда я сказала, что мне неприятно оставаться одной, он ответил: «Дело того стоит. Если я выиграю, то по-крупному, и я в любом случае не проиграю».

Когда я удивилась, он добавил: «Мы идем с Бонито. Крупье — наш приятель. Он по-особому тасует карты, и если легла наша карта, он нам кивает — и мы играем».

«А что это за игра?»

«Тридцать и сорок», это долго объяснять».

Возвращаясь, он иногда говорил: «Сегодня не вышло». А порой: «Сорвали куш».

Он часто рассказывал мне о неком Джузеппе Марторана, которого он звал «итальянцем» или «карточным профессионалом». Говорил также о своих друзьях — братьях Молинье, особенно о Кристиане, которого звал «Бледнолицым».

Видя мое недовольство и то, что его ночные похождения ставят под угрозу наши отношения, он угомонился, но по-прежнему почти каждое утро перед работой встречался с Бонито. Они вместе пили кофе в баре «Капелина» на улице Дебутен».

Перевод с английского Д. АГРАЧЕВА

«Дело» Грина или дело мафии?

Что заставило Грэма Грина объявить войну мафии Лазурного берега? Один ли он в этой борьбе? Чем закончилось начатое им сражение?

В конце 1982 года я получил письмо из Антиба:

«...Спасибо вам за то, что вы прислали мне «Литературную газету» со статьей о «деле Ниццы». Хотя я и не могу прочесть ее по-русски, я рад иметь эту статью среди своих вырезок.

Когда вы были у меня, на продажу книжки, кажется, уже был наложен запрет — после возбуждения иска в суде. Теперь возбужден иск против иска. Не знаю, когда состоится новое слушание, вероятно, только в будущем году. Тем временем на меня и на множество газет — американских, английских и французских — подали в суд за клевету. Разбирательство этих дел должно состояться в Париже (слава богу!) в феврале. Я думаю, для меня самое разумное — ничего пока не говорить и положиться на правосудие».

Итак, выпустив книжку, Грэм Грин замолчал. И что, в самом деле, оставалось добавить к сказанному? Решение суда в первой инстанции — писатель даже не был приглашен на судебное заседание — свелось к запрету продавать книжку во Франции. Ни для кого это не явилось неожиданностью, вряд ли и могло быть иным решение, принятое на Лазурном берегу. Во многих магазинах сочли, что это означает «изъятие книги из продажи», и благоразумно снесли стопки гриновских брошюр в подземелья складов. В других же, где понимали, что «запрет на продажу» — лишь временная, предохранительная мера, которая выльется — одно из двух — либо в конфискацию, либо в легализацию книги, продолжали спокойно ею торговать. Окончательное решение и предстоит вынести следующей инстанции... Но один итог уже можно подвести безо всяких сомнений: «дело Ниццы» переросло в «дело Грина». Не столько фактами из книжки занимаются сейчас суды, сколько фигурой автора: что же он такое «вскрыл» и «доказал»? (Если я заключаю эти слова в кавычки, то лишь потому, что так они и звучат, так именно ставится вопрос и в судебных инстанциях, и в газетных пересудах.)

Об этом и состоялся у нас разговор с писателем Максом Галло, который в «деле Ниццы» с самого начала оказался рядом, плечом к плечу с Грэмом Грином. И даже раньше его, только по-другому.

Еще в начале 82-го года, когда Грэм Грин дал первые интервью в газеты и рассказал, о чем будет его книга, Галло заявил о своей солидарности с ним. Это многих заставило сразу вспомнить роман Галло «Интимное дело», увидевший свет в 1979 году.

— Верна ли догадка, что фигурирующий у вас Лурсье и Ницца, город вымышленный и город реальный,— это одно и то же? — спросил я писателя.

— Полного олицетворения, конечно, нет. Другое дело, что многие события в романе навеяны реальными фактами из жизни Лазурного берега и, в частности, Ниццы. Меня интересовали не конкретные черты конкретного города, а то, как действует структура власти, подтасовывается общественное мнение, созревает коррупция и какие здоровые силы могут всему этому противостоять.

— Здоровые силы? Ваш Даниель Салмон, приехавший в город, чтобы написать о нем киносценарий, узнав его ближе, решает написать правду — и его убивают. Все в романе, кто приближается к этой правде, погибают. В нем, если я верно сосчитал, десять жертв, потому, очевидно, и фильм, сделанный по этому роману, назвали «Бульваром убийц». Его, кстати, и снимали в Ницце...

— Да, но одиннадцатый мой герой, получив сценарий Салмона, принимается за разоблачение мафии! Так что я оптимист. Я верю в победу здоровых сил.

Макса Галло пресса называет «главным противником мэрии Ниццы». В 1981 году он, социалист, стал депутатом одного из избирательных участков департамента в Национальное собрание, победив претендента правых сил, а потом выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Ниццы на предстоявших в марте 1983 года муниципальных выборах.

Галло родился в Ницце, вырос здесь. Преподавал историю в лицее и университете. Большинство его произведений посвящено Ницце. Через весь упомянутый роман проходит образ города, разделенного чертой пополам...

— Да. Это странный город, думаю, другого такого во Франции нет. Это, если хотите, наименее французский из всех наших городов. Он, собственно, и стал французским только в 1860 году, а до этого был итальянским. Тогда это был небольшой городок, всего 27 тысяч жителей, теперь это пятый по величине город страны. Быстрое развитие, приток иммигрантов, туристско-курортная индустрия — все это наложило свой отпечаток на облик города. В то же время структура управления осталась архаичной, как в большинстве южных городов. Уже полвека мэрией правит семейство Медсэнов. Я не скажу, однако, что это город правый. Он лишь снаружи видится таким. В Ницце всегда был сплоченный рабочий класс, сильны позиции коммунистов. Именно они всегда составляли главную оппозицию правым силам. Еще в 1920 году социалисты Ниццы на учредительном съезде ФКП в Туре проголосовали за присоединение к III Интернационалу. Легендарным в этом городе стало имя коммуниста Виржила Барела. Сейчас я занимаю тот общественный пост, который с 1936 года удерживали левые силы Ниццы, доверяя его Барелу и утратив его только в связи со смертью своего вожака. Это был один из старейшин парламента, сына его

расстреляли фашисты. Он был знаменем Сопротивления и левой оппозиции в департаменте.

— Как вы оцениваете юридическую сторону конфликта с мэрией — вашего и Грэма Грина?

— Я сказал уже, что город из моего романа, Лурсье, прямо уподоблять Ницце нельзя. По моему адресу прозвучало немало угроз, даже подано было дело в суд. Но с художественными обвинениями спорить трудно, и если кто-то узнал себя в героях романа, то остается лишь пожелать, чтобы урок пошел им на пользу.

Грэм Грин обратился к документальной форме, он все высказал прямо. И инкриминируют ему обобщенность обвинений, недостаточность юридически обоснованных доказательств приведенных им фактов. Между тем о справедливости его обвинений можно судить хотя бы по самой сумме этих фактов.

Уже много десятилетий подряд реакционные силы создают Ницце незаслуженную и оскорбительную репутацию города мафии, гангстеров в «белых воротничках» и гангстеров в «черных перчатках». Случаен ли их союз? Нет, это штрихи одного портрета. В Ницце мафию, на неаполитанский лад, зовут «каморрой». «Каморра,— пишут авторы вышедшей в прошлом году книги «Ницца: залив акул» М. Франк и Ж. Крозье,— это фантастическое чудище! Невидимое, но всемогущее. Его голова — это мэр. Его тело, сотканное из паутины экономических отношений и родственных связей, круговой поруки и взаимных укрывательств, расползается по всему городу и питает власть мэра. Каморра Ниццы — разновидность мафии — традиционно отстраняет национальные партии и идеологические течения от местной политической власти, сосредоточенной в руках нескольких семей».

Каморра будто губка впитала в себя изгнанное из Алжира оасовское воинство. Здесь постоянно находят приют террористы из орудующих в Италии фашистских и левоэкстремистских групп. Городские власти, захваченные и пронизанные каморрой, конечно, не находили против преступного мира ни улик, ни доказательств. Именно в Ницце Альберт Спаджари, наемник и фашист, совершил «ограбление века», прорыв шурф из канализационной системы в банк. По логике «белых воротничков», здесь следует возражение: ну а при чем тут мы, мы разве помогали рыть? Наоборот, Спаджари и многие члены его банды были схвачены и подвергнуты допросам, следствию... Правда, неожиданно, во время допроса, Спаджари выпрыгнул в окно, приземлился прямо в сиденье поджидавшего его мотоцикла — и был таков. Судья Буази обиженно и сердито кричал ему из окна: вернись! Не вернулся... Теперь Спаджари живет в Испании и периодически возникает во французских журналах и на телеэкране. Все тот же профиль гангстера, скрыть который не удалось даже с помощью пластической операции. Но именно эта пластическая операция, похоже, и спутала карты Интерполу: никак он не выйдет на след преступника, хотя пронырливые журналисты к нему каким-то чудом добираются. Им-то и открыл Спаджари тайну, до которой не смог добраться судья Буази: похищенные им миллионы отданы на дело европейского «черного интернационала»...

«Доказательства! — кричит каморра Грину. — Кто укрывал? Кто помогал бежать?» Мол, «произошло в Ницце» — еще не значит, что обязательно на совести ее администрации, полиции, органов правосудия... Но ведь можно проиллюстрировать каждую строчку гриновских обвинений. Тот же Спаджари работал фотографом в мэрии, снимал свадьбы с участием мэра, который, надевая на себя для таких случаев трехцветную ленту — свидетельство, что перед вами «избранник народа», разъезжал с ним по всему миру. Вопрос, «кто укрывал», можно, таким образом, считать закрытым, особенно если добавить, что Спаджари был верным сторонником МЕДСЭН. В такую замысловатую аббревиатуру Медсэн сколотил «блок» поддерживающих его правых партий и групп. В расшифровке и в переводе это означает: движение за экспансию, экономическое развитие города и интересы Ниццы. Не подумайте, что в оригинале более складно, ничуть! Мэр запальчиво уверяет горожан: «Истоки рода Медсэнов восходят к Флоренции, и наше имя не что иное, как офранцузившееся за прошедшие века «Медичи»...».

За образом мелкого гангстера писатель распознал и помогает увидеть другим лицо мафии. Если он лишь вскользь упоминает о некоторых шумных историях, сотрясавших Ниццу и Лазурный берег за последние годы, то потому, что местный читатель о них прекрасно осведомлен и — даже без «доказательств» — логично связывает концы с концами.

Грэм Грин упоминает историю исчезновения и предполагаемой гибели Агнессы Леру, дочери главного акционера знаменитого «Пале де Медитеранэ». Что стоит за этой историей?

В заливе Ангелов, на берегу которого стоит Ницца, качаются на якорях белоснежные яхты — трюмы их, уверяют газеты, «забиты нефтедолларами». Их хозяева — желанные гости местных казино. Два самых знаменитых игорных дома Ниццы — «Рюль» и «Медитеранэ» — находятся почти рядом друг с другом. Одержимая идеей превратить Ниццу в «европейский Лас-Вегас», мэрия помогла корсиканцу Жану-Доминику Фратони приобрести казино «Рюль», а затем наложить руку и на самый знаменитый игорный дом — «Медитеранэ». Сделавшись собственником «Медитеранэ», Фратони распорядился закрыть его, снести и строить на этом месте новый, побольше и поярче. Но к этому времени обнаружились колоссальные финансовые неурядицы в «Рюле». Все вместе взятое: исчезновение Агнессы Леру, скупка голосов на

совете акционеров «Медитеранэ», укрывательство налогов да плюс вскрывшаяся коллективная махинация крупье — заставили французскую Фемиду выписать ордер на арест Фратони. Гангстер бежал из Ниццы, а мэрия с помощью прессы и поныне отстаивает «чистое имя» Хозяина Игр.

И вот я снова еду вдоль залива Ангелов — еду к Грэму Грину, в городок Антиб. Оба казино закрыты — не на перерыв, а наглухо, по судебным постановлениям. Некие кувейтские шейхи купили «Медитеранэ» и скоро будут ломать его, а на его месте строить отель люкс. Все для тех же гостей с белоснежных яхт, прибывающих с моря...

Дело о «войне казино» досталось вести все тому же судье Буази. До чего же он докопался на сей раз? Именно направляемое им следствие установило, что Хозяин Игр купил голоса нескольких акционеров «Медитеранэ», в том числе Агнессы Леру — наследницы казино. Ей для этого долго кружил голову некий Аньеле, как выяснилось, подставное лицо Хозяина Игр. Но через Аньеле нити потянулись к масонству... Вот он, тот момент, когда лучше зажмурить глаза, дав возможность преступнику прыгнуть в окно!

Аньеле вышел сухим из воды.

Хозяин Игр бежал в Женеву, где в местном банке он сколотил солидный счет, и оттуда дружески названивает Медсэну: как там, гроза еще не прошла?

Судья Буази, получивший повышение — звание прокурора, отбыл по месту назначения в новый город...

А каморра все кричит Грэму Грину: «Доказательства!» Кричат гангстеры в «белых воротничках» и «черных перчатках». Кричат их укрыватели в полицейских мундирах, в прокурорских и адвокатских мантиях. Кричат ее избранники с трехцветной полосой через плечо...

Залив Ангелов. Залив Акул.

Книга Грина — обличение и вызов каморре — подоспела в канун муниципальных выборов. Вот еще почему мафия огрызается так ожесточенно, размахивая ломами железными и юридическими. Герой книжки, Даниель Ги, тот просто кружит с дружками вокруг квартиры писателя. Грэм Грин показал мне следы лома на входной двери.

— Меня не было дома. Их спугнул сосед. После этого я пригласил слесаря и, как видите, укрепил дверь.

— Они не вернутся? — спросил я.

— Вернутся,— сказал Грин. — Одного они не понимают: я видел и не такое. На Гаити, в Индокитае, в Африке. Я не боюсь. Мне 78 лет, угрозами не удавалось заставить меня изменить убеждения и в молодости, уж тем более в старости я не осрамлюсь...

Если невидимая черта, разделяющая город пополам, наконец исчезнет, а точней, когда она исчезнет, тогда, может, даже в большей степени, чем сию минуту, мы сможем оценить гражданское мужество Грэма Грина, Макса Галло, всех, кто в этой трудной борьбе оказался с ними рядом.

АЛЕКСАНДР САБОВ

Париж

■

Антирубрика

РЭЙ БРЭДБЕРИ (США)

ЧЕПУШИНКА

Перевод с английского РОСТИСЛАВА РЫБКИНА

К магазинчику было не протолкаться.

Кроуэлл ввинтился в толпу; длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через угловатое плечо он посмотрел назад, буркнул что-то себе под нос и заработал локтями.

Он увидел, что ярдах в ста позади к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла черная и блестящая машина. Дверца открылась, и из машины с трудом вылез толстяк, на сероватом лице которого застыло выражение злобы. Впереди сидели двое телохранителей.

«А вообще-то стоило ли убегать?» — подумал Кроуэлл, известный в своем кругу под прозвищем Плут. Он так устал. Не было больше сил выступать каждый вечер по аудио в программе новостей и каждое утро, просыпаясь, вспоминать, что из-за какого-то беглого упоминания в передаче о том, что некий толстяк из «Пластикс инкорпорейтед» занимается темными делами, за тобой по пятам ходят гангстеры. А теперь и сам толстяк объявился, собственной персоной. Притащился за ним из самой Пасадены.

Теперь наконец Кроуэлла со всех сторон окружала толпа. «Интересно,— подумал он,— отчего здесь столько народу? Необычное зрелище? Ну, а что, вообще говоря, увидишь обычного в южной Калифорнии? Уж здесь никого ничем не удивишь!»

Он протолкался вперед и уставился на большие алые буквы, выведенные на голубом стекле окон; выражение его грустного лица не изменилось.

Буквы на стекле складывались в странные слова:

ШТУКОВИНЫ ФИНТИФЛЮШКИ
ПУСТЯКОВИНКИ БАРАХЛИНКИ
ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ
ЧЕПУШИНКИ ЕРУНДОВИНЫ
И ПР.

Кроуэлл не удивился. Вот, значит, магазин, который имел в виду редактор на аудио, когда давал ему задание? Ерунда и чепуха.

Но тут он вспомнил про Стива Бишопа, толстяка, и про телохранителей с пистолетами. Когда в море шторм, любой порт годится.

Кроуэлл достал из кармана небольшой блокнот, небрежно записал два или три названия — ерундовины, штучки-дрючки; все равно Бишопу в такой толпе его не подстрелить. Стрелять-то у Бишопа, по совести говоря, может, право и есть: как-никак, он Плут, грозит разоблачить Бишопа — разоблачить трехмерными цветными изображениями...

Кроуэлл боком протиснулся к полупрозрачной двери: будто водопад отгораживал посетителей от решенного в холодных, белом и голубом, тонах помещения. Кроуэллу стало немного зябко. Он сосчитал небольшие стеклянные шкафы (их оказалось семнадцать) и мертвенно-серыми, ничего не выражающими глазами начал рассматривать то, что в них стоит.

Из-за голубого стеклянного шкафчика появился вдруг человечек, худой как скелет. Он был лысый и такой крошечный, что Кроуэлл с трудом подавил в себе желание похлопать его по лысине. Казалось, эта лысина создана именно для того, чтобы по ней хлопать.

Почти квадратное лицо человечка было бледно-желтым, того особенного оттенка желтизны, который приобретают, выцветая, старые газеты.

— Слушаю вас,— сказал человечек.

— Привет,— поздоровался негромко Кроуэлл, раздумывая, что делать дальше. Теперь, когда он уже в магазине, что-то нужно говорить.— Я хочу купить... штуковину.

В голосе у Кроуэлла звучали те же грусть и усталость, какие были написаны на его лице.

— Великолепно, великолепно! — отозвался человечек и потер руки.— Как ни странно, по-настоящему заинтересовались вы первый. Другие просто стоят там, снаружи, и смеются. Так к делу: какого года штуковина вам нужна? И какой модели?

Ни того ни другого Кроуэлл не знал. Он знал только, что он в замешательстве,

однако никто, глядя на его лицо, ничего бы не заметил. Войдя в магазин, он сразу же повел себя так, будто собаку съел на этих делах. Признаваться в своем невежестве в его планы не входило. Он сделал вид, что обдумывает ответ, и наконец произнес:

— Пожалуй, меня бы устроила модель 1973 года. Не надо ничего суперсовременного.

Владелец магазина заморгал.

— Ага! Я вижу, вы человек, который знает, что ему нужно. Сюда, пожалуйста.

И, метнувшись в проход между шкафами, человечек остановился перед стеклом, за которым лежало что-то непонятное. Смахивало на кривошип, но в то же время напоминало кухонную полку: на металлическом краю — несколько висюлек, а рядом жестко закреплены три рога и шесть странных механизмов; наверху, из самой середины, торчало что-то вроде большой связки шнурков от ботинок.

Из горла Кроуэлла вырвался такой звук, будто он подавился пуговицей. Он посмотрел снова. Ну что тут скажешь? Только одно: у малыша не все дома. Но об этом, пожалуй, лучше помалкивать.

Что же касается крохотного хозяина, то он буквально лучился радостью, его глаза сияли, губы растянулись в самую приветливую из улыбок, руки со сцепленными пальцами прижимались к груди, и он стоял, наклонившись вперед, и ждал, чтобы покупатель высказал свои пожелания.

— Вам нравится?

Кроуэлл мрачно кивнул.

— Да, годится, пожалуй. Я, правда, видел и лучшие.

— Лучшие?! — изумленно воскликнул человечек и вытянулся во весь свой маленький рост.— Где видели? — потребовал он ответа.— Где?

Другой бы занервничал. Другой, но только не Кроуэлл. Он вытащил блокнот, начал в нем быстро что-то писать и, не поднимая головы, ответил многозначительно:

— Кто-кто, а уж вы-то знаете где...

Он надеялся, что этого будет достаточно. И он оказался прав.

— О! — крохотный человечек захлебнулся от восторга.— Значит, вы тоже?.. Как приятно иметь дело со сведущим человеком! Как приятно!

Кроуэлл бросил взгляд в окно: что там, за толпой хихикающих девок? И толстяк, и телохранители, и черная машина исчезли. Охота приостановилась — пока.

Кроуэлл сунул блокнот в карман, положил руку на шкафчик, в котором была выставлена штуковина.

— Я очень спешу. Могу я взять это с собой? Деньги у меня дома, но вместо первого взноса я могу вам дать кое-что в обмен. Согласны?

— Безусловно согласен!

— Замечательно.

Набравшись духу, Кроуэлл полез в карман своей серой блузы и извлек оттуда маленькое металлическое устройство для чистки курительных трубок. Поломанное, погнутое, оно походило неизвестно на что.

— Пожалуйста. Барахлинка. Модель 1944 года.

Человечек с ужасом уставился на Кроуэлла.

— Какая же это барахлинка?

— Э-э... разве нет?

— Нет, конечно, нет!

— Конечно нет,— осторожно повторил Кроуэлл.

— Это пустяковинка,— сказал, моргая, человечек.— И не целая, а только часть. Ну и шутник же вы, мистер...

— Кроуэлл. М-да... шутник. Надеюсь, моя шутка не очень вас покоробила. Так меняемся? Я очень спешу.

— Конечно, конечно! Я поставлю вашу покупку на тележку, и мы подвезем ее прямо к вашей машине. Секундочку!

Крохотный человек мгновенно выкатил откуда-то ручную тележку на маленьких колесиках, и Кроуэлл оглянуться не успел, как штуковина оказалась на ней. Хозяин помог докатить тележку до двери. У двери Кроуэлл остановил его:

— Минутку.

Черной машины нигде видно не было.

— Все в порядке.

Понизив голос, человечек сказал:

— Помните только, мистер Кроуэлл: ни в коем случае не следует убивать этой штуковиной кого ни попадя. Убивайте... с разбором. Да, только так — с разбором, взвесив хорошенько все «за» и «против». Не забудете, мистер Кроуэлл?

Кроуэлл проглотил непомерной величины ком, откуда-то взявшийся у него в горле.

— Не забуду,— ответил он.

Въехав на машине в туннель, он покатил по подземной магистрали отсюда, из района Уилшира, домой в Брентвуд. Никто за ним не увязался. На этот счет сомнений не было. Но какие планы у Бишопа на ближайшие часы, он не знал. Не знал. И даже думать об этом не хотел. Сейчас у него был очередной приступ хандры. В этом мерзком мире все шиворот-навыворот — честному человеку в нем не выжить. Что же до Бишопа, этого жирного слизняка, то...

Взгляд Кроуэлла упал на покупку рядом на сиденье, и его сотряс короткий и сухой, похожий на кашель смех.

— Значит, ты штуковина? — сказал он.— Ха! Каждый зарабатывает на жизнь чем может. Бишоп пластиками, я шантажом, а тот маленький придурок — своими ерундовинами и штучками-дрючками. И, пожалуй, малышка этот ловчей нас всех.

Он свернул на боковую подземную магистраль, в туннель, выходивший на поверхность у самого его дома. Поставив белую машину в гараж и оглядев парк вокруг, он со штуковиной в руках поднялся на свой этаж, набрал известное только ему сочетание цифр, открыл дверь, внес штуковину, захлопнул дверь и опустил свою покупку на стол. Потом налил себе бренди.

В дверь постучали, негромко и с расстановкой. Оттягивать бесполезно. Он пошел к двери и открыл.

— Привет.

На пороге стоял толстяк. Лицо — как большой кусок вареного свиного сала, холодного и дряблого. Зеленых, в красных прожилках глаз почти не видно было под тяжелыми веками. Сигара во рту двигалась в такт словам.

— Рад, что застал тебя, Кроуэлл. Давно хотел с тобой встретиться.

Кроуэлл отступил, и толстяк вошел в комнату. Сел, сложил на круглом животе руки и спросил:

— Ну, так как?

Кроуэлл проглотил слюну.

— Снимков у меня здесь нет, Бишоп.

Толстяк ничего на это не сказал. Медленно разомкнул руки, не спеша, словно за носовым платком, полез в карман, но вместо платка в руке у него оказался небольшой парализующий пистолет. От голубой стали веяло холодом.

— Может, все-таки подумаешь, Кроуэлл?

На печальном бледном лице Кроуэлла выступил холодный пот, от этого оно стало еще печальней. Шея окаменела. Он попытался включить свой мозг, но мозгу стало вдруг невыносимо жарко, мозг сковал страх, внезапный и безжалостный. Со стороны никто бы ничего не заметил, однако в глазах у Кроуэлла Бишоп, пистолет, комната запрыгали вверх-вниз.

И тут в поле зрения Кроуэлла попала... штуковина.

Бишоп снял пистолет с предохранителя.

— Ну, так куда стрелять? Могу в грудь, могу в голову. Если парализует мозг, умираешь, говорят, скорее. Лично я предпочитаю целиться в сердце. Так куда?

— Подожди чуть-чуть,— небрежно сказал Кроуэлл. Медленно-медленно он отступил назад. Сел, не забывая ни на миг о том, что палец Бишопа дрожит на спусковом крючке: чуть нажми — и все кончено.— Меня убивать ты не станешь, а будешь всю жизнь благодарен мне за то, что получил доступ к величайшему изобретению нашего времени.

Огромное лицо Бишопа оставалось неподвижным. Только сигара двигалась из стороны в сторону.

— Брось, Кроуэлл. Нет времени болтать.

— Наоборот, куча времени,— спокойно возразил Кроуэлл.— У меня есть для тебя идеальное оружие. Хочешь верь, хочешь нет. Взгляни вон на ту машину на столе.

Голубея сталью, пистолет неподвижно на него смотрел. Бишоп скосил глаза на стол, снова вперил взгляд в Кроуэлла.

— Ну и что? — процедил он сквозь зубы.

— А то, что, если ты меня выслушаешь, ты станешь самым крупным воротилой в пластиковом бизнесе на всем тихоокеанском побережье. Ведь ты хочешь этого, правда?

Глаза Бишопа открылись немного шире, сузились снова.

— Думаешь время выиграть?

— Слушай, Бишоп, я сам понимаю, что деваться мне некуда. Потому и беру тебя в долю... в смысле этой моей проклятой штуковины. Все никак не придумаю для нее названия.

Как перегревшаяся центрифуга, вращалось отчаянно сознание Кроуэлла, отбрасывая легковесные идеи одну за другой. Одна идея упорно не желала отлетать в сторону: *тяни время, пока не появится возможность вырвать пистолет. Морочь голову. Морочь сколько можешь. Ну, а теперь...*

Кроуэлл откашлялся.

— Она... она убивает на расстоянии,— начал придумывать он.— Мне достаточно отдать ей приказ, и она убьет, кого я только захочу. Никаких неприятностей. Никаких улик. Ничего вообще. Идеальное убийство, Бишоп. Тебе нравится?

Бишоп покачал головой.

— Ты налакался. Дело уже к вечеру, так что...

— Подожди,— перебил Кроуэлл, вдруг подавшись вперед; его серые глаза блестели.— Не шевелись, Бишоп. Ты под прицелом. Машина держит тебя на мушке. Прежде чем впустить тебя, я настроил ее на определенную волну. Только пикни — и тебе конец.

Сигара упала изо рта Бишопа на пол. Рука, державшая пистолет, дрогнула.

Наконец-то! Сухие мускулы Кроуэлла свернулись в одну тугую пружину. Как стрелы полетели слова:

— Берегись, Бишоп! Машина, действуй! Убей Бишопа!

И Кроуэлл швырнул свое тело в сторону. Почувствовал, как отделяется от стула, увидел ошеломленное лицо Бишопа. Отвлекающий маневр удался. Пистолет выстрелил. Серебристый луч, шипя, пролетел у самого уха Кроуэлла и расплескался по стене. Кроуэлл вытянул руки схватить Бишопа, вырвать пистолет.

Но опоздал.

Бишоп уже был мертв.

Штуковина опередила Кроуэлла.

У себя в спальне Кроуэлл выпил стаканчик. Потом еще один. Теперь казалось, что его желудок плавает в алкоголе. Но забыть, как выглядел мертвый Бишоп, ему все равно не удавалось.

Надо еще стаканчик пропустить. Он глянул на дверь и подумал: очень скоро, в ближайшие несколько минут, телохранители будут ломиться к нему в квартиру, будут искать своего босса. Но... выйти в гостиную, снова увидеть Бишопа на полу, штуковину? По спине его пробежала дрожь.

Еще стаканчик, за ним другой, но по-прежнему ни в одном глазу, будто не выпил ни капли; и он начал собирать чемодан, складывать туда одежду. Он не знал, куда отправится, но знал, что отправится обязательно. Уже собирался выходить, когда обычным ударом гонга прозвучал сигнал аудиофона.

— Да?

— Мистер Кроуэлл?

— Он.

— С вами говорит невысокий человек из «Лавки чепуховин».

— А-а... как же, помню. Здравствуйте.

— Вы не заглянете в лавку еще раз? И не захватите с собой штуковину? Я боюсь, что вы понесли убыток в этой сделке. У меня появилась штуковина другой модели, гораздо лучшая.

Кроуэлл сглотнул слюну.

— Спасибо, эта работает прекрасно.

Прервав контакт, он схватился за голову: ему показалось, что его мозг вот-вот соскользнет к нему в ботинки. Он и не думал убивать. Все в нем восставало при одной только мысли об убийстве. И от этого положение его еще труднее. Эти зооруженные

люди, телохранители, не остановятся даже. перед тем, чтобы...

Его нижняя челюсть немного выпятилась. Пусть приходят! В этот раз он не побежит. Нет, он останется в городе, будет себе спокойненько передавать по аудио последние известия, словно ничего не произошло. Как он от всего устал! Пусть его убьют, ему все равно. Он будет от счастья смеяться, когда они нацелят на него пистолеты.

А вообще-то зачем ему лишние осложнения? Лучше отнести Бишопа... тело Бишопа в гараж, положить на заднее сиденье машины и увезти в безлюдное место, а телохранителей он собьет со следа — скажет, что похитил и спрятал Бишопа. Неплохая мысль, черт возьми. Все-таки Кроуэлл умница!

Он попытался поднять тяжелое тело Бишопа. Не смог. Но в конце концов переправить тело вниз на заднее сиденье машины удалось — это за него сделала штуковина.

Кроуэлл, пока она этим занималась, оставался в своей спальне. Ему не хотелось смотреть, как штуковина это делает.

— О, мистер Кроуэлл? — Крошечный хозяин лавки широко открыл сверкающую стеклянную дверь. На окна магазина и сейчас глазели зеваки.— Я вижу, вы привезли штуковину? Превосходно.

Лихорадочно соображая, Кроуэлл поставил устройство на прилавок. Мм... быть может, теперь ему что-нибудь объяснят? Спрашивать нужно деликатно, не впрямую. Спрашивать так, чтобы...

— Слушайте, мистер, не знаю, как вас зовут, я не говорил вам, но я репортер с аудио. Мне бы хотелось сделать передачу для «Аудио-новостей» о вас и о вашей лавке. Но чтобы рассказали вы сами.

— Вы знаете о пустяковинах и ерундовинах ничуть не меньше меня,— сказал человечек.

— Не меньше?..

— Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— О, конечно. Конечно, знаю. Но всегда лучше на кого-то сослаться. Понимаете?

— Ваша логика мне неясна, но я сделаю то, чего вы от меня хотите. Слушатели захотят, по-видимому, узнать подробно о моей «Лавке чепуховин», не так ли? Ну что ж... Чтобы мое торговое дело выросло до нынешних размеров, потребовались тысячи лет пути.

— Тысячи миль пути,— поправил Кроуэлл.

— Тысячи лет,— повторил человечек.

— Естественно,— сказал Кроуэлл.

— Мою лавку, пожалуй, можно назвать энергетическим результатом неадекватного семантизирования. Устройства, которые вы здесь видите, вполне справедливо было бы назвать изобретениями, делающими не конкретно что-то, а все вообще.

— Разумеется,— бесстрастно сказал Кроуэлл.

— Теперь вот что: если человек показывает другому деталь автомобиля и не может вспомнить ее названия, что он говорит?

Кроуэлла озарило:

— Он называет ее штуковиной, или загогулиной, или ерундовиной...

— Правильно. А если женщина говорит с другой женщиной о своей стиральной машине, или о взбивалке для яиц, или о вышивании, или о вязанье, и у нее вдруг затмение в голове, и она не может вспомнить точное слово — что она тогда говорит?

— Она говорит: «Эту крутилку надень на загогулину. Придержи финтифлюшку и насади ее на рогульку»,— сказал Кроуэлл, радуясь, как школьник, понявший вдруг математическое правило.

— Совершенно верно! — воскликнул человечек.— Хорошо. Таким образом, мы здесь имеем дело с появлением семантически неточных обозначений, пригодных для описания любого предмета, от куриного насеста до автомобильного картера. «Штуковиной» могут назвать и парик, и половую тряпку. Штуковина — это не один определенный предмет. Это тысяча разных предметов. Да... так вот что я сделал: проникал в сознание цивилизованных людей, извлекал представление каждого о том, как выглядит штуковина, о том, как выглядят штучки-дрючки, и непосредственно из энергии атомов создавал материальные эквиваленты этих несовершенных обозначений. Иными словами, мои изобретения суть трехмерные репрезентации определенных сгустков смысла. Поскольку в сознании человека «штуковиной» может быть что угодно, от щетки до чугунного болта девятого размера, это свойство повторено и в моих изобретениях. Штуковине, которую вы сегодня брали домой, под силу почти все, чего вы от нее захотите. Многие из моих изобретений, благодаря вложенным в них способностям мыслить, самостоятельно передвигаться и выполнять самые разнообразные действия, по существу сходны с роботами.

— Они могут все?

— Не все, но очень многое. Что же касается функционирования большинства из них, то оно возможно благодаря примерно шестидесяти протекающим в любом из них одновременно процессам, необычным, взаимодействующим, разнообразным по объему и интенсивности. У каждого из моих творений свой набор полезных функций. Некоторые устройства большие. Другие маленькие. У больших очень много разных применений. У маленьких — всего одна или две простые функции. Ни одно изделие не повторяет другое в точности. Прикиньте сами, сколько времени, места и денег вы сэкономите, купив штуковину!

— Ага,— отозвался Кроуэлл. Ему вспомнилось тело Бишопа.— Использовать вашу штуковину можно очень многообразно, тут уж ничего не скажешь.

— Хорошо, что вы напомнили. Я хочу спросить вас о пустяковинке модели 1944 года, которую вы дали в счет стоимости штуковины. Где вы ее раздобыли?

— Где раздобыл? Вы про эту, для чистки... то есть про пустяковинку? Я... э-э... я...

— Вам не нужно ничего опасаться, вы можете быть со мной откровенным. Ведь у нас с вами общие профессиональные тайны. Вы сделали ее сами?

— Я... я купил ее, а потом над ней рабо-

тал. Вкладывал... вкладывал энергию мысли. Ну, вы знаете как.

— Значит, вам известен этот секрет? Подумать только! А я-то считал, что я единственный, кто знает о возможности превращать мысль в энергию. Какой блестящий ум! Вы учились в Ррутре?

— Нет. До сих пор жалею, что не попал туда. Не было возможности. Всего достиг собственными силами. Ну, а теперь вот что: я бы хотел вернуть эту штуковину и взять что-нибудь другое. Штуковина мне не нравится.

— Не нравится? Но почему?

— Да просто не нравится — и все. Слишком много возни. Мне бы хотелось что-нибудь попроще.

«Да,— подумал он про себя,— попроще, чтобы видно было, как работает».

— Какого рода машину, мистер Кроуэлл, желаете вы взять в этот раз?

— Дайте мне... штучку-дрючку.

— Штучку-дрючку какого года?

— А не все равно какого?

— О, вы опять шутите!

Кроуэлл сглотнул.

— Разумеется, шучу.

— Вы ведь, конечно, знаете, что год от года свойства штучки-дрючки, как и само ее название, меняются, и меняются они уже на протяжении тысяч лет.

— А сами вы не шутите? — спросил Кроуэлл.— Нет, не шутите. Не обращайте внимания на мои слова. Дайте мне штучку-дрючку, и я поеду домой.

Что это он говорит, «домой»? Не очень-то умно было бы отправиться туда сейчас. Лучше затаиться где-нибудь в укромном местечке и довести до сведения телохранителей: он держит Бишопа заложником. Да. Только так. Это надежней всего. А пока неплохо бы разузнать побольше об этой лавке... Но держать около себя что-нибудь подобное той штуковине? Нет уж, увольте!

Маленький владелец магазина между тем говорил:

— У меня целый ящик штучек-дрючек из всех исторических периодов — я вам его отдам. Я не знаю, куда мне девать это добро, и пока только вы принимаете меня всерьез. За весь сегодняшний день у меня не было ни одного покупателя. Меня это очень огорчило.

«Да, мозги у малышки здорово набекрень»,— подумал Кроуэлл и сказал:

— Знаете что? У меня дома пустой чулан. Как-нибудь на днях доставьте ко мне всю эту мелочь, и я просмотрю ее и выберу что мне понравится.

— А не могли бы вы сделать мне одолжение и взять часть товара прямо сейчас?

— Не знаю, смогу ли я...

— О, немного! Совсем немного. Серьезно. Вот они. Сейчас увидите сами. Несколько коробочек побрякушек и финтифлюшек. Вот они. Вот.

Владелец магазинчика наклонился и вытащил из-под прилавка шесть коробок.

Кроуэлл открыл одну.

— Эти я возьму, тут и говорить не о чем. Одни только шумовки, ножи для чистки овощей, дверные ручки и старые голландские пенковые трубки — больше тут ничего нет. Эти я, конечно, возьму.

Совсем не страшные. Маленькие, простые. Неприятных сюрпризов быть не должно.

— О, благодарю вас! Я очень вам благодарен. Положите это на заднее сиденье своей машины, я за них не возьму с вас ничего. Я рад, что освобождаю у себя место. За последние годы я столько насоздавал, что не знаю, куда все это девать. Меня тошнит уже от одного вида моих изделий.

Обхватив коробки обеими руками, придерживая верхнюю подбородком, Кроуэлл вышел на улицу, к своей белой машине и свалил все на заднее сиденье. Потом махнул человечку рукой, сказал, что на днях они обязательно встретятся, и поехал.

Час, проведенный в лавке, захлебывающаяся радость человечка, яркий свет в помещении привели к тому, что Кроуэлл в первый раз за все это время забыл о телохранителях Бишопа и о самом Бишопе.

Мотор ровно жужжал у него под ногами. Он ехал к центру, к студиям аудиовидения, и пытался решить, что делать дальше. Почувствовав вдруг любопытство, протянул руку к коробкам на заднем сиденье и вытащил первое, что попалось. Курительная трубка, всего-навсего. От одного ее вида ему захотелось курить, и он достал из кармана блузы табак, набил трубку и с опаской, осторожно ее закурил. Выпустил с шумом дым. Просто блеск. Трубка что надо!

Он курил, позабыв обо всем на свете, когда увидел что-то в зеркале заднего обзора. За ним следовали две черных машины. Точно, те самые — черные как ночь, с мощными двигателями.

Кроуэлл мысленно выругался и увеличил скорость. Черные машины приближались. Двое убийц в одной из них, двое — в другой.

Не остановиться ли и не сказать ли им, что он их босса держит заложником?

В руках убийц в низких машинах поблескивали пистолеты. Такие типы сперва стреляют, а уже потом разговаривают. Нет, к этому он не готов. Он рассчитывал укрыться в надежном месте, позвонить им и предъявить ультиматум. Но чтобы... такое?

Машины неотвратимо приближались. Эти не дадут и слова сказать — пристрелят сразу.

Он нажал на педали. На лбу выступили и наперегонки побежали вниз капельки пота. Ну и влип же он! Зря он, пожалуй, поторопился вернуть штуковину. Очень пригодилась бы сейчас — как пригодилась неожиданно с Бишопом.

Штуковина... А штучки-дрючки?!

Протянув руку назад, он начал судорожно рыться в штучках-дрючках, пустяковинках, ерундовинках, барахлинках. Похоже, ничего стоящего нет, но все равно он попробует.

— Валяйте, штуковинки, делайте свое дело! Защищайте меня, черт вас побери!

На заднем сиденье что-то забрякало, зазвенело, и что-то металлическое, просвистев около самого уха Кроуэлла, вылетело на прозрачных крыльях наружу, повернуло к преследующей машине и ударилось в ветровое стекло.

Взрыв — зеленое пламя и серый дым.

Трррышка сделала свое дело. Она была сочетанием игрушечного самолетика и артиллерийского снаряда.

Кроуэлл нажал на педаль, и его машина снова вырвалась вперед. Вторая машина по-прежнему шла за ним. Нет, по доброй воле они от него не отстанут.

— Убейте и этих! — закричал Кроуэлл.— Убейте! Как хотите, но убейте!

Схватив коробку, он вышвырнул все, что в ней было, за окошко, потом проделал то же самое с содержимым другой коробки. Что-то сразу поднялось в воздух Остальное безобидно запрыгало по асфальту.

Два предмета сверкали в воздухе. Две пары ножниц, острых и блестящих — только можно было подумать, будто в каждую пару вставлено по маленькому антигравитационному двигателю. Со свистом разрезая воздух, они понеслись назад, к преследующей черной машине.

Блеснув, ножницы влетели в открытые окошки машины.

Черный «жук» вдруг потерял управление, свернул с мостовой на тротуар, ударился на полной скорости в стену, перевернулся один раз, другой, и внезапно его охватило буйное пламя.

Кроуэлл бессильно откинулся на спинку сиденья. Его машина, замедлив ход, повернула за угол и остановилась у тротуара. Он дышал часто-часто. Сердце, казалось, вот-вот вырвется у него из груди.

Теперь, если он захочет, он может возвращаться домой. Теперь никто не ждет его там, не подстерегает в засаде, не будет останавливать и допрашивать его, не будет ему угрожать.

Да, теперь можно возвращаться домой. Странно, но от этой мысли ему не становилось ни легче, ни радостней Наоборот, на душе было темно, уныло, неуютно. До чего гнусное место — этот мир! Во рту у него было противно и горько.

Он поехал домой. Может быть, теперь все будет хорошо? Может быть.

Взяв оставшиеся коробки, он вылез из машины и на лифте поднялся на свой этаж. Открыл дверь, поставил коробки на стол и начал разбирать то, что в них было.

Новая трубка снова была у него в зубах. Некоторое время назад он машинально взял ее в рот. Нервы. Нужно закурить, тогда успокоишься.

Он набил трубку свежим табаком и раскурил ее. А вообще, только псих мог отдать незнакомому человеку все это добро. Опасно, когда такое попадает неизвестно в чьи руки. Всякая сомнительная публика может получить свободный доступ к этим вещам, может использовать их в своих целях.

Рассмеявшись, он затянулся снова.

Теперь он кум королю. Эти матерые дельцы из «Пластикс инкорпорейтед» будут ходить перед ним на задних лапках, будут платить ему деньги, будут, черт бы их побрал, выполнять каждое его желание — добиться этого ему помогут маленький хозяин лавки и его товар.

А вообще-то со всеми этими делами будет уйма хлопот. Он сел и задумался, и душу у него снова заполнил мрак, как повторялось уже многие годы. Снова приступ хандры.

Чего можно добиться в этом мире? Чего ради он живет? Ох, и устал же он!

Иногда, вот как сегодня ночью и во столько других ночей за все прошедшие долгие годы, мелькала мысль: а неплохо было бы, если бы люди с пистолетами догнали его и по самую макушку начинили параличом. Иногда, будь у него в руке пистолет, *он бы сам себе разнес череп.*

Внезапный взрыв. Кроуэлл поднялся. Замер. Упал на колени.

Он совсем позабыл о трубке у себя во рту — позабыл о том, что у него во рту чепушинка.

Способ, каким она ему об этом напомнила, привел, как это ни прискорбно, к фатальным последствиям.

◆

К нашим иллюстрациям

НГУЕН ТУАН

УЛИЦЫ ФАЯ

Ханойский пригород. Маленькая харчевня — из тех, где за стопку рисовой водки, стоившую когда-то одно су, теперь с вас сдирают целый донг[1]. Хмель горячит умы, завсегдатаи спорят о том о сем — как говорится, парение мысли. И вдруг я слышу:

— А что такое вообще «истинный ханоец»?.. (Само собой — верх совершенства!..)

— Думаешь, им может стать любой человек со стороны? Сегодня приехал — завтра уже ханоец?.. (Куда там!)

— Говор, говор особенный! Вот в чем суть... (Неподражаемый! Недосягаемый!)

— И почему, скажи на милость, в любой цивилизованной стране — и у нас, конечно,— столичный акцент становится образцом произношения для всего государства?.. (Столица — она столица и есть! В ней и акцент тот самый...)

— Ах так...

— А отчего...

Чувствую, и с моих губ вот-вот сорвутся слова. Уж я-то... Но нет, беру себя в руки, возвращаю хозяйке большую стопку (на донышке ни капли, вроде и духа даже спиртного не осталось) и устремляюсь прочь — домой, к неизбывному моему белому бумажному листу. Доверюсь ему, ведь меня самого так и тянет пофилософствовать: каков же он, истинный ханоец?..

Для абстрактных определений нет ничего важнее конкретных примеров. И потому, мой читатель, я называю сразу имя художника Буй Суан Фая, как говорится, ханойца из ханойцев, плоть от плоти тысячелетней нашей столицы. Пусть он не музыкант (не актер, добавлю я, и не писатель), но в говоре его, в его голосе звучит вся гамма музыкальных интонаций, заключено все богатство крылатых словечек, присловий и образов ханойского диалекта. А разве соотношенья цветов и оттенков, очертаний и масс в контрастах и гармонии его живописных композиций — хоть вроде бы и безмолвствуют — не звучат, перекрывая голоса музыки и поэзии? И на каком языке говорят они молча?..

От самого Буй Суан Фая никто не слыхал ни манифестов, ни деклараций и аналитических сентенций: все видят одно — он рисует, рисует, рисует... Рисует на больших, натянутых на подрамники холстах, на листах бумаги меньше книжной страницы, на случайно подобранной обертке от засахаренных фруктов (кое-кто, изображая себя знатоком французского, называет это «мини-живописью»), рисует даже на обрывках картона чуть побольше спичечной этикетки. Маслом, акварелью, гуашью — в любой технике. Рисовать ему так же необходимо, как всем нам дышать, утолять жажду чашкой чая, глотком вина. В набросках своих Буй Суан Фай запечатлевает снова и снова обличья вещей, деяний, людей — движущихся и неподвижных. Рты, шеи, руки, ладони... Вон кто-то держит речь на собрании. Чуть дальше — изящный силуэт девушки в красном платье. Женщина в синем на велосипеде жмет на педали, пересекая перекресток. Конечно, зарисовки эти еще и подспорье для художника, работающего в газетах, слава богу, они печатают не только фотографии, но и графику. Думаю, иному писателю, едва он вообразит, будто исчерпал до дна всю сокровищницу слов, весьма и весьма полезно будет заглянуть в эти «записные книжки» художника — какой отклик вызовут они в его душе, сколько напомнят словес, вроде давно оброненных, позабытых.

[1] Основная единица вьетнамской валюты; один донг равен ста су.

Буй Суан Фай рисует лес, рисует горы, реки и море, песчаные пустоши, лесные тропы, деревенские улочки, театральные кулисы... Но чаще и охотнее всего рисует он улицы. Ханойские улицы и их перекрестья, пригороды столицы. Не зря же люди — и близкие друзья тоже взяли это в привычку — называют его не Буй Суан Фай, а Буй Суан Фо («фо» по-вьетнамски — улица). А знатоки и ценители живописи толкуют об «улицах Фая» так же, как о «тарелках Шанга» (Нгуен Шанг, мастер лаковой живописи, искусно компонует изображение на глади доски и в вогнутом диске тарелки).

■ ■ ■

Я знаю Буй Суан Фая еще с тех пор, как работал журналистом в разных газетах. Помню, в сорок пятом, после победы Августовской революции, начала выходить газета «Ван хоа» («Культура»); на огромных листах ее, величиной чуть не с циновку для лежака, было много рисунков Фая. В захваченном врагом Ханое [1] Фай рисует улицы. Вот Оловянный ряд, на мостовой нагло торчит французский военный грузовик — идет облава на молодых парней, их угоняют в армию; кузов грузовика накрыт брезентом — ни просвета, ни щелки. В нижнем углу картины значится: «1952, Ханой»; имя автора выписано полностью — все три слова (сейчас художник упростил свою подпись: как бы желая уступить место живописи, выводит скупой росчерк — «Фай»). И теперь он по-прежнему, нет, даже больше, чем прежде, рисует улицы. О да, у него есть и пейзажи, написанные на «привычном» пленэре — нередко у воды, в лесной чаще, у деревенской околицы. Есть портреты. Он пишет натюрморты — цветы к лунному Новому году, рисует лошадей, когда наступает год Коня, коз — в год Козла... И то, и другое, и третье... Но всякий раз возвращается снова к своим улицам. А теперь и старший сын Фая рисует ханойские улицы (некоторые его работы как-то сразу находят путь к вашему сердцу), и вот уже кто-то из журналистов шутит: «Нет-нет, без экспертизы тут не разберешь, где творенья самого метра, а где — его отпрыска». Итак, потомственный дар?! Фамильная манера письма и стиль?!

На полотнах Буй Суан Фая мы видим облик старых улиц, старинные кровли, узкие перекрестки. Коньки и скаты крыш, резные выступы балок, дверные проемы и ниши, мансарды, громоздящиеся друг на друга, как спичечные коробки. Но я припоминаю истории, что древние наши ханойские старцы поведали мне, недостойному,— и за фасадами улиц Фая видится мне нутро этих старых домов. Вот они возникают и наплывают откуда-то издалека... Дворик с глубоким колодцем, створки широченных — во всю стену — дверей, антресоли, разъемные двери из вставленных в пазы звонких сухих досок, щербатые, словно после цинги, перила галереи, протянувшейся по верху длинного дома — фасад на одной улице, черный ход на другой, параллельной... «Ах!—восклицаете вы.—Вот каковы они, улицы старого Ханоя»... Такими мы видим их и на почтовых открытках времен французского протектората. Да, они таковы и в то же время совсем другие!

Небольшое кафе в центре Ханоя; один из завсегдатаев — он угощается здесь кофе с утра до вечера — кивает приятелю на развешанные по стенам картины Буй Суан Фая. А Фай, надо сказать, популярен в народе, и вещи его можно найти в самых скромных и неприглядных с виду домах. Но собеседников этих пейзажи Фая почему-то наводят на воспоминания о Ханое древнем. Я слушаю их и тоже вспоминаю седую старину. Ханой тогда назывался еще Тханглонг (город Взлетающего дракона); кварталы и улицы здесь возводились еще при государях дома Ли и Чан [2], и со времен династии Чан числилось городских кварталов ровно тридцать шесть. Дома строились из обожженного кирпича. В раствор, судя по остаткам древних сооружений и свидетельствам очевидцев, добавляли грубую волокнистую бумагу и другую бумагу — серую писчую, самородную соль и соль морскую, тростниковую патоку. И лишь с приходом тэй [3] появляется его высокородие цемент. Наш император Зя Лонг — это он, как говорится, «принес на себе змею в собственный свой курятник» [4] — строил крепости по системе Вобана; и, наверно, стены их клались уже на привозном цементе... «Ну, а дома на улицах Буй Суан Фая,— спрашивает любитель кофе,— они строились на цементе?..» В какие же дебри премудрости заводит нас созерцание живописи!

Есть у меня несколько приятелей-интеллектуалов,— они живут в чужеземных столицах, но лунный Новый год приезжают встречать на родину,— их всегда удивляет что в кафе и харчевнях у нас висят оригиналы картин знаменитых художников (в том числе, само собою, и Фая). Они качают просвещенными головами своими и изрекают: «Нет-нет, правобережье Красной реки (понимай, Ханой) ничуть не хуже левобережья Сены (сиречь Парижа)». Кое-кто из гостей расхваливает картины Буй Суан Фая, хотя и сетует: мол, иные пейзажи его не похожи на

[1] Речь идет о временной оккупации Ханоя французскими колонизаторами во время войны Сопротивления (1946—1954).

[2] Ли (1009—1225), Чан (1225—1400) — императорские династии, правившие в Дайвьете (Вьетнаме).

[3] Тэй (от вьетнамского «tây» — Запад) — пренебрежительная кличка французских колонизаторов.

[4] Речь идет о том, что император Зя Лонг (1802—1820) открыл доступ в страну французским колонизаторам, со временем захватившим весь Вьетнам.

«прототипы» — реальные дома, улицы, перекрестки. И всякий раз среди посетителей находятся оппоненты. «Может, некоторые детали и неточны,— говорят они,— но ведь это живопись. Картина и фотография — вещи совершенно разные. Творец не копиист...»

А под конец все кафе неизменно втягивается в спор: какими должны быть новые улицы Ханоя, столица-то строится, растет. И уж будьте спокойны, всегда отыщется оратор, твердящий: нет, строя новый Ханой, нельзя копировать старые дома, старые улицы («просвещенные» колонизаторы называли их когда-то туземными кварталами, и отличались они невероятной скученностью и полным отсутствием удобств). Но, возражает ему другой, нельзя и забывать: после второй мировой войны некоторые западные столицы были сильно разрушены, а иные и вовсе фашисты сровняли с землей. И что же, их отстроили заново точь-в-точь такими, как были они встарь — каждую улицу, каждый дом; однако внутри дома эти спланированы по-современному и имеют все удобства. Понятно, у нас не было таких разрушений. Но мы должны сохранить самые интересные старые улицы и дома, особенно здесь, в Ханое. Скажем, я бы повесил где надо такие таблички: «Переулок Фатлок [1] — памятник архитектуры; охраняется государством». Надо, конечно, развивать город вширь, возводить новые районы из новых, современных строительных материалов, следуя новейшим канонам архитектуры. И в то же время мы обязаны уберечь неповторимый облик старых улиц и домов, рядом с которыми будет особенно впечатляющей новизна возводимых сегодня массивов Ханоя — новизна во времени и в пространстве...

■ ■ ■

В творчестве Буй Суан Фая, особенно в его видах Ханоя, ясно прослеживается период преобладания теплых, я бы даже сказал, «раскаленных» тонов. Густо-коричневого и блекло-коричневого цветов. Оттенков старого кирпича и старинной черепицы, веками выдерживавшей зной и дожди. Но не так давно колорит картин Буй Суан Фая стал легче, прозрачнее. Он пронизан дыханием камня — синеватого камня старых жерновов и ступ и беловатой тверди новой каменной утвари. Он чарует глаз. Наверно, чем старше рука, водящая кисть, тем одушевленней и выше полет красок.

В столице, увы, нет покуда изданий с иллюстрациями, приложениями и исследованиями о старом Ханое (вроде того, которое выпускали прежде Amis du vieux Huê [2]). Любуясь городскими пейзажами Фая, изображенными им людьми Ханоя — столицы единого нашего государства — соотечественники мои, равно как и иноземцы, вынесенные на наш берег волнами людского моря, хотели бы увидеть, прочесть, перечитать издания, посвященные Ханою — старому и нынешнему — и иллюстрированные репродукциями картин Буй Суан Фая.

■

[1] Один из старейших переулков Ханоя; назван по деревне Фатлок (провинция Тхайбинь, Сев. Вьетнам), выходцы из которой застроили его и заселили в XVIII веке.

[2] Amis du vieux Huê (Друзья старого Хюэ — *франц.*) — историко-археологическое общество, изучавшее главным образом древности старой императорской столицы Хюэ и издававшее специальный журнал.

Из нашей почты

«Редакционная почта — своеобразный барометр настроений людей, богатейший источник тем для актуальных выступлений печати»,— напомнила недавно газета «Правда» в передовой статье «Читатель и пресса».

Журнал «Иностранная литература» по своему материалу и профилю не совсем обычное издание. Но и мы считаем письма читателей показателем литературных вкусов, мыслей, мнений и впечатлений людей, а количество читательских писем и их содержательность воспринимаем как один из важнейших показателей своей работы. Худеет сумка почтальона, мелеет поток писем с адресом «Пятницкая, 41», и редакция начинает думать: не падает ли внимание читателей к журналу? Почта вновь приносит нам пачки конвертов с обратными адресами из всех концов страны и из-за рубежа — и мы видим: «обратная связь» между журналом и его читателями действует.

И не беда, что наряду с письмами благодарственными и даже комплиментарными приходят в редакцию отклики неудовлетворенных той или иной публикацией читателей. Всякое слово дружественной, заинтересованной критики заставляет редакционный коллектив еще раз оглянуться на сделанное и проверить свою работу: все ли возможности использованы нами, чтобы наш журнал представлял литературы мира с наиболее выигрышной стороны, печатал вещи актуальные, художественно яркие и значительные по содержанию.

Особое чувство признательности испытываем мы к тем читателям (среди них немало многолетних подписчиков), которые, не удовлетворяясь импульсивным желанием высказаться по поводу конкретной публикации или дать эмоциональную оценку нашего издания в целом, выступают с предложениями, замечаниями, советами, пишут, каким они хотят видеть журнал и что надеются прочесть в нем.

АЛАНОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДИЕВНА, г. Норильск

Мне 32 года, я работница. Выписываю ваш журнал 12 лет. Среди прочей литературы, которую выписываю, этот журнал мне ближе всех. Мы живем на Севере, и нам пока не ограничена подписка, признаюсь, рада этому очень.

Ваш журнал старательно собираю, это духовные ценности. Книжный рынок не становится богаче. Что ж, понятно, нет бумаги. Тем более возрастает ценность вашего журнала. Благодаря ему знакомишься с лучшими литературами мира. Мне нравится почти все, что вы печатаете. (Вот написала слово «нравится» и чувствую, что оно банально точнее будет — люблю, да это и в самом деле, я люблю литературу.) Роман «Богач, бедняк...» Ирвина Шоу, ведь это чудесное произведение, а каков подтекст: ведь дикий, неуправляемый младший брат оказывается выше и мудрее такого благополучного старшего. Признаюсь, плакала, читая эту вещь...

ТРОФИМОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 32 года

Спасибо вам за публикацию подборки «Из китайской прозы и поэзии последних лет».

Эти рассказы можно принять за западную фантастику, если не знать, что все это происходит на самом деле. Особенно мне понравился рассказ Ли Чжуня «Манго». В этом рассказе сконцентрирована вся история нынешнего Китая

Очень точно отобразил атмосферу, царящую в нынешнем Китае, американский писатель Джон Херси в своей повести «К вопросу о дополнительной жилплощади». Эта повесть напечатана в последнем сборнике «Современная американская повесть». Я читал эти рассказы и все время вспоминал эту повесть.

ВАЦЛАВ ВАНЕК. Прага, ЧССР

В пятом номере Вашего журнала за 1982 год прочитал я и с большим интересом статью товарища Олега Малевича, названную «Аппассионата под гильотиной». Я хочу поблагодарить автора за первый русский перевод стихов моего погибшего друга — коммунистического поэта Индржиха Вихры. Мы подготавливаем новое издание документов, в которое хотим вставить также статью из Вашего журнала.

Передайте, пожалуйста, автору О. Малевичу наши три сборника документов. Если он намерен перевести стихи И. Вихры, мы всегда готовы помочь ему в чем надо.

Г. А. БУГРИМЕНКО. Москва

В течение последних пятнадцати лет я являюсь постоянным читателем вашего журнала: в те годы, когда мне не удавалось подписаться, я покупал годовой комплект в букинистическом магазине. Все, представляющееся ценным, я сберегаю либо в самодельных переплетах (художественную прозу), либо в папках с вырезками (публицистика, заметки из раздела «Культура и современность» и т. д.).

Я надеюсь, что все это отчасти дает мне право на то, чтобы быть выслушанным.

Если попытаться на многолетнем материале выявить кредо редакции, то можно четко обнаружить две тенденции.

Во-первых, давать всего понемногу, представить, так сказать, все регионы пропорционально (разумеется, не вполне пропорционально их значению для мирового литературного процесса). Во-вторых, имеется тенденция постоянно находить новые имена. Следует признать, что здесь нередки и удачи. Так, в последние пять лет благодаря вам мы узнали Фаулза, Доктороу...

Но почему эти две тенденции не дополнить столь же постоянной третьей: ежегодно давать один (хотя бы один в год!) роман для ценителей высокой литературы, вещь, написанную большим «апробированным» мастером, одним из тех, о которых пишутся литературоведческие работы? Почему бы плюс к этому одному не опубликовать еще один (опять-таки хотя бы один!) роман для широких читательских масс, такой, который будет читаться, передаваться из рук в руки, выдаваться «по знакомству» в библиотеках, такой, из-за которого трудно будет достать в магазине годовой комплект?

Я помню обзоры читательских писем в «ИЛ». Подборка цитат должна была показать: что не нравится одному, то нравится другому, а в целом журнал как раз дает спектр мировой литературы в лучших ее проявлениях. Писалось, что журнал — это журнал, и он не должен подменять работу издательств, и что редакция не намерена менять свою линию.

Но нельзя же не знать и никак не учитывать того факта, что круг читателей расширился, а уровень повысился настолько, что художественная литература, выпускаемая издательствами, попросту не появляется на прилавках магазинов. Скажем, тот же Фицджеральд или Воннегут даже не попали в книги новых поступлений магазинов столицы! Как бы мог разрядить обстановку ваш журнал!

Я смотрю на книжную полку и пересчитываю шедевры, подаренные «Иностранной литературой» за 15 лет: «Сто лет одиночества», «Шум и ярость», «Степной волк», «Портрет художника в юности». Ну, добавим из уважения к автору «Острова в океане». Вроде и все.

Вот произведения ниже рангом, но добротные, такие, которые читались, передавались друзьям, обсуждались. Здесь дело обстоит получше, и за 15 лет, может, и наберется 15 романов, правда, не все они так уж хороши, но можно было бы сказать: спасибо и на этом. Можно было бы, если бы не два последних года.

Вам, разумеется, известно, что в 1982 году произошло подорожание прессы и что ни одно издание не подорожало так разительно, как «ИЛ». А ведь ваш журнал — это единственный товар, потребительская стоимость которого может возрасти без роста затрат на его производство. Вы можете черпать из богатств мировой литературы как настоящего времени, так и прошлых эпох.

Когда мне удалось подписаться на «ИЛ» в прошлом году, я ожидал, как говорится, получить наслаждение от общения с прекрасным, причем в большей степени, чем раньше; исходил я из того, что всякий добросовестный работник чувствует некую моральную обязанность перед теми, кто потребляет продукт его труда. Настраивало на розовый лад и то обстоятельство, что после удачного и насыщенного 1980 года год 1981 прошел бледновато. Я надеялся, что качество если уж не растет неуклонно, то хотя бы не должно неуклонно падать, а, значит, вслед за падением будет подъем...

Вот все 12 номеров получены. Что изменилось по сравнению с прошлыми годами? Первое: уменьшение числа «толстых романов», их всего четыре. Само по себе это не хорошо и не плохо, так как качественная проза может быть в разных жанрах. Второе: явный уклон к «злободневной» тематике. Злободневность — вещь хорошая, но для художественной литературы (а не публицистики) художественные достоинства во всяком случае не менее важны.

Что можно сказать о четырех романах «с продолжением»? Амаду, конечно, хороший писатель, но после «Лавки чудес» и «Терезы Батисты» его новый роман не производит того впечатления. Английский и американский романы (обычно перлы годовой подписки) на сей раз скучны. (Может быть, это спорное суждение. Может быть, те, кто сам прошел через войну, ближе восприняли «Только позови»? Но, согласитесь, все равно это не та вещь, которая оставит след в мировой литературе, да и надолго останется в памяти читателя.) Получилось, что самым интересным оказался роман «Целители». Однако африканская проза пока далека от вершины пирамиды мировой литературы...

Перечитал, что получилось, и засомневался: а может, я несправедливо зол и, может, не так уж прав. И думал: стоит ли посылать такое письмо

Все-таки решил его отправить: ведь резковатый тон не для того, чтобы охаять благородный труд редакции, благодаря которому читатель порой получает истинную радость; он для полемичности, для обострения мыслей, может быть и неправильных. Пусть он послужит истине.

КЛИМОВ ВИКТОР, оператор-переработчик, 22 года, г. Альметьевск

Долгое время я читал только фантастико-историческую литературу, познакомившись с вашим журналом, я понял, что не может человек питаться только мороженым и шоколадом. За этот год я приобрел и прочитал все номера, какие были в наших библиотеках и какие появлялись в магазинах.

Но, увы, самые старые мои журналы датируются 1970-м годом.

Большое спасибо вам за публикацию произведений Варгаса Льосы, А. Моравиа, Салиха, А. М. де Леры, молодых прозаиков Венгрии, японских писателей и многих других. Из поэзии мне понравились стихи Брассанса, А. Техады, Р. Альберти. Не меньше нравятся рецензии и критические статьи. Очень хорошо, что вы не ограничиваетесь только литературой, пишете о кино и театре. С удовольствием, например, читал воспоминания Феллини.

Я полностью согласен с вами, что «Иностранная литература» не должна превращаться в серию книг или альманах, я думаю, всем понятно почему... Что касается сокращений, то, думается, они никогда не меняют произведения, ни его стиль, ни его содержание. Для особо привередливых, мне кажется, можно делать сноску, оговаривающую, что подверглось сокращениям.

Мне хотелось бы прочитать в вашем журнале продолжение романа «Особый дар» П. Х. Джонсон и «Страна заката» К. Фалдбаккена. По-моему, незаслуженно забыт Э. Кестнер. Он, кажется, вообще не печатался у нас за исключением повести для детей «Эмиль и сыщики». То, что его произведения не заслуживают забвения, доказано еще в тридцатые годы. Хотелось бы также увидеть на страницах вашего журнала новое произведение выдающегося негритянского писателя Дж. Болдуина. Из новых произведений меня интересуют две книги чешских авторов: повесть Д. Душковой «Игры в любовь» о молодежи и роман Ч. Вейделека «Не оглядывайся во тьму». Кроме того в «Иностранной литературе» литературу Австралии представляет почти исключительно К. С. Причард, слов нет, это хорошая писательница. Но хотя бы для разнообразия можно опубликовать произведение, например, Д. Кьюсак. Сужу по ее романам, опубликованным в «Роман-газете», она мало в чем уступает своей знаменитой соотечественнице.

И я предлагаю сделать регулярной рубрику «Литературное наследие». Не надо приурочивать ее только к юбилейным датам. Ведь не менее новых книг любят читатели произведения авторов творивших до нашей эры, в эпоху средних веков, Возрождения и Просвещения. И публиковать надо не основные произведения, а малоизвестные. Ведь куда больше людей читало «Декамерон» Боккаччо, чем его же «Фьяметту» и «Роман о Трое». Я думаю, читатели скажут вам огромное спасибо...

В заключение хочу вам предложить время от времени проводить анкету среди читателей для выявления наиболее понравившихся произведений, кого бы они хотели вновь увидеть на страницах журнала (это относится и к рубрике «Литературное наследие») и с какими авторами хотели бы познакомиться.

ИВАНОВА ОЛЬГА, 19 лет, студентка. г. Комсомольск-на Амуре

Журнал «Иностранная литература» наша семья выписывает уже семнадцатый год. Считаю, что новинки зарубежной литературы получают на страницах журнала широкое и полное отражение. Но мне хотелось бы высказать редакции следующее пожелание.

В «ИЛ» часто печатаются произведения писателей и поэтов США. Я с радостью знакомилась с новыми публикациями У. Фолкнера, Джеймса Болдуина, Джозефа Хеллера, Роберта Пенна Уоррена, Бел Кауфман, Гора Видала, Харпер Ли и многих-многих других известных или впервые представляемых нам талантливых писателей, в том числе и негритянских.

Но вот произведения некоторых американских авторов «ИЛ», к сожалению, не публиковал ни разу. Я имею в виду так называемую «индейскую литературу», играющую сейчас заметную роль в культурной жизни США. Имена таких писателей, как Наварр Скотт Момадэй (роман «Дом, из рассвета сотворенный», повесть «Путь к Горе Дождей»), Джеймс Уэлч (роман «Зима в крови моей»), Хиймейостс Сторм (роман «Семь стрел»), Лесли Мармон Силко (повести «Церемония» и «Рассказчик»), широко известны не только в США. «ИЛ» неоднократно публиковал интервью с этими авторами, рецензии на их книги. Рецензии, но не сами произведения! А ведь повести эти оригинальны, самобытны и глубоко талантливы. Тем более, что условия, в которых развивается творчество индейских писателей и поэтов, отличаются особой сложностью.

Правительство США и большой бизнес стремятся растоптать замечательную индейскую культуру, попирают права коренного населения страны. В такой обстановке произведения индейских писателей, прославляющих свой народ, его самобытную, древнюю и прекрасную культуру, историю, фольклор, служат оружием в борьбе коренных американцев за справедливость. Я думаю, что творения индейской литературы заслуживают публикации на страницах журнала.

И. ЕРМАКОВА, инженер-конструктор. г. Орел

На страницах «ИЛ», журнала, который я очень люблю и являюсь постоянной подписчицей, я несколько раз читала оценивающие отзывы читателей, позвольте и мне сказать несколько слов.

Если раньше, в 1978, 1979, 1980-м, художественные произведения, публикуемые в «ИЛ», такие, как «Рэгтайм» Доктороу, «Теофил Норт» Уайлдера, «Давай поженимся» Апдайка, «Богач, бедняк...» И. Шоу, «Сицилийский специалист» Льюиса, «Мисс Джин Броди в расцвете лет» Спарк, украшали, можно сказать, как яркие цветы, ваш журнал, то теперь же, в 1981—1982-м, явный перевес в сторону публицистики. Не могу не сказать вам большое спасибо за такие публикации, как «Делать фильм» Феллини, «Дети Америки» Боноски, «Блики Нью-Йорка» Кондрашова, «Канун» Капусцинского, Бовина — об иранской революции...

Хочется видеть и художественные произведения такими же захватывающими. Очень хорошо и то, что в номере можно найти хорошую статью о прочитанном романе и его авторе. И, пожалуйста, не эко-

номьте на «Антирубрике» — это замечательный раздел, но не всегда находишь его в номере. «Антирубрика», посвященная Эдварду Лиру,— чудо. Дети любят читать эту вещь и знают наизусть — по крайней мере мои дети и их товарищи 7,8 и 11 лет.

Еще раз от всего сердца благодарю за ваш журнал, надеюсь на ваши хорошие публикации. А рубрика «Из месяца в месяц» служит мне и спутником кинозрителя, и библиографическим указателем.

Г. НИКИТЧЕНКО, г. Ташкент

Решил написать Вам это письмо потому, что являюсь давнишним читателем «ИЛ». Эпизодически с вашими публикациями знакомился с середины 60-х годов, регулярно журнал выписывал 10 лет, с 1971 по 1981 год. Но в этом году не выписал по нескольким причинам, главная из которых то, что «ИЛ» подорожал чуть не в два раза. А еще и потому, что, на мой взгляд, последние произведения в «ИЛ» не представляли для меня былого интереса. Действительно, из крупных работ прошлых лет (конец 70-х) мне особенно запомнились романы Торнтона Уайлдера «Теофил Норт», Питера Устинова «Крамнэгел», Г. Доктороу «Рэгтайм», повесть Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти» да, пожалуй, еще повесть Джеймса Олдриджа о Хемингуэе и Фицджеральде (пишу по памяти, так что номера журналов указать не могу, тем не менее сам этот скудный список говорит о многом. Пожалуй, к нему еще можно добавить рассказы из «Антирубрики», да и то далеко не все).

Поэтому огромное наслаждение, удовольствие принес мне 10-й номер «ИЛ» за 1982 год. Действительно, если бы большая часть ваших тетрадей за прошлые годы была сравнима с этой, то, думаю, не только я, но и многие-многие читатели выразили свою признательность и благодарность.

Весь номер от начала до конца продуман, все публикации, интересные и сами по себе, хорошо соотносятся друг с другом, дополняют друг друга. Благодаря удачному подбору материала 10-й номер «ИЛ» воспринимается как некий единый сборник, нечто цельное.

Стихи Элисио Диего (Куба) и венгерских авторов удачно соседствуют с едко сатирическим романом «Конторские будни» Кейта Уотерхауса. Правда, в этом прекрасно переведенном и «взапой» читаемом романе автору, на мой взгляд, в конце чуть-чуть изменило чувство меры. Концовка романа несколько смазана, и от этого весь сатирический, критический эффект произведения несколько уменьшен.

Очень удачно подобраны миниатюры к 90-летию А. Рюноскэ.

В «Антирубрике» великолепные стихи Л. Кэрролла к 150-летию со дня рождения. Жаль только, что не полностью. Потом я, как физик по образованию, часто встречаю в специальной физико-математической литературе ссылки и цитаты из произведений Л. Кэрролла, и обычно эту поэму на русский переводят как «Охота на Смарка», поэтому переводчику нужно было дать аннотацию к своей версии («Охота на Змеря»).

Очень хорошо, что именно в «ИЛ» помещена статья акад. Д. Лихачева, посвященная 1000-летию восточнославянской письменности. Видимо, эту столь важную тему, имеющую в нашей стране общекультурное, даже глобальное значение, следует продолжить. Странно, что другие журналы, печать, радио и телевидение не остановились на этой знаменательной дате в истории русской, украинской и белорусской культур.

Как видите, журнал действительно очень насыщен, интересен. Большое спасибо за него всей редколлегии, авторам, переводчикам, составителям именно этого номера.

Надеюсь, что в будущем мы, постоянные читатели «Иностранки», все чаще будем видеть номера, подобные этому.

ВОРОНОВ СЕРГЕЙ, киноинженер, 27 лет, г. Клайпеда

Читаю ваш журнал и всегда с нетерпением жду нового номера с 1970 года. И почти всегда оправдывались надежды. Истинное наслаждение доставляли произведения Гарсиа Маркеса, Ф. Саган, А. Хейли, Г. Гессе, Дж. Фаулза, Р. Баха, И. Шоу, Дж. Апдайка, П. Вежинова, но в последние два года, по-моему, журнал несколько «сдает свои позиции». Почему за весь 1982 год не было опубликовано ни разу обзора читательских писем? Ведь раньше эта рубрика была традиционной и весьма интересной и полезной.

Также, мне кажется, было бы очень к месту в вашем журнале периодически извещать читателей о новых более значимых переводимых произведениях, готовящихся к выходу в советских журналах либо в отдельных изданиях.

Хочется надеяться, что в новом году в связи с 70-летием со дня рождения прочитаем Ирвина Шоу (будет ли опубликовано продолжение романа «Богач, бедняк...»?) или Сомерсета Моэма и Джона Фаулза, Германа Гессе, Джозефа Хеллера и многих других полюбившихся и популярных писателей.

При разнообразии оценок и пожеланий, адресованных журналу, очевидна заинтересованность читателей в издании, которое они справедливо считают своим полпредом в мире зарубежной литературы и в то же время посланником современной зарубежной культуры у себя дома. Читателей интересует не только результат, «конечный продукт», готовый номер журнала. Многие интересуются самим процессом работы, принципами отбора произведений для публикации. И, по-видимому, назрела необходимость сказать об этом несколько слов.

Всякий журнал — дело коллективное, тем более такой журнал, как «Иностранная литература», имеющий дело с информацией, поступающей со всех континентов, из десятков регионов мира, о произведениях, создаваемых на всех основных языках,

какими говорит Земля. Понятно поэтому, что в подготовке каждого номера принимают участие не только литераторы, составляющие редколлегию, чьи имена значатся на нашей последней странице. И не только те редакторы и литературные сотрудники, которые непосредственно готовят материал к печати. Издание такого журнала, как «Иностранная литература», невозможно без активного дружеского содействия значительного отряда переводчиков, часть которых являются членами Союза писателей, и референтов по различным странам и районам мира. Более 20 специалистов-референтов регулярно предоставляют редакции подробные обзоры зарубежной печати и известия о новых книгах и литературных дискуссиях. К этому стоит прибавить, что редакция выписывает основную зарубежную литературную прессу. Сотрудники журнала систематически выезжают за рубеж для непосредственных контактов с иностранными авторами, издателями и журналами в поисках интересных новинок. Немало дают и встречи с нашими зарубежными гостями, приезжающими в Советский Союз.

Этими усилиями коллектива и производится в конечном счете отбор произведений и тем для публикации. Отзывы специалистов, внутренние обсуждения, творческие споры в отделах редакции и на редколлегии призваны выделить лучшее из предлагаемого к изданию и свести к минимуму возможность произвольного, субъективного решения. Разумеется, решающими критериями остаются для нас идейная значимость, глубина содержания и художественное мастерство автора. Но принимается в расчет и актуальность темы, и мера непосредственного интереса, то, что можно обозначить беззаконным для литературоведения термином «увлекательность» произведения. Необходимо также постоянно держать в поле зрения различные районы мира, проявлять внимание не только к литературам, богатым громкими именами, сильными традициями, но и к исторически молодым культурам.

В последнее время в ряде писем, пришедших в редакцию, справедливые пожелания видеть журнал лучше, интереснее ставятся в непосредственную связь с повышением подписной и розничной цены на наше издание. Здесь необходимы некоторые разъяснения. Редакция постоянно озабочена вопросами качества журнала, большей привлекательности его страниц для читателя и впредь постарается, чтобы каждая из очередных журнальных книжек не разочаровывала тех, кому она адресуется. Однако наивно думать, что уровень журнала в большей мере зависит от розничной и подписной цены, чем от того объективного обстоятельства, какой выбор предоставляет нам сама зарубежная литература. Слов нет, в ней не перевелись большие мастера, интересны искания молодежи, но обычные пожелания читателей, чтобы журнал чаще печатал произведения авторов, равнозначных по таланту Фолкнеру и Хемингуэю, Ремарку и Франсуа Мориаку, не всегда легко исполнить.

Что же касается цены на журнал, то она устанавливается не редакцией, а планирующими органами и непосредственно зависит от суммы возросших затрат на бумагу и типографский набор, а также — и в этом специфика «Иностранной литературы» — на гонорары зарубежным авторам. С 1973 года, когда Советский Союз стал участником международной конвенции по авторскому праву, мы выплачиваем значительные гонорары зарубежным авторам в твердой валюте, что непосредственным образом сказывается и на стоимости журнала.

Отмеченное обстоятельство вовсе не означает, конечно, что мы не понимаем затруднений читателей, привыкших из года в год выписывать и получать на дом наш журнал, а теперь несколько озадаченных его новой ценой. Со своей стороны мы продолжим поиски произведений зарубежной литературы, которые бы в большей мере удовлетворяли интересы и вкусы наших подписчиков.

Те, кто из года в год выписывает журнал и следит за публикациями «Нашей почты», могут беспристрастно отметить такое немаловажное обстоятельство: целый ряд общих соображений и конкретных советов, содержавшихся в читательских письмах минувших лет, учтен редакцией в ее деятельности, осуществлен в журнальной практике. Это касается, в частности, появления на наших страницах имен некоторых, малоизвестных прежде или вовсе незнакомых русскому читателю авторов, таких, как француз Ле Клезио, австрийцы Музиль или Хандке. С их произведениями хотели познакомиться наши читатели, и журнал их напечатал. Предложение читателей — публиковать краткие биографические сведения не только о печатающихся в журнале иностранных авторах, но и о советских — критиках, переводчиках, также было нами осуществлено. Последнее, кстати говоря, заставило большинство читателей внимательнее отнестись к работе переводчиков, и в нашей почте нередки теперь стали благодарные слова, адресованные по конкретным журнальным поводам М. Кудинову и Н. Горской, Е. Кацевой и Н. Шульгиной, И. Зимониной и О. Малевичу.

В наших обзорах писем был также поднят и активно обсуждался читателями вопрос о приложении к «Иностранной литературе». С конца 1982 года начат выпуск этой серии и уже вышло около двадцати небольших, ярко оформленных книжек карманного формата, представляющих, в частности, такие имена, как Герман Кант, Рэй Брэдбери, Сьюзен Хилл, Джон Чивер, Сид Чаплин, Натали Саррот, Карел Чапек и др. Книги продаются в киосках «Союзпечати» — лимиты бумаги не дают пока возможности сделать это издание подписным.

Огорченные дефицитом книг иностранных авторов на прилавках магазинов, некоторые наши читатели упорно рекомендуют журналу «Иностранная литература» восполнить эту нехватку, перепечатывая на своих страницах лучшие произведения прошедших десятилетий и даже эпох: просят заново напечатать «Триумфальную арку»

Ремарка и познакомить с поэтами античности. Спору нет, раздел «Литературное наследие» может быть представлен в журнале богаче и вестись систематичнее. Но его место все-таки, по нашему убеждению, должно быть ограниченным и подчиненным. «Иностранная литература» — журнал современной зарубежной литературы. К тому же это не только литературно-художественное, но и общественно-политическое издание. Пропаганда достижений культуры прошлого — важная, но далеко не исчерпывающая задача такого издания. И даже когда мы публикуем фрагменты наследия выдающихся художников далекого и недавнего прошлого, это не может быть простой перепечаткой. Важно современное культурное значение публикации, восстановление существенных пробелов издательской практики, первое знакомство русского читателя с оставшимися для него в тени именами и явлениями мировой литературы.

В заключение скажем несколько подробнее о главном журнальном чтении — романах и повестях современной темы. Обычно читатели с нетерпением ждут появления на страницах журнала имен своих любимцев — наиболее известных писателей мира, уже завоевавших прочную репутацию и у нас в стране. Только в прошлом, 1982 году на страницах «Иностранной литературы» были представлены своими новыми произведениями такие значительные художники, как Жоржи Амаду и Арагон, Стефан Хермлин и Грэм Грин, Трумэн Капоте и Алехо Карпентьер, Дж. Сэлинджер и Макс Фриш. Кстати, повесть «Синяя Борода» знаменитого швейцарского писателя русские читатели смогли прочесть почти одновременно с его соотечественниками: русский перевод в нашем журнале появился всего четыре месяца спустя после выхода повести на языке оригинала. Значительным явлением американской прозы считает редакция и роман Джеймса Джонса «Только позови», печатавшийся в трех журнальных книжках прошлого года. Не упускаем мы из виду и таких популярных писателей, как Ирвин Шоу. Читатели, вероятно, заметили, что в пятом номере за текущий год мы начали печатать вторую часть дилогии Шоу под названием «Нищий, вор».

Мы упоминаем об этом потому, что некоторые читатели сетуют в своих письмах на недостаточное якобы внимание журнала к крупным именам и явлениям современной литературы. Конечно, мы не рискнем утверждать, что не оставили за бортом ничего из существенного в современном мировом литературном процессе. Не будем настаивать и на том, что наш выбор всегда был безупречен. Но, повторим, приходится все же исходить не из благодушного, но абстрактного пожелания в каждом номере представить очередной «современный шедевр», а из наличного состояния национальных литератур мира и общей пестрой картины, в какую они складываются.

Разрабатывая свои ближайшие и перспективные планы, редакция намерена учесть все ценное и конструктивное в читательских предложениях, в том числе и пожелание видеть каждый год в журнале хотя бы по одному «бестселлеру», роману или повести, которую бы рвали из рук. Более того, мы отдаем себе отчет, что в идеале таким бестселлером должна была бы стать каждая книжка журнала «Иностранная литература»...

В этом полностью совпадают интересы читателей и журнала, и редакция с еще большей энергией, инициативой и предприимчивостью намерена работать в этом направлении.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ИЗМЕРЕНИЕ НЕИЗМЕРИМОГО

Современные болгарские повести. Перевод с болгарского. Составление и предисловие Н. Пономаревой. Москва, «Художественная литература», 1981.

«У нации два начала... одно начало — в бешено мчащейся верховой лошадке, начало действия и риска, другое — в лошадке-качалке, воплощении удобства и надежности». Эти слова из повести Й. Радичкова «Воспоминания о лошадях» просятся в эпиграф. Две эти лошадки могли стать метафорическим знаком книги — так явственно колеблется круг ее проблем между степью и крепким домом, неутомимой мыслью и спокойной созерцательностью, духовной смятенностью и самодостаточным бытом.

Можно сразу предположить, что два эти начала будут ладить плохо и носителям таких разнородностей придется несладко, даже если мы возьмем лошадку-качалку не в порицающем смысле, а именно в самом желанном человеку — чтобы дом был удобен и надежен, а душа — соразмерна и бестревожна.

Чего недостает герою повести П. Вежинова «Измерения»?[1] Профессор, член-корреспондент Академии наук, занимается любимым делом, с ним считаются. Ну, а то, что он в горькую минуту, оборачиваясь, не видит в своей жизни «ни подвигов, ни падений. Ничего, кроме однообразного вращения мельничных жерновов будней, которые с каждым днем крутятся все быстрей и быстрей», так кто же из нас хоть однажды не ловил себя на такой мысли и кто не отчаивался, повторяя за Пушкиным (за Пушкиным!)—«жизни мышья беготня»... Жизнь таким жестоким образом напоминает только, что надо больше ценить каждое отдельное мгновение, но не осуждает итога. И все-таки профессор сам выбивает себя из седла коня-качалки и садится за воспоминания, которые скоро унесут его из обжитого уюта картезианства на сквозняки доверчивой бессознательности, здорового детского начала, живущего в чистом сердце этого стареющего человека.

Он пустится искать истоки своего постоянного беспокойства и вспомнит бабушку, которую нежно любил до самой ее смерти, вспомнит ее прошедшее как свое— с остротою непосредственного переживания. Он как будто вместе с ней встанет к бойницам в дни апрельского восстания 1876 года против османского владычества (об этом восстании замечательно рассказал в недавно вышедших у нас избранных трудах видный болгарский социолог Иван Хаджийский) и ясно и близко увидит, как она упадет от удара прикладом по голове. Она когда-то так часто рассказывала об этом, что мальчиком он сжился с этим воспоминанием, как с сюжетом своей биографии, смущаясь только одним, как же она видела все, что происходило в ее доме в тот роковой день, если лежала лицом вниз и была без сознания.

Может быть, мальчик даже долго сомневался в ее правде, пока однажды она не сказала, что завтра будет землетрясение, и попросила увести ее из больницы, где она лежала в ту пору. Конечно, оставалось только улыбнуться причудам старого ума, но назавтра все случилось как было сказано. Отныне мальчик знал, что бабушка действительно «видела» тогда, поверженная прикладом, и видит все и сейчас сквозь стены и время.

С этого началась и его собственная жизнь, и он остро узнал, что прошлое и будущее иногда могут меняться местами и в душе, которая открыта внутреннему свету, человек не стареет, а может быть, даже не знает смерти. Он перестанет удивляться, что бабушка его была так похожа на девочку и сам, узнав в себе в зрелые годы бабушкину способность предчувствовать землетрясения, спокойно оставит свое профессорство, чтобы стать простым, послушным учеником жизни.

Жизнь словно настойчиво подсказывает нам тайны времени, однако слышат эту подсказку немногие, но если этим немногим отпущен дар слова, они благодарно говорят о ней всем. Что-то настойчивое есть в том, что эти прозорливые люди через поколения родителей узнают себя именно в дедах и бабушках. За внешним снисходительно-ласковым нашептыванием, которое всем нам доводилось слышать, что внук весь в дедушку, а внучка — «вылитая бабушка», есть устойчивая закономерность, и не внешнего, а чаще именно нравственно-духовного свойства. Жизнь не пускает к

[1] Впервые эта повесть была опубликована в «ИЛ», 1981, № 2.

безродности, протягивая дальнюю нить связи и тем как будто перекрестно рифмуя поколения.

В своей повести Вежинов возвращает героя ко времени, «когда люди не имели ничего, кроме самих себя» и владели секретом полноты восприятия мира, так что, даже если внешняя деятельная жизнь прерывалась, они умели наполнить ее воспоминаниями настолько реальными, что они начинали соперничать с действительностью в наглядной и созидательной полноте.

Несколько раз на протяжении повести автор задает вопрос: какая жизнь настоящая — реальная или та, что внутри нас? — по очереди склоняясь то в пользу одной, то другой, пока не приходит к диалектическому их согласию и единственно животворной нерасторжимости. Это проблема тоже старая и русским людям, по их славянской близости к болгарской культуре, очень близкая и известная во многих оттенках. Достаточно вспомнить, что жил в костромской деревне Шаблово старый крестьянский учитель Ефим Честняков, почти и не выезжавший из села, но создавший при этом глубокую художественно-философскую систему, где среди прочего есть и такие вот отзывающиеся вежиновской поэтике и миропониманию, несколько косноязычные, но чудно верные слова: «Фантазия — она реальна. Когда фантазия сказку рисует — это уже действительность, и потом она пойдет в обиход жизни так же, как ковш для питья... И жизнь будет именно такой, какой ее рисует наша фантазия... Гляди вперед и покажи свои грезы... и по красоте твоих грез ты займешь свое место в жизни».

Зоркие люди легко перекликаются через национальные границы, как не помеха им и границы времени, что вернее и убедительнее всего и свидетельствует о правоте их миропонимания. Драгоценность этой фантазии, как звал ее Честняков, этого «воображения» (П. Вежинов) коренится в том, что художник тут не мистикой тешится и не в отвлеченные утопии пускается, а возвращается к отчему преданию, к той сердечно памятной правде, которая была основой жизни дедов, духовной опорой народа.

Когда-то эту правду передавать было легче, она сама собою усваивалась в покойно-замедленном ритме последовательной и точь-в-точь подобной жизни сменяющихся поколений. Теперь «слишком много лиц, событий, зрелищ тянут в разные стороны душу человека», и это подчас утомляет и даже раздражает героя повести, который в досаде говорит однажды: «Не знаю, что должно случиться, чтобы люди вновь обратились к себе, осознали себя, увидели свои настоящие чувства. А то они окончательно превратятся в муравьев, которые при встрече узнают друг друга не иначе как на ощупь».

В этой досаде много обоснованного, но есть и оттенок запальчивости. Однако это ведь не автор, это герой говорит, а кто из нас не срывался и не говорил вгорячах, что все идет из рук вон — ни памяти, ни наследия, обряды забыты, традиции попраны, будущее сомнительно, но досада проходила, и мы глядели шире и судили осмотрительнее. Так и итог этой повести светел, потому что автор знает: герой неизбежно вернется к основам.

Й. Радичков в «Воспоминаниях о лошадях» еще углубил эту мысль, уведя свои «измерения» много дальше во времени, в те мифологические дни, «когда наши праотцы сеяли свой языческий грех в теплое славянское лоно». Там он и нашел эти два начала: степь и дом, смешавшиеся запахи конского пота и меда, которые и поныне сосуществуют в душе болгарина, хотя бы вовсе и не думающего об этих историко-этических закономерностях. И его герой следом за героем П. Вежинова ушел памятью в детство, в долгие деревенские дни, в то замедленное солнцестояние, когда жизнь бесконечна и как-то умудряется включить в себя даже смерть и найти ей естественное место в детских играх, деревенских гуляньях, тяжелых работах, темных слухах и птичьих криках.

Автор пишет эту жизнь так подробно и любовно, как Гефест кует щит Ахилла, и время в этом едином потоке течет сквозь человека или стоит в нем, пока из быта не начинает прорастать Бытие, а из дня — вечность. Это не прустовское возвращенное любовью время и не джойсовская остановленность распадающегося мгновения, а счастливое соединение движения и покоя, скольжения и возвращения.

При таком подходе авторам часто приходится выходить вперед и напрямую объясняться с читателем, чтобы не быть заподозренными в произвольном обращении со временем и верно понятыми. Вежинов, ища желанной цельности миропорядка, оговаривается: «Понимаю, что выражаюсь не слишком ясно... Но что это значит — быть последовательным? Следовать за чем, за кем? За самим собой? В лучшем случае — за той частью себя, которая зовется разумом или сознанием. Человек не может до конца познать самого себя. Это было бы равносильно познанию всей истины мира». Но опыт такого «преследования себя» он все-таки делает и достигает многого, потому что не тщится достичь в с е г о. И Радичков не может не признаться: «Чем больше я стараюсь навести в своих воспоминаниях какой-то порядок... тем большую я создаю сумятицу и уже не могу извлечь из них ни одной стройной мысли, ни одного урока». Поэтому он пускает воспоминания плыть «как вздумается», а они при этом как раз и находят вернейшего руководителя в душе художника, в том досознательном порядке, который определяет жизнь каждого человека и не очень определенно зовется судьбой.

Художники не гнушаются разумом. Они только знают, что там, где дело касается основ жизни, он не всесилен, и со смирением ищут других опор и находят их в самой человеческой природе, в том национальном зерне, из которого исходит потом все растение жизни. Мы знаем и в нашей литературе эти счастливые опыты обращения к духовным основам народной жизни, и, наверное, есть тут какая-то закономерность, что эти наши книги, написанные до повестей Радичкова и Вежинова и не ведающие о них, так же замедленно-подробны, пристально-неторопливы и внешне не очень последовательны в сюжетном строе — взять

хоть небольшие повести эстонца Матса Трата или улыбчиво-мудрые деревенские хроники армянина Гранта Матевосяна.

Я не пересказываю сюжетов повестей Вежинова и Радичкова, потому что в привычном разумении их здесь и нет, и ясность строя достигается скорее интонационно-музыкальной структурой. А вот Э. Станев конструирует сюжет своей повести «Барсук» просто и чисто, как продуманный лабораторный опыт. В сущности, он даже и не характеры берет, а как будто двух хороших актеров, предлагая им разыграть этико-философскую притчу в формах обыденно-скучноватой жизни. И они делают это с должным уважением к материалу и достаточным мастерством.

Скучающая парижанка на модном курорте сталкивается с великолепным художником, умеющим читать сущность людей и предметов. Художник много видел и успел разочароваться в людях, которые мало заботятся об этой своей сущности, о замысле провидения, а бегут в деньги, ложные увлечения, иллюзорные дела. Поэтому он без сожаления продал свое «право первородства» какому-то софийскому ловкачу, который выставляет работы художника как свои. В повести Станева Тасо (так зовут героя) предпринимает последнюю попытку: он показывает героине портрет ее сущности — юной, легкой, бессмертно-прекрасной,— а она, узнавая и вспоминая это в себе, все-таки переводит отношения с художником на легкую монету обычного курортного романа и тем окончательно убивает и его веру в человека, и сама понимает, что этим уклонением от своего человеческого замысла оставила себе в будущем только пошлость бескрылого изживания дней.

Тасо не хотелось победы для своей скептической истины о людях, но он теперь с еще раз подтвержденным правом может повторить: «Мы, болгары, никогда не верили в дух, мы отворачиваемся от него, хотя нам очень хочется в него поверить». Он как будто вовсе не имел права на такое обобщение, потому что героиня его парижанка, но мы понимаем условность его приема.

По первым двум повестям мы видели, что в утверждении о неверии болгар в дух — не все правда: повести Вежинова и Радичкова, да и самого Станева сопротивляются такому обобщению. Но, увы, и тезис о неверии не останется не подтвержденным этой книгой. Герои других сочинений сборника возьмутся выровнять страстную и отчасти идеальную картину духовной жизни народа, как она представлена у Вежинова, Радичкова, Станева.

Герои повестей К. Калчева и Р. Михайлова («И вновь приходит май, и вновь цветут цветы...» и «Расшатавшийся мир») не найдут своего места в «расшатавшемся мире» войны: одни (у Калчева), невольно платя за вину нации, втянутой в войну на стороне фашистов, хотя сами они меньше всего виновны в этом, потому что работают на Сопротивление, другие (у Михайлова) исподволь втягиваясь в предательство из-за куце понимаемого смысла человеческой жизни — чтобы был свой дом да хорошее поле, а кто у власти, так с домом и полем это не очень важно.

Живучесть этих эгоистических принципов и в наше время отлично видна в почти изнурительно подробной повести Г. Мишева «Дачная зона», где он описывает один вечер обыкновенного семейства, провожающего в армию сына. Хороший повод для автора поглядеть на хозяев, озабоченных, чтобы все было «как у людей», и на самих этих «людей», пришедших в гости и взвешивающих тут свои возможности и пользующихся случаем решить кое-какие дела, раз хозяевам удалось зазвать «генерала»— местного депутата. Это мир без «измерений» в вежиновском понимании. Тут царит философия мгновения, от силы — дня, тут истинные весы испорчены и властны только безликий достаток, или престиж, или «что скажут обо мне», или «лови момент». Поэтому, хотя автор никого впрямую не судит, а порой даже и подтрунивает над героями, никак нельзя разглядеть ни одного неискаженного лица, ни одного характера, ни одной животворной мысли — повесть начинает казаться бесконечной, а жизнь в ней дурным сном, «скверным анекдотом» (Достоевский).

Лицом к лицу два эти несоизмеримых мира столкнутся в повести С. Стратиева «Недолгое солнце» — автора наиболее молодого в книге, что хочется считать хорошим и симптоматическим знаком. Отрадно, что именно молодой герой этой повести (опять же через поколение — не странно ли?) легко принимает нежную правоту стариков, которые ничего не скопили, а только берегли друг друга, и Филемоном и Бавкидой (или «старосветскими помещиками» без гоголевского достатка) встречают закатное солнце, по-прежнему укрывая друг друга от вечерней сырости, но отказывается принять правду предприимчивых «отцов». Эти «отцы» представлены умным «левым» работодателем большой дачной зоны Гечевым, в чьем распоряжении и машины, и люди (он даже старый монастырь купил, откуда начиналось болгарское летописание, а теперь там разводит свиней), и владельцем участка, на котором герой вместе с другими рабочими ищет воду,— Крумовым.

Может быть, эти столкновения только и ограничились бы взаимной неприязнью, но Сашко (так зовут молодого героя), копая колодец, наталкивается на большой глубине на труп человека и с помощью добрых стариков выясняет, что здесь когда-то немцы расстреливали участников Сопротивления. Сашко требует остановить работы, чтобы поискать еще и по останкам хоть что-то определить и, может быть, вернуть память о погибших тем, кто считал их без вести пропавшими, воскресить этих безымянных героев хоть для запоздалой благодарности. Крумов же восстает, понимая, что, если работы остановятся и все подтвердится, участок у него отберут, и если даже дадут другой, то хуже, и сколько опять сил уйдет на постройку. Он не просто противится, он и платформу формулирует: «Жизнь уже другая, ей не нужны они, их сомнения, фантасмагории (не нужны, надо понимать, не одни соседские старики, не

один Сашко, но и герои Вежинова, Радичкова, Станева); жить следует реальностью (это как раз охотно примут герои Мишева), в жизни нужны деловые люди, строители, а этот ничего не сделает за всю жизнь, простого дома не построит». Тут уже Крумов не только сторонников вербует (все с ним скоро соглашаются), но и себя убеждает, и ночью надрезает веревку. Утром Сашко снова спускается в колодец продолжить поиск, и его убивает бадья с землей. Так страшно поворачивается тема: равнодушный человек без «измерений», крепкий хозяин, уважаемый член общества не только вместе с фашистами норовит предать забвению некогда расстрелянных людей (скрыть следы, закопать во второй раз), но и прибавляет новую жертву.

Стратиев жестоко, но справедливо утверждает, что плоскостной мир («жить надо реальностью»), упразднение сомнений и человеческой памяти приводят к вненациональному человеку. Противопоставив этой идеологии молодого героя, Стратиев с безусловной верностью говорит о здоровье нации, умеющей ценить предание и хранящей глубину и даль нравственных измерений.

Однако и после чтения жестких повестей этой книги, после странствия по темным закоулкам души выходишь с надеждой, что все в этой дороге было не попусту и все трудности возмещаются прозрениями читательского сердца, важными не только для понимания забот болгарского национального духа. Тут нет новых истин, но старые приходят как впервые и осознаются насущно сегодняшними, если человек глядит на них зрением более углубленным, чем горизонт одного дня.

У Г. Гессе есть такое суждение: «Единство, чтимое... за этой множественностью... есть сама жизнь, полная игры, боли, смеха... Оно твое с того мгновения, как ты отказался от времени, пространства, знания, незнания, как вышел из круга условностей».

Для болгарских писателей в этой книге «выйти из круга условностей» и «отказаться от времени» — как раз и означает подлинно глубоко войти в него, увидев «со стороны», как сложны и таинственно-живоносны глубинные законы течения этого времени. Хорошо составленная книга оказалась строгим, нелицеприятным и вместе благодарно-чистым зеркалом сегодняшней нравственной жизни народа со всей амплитудой его естественных и здоровых колебаний.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

УИЛЬЯМ КУПЕР ИЛИ ГАРРИ ХОФФ?

Уильям Купер. Сцены провинциальной жизни. Не один ты. Перевод с английского. Предисловие Е. Гениевой. Москва, «Прогресс», 1982.

«Нет, нет, не надо преувеличивать: я не профессиональный литератор,— так зачастую представляется один из старейших английских писателей сегодняшнего дня, на авторском счету которого семнадцать романов, Уильям Купер.— Если не верите, загляните в любой справочник. Ну вот, видите. Я физик, к тому же чиновник: более пятнадцати лет проработал с Ч. П. Сноу, моим ближайшим другом, в Управлении по атомной энергетике. И вообще никакой я не Уильям Купер. Я Гарри Хофф. А псевдоним взял, чтобы избежать скандала. Дело в том, что одна дама, узнав себя в образе героини моего романа «Сцены столичной жизни», пригрозила подать в суд за диффамацию, если произведение увидит свет. Я-то никого не хотел обидеть: я просто стремился быть верным жизни. Сноу предупреждал меня, что мое упрямое стремление писать только о том, что мне хорошо известно, доведет меня до беды. Так и случилось. Выход был один: отказаться от публикации романа и взять псевдоним — иначе какой издатель согласился бы иметь со мной дело. Да, и еще: не терять чувства юмора.

Конечно, со стороны это выглядит смешно, но надобность в псевдониме отпала лишь в этом году. Скандальная дама скончалась, и мой многострадальный роман после тридцати с лишним лет увидел наконец свет. Не спрашивайте, под каким именем. На обложке, конечно, Уильям Купер. Помоему, теперь уже все, даже близкие мне люди, забыли, что на самом деле меня зовут Гарри Хофф. В жизни все так перепутано. И если не обладать чувством юмора, можно впасть в отчаяние».

Таков Гарри Хофф, или Уильям Купер. Трудно поверить, глядя на этого подтянутого, подвижного, быстрого в движениях и не по-английски экспансивного человека, что ему за семьдесят. Он забрасывает собеседника вопросами, но при этом умеет внимательно слушать и полностью лишен самомнения и снобизма: «Когда кто-нибудь из моих коллег-литераторов начинает уверять меня, что ему совершенно безразлично, как было принято его произведение и что ему важно лишь собственное мнение о своем труде, я, хотя и не спорю, в душе не верю ему. Жизнь писателя — это драма в двух частях. Первая часть — это создание, чаще всего мучительное, своего детища. Вторая — нетерпеливое и не менее мучительное ожидание, как оно будет воспринято.

Не буду лукавить, сейчас, когда два моих романа «Сцены провинциальной жизни» и «Не один ты» вышли на русском языке, я очень волнуюсь. Как их встретил советский читатель? Пожалуй, особенно меня беспокоит судьба романа «Не один ты».

Дело в том, что в Англии этот роман был принят крайне сдержанно. Критики вяло рассуждали о том, что комический дар, присущий У. Куперу, не заглох и в этом произведении. Хотя в данном случае точнее было говорить о даре сатирическом. Здесь У. Купер выступил не только комедиографом, прекрасным знатоком человеческих характеров, в которых всегда можно углядеть немало смешного. Он предстал перед читателем сатириком, высмеявшим нравственный релятивизм своих современников, социальные и этические перекосы, порожденные «моралью вседозволенности», которая укоренилась в сознании людей

самых разных возрастов и сословий. Почтенный профессор объясняет врачу суть своих патологических сексуальных отклонений не в надежде получить совет, как от них избавиться, а для того, чтобы врач помог ему найти способ удовлетворить их. Профессор не одинок: «в шутовском хороводе» мелькают перед нами на страницах романа ректор колледжа, высокопоставленные чиновники, актеры, спортсмены, студенты. Все это «полые» люди, жаждущие все более острых ощущений.

С несколько большим энтузиазмом критики писали о той части романа, где У. Купер обратился к довольно расхожему сюжету в современной западной литературе — любви стареющего мужчины к молоденькой девушке. Однако такая «история любви» под пером У. Купера не стала данью массовой, коммерческой литературе. Напротив, она служит полемическим целям и имеет этико-нравственное наполнение. Жертва морали «вседозволенности», Полли не в состоянии оценить чувство Джеральда, для которого любовь — таинство, драгоценный дар. Не случайно, что любовь героя, ее перипетии переплетены со звучащей на страницах романа русской музыкой, с размышлениями Джеральда, за которыми легко узнаются мысли самого У. Купера о романе Переса Гальдоса «Фортуната и Хасинта»: «...медовый месяц Хуанито и Хасинты изумительно описан, изумительно передан — и это без единой непристойности, без постельных сцен, почти даже без объятий и поцелуев. Однако совершенно ясно и что́ происходит, и как это переживается. Времена изменились: в наши дни сеньор Гальдос отнюдь не отделался бы так дешево. Литературные радетели секса стребовали бы с него нынче свою долю слюней, пота и семени».

«Мои соотечественники,— говорил У. Купер,— привыкли, как это ни прискорбно, к такого рода литературе. Я ее называю «пищей вампиров». Им подавай секс, сенсации, описание насилия. Они не поняли, что у меня в этом романе были иные задачи. Надеюсь, что ваши читатели, воспитанные на высоких примерах русской классической литературы, уважающей нравственное начало в человеке, по-иному прочтут мой роман и, может быть, не будут строго судить меня за дидактизм. В наш век на писателя ложится особенно большая ответственность».

Сейчас, когда XX век уже на исходе и наступает время подведения итогов, нелишне вспомнить, что сам Купер немало сделал для сохранения и творческого развития английской классической традиции в искусстве. Ныне любой уважающий себя английский писатель будет польщен сравнением с Остин, Диккенсом, Теккереем, Троллопом, Харди. Иными были литературные настроения 40—50-х годов. В первые послевоенные годы молодые писатели жаждали эксперимента, формотворчества. Однако уже в ту пору в среде молодых британских литераторов наметилась и явная тенденция, которую стали активно проводить в жизнь Ч. П. Сноу, П. Х. Джонсон и У. Купер.

«Иногда мне кажется, что я реалист, потому что у меня, как заметил Ч. П. Сноу, нет воображения. Если же говорить серьезно, то в конце 30-х — начале 40-х годов, то есть тогда, когда я начал писать, в литературе ощущалась настоятельная потребность писать о реальном мире, о реальных людях, о действительно имевших место фактах. Это была примета времени, когда многие литераторы обратились к наследию реалистического искусства, к книгам Диккенса, Троллопа, Беннетта и противопоставили их видение видению «блумсберийцев», то есть писателей-экспериментаторов. Руководствуясь такими постулатами, я и написал свой любимый роман «Сцены провинциальной жизни».

В письме, которое У. Купер прислал в журнал «Иностранная литература» в связи с выходом на русском языке двух его произведений, писатель признается, что считает роман «Сцены провинциальной жизни» вехой в своей творческой судьбе. Но, видимо, из чувства скромности не говорит, что «Сцены» стали вехой и в истории английской послевоенной литературы. В этом произведении он выступил предтечей «сердитых молодых людей», наметив темы и сюжеты, которые в дальнейшем были разработаны художниками, сложившимися под флагом этого литературного движения. А образ его героя, Джо Ланна, стал в известной степени классическим для английской литературы 50-х годов. К этому молодому человеку, «плебею», получившему неплохое университетское образование, но не находящему в английском обществе с его строгой иерархией и сословной ограниченностью достойного применения ни своим силам, ни знаниям, восходят герои Кингсли Эмиса, Джона Уэйна, Джона Брейна, Джона Осборна. Недаром Ч. П. Сноу считал, что «Сцены провинциальной жизни» — «первое и самое яркое произведение литературы «сердитых молодых людей».

В известной степени все эти названные писатели определили свой путь в литературе не без влияния У. Купера. В те годы У. Купер вместе с Ч. П. Сноу и П. Х. Джонсон выступали рецензентами ведущих английских периодических изданий: они внимательно следили за молодыми талантами и в меру своих сил помогали им.

Посетив в 1979 году СССР, У. Купер нашел еще одну сферу для применения своей энергии — пропаганду советской литературы у себя на родине: «Вы хорошо знаете современную английскую литературу. Мы же знаем вас куда хуже. Причины нашего незнания советской литературы — увы! — коммерческие. Немногие рискуют печатать советских писателей! Но я уверен, отнесись наши издатели к этому вопросу серьезно, риск оправдал бы себя. К тому же мы бы скорее поняли друг друга».

Е. Г.

«ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, СМЕЯСЬ...»

Когда меня просят рассказать о моем творчестве, я каждый раз оказываюсь в затруднении. Как я завидую писателям, для которых скромность — легко преодолимый барьер, через который они перепархивают подобно птицам и тотчас принимаются весьма бойко рассуждать о своем

творчестве, с бесконечными подробностями и в крайне хвалебном тоне. В равной степени я сожалею и о том, что, завершив очередной том — «Сцены из поздней жизни»,— не чувствую непреодолимого отвращения при мысли, что надо снова сесть за письменный стол и работать!

На самом же деле я убежден, писатель, как правило, бывает так погружен в свои книги, что не может непредвзято судить о них и дать им верную оценку. Когда говоришь о том, что стремился выразить в своих произведениях, так и слышишь, как какой-нибудь читатель возражает тебе: «А я там этого не нахожу». Так что, может быть, и в самом деле лучше воздержаться от высказывания собственных суждений? С другой стороны, очень хочется рассказать о том, чего некоторые читатели не замечают в твоих книгах, и тем самым, что называется, расширить их кругозор. Во всяком случае, попробую.

Прежде всего должен сказать, что роман «Сцены провинциальной жизни» обозначил перелом в моей литературной карьере. Произошло это в 1950 году. К тому времени я уже опубликовал четыре романа. Что же отличало «Сцены провинциальной жизни»? Эта книга была более личной, чем другие. В ту пору у нас в Англии всеобщее восхищение вызывали два вида романа: в одном все было подчинено исследованию внутреннего мира героя, в другом — описанию внешнего мира. Меня не удовлетворяло ни одно из этих направлений в чистом виде: каждое выполняло задачу лишь наполовину. Чтобы описать жизнь человека в окружающем его мире, требовался их синтез.

Хотя «Сцены провинциальной жизни» — роман, в котором много личного, самокопания в нем не было. Это книга о том жизненном опыте, который выпал на мою долю, опыте, который дарован судьбой именно мне, книга о моей жизни, любви и работе, друзьях и окружающих меня людях в провинциальном городке. Это роман, в котором я, стараясь быть до конца честным, поделился с другими познаниями о том мире, в котором жил сам.

Конечно, когда я писал роман, я ни о чем таком не думал. Предаваться теоретическим размышлениям, когда пишешь, — один из вернейших способов убить непосредственность изложения. Меня заботило другое — например, как лучше использовать различные технические приемы, как и что отобрать из моего личного жизненного опыта, что видоизменить или домыслить, чтобы создать художественное произведение, правдиво и убедительно воссоздающее действительность, которую я стремился открыть читателям.

Кроме того, мне хотелось, чтобы мой роман читали. Мне всегда казались бесполезными книги, которые никого не тянет читать, будь то (если говорить о крайностях) романы, полные труднейших для понимания литературных новаций, или же, напротив, романы, где социальная сторона превалирует над художественной. Я заметил, что книги, которыми слишком уж громко восхищаются, на самом деле мало кто читает. Итак, мысленно определив, каким должен быть мой роман, я стал обдумывать, как же сделать его притягательным для возможно большего круга людей. Это была проблема стиля, интонации и в первую очередь нравственной позиции. Я предпочел легкие мазки, подтекст, сплав забавного и смешного. Если бы мне задали вопрос, в родстве с каким из писателей мне хотелось бы быть,— пусть даже в самом отдаленном родстве! — я бы назвал Чехова.

Я стремился к тому, чтобы будущая книга была пронизана юмором. У Горация, этого классического поэта, я нашел строку, которая очень точно выражала суть моего намерения: «Говорить правду, смеясь». И я действительно пытался быть правдивым, честным и ироничным. Однако, хотя я и поставил перед собой такую задачу, должен сказать, что на самом деле у серьезного писателя, пишущего сугубо личную книгу, возможности выбрать стиль и интонацию повествования довольно ограничены. Поэтому, вероятно, точнее было бы сказать, что мне только кажется, что я использовал легкие мазки. Или что мне только кажется, что я предпочел писать от первого лица. Просто я чувствую себя гораздо свободнее, когда пишу от первого лица. Ведь когда пишешь от третьего лица, уподобляешься всезнающему богу — так писать мог позволить себе Толстой. А мне далеко до него.

Я столь подробно останавливаюсь здесь на «Сценах провинциальной жизни», потому что считаю этот роман ключевым в моем творчестве. Время от времени мне доводится читать о том, что у меня на родине он оказал значительное влияние на более молодое поколение романистов. Вот что, например, писал о нем профессор Малькольм Брэдбери, известный прозаик и литературный критик: «Сцены провинциальной жизни» ознаменовали важный поворот от стилистических вывертов модернизма или того, что Уильям Купер называет «экспериментальным романом», к искусству разума, искусству утвердившихся и признанных ценностей, искусству, если угодно, заземленному, которое мы отождествляем с обыденностью...»

Очень хочу надеяться, что он прав.

«Сцены провинциальной жизни» — первая часть трилогии. Публикация второго романа — «Сцены столичной жизни» — была запрещена: как я уже сказал, мне угрожали возбуждением судебного дела по обвинению в клевете, и все потому, что я стремился быть правдивым, честным и ироничным, когда писал о своих собратьях по роду человеческому! Роман этот вышел в 1982 году — через тридцать лет после его написания! Третий роман «Сцены супружеской жизни» возвращает героя, от имени которого ведется повествование, в 1954 год. В 1981 году я завершил четвертую, примыкающую к трилогии книгу — «Сцены из поздней жизни», в которой показываю, как главные герои трилогии встречают наступившую старость. Здесь я постарался органически сочетать три начала: комическое, ироническое и драматическое.

В промежутках между «Сценами» я написал еще десяток других романов, не так тесно связанных с моим писательским «я». Сам я оцениваю их не столь высоко, как «Сцены». Но я знаю, что мои читатели и критики придерживаются иной точки зрения. Впрочем, так и должно быть! Собственное произведение настолько тебе близко и дорого, что трудно судить о нем беспристрастно. Но все же мне бы хотелось заметить, что из остальных книг выше всего я ставлю роман «Не один ты», опубликованный на русском языке в одном сборнике со «Сценами провинциальной жизни».

УИЛЬЯМ КУПЕР
г. Лондон

Издано за рубежом

СЛОВАЦКАЯ ХРОНИКА БАЛЛЕКА

Ladislav Ballek. Agáty. Druhá kniha o Palánku. Bratislava, Smena, 1981.

Ладислав Баллек. Акации. Вторая книга о Паланке. 1981.

Как-то в шутку Ладислав Баллек заметил, что появление в литературе целой группы прозаиков словацкого юга разрушило легенду о том, что за Левицами[1] живут лишь львы (в словацком языке эти слова созвучны: левицы — львы).

Действительно, еще до недавнего времени писательскими талантами славились в основном северная и центральная части Словакии, в меньшей степени — восточная. В отношении же южной нередко даже употреблялся термин «целина». Первым, кто изменил очертания «литературной карты» Словакии, был Франтишек Гечко, автор романов «Красное вино», «Деревянная деревня», ныне уже классик национальной литературы. А сейчас почти привычным стали понятия «южная проза», «писатели словацкого юга». Творчество каждого из них — будь то Андрей Худоба или Ладислав Баллек, Иван Габай или Петер Андрушка — ярко, оригинально. Оно как бы впитало в себя все богатство и своеобразие этого края. Края шедрого солнца, благоухающих белых акаций, янтарного винограда и прозрачных вод Ипля. Вместе с тем южная Словакия издавна была местом населенным представителями различных национальностей, где уживаются разные культуры и традиции. Нарисовать человеческий характер, сложность которого предопределена уже этими факторами, показать его во всей универсальной и индивидуальной неповторимости, самобытности — задача не из легких. Каждый из прозаиков решает ее по-своему.

Нередко у словацких читателей вызывало недоумение само название городка — Паланк, ставшего ареной событий в трех последних книгах Баллека: «Южная почта», «Помощник (Книга о Паланке)» и «Акации (Вторая книга о Паланке)». Они даже пытались отыскать его на карте. Безуспешно. Писатель сам дал ответ на эту загадку. «Паланк я строил годы,— сказал он в одном из своих интервью,— сознательно и подсознательно конструировал его как место действия моих будущих произведений... Я строил его долго, значительно дольше, чем пишу... На моей карте Паланк — это городок, расположенный в нижнем течении реки Ипль...»

Итак, главное действующее лицо романа «Акации» — Паланк, образ которого перерастает чисто географическое понятие, обретая символическое значение. Паланк — это микрокосм послевоенного словацкого общества. Опираясь на традиции национальной, а также чешской и мировой, в том числе и русской литературы, Баллек создает обобщенный собирательный образ определенной социальной среды, откладывающей отпечаток на человеческие характеры. Как не вспомнить здесь гоголевский Миргород, Малую Страну Яна Неруды, чеховский городок N, провинциальные города Карела Полачека и Янко Есенского! Так же как мы, говоря о «глуповцах», «пошехонцах», «малостранцах», обитателях городов Чехова, Полачека, Есенского, имеем в виду определенные социальные типы людей, определенный тип человеческих отношений, так и в название «подлинный паланчанин» автор вкладывает совершенно четкое, конкретное понятие: «Типичный житель Паланка... был рассудителен, с ленцой, впрочем скорее показной, медлителен, амбициозен, солиден, умел обращаться с ножом и вилкой, ухаживать за дамами... У него выработалась своя концепция жизни, он умел ждать, гнуть спину, трепетать, но в нужную минуту безжалостно ударить...» (из романа «Помощник»).

В «Акациях» Баллек продолжает характеристику паланчанина и города на границе. «Паланк — это огромная опереточная сцена... — читаем мы во «Второй книге о Паланке».— Однажды он погибнет от лжи, мошенничества, лицемерия, безумства, притворства. Паланк умрет, подобно великому актеру на сцене, до последней минуты, как это и предписано ролью и костюмом, играющему здорового и гордого кутилу, которого никто не одолеет и никто не победит...»

Из девяти глав романа, составляющих две его части, непосредственно Паланку посвящены четыре: «Паланк — квартал кошек», «Паланк — город на границе», «Паланк — площадь Республики» и «Паланк — письма бакланам». С большим мастерством писатель воссоздает картину жизни городка двух послевоенных десятилетий, показывает, как болезненно происходит здесь ломка старых порядков, как постепенно назревают в нем перемены, связанные с социалистическим преобразованием общества. Однако образ Паланка, чрезвычайно важный с точки зрения раскрытия идейной значимости книги, становится основным предметом изображения не только в этих главах. Он проходит через все повествование, конкретно реализуясь в судьбах от-

[1] Городок в южной Словакии.

дельных персонажей — обывателей, торговцев, предпринимателей, представителей новой власти. Однако последним в романе отведено не так уж много места, ибо перед писателем стояла задача иная: показать в первую очередь старый, уходящий в прошлое мир.

Еще до выхода в свет «Акаций» Баллек однажды сказал: «Многие герои из романа «Помощник» перешли в мою книгу о Паланке, и я не намерен расставаться с ними, в особенности с теми, кто, если можно так выразиться, молод годами и образом мыслей...»

Действительно, на страницах новой книги мы вновь встречаемся с персонажами «Помощника»: архитектором Томашем Гамплом, аптекарем Евгением Филадельфи, портнихой Гертрудой Тишлеровой, старшиной Штефаном Блашчаком, помощником мясника Ланчаричем и другими. Только теперь главные и второстепенные герои как бы поменялись местами: главные стали второстепенными, второстепенные — главными. Значительно раздвинуты временные рамки произведения: действие большинства глав происходит в первые послевоенные годы; в главе «Дневник аптекаря Филадельфи» речь идет о жизни словацкого общества периода 1917—1947 гг.; в «Письмах бакланам» события разворачиваются вплоть до середины 60-х годов.

Целая вереница человеческих судеб, множество историй и эпизодов из жизни паланчан проходят перед нами в главах «Агава», «Весна на льду», «Дневник аптекаря Евгения Филадельфи» (часть первая), «Лошадка из Орланда», «Ангел и дом кошек» (часть вторая). Причем одни характеры обрисованы подробно, обстоятельно, другие — лишь намечены. Здесь получают свое дальнейшее развитие и многие сюжетные линии романа «Помощник». Так, о встрече помощника Ланчарича и жены архитектора Нади Гампловой Баллек ранее писал: «Она напоминала ему цветок агавы... Ей самой, как и этой цветущей агаве, исполнилось тридцать». Там же вскользь говорилось и о любви учителя Орешанского к Наде. В главе «Агава» история взаимоотношений Нади Гампловой и Орешанского составляет основу сюжета. Подобно прекрасной, экзотической агаве, что расцвела на удивление всему Паланку в доме болгарина Николова, тяжело больная, но очаровательная молодая женщина, впервые по-настоящему полюбив, словно возрождается. Но, как и пышное цветение агавы, ее возрождение напоминает предсмертную агонию. Вся во власти захватившего ее чувства, героиня расцветает, чтобы затем навсегда уйти из жизни. Да и сам Паланк той поры, весь этот старый, цепляющийся за жизнь, веселящийся из последних сил и хвастающийся своим благополучием мир, тоже находится накануне гибели. Одним словом, в этом удивительно тонком и метком сравнении заложен глубокий смысл: и в чудесном цветке, и в любви Нади, и в жизни тогдашнего паланкского общества есть нечто эфемерное.

Кроме Нади Гампловой умирают главные персонажи первой части книги, с которыми связано прошлое города на границе,— доктор Варга и аптекарь Филадельфи. Последнего в романе «Помощник» Баллек представлял нам как «чахоточного алкоголика, печально известную в городе личность и завсегдатая ресторана «Централ». Что довело героя до этого состояния? Каков был его путь, как он сам выразился, «к собственному краху»? Об этом мы узнаем из дневника, который вел Филадельфи в период с марта 1946 по май 1947 года. Это — своеобразная исповедь героя. Перед нами проходит вся жизнь аптекаря, начиная с гимназических лет и кончая временем, обозначенным в дневнике.

Вот он, полный надежд, энергии, желания «завоевать мир», приезжает в Паланк. А вот мы видим его счастливо кружащимся в танце на свадьбе с дочерью предпринимателя Липтая — Магдой. Но почему же так безучастно лицо невесты? И вдруг глаза Магды счастливо заблестели, когда в роли партнера оказывается ее двоюродный брат Пали Турдош. Разгадка оказалась довольно простой: браком с Филадельфи родители намеревались прикрыть давнюю связь дочери с Пали. Это было первое поражение героя. Далее один удар следовал за другим. Финал трагичен. «Я — жертва города, в котором я, почти ничего не приобретя, потерял едва ли не все»,— пишет Филадельфи в своем дневнике. Записи аптекаря интересны не только в плане человеческой судьбы. Они — своего рода летопись времени. Исповедальность сочетается здесь с эпическим описанием важнейших исторических событий, с панорамностью. Здесь революция в России и ее отзвуки в словацких землях, образование республики в 1918 году и революционные события в Венгрии, рост фашистской угрозы, поход гитлеровской Германии против народов Европы, первые годы после освобождения Чехословакии. Изображение человеческой судьбы, окружающей действительности и времени в форме дневниковых записей согласуется с изначальным замыслом писателя (условно документировав повествование, обстоятельно рассказать о жизни общества) и отвечает жанровой специфике романной хроники. О том, что это именно романная хроника, вмещающая в себя несколько самостоятельных произведений, говорит многое. Придерживаясь хронологического принципа сюжетоизложения, Баллек строит книгу таким образом, что в ней нет единого конфликта, нет главных, центральных персонажей, а судьбы паланчан, отдельные характеры раскрываются в эпизодах, как правило, не связанных между собой причинными связями. Принадлежность к жанру хроники подтверждает и спокойная, неторопливая, обстоятельная манера повествования и даже сам подзаголовок: «Вторая книга о Паланке».

Хроникальный характер носит и последняя глава книги — «Паланк — письма бакланам». На сей раз повествование принимает форму писем. Их автор — молодой солдат Ян Юркович, приехавший на побывку в родной Паланк. Однажды в парке он встречается с почтмейстером Йозефом Гаврилой, известным всему городу как «человек из парка». Все услышанное от него Ян слово в слово излагает в письмах к... бакланам. Рассказ этот написан от первого лица и звучит как исповедь современного

мещанина. «Я жил... двойной жизнью,— говорит о себе сын своего города,— одна была тайной, другая — на виду у всех... Открыто выступая за коммунистический режим, я стал членом партии, чтобы сохранить свое место почтмейстера, и одевался как простой рабочий». И одновременно ездил в близлежащие города, как он сам признается, чтобы бывать в костеле, посещать любовниц и хулить в компании друзей коммунистов.

В романе Баллека оживает словацкая действительность, начиная с Освобождения и до 1965 года. Конечная временная граница выбрана не случайно. С одной стороны, это двадцать лет новой Чехословакии, то есть важный рубеж национальной истории. С другой — время, когда в обществе отчетливо обозначились кризисные явления, всколыхнувшие всю мелкобуржуазную обывательскую стихию. Внешняя причастность героя к судьбе народа, к важнейшим переменам в стране помогла Баллеку вскрыть неприглядную суть мещанина наших дней, показать его место и роль в общественной жизни. Если раньше писатель охотно брал на вооружение юмор, иронию, насмешку, то теперь он использует сатиру, сарказм.

Узкий, заземленный мирок Гаврилы оттеняют не только исторические события, невольным свидетелем которых он является. Несколько фантастический адресат — бакланы — избран художником по контрасту с ним. Впрочем, как и эпиграфы к обеим частям книги, представляющие собой строчку из поэзии Ладислава Новомеского: «Время летит, будто птицы, невидимые в вышине». Беспредельная высь небес — символ вечности. Стремительный и целенаправленный полет птиц, с которым сравнивается бег времени, рождает мысль о неизбежности перемен на земле, в Паланке — месте, где проходит граница между прошлым и будущим, и в людях.

Символический смысл содержит в себе и образ цветущих акаций, без которых не обходится ни одна история. С давних пор украшали они южнословацкую землю. Пройдут столетия, и все так же каждой весной будут благоухать там белые акации. Они — так же вечны, как наша земля, природа, человек. Эта перспектива намечена и в завершающей фразе произведения: «В Паланке вновь зацвели акации и начались новые истории».

Мы с нетерпением будем ждать их.

А. МАШКОВА

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПИСАТЕЛЯ

Peter Handke. Die Geschichte des Bleistifts. Salzburg, Residenz Verlag, 1982.

Петер Хандке. История карандаша. 1982.

Писать об этой книге трудно: она лишена какой-либо структуры. Вся она состоит из отдельных фрагментов, зарисовок, мыслей, афоризмов, на первый взгляд никак между собой не связанных. Жанр необычен, хотя и не нов. «Фрагменты» Новалиса, «Афоризмы» Лихтенберга — в немецкой литературе можно назвать и другие примеры подобных записей, собранных воедино, изданных и вошедших в золотой фонд словесности. Раньше такие вещи выходили, как правило, посмертно, открывая перед потомками святая святых творческой лаборатории классика. Ныне писатель сам распахивает двери своего кабинета, впускает любопытствующих, принимая на себя функции экскурсовода.

У Петера Хандке[1] это уже второй опыт подобного рода. Шесть лет назад он выпустил «Тяжесть мира» — книгу, имевшую подзаголовок «Журнал (Ноябрь 1975 — март 1977)». Это была «стихийная запись бесцельных восприятий», писатель фиксировал в языке свою непосредственную реакцию на все, с чем ему приходилось сталкиваться, создавая как бы моментальные снимки. В «Истории карандаша» отбор строже, меньше случайного, больше отточенных афоризмов.

В «Тяжести мира» была выдержана внешняя форма дневника. В «Истории карандаша» этого нет, даты отсутствуют, лишь издательская аннотация на суперобложке сообщает, что в книге собраны записи автора за 1976—1980 годы, то есть за период, когда он работал над тетралогией «Медленное возвращение домой». Внимательно вчитываясь в текст, обнаруживаешь следы работы над той или иной частью тетралогии.

«Как радостно-меланхолична эта поэзия», — говорит Флобер по поводу «Дон Кихота». Вот такой я хочу видеть историю Зоргера». Зоргер — имя героя первой части, которая называется, как и вся тетралогия, «Медленное возвращение домой». Через несколько десятков страниц встречается запись: «История Зоргера закончена. Впервые за несколько месяцев я могу надеть на руку часы, это хорошее чувство». Возвращаясь снова к своей повести, Хандке пишет: «История Зоргера: драматизм развертывается в возникновении и исчезновении пространства, во враждебности и привязанности времени. Поэтому это чисто философская повесть».

Затем идут рассуждения о живописи, попадаются имена — Сезанн, Ван Гог, Рейсдаль. Это «герои» второй части тетралогии, искусствоведческого эссе «Уроки гряды Сент-Виктуар». «Я должен любить каждое слово в отдельности, как Сезанн краски». «Ван Гог показывает свой пейзаж, Сезанн — пейзаж, каков он сам по себе. В его картинах всегда содержится урок». «У Пикассо нельзя ничему научиться... Сезанн — художник, а Пикассо — вечный игрок».

Вот уже речь о самом эссе: «Уроки гряды Сент-Виктуар» не должны содержать анализ, это будет лучистый рассказ, как будто речь идет о пустяках. Я не буду давать оценок, только повествовать, абстрагируясь (но не абстрактно). «Абстрагируясь» в смысле «охватывая все». О завершении работы над второй частью тетралогии свидетельствует следующая запись: «Только что закончил «Уроки гряды Сент-Виктуар». Сижу на пне и греюсь на солнце, рядом кошка. Как ненавязчиво ее общество! Я заглядываю в чашечку лилии и слушаю жужжание выскользнувшей оттуда осы, а

[1] «ИЛ» опубликовала повесть П. Хандке «Женщина-левша», 1982, № 2.

черный дрозд выныривает из глубокой травы, как дельфин... Я не думаю о покое, я думаю о любви, в следующий раз я напишу рассказ о любви».

Следующая часть тетралогии — рассказ о любви к ребенку, история воспитания писателем своей дочери Амины. Называется она «Детская история». О детях Хандке неоднократно вспоминает на страницах «Истории карандаша». «Ребенок — это мир. И никаких предпосылок не нужно для защиты мира». «Без ребенка не дорожил бы предками, не мог бы думать о них с теплотой». «Рунге рассказывает, как ребенком он смертельно заболел; однажды он проснулся, потому что мать плакала над ним. Тогда его охватила такая любовь к ней, что он крепко-крепко к ней прижался, и эта сила вернула его к жизни. С тех пор в основу своей жизни он положил любовь». Все это из заготовок к «Детской истории».

В конце книги можно обнаружить упоминания о четвертой части тетралогии — «драматической поэме» «Путями деревни». Героиня «поэмы» (написанной в основном прозой) Нова выступает как олицетворение нового, грядущего. А в «Истории карандаша» читаем: «И Чаплин выступает в конце «Великого диктатора» как Нова, как человек нового времени; многие издавна выступали как Нова, и что из этого? Только то, что снова и снова кто-то выступает как Нова». Вскоре после этого — «Драматическая поэма окончена».

Такова с трудом прослеживаемая внешняя канва текста. Внутри него содержатся психологические наблюдения, поиски смысла жизни, смысла творчества, отклики на актуальные проблемы нашего времени. Еще в прошлом сборнике фрагментов Хандке говорил о своей «потребности в философии». Здесь эта потребность реализуется в ряде метких афоризмов. Одна из актуальных философских проблем современности — мифологическое сознание. Что думает по этому поводу Хандке? «Музыка сама по себе есть уже мифология: она слишком быстро создает гармонию, но все же я люблю народную музыку». «Всеобщей мифологии ныне не существует. Да и личная разрушается с течением времени. У «я» нет более длительного языка». А вот убийственное замечание по поводу современной интеллетуально-литературной игры с мифом: «Мифоупражнения множества южноамериканских романов; «мифоупражнения» в том смысле, в каком мы говорим «упражнения в любви, болтовне, шарадах».

Тонко чувствует Хандке природу искусства и находит точные слова для его характеристики: «Искусство: связать в непроницаемое, необходимое, неслучайное единство случайно совершающиеся моменты жизни». Рядом выписан афоризм художника Швиттерса: «Создавать форму — значит устранять ее».

Имя Гёте чаще других встречается среди записей Хандке: «Поэты, такие как Гёте,— спасатели». «История Зоргера; мне только что пришло в голову, это последний улов в водах Гёте: теперь уже нельзя представить себе бессмертие человечества... Только Гёте вселяет чувство братства. Почти все остальные прикидываются либо «отцами», либо «детьми».

На следующем месте после Гёте — Кафка. «Подумать только: благодаря Кафке нет больше кафкианского Замка». «Пойми, что Кафка отвоевывал каждую фразу, прежде всего продолжение каждой фразы». Таковы теперь литературные авторитеты Хандке.

Как писатель он проделал значительную эволюцию и опасается, как бы не впасть в авангардистские грехи молодости. «Когда я после определенного перерыва снова начинаю писать, мне грозит опасность впасть в прежний мой язык и предать самого себя, нового... Величайшая человеческая способность — видеть других как ц е л о е, переживать их такими, передавать, только тогда способность писать превращается в искусство». Таково теперь литературное кредо Хандке. И без опасения впасть в пошлость он решается говорить об истине: «Что есть истина? Я могу сказать лишь, как она действует. Когда она приходит, то не киваешь головой и не говоришь: «Да, да, это верно», а чувствуешь себя потрясенным до выкрика (или внутреннего вскрика)».

Писателя волнует проблема социальной общности. «И д е я общности исчезла, хотя многие отчаянно, безнадежно и дерзко за нее цепляются. Но ч у в с т в о общности «изначально» теплится во мне и оживает подчас от самой тривиальной мелодии в ресторане, тогда это чувство общности даже с собаками». Самая элементарная форма общности и самая прочная — национальность. «Иногда я готов плакать от того, что я не принадлежу никакой нации». Размышлениями на эту тему заполнена вторая часть тетралогии: мать писателя словенка, отец — немец, родился он в Австрии, вырос в Берлине. Национальная принадлежность — проблема не происхождения, не «крови», а усвоенного стереотипа культуры. Конечный итог размышлений Хандке — он немец. И сразу возникает у него особое чувство ответственности: «Другие нации пребывают в невинности, живут сами по себе, как минералы и метеоры. Германия — это всемирное сознание». При этом никакого следа шовинизма: «Надо быть благодарным каждому народу за его вклад в дело свободы — благодаря его своеобразию».

Есть среди записей Хандке и сюжеты возможных рассказов: «Много лет назад у него была возлюбленная. Они собирались даже начать совместную жизнь. Теперь он встретил ее случайно в чужом городе. Он сидел в кафе на речном острове. Вдруг из осенних сумерек появилась она и села рядом. Оказалось, что она уже давно живет в этом городе. Он спросил ее, довольна ли она жизнью. Затем, не узнав ее адреса, он встал, попрощался и ушел».

Развернется ли эта запись в новый рассказ или в новую повесть Хандке? Какие мысли из черновиков войдут в его будущие произведения? Вчитываясь в «Историю карандаша», невольно задумываешься над этим. Но гадать бессмысленно. Бесспорно одно: у писателя есть что сказать читателю. Есть желание, есть и право, созданное нравственной зрелостью.

Арс. ГУЛЫГА

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

АВСТРАЛИЙСКАЯ ГЛУБИНКА КАК ОНА ЕСТЬ

Третий роман известного австралийского поэта и прозаика Роднея Холла «Нормальные взаимоотношения» (вышел в нью-йоркском издательстве «Вайкинг-пресс») включает несколько новелл, объединенных общим местом действия. Это небольшой шахтерский городок Уайтиз-холл. Когда рудники Уайтиз-холла начали иссякать и шахты перестали приносить их владельцам прибыль, муниципальные власти с согласия правительства решили превратить городок в туристский центр. А дальше разыгрались драматические события... Шахтеры с оружием в руках встретили колонну бульдозеров, посланных сюда разравнивать площадки под кемпинг и прокладывать многополосное шоссе до побережья.

Эту центральную новеллу, пишет рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», обрамляют истории, воссоздающие эпизоды будничного существования обитателей городка и написанные в различном стилистическом ключе: причудливая фантастика сочетается с беспощадным реализмом, а «черно-юмористическая» сатира — с проникновенным лиризмом. И хотя большинство новелл повествует о частной жизни героев, в целом «роман в новеллах» Р. Холла выходит за рамки семейно-бытового жанра и представляет собой подробную и живописную картину нравов австралийской провинции.

АВСТРИЯ

НОВАЯ РАБОТА ХЕЛЬМУТА ЦЕНКЕРА

Австрийский писатель-коммунист Хельмут Ценкер пишет для венского Народного театра пьесу под названием «Февраль 1934». Пьеса посвящена известным историческим событиям, когда австрийские рабочие с оружием в руках выступили против реакционного правительства Дольфуса. Восстание, в ходе которого плечом к плечу сражались коммунисты и социал-демократы, было жестоко подавлено.

«В центре сюжета,— рассказывает о своей работе драматург на страницах газеты «Фольксштимме»,— история рабочей семьи Бреннайз. Действие начинается в 1927 году, когда семейство переселяется в новую квартиру, и заканчивается трагическими событиями февраля 1934 года. Здесь как бы сконцентрированы проблемы и настроения того времени: ожидания и бессильный гнев, предательство и надежды на революцию».

Директор Народного театра Пауль Болле заявил, что считает важной задачей «осмысление австрийской современной истории». Премьера намечена к полувековому юбилею событий — на февраль 1984 года.

АЛЖИР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

По сообщениям журнала «Ас-Сакафа», в Алжире последнее время вышло несколько новых произведений поэтов, писателей и критиков.

Среди них журнал называет сборник стихотворений известного алжирского прозаика и поэта Рашида Буджедры, переведенный с французского оригинала на арабский язык Анаамом Баюдой, куда вошли поэмы Буджедры, посвященные алжирской революции, Фронту национального освобождения, проблемам социальной борьбы в стране, а также лирические стихотворения.

Две книги выпустил писатель, новеллист и критик, Ахмед Мунаввар. Одна из них — сборник рассказов, носящий название «Головная боль», вторая — собрание критических статей «Очерки алжирской новеллистики». Книга вышла в серии «Народная библиотека».

БОЛГАРИЯ

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

Восемьдесят лет она самоотверженно служила литературе, пишет «Литературен фронт», сообщая о кончине известной болгарской поэтессы, Героя Социалистического Труда, лауреата Димитровской премии, народного деятеля культуры Доры Габе.

Современница выдающихся болгарских писателей, свои первые стихи она напечатала в шестнадцать лет. В 20—30-е годы широкую популярность ей принесли стихи для детей, вошедшие впоследствии в золотой фонд болгарской литературы, на которых воспитались и продолжают воспитываться многие поколения юных болгар.

«Дора Габе не просто дожила до девяноста пяти лет,— пишет известная детская поэтесса, председатель Союза переводчиков Болгарии Леда Милева,— она горела, она творила до последнего вздоха и до последнего вздоха любила Болгарию и жизнь. Она обладала какой-то сверхчеловеческой силой духа, которая позволяла ей, преодолевая физическую немощь, чувствовать ритм сегодняшнего дня и видеть утро завтрашнего. Ее вторая молодость началась после 9 сентября 1944 года, когда она всем сердцем приняла социалистическую революцию и написала поэму «Вела» о подвиге болгарской партизанки, воспела в своих стихах Советскую Армию - освободительницу. На склоне лет, когда ей было восемьдесят, она пережила как бы третью молодость, создав фи-

лософскую лирику, вошедшую в сборник «Помедли, солнце». А в день ее смерти вышел из печати ее новый, последний сборник «Мир — это тайна».

Дора Габе много занималась переводческой деятельностью, перевела многие произведения русских, советских и польских поэтов. Она принимала активное участие в литературной и общественной жизни Болгарии.

«Прощаясь с ней,— сказал на траурном митинге председатель Союза болгарских писателей Любомир Левчев,— мы прощаемся с поистине необыкновенной личностью, с одним из лучших представителей болгарской литературы, с художником, чей чистый и бескорыстный талант лег в фундамент новой болгарской духовной культуры».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«2010: ВТОРАЯ ОДИССЕЯ» АРТУРА КЛАРКА

Всемирно известный английский фантаст Артур Кларк в связи с выходом в Америке его последнего романа «2010: вторая одиссея» впервые за последние пять лет посетил США, куда он собирался вернуться лишь «на космическом корабле». Корреспондент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» взял у писателя интервью. Он напомнил Кларку, что тот заявил о желании оставить творчество сначала после выхода его романа «Фонтаны Рая», потом — после выхода книги «Космическая одиссея 2001 года».

«Что ж, — ответил А. Кларк, — теперь у меня есть для себя новое прозвище — неудавшийся отшельник. Наверное, я имел право на подобные заявления после 50 книг, которые вышли тиражом в 20 миллионов экземпляров на более чем 30 языках мира. Неоконченные сюжетные линии и нерешенные научные проблемы, оставшиеся после выхода романа «Космическая одиссея 2001 года», бесконечный поток писем кинозрителей, посмотревших фильм, снятый по этому роману Стэнли Кубриком, не давали покоя моему воображению».

По словам Кларка, решить некоторые поставленные в предыдущей книге проблемы ему помогли новые данные о Сатурне и Юпитере, полученные в результате полета американского спутника «Вояджер».

Писатель заметил, что не думает об экранизации своего нового романа; напротив, на пути в США он позвонил Кубрику и сказал: «Твоя задача помешать кому-либо снимать что-либо по моей книге, чтобы душа моя была спокойна».

По мнению Артура Кларка, астрофизика по профессии, такие фильмы, как «Контакты третьего рода» или «Ай-Ти», слишком упростили проблему освоения космоса. Впоследствии, говорит он, когда подобные события станут реальностью, это может привести к разочарованию. «Кроме того, подобные картины способствуют распространению культа НЛО, что в свою очередь поддерживает очень опасную идею, что кто-то спустится из космоса и спасет нас. Эта мысль заставляет людей считать себя пешками. Спасти себя мы можем только сами».

На вопрос о новой, следующей книге Артур Кларк ответил: «Если я напишу «Одиссею III», это произойдет не раньше 2001 года, потому что с каждым годом писать становится все трудней».

БРИТАНСКАЯ ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ

Издательство «Пингвин» выпустило антологию «Современная британская поэзия», где представлено творчество двадцати поэтов среднего и молодого поколений.

Как считает рецензент еженедельника «Таймс литерари сапплмент», эта книга, по замыслу редакторов, должна была стать своего рода аналогом таких поэтических антологий, как «Новые подписи» (1932) или «Новые строки» (1956), которые знакомили читательскую аудиторию с творческими достижениями британских поэтов 20-х и 50-х годов. Появление подобной антологии, где было бы очерчено «лицо» поэзии 70-х, полагает рецензент, давно уже стало необходимостью.

Исходя из поставленной задачи представить главным образом «новую волну» поэзии, редакторы сознательно исключили из состава авторов столь известных поэтов, как Ф. Ларкин, Т. Хьюз, Т. Ганн, которые, по их мнению, не определяли суть поэтической ситуации прошлого десятилетия. В 70-е годы на авансцену выдвинулись такие лирики, как Шеймас Хини (см. «ИЛ», 1981, № 8), Питер Скафем, Дуглас Данн, Том Полин. Эти поэты, отмечается в предисловии к антологии, привнесли новое видение, новую проблематику, обогатили британскую поэзию новыми ритмами, существенно расширили стилистические и лексические возможности поэтического языка.

По британскому телевидению с успехом прошла пьеса известного писателя и драматурга Дж. Б. Пристли «Я здесь бывал раньше», впервые поставленная в 1937 году. Новая постановка, осуществленная режиссером Луисом Марксом, повествует о судьбах людей, волей случая оказавшихся под одной крышей небольшой гостиницы в Йоркшире, ставит вопросы о смысле бытия и о свободе выбора.

Как пишет рецензент журнала «Лиснер» Джон Ноутон, постановщику удалось найти верное решение одного из основных приемов Пристли — сочетания обыденности и философичности.

На снимке: Лорна Хейлброн в пьесе «Я здесь бывал раньше».

(Журнал «Лиснер»)

ВЕНГРИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. КОШУТА

Высокой правительственной награды — премии имени Кошута — удостоены прозаик Дердь Молдова и поэтесса Агнеш Немеш-Надь.

Газета «Мадьяр немзет» в связи с присуждением Дердю Молдове премии Кошута пишет, что произведения Молдовы пользуются широкой популярностью у читателей, особенно сборники его рассказов «Чужой чемпион», «Вечера на площади».

В последние годы Молдова успешно работает в жанре социографии. Получили признание его книги «Почет и уважение городу Комло», «Жалоба охраны», «Кого обдал дым паровоза», «Святая корова», «Небесная повозка».

Дердя Молдову, говорится на страницах газеты, пишет ли он произведение в жанре сатиры или социографии, исторический роман или автобиографическое эссе, равным образом занимает одно: современная жизнь в ее соотнесенности с прошлым и будущим.

Поэтесса Агнеш Немеш-Надь получила премию Кошута за оригинальные поэтические и переводческие произведения, отличающиеся гуманистическим пафосом и высоким художественным мастерством.

«Агнеш Немеш-Надь принадлежит к тем великолеп-

ным поэтическим талантам, которые уже с детства отмечены «даром божиим». Не прост был ее путь к признанию. Но сегодня ее поэзия, ее переводческая работа олицетворяют собой новейшие достижения современной венгерской литературы. Стихи Агнеш Немеш-Надь дают возможность ощутить движения ее души. В ее поэзии воплощен мир в миниатюре, в нем тонко проявляется реакция поэтессы на все события, происходящие в общественной жизни.

Бесконечно отрадно, что творчество Агнеш Немеш-Надь получило такую высокую оценку, указывается на страницах газеты «Мадьяр немзет».

«ИЗ МЕРТВОГО ЗЕРНА — ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОС»

Так называется новый сборник стихов венгерского поэта, лауреата премии Аттилы Йожефа Ференца Буды, вышедший в издательстве «Магветё». Ференц Буда живет в Кечкемете, «вдали от бурлящей литературной жизни», работает в журнале «Форраш». Это третья книга поэта за два десятилетия его литературной деятельности.

«Не часто звучит его слово,— пишет критик Бела Помогач в журнале «Уй тюкёр»,— но слово его весомо: поэт говорит не только от своего имени, но и от имени своего поколения, точнее, он говорит как посланник родного края, заботами которого он живет».

Пустынные песчаные степи с редкими хуторами, будни, наполненные нелегким трудом,— вот та среда, которая дала поэту первые жизненные впечатления, сформировала его. Эта среда воспитала в нем чувство ответственности, определила нравственное кредо его поэзии, ее народный характер. «Моим стихам не выплатить моих долгов,— пишет Ф. Буда в лирической композиции «Мой хутор».— И если мои стихи ни на что другое не годятся, то пусть они будут знаком глубокого уважения моим однокашникам, шлепавшим по снегу и по грязи в школу, с ранних лет познавшим, что такое труд, и сегодня работающим, не разгибая спины от зари до зари, воспитывающим большие семьи, знаком уважения осиротевшим старикам, всем моим близким и далеким друзьям, живущим на хуторах».

«Поэзия призвана служить людям» — в этом кредо поэта, ученика, последователя Ласло Надя. Ференц Буда следует урокам замечательного мастера венгерского стиха и в вопросах формы. В его поэзии (новая книга — убедительное тому подтверждение) полнокровно звучат и старый венгерский стих, и народные песни, и баллады, и заклинания.

Стихи Ф. Буды переводились и на русский язык. У себя в стране он известен еще и как переводчик современной советской поэзии, киргизского эпоса.

ГРЕЦИЯ

ЮБИЛЕЙ НИКОСА КАЗАНДЗАКИСА

Нынешний год объявлен в Греции годом Никоса Казандзакиса (1883—1957). По всей стране проходят выставки, вечера, конференции, посвященные жизни и творчеству этого крупнейшего греческого писателя. В театрах ставятся его философские драмы и трагедии, в клубах и кинотеатрах устраиваются просмотры фильмов, снятых по его романам. Большими тиражами выходят новые издания произведений Казандзакиса, монографии о его творчестве. В периодической печати широко публикуются фактографические материалы.

Н. Казандзакис выступал как поэт, романист, драматург, философ, публицист, журналист и переводчик. Он приветствовал Октябрьскую революцию в России, с большим интересом следил за строительством новой жизни в молодой Советской стране. В 1922 году писатель начал изучать русский язык, а в 1925 году приехал в нашу страну как специальный корреспондент афинской газеты «Элефтерос логос». В Москве он познакомился с М. Горьким. В «Правде» и в других советских газетах и журналах были опубликованы его статьи о политическом положении в Греции. В эти годы он написал публицистическую книгу «Москва кликнула клич», книгу путевых очерков «Что я увидел в России», сценарий «Ленин», а также ряд песен, посвященных В. И. Ленину. В 1930 году увидела свет двухтомная «История русской литературы» Н. Казандзакиса.

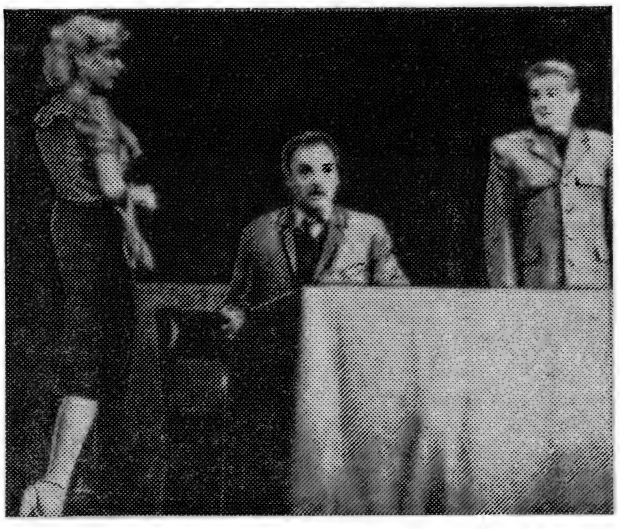
Знакомство с научным социализмом, победа антифашистских сил во второй мировой войне привели писателя к осознанию необходимости коренных социальных перемен. Это нашло убедительное художественное воплощение в романе «Жизнь и дела Алексиса Зорбаса» (1946).

Протестом против угнетения и несправедливости проникнуты его антиклерикальные романы «Христа распинают вновь» (1950), «Последнее искушение» (1952). Эти произведения, а также роман «Капитан Михалис. Свобода или смерть» (1953), где создана панорама национально - освободительной борьбы греков против османской тирании, принесли Казандзакису мировую известность. За литературную и общественную деятельность в 1956 году писа-

---

Тема второй мировой войны, участие хортистской Венгрии в ней на стороне фашистской Германии, осмысление реальной ситуации, в которой находилась в то время страна,— тема многих произведений венгерских писателей. Этому посвящен и роман Тибора Череша «Похотливые статуи». Сейчас Тибор Череш создал сценический вариант романа. Он сказал: «Я сделал это потому, что книжная одежка стала ему узка, а театр — трибуна, и правда звучит со сцены всегда громче». Спектакль в театре «Талия» поставил режиссер Карой Казимир.
На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)



На снимке: Никос Казандзакис.

тель был удостоен премии Всемирного Совета Мира. «Свободе и миру,— говорил Н. Казандзакис на церемонии вручения премии,— постоянно грозит опасность. Наш долг — ежеминутно мобилизовать все силы на их защиту, зорко охранять их».

ГДР

РОМАН ГЮНТЕРА ГЁРЛИХА

Издательство «Нойес лебен» выпустило новый роман известного писателя Гюнтера Гёрлиха «Шанс мужа» (в журнале «Иностранная литература» был опубликован роман Гёрлиха «Извещение в газете» — 1980, № 8 — и ряд критических заметок).

...Моника Вайс уходит от мужа после 18 лет, казалось бы, счастливого супружества. Вольфганг Вайс, муж Моники, занимающий ответственный пост, по всеобщему мнению, порядочный, умный, одаренный человек. Но постепенно Моника замечает, что Вольфганг становится все более и более категоричным в своих суждениях, не считается с мнением окружающих, его излишняя прямолинейность оборачивается грубостью и больно ранит людей. Он перестает понимать свою жену, требуя от нее полного, безоглядного подчинения, и постепенно между ними возникает отчуждение. В письме, оставленном мужу, Моника говорит: «Я ухожу, чтобы жить по-другому. Если бы я осталась, моя жизнь была бы кончена».

«Неизвестно, как сложатся их отношения, вопрос остается открытым,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг».— Гёрлих не дает готовых рецептов, он предоставляет возможность думать и своим героям, и своим читателям».

«Как и в прежних книгах, Гюнтер Гёрлих обратился в новом романе к животрепещущим проблемам современности, взаимоотношениям людей в семье и в обществе»,—отмечает газета «Нойес Дойчланд».

В интервью еженедельнику «Зонntаг» писатель рассказал о том, как прошли его первые встречи с читателями, о спорах, которые вызвал роман.

«Я понял, что книга затронула читателей, а особенно читательниц. Она послужила толчком к тому, чтобы люди обдумали свою жизнь, свои личные, часто очень трудные ситуации. Когда я слушал выступления, мне стало ясно, что книга вызвала живой интерес и, может быть, кому-то помогла. А в этом и есть истинное счастье писателя...»

Телевидение Германской Демократической Республики показало многосерийный фильм «Бранденбургская хроника» по сценарию Бернгарда Зеегера (см. «ИЛ», 1963, № 3—5; 1973, № 7; 1981, № 8). Эта серия, состоящая из 12 фильмов,— итог большой и многолетней работы писателя. Зеегер снова обращается к теме деревни, вспоминает о войне, о фашизме, так искалечивших судьбы людей. Время действия фильма с 1939 по 1945 год. Писатель продолжает работать над следующими сериями. По его замыслу, повествование должно дойти до наших дней.

На снимке: актеры Ута Лубош, Ганс Клеринг и Урсула Каруссейт в многосерийном телевизионном фильме «Бранденбургская хроника».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ИНДИЯ

ЕЩЕ РАЗ О ДЕРЕВНЕ

За годы независимого существования Индии интенсивно развивались литературы, создаваемые на различных языках страны, активно проходил процесс их жанрового, стилистического, идейно-тематического обогащения.

Большой интерес представляет литература хинди, которая за последние десятилетия породила многие литературные течения, знаменующие ее поступательное движение. Одним из наиболее мощных литературных течений является «анчалик упаньяс» («провинциальный роман»); произведения этого направления — романы, повести, рассказы — посвящены изображению «анчала», социальной окраины, провинции — индийской деревни со всеми присущими ей социальными контрастами и этнографическим колоритом.

«Провинциальный роман» продолжает развиваться и совершенствоваться. Об этом, в частности, свидетельствует опубликованная газетой «Джан юг» рецензия на новый роман Джагдиш Чандры «Ночь в Махакалешваре». Джагдиш Чандра (род. в 1930 г.) — известный прозаик хинди, автор романов «Своей земли не хозяин» (переведенного на русский язык), «Пригоршня камешков» и ряда других.

В своем романе «Ночь в Махакалешваре» автор поднимает острые проблемы современной индийской деревни. Рецензент газеты «Джан юг» называет роман Чандры подлинной сагой.

ИТАЛИЯ

«ПРЕВОСХОДНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК»

Так характеризует газета «Паэзе сера» недавно скончавшегося литературоведа-слависта Этторе Ло Гатто. На протяжении долгих лет своей творческой деятельности (Ло Гатто прожил почти 93 года) он знакомил итальянского читателя с русской литературой, театром, с русской историей. Под его пером по-итальянски заговорили не только Пушкин и Достоевский, но и Гончаров,

Островский, Тургенев, Чехов и многие другие писатели. Подлинным событием стал осуществленный им несколько лет назад стихотворный перевод «Евгения Онегина». Этот роман «является теперь достоянием итальянской культуры», — отмечает корреспондент «Паэзе сера».

Начав свой творческий путь как переводчик и исследователь немецкой философии и поэзии, немецкого искусства, Ло Гатто во время первой мировой войны оказавшись в австрийском лагере для военнопленных, прочел несколько книг, оставленных в бараке русскими заключенными. Молодой офицер был буквально пленен русской литературой, а затем несколько десятилетий подряд пленял ею итальянских читателей, литературоведов, историков.

Профессор русской литературы и языка сначала в Падуе, а затем в Римском университете, он воспитал целую плеяду славистов и переводчиков. Одна из учениц Ло Гатто рассказывает на страницах «Паэзе сера», что, когда молодой ученый приступил к чтению курса русской литературы, он оказался первопроходцем, ибо в Италии в двадцатые годы практически не знали русской литературы. Впрочем, страсть к первопроходству, к экзотике у него была с детства: в 13 лет он написал роман «Загадки Сибири». Экзотические «опыты» скоро сменились подлинно научными исследованиями. Уже в 1921 году появился труд «Проблемы русской литературы». В 30—40-х годах из-под пера Ло Гатто вышла семитомная «История русской литературы». Затем, в 50-е годы, он издал книгу под таким же названием на основе лекций, прочитанных по радио для массового читателя.

Исследователь творчества А. С. Пушкина, он создает монографию «Пушкин. История поэта и его героя» (1960). Не ограничиваясь только словесностью, Этторе Ло Гатто изучает историю страны, стремится к социальному анализу литературных явлений. «Очерки русской культуры», «Крепостное право и освободительное движение в России», «История России» — эти книги Ло Гатто заняли ведущее место в итальянской славистике.

Исследователя интересует общественная жизнь и культура в самых разнообразных проявлениях. Им написана «Эстетика и поэтика в России» (1947), «История русского театра» (1953). Он восхищается памятниками искусства, главным образом ленинградскими, в создании которых такую большую роль сыграли его соотечественники, в результате чего появляется трехтомный труд «Итальянские мастера в России» (1927—1943).

Изучал Ло Гатто литературу и других славянских народов («Исследования по славянским литературам»). Выдающийся ученый и переводчик, в 20—30-е годы он возглавлял журналы «Россия», «Восточная Европа», «Обзор славянских литератур», переводил с чешского, польского, болгарского.

С именем Этто Ло Гатто связано внедрение в итальянскую культуру новой для нее науки — славистики, которая занимает теперь одно из ведущих мест.

«Ушел из жизни большой ученый с международным авторитетом»,— пишет газета итальянских коммунистов «Унита».

ИРЛАНДИЯ

ФАНТАЗИЯ НА ДЖОЙСОВСКИЕ ТЕМЫ

Пьеса Стюарта Паркера «Джойс в июне» была создана к 100-летию ирландского писателя, которое широко отмечалось во многих странах мира в минувшем году. Как сообщает Джон Сазерленд в журнале «Лиснер», пьеса распадается на две части: первая изображает молодого человека в критический период его жизни, совпавший с июнем 1904 года. Именно этот месяц Джойс позднее увековечил в самом известном своем романе «Улисс». В это время Джойс влюбился в Нору Барнакль, дочь кондитера из Корка. Нора стала прототипом Молли Блум, этого воплощения вечной женственности. В 1904 году Джойс принял решение покинуть Ирландию: его конфликт с ирландской церковью, властями, семейные неурядицы достигли своего апогея.

Превосходны, по мнению Джона Сазерленда, те сцены, где почти с документальной точностью, глубоким знанием и неподдельной любовью воспроизведена жизнь Дублина начала века: Джойс среди низов ирландского общества в бедных кварталах ирландской столицы, Джойс на диспутах в университете, Джойс на берегу Дублинского залива, Джойс, принимающий участие в музыкальных любительских концертах.

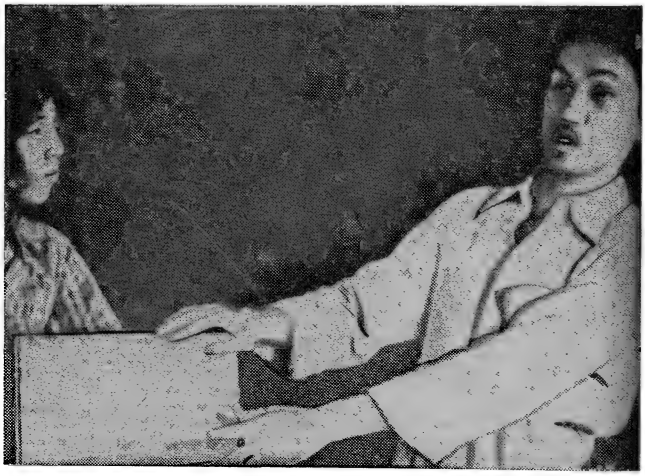
В ином ключе решена вторая часть пьесы — здесь

ИНДОНЕЗИЯ

«Хотя эта комедия была создана в прошлом веке, она затрагивает актуальные проблемы, поскольку несправедливости и ныне творятся повсюду, будь то использование служебного положения в целях обогащения, взяточничество, попирание человеческих прав и тому подобное»,— пишет рецензент газеты «Мердека» Атенг Винарно в связи с постановкой «Ревизора», осуществленной недавно в Культурном центре им. Исмаила Марзуки силами Джакартского молодежного театра в постановке Алдисара Шафара. Пьеса Гоголя шла здесь в течение трех вечеров под названием «Важная персона». Это не помешало несколько месяцев спустя другому режиссеру Эдди де Ронде с его труппой предложить джакартским зрителям свое прочтение той же пьесы. Это была по существу индонезийская версия комедии Гоголя, где герой пьесы выдал себя за представителя комиссии по борьбе с незаконными поборами, не так давно созданной в Индонезии, а в постановке нашли применение как приемы традиционного яванского театра, так и современные театральные приемы.

На снимке: сцена из спектакля «Ревизор» в открытом театре Культурного центра.

(Газета «Мердека»)



перед зрителем предстает зрелый Джойс, автор «Улисса». Актер, исполняющий роль Джойса, Килиан Маккенна, создавая образ писателя, пишет Сазерленд, не добивался внешнего сходства. Для него главным было передать состояние художника, постоянно жившего в атмосфере создаваемых им образов.

Во второй части пьесы действие, соответствующее реальным событиям жизни Джойса, сопровождается «действием», развивающимся в «Улиссе». Второй план пьесы «Джойс в июне», считает Джон Сазерленд,— «это творческая находка Паркера». Таким образом он сумел решить двойную задачу — показать и личную, и творческую судьбу Джойса. Многие герои «Улисса» — Блум, Стивен Дедалус, Молли — рождаются буквально на глазах у зрителя.

«Трудно определить жанр этой пьесы, — пишет Джон Сазерленд. — Это и документальная пьеса, и лирическое повествование, в котором с большой заботой воспроизведена не только атмосфера времени, но и атмосфера духовной жизни писателя».

ИСПАНИЯ

БОРЬБА ЗА ШИРОКОГО ЧИТАТЕЛЯ

Испания занимает пятое место среди капиталистических стран по выпуску книжной продукции, уступая ФРГ, США, Японии и Великобритании. Однако, согласно статистике, многие испанцы не прочитывают за год ни одной книги. Такое положение вызывает беспокойство министерства культуры Испании, которое в последнее время приняло ряд мер для пропаганды национальной литературы.

Так, начат выпуск специальной серии популярных книг, каждая из которых посвящена творчеству какого-либо автора (среди них могут быть не только маститые, но и молодые писатели). Структура всех книг одинакова: биография писателя, подборка отрывков из его произведений, подборка критических статей о нем. Пока задумано около сотни таких книг. Первые уже вышли: они дают широкому кругу испанских читателей — и обращены именно к ним — представление о Висенте Алейсандре, Гильермо Диас-Плахе, Алонсо Саморе Висенте, Хосе Мария Харонелье, Херардо Дьего, Анхеле Мариа де Лера. Книги издаются министерством культуры, у них достаточно большой тираж и низкая цена. Кроме того, в целях пропаганды современной испанской литературы министерством культуры было организовано в различных городах страны 400 лекций на тему «Писатель и его творчество».

Серьезное внимание уделено начинающим писателям, которым обычно особенно трудно опубликовать свои произведения. Теперь организован специальный конкурс, на который представляются рукописи молодых писателей. Премия состоит не в денежном вознаграждении, а в обязательной публикации отмеченной рукописи государственным издательством. Учреждено также несколько новых литературных премий, которые — в отличие от существовавших ранее — будут субсидироваться не частными издательствами или организациями, а государством. Государственное издательство «Эдиторе насьональ» будет выпускать также дешевые издания испанской классики и — специальной серией — наиболее интересные работы испанских ученых в области гуманитарных наук за текущий год.

Все эти мероприятия должны, как считает министерство культуры Испании, привлечь внимание широкого читателя к наиболее достойным произведениям национальной культуры, повысить интерес к чтению среди самых различных слоев населения и дать новый импульс развитию молодой литературы.

КУБА

«ПЕСНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ»

Так называется спектакль, постановку которого осуществил в Национальном театре Кубы уругвайский композитор и исследователь народного творчества Анибаль Сампайо, выступивший одновременно в качестве режиссера-постановщика и автора сценария.

«Название спектакля символично: в нем нашла свое отражение не только судьба А. Сампайо — одного из активных участников Движения Тупамарос в Уругвае, который после многолетнего заточения в фашистском застенке был освобожден в 1980 году в результате требований прогрессивной латиноамериканской и международной общественности,— отмечает корреспондент газеты «Хувентуд ребельде».— Этот яркий музыкальный спектакль, в сущности, посвящен борьбе народов Латинской Америки за национальное освобождение и социальный прогресс, а его пафос — их единение и вера в грядущую победу. Это подлинно народная кантата, в которую органично вошли созданные А. Сампайо великолепные композиции на темы таких широко известных танцевальных и песенных мелодий, как хабанеро и эль гато, распространенных в Уругвае и Аргентине, маламбо и чакарера — в Аргентине, хоропо — в Венесуэле, ранчера и корридо — в Мексике, а также популярных музыкальных ритмов других латиноамериканских народов. В представлении прозвучали многие народные инструменты нашего континента».

По мнению корреспондента газеты, спектакль прошел с большим успехом в ряде городов Кубы.

НОРВЕГИЯ

«ЖИВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ»

Постановку пьесы Мартина Нага, известного норвежского поэта и исследователя литературы, критика расценила как значительное событие в культурной жизни Норвегии. По мнению рецензента газеты «Дагбладет», пьеса может служить примером «истинно хорошего театра».

На театральной сцене нашла отражение встреча А. Коллонтай с В. И. Лениным, посланницей которого она являлась в Скандинавии. В глазах передовых людей Скандинавских стран А. Коллонтай была «живым связующим звеном» между ними и революционными событиями в России. В спектакле показана многогранная дипломатическая деятельность Коллонтай, ее взаимоотношения с такими выдающимися общественными и культурными деятелями Норвегии, как Фритьоф Нансен, поэты Нурдаль Григ и Рудольф Нильсон, писатели Сигурд Хёль и Кора Сандель.

Пьесу о Коллонтай пресса назвала пьесой «о России в центре Христиании», «произведением о политике и поэзии».

Недавно пьеса вышла отдельной книгой, что позволило ей приобрести еще большую известность и получить новые отклики в печати. В них Александру Коллонтай называют «одной из величайших женщин XX столетия», «живым воплощением революции».

ПЕРВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА САМСКОМ ЯЗЫКЕ

Издательство Норвежского университета начало выпуск в свет новой многотомной истории норвежской литературы, текст которой дается параллельно на восьми языках. Еще одна важная черта этого издания — новое отношение к литературе малых народов.

Интерес научных и литературных кругов Норвегии к литературе малых народов способствовал также изданию первого художественного произведения на саамском языке (точнее, на пяти

В норвежском Оперном театре состоялась премьера «Евгения Онегина». Спектакль пользуется огромным успехом. «Русская классика близка современному норвежскому зрителю»,— пишет рецензент газеты «Афтенпостен».
На снимке: Биргитта Свенсон (Ольга), Кнут Скром (Онегин), Анита Сольт (Татьяна).

(Газета «Афтенпостен»)

саамских диалектах). Интересная как детям, так и взрослым, сказка «Гюлланда» основанная на фольклоре саамов, повествует о противоборстве злых и добрых сил, которые олицетворяют две сестры. Текст составлен и обработан Самули и Анникой Айко, иллюстрации сделал финский художник Мика Лаунис. До этого на саамском языке выходили только учебные пособия, которые выпускало издательство «Йоргаледьи».

Издатели, критики и педагоги считают выход «Гюлланды» значительным событием в культурной жизни Норвегии.

ПОЛЬША

60-ЛЕТИЕ БОГДАНА ЧЕШКО

Польская печать отметила 60-летие видного писателя Богдана Чешко. Он родился в Варшаве, там окончил гимназию, увлекался живописью и хотел стать художником. Но когда гитлеровские полчища вторглись в Польшу, он в рядах подпольной Армии Людовой включился в борьбу против оккупантов. Он участвовал в самых рискованных операциях, особенно известно нападение подпольщиков на «Кафе-клуб» — место сборища гитлеровцев.

Рецензент газеты «Трибуна люду» пишет, что неизвестно, как бы сложилась судьба Богдана Чешко, если бы не война: она определила выбор жизненного пути, сформировала его как писателя.

В 1946 году Чешко дебютировал как прозаик своими рассказами. В 1949 году он выпустил первый сборник. Но широкую известность ему принесла повесть «Поколение» (1951), где рассказывается о группе молодых варшавских рабочих, которые в рядах Союза борьбы молодых под руководством Польской рабочей партии сражались против оккупантов, о том, как они прошли большую и суровую школу воспитания, превратившись из политически отсталых ребят в стойких закаленных бойцов.

Потом были сборники рассказов, повесть «Реквием» (1961) — о трагической гибели одного из отрядов Войска Польского в 1945 году; в ней показана вся тяжесть солдатского труда, весь трагизм существования человека на войне.

С большим вниманием была встречена небольшая повесть Богдана Чешко «Наводнение» — о труде рыбаков, в которой писатель пытается определить, в чем заключаются истинные нравственные ценности, смысл человеческого существования. Но при всей серьезности поднятых в книге проблем автор не отказывается от свойственной его повествованиям иронии.

За свои произведения Чешко дважды награждался государственными премиями.

Чешко — автор многих репортажей, он ведет отдел «Заметки на полях» (Маргиналки) в журнале «Нове ксёнжки», где постоянно выступает с рецензиями на новые книги польских и зарубежных авторов.

Являясь депутатом сейма, Богдан Чешко ведет большую общественно-политическую работу, он видит долг писателя прежде всего в его служении обществу.

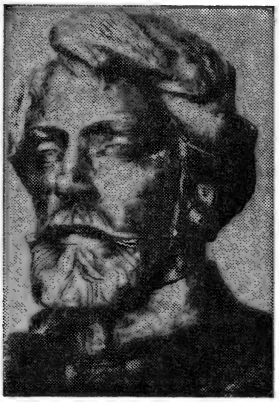
«Я сознаю общественную роль литературы, которая, с одной стороны, отражает человеческое сознание, с другой — формирует его... Я считаю, что мы обязаны открывать в человеке лучшее, воспитывать в нем чувство собственного достоинства, бороться со всем тем, с чем мы боролись в годы нашей молодости».

«Трибуна люду» отмечает, что Чешко не любит выступать с речами, но в трудные моменты для Родины он, и как депутат сейма и как пи-

---

В Кракове воздвигнут памятник выдающемуся поэту, драматургу, художнику и режиссеру Станиславу Выспянскому. Уроженец Кракова, он всю свою жизнь связал с родным городом. Его драмы не сходят со сцен краковских театров, как, впрочем, и всей страны, его витражи и росписи до сих пор украшают костел и часовню в Вавеле. Созданию памятника предшествовали многочисленные конкурсы, но ни один из проектов не получал одобрения, пока не был представлен проект известного скульптора Мариана Конечного, который и был утвержден. На постаменте высится фигура Станислава Выспянского, сам постамент украшен фигурами героев его самых известных драм.
На снимке: фрагмент памятника Выспянскому работы Мариана Конечного.

(Журнал «Театр»)



сатель-коммунист, говорит во весь голос и с трибуны и в печати о тревожных явлениях в общественной и культурной жизни своей страны.

РУМЫНИЯ

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» В РУМЫНИИ

В Бухарестском театре им. Ноттара режиссер Дан Мику поставил спектакль «Карамазовы». Инсценировка романа Достоевского была сделана им совместно с известным румынским драматургом Хорией Ловинеску. На страницах журнала «Театр» Х. Ловинеску подробно рассказывает о своей работе над сценическим вариантом романа: «Еще 15 лет назад я начал в театре им. Ноттара репетировать отдельные сцены из «Братьев Карамазовых» — «Иван и дьявол» и «Легенду о Великом инквизиторе». Но вскоре я понял, что ставить на сцене отрывки произведения, столь единого и органичного по замыслу,— бессмысленно... Когда в 1980 году вместе с режиссером Даном Мику мы обсуждали возможность создать спектакль по роману Достоевского, «одного из самых современных писателей», то структура «Братьев Карамазовых» и пронизывающие ее нити предстали перед нами достаточно четко... Мы поняли, что главный акцент инсценировки должен быть перемещен с Дмитрия Карамазова на Ивана (именно Иван уже давно находился в центре внимания современных комментаторов романа), что ключевой сценой спектакля будет «Легенда о Великом инквизиторе».

В этом же журнале постановщик спектакля Дан Мику рассказывает об эволюции замысла этого спектакля, который должен был сначала называться «Нигилисты», и подробно останавливается на главных задачах инсценирования великих произведений: «Самое главное при этом — автор и режиссер спектакля должны создать такой спектакль, структура которого должна быть эквивалентна по значимости структуре оригинала».

СИРИЯ

ВСЕАРАБСКИЙ СОЮЗ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Дамаске вышли первые номера ежеквартального журнала «Аль-Кятиб аль-араби» («Арабский писатель»), издаваемого Всеобщим союзом арабских литераторов и писателей. (Ранее эта крупная региональная писательская организация не имела своего печатного органа.)

Главный редактор нового журнала — известный иракский писатель и публицист Шафик аль-Кемали. В состав редколлегии входят видные представители современных арабских литератур.

«Аль-Кятиб аль-араби» издается согласно решениям, принятым на последнем съезде арабских писателей в г. Адене (НДРЙ).

В первом номере опубликована статья, принадлежащая перу члена редколлегии А. О. Арсана (Сирия). Приветствуя рождение нового журнала, писатель выражает надежду на то, что «он по праву станет органом арабских литераторов, заслуженным журналом современной арабской словесности».

Среди публикаций первого номера «Аль-Кятиб аль-араби» особый интерес представляют материалы международной конференции, посвященной памяти классика современной арабской литературы, ливанского писателя и поэта Джубрана Халиля Джубрана, а также специальный раздел о современной йеменской литературе.

США

ВДОЛЬ и ПОПЕРЕК АМЕРИКИ

В бостонском издательстве «Литтл, Браун энд компани» вышел документальный роман «Голубые линии автострад: путешествие в глубь Америки». Его автор Уильям Трогдон, университетский преподаватель из штата Миссури, решил последовать примеру многих американских писателей и — как когда-то Дж. Стейнбек с пуделем Чарли — отправился на «поиски Америки» в самодельном автофургоне, прихватив с собой томик Уитмена.

Став одним из тысяч американских бродяг, кочующих по стране, миссурийский преподаватель словно изменил свою человеческую сущность, отчего и взял себе новое имя — Уильям Лист-Хит-Мун (то есть Уильям Луна-Нежаркой-Поры). Это имя и стоит на обложке книги. Но оно не просто литературный псевдоним. Этим актом переименования автор, в жилах которого течет кровь индейцев сиу, как бы символически восстановил связь с «глубинной» Америкой, утраченную им, потомком настоящих хозяев Америки, приобщившегося к культуре и образу жизни янки.

Когда-то на картах в старых автомобильных путеводителях, как отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», главные магистрали страны обозначались красными линиями, а проселочные дороги — голубыми. Вот по этим-то «голубым линиям» и промчался фургончик У. Лист-Хит-Муна, объехавшего Соединенные Штаты по огромному кругу — от городка Роанок на Атлантическом побережье, где в в 1584 году высадился со своей экспедицией английский поэт, дипломат и путешественник сэр Уолтер Рэли, до Калифорнии, а потом от канадской границы до штата Мэн и обратно в Миссури, откуда началось путе-

На снимке: сцена из спектакля «Братья Карамазовы».

(Журнал «Театрул»)

шествие. Колеся по проселкам Америки, автор встретился с сотнями людей. Цепочка рассказов об этих встречах и выросла в конце концов в пятисотстраничный том.

Читая эту книгу, пишет рецензент, невозможно не вспомнить о другом американском романе-путешествии — «На дороге» Дж. Керуака («ИЛ», 1960, № 10), герой которого тоже отправился на «поиски Америки». Но сколь велика разница! Керуаковский бродяга-битник целиком сосредоточен на своих проблемах и едва ли что-то замечает из окна автомобиля. Сидя за рулем своего фургона, У. Лист-Хит-Мун внимателен ко всему, что встречается в пути. Здесь, на пыльных проселках и в городках, почти невидимых на больших картах, он встречает «неофициальную» Америку простых людей — белых, негров, индейцев, которые с грустью или с улыбкой, со злостью или с отчаянием рассказывают ему о своей жизни, делятся с ним своими маленькими радостями и большими трагедиями, горькими разочарованиями и радужными упованиями. Эта «другая» Америка, Америка, увиденная как бы «изнутри», вселяет в автора надежду на неисчерпаемые созидательные возможности трудового народа. И эта надежда дает ему право с уитменовским оптимизмом смотреть в будущее страны, которая, по его убеждению, должна быть избавлена от болезней сегодняшней буржуазной цивилизации.

«ТРИВИАЛЬНАЯ ТЕЛЕПЬЕСА»

По мнению американской критики, телеэкранизация нашумевшего романа Нормана Мейлера «Песнь палача», осуществленная самим автором вместе с Лоренсом Шиллером, чьи журналистские записи легли в основу книги, утратила художественные достоинства оригинала. Сага о непостижимой сложности человеческой души превратилась в тривиальную пьесу — документальное произведение, использующее реальные факты, которые, по замыслу создателей произведения, говорят сами за себя и не нуждаются в истолковании.

Как известно, в основу романа Н. Мейлера легла подлинная история убийцы Гэри Гилмора, которого писатель постарался изобразить жертвой социальных обстоятельств, безвольной игрушкой темных сторон человеческого «я». Как пишет рецензент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн», в свое время Л. Шиллер говорил, что, если бы он писал книгу о Гилморе, он использовал бы свой документальный материал, чтобы рассказать о сироте, воспитанном в государственных учреждениях для малолетних преступников, который не смог побороть свои тюремные привычки и стал сначала вором, а потом убийцей. Его возлюбленную Николь (другой персонаж романа Мейлера) он изобразил как женщину, чей гипертрофированный материнский инстинкт бросил ее в объятия убийцы. Таким образом, замечает критик, Шиллер собирался превратить свой журналистский материал в психологические типы-клише, столь часто встречающиеся в американской прессе, привыкшей подавать публике насилие как норму жизни США. Создав телеспектакль по роману «Песнь палача», в котором Шиллер выступает режиссером и постановщиком, он наконец сделал то, что в свое время помешал ему сделать Н. Мейлер, перекупив у него права на создание книги. Теперь сам писатель помог осуществлению замысла Л. Шиллера, оставшись при этом вполне довольным результатами совместной работы. Однако критика единодушно придерживается иного мнения, отмечая, что все сложности психологических портретов персонажей романа, проникновение Мейлера в жизнь современного Запада США ушли при экранизации. По мнению рецензентов, неудача перевода романа с языка художественной литературы на язык видеообраза проистекает из незнания Н. Мейлером и его коллегой существа разницы между этими языками.

ФРАНЦИЯ

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

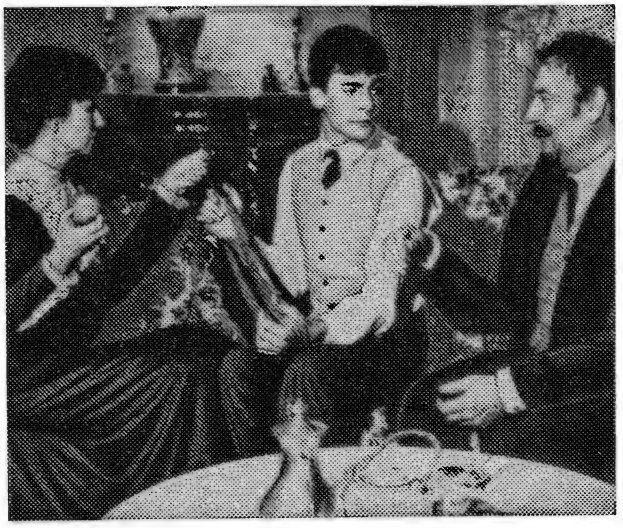
Пятьдесят лет тому назад в Париже был создан Мировой комитет борьбы против империалистической войны и фашизма, во главе которого встал Анри Барбюс. Возникновению Комитета предшествовал Амстердамский антивоенный конгресс (1932) и Антифашистский конгресс в Париже в зале Плейель (1933) — движение, выросшее из этих международных собраний, во Франции называют «движение Амстердам — Плейель». Пятидесятилетию этого движения, объединившего передовых трудящихся разных стран и видных представителей творческой интеллигенции, была посвящена международная научная конференция, состоявшаяся в марте с. г. на базе Реймсского университета, при поддержке Национального комитета научных исследований. В повестку дня были включены доклады и сообщения литературоведов Франции, ГДР, Испании, Канады, СССР, США, Швейцарии. Инициаторами конференции были видные исследователи творчества Барбюса, А. Пиччиола и Ж. Реленже. Вступительную речь произнес председатель Общества друзей Барбюса Пьер Параф, заседаниями руководили профессора Ж. Перюс (Франция) и С. Стеллинг-Мишо (Швейцария).

Общая тема конференции была сформулирована так: «Мир и война во французской литературе 1925—1939 гг.». Докладчики показали, что события политической жизни периода, заключенного между этими датами — колониальная авантюра французского империализма в Африке, приход фашизма к власти в Германии, национально-революционная война в Испании,— получили разнообразное отражение во французской литературе. Многие писатели были вынуждены определить свою идейную позицию перед лицом надвигавшейся опасности второй мировой войны.

В отдельных докладах были освещены основные черты идеологической и культурной жизни Франции в очерченный период, участие писателей в борьбе против империалистической войны и фашизма. Были сделаны специальные доклады «Движение Амстердам—Плейель» (Ж. Презан), «Ромен Роллан и подготовка Амстердамского конгресса» (Б. Дюшатле), «Французские писатели и Мюнхен 1938 года» (В. Кляйн), «Французская интеллигенция и немецкая угроза» (Ж. Бюэнзо). В ряде сообщений анализировалась идейная позиция французских писателей 20-х и 30-х годов, включая и писателей, незаслуженно мало освещенных в трудах литературоведов. Докладчики осветили с новых сторон творчество Р. Арюса, П. Низана, Э. Даби, Л. Гийу, А. Сюареса, показали сложность идейных поисков Ф. Мориака и философа Ж. Маритена, поиски в творчестве А. Мальро, сказавшиеся в романе «Надежда». Естественно, что важное место в работах конференции заняли доклады, посвященные ведущим передовым писателям — А. Барбюсу, Р. Роллану, Л. Арагону. В докладе Ж. Альбертини «Газета «Се суар» — политическое дерзание интеллигенции» была показана публицистическая деятельность Арагона и Ж. Р. Блока накануне второй мировой войны. Один из немногих докладов, специально посвященных литературно-творческим вопросам, сделал молодой исследователь из Лиона Э. Беген — его работа была озаглавлена: «Социалистический реализм Арагона. Поэтика политического романа «Пассажиры империала».

НОВЫЙ РОМАН САГАН

По-разному оценивая роман Франсуазы Саган «Неподвижная буря», вышедший в издательстве «Жюльяр», критики единодушны в том, что в своей последней книге известная писательница по-прежнему остается верной себе, своей теме, своему стилю, и хотя Ф. Саган обращается к со-



В апреле этого года французские зрители увидели трехсерийный фильм «Богатые кварталы», поставленный режиссером Жаном Керброшем по известному одноименному произведению Луи Арагона. В фильме занято около 130 актеров, в том числе Бернар Бриё, Жан-Филипп Пюимартэн, Марина Влади. Действие картины разворачивается накануне первой мировой войны. По-разному сложатся судьбы братьев Барбентан, приехавших в Париж из провинциального Сериана. Высокого положения в обществе сумеет добиться честолюбивый Эдмон, а его брата Армана, поступившего работать на завод, мы увидим среди участников антивоенного митинга, слушающих выступления Жана Жореса.

В 1936 году за роман «Богатые кварталы» писатель был удостоен премии «Ренодо». «Эта книга,— писал Луи Арагон,— свидетельство того, что я чувствую себя неотделимым от борьбы миллионов французов, требующих хлеба, мира, свободы».

На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Юманите»)

бытиям далекого прошлого — действие романа происходит в 1832 году,— персонажи и ситуации в романе выдержаны в типично «сагановском» духе.

Мишель Буз («Юманите») видит в «Неподвижной буре» своеобразный парафраз произведений таких писателей, как Бальзак, Флобер, Пруст, Мориак. И если завязка книги заставляет вспомнить Мориака (Николя Ломон, нотариус, на склоне лет вспоминает историю своей безответной юношеской любви), то в дальнейшем события развиваются по Бальзаку. По мнению критика «Монд» Б. Пуаро Дельпеша, фигура рассказчика, благородного и человечного Николя, наиболее значительна в романе и, безусловно, выделяется среди эгоистичных героев, к которым писательница приучила своего читателя со времен романа «Здравствуй, грусть»

Высоко оценивая новый роман Франсуазы Саган, «Фигаро» называет писательницу новой Шехерезадой. «Неподвижная буря», пишет газета, сказка, романтическая и возвышенная в классическом, даже академическом стиле. «Нувель литтерэр», отмечая присущий Саган юмор, видит в ее книге блестящую картину нравов провинциальной жизни.

И, наконец, критик «Экспресса» Матье Гали — среди тех, кто достаточно сдержанно отзывается о последнем произведении писательницы. «Саган не меняется,— замечает Гали,— вместо коктейлей и вернисажей — дуэли и балы, однако герои те же: великосветские бездельники. Это обычная мелодрама с идиллиями, скандалами и страстями. «Неподвижная буря» — просто буря в стакане воды».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПИСАТЕЛИ О ЯРОСЛАВЕ ГАШЕКЕ

Информационный бюллетень (изд-во «Чехословенски списователь») в связи со 100-летием со дня рождения Ярослава Гашека опубликовал интересную подборку высказываний его современников — видных деятелей мировой культуры.

Витезслав Незвал: Попробуйте сравнить прозу Гашека с прозой его современников, пренебрегавших им, и вы воочию убедитесь, какая ложь, стилизация, фальшивая поэтичность и смешной сентиментализм творили литературную эпоху, на фоне которой созревал тогда еще неизвестный гений Гашека. Если вы найдете в истории чешской литературы имя Гашека на последнем месте или в ближайшем соседстве с литературным браком, не удивляйтесь: это ярчайшее свидетельство убожества чешской литературной истории и критики.

Эрвин Пискатор: ...роман Ярослава Гашека удивителен тем, что в нем война, если можно так выразиться, уничтожает себя самое. Мы здесь смотрим на нее глазами простого человека, и это триумф людского разума над фразеологией. Поэтому Гашек и его герой Швейк стоят вне всех традиционных и общепринятых понятий, вне любого рода банальности, мы здесь становимся свидетелями столкновения естественного человека с неестественностью массового уничтожения и милитаризма на той грани, когда всякий смысл оборачивается бессмысленностью, всякий героизм — смехотворностью, а божественный мировой порядок — гротесковым сумасшедшим домом.

Иоганнес Р. Бехер: В «Бравом солдате Швейке» Гашек создал тип современного чешского Вашека, который, добродушно улыбаясь, ничего не принимает всерьез и перед трогательной беспомощностью которого пасуют власти предержащие, офицеры, полицейские шпики, судьи с их неуемной жестокостью.

Иван Ольбрахт: Гашек показал нам мировую войну в совершенно ином, новом ракурсе. Я прочел немало военных романов, даже сам написал один, но вся подлость, тупость и варварство мировой войны ни в одной книге не проступает так явственно, как у Гашека.

Юлиус Фучик: И все-таки Гашек — один из самых ярких мастеров-юмористов, размахом своего юмора занявший место исключительное. Это был не просто острослов в обычном понимании, это был настоящий труженик-художник, сложным путем подготавливавший весь этот естественный каскад контрастов и умышленных алогичностей, которые придают его вещам юмористичность... Уж не этот ли анекдотический характер является литературно-критическим мерилом его произведений? Или, возможно, кому-то мешает популярная «крупнозернистая» фактура его прозы? Но пренебрежение официальной критики к Гашеку не имеет под собой даже этих оснований. Оно вообще без оснований. Но оно, вероятно, исчезнет так же, как и возникло. А если и не исчезнет, ни Гашеку, ни критике это не причинит никакого вреда. У истории литературы по крайней мере останется великая цель: стилистический разбор его юмора.

Зденек Неедлы: Вижу Гашека прежде всего таким, каким я его знал. Добрым, теплым, чей юмор был проявлением большой любви к людям. И таким же вижу его в его произведениях. И признаюсь, что больше люблю его маленькие рассказы. Там Гашека больше всего. Швейк — это уже дальнейшая проекция этого качества в грозные события мировой войны. Больше любви к смеющемуся человеку, чем ненависти к сильным мира сего. Отсюда, вероятно, и это его огромное позитивное влияние, и его революционное воздействие. Человек для него все, форма же — ничто.

На снимке: кадр из фильма «Последняя остановка».
(Журнал «Фильм а дивадло»)

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА»

Так называется фильм студии «Барандов», снятый режиссером Ярославом Баликом. В основу сценария положен одноименный роман народного писателя Чехословакии Зденека Плугаржа. Не случайно авторы фильма выбрали для экранизации именно это литературное произведение, так как проблема одиночества пожилого человека стала одной из актуальных тем сегодняшнего мирового кинематографа.

В своем фильме Балик рассказывает, как эта проблема решена в нашем социалистическом обществе, которое проявляет немалую заботу о пожилых людях.

Действие фильма происходит в доме для престарелых, где каждый из героев поразному свыкается со своим новым положением: одни мечтают о возвращении в семью, другие пытаются приспособиться к новым условиям жизни, но человек здесь не одинок, и поэтому фильм, который на первый взгляд мог бы быть грустным или по крайней мере ностальгическим, утверждает жизнь, утверждает творческие возможности человека в любом возрасте.

Кинокритик Ян Климент отметил: «...это прекрасное художественное произведение, так как его создатели доказали, что и эта «последняя остановка», этот этап человеческой жизни полны своей красотой, своим духовным богатством».

ШВЕЦИЯ

ПРОЩАЛЬНАЯ ЛЕНТА БЕРГМАНА

Ингмар Бергман, отдавший кинематографу более тридцати лет своей жизни, простился с кино, сообщает рецензент газеты «Ланд ог фольк». Отныне Бергман посвятит себя театру (Стокгольм, Мюнхен), работе над телеспектаклями, а также оперными постановками (Зальцбург).

Прощальная лента Бергмана «Фанни и Александр» — первая картина, снятая режиссером в Швеции после долгих лет работы за границей. Критики единодушно отзываются о ней как об одной из наиболее значительных лент в творчестве Бергмана, а также самом выдающемся из всех когда-либо созданных в Швеции фильмов.

В основу ленты лег почти трехсотстраничный роман самого Бергмана; это семейная хроника, время и место действия — начало века, Упсала.

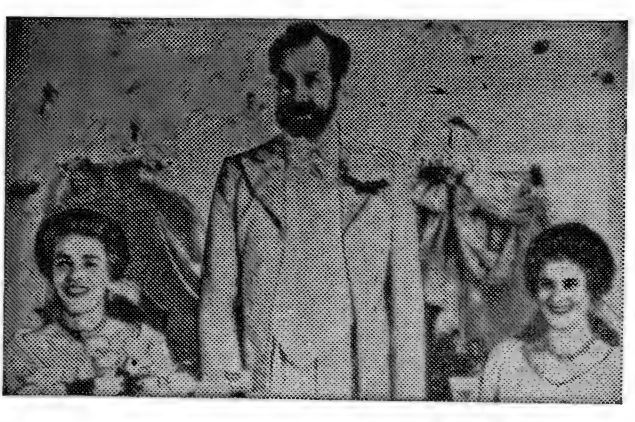
«Фанни и Александр» — калейдоскопически показанная история театральной семьи Экдалей (выбор фамилии неслучаен — вспомним «Дикую утку» Ибсена). Большое внимание в фильме уделено драме маленького Александра: мальчик теряет отца, тяжело переживает вторичное замужество матери, остановившей свой выбор на суровом и бессердечном служителе церкви. Наделенный богатой фантазией, тонко чувствующий, Александр бесконечно одинок в мире взрослых.

Как и роман, фильм Бергмана автобиографичен: Упсала — родной город режиссера, он родился здесь в 1918 году в семье священника. По мнению критиков, Александр напоминает самого Бергмана в детстве.

В фильме «Фанни и Александр» очень много от предыдущих работ Бергмана («Улыбки летней ночи», «Вечер шутов», «Шепот и крик» и других); картина отмечена мягким юмором и острым психологизмом.

«Этот фильм,— пояснил Ингмар Бергман,— мое признание в любви к жизни». И в любви к людям, присовокупляет рецензент «Ланд ог фольк».

На снимке: кадр из фильма «Фанни и Александр».
(Газета «Ланд ог фольк»)



Авторы этого номера

АНТУН ШОЛЯН — ANTUN ŠOLJAN (род. в 1932 г.)

Югославский хорватский писатель — поэт, прозаик, драматург. Окончил философский факультет университета в Загребе. Автор сборников стихов «На краю света» («Na rubu svijeta», 1956), «Газель и другие стихотворения» («Gazela i druge pjesme», 1970), романов «Короткая прогулка» («Kratki izlet», 1965), «Гавань» («Luka», 1974), «Другие люди на Луне» («Drugi ljudi na Mjesecu», 1978), многочисленных рассказов, пьес. Известен и как переводчик французской, немецкой поэзии, с русского переводил произведения А. Блока. Рассказы «Птица господня» и «Пятьсот ступенек» были напечатаны в его сборнике «Семейный ужин» («Obiteljska večerá». Zagreb, Naprjed, 1975), рассказ «Как я стал астрологом» взят из журнала «Књижевност» (1979, № 1).

ЖОРЖ БРАССАНС — GEORGES BRASSENS (1921—1981).

Французский поэт, певец, композитор, исполнитель собственных песен. Лауреат Большой премии поэзии Французской академии. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе «Дурная репутация» («La mauvaise reputation», 1953), «Стихотворения и песни». «Иностранная литература» знакомила читателей с творчеством Ж. Брассанса (см. 1970, № 12; 1975, № 6). Публикуемые стихи взяты из сборников «Стихотворения и песни» («Poèmes et chansons». Paris, 1963 и 1973).

ОСВАЛДО ФРАНСА ЖУНИОР — OSVALDO FRANÇA JÚNIOR (род. в 1936 г.).

Бразильский писатель. Первый роман О. Франса Жуниора «Вдовец» («O viúvo») был издан в 1965 году Затем вышли романы «Один день в Рио» («Um dia no Rio», 1969), «Человек в комбинезоне» («O homem de macacão», 1972), «Возвращение к Марилде» («A volta para Marilda», 1974), «Два брата» («Os dois irmãos», 1976), «Воспоминания об Элиане», («As lembranças de Eliana», 1978), «Здесь и в других местах» («Aqui e em outros lugáres», 1980).

Впервые представляя нашим читателям творчество О. Франса Жуниора, мы печатаем в журнальном варианте его повесть «Бразилец Жорже», опубликованную в 1967 г. и отмеченную Национальной литературной премией. Печатается по 4 изданию («Jorge, um brasileiro» Rio de Janeiro Olympio/Sabiá, 1978).

БРЕВЕРН ЛИЛИАНА ЭДУАРДОВНА

Советский переводчик с португальского. В ее переводе издавались произведения бразильских писателей: Жоржи Амаду «История любви Полосатого кота и сеньориты Ласточки» («ИЛ», 1980, № 12), Жозе Ж. Вейги «Тени бородатых королей» («ИЛ», 1979, № 9), португальских писателей: новеллы Эсы де Кейроша, романы Вержилио Феррейры «Явление», Антонио Алвеса Редола «Яма слепых» (в серии «Мастера современной прозы»), Фернандо Наморы «Хлеб и плевелы» и др.

ОСКОЦКИЙ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Богатство романа» (1976), «В содружестве талантов» (1978), «Роман и история» (1980) и др., а также статей, посвященных проблемам советской многонациональной литературы, современного и исторического романа.

ИЛЬИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский журналист, международный обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии Союза журналистов СССР. Автор книг «Иду под гремящим небом» (1968), «Президент об этом не знает» (1972), «Лаос: огненный коридор» (1972) «Напалмы и пальмы» (1974), «Мирные зарницы над Вьетнамом» (1975), «Вьетнам единый от Каобанга до Камау» (1978), «Афганистан: поступь революции» (1981) и др.

КАРТАР СИНГ ДУГГАЛ (род. в 1917 г.).

Индийский прозаик и литературный критик. Пишет на пенджабском языке. Большой из-

вестностью пользуется его роман «Ногти и мясо», посвященный теме раздела Индии и Пакистана в 1947 г. Он переведен на ряд индийских и европейских языков. В Советском Союзе печатались его рассказы и статьи в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

ГРЭМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.).

Английский писатель. Советским читателям известен по переведенным на русский язык романам «Тихий американец» («ИЛ», 1956, № 6, 7), «Наш человек в Гаване» («ИЛ», 1959, № 3,4), «Ценой потери» («ИЛ», 1964, № 9, 10), «Комедианты» («ИЛ», 1966, № 9, 10), «Суть дела», повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» («ИЛ», 1982, № 6).

Мы публикуем очерк Г. Грина «J'Accuse». Теневая сторона Ниццы», вышедший в Лондоне отдельной книжкой («J'Accuse». The Dark Side of Nice». London, The Bodley Head, 1982).

ШАХНАЗАРОВ ГЕОРГИЙ ХОСРОЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский ученый, доктор юридических наук. Президент Советской ассоциации политических наук, вице-президент Международной ассоциации политических наук. Автор книг «Коммунизм и свобода личности» (1956), «Социализм и равенство» (1958), «Социалистическая демократия» (1972), «Социалистическая судьба человечества» (1978), «Фиаско футурологии» (1979), «Грядущий миропорядок» (1981).

РЭЙ БРЭДБЕРИ — RAY BRADBURY (род. в 1920 г.).

Американский писатель. Советским читателям знаком по переводам его научно-фантастической прозы: «451° по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Вино из одуванчиков», многочисленным рассказам.

Рассказ «Чепушинка» взят из сборника «Странные знаки» («Strange Signposts». New York, Doubleday, 1966).

■

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известия Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

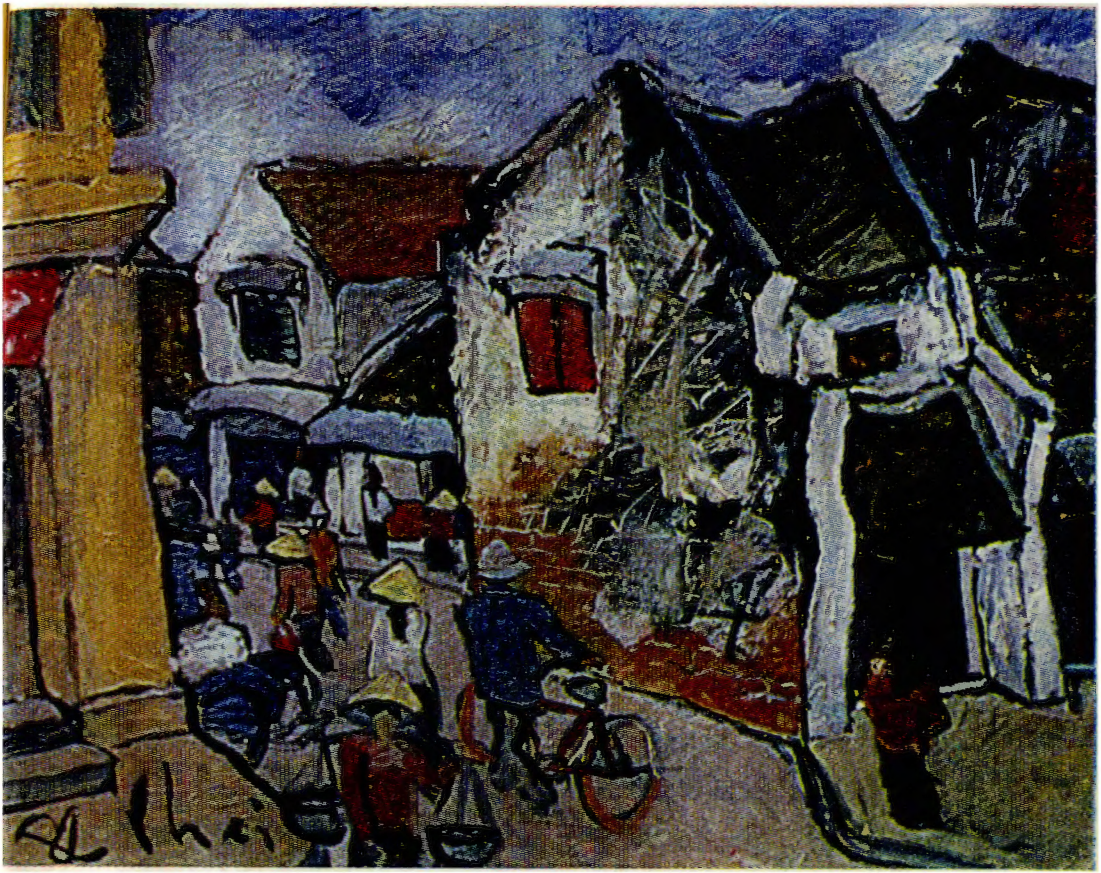
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сданов в набор 10.05.83. Подписано в печать 17.06.83. А 01706 Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 1,6 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 29.18.

Тираж 380 000 экз. (1-й завод: 1 — 340 000 экз.) Зак. 1620.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Из серии «Старый Ханой»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70